

ВЕК
И ВРЕМЯ
ПИСАТЕЛЬ

STEFAN
ZWEIG
СТЕФАН
ЦВЕЙГ



**СТЕФАН
ЦВЕЙГ**

**ВЕК
И ВРЕМЯ
ПИСАТЕЛЬ**

СТЕФАН ЦВЕИГ

Редакционная коллегия

Г. А. Анджапаридзе

Л. Г. Андреев

Я. Н. Засурский

Д. В. Затонский

П. В. Палиевский

Д. М. Урнов

СТЕФАН ЦВЕЙГ

ВЧЕРАШНИЙ МИР

Перевод с немецкого

Москва «Радуга» 1991

ББК 84. 44
Ц 26

Предисловие Д. ЗАТОНСКОГО
Вступительная статья К. ФЕДИНА
Комментарий Г. ШЕВЧЕНКО
Редактор И. ГОЛИК

ЦВЕЙГ С.

Ц 26 Вчерашний мир. (Пер. с нем.) Предисл. Д. Затонского; Вступ. статья К. Федина. — М.: Радуга, 1991. — с. 544.

В настоящем сборнике выдающегося австрийского писателя впервые на русском языке в полном объеме публикуется книга «Вчерашний мир. Воспоминания европейца», в которой С. Цвейг, свидетель и участник многих исторических событий, рисует широкую панораму исполненной драматизма политической и культурной жизни Европы конца XIX — первой половины XX в. Большой интерес представляют также с блеском написанные эссе о двух великих европейских мыслителях — Фридрихе Ницше и Зигмунде Фрейте.

Книга рассчитана на массового читателя.

4703010100—009
Ц _____ 81—91
030(01)—9

ББК 84.44

© Предисловие, перевод, комментарий издательство «Радуга», 1987, 1991.

ISBN 5—05—002701—2

СТЕФАН ЦВЕЙГ — ВЧЕРАШНИЙ И СЕГОДНЯШНИЙ

Вот что писал о Цвейге Томас Манн: «Его литературная слава проникла в отдаленнейшие уголки земли. Удивительный случай при той небольшой популярности, которой пользуются немецкие авторы в сравнении с французскими и английскими. Может быть, со времен Эразма (о котором он рассказал с таким блеском) ни один писатель не был столь знаменит, как Стефан Цвейг»¹. Если это и преувеличение, то понятное, простительное: ведь к концу двадцатых годов нашего века не было автора, чьи книги переводили бы на всевозможные, в том числе самые редкие, языки чаще и охотнее, чем книги Цвейга.

Для Томаса Манна он — известнейший немецкий автор, хотя одновременно с ним жили и писали и сам Томас, и его брат Генрих, и Леонгард Франк, и Фаллада, и Фейхтвангер, и Ремарк. Если же брать собственно австрийскую литературу, то здесь Цвейгу равных просто нет. Другие австрийцы — Шницлер, Гофмансталь, Герман Бар — тогда уже вроде бы забывались. Рильке воспринимали как поэта сложного, пишущего для узкого круга. Промелькнул, правда, в первой половине двадцатых годов Йозеф Рот с его «Иовом», «Склепом капуцинов» и «Маршем Радецкого», но лишь на краткий период, подобно комете, и вновь на годы ушел в литературное небытие. А Цвейг еще в 1966 году считался наряду с Кафкой одним из двух наиболее читаемых австрийских писателей.

Воистину Цвейг — этот «нетипичный австриец» — в период между двумя войнами оказался полномочным представителем искусства своей страны, и не только в Западной

¹ Th. Mann. Gesammelte Werke in 12 Bänden, Bd. XI. Berlin, 1956, S. 299.

Европе или Америке, но и в нашей стране. Когда говорилось об австрийской литературе, на память тотчас же приходило имя автора «Амока» и «Марии Стюарт». В 1928—1932 годах издательство «Время» выпустило двенадцать томов его книг, и предисловие к этому, тогда почти полному собранию сочинений написал сам Горький.

Сегодня многое изменилось. Теперь лучшими писателями австрийской литературы нашего столетия, ее классиками считаются Кафка, Музиль, Брех, Хаймито фон Додерер. Они все (даже Кафка) далеко не так широко читаемы, как был некогда читаем Цвейг, но тем более высоко почитаемы, потому что и в самом деле являются художниками крупными, значительными, — художниками, выдержавшими испытание временем, более того, возвращенными им из некоего небытия.

А выдержал ли Цвейг испытание временем? Во всяком случае, с высшей ступени иерархической лестницы он спустился на место более скромное. И возникает подозрение, что на своем пьедестале он стоял не по праву; складывается нечто вроде антилегенды, в соответствии с которой Цвейг был просто капризом моды, баловнем случая, искателем успеха...

С таким подозрением, однако, плохо согласуется оценка, данная ему Томасом Манном, уважение, которое испытывал к нему Горький, писавший в 1926 году Н. П. Рождественской: «Цвейг — замечательный художник и очень талантливый мыслитель»¹. Примерно так же судили о нем и Э. Верхарн, Р. Роллан, Р. Мартен дю Гар, Ж. Ромен и Ж. Дюамель, сами сыгравшие выдающуюся роль в истории новейшей литературы. Естественно, отношение к наследию того или иного писателя изменчиво. Меняются вкусы, у каждой эпохи свои кумиры. Но есть в изменчивости этой и некая объективная закономерность: что полегковесней — вымывается, выветривается, что весомей — остается. Но не настолько же все изменчиво? Может ли быть, чтобы тот, кто казался «замечательным», «талантливым», оказался «мыльным пузырем»? И еще: Цвейг ли спустился на более скромное место — или же другие поднялись на более высокое? Если верно последнее, то его положение в литературе неизменно и происшедшая «перегруппировка» не умаляет его достоинств как художника.

Ответить на эти вопросы — значит определить значение писателя для сегодняшних читателей. Более того, это зна-

¹ М. Горький. Собр. соч. в 30-ти томах. Т. 29. М., 1955, с. 487.

чит приблизиться к пониманию «цвейговского феномена» в целом, ибо многое отразилось в его творчестве — и австрийская родина, и европеизм, и необычайный успех, и дважды пережитая всеобщая трагедия, ставшая и трагедией личной, и мифологизация утраченной родины, и все то, что привело к трагическому финалу...

* * *

«Возможно, прежде я был слишком избалован», — признавался Стефан Цвейг в конце жизни. И это правда. Долгие годы он ходил в любимцах у судьбы. Цвейг родился в богатой семье и не знал никаких лишений. Жизненный путь, благодаря рано выявившемуся литературному таланту, определился как бы сам собой. Но и счастливый случай играл не последнюю роль. Всегда рядом оказывались редакторы, издатели, готовые печатать даже первые, незрелые вещи начинающего литератора. Поэтический сборник «Серебряные струны» (1901) одобрил сам Рильке, а Рихард Штраус испросил разрешения переложить на музыку шесть стихотворений из него.

Может быть, такой успех был не вполне заслужен молодым автором. Ранние вещи Цвейга были камерными, чуть эстетскими, овеянными некой декадентской грустью. И в то же время они отмечены не очень еще ясным предчувствием надвигающихся перемен, характерным для всего европейского искусства рубежа веков. Словом, это было именно то, что могло понравиться тогдашней Вене, ее либеральным кругам, что помогало быть приветливо встреченным в редакциях ведущих литературных журналов или в группе «Молодая Вена», главой которой был поборник австрийского импрессионизма Герман Бар. Там ничего не желали знать о мощных социальных сдвигах, о близком крушении Габсбургской монархии, как бы символизировавшем все будущие катастрофы буржуазного мира; однако там охотно подставляли лицо порывам нового, весеннего ветра, надувавшего — так казалось — лишь паруса поэзии.

Везение, успех, удача сказываются на людях по-разному. Многих они делают самовлюбленными, поверхностными, эгоистичными, а у некоторых, накладываясь на внутренние позитивные свойства характера, вырабатывают непоколебимый житейский оптимизм, отнюдь не чуждый самокритичности. К этим последним и принадлежал Цвейг. Долгие годы ему представлялось, что окружающая действи-

тельность если и не вполне хороша и справедлива сегодня, то способна стать хорошей и справедливой завтра и уже становится такой. Он верил в конечную гармоничность окружающего мира. «Это, — писал много лет спустя другой австрийский писатель, Ф. Верфель, — был мир либерального оптимизма, который с суеверной наивностью верил в самодовлеющую ценность человека, а по существу, в самодовлеющую ценность крохотного образованного слоя буржуазии, в его священные права, вечность его существования, в его прямолинейный прогресс. Установившийся порядок вещей казался ему защищенным и огражденным системой тысячи гарантий. Этот гуманистический оптимизм был религией Стефана Цвейга... Ему были ведомы и бездны жизни, он приближался к ним как художник и психолог. Но над ним сияло безоблачное небо его юности, которому он поклонялся, небо литературы, искусства, единственное небо, которое ценил и знал либеральный оптимизм. Очевидно, помрачение этого духовного неба было для Цвейга потрясением, которое он не смог перенести...»¹

Но до этого было еще далеко. Первый удар (я имею в виду мировую войну 1914—1918 годов) он пережил не как пассивный созерцатель: всплеск ненависти, жестокости, слепого национализма, которым, по его представлениям, прежде всего была та война, вызвал в нем активный протест. Известно, что писателей, с самого начала войну отвергших, с самого начала с нею борющихся, можно перечислить по пальцам. И Э. Верхарн, и Т. Манн, и Б. Келлерман, и многие другие поверили в официальный миф о «тевтонской» или, соответственно, «галльской» за нее вине. Вместе с Р. Ролланом и Л. Франком Цвейг оказался среди немногих.

В окопы он не попал: его одели в мундир, но оставили в Вене и прикомандировали к одной из канцелярий военного ведомства. Это предоставило ему определенную свободу. Цвейг переписывался с единомышленником Ролланом, пытался вразумлять собратьев по перу в обоих враждующих лагерях, сумел опубликовать в австрийской газете рецензию на роман Барбюса «Огонь», в которой высоко оценил его антивоенный пафос и художественные достоинства. Не слишком много, но и не так мало по тем временам. А в 1917 году Цвейг опубликовал драму «Иеремия». Она была поставлена в Швейцарии еще до конца войны, и Роллан отозвался о ней как о лучшем «из современных произведе-

¹ Der große Europäer Stefan Zweig. München, S. 278—279.

ний, где величая печаль помогает художнику увидеть сквозь кровавую драму сегодняшнего дня извечную трагедию человечества»¹. Пророк Иеремия увещевает царя и народ не вступать на стороне Египта в войну с Вавилоном и предрекает поражение Иерусалима. Ветхозаветный сюжет здесь не только способ в условиях жесткой цензуры донести до читателя актуальное, антимилитаристское содержание. Иеремия (если не считать еще довольно невыразительного Терсита в одноименной пьесе 1907 года) — первый из ряда героев Цвейга, совершающих свой нравственный подвиг в одиночку. И вовсе не из презрения к толпе. Он печется о народном благе, но обогнал свое время и потому остается непонятым. Однако вавилонское пленение он готов разделить со своими соплеменниками.

С юности Цвейг мечтал о единстве мира, единстве Европы — не государственном, не политическом, а культурном, сближающем, обогащающем нации и народы. В той интерпретации, в какой мечта эта существует у него, она, разумеется, иллюзорна. Но не в последнюю очередь именно она привела Цвейга к страстному, активному отрицанию мировой войны как фатального нарушения человеческой общности, уже начинавшей (так ему казалось) складываться за сорок мирных европейских лет.

В его «Летней новелле» о центральном персонаже сказано, что он «в высоком смысле не знал родины, как не знают ее все рыцари и пираты красоты, которые носятся по городам мира, алчно вбирая в себя все прекрасное, встретившееся на пути»². Сказано с той излишней выпренности, которая была свойственна довоенному Цвейгу, и не без влияния внутривосточного состояния Австро-Венгерской империи, являвшей собою целый конгломерат языков и народов. Но чем Цвейг никогда не грешил, так это симпатиями к космополитизму. В 1926 году он написал статью «Космополитизм или интернационализм», где, решительно ставя на сторону последнего, заявил: «Довольно с нас сомнительных смешений понятий, довольно с нас безопасного и безответственного банкетного европеизма!»³

Вера Цвейга в конечный гуманизм мира Западной Европы прошла испытание первой мировой войной. Казалось, что самое страшное позади. Но это было не так. В глубине буржуазного мира уже началось брожение:

¹ Р. Роллан. Собр. соч. в 14-ти томах. Т. 14. М., 1958, с. 408.

² С. Цвейг. Избранные новеллы. М., 1978, с. 112—113.

³ Цит. по кн.: E. Rieger. Stefan Zweig. Berlin, 1928, S. 115.

фашистская чума захватывала все новые страны Старого Света. В своей книге «Вчерашний мир» писатель художественно и вместе с тем документально точно изображает медленное, но неуклонное соскальзывание буржуазной демократии к фашизму. Цвейг, как миллионы людей Западной Европы, теряет родину, имущество, само право на жизнь. По Европе его молодости маршировали гитлеровские молодчики. Эту общемировую драму Цвейг перенести уже не смог...

* * *

Новеллистика Цвейга, как может показаться, противоречит его активной социальной позиции борца-пацифиста. Ее персонажи заняты не миром, человечеством или прогрессом, а лишь самими собой или людьми, с которыми их сводит частная жизнь, ее перепутья, происшествия, страсти.

Цвейговские новеллы и по сей день увлекают читателя, особенно такие первоклассные, как «Письмо незнакомки», «Двадцать четыре часа из жизни женщины» или «Амок». Однако Горькому «Амок» «не очень понравился»¹. Он не уточнил почему, однако догадаться нетрудно: слишком там много экзальтации и экзотики, к тому же довольно шаблонной — таинственная «мэм-саиб», обожествляющий ее темнокожий мальчик-слуга...

И все же Цвейг — в первую очередь мастер малого жанра. Романы ему не удались. Ни «Нетерпение сердца» (1938), ни тот, недописанный, что был издан лишь в 1982 году под названием «Дурман преображения» (у нас переведен как «Кристина Хофленер»). Но новеллы его по-своему совершенны и классичны. Основу сюжета составляет одно событие, интересное, волнующее, нередко из ряда вон выходящее — как в «Страхе», «Амоке», в «Фантастической ночи». Оно направляет и организует весь ход действия. Здесь все друг с другом согласовано, все удачно стыкуется и прекрасно функционирует. Но Цвейг не упускает из виду и отдельных мизансцен своего маленького спектакля. Они отшлифованы со всем возможным тщанием. И случается, что обретают осязаемость, зримость и вовсе поразительные, доступные, казалось бы, лишь кинематографу.

Так и видишь в «Двадцати четырех часах из жизни женщины» руки играющих в рулетку — «множество рук, свет-

¹ М. Горький. Собр. соч. в 30-ти томах. Т. 29. М., 1955, с. 415.

лых, подвижных, настороженных рук, словно из нор, выглядывающих из рукавов...». Недаром эта цвейговская новелла (как, впрочем, и другие) была экранизирована, и люди валом валили смотреть надвигающиеся на сукне стола руки несравненного характерного актера немого кино Конрада Фейдта.

Однако в отличие от старой новеллы — не только такой, какой она была у Боккаччо, но и такой, как у Клейста и у К. Ф. Майера, — в новелле цвейговской мы чаще всего имеем дело не с внешним, авантурным событием, а, так сказать, с «приключением души». Или, может быть, еще точнее, с преображением авантюры в такое «внутреннее» приключение.

Ведь Цвейг далеко не идиллик. «Ему были ведомы и бездны жизни...» — это Верфель говорил главным образом о новеллах. Там множество смертей, еще больше трагедий, грешников, душ мятущихся, заблудших. Но злодеев нет — ни демонических, ни даже ничтожных, мелких. В людях, населяющих новеллы Цвейга, его привлекает живое начало, все, что в них сопротивляется устоявшимся нормам, все, что ломает узаконенные правила, поднимается над обыденностью. Тем ему и мил даже мелкий карманный воришка, описанный в «Неожиданном знакомстве с новой профессией». Но еще, конечно, милее героиня «Письма незнакомки», свободная в своем чувстве, моральная в своих падениях, ибо совершались они во имя любви.

Есть, однако, в новеллах Цвейга и персонажи, перешагнувшие через незримую черту морали. Почему же и они не осуждены? Хорошо, врач в «Амоке» сам вынес себе приговор и сам привел его в исполнение; автору здесь как бы нечего делать. Ну а барон из «Фантастической ночи», окунувшийся в грязь и вроде бы грязью очистившийся; а служанка в «Лепорелле»? Она ведь утопилась не потому, что была гонима эриниями, а оттого, что обожаемый хозяин выгнал ее.

Здесь намечается некий дефект. Но не столько цвейговских убеждений в целом, сколько избранного писателем аспекта творчества, в какой-то мере эстетского, идущего «от ума». Отдельный человек, если его победы над действительностью никак не соотносятся с общественными их результатами, ускользает от оценки по законам высокой нравственности — а такая нравственность в конечном счете всегда социальна.

Новеллы Цвейг писал на протяжении всей жизни (кажется, последняя, антифашистская по духу «Шахматная

новелла» опубликована им в 1941 году); они споспешествовали его славе. Но «романизированные биографии», литературные портреты писателей, очерки и вообще жанры не чисто художественные с годами становились в его творчестве чем-то определяющим. По-видимому, именно этот жанр оказался наиболее подходящим для выражения цвейговских идей.

* * *

Некоторые считают, что Цвейг стал родоначальником художественных биографий. Мнение это не совсем точно. Если даже быть предельно строгим в определении жанра и не помещать в его рамки «Жизнь Гайдна, Моцарта и Метастазии» и «Жизнь Россини» Стендаля, то о Роллане, авторе «героических биографий» Бетховена, Микеланджело, Толстого, забывать никак нельзя. Иное дело, что эти «героические биографии» — чтение не самое легкое и сегодня не слишком популярное. Но вот в чем странность: пользовавшиеся успехом «романизированные биографии» Цвейга ближе к роллановским жизнеописаниям, чем к некоторым книгам Моруа или Стоуна. Цвейг и сам сочинил «героическую биографию» — это его книга о Роллане. И подобно Роллану, он не оформлял свои жизнеописания в нечто вполне художественное, не документальное, не превращал их в истинные романы. У Цвейга определяющим для его работы был не только (может быть, даже не столько) его индивидуальный литературный вкус, сколько в первую очередь общая идея, вытекавшая из его взгляда на историю, его к ней подхода.

Выше уже говорилось об изображении Цвейгом героев, как бы обогнавших свое время, вставших над толпой и противостоящих ей — во имя каждого из этой толпы.

И Роллан был для Цвейга человеком из той же плеяды героев. В 1921 году писатель посвятил Роллану книгу, в которой сказано: «...Могущественные силы, разрушающие города и уничтожающие государства, остаются все же беспомощными против одного человека, если у него достаточно воли и душевной неустранимости, чтобы остаться свободным, ибо те, кто вообразили себя победителями над миллионами, не могли подчинить себе одного — свободную совесть»¹.

¹ С. Цвейг. Ромен Роллан. Жизнь и творчество. — Собр. соч. в 7-ми тт. Т. 7. М., 1963, с. 160.

Стремление к свободе и гуманизму не реализуется само собою: оно — идеал, достижение которого позволит совокупности людей превратиться в единое человечество. Оттого так важен вклад, столь бесценен вдохновляющий пример отдельного человека, его самоотверженное сопротивление всему, что тормозит и извращает прогресс. Словом, Цвейга более всего интересует в историческом процессе то, что мы называем теперь «человеческим фактором». В этом известная слабость, известная односторонность его концепции; в этом, однако, и ее неоспоримая нравственная сила. Вот как изображен Цвейгом Карл Либкнехт, один из основателей Коммунистической партии Германии, занявший в годы первой мировой войны антимилитаристские позиции. Это стихотворение написано, вероятно, вскоре после убийства Либкнехта в 1919 году и опубликовано в 1924 году.

Один,
Как никто никогда
Не был один в мировой этой буре, —
Один поднял он голову
Над семьюдесятью миллионами черепов,
обтянутых касками.

И крикнул
Один,
Видя, как мрак застилает Вселенную,
Крикнул семи небесам Европы
С их оглошим, с их умершим Богом,
Крикнул великое, красное слово:
«Нет!»

Либкнехт не был одиночкой, за ним стояла левая социал-демократия, а с 1918 года и коммунистическая партия. Цвейг не то чтобы игнорирует этот исторический факт. Он лишь берет своего героя в особые, столь ключевые для собственного мировидения моменты: может быть, когда тот — и правда один — стоит на трибуне рейхстага и бросает войне свое «нет!» перед лицом накаленного шовинистской ненависти зала; а может быть, он изображен за секунду до смерти...

* * *

В двадцатые-тридцатые годы немецкоязычные литературы были — по выражению современного исследователя

В. Шмидта-Денглера — охвачены «тягой к истории»¹. Тому способствовали военное поражение, революции, крах Габсбургской и Гогенцоллерновской империй. «Чем явственнее, — объяснял этот феномен критик Г. Кизер, — эпоха ощущает свою зависимость от общего хода истории (и ощущение это всегда усиливается под воздействием разрушительных, а не созидательных сил), тем настоятельнее интерес к историческим личностям и событиям»². Расцвел жанр художественной биографии. Так что у цвейговских книг имелся весьма широкий фон. Правда, Цвейг на нем выделяется. И прежде всего тем, что его художественные биографии не замыкаются границами межвоенного двадцатилетия — ни хронологически, ни с точки зрения успеха у читателя. «Верлен» написан еще в 1905 году, «Бальзак» — в 1909, «Верхарн» — в 1910. То не были лучшие вещи Цвейга, и сегодня они уже почти забыты. Но не забыты цвейговские биографии двадцатых-тридцатых годов, в то время как работы в этом жанре других авторов чуть ли не начисто смыты временем. Спору нет, по большей части речь идет о писателях и книгах второстепенных, а то и «взошедших» на националистической, пронацистской почве. Были, впрочем, и исключения. Например, знаменитый Эмиль Людвиг, ничуть Цвейгу в славе не уступавший. Он писал о Гёте, Бальзаке и Демеле, о Бетховене и Вебере, о Наполеоне, Линкольне, Бисмарке, Симоне Боливаре, Вильгельме II, Гинденбурге и Рузвельте; не обошел он своим вниманием Иисуса Христа. Однако сегодня ни о его книгах, ни о сенсационных его интервью с виднейшими политическими деятелями эпохи никто, кроме узкого круга специалистов, уже не помнит.

Вряд ли существует однозначный ответ на вопрос, почему так случилось. Людвиг очень вольно обходился с фактами из жизни своих героев (но и Цвейг не всегда бывал в этом смысле безупречен); Людвиг склонен был преувеличивать их роль в историческом процессе (но и Цвейг подчас этим грешил). Думается, причина скорее в том, что Людвиг слишком зависел от преходящих веяний времени, от воздействия именно разрушительных его сил и метался от крайности к крайности. Может показаться случайным и маловажным, что, будучи ровесником Цвейга, он лишь пьесу о Наполеоне (1906) и биографию поэта Рихарда Демеля (1913)

¹ Aufbau und Untergang. Österreichische Kultur zwischen 1918 und 1938. Wien—München—Zürich, 1981, S. 393.

² H. Kieser. Über den historischen Roman. — «Die Literatur 32», 1929—1930, S. 681-682.

написал до первой мировой войны, а все остальные свои биографические книги — в том числе и книгу о Наполеоне — уже тогда, когда литературу охватила послевоенная, обусловленная происшедшими катастрофами «тяга к истории». Людвиг был поднят этой волной, не имея собственной, сколько-нибудь определенной концепции человеческого бытия. А Цвейг, как мы уже знаем, ею обладал.

Волна подняла его на литературный Олимп. И Зальцбург, в котором он тогда поселился, стал уже не только городом Моцарта, но в некотором роде и городом Стефана Цвейга: там и сейчас вам охотно покажут небольшой замок на склоне лесистой горы, где он жил, и расскажут, как он здесь — в промежутках между триумфальными поездками в Нью-Йорк или Буэнос-Айрес — гулял со своим ирландским сеттером.

Волна подняла его, но не захлестнула: немецкие катастрофы не застили ему горизонт, ибо не они определили его взгляд на судьбу общества и индивида, а лишь обострили этот взгляд. Цвейг продолжал исповедовать исторический оптимизм. Социальная ситуация в целом не вселяла в него надежд на быстрый прогресс (Октябрьскую революцию он принял, но в качестве решения проблем русских, не европейских), и центр тяжести его гуманистических исканий еще более определенно переместился на отдельного человека: ведь именно человек мог дать примеры непосредственного воплощения идеала, человек как отдельная личность, однако от истории не отчужденная. Оттого Цвейг и писал в те годы по преимуществу «романизированные биографии». В самом начале тридцатых годов он говорил Владимиру Лидину, что, «когда совершаются такие великие события в истории, не хочется выдумывать в искусстве...»¹. И эта же мысль, в форме более категоричной, прозвучала в одном из цвейговских интервью 1941 года: «Перед лицом войны изображение частной жизни вымышленных фигур представляется ему чем-то фривольным; всякий сочиненный сюжет вступает в резкое противоречие с историей. Оттого литература ближайших лет должна носить документальный характер»². Закономерность такого решения и определяла весь строй цвейговского документализма.

Й. А. Люкс — совсем забытый автор биографических романов — полагал, что их сила в уравнивании знаменито-

¹ См.: Вл. Лидин. Люди и встречи. М., 1957, с. 128.

² D. Schiller. «...Von Grund auf anders», Programmatik der Literatur im antifaschistischen Kampf während der dreißiger Jahre. Berlin, 1974, S. 97.

стей с обывателями. «Мы, — писал Люкс, — наблюдаем их заботы, участвуем в их унижительных схватках с повседневностью и утешаемся тем, что дела у великих шли не лучше, чем у нас — крошечных»¹. И это, естественно, льстит тщеславию...

У Цвейга иное: он ищет величия. Если и не в малом, то и не в стоящем на сцене, не рекламируемом. Во всех случаях — неофициальном. И это величие особое, величие не власти, а духа.

Нет ничего более естественного, как искать такое величие прежде всего в писателях, в мастерах слова.

* * *

Десять с лишним лет Цвейг работал над циклом, получившим название «Строители мира». Оно показывает, сколь значительными виделись писателю фигуры, очерками этими представленные. Цикл слагается из четырех книг: «Три мастера. Бальзак, Диккенс, Достоевский» (1920), «Борьба с демонами. Гёльдерлин, Клейст, Ницше» (1925), «Поэты своей жизни. Казанова, Стендаль, Толстой» (1928), «Лечение духом. Месмер, Мери Бейкер-Эдди, Фрейд» (1931).

Упорно повторяющемуся числу «три» вряд ли следует придавать особое значение: были написаны «Три мастера», и потом стала, очевидно, играть свою роль любовь к упорядоченности. Примечательнее сам подбор имен «строителей мира».

Состав этих триад способен удивить. Отчего Достоевский поставлен рядом с Бальзаком и Диккенсом, когда по характеру своего реализма к ним ближе стоит Толстой? Что же до Толстого, то, как и Стендаль, он оказался в странном соседстве с Казановой, фигляром и авантюристом, автором единственной книги «История моей жизни».

Но такое соседство не должно (по крайней мере по мнению Цвейга) унижить великих писателей, ибо есть здесь свой принцип. Состоит он в том, что герои работ берутся прежде всего не в качестве творцов бессмертных духовных ценностей, а в качестве творческих личностей, как некие человеческие типы.

В этом смысле весьма показательна работа о Фридрихе

¹ Josef August Lux. Literaturbrief. Der lebensgeschichtliche Roman. — «Allgemeine Rundschau», 1929, 26, S. 998.

Ницше. Кто надеялся узнать из нее, что написано в таких его книгах, как «Рождение трагедии из духа музыки» (1872), «Так говорил Заратустра» (1883—1891) или «По ту сторону добра и зла» (1886), будет разочарован. Цвейг лишь вскользь упоминает о критике традиционной буржуазной культуры, об отвержении Христа, о прославлении сверхчеловека, об эстетике, изгоняющей этику, — словом, о том, что составляет сердцевину ницшеанства. В Ницше его интересовало не «что», а «как», не содержание, а форма, или, если угодно, метод. Ибо Ницше, по словам Цвейга, «создает не учение (как полагают школьные педанты), не веру, а только атмосферу...».

И еще речь у Цвейга идет об одиночестве этого «самого чужого человека эпохи», о фатальной его непонятости, о том, что он глубоко презирал всякий порядок в философии. Если Кант жил с нею, как с законной супругой, то Ницше одержим изменами: «все истины чаруют его, но ни одна не в силах его удержать... Дон Жуан — его брат по духу». Однако его «легкомыслие» лишено веселья: ведь «не было человека, который бы развивался в таких муках, всякий раз сдирая с себя окровавленную кожу».

Когда Цвейг так писал о Ницше, до прихода к власти Гитлера оставалось еще восемь лет. После 1933 года о нем уже никто так не писал: каждого пишущего пугало, что нацисты объявили автора «Воли к власти» (1901)¹ своим предтечей. И многие если не осудили покойного, то стали к нему не без подозрения присматриваться или (что немногим лучше) принялись искать для него оправдания. Это попахивало предвзятостью и выдавало нечистую совесть. А Цвейг еще принимал Ницше таким, каков тот был. По крайней мере — в его глазах. Вряд ли после «аншлюса» Ницше кому-нибудь достало бы невинности как о чем-то само собою разумеющемся говорить о том, что «он окончательно дегерманизировался».

У позднего Т. Манна, к примеру, ничего подобного не встретишь. В статье с показательным названием «Философия Ницше в свете нашего опыта» он действительно занимается философией и находит в ней точки соприкосновения с фашизмом. Но Манн делает при этом оговорки. «...Не фашизм есть создание Ницше, — пишет он, — а наоборот:

¹ В 1958 г. немецкий профессор К. Шлехта доказал, что эта изданная посмертно книга была недобросовестно скомпилирована сестрой автора Элизабет Фёрстер-Ницше и ее мужем.

Ницше есть создание фашизма...»¹ Или: «...Нелепейшим недоразумением было то, что немецкое бюргерство спутало фашизм с ницшеанскими мечтами о варварстве, призванном омолодить культуру»².

Насчет «нелепейшего недоразумения» — все правда. Ницше не был самым передовым мыслителем. В некотором смысле не был им и Достоевский, и его на этом основании записывали в реакционеры. К Ницше определение «реакционер», возможно, и сегодня еще как-то приложимо. Но при двух условиях: если не толковать его в качестве эмблемы абсолютного зла и если понимать, что даже заблуждавшийся мыслитель может оставаться великим, необходимым человечеству. Цвейг понял это, когда написал: «Никто не слышал так явственно, как Ницше, хруст в социальном строении Европы, никто в Европе в эпоху оптимистического самолюбования с таким отчаянием не призывал к бегству — к бегству в правдивость, в ясность, в высшую свободу интеллекта». По сути, в том же, что и Ницше, ключе рассматривается Казанова. С одной стороны, Цвейг признает, что он «попал в число творческих умов, в конце концов, так же незаслуженно, как Понтий Пилат в Евангелие», а с другой — полагает, что племя «великих талантов наглости и мистического актерства», к которому принадлежал Казанова, выдвинуло «наиболее законченный тип, самого совершенного гения, поистине демонического авантюриста — Наполеона».

И все-таки пребывание Казановы в обществе Стендаля и Толстого смущает. Причем главным образом потому, что соединены они как «поэты своей жизни», то есть нацеленные по преимуществу на самовыражение. Их путь, по словам Цвейга, «ведет не в беспредельный мир, как у первых (имеются в виду Гёльдерлин, Клейст, Ницше. — Д. З.), и не в реальный, как у вторых (имеются в виду Бальзак, Диккенс, Достоевский. — Д. З.), а обратно — к собственному «я». Если относительно Стендаля тут еще можно согласиться, то Толстой менее всего согласуется с понятием «эготист».

«Мир, возможно, не знал другого художника, — писал Т. Манн, — в ком вечно-эпическое, гомеровское начало было бы так же сильно, как у Толстого. В творениях его живет стихия эпоса, ее величавое однообразие и ритм, подобный мерному дыханию моря, ее терпкая, могучая свежесть, ее обжигающая пряность, несокрушимое здоровье,

¹ Т. Манн. Собр. соч. в 10-ти тт. Т. 10. М., 1961, с. 379.

² Там же, с. 381.

несокрушимый реализм»¹. Это иной взгляд, хотя принадлежит он тоже представителю Запада, относящемуся к одному с Цвейгом культурному региону, и высказан примерно в то же время — в 1928 году.

И когда Цвейг обращается от Толстого-человека к Толстому-художнику, его оценки начинают сближаться с манновскими. «Толстой, — пишет он, — рассказывает просто, без подчеркиваний, как творцы эпоса прежних времен, рапсоды, псаломпевцы и летописцы рассказывали свои мифы, когда люди еще не познали нетерпение, природа не была отделена от своих творений, высокомерно не различала человека от зверя, растение от камня, и поэт самое незначительное и самое могучее наделял одинаковым благоговением и обожествлением. Ибо Толстой смотрит в перспективе универсума, потому совершенно антропоморфично, и хотя в моральном отношении он более, чем кто-либо, далек от эллинизма, как художник он чувствует совершенно пантеистически».

Цвейга можно было бы даже заподозрить в излишней, анахроничной «гомеризции» автора «Войны и мира», если бы не оговорка, касающаяся неприятия Толстым этики эллинизма. Однако то, что в других главах книги Цвейг сталкивает в творчестве гениального русского писателя эпическое и лирическое начала, выделяет книгу из сонма подобных. Ведь Толстой был не только традиционным эпиком, но и романистом, ломавшим устоявшиеся законы жанра, романистом в том новейшем значении слова, которое породил XX век. Это знал и Т. Манн, ибо он писал в 1939 году, что толстовское творчество побуждает «не роман рассматривать как продукт распада эпоса, а эпос — как примитивный прообраз романа»². А все же цвейговская экстрема остается по-своему полезной: хотя бы тем, что отбрасывает яркий свет на характер и природу новаторства у Толстого.

В эссе «Гёте и Толстой» (1922) Т. Манн строил такие ряды: Гёте и Толстой, Шиллер и Достоевский. Первый ряд — это здоровье, второй — болезнь. Здоровье для Манна не есть неоспоримое достоинство, болезнь не есть неоспоримый недостаток. Но ряды — разные, и различаются они прежде всего по этому признаку. У Цвейга же Достоевский объединен с Бальзаком и Диккенсом, иначе говоря включен в ряд безусловного здоровья (для него ряд «больной» — это

¹ Т. Манн. Собр. соч. в 10-ти тт. Т. 9. М., 1960, с. 621.

² Там же.

Гёльдерлин, Клейст и Ницше). Впрочем, Бальзак, Диккенс, Достоевский связаны нитью иного рода: их путь — как мы уже слышали — ведет в «реальный» мир.

Достоевский для Цвейга реалист особый, так сказать, в высшей степени духовный, потому что «всегда доходит до того крайнего предела, где каждая форма так таинственно уподобляется своей противоположности, что эта действительность всякому обыденному, привыкшему к среднему уровню взору представляется фантастической». Цвейг нарекает такой реализм «демоническим», «магическим» и тут же добавляет, что Достоевский «в правдивости, в реальности превосходит всех реалистов». И это не игра словами, не жонглирование терминами. Это, если угодно, та новая концепция реализма, которая отказывается видеть его суть в эмпирическом жизнеподобии, а ищет ее там, где искусство проникает к глубинным, изменчивым и неоднозначным процессам бытия.

У натуралистов, говорит Цвейг, персонажи описываются в состоянии полного покоя, отчего их портреты «обладают нужной верностью маски, снятой с покойника»; даже «характеры Бальзака (также Виктора Гюго, Скотта, Диккенса) все примитивны, одноцветны, целеустремленны». У Достоевского все по-иному: «...человек становится художественным образом лишь в состоянии высшего возбуждения, на кульминационной точке чувств», и он внутренне подвижен, незавершен, в любую минуту себе не равен, обладает тысячью неосуществленных возможностей. Цвейговское противопоставление грешит некоей искусственностью. Особенно там, где касается Бальзака, которого Цвейг, кстати, весьма ценит, к образу которого обращался неоднократно (его биография Бальзака, писавшаяся в течение тридцати лет и оставшаяся неоконченной, издана в 1946 году). Но такова уж писательская манера нашего автора: он работает на контрастах. Кроме того, Достоевский — самый его любимый художник, самый ему близкий.

Вот что, однако, существенно: пристрастность не исключает того, что главное все же схвачено. Большинство героев Бальзака движет страсть к деньгам. Удовлетворяя ее, они почти всегда действуют одинаково, по-настоящему целеустремленно. Но не потому, что «примитивны», «одноцветны». Просто ставятся они в предельно типизированную ситуацию, способствующую выявлению их социальной сути. И они свою игру либо выигрывают, либо проигрывают. А на героев Достоевского одновременно влияет масса факторов, внешних и внутренних, которые и помо-

гают им, и мешают, искривляя всю линию их поведения. Так, Ганя Иволгин из «Идиота» не берет брошенные Настасьей Филипповной в камин огромные деньги: физически взять их легко, но душа не позволяет. И не потому, будто Ганя нравствен, — такой выдался момент, что нельзя. Ситуация здесь реальнее, ибо конкретнее; реальнее, ибо конкретнее, и поведение героя. Оно и более, чем у Бальзака, общественно, поскольку зависит от нюансов социальной атмосферы, а не только от ее доминант.

Но этого Цвейг как раз не увидел. «Они знают лишь вечный, а не социальный мир», — говорит он о героях Достоевского. Или в другом месте: «Его космос не мир, а только человек». Этой-то сосредоточенностью на человеке Достоевский и близок Цвейгу. «Тело у него создается вокруг души, образ — только вокруг страсти».

Можно спорить о том, все ли в Достоевском понял Цвейг, но главное он, безусловно, схватил: устойчивость и новизну реализма, а также то, что «трагизм каждого героя Достоевского, каждый разлад и каждый тупик вытекает из судьбы всего народа».

Если героями Достоевского движет страсть, то Диккенс для Цвейга несколько излишне социален: он — «единственный из великих писателей девятнадцатого века, субъективные замыслы которого целиком совпадают с духовными потребностями эпохи». Но, по мнению Цвейга, не в том смысле, что Диккенс отвечал ее потребностям в самокритике. Нет, скорее в самоуспокоении, самооблажении. «...Диккенс — символ Англии прозаической», певец ее викторианского безвременья. Отсюда якобы и его неслыханная популярность. Она описана с таким тщанием и таким скептицизмом, будто пером Цвейга водил Герман Брох, испытывавший зависть к чужим, и прежде всего к цвейговским, лаврам. Но, может быть, дело в том, что в судьбе Диккенса Цвейг видел прообраз судьбы собственной? Она его беспокоила, и он пытался таким необычным способом освободиться от своей тревоги?

Как бы там ни было, Диккенс подан так, будто никогда не писал ни «Холодного дома», ни «Крошки Доррит», ни «Домби и сына», не изображал, что такое на самом деле британский капитализм. Разумеется, как художнику Цвейг отдает Диккенсу должное — и его живописному таланту, и его юмору, и его острому интересу к миру ребенка. Нельзя отрицать и того, что Диккенс, как отмечает Цвейг, «снова и снова пытался подняться до трагедии, но каждый раз приходил лишь к мелодраме», то есть в чем-то цвейговский его

портрет верен. И все же он, портрет этот, приметно смещен, довольно далек от возжеленной объективности научного анализа.

Существует то, что можно бы наречь «писательским литературоведением»; оно имеет свои особенности. Оно не столько предметно, сколько непосредственно-образно; реже оперирует именами героев произведений, их названиями, датами; меньше анализирует и больше передает общее впечатление, эмоции самого интерпретатора. Или, напротив, залюбовавшись некоей деталью, оно выделяет ее, приподнимает, теряя интерес к художественному целому. Этой формой пользуются порой и профессиональные критики, если у них имеется соответствующий талант. Но есть у «писательского литературоведения» и своя, специфическая содержательная сторона. Рассматривая собрата, писатель не может, да порой и не хочет, быть к нему беспристрастным. Ведь у каждого художника свой путь в искусстве, с одними предшественниками и современниками совпадающий, а с другими — нет, сколь бы значительны они как мыслители и как сочинители ни были. Толстой, как известно, не любил Шекспира; и это, собственно, никак против него не свидетельствует — лишь оттеняет его самобытность.

Цвейговский очерк о Диккенсе — своего рода образчик «писательского литературоведения»: Цвейг — с Достоевским и потому не с ним. В какой-то мере это можно сказать и о статье Цвейга «Данте», написанной в 1921 году. Творец «Божественной комедии» не его поэт, ибо там сделана попытка «привести весь мир к одной схеме», закон поставлен «выше милосердия, догма выше человечности». Это «высеченная в камне мысль средневековья», запредельная в своей величественности, то, до чего и не дотянешься, что больше почитают, чем читают. Цвейг как бы забывает, что Данте был бойцом, острейшим публицистом своего века, который сводил счеты с политическими противниками пером не хуже, чем иные мечом.

А все же Данте отдано должное. Дело даже не в признании, что он «видит все человеческое в единстве» — ведь эта идея близка самому Цвейгу. Замечательно, что Цвейг разглядел в средневековом поэте Данте певца новой эпохи, предтечу Ренессанса, творца итальянского языка и тем самым творца нации.

Работая над «Строителями мира», Цвейг невольно становился на позиции критика-профессионала: сохраняя приверженность «писательскому литературоведению» в форме,

отходил от него в содержании. Может быть, это уже сказано в статье о Данте? Во всяком случае, в статьях, написанных во второй половине двадцатых и в тридцатых годах, личные пристрастия Цвейга уже мало что определяли.

Хороша заметка об Э. Т. А. Гофмане (1929). На двух с небольшим страницах уместился его законченный портрет. Он сложен из метких характеристик. Есть среди них и такая: «Своеобразным и неповторимым осталось навеки одно качество Гофмана — его удивительное пристрастие к диссонансу, к резким, царапающим полутонам, и кто ощущает литературу как музыку, никогда не забудет этого особенного, ему одному присущего звучания».

Интересна и рецензия на «Лотту в Веймаре» (1939). Она положительна, почти восторженна. Поскольку Цвейг был близок к Т. Манну, это не может вызвать удивления. Но есть одно обстоятельство. Темой Т. Манну послужил эпизод из жизни Гёте, то есть он написал биографический роман. А это совсем не цвейговский жанр. Однако Цвейг его принял: «Беллетризованная биография, непереносимая, когда она романтизирует, приукрашивает и подделывает, впервые обретает здесь законченную художественную форму, и я глубоко убежден, что для грядущих поколений вдохновенный шедевр Томаса Манна останется единственно живым воплощением великого Гёте».

Все эти работы собраны в сборнике «Встречи с людьми, городами, книгами» (1937). Так как туда включены и отклик на юбилей Горького, и воспоминания о Ф. Мазереле, А. Тосканини, Г. Малере, и речи у гроба А. Моисси и Й. Рота, его можно рассматривать в качестве своего рода прелюдии к «Вчерашнему миру».

Но «Вчерашний мир» больше чем мемуары. Это — итог, подведенный творчеству и, главное, жизни Цвейга, последний аккорд, без которого они выглядели бы менее законченными и который можно по-настоящему воспринять лишь в контексте этого творчества, этой жизни.

* * *

Еще в предисловии к «Поэтам своей жизни» Цвейг рассуждал о мучительных трудностях писания автобиографий: то и дело соскальзываешь в поэзию, ибо сказать о себе истинную правду почти невысказуемо, легче себя заведомо оклеветать. Так он рассуждал. Но, оказавшись за океаном, утратив все, что имел и любил, тоскуя по Европе, которую

отняли у него Гитлер и развязанная фашистами война, писатель взвалил себе на плечи эти мучительные трудности. Впрочем, можно ли назвать «Вчерашний мир» автобиографией? Скорее, это биография эпохи, подобно гётевской «Поэзии и правде». Как и Гёте, Цвейг стоит, конечно, в центре своего повествования, но не он главное. Автор — связующая нить, носитель определенного знания и опыта, некто, не исповедующийся, а рассказывающий о том, что наблюдал, с чем соприкасался. Словом, «Вчерашний мир» — это мемуары, но и нечто большее, ибо на них лежит явственный отпечаток личности автора, всемирно известного писателя. Она видна в оценках, даваемых людям, событиям и прежде всего эпохе в целом. Еще точнее: двум сравниваемым и противопоставляемым эпохам — рубежу прошлого и нынешнего столетия, с одной стороны, и временам, в которые книга писалась, — с другой.

Десятилетия, предшествовавшие первой мировой войне, Цвейг определил как «золотой век надежности» и в качестве убедительнейшего примера тогдашних стабильности и терпимости избрал Австро-Венгерскую империю. «Все в нашей тысячелетней австрийской монархии, — утверждал Цвейг, — казалось, рассчитано на вечность, и государство — высший гарант этого постоянства».

Это — миф. «Габсбургский миф», и по сей день довольно распространенный, несмотря на то, что империя рухнула, что задолго до крушения жила, что называется, попусшением Господним, что была раздираема непримиримыми противоречиями, что слыла историческим реликтом, что если и не держала подданных в узде, то лишь по причине старческого бессилия, что все ее крупные писатели, начиная с Грильпарцера и Штифтера, ощущали и выражали приближение неминуемого конца.

Социальный опыт Цвейга был весьма скромнен. Он был писателем, вращающимся в кругах европейских литераторов и богемы, был представителем того меньшинства, которое пользовалось плодами физического и умственного труда миллионов себе подобных. Рабочих Цвейг видел лишь издали и пишет о них с некоторой опаской; путешествия в прифронтовую зону, в поезде с ранеными были для него событиями необычайными, не укладывающимися в размеренное течение его спокойной, обставленной комфортом жизни. Поэтому нельзя не сказать о том, что мир Цвейга — это лишь небольшая, лучшая часть того мира, который окружал писателя, в то время баловня судьбы. Именно эта принадлежность к сравнительно немногим избранным,

почти полное незнание народа и предопределили тон и настрой повествования автора.

«Габсбургский миф» однозначен, но не однозначна приверженность этому мифу. Проще всего было бы объявить автора «Вчерашнего мира» ретроградом и отвернуться от его книги. Это было бы проще всего, но вряд ли правильнее всего. Цвейг — не единственный из австрийских писателей, кто пришел к приятию, даже ностальгическому прославлению старой, как бы сметенной ветром истории императорской Австрии. Для некоторых тот же путь оказался еще более крутым, еще более неожиданным, еще более парадоксальным. Й. Рот, Э. фон Хорват, Ф. Верфель начинали в двадцатые годы как художники левые (подчас с левацким уклоном), а в тридцатые годы почувствовали себя монархистами и католиками. То не было их изменой, то было их австрийской судьбой. Рот однажды сказал И. Эренбургу: «Но вы все-таки должны признать, что Габсбурги лучше, чем Гитлер...» Альтернатива странная, но в контексте этой судьбы понятная. Гитлер, фашизм — это в глазах Рота прежде всего нетерпимейший, воспаленный, до зверства доведенный национализм, а Габсбурги ассоциировались у него с доктриной наднационального и в этом смысле — терпимого. В то же время Гитлер с его «аншлюсом» отнял у австрийца Рота родину, и отнятая родина воплотилась в Габсбургах. Спору нет, чисто австрийская дилемма застила ему мир. Но это не мешает ему в лучших своих вещах — таких, как роман «Марш Радецкого» (1932), — критиковать ничтожество австрийской монархии, но только в критике прослушиваются звуки реквиема. Прослушиваются они даже в «Человеке без свойств» Р. Музиля (романе, над которым он работал все межвоенные годы и который так и не закончил), хотя для Музиля «эта гротескная Австрия — ...не что иное, как особенно явственный пример новейшего мира»¹. В форме предельно заостренной он находил в ней все пороки современного буржуазного бытия.

Цвейг поначалу вообще не ощущал себя австрийцем. В 1914 году в журнале «Дас литерарише эхо» он опубликовал заметку «Об «австрийском» поэте», где между прочим заявил: «Многие из нас (а о себе самом могу сказать это с полной определенностью) никогда не понимали, что это значит, когда нас именуют «австрийскими писателями»².

¹ R. Musil. Tagebücher, Aphorismen, Essays und Reden. Hamburg, 1955, S. 226.

² S. Zweig. Vom «osterreichischen» Dichter. — «Das literarische Echo», № 17 (1914—1915), Hf. 5, S. 263.

Потом, даже живя в Зальцбурге, он почитал себя «европейцем». Его новеллы и романы, правда, остаются австрийскими по теме, зато «романизированные биографии», «Строители мира» и прочие сочинения документального жанра обращены на широкий мир. Но разве не было и чего-то австрийского в этой упорной устремленности к человеческому универсуму, пренебрегающему государственными и временными границами, в этой «открытости» всем ветрам и всем «звездным часам человечества»? Ведь «Дунайская империя» казалась чем-то вроде такого универсума, по крайней мере его действующей моделью: прообразом Европы, даже всего подлунного мира. Стоило из Фиуме перебраться в Инсбрук, тем паче в Станислав, чтобы, не пересекая ни одной государственной границы, оказаться в совершенно другом краю, среди другого народа. И в то же время «европейца» Цвейга тянуло бежать от реальной габсбургской узости, габсбургской закостенелости. Тем более в годы между двумя мировыми войнами, когда от великой державы остался, по собственным его словам, «лишь обезображенный остов, кровотокающий из всех вен».

Но позволить себе роскошь не считаться с австрийской своей принадлежностью мыслимо было только до тех пор, пока хоть какая-то Австрия существовала. Еще создавая «Казанову», Цвейг как бы предчувствовал это. «Старый *citoyen du monde*¹, — пишет он, — начинает мерзнуть в когда-то столь любимой беспредельности мира и даже сентиментально тосковать по родине». Однако самому Цвейгу сначала потребовалось физически ее утратить, чтобы понастоящему обрести в душе. Еще до «аншлюса» он жил в Англии, но на законном основании, с паспортом суверенной республики в кармане. Когда же «аншлюс» состоялся, Цвейг превратился в нежелательного иностранца без подданства, а с начала войны — в выходца из стана врага. «...Человеку нужна, — сказано во «Вчерашнем мире», — лишь теперь, став скитальцем уже не по доброй воле, а спасаясь от погони, я ощутил это в полной мере, — человеку нужна исходная точка, откуда отправляешься в путь и куда возвращаешься вновь и вновь». Так трагическими утратами заплатил Цвейг за свое чувство родины: «Что касается наших взглядов на жизнь, то мы уже давно отвергли религию наших отцов, их веру в быстрый и постоянный прогресс гуманности; банальным представляется нам, жестоко наученным горьким опытом, их близорукий оптимизм перед

¹ Гражданин вселенной (франц.).

лицом катастрофы, которая одним-единственным ударом перечеркнула тысячелетние завоевания гуманистов. Но даже если это была иллюзия, то все же чудесная и благородная... И что-то в глубине души, несмотря на весь опыт и разочарование, мешает полностью от нее отрешиться... Я снова и снова поднимаю глаза к тем звездам, которые светили над моим детством, и утешаюсь унаследованной от предков верой, что этот кошмар когда-нибудь окажется лишь сбоем в вечном движении Вперед и Вперед».

Это ключевое место всей книги, оттого я и позволил себе его столь широко процитировать. Посреди всех личных и общественных катаклизмов начала сороковых годов Цвейг остается оптимистом. Но ему — такому, каков он есть, со всеми его предубеждениями и надеждами, — не за что зацепиться, не на что опереться; он утратил родину до того, как осознал, что она у него есть. Но Австрия раздавлена, она растоптана, более того, превращена в часть преступного третьего рейха. И выходит, что нет иного средства воспользоваться этой опорой, как мысленно вернуться вспять, ко временам, когда она еще была, еще существовала и самим фактом своего существования вселяла веру в будущее. И Цвейг возвращается к ней потому, что она — страна его детства, страна иллюзий, сорок долгих лет не знавшая войны, и прежде всего потому, что нет у него сейчас никакой другой. Это его утопия, от которой он и не требует ничего, кроме утопичности. Ибо понимает, что она обреченный «вчерашний мир», уже погибший

Лишь в начале книги дается светлый, цельный и «рыцарственный» образ «вчерашнего мира» — образ в значительной степени идеализированный и, что особенно примечательно, бестелесный. Потом, по мере своего овеществления, он распадается. «Окружавший нас старый мир, все свои помыслы сосредоточивший исключительно на фетише самосохранения, не любил молодежи, более того, относился к молодежи подозрительно», — пишет Цвейг. И далее следуют страницы, на которых повествуется, каким, в сущности, адом для ребенка была старая австрийская школа, меньше его воспитывавшая, больше ломавшая, сколько заскоружлого ханжества вносила она, да и вообще тогдашние нравы, в отношения мужчины и женщины. Внешнее целомудрие, держась на тайно узаконенной и поощряемой проституции, не только было обманом, оно еще и коверкало души.

Объявив Вену столицей искусств, Цвейг вскоре сам себя опроверг таким хотя бы замечанием: «Венцу Максус Рейн-

хардту пришлось бы в Вене терпеливо ждать два десятилетия, чтобы достичь положения, которое в Берлине он завоевал за два года». И дело не в том, будто Берлин двадцатых годов был лучше, дело именно в почти сознательном обнажении иллюзорности исходного образа.

Но контрастным фоном, позволившим изобразить время заката Австро-Венгерской империи в столь идиллическом свете, была первая мировая война, а затем захлестнувший Западную Европу фашизм. Цвейг нарисовал точную и правдивую картину европейской трагедии. Она мрачна, но не безысходна, ибо скрашивают ее люди, как и всегда у него, разобщенные, но не отступившиеся, не побежденные. Это Роден, Роллан, Рильке, Рихард Штраус, Мазерель, Бенедетто Кроче, Зигмунд Фрейд. Они — друзья, единомышленники, порой просто знакомые автора. Перед нами проходят разные характеры — воители духа, вроде Роллана, и чистые художники, вроде Рильке. Поскольку каждый из них — неотъемлемое слагаемое культуры эпохи, их портреты ценны и сами по себе. Но еще важнее то, что, взятые вместе, они оправдывают цвейговскую уверенность «в вечном движении Вперед и Вперед».

Особое место принадлежит здесь Зигмунду Фрейду. Ему посвящено несколько страниц последней главы мемуаров, носящей название «Агония мира». В ней речь идет о финале европейского межвоенного двадцатилетия. И на него накладывается финал жизни Фрейда — старца, чудом отнятого у гестапо, нашедшего приют в чужой Англии. И эти финалы контрастны: Европа катится в пропасть, а смертельно больной Фрейд сохраняет ясность мысли и твердость духа перед лицом событий, им наперед объясненных. Такое противопоставление человека эпохе несколько мифицирует Фрейда.

Но Цвейг оставил нам и другой его образ — противоречивый и тем живой. Я имею в виду эссе из книги «Лечение духом».

Эссе открывает эпиграф из Ницше, чем сразу же устанавливается связь между ним и Фрейдом. Да и текст пестрит подобными параллелями: «...вслед за Ницше, за антихристом, явился в лице Фрейда второй великий разрушитель древних скрижалей...» — сказано в одном месте. А в другом — «где-то за будничной гладью существования» Фрейда автор обнаруживает «истинно демоническое начало», сжигавшее и певца «Заратустры».

Но Цвейг подмечал и различия. Язык Ницше завораживает, опьяняет, а Фрейд лишь разворачивает взятые у прак-

тики доводы. Это — язык не художника, а ученого. Не потому ли Фрейд подан иначе, чем Ницше?

В художнике Цвейга привлекало «как», в ученом — по преимуществу «что», или, иначе говоря, содержание фрейдизма. И читатель, надеявшийся познакомиться с этим учением, разочарован не будет: суть учения изложена полно, доступно и объективно. А Фрейд-человек отступает на задний план. В какой-то мере и потому, что у человека этого не было частной жизни, что в течение семидесяти лет был он занят лишь своей наукой. Но не только поэтому.

Частной жизни не было и у Ницше. Был он, однако, художником, носившим весь мир в себе. А Фрейд объяснял нам нашу внутреннюю жизнь. При этом «ни разу не указал Фрейд человечеству, утешения ради, выхода в уют, в эдемы земные и небесные, а всегда только путь к самим себе, опасный путь в собственные глубины». Этим он опять-таки близок к Ницше. Но, как мы уже знаем, не пророчествует, а, в отличие от последнего, просвещает, излагая и систематизируя факты. А с фактами мыслимо спорить. Тем более что время от времени желание такое у Цвейга возникало: ведь он — оптимист (по крайней мере был оптимистом, когда писал «Лечение духом»). О Фрейде же этого не скажешь: «Он слишком долго был врачом, — пишет Цвейг, — ...чтобы начать взирать постепенно на все человечество в целом как на больного».

Есть к нему и претензии более частные: Цвейг не приемлет «эдипов комплекс», теории таких инстинктов, как агрессивный и саморазрушительный, кажутся ему слабее разработанными, чем теория сексуального инстинкта. Но есть и претензия главная. Она касается фрейдистской метапсихологии, то есть того глобального обобщения, к которому ученый пришел в конце пути. В метапсихологии «меньше научно доказуемого, но больше мудрости», считает Цвейг. Это как бы мысли художника. Но ущербность метапсихологии, конечно, не в этом, а в том, что как сфера мышления она усугубляет «трагический разлад», на уровне психоанализа лишь намечавшийся, — разлад между инстинктами, подавление которых разрушает личность, и разумом, который является единственным заслоном против их власти над обществом. Метапсихологии надлежало принять решение. Она его не приняла, потому что фрейдизм, «являясь исключительно наукой об индивидуе, ...не знает и ничего не хочет знать о коллективном смысле или метафизической миссии человечества...».

Тем не менее Цвейг прав и тогда, когда пишет, что «поворотом психологии в сторону отдельной человеческой личности Фрейд, сам того не сознавая, выполнил сокровеннейшую волю эпохи». Фрейд заблуждался, Фрейд не решил всех задач (а кто и когда был на это способен?), но в условиях фетишизации государства и обществ все-таки вновь повернулся лицом к индивиду. Так, может быть, не столь уж крамольна идея, достаточно распространившаяся во второй половине XX века и сводящаяся к попытке соединить Маркса с Фрейдом?

Во «Вчерашнем мире» читателю встретятся и другие имена. Среди них особенно выделяются крупный предприниматель, министр иностранных дел Веймарской республики Вальтер Ратенау, творец «геополитики» генерал Хаусхофер. С Ратенау Цвейг дружил, с Хаусхофером познакомился во время своего дальневосточного плавания. Он старается быть по отношению к ним объективным. Но удается это не всегда: мешают личные симпатии и путаница во взглядах. Например, Цвейгу нелегко признать Хаусхофера, которого он ранее уважал, одним из теоретиков нацизма. Слишком уважительную характеристику Цвейг дает и реакционеру Игнацу Зейпелю, будущему австрийскому канцлеру. Что же до Ратенау, то Цвейг сумел представить его с разных сторон: «Он был коммерсантом, а хотел быть художником, он владел миллионами, а тянулся к социалистам, чувствовал себя евреем, но не сторонился христианства. Он мыслил интернационально, а боготворил пруссачество, мечтал о народной демократии, а сам всякий раз почитал за честь быть принятым кайзером Вильгельмом».

Ратенау — лишь одна из многих еврейских судеб, с которыми познакомишься в книге «Вчерашний мир». Но самая среди них парадоксальная — это судьба Теодора Герцля. Основатель сионизма не был одержим идеей избранности своего народа, лишь стремился избавить этот народ от роду ему написанного отчуждения. И первый его план являлся ассимиляторским: «С фантазией истинного драматурга, — чуть иронизирует Цвейг, — он представлял себе, как возглавит огромное, многотысячное шествие австрийских евреев к церкви Стефана...» Но дело Дрейфуса показало, что при всеобщей вражде ассимиляция более чем проблематична. И Герцль решил, что нет иного пути, как вернуть отверженный народ на землю предков. Цивилизованное европейское еврейство готово было высмеять исход в Палестину еще злее, чем мечту о массовом крещении. Но за исход ухватились миллионы нищих евреев с окраин Австро-

Венгерской и Российской империй. Они, которых редактор Герцль едва ли понимал лучше, чем китайцев, увидели в нем пророка и тем побудили к действию. Но душевных сил, видимо, не хватило: в июле 1904 года он покончил с собой...

* * *

Над гробом Йозефа Рота Цвейг провозгласил: «Мы не смеем терять мужества, видя, как редуют наши ряды, мы не смеем даже предаваться печали, видя, как справа и слева от нас падают лучшие из наших товарищей, ибо, как я уже сказал, мы находимся на фронте, на опаснейшем его участке»¹. Но сам, незадолго до решительного перелома в борьбе с германским фашизмом, не выдержал. 22 февраля 1942 года в Петрополисе (близ Рио-де-Жанейро) вместе с женой Цвейг добровольно ушел из жизни. Свое предсмертное письмо он завершил словами: «Я приветствую всех моих друзей. Возможно, они увидят зарю после долгой ночи. Я, самый нетерпеливый, ухожу раньше их»². В плане мировоззренческом Цвейг так и остался оптимистом.

И этот оптимизм, помноженный на талант рассказчика, обеспечил ему то достойное место, которое он и сегодня продолжает занимать на литературном Олимпе.

Д. Затонский

¹ С. Цвейг. Собр. соч. Т. 7, с. 476.

² S. Zweig. Eine Bildbiographie. München, 1961, S. 125.

Константин Федин

Драма Стефана Цвейга

На чужбине, вдали от порабощенной родины, за океаном, покончил самоубийством Стефан Цвейг. Еще неизвестны обстоятельства самоубийства. Но, даже не зная их в точности, можно хорошо представить себе душевную драму писателя в последние годы, если вспомнить его литературный и человеческий облик.

Это был, бесспорно, большой писатель Австрии, один из заслуженных современных писателей Европы, автор известный и любимый у мирового читателя. Как рассказчик, он в совершенстве обладал тайной занимательности. Он строил сюжет с мопассановской легкостью, насыщая рассказ великолепными картинами внутренней жизни героев, всегда очень сложных и часто болезненных. Велика его близость к Достоевскому. Новеллы его останутся для художников примерами мастерства, для читателей — источником наслаждения. В биографическом жанре он создал книги образцовые и утвердил новейшее европейское искусство исторического портрета в художественной литературе. Я завидую историкам и критикам литературы, которым предстоит писать о книгах и блеске таланта Стефана Цвейга. Я завидую тому читателю, который каким-то чудом еще не слышал о Стефане Цвейге и вдруг прочтет «Амок», или «Письмо незнакомки», или «Марию-Антуанетту». Но какое чувство вызывает у всех нас старая, разгромленная, поверженная Западная Европа, неспособная и бессильная уберечь даже лучшие таланты от своего поработителя, который гонит, толкает, предаёт их на погибель?!

Я перебираю письма ко мне и открыточки Цвейга, вспоминаю каждую новую его книгу, присланную сразу после выхода, с милой и быстрой надписью. Какая страсть призва-

ния, сколько темперамента, интереса, любви к литературе!

Помню, как в один из счастливых дней моей жизни в гостях у Романа Роллана, в Швейцарии, хозяин передал мне по-галльски изящным жестом письмо от Цвейга. Живое, подвижное, подобно всей манере Цвейга, письмо было наполнено множеством мыслей и чувств. Цвейг радовался за меня, что я буду «глядеть в самое ясное и одновременно самое доброе око Европы» — в глаза Роллана. Он радовался, что незадолго ему удалось выступить во Флоренции с речью на французском языке «О европейском духе» и что итальянцы были ему действительно благодарны, услышав наконец иную мелодию, чем привычные для них фашистские гимны. Шутливо, но не без гордости он называл эту свою поездку в дучеву Италию «гусарским налетом». Он радовался, что после испытанного им длительного чувства «хромоты», неспособности думать и бегства от людей к нему вернулось желание работать и что он после биографического произведения возьмется снова за роман, «прерванный на время депрессивного периода». «Депрессивные книги в наши дни я считаю моральным преступлением», — писал он, и ту же мысль в том же бодром, радостном письме выражал еще так: «Быть слабым в такое время, которое требует всего человека, — это мука».

Письмо это писалось весной 1932 года. Летом я получил другое письмо уже не в Швейцарии, а в Германии. И замечательно, опять повторилось почти слово в слово то же восклицание: «Оставайтесь, будьте совсем здоровы! Время слишком важное, чтобы быть больным или усталым!» Он не отрывался от работы, и осенью прилетела одна из его открыток, брошенных в почтовый ящик мимоходом: «Вы еще здесь? Я хочу Вам прислать свою новую книгу!»

Тогда уже бушевало разгоравшееся наступление гитлеровцев на германский народ. Через несколько месяцев Гитлер зажег рейхстаг. Толпа человекоподобных взяла огонь позора с этого ковра, разбежалась дымящимися факелами по Германии, и во всех ее городах поднялось к небу пламя, уничтожавшее «европейский дух», о котором наряду со многими писателями говорил Стефан Цвейг. Его книги были сожжены.

Далее с ним совершилось то, что стало судьбой передовой интеллигенции всего континентального Запада. Цвейг должен был покинуть свой Зальцбург: у ворот любимого города стоял волосатый призрак, поднявшийся из соседнего Мюнхена. С посохом беглеца Цвейг стал переходить из одной земли в другую. Волосатый призрак шел за ним.

Вскоре фашизм мог торжествовать: вспыхнул самый злоеший из костров, раздутых Гитлером, — костер мировой войны. Его зарево преследовало Цвейга, куда бы он ни уходил, — у берегов Малой Азии, на Британских островах, в бесконечно далекой Бразилии. Земной шар превратился в огненную планету.

Где, где мог бы прорвать беглец кольцо смрадного пламени? Куда, куда мог бы привести Цвейга сломанный посох Агасфера?

У меня есть два замечательных письма Цвейга, присланных им еще до прихода к власти гитлеровцев. Одно из них было опубликовано, другое он прислал не для печати, и оно еще лучше, еще откровеннее выразило взгляды писателя на вопрос, которому посвящалась переписка, — вопрос о возможности новой войны.

В первом письме Цвейг называл себя «идейным учеником Уолта Уитмена и Верхарна» и заявлял, что «в молодости считал оптимизм своей священной обязанностью». Теперь он отвергал оптимизм. Но, даже отвергая его, он «рассматривал Россию в военном отношении совершенно вне опасности». «Будьте уверены, дорогой Федин, что, несмотря на безразличие интеллигенции, несмотря на ослепление широких масс, в тот момент, когда будет сделана попытка превратить хозяйственный кризис Европы в войну против России или против какого-нибудь другого государства, у многих из тех, кто теперь еще молчит, проснется совесть, и не так-то просто удастся безрассудствовать господам, как это было в 1914 году, когда (о чем недавно рассказывал в своих мемуарах князь Бюлов) граф Берхтольд, «улыбаясь», сообщил, что сербов-то воевать принудят».

Во втором письме Цвейг высказался почти декларативно. «Откровенно говоря, я совсем не верю в империалистическую войну». Он приводил пять доводов в обоснование этой мысли. Он считал, во-первых, что ни одна европейская страна уже не может быть настолько уверена в своих рабочих, чтобы вести длительную войну. Во-вторых, по его мнению, Россию ограждало от войны то обстоятельство, что европейские народы гораздо больше ненавидят друг друга, чем своего социального противника. В-третьих, он находил, что никак нельзя было бы оправдать военное выступление в глазах европейского населения, которому целое десятилетие подряд внушали, что Россия стоит перед непосредственной катастрофой. «Сами империалистические государства создали себе тяжелую ситуацию непрерывным лганьем о предстоящем падении России». Следующим доводом Цвейг

приводил хозяйственные отношения, которые «ныне настолько отчаянны, что общественность наконец снова начинает понимать, какие чудовищные материальные опустошения несет война». И последнее: «У всех нас, интеллигентов, налицо более высокая форма решимости, чем в 1914 году. Мы не дали бы себя захватить врасплох столь жалкими и безоружными».

С убеждением, что война невозможна, Стефан Цвейг вступал в эпоху, содержанием которой была открытая подготовка войны. Фашизм рвался к власти, чтобы заставить Германию взять реванш и ограбить весь мир. С каждым годом очевиднее становилась неизбежность всеобщего кровопролития... И какие горестные разочарования преследовали Цвейга на каждом шагу! Вероятно, он уже видел свои заблуждения, когда, перед приходом к власти Гитлера, писал, что быть слабым в такое время — мука.

Он испытал эту муку. Он оказался в числе европейцев, сброшенных с дороги событий и убедившихся, что долгие годы после первой мировой войны были прожиты в иллюзиях. Не в оптимизме Уитмена и Верхарна тут дело. Оптимизм, как вера в человека, в его будущее, оптимизм, каким был он у великого американца Уитмена, является плодом жизненной силы, а не слабости. Такой оптимизм чувствуется в жесте, с каким человек подымает над своей головой знамя борьбы. Оптимизм — не благодушие. Наоборот, это трезвость, помогающая отличать как близкие, так и отдаленные препятствия и ломать их в борьбе.

Среди европейской интеллигенции был очень распространен тип человека, уверенного, что испытания войны 1914—1918 годов раз навсегда образумили человечество и новые военные замыслы обречены самой историей на провал. Эту уверенность европейские «оптимисты» считали своим оружием. Они надеялись вынуть оружие из ножен, если будет нужда. Когда же перед ними возник волосатый призрак гитлеровца и они попробовали схватить красивую рукоять своего меча, они обнаружили, что ножны были пусты. Уверенность в безопасности сделала этих людей бессильными перед угрозой войны.

Стефан Цвейг был характером близок к такой интеллигенции. Он был антифашистом по складу мышления, по убеждениям, по всему чувству художника. Он был гуманистом в понимании девятнадцатого века и стремился уберечь свой гуманизм в неприкосновенности от века двадцатого. Война как средство для достижения цели была противна ему. Он не допускал, что 1914 год повторится. И он дожил

до наших дней. И год, когда война подошла к берегам Америки, стал его последним годом, его «роковым мгновением».

Воображение противится присоединить к трагической веренице жертв войны имя Стефана Цвейга. Я помню, как звучало это имя в писательской среде у нас и на Западе. Помню, как первым написал мне о нем изумительно чуткий ко всему талантливому Горький: «Очень рекомендую Вам изданную «Временем» книжку Стефана Цвейга. «Смятение чувств» — замечательная вещь! Прочитайте. Этот писатель растет богатырски и способен дать великолепнейшие вещи».

Цвейг и дал великолепнейшие вещи. Тем более жаль этого художника, этого европейца с ног до головы, с его блеском, с его ошибками, с его поучительной драмой.

1942

ВЧЕРАШНИЙ МИР

Воспоминания европейца

Такими время встретим мы,
какими нас оно застигнет.

Шекспир. Цимбелин

ПРЕДИСЛОВИЕ

Я никогда не придавал своей персоне столь большого значения, чтобы впасть в соблазн рассказывать другим историю моей жизни. Много должно было произойти — намного больше, чем обычно выпадает на долю одного лишь поколения, — событий, испытаний и катастроф, прежде чем я нашел в себе мужество начать книгу, в которой мое «я» — главный герой или, лучше сказать, фокус. Ничто так не чуждо мне, как роль лектора, комментирующего диапозитивы; время само создает картины, я лишь подбираю к ним слова, и речь пойдет не столько о моей судьбе, сколько о судьбе целого поколения, отмеченного столь тяжелой участью, как едва ли какое другое в истории человечества. Каждый из нас, даже самый незначительный и незаметный, потрясен до самых глубин души почти непрерывными вулканическими содроганиями европейской почвы; один из многих, я не имею иных преимуществ, кроме единственного: как австриец, как еврей, как писатель, как гуманист и пацифист, я всегда оказывался именно там, где эти подземные толчки ощущались сильнее всего. Трижды они переворачивали мой дом и всю жизнь, отрывали меня от прошлого и швыряли с ураганной силой в пустоту, в столь прекрасно известное мне «никуда». Но я не жалею: человек, лишенный родины, обретает иную свободу — кто ничем не связан, может уже ни с чем не считаться. Таким образом, я надеюсь соблюсти по меньшей мере хотя бы главное условие любого достоверного изображения эпохи — искренность и беспристрастность, ибо я оторван от всех

корней и даже от самой земли, которая эти корни п и т а л а , — вот я каков теперь, чего не пожелаю никому другому.

Я родился в 1881 году, в большой и могучей империи, в монархии Габсбургов, но не стоит искать ее на карте: она стерта бесследно. Вырос в Вене, в этой двухтысячелетней наднациональной столице, и вынужден был покинуть ее как преступник, прежде чем она деградировала до немецкого провинциального города. Литературный труд мой на том языке, на котором я писал его, обращен в пепел именно в той стране, где миллионы читателей сделали мои книги своими друзьями. Таким образом, я не принадлежу более никому, я повсюду чужой, в лучшем случае гость; и большая моя родина — Европа — потеряна для меня с тех пор, как уже вторично она оказалась раздираема на части братоубийственной войной. Против своей воли я стал свидетелем ужасающего поражения разума и дичайшего за всю историю триумфа жестокости; никогда еще — я отмечаю это отнюдь не с гордостью, а со стыдом — ни одно поколение не претерпевало такого морального падения с такой духовной высоты, как наше. За краткий срок, пока у меня пробилась и поседела борода, за эти полстолетия, произошло больше существенных преобразований и перемен, чем обычно за десять человеческих жизней, и это чувствует каждый из нас, — невероятно много!

Настолько мое Сегодня отличается от любого из моих Вчера, мои взлеты от моих падений, что подчас мне кажется, будто я прожил не одну, а несколько совершенно не похожих друг на друга жизней. Поэтому всякий раз, когда я неосторожно роняю: «Моя жизнь», я невольно спрашиваю себя: «Какая жизнь? Та, что была перед первой мировой войной, или та, что была перед второй, или теперешняя?» А потом снова ловлю себя на том, что говорю: «Мой дом» — и не знаю, какой из прежних имею в виду: в Бате ли, в Зальцбурге или родительский дом в Вене. Или я говорю: «У нас» — и вспоминаю с испугом, что давно уже так же мало принадлежу к гражданам своей страны, как к англичанам или американцам; там я отрезанный ломоть, а здесь — инородное тело; мир, в котором я вырос, и сегодняшний мир, и мир, существующий между ними, обособляются в моем сознании; это совершенно различные миры. Всякий раз, когда я рассказываю молодым людям о событиях перед первой войной, я замечаю по их недоуменным вопросам, что многое из того, что для меня все еще существует, для них выглядит уже далекой историей или чем-то неправдоподобным. Но в глубине души я вынужден признать: между

нашим настоящим и прошлым, недавним и далеким, разрушены все мосты. Да я и сам не могу не поразиться всему тому, что нам довелось испытать в пределах одной человеческой жизни — даже такой максимально неустроенной и стоящей перед угрозой уничтожения, — особенно когда сравниваю ее с жизнью моих предков. Мой отец, мой дед — что видели они? Каждый из них прожил жизнь свою монотонно и однообразно. Всю, от начала до конца, без подъемов и падений, без потрясений и угроз, жизнь с ничтожными волнениями и незаметными переменами; в одном и том же ритме, размеренно и спокойно несла их волна времени от колыбели до могилы. Они жили в одной и той же стране, в одном и том же городе и даже почти постоянно в одном и том же доме; события, происходящие в мире, собственно говоря, приключались лишь в газетах, в дверь они не стучались. Правда, где-то и в те дни шла какая-нибудь война, но это была по нынешним масштабам, скорее, войнишка, и разыгрывалась-то она далеко-далеко, не слышны были пушки, и через полгода она угасала, забывалась, опавший лист истории, и снова начиналась прежняя, та самая жизнь. Для нас же возврата не было, ничего не оставалось от прежнего, ничто не возвращалось; нам выпала такая доля: испить полной чашей то, что история обычно отпускает по глотку той или другой стране в тот или иной период. Во всяком случае, одно поколение переживало революцию, другое — пуч, третье — войну, четвертое — голод, пятое — инфляцию, а некоторые благословенные страны, благословенные поколения и вообще не знали ничего этого. Мы же, кому сегодня шестьдесят лет и кому, возможно, суждено еще сколько-то прожить, — чего мы только не видели, не выстрадали, чего не пережили! Мы пролистали каталог всех мыслимых катастроф, от корки до корки, — и все еще не дошли до последней страницы. Один только я был очевидцем двух величайших войн человечества и встретил каждую из них на разных фронтах: одну — на германском, другую — на антигерманском. До войны я познал высшую степень индивидуальной свободы и затем — самую низшую за несколько сотен лет; меня восхваляли и клеймили, я был свободен и подневолен, богат и беден. Все бледные кони Апокалипсиса пронеслись сквозь мою жизнь — революция и голод, инфляция и террор, эпидемия и эмиграция; на моих глазах росли и распространяли свое влияние такие массовые идеологии, как фашизм в Италии, национал-социализм в Германии, большевизм в России и прежде всего эта смертельная чума — национализм, который загубил расцвет

нашей европейской культуры. Я оказался беззащитным, бессильным свидетелем невероятного падения человечества в, казалось бы, уже давно забытые времена варварства с его преднамеренной и запрограммированной доктриной антигуманизма. Нам было предоставлено право — впервые за несколько столетий — вновь увидеть войны без объявления войны, концентрационные лагеря, истязания, массовые грабежи и бомбардировки беззащитных городов — все эти зверства, которых уже не знали последние пятьдесят поколений, а будущие, хотелось бы верить, больше не потерпят. Но, как ни парадоксально, я видел, что в то же самое время, когда наш мир в нравственном отношении был отброшен на тысячелетие назад, человечество добилось невероятных успехов в технике и науке, одним махом превзойдя все достигнутое за миллионы лет: покорение неба, мгновенная передача человеческого слова на другой конец земли и тем самым преодоление пространства, расщепление атома, победа над коварнейшими болезнями, о чем вчера еще можно было только мечтать. Никогда ранее человечество не проявляло так сильно свою дьявольскую и свою богоподобную суть.

Я считаю своим долгом запечатлеть эту нашу напряженную, неимоверно насыщенную драматизмом жизнь, ибо — я повторяю — мы были свидетелями этих невероятных перемен, каждого из нас вынудили быть таким свидетелем. У нашего поколения не было возможности скрыться, бежать, как у прежних; благодаря новейшим средствам связи мы постоянно находились в гуще событий. Если бомбы разносили в щепки дома в Шанхае, мы у себя дома в Европе узнавали это раньше, чем раненых выносили из их жилищ. События, происходившие за океаном, за тысячи миль от нас, представляли перед нами воочию на экране. Не было никакой защиты, никакого спасения от этих будоражащих известий, от этого соучастия во всем. Не было ни страны, куда можно было бы бежать, ни тишины, которую можно было бы купить, всегда и всюду нас доставала рука судьбы и насильно втягивала в свою нескончаемую игру.

Нужно было постоянно подчиняться требованиям государства, становиться добычей тупоумной политики, приспосабливаться к самым фантастическим переменам, и, несмотря на отчаянное сопротивление, ты всегда был прикован к общей судьбе; неотвратимо она влекла за собой каждого. И тот, кто прошел сквозь это время или, более того, кого сквозь него прогнали, кого травили — мы знали мало передышек, — больше ощутил движение истории, чем кто-либо

из его предков. И вот мы снова, в который раз, стоим на перепутье: позади — прошлое, впереди — неизвестность. И вовсе не случайно, что свой рассказ о прошлом я завершаю конкретной датой. Ибо тот сентябрьский день 1939 года подводит окончательную черту под эпохой, которая нас, шестидесятилетних, сформировала и воспитала. Но если мы нашим свидетельством передадим следующему поколению хотя бы осколок того, что ранее составляло правду, то мы трудились не совсем напрасно.

Сознаю, что обстоятельства, в которых я пытаюсь писать мои воспоминания, столь типичные для нашего времени, мало благоприятствуют решению этой задачи. Я пишу в разгар войны, на чужбине и без всего того, что могло помочь моей памяти. У меня под рукой в моем гостиничном номере нет ни одного экземпляра моих книг, нет черновиков, писем друзей. Негде о чем бы то ни было справиться, потому что во всем мире почтовая связь между странами или прервана, или затруднена цензурой. Мы все живем так же разобщенно, как сотни лет тому назад, до того, как были изобретены пароход и железная дорога, самолет и почта. От всего моего прошлого, таким образом, у меня не осталось ничего, кроме того, что я ношу в своей памяти. Все остальное для меня сейчас недостижимо или потеряно. Но полезному умению не оплакивать потери наше поколение давно научилось, и, возможно, утрата документальности и деталей обернется для моей книги даже достоинством, ибо я рассматриваю нашу память не как некий инструмент, который что-то случайно задерживает, а что-то случайно утрачивает, но как силу, которая сознательно упорядочивает и мудро исключает. Все, что забывается, по сути дела, давно уже обречено на забвение. И лишь то, что сохранилось в душе, имеет какую-то ценность и для других. Так предоставлю же слово воспоминаниям — пусть они говорят вместо меня и зеркально отразят мою жизнь, прежде чем она потонет во мраке!

МИР НАДЕЖНОСТИ

...В мире, в тишине растем до срока,
Но однажды — в жизнь бросают нас:
Сотни тысяч волн объемлет око,
Новизну приносит каждый час,
Неспокойно чувство, тень живая
Дразнит, обольщает на л е т у, —
Ощущенья гаснут, уплывая
В пеструю мирскую суету!¹

Göte

Когда я пытаюсь найти надлежащее определение для той эпохи, что предшествовала первой мировой войне и в которую я вырос, мне кажется, что точнее всего было бы сказать так: это был золотой век надежности. Все в нашей почти тысячелетней австрийской монархии, казалось, рассчитано на вечность, и государство — высший гарант этого постоянства. Права, которые оно обеспечивало своим гражданам, были закреплены парламентом, этим свободно избранным представителем народа, а каждая обязанность строго регламентирована. Наша валюта, австрийская крона, имела хождение в чистом золоте, что гарантировало ее устойчивость. Каждый знал, сколько он имеет и сколько ему полагается, что разрешено, а что запрещено. Все имело свою норму, свой определенный размер и вес. Кто владел состоянием, мог точно подсчитать свой годовой доход, любой чиновник и офицер — с такой же точностью высчитать по календарю, когда он получит повышение и когда выйдет на пенсию. Бюджет каждой семьи четко предусматривал, сколько придется потратить на жилье и на питание, на летний отдых и на развлечения; кроме того, неуклонно откладывалась небольшая сумма про черный день, на болезнь и врача. Кто имел дом, рассматривал его как надежное пристанище для детей и внуков, земля и профессия наследовались от поколения к поколению, и в то время, когда младенец лежал в колыбели, в копилку или сберегательную кассу помещали первый скромный взнос для его жизненного пути, маленький «резерв» на будущее. Все в этой обширной империи прочно и незыблемо стояло на своих местах, а надо всем — старый кайзер; и все знали (или надеялись): если ему суждено умереть, то придет другой, и ничего не изменится в благоустроенном порядке. Никто не верил в войны, в революции и перевороты. Все радикальное, все насильственное казалось уже невозможным в эру благоразумия. Это чувство надежности было наиболее желанным достоянием миллионов, всеобщим жизненным

¹ Перевод Е. Витковского.

идеалом. Лишь с этой надежностью жизнь считалась стоящей, и все более широкие слои населения добивались своей доли этого бесценного сокровища. Первыми обрели ее в силу своего положения богачи, но постепенно к ней получили доступ и более широкие круги: столетие надеждности стало золотым веком страхового дела. Дом страховался от огня и ограбления, поле — от града и дождя, тело — от несчастных случаев и болезней; на склоне лет приобретали пожизненную ренту; девочкам в колыбель клали страховый полис — на приданое. В конечном счете объединились и рабочие, они завоевали себе достаточный заработок и больничные кассы; прислуга откладывала деньги на обеспечение старости и заранее делала взносы в страховую кассу на собственное погребение. Лишь тот, кто мог спокойно смотреть в будущее, с легким сердцем наслаждался настоящим.

В этой умилительной убежденности, что можно обнести себя частоколом, не оставив лазейки для какого бы то ни было вторжения судьбы, таилась, при всей практичности и умеренности, изрядная толика опасного тщеславия. Девятнадцатое столетие в своем либеральном идеализме было искренне убеждено, что находится на прямом и верном пути к «лучшему из миров». Презрительно и свысока взирало оно на прежние эпохи с их войнами, голодом и смутами как на время, когда человечество было еще несовершеннолетним и недостаточно просвещенным. Теперь, казалось, счет шел на какие-то десятилетия, оставшиеся до той минуты, когда со злом и насилием будет покончено, и эта вера в нескончаемый, неудержимый «прогресс» имела для той эпохи поистине силу религии; в этот «прогресс» верили уже больше, чем в Библию, а его истинность, казалось, неопровержимо подтверждались что ни день чудесами науки и техники. И действительно, всеобщий подъем в конце этого мирного столетия становился все более-заметным, все более быстрым, все более многообразным. На улицах по ночам вместо тусклых огней зажигались электрические лампы, витрины центральных магазинов распространяли свой манящий, ранее неведомый блеск вплоть до пригородов, и человек уже мог благодаря телефону общаться с другими людьми на расстоянии, он передвигался в не запряженных лошадьми вагонах на неслыханных скоростях и взмывал ввысь, осуществив мечту Икара. Комфорт проникал из дворцов в доходные дома; теперь воду не надо было таскать из колодца или канала, тратить силы, растапливая печь; повсюду воцарилась гигиена, исчезла грязь. С тех пор как спорт закалил тела людей, они становились красивее, силь-

нее, здоровее; все реже встречались на улицах уроды и калеки; и все эти чудеса совершила наука, этот ангел-хранитель прогресса. Общественное устройство тоже не стояло на месте: из года в год отдельная личность получала новые права, отношение властей становилось все более мягким и гуманным, и даже проблема проблем — бедность широких масс — не казалась больше непреодолимой. Все более широким кругам предоставлялось избирательное право и тем самым возможность открыто защищать свои интересы; социологи и профессора дискутировали, предлагая рецепты, как сделать пролетариат более здоровым и даже более счастливым. Удивительно ли, что это столетие купалось в лучах собственной славы и каждое минувшее десятилетие рассматривало лишь как очередную ступень, пройденную прогрессом? В такие рецидивы варварства, как войны между народами Европы, верили столь же мало, как в ведьм и привидения; наши отцы были убеждены в прочности связующей силы терпимости и дружелюбия. Они искренне полагали, что границы и разногласия между нациями и вероисповеданиями постепенно сотрутся во всеобщем человеколюбии, а стало быть, всему человечеству суждены мир и безопасность — эти высшие блага.

Нам, живущим сегодня, давно изъевшим из своего словаря как архаизм слово «безопасность», ничего не стоит посмеяться над оптимистической иллюзией того прекраснодушного в своем ослеплении поколения, полагавшего, что технический прогресс человечества неминуемо и одновременно приводит к прогрессу нравственному. Мы, научившись в новом столетии не удивляться никакому проявлению коллективного варварства, мы, ожидающие от каждого грядущего дня еще более страшного злодеяния, чем то, что случилось вчера, с гораздо большим сомнением относимся к возможности морального возрождения человечества. Мы вынуждены признать правоту Фрейда, видевшего, что наша культура — лишь тонкий слой, который в любой момент может быть смят и прорван разрушительными силами, kloкочущими под ним; нам пришлось постепенно привыкать жить, не имея почвы под ногами, не зная прав, свободы и безопасности. Что касается наших взглядов на жизнь, то мы давно уже отвергли религию наших отцов, их веру в быстрый и постоянный прогресс гуманности; банальным представляется нам, жестоко наученным горьким опытом, их близорукий оптимизм перед лицом катастрофы, которая одним-единственным ударом перечеркнула тысячелетние завоевания гуманистов. Но даже если это была иллюзия, то

все же чудесная и благородная, более человеческая и живительная, чем сегодняшние идеалы, и в нее наши отцы верили. И что-то в глубине души, несмотря на весь опыт и разочарование, мешает полностью от нее отрешиться. То, что человек впитал с материнским молоком, остается в его крови навсегда. И вопреки всему тому, что каждый день мне приходится слышать, всему, что и сам я, и мои многочисленные друзья по несчастью познали путем унижений и испытаний, я не могу до конца отречься от идеалов моей юности, от веры, что когда-нибудь опять, несмотря ни на что, настанет светлый день. Даже в бездне ужаса, из которой мы выбираемся ошупью, впотьмах, с растерянной и измученной душой, я снова и снова подымаю глаза к тем звездам, которые светили над моим детством, и утешаюсь унаследованной от предков верой, что этот кошмар когда-нибудь окажется лишь сбоем в вечном движении Вперед и Вперед.

Сегодня, когда страшная буря развеяла в прах эти иллюзии, мы поняли окончательно, что мир надежности был воздушным замком. А все же мои родители жили в нем как за каменной стеной. Ни разу никакая буря, даже порыв ветра не потревожили их теплое, уютное существование; правда, у них имелся дополнительный заслон: они были состоятельными людьми и постепенно становились все богаче, а это по тем временам служило надежным укрытием. Их образ жизни представляется мне до такой степени типичным, что, рассказывая об их безмятежном и незаметном существовании, я, собственно, не открываю ничего нового: точно так же, как мои родители, в тот век гарантированных ценностей в Вене жили десять или двадцать тысяч семей.

Семья моего отца происходила из Моравии. Еврейские общины жили там в небольших деревушках, в добром согласии с крестьянами и мелкой буржуазией; здесь не знали ни забитости, ни лстивой изворотливости галицийских, восточных евреев. Сильные и суровые благодаря жизни в деревне, они уверенно и достойно шли своим путем, как тамошние крестьяне — по полю. Вовремя избавившись от всего ортодоксально-религиозного, они были страстными сторонниками религии времени — «прогресса» — и в эту политическую эру либерализма поставляли самых достойных депутатов в парламент. Если из родных мест они переселялись в Вену, то с поразительной быстротой приобщались к более высокой сфере культуры; их личный успех органически сочетался со всеобщим подъемом того времени. И в этом смысле наша семья была более чем типична.

Мой дед со стороны отца занимался сбытом мануфактурных изделий. Во второй половине столетия в Австрии началось развитие промышленности. Благодаря различным усовершенствованиям ткацкие и прядильные станки, завозимые из Англии, невероятно удешевили производство тканей, прежде вырабатывавшихся вручную, и еврейские коммерсанты с их деловой сметкой, с их международной осведомленностью были первыми в Австрии, кто понял необходимость и прибыльность перехода на промышленное производство. На незначительные в большинстве случаев капиталы они основали те наспех построенные, поначалу использовавшие лишь энергию рек фабрики, которые постепенно выросли в мощную, простершуюся по всей Австрии и на Балканах богемскую текстильную промышленность. И если дед мой, как типичный представитель начального этапа этого процесса, служил лишь посредником в сбыте готовой продукции, то мой отец уже без колебаний шагнул в новое время, основав на тридцатом году жизни небольшую ткацкую фабрику в Северной Богемии, из которой он затем неспешно, за несколько лет, создал солидное предприятие.

Такой осторожный способ роста, несмотря на соблазнительно-благоприятную конъюнктуру, был более чем в духе того времени. И этот способ соответствовал, кроме того, еще очень сдержанной и совсем неалчной натуре моего отца, который впитал в себя кредо той эпохи: «Safety first»¹. Ему было важнее владеть «солидным» — и это тоже ходовое словечко того времени — предприятием, основанным на собственном капитале, чем расширять свое дело при помощи банковских кредитов и ипотек. То, что в течение всей его жизни никто никогда не видел его имени ни в долговой книге, ни на векселе, а только на странице дебета, причем, разумеется, в самом солидном кредитном учреждении, в банке Ротшильда, было для него главным предметом гордости. Любой доход, связанный хотя бы с минимальным риском, был для него неприемлем, и за всю свою жизнь он никогда не участвовал в чужом деле. И если тем не менее он постоянно становился все богаче, то отнюдь не за счет дерзких спекуляций или случайных удач, а благодаря тому, что держался благоразумного правила того времени, когда тратили лишь скромную часть прибыли и, следовательно, могли более значительную долю из года в год прибавлять к основному капиталу. Как и большинство людей его поколе-

¹ Безопасность прежде всего (англ.).

ния, мой отец считал бы отчаянным мотом того, кто беспечно транжирил бы деньги, «не думая о будущем», и это также ходовое выражение той эпохи. И благодаря такому регулярному накоплению прибылей в ту эпоху процветания, да при том, что государство еще не покушалось урвать даже от самых крупных прибылей более чем несколько процентов, тогда как государственные предприятия облагались тяжелыми налогами, крупные состояния росли как бы сами собой. Но этот пассивный способ оправдывал себя; в ту пору, не в пример временам инфляции, экономного человека не обкрадывали, а делового не обсчитывали; не спекулянты, а именно самые сдержанные дельцы оказывались в выигрыше. Благодаря своей приверженности этой универсальной методе мой отец мог уже к пятидесяти годам, даже и по международным меркам, считаться очень состоятельным человеком. Но на образе жизни нашей семьи быстрый рост состояния сказывался очень незначительно. Понемногу стали позволять себе небольшие прихоти: переселились в квартиру побольше; весной для послеобеденных прогулок брали напрокат автомобиль; ездили в спальном вагоне второго класса, и лишь на пятидесятом году жизни отец позволил себе роскошь поехать с матерью зимой на месяц в Ниццу. В общем и целом линия поведения — быть богатым, а не слить — оставалась неизменной; будучи уже миллионером, мой отец никогда не курил заграничных сигар, предпочитая, как император Франц Иосиф, дешевую «Вирджинию», обыкновенную «Грабуко», а в карты играл лишь по минимальной ставке. В своей благополучной, но замкнутой жизни он неуклонно придерживался умеренности. Несомненно более одаренный и образованный, чем большинство его коллег, — он прекрасно играл на рояле, писал ясно и хорошо, говорил по-французски и по-английски, — он неуклонно избегал любых наград, любых почетных должностей, за всю свою жизнь не принял ни одного звания, ни единого поста, хотя ему, как крупному промышленнику, их предлагали не раз. Никогда ни у кого ничего не просить, никогда не понуждать себя к «пожалуйста» или к «спасибо» — эта затаенная гордость значила для него больше, чем все показное.

В жизни каждого неминуемо наступает время, когда в своем внутреннем облике он узнает черты отца. Тяга к замкнутому, безвестному образу жизни теперь с каждым годом начинает все резче проявляться во мне, как бы разительно она ни противоречила моей профессии, которая хочешь не хочешь делает твое имя и тебя самого в той или

иной степени известными. Но из-за той же скрытой гордости я всегда отклонял любую форму внешнего почитания, не принял ни единой награды, ни одного титула, ни поста президента в каком-либо союзе, никогда не входил ни в одну академию, комитет, жюри; даже сидеть на банкете для меня наказание; и от одной мысли, что надо кого-то о чем-либо попросить — даже если просить приходится не за себя, — у меня отнимается язык. Я знаю, насколько несовременны подобные ограничения в мире, где свободу можно сохранить лишь благодаря хитрости и бегству и где, как мудро сказал старик Гёте, «ордена и титул спасают иных в толчее от тумак». Но это живет во мне мой отец, это присущая ему скрытая гордыня заставляет меня устраниваться, и я не должен противиться, ибо ему я обязан тем, что, быть может, воспринимаю как свое единственное богатство: чувством внутренней свободы.

* * *

Моя мать — ее девичья фамилия Бреттауэр — была из иной, более интернациональной среды. Она родилась в Анконе, в Южной Италии, итальянский, наравне с немецким, был языком ее детства; всегда, когда она говорила с моей бабушкой или своей сестрой о чем-либо, что не следовало знать прислуге, она переходила на итальянский. Ризотто и редкие еще в ту пору артишоки, а также другие особенности южной кухни были знакомы мне с раннего детства, и когда я позднее приезжал в Италию, то с первой минуты чувствовал себя там как дома. Но семья матери была отнюдь не итальянской, а сугубо интернациональной: Бреттауэры, которые испокон веку занимались банковским делом, разбрелись (по примеру крупных еврейских банкирских семейств, но, естественно, в масштабах гораздо более скромных) из Высокого Эмса, небольшого местечка на швейцарской границе, по всему свету. Одни отправились в Санкт-Галлен, другие — в Вену и Париж, мой дедушка — в Италию, дядя — в Нью-Йорк, и международные связи дали им больше блеска, большой кругозор и к тому же некое семейное высокомерие. В этой семье уже не было мелких торговцев или маклеров, но сплошь банкиры, директора, профессора, адвокаты и врачи, каждый говорил на нескольких языках, и я вспоминаю, с какой непринужденностью за столом у моей тетушки в Париже переходили с одного языка на другой. Это была семья, которая серьезно «заботилась о себе», и когда девушка из числа менее состоятель-

ных родственников оказывалась на выданье, то всей семьей собирали ей приличное приданое, лишь бы предотвратить «мезальянс». Моего отца, правда, уважали как крупного промышленника, но моя мать, хотя и связанная с ним счастливым браком, никогда не потерпела бы, чтобы его родню ставили на одну ступень с ее. Эта гордость выходцев из «приличной» семьи у всех Бреттауэров была неискоренима, и когда в дальнейшем кто-нибудь из них желал выказать мне особое расположение, он снисходительно произносил: «Ты выбрал правильный путь».

Этот аристократизм, который самозвано присваивали себе некоторые еврейские семейства, с самого детства то забавлял, то раздражал моего брата и меня. Мы то и дело слышали, что это «благородные» люди, а те — «неблагородные», у каждого нашего приятеля выясняли происхождение вплоть до десятого колена, а также происхождение капитала у его родни. Это постоянное разграничение, которое и составляло главный предмет любого разговора в семье и в обществе, казалось нам в те времена в высшей степени смешным и снобистским, потому что в конце концов для всех еврейских семейств речь могла идти о промежутке времени в пятьдесят или сто лет, за которые они — кто раньше, кто позже — выбрались из общего для всех гетто. Лишь много позже мне стало ясно, что понятие «приличной семьи», которое нам, мальчишкам, казалось фарсом нуворишей, выражает одну из специфических и сокровеннейших черт еврейства. Считается, что стремление разбогатеть и есть главное и характерное в жизни еврея. Ничего нет более ложного. Стать богатым означает для него лишь промежуточную ступень, средство для истинной цели, а отнюдь не конечную цель. Подлинная воля еврея, его имманентный идеал — взлет в духовные выси, в более высокую культурную сферу. Уже в восточном ортодоксальном еврействе, где слабости, как и достоинства всей нации, проступают ярче, это высшее проявление воли к духовному через чисто материальное находит свое наглядное выражение: благочестивый человек, талмудист почитается в общине в тысячу раз больше, чем состоятельный; даже первый богач охотнее выдаст свою дочь за нищего книжника, чем за торговца. Это благоговение перед духовным у евреев свойственно буквально всем сословиям; самый бедный уличный торговец, который тащит свой скарб сквозь ветер и непогоду, попытается выучить хотя бы одного сына, идя на тяжелейшие жертвы, и это считается почетом для всей семьи, что в их роду есть свой ученый: профессор, музыкант — словно

он своим положением делает их всех аристократами. Какое-то внутреннее чувство в еврее стремится его предостеречь от морально сомнительного, не внушающего доверия, мелкого и бездуховного, что присуще любому торгу, любому откровенному делячеству, и подняться в более чистую, бескорыстную сферу духовного, словно он хотел бы — выражаясь по-вагнеровски — освободить себя и всю свою нацию от проклятия денег. Именно поэтому почти всегда стремление к богатству в еврействе исчерпывается двумя — максимум тремя поколениями одного рода, и именно самые сильные династии подтверждают это своими сыновьями, не желающими вступать во владение банками, фабриками отцов, готовенькими и тепленькими местами. Это не случайность, что один из лордов Ротшильдов стал орнитологом, один из Варбургов — историком искусства, один из Кассиреров — философом, один из Сассунов — поэтом; все они подчинились тому же интуитивному стремлению освободиться от всего, что делало еврейство узким, от этого голого меркантилизма, а быть может, в этом выражается даже сокровенная мечта вырваться этим прыжком из чисто еврейского в духовное, в общечеловеческое. «Приличная» семья, следовательно, предполагает больше, чем просто общественное положение, которое она себе приписывает этим понятием; имеется в виду еврейство, которое освободилось или начинает освобождаться от всех недостатков, слабостей и уязвимых мест, навязанных ему гетто, путем приобщения к другой культуре, и по возможности — к культуре универсальной. То, что этот уход в духовное, из-за исключительного предпочтения интеллектуальных профессий, позднее также стал роковым для еврейства — как в свое время ограничение сугубо материальным, — относится, пожалуй, к вечным парадоксам еврейской судьбы.

Едва ли в каком-либо другом городе Европы тяга к культуре была столь страстной, как в Вене. Именно потому, что Австрия уже несколько столетий не имела политических амбиций, не знала особых удач в своих военных походах, национальная гордость сильнее всего проявилась в желании главенствовать в искусстве. От старой империи Габсбургов, которая некогда господствовала в Европе, давно уже отпали важнейшие и наиболее значительные провинции — немецкие, итальянские, фландрские и валлонские; нетронутой в своем прежнем блеске осталась столица — оплот двора, хранительница тысячелетней традиции. Римляне заложили этот город как цитадель, как форпост, чтобы защитить латинскую цивилизацию от варваров, и более чем

тысячу лет спустя об эти стены разбилась движением османов на Запад. Здесь промчались Нибелунги, здесь над миром воссияла бессмертная плеяда музыкантов: Глюк, Гайдн и Моцарт, Бетховен, Шуберт, Брамс и Иоганн Штраус; здесь сходились все течения европейской культуры; при дворе, у аристократов, в народе немецкое было кровно связано со славянским, венгерским, испанским, итальянским, французским, фландрским, и в том-то и состоял истинный гений этого города музыки, чтобы гармонично соединить все эти контрасты в Новое и Своеобразное, в Австрийское, в Венское. Готовый воспринять и наделенный особым даром к восприимчивости, этот город притягивал к себе самые полярные силы, разряжал, высвобождал, сочетал их; славно было жить здесь, в этой атмосфере духовной благожелательности, и стихийно каждый гражданин этого города воспитывался наднационально, как космополит, как гражданин мира.

Это искусство выравнивания, тонких музыкальных переходов явно проступало уже во внешнем облике города. Медленно разрастаясь за столетия, органично расширяясь из сердцевины, он со своими двумя миллионами был достаточно населен, чтобы даровать всем блага и все многообразие большого города, и все же не стал настолько гигантским, чтобы оторваться от природы, как Лондон или Нью-Йорк. Последние дома города отражались в мощном течении Дуная или смотрели на широкую равнину, терялись в садах и полях или же взбирались вверх в пологих холмах по последним обрамленным зелеными лесами отрогам Альп; и трудно было определить, где природа, а где город, одно растворялось в другом без противодействия и противоречия. В центре же в свою очередь ощущалось, что город рос, словно дерево, наращивая кольцо за кольцом; а вместо древнего крепостного вала самое срединное, самое главное ядро опоясывала Рингштрассе с ее парадными зданиями. В срединной части старые дворцы двора и аристократов говорили языком окаменевшей истории: здесь, у Лихновских, играл Бетховен, здесь, у Эстергази, гостил Гайдн, здесь, в старом университете, впервые прозвучало «Сотворение мира» Гайдна. Хофбург видел поколения императоров, Шёнбрунн — Наполеона, в соборе Святого Стефана объединенные христианские князья коленопреклоненно возносили благодарственную молитву за спасение Европы от турок, университет видел в своих стенах бесчисленных светил науки.

Здесь же гордо и пышно поднялась освещенными авеню

и ослепительными магазинами новая архитектура. Но и тут старое враждовало с новым ничуть не сильнее, чем обработанный камень с нетронутой природой. Было чудесно жить здесь, в этом городе, который радушно принимал все чужое и охотно отдавал свое; в его легком, подобном парижскому, окрыляющем веселостью воздухе было более чем естественно наслаждаться жизнью. Да, Вена была городом наслаждений; но что же такое культура, если не извлечение из грубой материи жизни самого тонкого, самого нежного, самого хрупкого — с помощью искусства и любви? Будучи гурманом в кулинарии, исключительно заботясь о хорошем вине, терпком, свежем пиве, пышных мучных изделиях и тортах, этот город притяжал и на более тонкие наслаждения. Музыцировать, танцевать, играть в театре, беседовать, вести себя деликатно, с тактом — все это культивировалось здесь как особое искусство. В жизни каждого, как и в обществе в целом, первостепенное значение имели не войны, не политика, не коммерция; первый взгляд среднего гражданина Вены в газету каждое утро был обращен не к статье о дебатах в парламенте или событиях в мире, а к репертуару театра, который в общественной жизни играл необычайно важную по сравнению с другими городами роль.

Ибо императорский театр, «Бургтеатр», для венца, для австрийца был отнюдь не просто сценой, на которой актеры играли спектакли; это был микроскоп, увеличивающий макрокосм, это было зеркало, в котором общество рассматривало себя самое как единственно верное «cortigiano»¹ хорошего вкуса. В придворном актере зритель видел образец того, как надлежит одеваться, как входить в комнату, как вести беседу, какие слова следует употреблять воспитанному человеку и каких следует избегать; сцена, кроме места развлечения, была слышимым и зримым пособием по хорошему тону, правильному произношению, и нимб благоговения, словно на иконе, окружал все, что имело хотя бы отдаленное отношение к придворному театру. Премьер-министр, богатейший магнат могли ходить по улицам Вены, не привлекая к себе ничего внимания; но придворного актера, оперную певицу узнавали любая продавщица и кучер; с гордостью рассказывали мы, мальчишки, друг другу, если нам посчастливилось увидеть кого-то из них (чьи фотографии, чьи автографы собирал каждый), и этот почти религиозный культ шел так далеко, что распространялся даже на их окружение: парикмахер Зонненталя, кучер

¹ Придворный (*итал.*).

Йозефа Кайнца были почитаемыми людьми, которым в глубине души завидовали; многие франты гордились тем, что одеваются у того же портного. Юбилей или похороны известного актера становились событием, которое затмевало все политические события. Постановка в «Бургтеатре» была заветной мечтой каждого венского писателя, потому что, помимо потомственного дворянства, давала еще целый ряд привилегий: бесплатные билеты пожизненно, приглашения на все официальные мероприятия; вы становились прямо-таки гостем в доме императора, и я еще помню ту торжественность, с какой происходило мое собственное посвящение. Утром директор «Бургтеатра» пригласил меня к себе в кабинет, чтобы поздравить и сообщить, что мою драму приняли в «Бургтеатр»; когда я вечером пришел домой, то нашел у себя его визитную карточку. Он мне, двадцатипятилетнему, нанес положенный ответный визит: став автором, пишушим для императорской сцены, я тем самым становился «gentleman», с которым директору кайзеровского учреждения надлежало обходиться *au pair*¹.

А все, что происходило в театре, касалось всех, даже тех, кто вообще не имел к нему отношения. Я припоминаю, например, эпизод моей ранней юности, когда наша кухарка однажды вбежала в комнату с глазами, полными слез: ей только что рассказали, что Шарлотта Вольтер — знаменитейшая актриса «Бургтеатра» — скончалась. Самое забавное в этом диковинном трауре заключалось, естественно, в том, что эта старая полуграмотная кухарка ни разу не была в «Бургтеатре» и никогда не видела Вольтер ни на сцене, ни в жизни; но великая национальная актриса была в Вене всеобщим достоянием в такой степени, что даже неприсутствующий к театру воспринимал ее смерть как катастрофу.

Утрата любимого певца или деятеля искусства неизбежно повергала нацию в траур. Когда было решено снести «старый» «Бургтеатр», в котором впервые прозвучала «Свадьба Фигаро» Моцарта, все венское общество явилось в него как на похороны, торжественно и взволнованно; едва упал занавес, как все бросились на сцену, чтобы принести домой хотя бы щепу тех подмостков, на которых творили любимые артисты, и во многих домах даже десятилетия спустя можно было видеть эти реликвии, берегаемые в дорожных шкатулках, точно в соборах — обломки святого креста. Мы сами поступали немногим разумнее, когда носили Бенендорфский зал. Сам по себе этот маленький концертный зал, который предназначался исключительно для камерной

¹ На равных (*франц.*).

музыки, представлял собой обычное, малоинтересное в художественном отношении сооружение — бывшая школа верховой езды князя Лихтенштейна, лишь с помощью отделки деревом непритязательно приспособленная для музыкальных целей. Но у него был резонанс старинной скрипки, для любителей музыки он был священным местом, потому что тут выступали Шопен и Брамс, Лист и Рубинштейн, потому что многие из знаменитых квартетов впервые прозвучали здесь. И вот он должен был уступить новому, специально построенному зданию; это было непостижимо для нас, переживших здесь незабываемые часы. Когда отзвучали последние такты Бетховена, исполненные квартетом Розе вдохновеннее, чем когда-либо, никто не покинул своих мест. Мы шумели и аплодировали, некоторые женщины всхлипывали, никто не хотел смириться с тем, что это прощание. В зале погасили люстры, чтобы заставить нас уйти. Ни один из четырехсот или пятисот фанатиков не двинулся со своего места. Полчаса, час мы оставались на местах, словно своим присутствием могли спасти старое, свято чтимое помещение. А как мы, будучи студентами, с помощью петиций и демонстраций, статей боролись за то, чтобы не сносили дом, в котором умер Бетховен! Каждое из этих исторических зданий в Вене было словно частью души, которую вырывали из наших тел.

Этот фанатизм по отношению к искусству, и в частности к театральному, охватывал в Вене все сословия. Сама по себе Вена благодаря вековым традициям была, по сути дела, несомненно, разноголосым и в то же время — как я однажды писал — великолепно оркестрованным городом. Дирижерский пульта все еще помещался в доме императора. Императорский дворец был центром наднациональной монархии не только в пространственном смысле, но также и в культурном. Дворцы австрийской, польской, чешской, венгерской аристократии как бы образовывали вокруг этого замка второе кольцо. Затем шло «хорошее общество», состоявшее из мелкого дворянства, высших чиновников, промышленников и «старых семейств», за ним — бюргеры и пролетариат. Все эти сословия жили каждое в своем кольце и даже в своих районах: высшая аристократия — в своих дворцах в центре города, дипломаты — в третьем районе, промышленники и купцы — вблизи Рингштрассе, бюргеры — в центральных районах, от второго до девятого, пролетариат — во внешнем кольце; но все соприкасались в театре и на больших торжествах, как, например, на Празднике цветов, когда триста тысяч человек в Пратере востор-

женно приветствовали великолепно украшенный цветами кортеж экипажей «верхних десяти тысяч». В Вене все, что источало цвет или музыку, становилось поводом к празднику: религиозные шествия, подобно празднику тела Христова, военные парады, «бургмузыка», даже похороны соби- рали воодушевленные толпы народа; «красивые похороны» с пышной кавалькадой и множеством провожающих — и в этом выражалось честолюбие всякого истинного венца; даже свою смерть истинный венец обращал в веселое зрелище. В этой восприимчивости ко всему пестрому, громкому, праздничному, в этом наслаждении зрелищем как формой игры и отражения жизни, безразлично, на сцене или в реальном пространстве, весь город был един.

Над этой «театроманией» венцев, доходившей подчас в обычной жизни, со всеми ее пересудами и сплетнями о знаменитостях, до гротеска, было совсем нетрудно подтруни- вать, и наша австрийская инертность в политике, бесхо- зяйственность по сравнению с деловитостью соседнего немецкого государства и в самом деле отчасти могли быть приписаны этой страсти к развлечениям. Но в культурном отношении такая высокая оценка художественных событий продемонстрировала нечто единственное в своем роде — прежде всего необычайное преклонение перед любым достижением в искусстве, затем, благодаря многовековой традиции, беспримерную чуткость к нему, а в конечном счете — небывалый расцвет во всех областях культуры. Лучше всего художнику работается там, где его ценят и даже переоценивают. Искусство всегда достигает высот там, где оно становится истинным делом всего народа. И так же как Флоренция, как Рим в эпоху Ренессанса притяги- вали к себе художников и делали их великими, ибо каждый из них чувствовал, что в его непрерывном соревновании со всеми горожанами ему непрестанно надо превосходить дру- гих и самого себя, так и в Вене музыканты и артисты пони- мали, что они значат для города. В венской Опере, в вен- ском «Бургтеатре» не прошла бы незамеченной ни одна фальшивая нота; всякое неверное вступление, всякое сокра- щение осуждались, и подобный контроль осуществлялся не только профессиональными критиками на премьерах, но изо дня в день бдительным и обостренным, благодаря при- вычке сравнивать, слухом всей публики. В то время как в политике, управлении, в обыденной жизни все вершилось довольно спокойно и по отношению к любым недочетам были снисходительны, а к любому промаху терпимы, к произведениям искусства подходили без скидок: здесь дело

шло о чести города. Каждому певцу, каждому артисту, каждому музыканту постоянно приходилось работать на пределе, иначе бы от него отвернулись. Стать любимцем Вены было прекрасно, но оставаться им — трудно: понижение уровня не прощалось. И этот неустанный и безжалостный контроль побуждал каждого художника в Вене к высшим достижениям и держал все искусство на высшем уровне. Каждый из нас вынес из тех лет молодости строгий, бескомпромиссный подход к творчеству. Кому в Опере при Густаве Малере довелось познакомиться с его суровой в мельчайших деталях дисциплиной, а в филармонии — понять, что такое органичный сплав вдохновения с педантизмом, тот теперь редко бывает полностью удовлетворен театральной или музыкальной постановкой. Но вместе с тем мы научились быть строгими также и по отношению к самим себе во всех областях творчества; целью для нас было достижение верха совершенства, что будущим творцам искусства прививалось далеко не во всех городах мира. Но и глубоко в народе коренилось знание нужного ритма и уровня, ибо и маленький человек, сидевший за рюмкой, требовал от музыкантов такой же хорошей музыки, как от хозяина — пива; люди знали абсолютно точно, какой военный оркестр в Пратере играет с наивысшим «шиком»: «немецкие мастера» или венгры; те, кто жил в Вене, вдыхали, так сказать, вместе с воздухом чувство ритма. У нас, писателей, оно выразилось в особом чекане прозы, но точно так же проникло и в общество, и в повседневную жизнь. Венец без чувства прекрасного, без чувства формы был немислим в так называемом хорошем обществе, но даже в низших сословиях и последний бедняк проникался неким чувством красоты, почерпнутым из самой природы, из атмосферы радостных человеческих отношений; без этой любви к культуре, без чувства одновременного наслаждения и контроля по отношению к этому благодному излишеству жизни невозможно было быть истинным венецем...

Приобщение к духу народа или страны, где евреи живут, стало для них не только способом внешней защиты, но и глубокой внутренней потребностью. Их стремление обрести родину, покой, пристанище, безопасность, «нечужеродность» вынуждает их всей душой соединить себя с культурой их окружения. Нигде подобная связь — разве что в Испании пятнадцатого века — не осуществилась более счастливо и плодотворно, чем в Австрии. Евреи, осевшие в городе кайзера более двухсот лет тому назад, встретили здесь гостеприимный, доброжелательный народ, в душе

которого под внешним легкомыслием жило глубокое чувство по отношению к духовным и эстетическим ценностям, столь важное для них самих. В Вене они нашли даже еще нечто большее: они нашли здесь самих себя.

* * *

За последнее столетие искусство в Австрии лишилось своих былых традиционных покровителей и защитников: императорского дома и аристократии. Если в восемнадцатом веке Мария Терезия упрашивала Глюка обучать музыку своих дочерей, Иосиф II со знанием дела разбирал с Моцартом его оперы, Леопольд III сам сочинял музыку, то последующие императоры, Франц II и Фердинанд, уже не проявляли никакого интереса к произведениям искусства, а наш император Франц Иосиф, который за все свои восемьдесят лет не прочел ни единой книги, кроме армейского устава, обнаружил даже явную антипатию к музыке. И на высшую аристократию теперь надежда была плоха; прошли те прекрасные времена, когда Эстергази давали приют Гайдну, Лобковицы, Кинские и Вальдштейны состязались за право первого исполнения Бетховена в своих дворцах, а графиня Тун бросалась на колени перед великим чародеем, чтобы тот не забирал из Оперы «Фиделию». Уже Вагнер, Брамс, Иоганн Штраус и Хуго Вольф не находили у них ни малейшей поддержки... Для того чтобы филармонические концерты проходили на прежнем уровне, чтобы художники, скульпторы не нуждались, их должна была поощрять буржуазия; и тут-то проявились гордость и тщеславие буржуазии еврейской, которая тут же выказала готовность помочь сохранить в былом блеске славу венской культуры. Евреи с самого начала любили этот город и привязались к нему всей душой, но лишь благодаря привязанности к венскому искусству они почувствовали себя полноправными и истинными венцами. В общественной жизни они, как правило, играли лишь незначительную роль; блеск императорского дома затмевал любое богатство, высокие государственные посты передавались по наследству, дипломатией ведали исключительно аристократы, армией и бюрократией заправляли представители знати, так что евреи даже не пытались обнаружить здесь свое честолюбие. К этим традиционным привилегиям они относились с должным уважением; я вспоминаю, например, что мой отец всю жизнь избегал бывать у Захера — не из экономии, разумеется, — разница по сравне-

нию с другими крупными ресторанами была здесь до смешного не велика, — а из такого врожденного чувства дистанции: ему бы показалось неловким и бестактным сидеть рядышком с каким-нибудь принцем Шварценбергом или Лобковицем. Только перед лицом искусства все в Вене чувствовали себя равными друг другу, потому что любовь к искусству в Вене считалась всеобщей обязанностью, и безмерен вклад, который еврейская буржуазия внесла в венскую культуру своей поддержкой и непосредственным участием. Евреи были основной публикой, они заполняли театры, концерты, они покупали книги, картины, они посещали выставки, и благодаря более гибкому, менее связанному традицией восприятию они повсюду становились поборниками и инициаторами всего нового. В девятнадцатом веке почти все крупные коллекции произведений искусства были созданы ими; они способствовали почти всем художественным экспериментам; без постоянной заинтересованности еврейской буржуазии Вена из-за безразличия двора, аристократии и миллионеров-христиан, которые охотнее держали конюшни и занимались охотой, отстала бы от Берлина в области искусства точно так же, как Австрия уступила Германской империи в сфере политики. Тот, кто желал в Вене показать какую-то новинку, кто приезжал в Вену, чтобы найти здесь понимание и публику, должен был рассчитывать на эту еврейскую буржуазию; когда в антисемитские времена один-единственный раз попытались основать так называемый «национальный» театр, то не нашлось ни авторов, ни актеров, ни публики; через несколько месяцев «национальный театр» с треском провалился, и тут-то впервые стало очевидным: девять десятых того, что мир окрестил венской культурой девятнадцатого столетия, была культура, поддерживаемая, питаемая или созданная еврейством.

Ибо как раз в последние годы венское еврейство — подобно испанскому перед таким же трагическим исходом — стало творчески плодотворным, создав искусство отнюдь не специфически еврейское, а, напротив, глубоко и подчеркнуто австрийское, венское по сути. Гольдмарк, Густав Малер и Шёнберг стали международными авторитетами в новейшей музыке; Оскар Штраус, Лео Фалль, Кальман освежили традицию вальса, и для оперетты наступил золотой век. Гофмансталь, Артур Шницлер, Беер-Гофман, Петер Альтенберг вывели венскую литературу на европейский уровень, каковым она не обладала даже при Грильпарцере и Штифтере; Зонненталь, Макс Рейнхардт возродили театральную славу города во всем мире. Фрейд и другие

крупные ученые заставили вновь обратить взгляды на некогда знаменитый университет, куда ни погляди, евреи — ученые, виртуозы, художники, режиссеры, архитекторы, литераторы — неоспоримо утверждали за собой высокие и высшие места в духовной жизни Вены. Благодаря их страстной любви к этому городу, их стремлению к ассимиляции они прочно обосновались здесь и были счастливы служить славе Австрии; они чувствовали свое австрийство как предназначение и долг перед миром, и — правды ради это надо повторить — значительная, если не большая часть всего, чем восхищаются ныне Европа, Америка как свидетельством нового расцвета австрийской культуры в музыке, в литературе, в театре, в живописи, была создана венским еврейством, которое в этом отказе от себя видело высшее осуществление тысячелетней тяги к духовному. Веками не находившая себе выхода духовная энергия сомкнулась здесь с уже несколько обветшалой традицией, питала, оживляла, возвышала, освежала ее новой силой и неустанной энергией; лишь последующие десятилетия покажут, какое преступление было совершено в Вене в то время, когда этот город, смысл и культура которого как раз и состояли в соединении разнороднейших элементов, в его духовной наднациональности, попытались сделать национальным и провинциальным. Но гений Вены — специфически музыкальный и всегда был таковым, он приводил к гармонии все народы, все языковые контрасты, его культура — синтез всех западных культур; кто жил и творил там, чувствовал себя свободным от косности и предубеждений. Нигде не ощущал я себя европейцем с такой легкостью — и знаю: главным образом этому городу, который еще во времена Марка Аврелия защищал римскую, универсальную культуру, я обязан тем, что с детства полюбил идею содружества как главную идею моей жизни.

* * *

Хорошо, легко и беззаботно жилось в той старой Вене, и северяне-немцы смотрели довольно раздраженно и презрительно на нас, соседей по Дунаю, которые, вместо того чтобы быть «усердными» и придерживаться строгого порядка, жили на широкую ногу, любили поесть, радовались праздникам и театру, да к тому же писали отличную музыку. Вместо немецкого трудолюбия, которое в конце концов отравило и испакостило жизнь всем другим народам, вместо этого корыстного стремления опережать всех и вся, в Вене

любили неспешно посидеть, обстоятельно поговорить и каждому — с несколько, быть может, небрежной обходительностью, но без всякой зависти — каждому дать свой шанс. «Живи и дай жить другим» — таков был всеобщий венский принцип, который сегодня кажется мне более гуманным, чем все категорические императивы, и он беспрепятственно пробивал себе дорогу повсюду.

Бедные и богатые, чехи и немцы, евреи и христиане, несмотря на взаимное подтрунивание, мирно уживались бок о бок, и даже политические и социальные движения были лишены той ужасающей агрессивности, которая проникла в кровообращение времени лишь как ядовитый осадок от первой мировой войны. В старой Вене враждовали еще по-рыцарски, и те же самые депутаты, что перебранивались между собой в газетах, в парламенте, после своих Цицероновских речей дружески сидели вместе за пивом или кофе и говорили друг другу «ты»; даже когда Луэгер, лидер антисемитской партии, стал бургомистром, это никоим образом не отразилось на личном общении, и что касается меня, то я должен признать, что ни в школе, ни в университете, ни в литературе никогда не испытывал никаких притеснений как еврей. Ненависть страны к стране, народа к народу, семьи к семье еще не набрасывалась на человека ежедневно из газет, она еще не разобщиала ни людей, ни нации; стадное и массовое чувство не играло еще столь отвратительно-грандиозной роли в общественной жизни, как сегодня: свобода в частной деятельности и поведении — сегодня едва ли воображаемая — считалась еще естественной; в терпимости еще не усматривали — как сегодня — мягкотелость и слабости; ее даже восхваляли как этическую силу.

Ибо век, в котором я родился и был воспитан, не был веком страстей. Это был упорядоченный мир, с четким социальным расслоением и плавными переходами, мир без суеты. Ритм новых скоростей — от станков, автомобиля, телефона, радио, самолета — пока не захватил человека, и время и возраст измерялись еще по-старому. Люди жили гораздо безмятежнее, и когда я пытаюсь воскресить в памяти, как выглядели взрослые, которые окружали мое детство, то мне задним числом бросается в глаза, что многие были не по возрасту полными. Мой отец, мой дядя, мои учителя, продавцы в магазинах, музыканты филармонии в сорок лет были тучными, «солидными» мужами. Они ходили степенно, они говорили размеренно и поглаживали в разговоре холеную, частенько уже с проседью бороду. Но седые волосы были только лишним доказательством солид-

ности: «почтенный» человек сознательно воздерживался от жестикуляции и порывистых движений, как от чего-то неприличного. Не могу припомнить, чтобы даже во времена моей ранней юности, когда моему отцу не было еще сорока, он хотя бы раз быстро взбежал или спустился по лестнице или вообще сделал что-нибудь с явной поспешностью. Спешка считалась не только невоспитанностью, она и в самом деле была излишней, ибо в этом буржуазном устойчивом мире с его бесчисленными страховками и прочными тылами никогда ничего не происходило неожиданно; какие бы катастрофы ни случались вне Австрии, на окраинах мира, ни одна из них не проникала сквозь прочно возведенную стену «надежной» жизни. Ни англо-бурская, ни русско-японская, ни даже война на Балканах ни на йоту не проникли в жизнь моих родителей. Они пролистывали газетные сообщения о битвах точно так же равнодушно, как спортивную рубрику. И действительно, какое дело им было до того, что происходит за пределами Австрии? Что это меняло в их жизни? В их Австрии в ту пору затишья не было никаких государственных переворотов, никаких внезапных крушений ценностей; если акции на бирже иной раз падали на четыре или на пять процентов, то это уже называли «крахом» и, наморщив лоб, всерьез говорили о «катастрофе». Жаловались больше по привычке, чем всерьез, на якобы высокие налоги, которые на самом деле по сравнению с налогами послевоенного времени выглядели лишь как жалкая подачка государству. Тщательно составляли завещание, желая понадежнее предохранить внуков и правнуков от любых имущественных потерь, словно каким-то невидимым векселем ограждая себя от вечных стихий, а сами жили беспечно и холили свои крохотные тревоги, словно послушных домашних животных, которых, в сущности, никто не боится. Поэтому всякий раз, когда случай дает мне в руки старую газету тех дней и я читаю взволнованные статьи о выборах в совет общины, когда я пытаюсь припомнить пьесы в «Бургтеатре» с их мелкими проблемками или непомерную страстность наших юношеских дискуссий о вещах в принципе пустячных, я не могу не улыбнуться. Насколько ничтожными были все эти заботы, как безоблачно было время! Им досталось лучшее, поколению моих родителей, дедушек и бабушек, оно прожило тихо, прямо и ясно свою жизнь от начала до конца. И все же я не знаю, завидую ли я им, ибо жизнь тускло тлела словно бы в стороне от всех подлинных огорчений, невзгод и ударов судьбы, от всех кризисов и проблем, которые заставляют сжиматься наши

сердца, но в то же время так величественно возвышают! Окутанные уютом, богатством и комфортом, они почти не имели понятия о том, какой нерутиной, полной драматизма может быть жизнь, о том, что она — вечный эксперимент и нескончаемое крушение: в своем трогательном либерализме и оптимизме как далеки они были от мысли, что каждый следующий день, который брезжит за окном, может вдребезги разбить ее. Даже в самые черные ночи им не могло бы присниться, насколько опасен человек и сколько скрыто в нем сил, чтобы справиться с опасностью и преодолеть испытания.

Мы, гонимые сквозь все водовороты жизни, мы, со всеми корнями оторванные от нашей почвы, мы, всякий раз начинавшие сначала, когда нас загоняли в тупик, мы, жертвы и вместе с тем орудия неведомых мистических сил, мы, для кого комфорт стал легендой, а безопасность — детской мечтой, — мы почувствовали напряжение от полюса до полюса, а трепет вечной новизны — каждой клеткой нашего тела. Каждый час нашей жизни был связан с судьбами мира. Страдая и радуясь, мы жили во времени и истории в рамках гораздо больших, чем наша собственная ничтожная жизнь, как она ни стремилась замкнуться в себе. Поэтому каждый из нас в отдельности, в том числе и самый безвестный, знает сегодня о жизни в тысячу раз больше, чем самые мудрые из наших предков. Но ничего не давалось нам даром: мы заплатили за все сполна и с лихвой.

ШКОЛА В ПРОШЛОМ СТОЛЕТИИ

В том, что после начальной школы меня отправили в гимназию, не было ничего удивительного. Каждая состоятельная семья, хотя бы из соображений престижа, настойчиво стремилась к тому, чтобы дать сыновьям «образование»: их заставляли учить французский и английский, знакомили с музыкой, для них приглашали сначала гувернанток, а затем домашних учителей. Но лишь так называемое «классическое» образование, открывавшее дорогу в университет, принималось всерьез в те времена «просвещенного» либерализма: репутация каждой «приличной» семьи требовала, чтобы хоть один из сыновей именовался доктором каких-нибудь наук. А путь до университета был долгим и отнюдь не легким. Пять лет в начальной школе да восемь в гимназии, изволь каждый день пять-шесть часов отсидеть за партой, а в остальное время корпиться над домашними заданиями по геометрии, физике и прочим школьным предметам,

а также зубри — это помимо школы, для «общего развития» — как «живые» языки (французский, английский, итальянский), так и древние — латынь и греческий, всего, стало быть, пять языков. Этого было более чем достаточно, чтобы на физическое развитие, спорт и прогулки, не говоря уже о развлечениях и удовольствиях, времени не оставалось. Смутно помнится, как лет семи нам пришлось разучить и петь хором какую-то песенку о «веселом и счастливом» детстве. Я и сейчас слышу мелодию этой примитивно-односложной песенки, но слова ее и тогда уже с трудом сходили с моих губ и уж менее всего проникали в мое сердце. Потому что, если говорить честно, все мои школьные годы — это сплошная, безысходная, все возрастающая тоска и нестерпимое желание избавиться от каждодневного ярма. Не могу припомнить, чтобы я когда-нибудь был «весел и счастлив» в этом размеренном, бессердечном и бездуховном школьном распорядке, который основательно отравлял нам прекраснейшую, самую беспечную пору жизни, и, признаюсь, по сей день не могу побороть зависти, когда вижу, насколько счастливее, свободнее, самостоятельнее протекает детство в новом столетии. Я не верю своим глазам, наблюдая, как сегодняшние дети непринужденно и почти *au pair* беседуют со своими учителями, как они охотно, не испытывая постоянного чувства неполноценности (не то что мы в свое время), спешат в школу, как они открыто выражают и в школе и дома свои самые сокровенные помыслы и желания юных, пытливых душ — свободные, самостоятельные, естественные существа; а мы, едва переступив порог ненавистного здания, сразу же должны были вбирать голову в плечи, чтобы не стукнуться лбом о незримое иго. Школа была для нас воплощением насилия, мучений, скуки, местом, в котором необходимо поглощать точно отмеренными порциями «знания, которые знать не стоит», схоластические или поданные схоластически сведения, которые мы воспринимали как что-то не имеющее ни малейшего отношения ни к реальной действительности, ни к нашим личным интересам. Это было тупое, унылое учение не для жизни, а ради самого учения, которое нам навязывала старая педагогика. И единственным по-настоящему волнующим, счастливым моментом, за который я должен благодарить школу, стал тот день, когда я навсегда захлопнул за собой ее двери.

Не то чтобы наши австрийские школы были плохи сами по себе. Напротив, так называемая учебная программа была тщательно разработана на основе столетнего опыта, и

при творческом к ней подходе она могла бы стать плодотворной основой довольно универсального образования. Но именно эта педантичная заданность и черствый схематизм делали наши школьные уроки ужасающе унылыми и неживыми — бездушная обучающая машина никогда не настраивалась на личность, а лишь оценками «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно» показывала, насколько ученик соответствовал требованиям учебной программы. Понятно, что эта нелюбовь к человеку, это холодное обезличивание и казарменное обращение не могли вызвать в нас ничего, кроме озлобления. Нам надо было вызубрить урок, и у нас проверяли, как мы его вызубрили; но ни один учитель за все восемь лет ни разу не спросил, что мы сами хотели бы изучать; именно этой стимулирующей поддержки, о которой втайне мечтает каждый юноша, нам не хватало.

Эта безысходность сказывалась даже на внешнем облике гимназического здания — типичной постройки целого назначения, сооруженной лет этак пятьдесят тому назад на скорую руку, дешево и сердито. Эта «учебная казарма» с холодными, плохо побеленными стенами, низкими потолками в классах (ни единой картинки, ничего, что радовало бы глаз), с уборными, от которых разило на все здание, чем-то походила на старую дешевую гостиницу, которой уже пользовалось множество людей и которой такое же множество так же безропотно и безучастно еще воспользуется; и по сей день я не в силах забыть спертый дух, присущий этому зданию, как и всем австрийским административным учреждениям, который у нас называли «казенный», — этот запах натопленных, переполненных, никогда как следует не проветриваемых помещений, который пропитал сначала одежду, а затем и душу. Сидели по двое, как невольники на галерах, за низкими деревянными партами, которые искривляли позвоночник, и сидели до тех пор, пока не затекали ноги; зимой над нашими учебниками трепетал голубоватый свет открытой газовой горелки, а с наступлением лета окна тотчас же занавешивались, дабы мечтательный взгляд не смог восхититься маленьким квадратом голубого неба. То столетие еще не открыло, что юные неокрепшие организмы нуждаются в движении и в воздухе. Десятиминутную переменку в холодном, узком коридоре считали достаточной; дважды в неделю нас водили в спортивный зал, чтобы там при наглухо закрытых окнах бессмысленно топтаться на дощатом полу, с которого при каждом шаге вздымались на целый метр облака пыли; воздавая должное

гигиене, государство таким способом осуществляло принцип «*Mens sana in corpore sano*»¹. Даже через много лет, проходя мимо этого угрюмого здания, я чувствовал облегчение при мысли, что мне не нужно больше посещать этот застенок нашей юности; когда по случаю пятидесятилетия этого августейшего заведения было организовано торжество и меня, как бывшего отличника, попросили произнести парадную речь в присутствии министра и бургомистра, я вежливо отказался. Мне не за что было благодарить эту школу, и любое слово в этом духе обернулось бы ложью.

Но учителя наши были не виноваты в том, что это учреждение работало вхолостую. Они не были ни добрыми, ни злыми, ни тиранами, но, конечно, и не товарищами, всегда готовыми прийти на помощь, а скорее бедолагами, рабски привязанными к схеме, к предписанной свыше учебной программе; они должны были выполнять свое «задание», как мы свое — это мы явственно ощущали, — и как мы были счастливы, когда после полудня раздавался звонок, который дарил свободу как нам, так и им. К нам они не питали ни любви, ни ненависти — да и с какой стати, ведь они о нас равным счетом ничего не знали, лишь очень немногих называя по имени; ведь, согласно тогдашней методе обучения, ничто не касалось их, помимо того, сколько ошибок сделал тот или иной ученик в последней работе. Они сидели наверху, за кафедрой, а мы внизу, они спрашивали, а мы отвечали, иной связи между нами не было. Ибо между учителем и учеником, между кафедрой и партией, зримым верхом и зримым низом находился невидимый барьер «авторитета», исключавший любой контакт. И если бы учитель решился рассматривать ученика как личность, которая требует особого подхода, или взялся бы, как это нынче принято, дать его «reports», то есть его характеристику, то по тогдашним временам он бы намного превысил и свои обязанности, и свои полномочия; более того — любая неофициальная беседа считалась опасной для его авторитета, ведь она поставила бы нас, учеников, чуть ли не на один уровень с ним, наставником. Ничто для меня не является лучшим показателем отсутствия какой бы то ни было духовной и подлинной связи между нашими учителями и нами, чем то, что я перезабыл все имена их и лица. С фотографической резкостью запечатлела моя память до сих пор образ кафедры и классного журнала, в который мы норовили заглянуть, потому что в нем были наши оценки; я вижу неболь-

¹ В здоровом теле здоровый дух (*лат.*).

шую красную записную книжку, в которую заносились предварительные замечания, и короткий черный карандаш, проставлявший цифры, вижу свои собственные тетради и учительские поправки в них, сделанные красными чернилами, но я не вижу ни одного лица — быть может, оттого, что перед учителем мы всегда стояли с опущенными или невидящими глазами.

Это недовольство школой не было некоей моей личной настроенностью; не могу вспомнить ни одного из своих друзей, кто не чувствовал бы с отвращением, как это унылое однообразие тормозит лучшие наши устремления и интересы, подавляет их. И лишь гораздо позднее мне стало ясно, что этот сухой и бездушный метод воспитания молодежи отражал не столько равнодушное отношение государства, сколько определенную — разумеется, тщательно скрываемую — установку. Окружавший нас мир, все свои помыслы сосредоточивший исключительно на фетише самосохранения, не любил молодежи, более того — относился к молодежи подозрительно. Кичившееся своим неуклонным «прогрессом», своим порядком, буржуазное общество провозглашало умеренность и солидность единственной истинной добродетелью человека во всех сферах жизни; рекомендовалось воздерживаться от любой поспешности в нашем продвижении вперед. Австрия во главе с ее старым императором, управляемая старыми министрами, была старым государством, которое надеялось сохранить свое положение в Европе без каких-либо усилий, исключительно неприятием любых радикальных изменений; молодые люди, всегда стихийно жаждущие скорых и коренных перемен, считались поэтому сомнительным элементом, который следует как можно дольше придерживать. И следовательно, не было никаких оснований для того, чтобы делать нам наши гимназические годы приятными; все стадии роста мы должны были преодолевать терпеливым выжиданием. Из-за этого постоянного одергивания возрастные ступени приобретали совершенно другую значимость, чем сегодня. С восемнадцатилетним гимназистом обращались как с ребенком, его наказывали, когда заставляли где-нибудь с сигаретой, ему надлежало покорно поднимать руку, если по естественной надобности требовалось покинуть парту; но и мужчина в тридцать лет считался неоперившимся; и даже сорокалетнего еще не признавали достаточно зрелым для ответственной должности. Когда — паразитическое исключение! — Густав Малер в свои тридцать восемь лет был назначен директором Королевской оперы, по всей Вене

прошли испуганный ропот и удивление: подумать только, первый институт искусства доверили «такому молодому человеку» (никто не помнил, что Моцарт в тридцать шесть, а Шуберт в тридцать один год уже закончили свой жизненный путь). Подозрение, что каждый молодой человек «недостаточно устойчив», чувствовалось тогда во всех кругах. Мой отец никогда не принял бы молодого человека в свое дело, и тому, кто, на свою беду, выглядел слишком молодо, повсюду приходилось преодолевать недоверие. Вещь невыносимая сегодня: на любом поприще молодость являлась недостатком, а старость — достоинством. Если сегодня, в нашем совершенно изверившемся мире, сорокалетние делают все, чтобы выглядеть тридцатилетними, а шестидесятилетние — сорокалетними, если сегодня молодость, энергичность, активность и самоуверенность задают тон, то в ту эпоху солидности каждый, кто хотел выдвинуться, должен был использовать любую маскировку, чтобы выглядеть старше. Газеты рекламировали средства для ускоренного роста бороды; двадцатичетырех- или двадцатипятилетние молодые врачи, которые только-только сдали экзамен, отращивали окладистые бороды и носили, даже когда в этом не было необходимости, золотые очки, лишь бы у своих первых пациентов создать впечатление «опытности». Длинный черный сюртук, солидная походка, еще лучше легкая полнота — вот что помогало создать иллюзию зрелости, и честолюбие побуждало хотя бы внешне отречься от подозреваемого в несолидности возраста; чтобы нас не принимали за гимназистов, мы уже с шестого класса вместо ранцев носили папки. Все, что теперь представляется нам в людях достойным зависти: свежесть, уверенность в себе, немногословность, пытливость, юношеский оптимизм, считалось в то ценившее «солидность» время подозрительным. Лишь имея в виду эту странную установку, можно понять, что государство использовало школу как орудие для поддержания своего авторитета. Нас прежде всего надо было воспитать так, чтобы все существующее мы почитали совершенным, мнение учителя — непогрешимым, слово отца — неоспоримым, государственные институты — идеальными и бессмертными. Второй основной принцип той педагогики, который действовал и в семье, был направлен на то, чтобы молодым людям жилось не слишком сладко. Прежде чем получить какие-нибудь права, они должны были осознать, что у них есть обязанности, и прежде всего обязанность беспрекословно повиноваться. С самого начала нам внушалось, что мы, ничего еще в жизни не совершившие и ника-

кого опыта не обретшие, должны быть благодарны уже за то, что нам предоставлено, и не иметь никаких попользований что-либо просить или требовать. Этот нелепый метод запугивания в наше время применялся с самого раннего детства. Прислуга и неумные матери грозили трех-четырехлетним детям, что позовут полицейского, если дети не перестанут плохо вести себя. В гимназические годы, когда мы приносили домой плохую отметку по какому-нибудь второстепенному предмету, нам угрожали, что заберут нас из школы и заставят учиться ремеслу — самая страшная угроза, которая только существовала в кругу буржуазии: деградация до пролетариата, — а если молодые люди, движимые страстным стремлением к знаниям, искали у взрослых ответа на самые насущные вопросы, то их останавливали высокомерным: «Этого ты еще не поймешь». И этот метод использовался повсеместно: дома, в школе и в государственных учреждениях. Молодому человеку не уставали внушать, что он еще не «созрел», что он ничего не смыслит, что ему надлежит слушать и все принимать на веру, но самому никогда не высказываться, а тем более возражать. По этой причине и страдалец учитель, который восседал наверху за кафедрой, должен был оставаться для нас неприступным идеалом, укрощающей все наши мысли и чувства «учебной программой». А каково нам в гимназии: хорошо ли, плохо ли — это никого не волновало. Фактически миссия учителя тогда сводилась к тому, чтобы по возможности приспособить нас к заведенному порядку, не повысив нашу энергию, а обуздав ее и обезличив.

Подобное психологическое или, скорее, антипсихологическое давление на молодежь может воздействовать двояко: либо парализующе, либо стимулирующе. Сколько «комплексов неполноценности» породил этот абсурдный метод воспитания, можно узнать из отчетов психоаналитиков; быть может, не случайно этот комплекс открыли именно те люди, которые сами прошли сквозь наши старые австрийские школы. Лично я благодарен этому давлению за рано проявившуюся страсть к свободе, едва ли известную в такой крайней форме нынешней молодежи, и за ненависть к любому диктату, ко всякому вещанию «сверху вниз», сопутствовавшую мне всю мою жизнь. Многие годы эта неприязнь к любой категоричности и догматизму была у меня просто непродуманной, и я уже стал забывать ее истоки. Но когда однажды во время одной из моих лекционных поездок внезапно выяснилось, что я должен выступать в огромной университетской аудитории с кафедры, с возвы-

шения, в то время как слушатели будут сидеть внизу, на скамьях — как мы, покорные и безмолвные ученики, — меня вдруг охватило чувство неловкости. Я вспомнил, как в школьные годы страдал от этого отчуждения, диктаторского, доктринерского вещания сверху вниз, и мной овладел страх, что, выступая с кафедры, я буду производить такое же обезличенное, казенное впечатление, как в свое время наши учителя на нас; из-за этого обстоятельства это выступление стало самым неудачным в моей жизни.

* * *

До четырнадцати или пятнадцати лет мы с грехом пополам довольствовались гимназией. Подтрунивали над учителями, с холодной любознательностью учили уроки. Но вот наступил час, когда школа нам окончательно опротивела и стала помехой. Незаметно свершился странный феномен: мы, вступившие в гимназию десятилетними мальчиками, за первые же четыре года духовно обогнали ее. Мы интуитивно чувствовали, что ничему существенному здесь не научимся, а предметы, которые нас интересовали, мы знали даже лучше наших бедных учителей, которые после студенческих лет не открыли по собственной воле ни одной книги. И другое противоречие с каждым днем становилось все явственнее: на скамьях, где сидели, — вернее, просиживали брюки, — мы не слышали ничего нового или такого, что представлялось бы нам достойным внимания, а за окном был город, полный всяких соблазнов, город с его театрами, музеями, книжными магазинами, университетом, музыкой, где каждый новый день приносил разные неожиданности. И наша неутоленная жажда знаний, духовная, художественная, ненасытная пытливость, не находившая в школе никакой пищи, страстно потянулась навстречу всему тому, что происходило за пределами гимназии. Сначала интерес к искусству, литературе, музыке обнаружили в себе двое или трое из нас, затем дюжина и наконец почти все.

Ибо восторженность у молодых людей словно инфекционное заболевание. Она передается в классе от одного к другому, как корь или скарлатина, и неофиты с детским тщеславным честолюбием, подгоняя друг друга, стремятся как можно быстрее превзойти остальных своими познаниями. Какое направление примет эта страсть — отчасти дело случая; появится в классе собиратель почтовых марок, и вот уже набирается добрая дюжина подобных же глупцов; если трое бредят балеринами, то и остальные будут ежедневно

толкаться у входа в оперный театр. Тремя годами после нашего шел класс, который весь одержим был футболом, а до того был класс, который увлекался социализмом и Толстым. То, что мой выпуск случайно оказался союзом фанатов искусства, возможно, стало решающим для моей жизни.

Само по себе увлечение театром, литературой и искусством было в Вене совершенно естественным: культурным событиям венские газеты отводили особое место; повсюду, куда ни приди, взрослые обсуждали оперные или драматические постановки, в витринах всех канцелярских магазинов были выставлены портреты знаменитых артистов; спорт еще считался грубым занятием, которого гимназист должен был сторониться, а кинематограф с его идолами для масс еще не был изобретен. И дома можно было не опасаться противодействия: театр и литература считались «невинными увлечениями» в противоположность карточной игре или донжуанству. Мой отец, как и другие венцы его поколения, в молодости тоже грезил театром и с тем же восторгом принимал постановку «Лознгрена» под руководством Рихарда Вагнера, как мы — премьеры Рихарда Штрауса и Герхарта Гауптмана. Само собой разумеется, что мы, гимназисты, стекались на каждую премьеру; иначе как ты будешь выглядеть в глазах более счастливых одноклассников, если на следующее утро в школе не сумеешь рассказать о каждой подробности... Если бы учителя наши не были так равнодушны к нам, то они бы заметили, что по какому-то мистическому совпадению ровно в полдень перед каждой премьерой — а мы вынуждены были занимать очередь уже в три часа, чтобы получить единственно доступные нам входные билеты, — две трети учеников заболели. Будь они повнимательней, то могли бы обнаружить еще, что под обложками наших латинских грамматик лежат стихи Рильке, а в тетради по математике переписываются замечательные стихи из одолженных книг. Каждый день мы придумывали все новые уловки, чтобы скучные школьные уроки использовать для чтения; в то время как учитель нудно рассказывал нам о «наивной и сентиментальной» поэзии Шиллера, мы под партой читали Ницше и Стриндберга, о существовании которых бравый старикан даже не подозревал. Нами, словно лихорадка, овладела страсть все знать, докопаться до всего, что происходит в искусстве и науке; после обеда мы пробирались в студенческой гуще в университет послушать лекции; мы посещали выставки, даже ходили в анатомический театр, чтобы присутствовать на вскрытии. Всюду и во все мы совали свой нос. Проникали на репети-

ции филармонического оркестра, копались в книгах у букинистов, ежедневно отыскивали новинки в витринах книжных магазинов. Но главное — читали, читали все, что попадет под руку. Читали все, что могли раздобыть в библиотеках или друг у друга. А основные новости мы узнавали в нашем «просветительском центре» — кафе.

Чтобы понять это, необходимо знать, что венское кафе представляло собой заведение особого рода, которое невозможно сравнить ни с каким другим в целом мире. В сущности, это своеобразный демократический клуб, где кто угодно, потратив гроши на чашечку дешевого кофе, может сидеть часами, спорить, писать, играть в карты, получать почту, просматривать любые газеты и журналы. В каждом мало-мальски приличном венском кафе имелись комплекты всех венских газет, и не только венских, но и немецких, а также французских, английских, итальянских, американских; получали здесь и крупнейшие литературные и художественные журналы мира, «Меркюр де Франс» не реже, чем «Нойе рундшау», «Студио» и «Берлингтон-мэгэзин». Таким образом, мы из первых рук узнавали обо всем, что происходило в мире, о каждой новой книге, о каждой премьере, где бы она ни состоялась, и сравнивали критические отзывы во всех газетах; ничто, быть может, так не способствовало бурной интеллектуальной жизни и осведомленности австрийца в международных делах, как то, что в кафе он мог так всесторонне ознакомиться с событиями в мире и тут же обсудить их в кругу друзей. Мы ежедневно просиживали там часами, и ничто не ускользало от нас. Ибо благодаря общности наших интересов мы следили за *orbis pictus*¹ событий в мире искусства не двумя, а двадцатью или сорока глазами; что пропустил один, высмотрел другой; в нашем неуемном познании нового и новейшего мы по-детски хвастливо и с почти спортивным азартом стремились обставить один другого и прямо-таки ревновали друг друга к сенсациям. Когда, например, при обсуждении тогда еще запрещенного Ницше кто-то из нас вдруг заявлял с нарочитым превосходством: «А ведь в идее эготизма Кьеркегора куда больше заложено», мы тотчас лишались покоя. «Кто такой Кьеркегор, о котором Х. знает, а мы нет?» На следующий день мы бросались в библиотеку, чтобы раздобыть книги этого давно забытого датского философа, ибо не знать чего-то, что знал другой, было стыдно; первооткрытие именно последнего, самого нового, самого экстравагантно-

¹ Здесь: калейдоскоп (лат.).

го, необычного, чего еще никто — а прежде всего официальная литературная критика наших добропорядочных изданий — не раскусил, — это было нашей страстью (которой я лично предавался еще долгие годы). Знать надлежало именно то, что еще не признано, нашу особую приязнь вызывало лишь труднодоступное, вычурное, своеобразное и неповторимое; поэтому самое загадочное, самое далекое от нашей жизни не могло укрыться от нашей коллективной неизбывной пытливости. Стефан Георге и Рильке, к примеру, в нашу гимназическую пору издавались тиражом двести-триста экземпляров, из которых максимум три или четыре нашли дорогу в Вену; ни один книготорговец не мог их предложить, ни один из официальных критиков ни разу не упомянул имя Рильке. Но мы каким-то чудом знали каждую его строку. Безусые, неоперившиеся юнцы, днями просиживавшие за школьной партой, действительно составляли идеальную публику, о которой может только мечтать молодой поэт, — любознательную, критически настроенную, способную восхищаться. Ибо наш энтузиазм был беспределен: во время уроков, по пути в школу и из школы, в кафе, в театре, на прогулке мы, подростки, годами только и говорили что о книгах, картинах, музыке, философии; звездой на нашем небосводе был всякий, кто привлекал внимание публики, будь то актер или дирижер, писатель или журналист. Я чуть не испугался, когда, годы спустя, нашел у Балзака такие слова о его молодости: «Les gens célèbres étaient pour moi comme des dieux qui ne parlaient pas, ne marchaient pas, ne mangeaient pas comme les futres hommes»¹. Ибо точно так же чувствовали и мы. Увидеть на улице Густава Малера было событием, которое на следующее утро гордо преподносилось друзьям как личный триумф, а когда однажды меня, мальчика, представили Иоганнесу Брамсу и он дружески похлопал меня по плечу, несколько дней голова у меня шла кругом. В свои двенадцать лет я, правда, не совсем точно представлял, что именно создал Брамс, но сама его слава, флюиды творчества оказывали потрясающее воздействие. Премьера Герхарта Гауптмана в «Бургтеатре» переполошила, еще за несколько дней до начала репетиций, весь наш класс; мы вертелись рядом с актерами и статистами, чтобы первыми — раньше всех остальных! — узнать сюжет пьесы и состав исполнителей; мы стриглись (не боюсь говорить и о наших глупостях) у парикмахера из

¹ Великие люди были для меня богами, которые не разговаривали, не ходили и не ели, подобно простым смертным (*франц.*).

«Бургтеатра», чтобы разведать что-нибудь о наших любимых актерах, а одного ученика из младшего класса особенно обхаживали только потому, что его дядя служил осветителем в оперном театре и благодаря ему иногда контрабандой проникали на репетиции, где, оказавшись за кулисами, испытывали страх почище того, что чувствовал Данте, вступая в священные круги Рая. Настолько мощно действовало на нас притяжение славы, что, и преломленная сквозь самые отдаленные грани, она вызывала в нас благоговение; бедная старушка казалась нам сверхчеловеческим существом только потому, что она приходилась внучатой племянницей Францу Шуберту, и на улице мы с почтением глядели вслед даже камердинеру Йозефа Кайнца, потому что он имел счастье находиться рядом с любимейшим и гениальнейшим артистом.

* * *

Я знаю, конечно, сколько в этом всеядном энтузиазме таилось нелепости, сколько простого обезьянничанья, сколько элементарного желания перещеголять всех, сколько детского честолюбия почувствовать себя, благодаря увлечению искусством, высокомерно презиращим пошлое окружение родственников и учителей. Но еще и сегодня я поражаюсь, как много мы, молодые люди, знали благодаря этой всепоглощающей страсти к литературе, как рано, благодаря этим нескончаемым спорам и скрупулезному анализу, мы обрели способность критически мыслить. В семнадцать лет я не только был знаком с каждым стихотворением Бодлера или Уолта Уитмена, но и знал многие наизусть, я думаю, что за всю остальную жизнь не читал так много, как в эти школьные и университетские годы. Имена, которые получили всеобщее признание лишь десятилетия спустя, для нас были совершенно привычны, и даже самое незначительное задерживалось в памяти, поскольку добывалось с трудом. Однажды я рассказал моему уважаемому другу Полю Валери, сколько же лет моему литературному знакомству с ним: еще тридцать лет назад я читал его стихи и любил их. Валери дружески улыбнулся мне: «Не фантазируйте, дорогой друг! Мои стихи появились лишь в 1916 году». Но затем он поразился, когда я до мельчайших подробностей описал ему обложку небольшого литературного журнала, в котором мы в 1898 году прочли его первые стихи. «Но ведь их едва ли кто-нибудь знал в Париже, — воскликнул он удивленно, — как же вы смогли раздобыть

их в Вене?» «Точно так же, как вы, будучи гимназистом, раздобыли в вашем провинциальном городе стихи Малларме, которые официальной литературе тоже не были известны», — отвечал я. И он согласился со мной: «Молодые люди открывают для себя поэтов, потому что хотят их открыть». Мы в самом деле чуяли ветер, прежде чем он пересекал границу, потому что всюду совали свой нос. Мы находили новое, потому что желали нового, потому что испытывали голод по отношению к тому, что принадлежало нам, и только нам, а не миру наших отцов, окружавшему нас. Молодые, подобно некоторым животным, способны предчувствовать перемену погоды, и вот наше поколение, гораздо раньше, чем наши учителя и университеты, ощутило, что вместе с уходящим столетием кончается что-то и в воззрениях на искусство, что начинается революция или по меньшей мере переоценка ценностей. Добрые солидные мастера эпохи наших отцов — Готфрид Келлер в прозе, Ибсен в драме, Иоганнес Брамс в музыке, Лейбль в живописи, Эдуард фон Гартман в философии, — на наш взгляд, несли в себе всю размеренность мира надежности; несмотря на свой технический, свой нравственный уровень, они нас больше не интересовали. Мы инстинктивно чувствовали, что их холодный, хорошо темперированный ритм чужд нашей беспокойной крови и уже не гармонирует с ускоренным ритмом времени. На счастье, как раз в Вене жил самый прозорливый ум молодого поколения немцев, Герман Бар, который неукротимо и страстно отстаивал все новое и непривычное: с его помощью в Вене был открыт «Сецессион», в котором выставляли парижских импрессионистов и пуантилистов, норвежца Мунка, бельгийца Ропса и прочих новаторов; тем самым была открыта дорога их непризнанным предшественникам — Грюневальду, Греко и Гойе. Вдруг, благодаря Мусоргскому, Дебюсси, Штраусу и Шёнбергу, мы научились не только видеть, но и слышать по-новому новые ритмы и тембры в музыке; в литературу с Золя, Стриндбергом и Гауптманом пришел реализм, с Достоевским — славянский демонизм, с Верхарном, Рембо, Малларме — неизвестная ранее одухотворенность и изысканность лирического поэтического искусства. Нище взорвал философию, появилась более смелая, более свободная архитектура, которая ратовала против излишеств, за простоту и целесообразность. Старый удобный порядок вдруг был нарушен, его нормы «эстетически прекрасного», до сих пор считавшиеся непогрешимыми, были поставлены под сомнение, и в то время, как официальные критики

наших «солидных» буржуазных газет, зачастую приходя в ужас от дерзких экспериментов, бранными словами «декадентский» или «анархистский» пытались остановить неудержимое течение, мы, молодые люди, с восторгом бросались в прибой там, где он бурлил яростнее всего. У нас было такое чувство, что началось время для нас, наше время, когда наконец вступает в свои права молодежь. Таким образом, наша беспокойно ищущая и неумная страсть вдруг приобрела смысл: мы, молодые люди, со школьной скамьи могли участвовать в этих неистовых и часто жестоких битвах за новое искусство. Где бы ни ставился эксперимент, будь то премьера Ведекинда или чтение новых стихов, мы непременно были тут как тут со всей силой не только наших душ, но и рук; сам видел, как на премьере одного из ранних атональных произведений Арнольда Шёнберга, когда какой-то господин яростно зашипел и свистнул, мой друг Бушбек выдал ему столь же яростную затрепину; повсюду мы были застрельщиками и авангардом нового искусства только потому, что оно было новым, потому, что пытались изменить мир для нас, чей черед жить наступил. Мы чувствовали: *nostra res agitur*¹.

Но было и еще кое-что, безгранично интересовавшее и привлекательное для нас в этом искусстве: оно было почти без исключений искусством молодых. В поколении наших отцов поэт или музыкант завоевывал признание лишь в том случае, если «оправдывал» себя, если прибавлялся к спокойному, солидному течению буржуазного вкуса. Все, кого нас учили почитать, держали себя респектабельно. Они — Вильбрандт, Эберс, Феликс, Дан, Пауль Гейзе, Ленбах, все эти давно забытые ныне любимцы того времени, — носили красивые, с проседью бороды поверх поэтических бархатных блуз. Они фотографировались с вдохновенным взглядом, всегда в «достойных» и «поэтических» позах, они вели себя как придворные советники и сановники и, соответственно, любили ордена. Молодые же поэты, художники или музыканты в лучшем случае аттестовались как «многообещающие таланты», а заслуженное признание откладывалось до лучших времен. Та осмотнительная эпоха не любила преждевременно одаривать благосклонностью тех, кто не зарекомендовал себя долготетним «солидным» свершением. Новые поэты, музыканты, художники были все молody: Герхарт Гауптман, внезапно всплывший из полной безвестности, в тридцать лет покорил немецкую сцену, а

¹ Дело касается нас (*лат.*).

Стефан Георге и Райнер Мария Рильке, оба двадцати трех лет от роду — раньше, стало быть, чем достигли по австрийским законам совершеннолетия, — обрели литературную славу и фанатичных приверженцев. В нашем родном городе за какую-нибудь ночь возникла группа «Молодая Вена»: Артур Шницлер, Герман Бар, Петер Альтенберг — это они утонченностью всех художественных средств впервые смогли придать самобытной австрийской культуре европейское значение. Но была *одна* личность, более всех других чаровавшая, искушавшая, возбуждавшая и вдохновлявшая нас, был удивительный и единственный феномен Гуго фон Гофманстала: в облике чуть ли не ровесника наша молодежь увидела воплощение не только своих высочайших чаяний, но и абсолютного поэтического совершенства.

* * *

Явление юного Гофманстала было и будет одним из великих чудес раннего совершенства; я не знаю в мировой литературе ни одного примера, чтобы в столь юном возрасте кто-либо, кроме Китса и Рембо, с таким безупречным мастерством владел языком, достигал таких высот возвышенной трепетности, так насыщал поэтической субстанцией самую случайную строку, как этот блистательный гений, который уже на шестнадцатом или семнадцатом году жизни своими неповторимыми стихами и до сих пор еще не превзойденной прозой навечно вписал свое имя в анналы немецкого языка. Его яркий дебют и ранняя зрелость были чудом, какое едва ли повторится в судьбе одного поколения. Вот почему те, кто впервые узнал о нем, дивились неправдоподобному его появлению как чему-то сверхъестественному. Герман Бар рассказывал мне, как был потрясен, когда получил для своего журнала не откуда-нибудь, а из самой Вены сочинение «какого-то Лориса» — печататься под своим именем гимназистам не разрешалось; среди корреспонденций со всего света ему никогда еще не встречалось произведение, в котором такие сокровища мысли передавались бы столь трепетно благородным языком и вместе с тем так легко и непринужденно. «Что за «Лорис», кто этот неизвестный?» — спрашивал он себя. Несомненно, немолодой человек, который годами в безмолвии накапливал познания и в таинственном затворничестве претворял нежнейшую эссенцию языка в почти чувственную магию. И такой мыслитель, столь взысканный природой поэт живет в этом же городе, и он о нем никогда не слышал! Бар тотчас

написал незнакомцу и условился о встрече в кафе — знаменитом кафе Гринштайдля, резиденции молодой литературы. Неожиданно к его столу легким шагом подошел стройный, еще безусый гимназист в коротких подростковых брюках и отрывисто произнес высоким ломающимся голосом: «Гофмансталь! Я и есть Лорис». Даже годы спустя Бар волновался, рассказывая о том, как он был ошеломлен. Сначала он не захотел поверить. Подобным искусством, подобной широтой и глубиной видения, таким поразительным знанием жизни владеет гимназист, который еще и не начал ее! И почти то же самое мне рассказывал Артур Шницлер. В ту пору он еще был врачом, поскольку первые литературные успехи не гарантировали ему прожиточного минимума; но он уже считался главой «Молодой Вены», и еще более молодые часто обращались к нему за советом и оценкой. Где-то в гостях он познакомился с долговязым юношей-гимназистом, который обращал на себя внимание своим быстрым умом, и, когда этот гимназист попросил позволения прочитать ему небольшую пьесу в стихах, он охотно пригласил его к себе в свою холостяцкую квартиру, не питая, впрочем, особых надежд: пьеса гимназиста, сентиментальная или псевдоклассическая, только и всего, подумал он. И пригласил нескольких друзей. Гофмансталь явился в своих коротких подростковых брюках, весьма взволнованный и смущенный, и начал читать. «Через несколько минут, — рассказывал Шницлер, — мы вдруг обратились в слух и с удивлением обменивались почти испуганными взглядами. Стихов подобного совершенства, подобной безупречной пластики, подобной музыкальной проникновенности мы никогда не слышали ни от одного живущего, да едва ли и верили, что после Гёте такое возможно. Но еще более поразительным, чем неповторимое (и с тех пор в немецком языке никем не достигнутое) мастерство формы, было знание мира, которое у мальчика, целыми днями просиживавшего за партией, могло исходить лишь из непостижимой интуиции. Когда Гофмансталь закончил, все продолжали молчать». «У меня, — говорил Шницлер, — было такое чувство, что я впервые в жизни встретился с прирожденным гением, и никогда с тех пор я не испытывал такой определенной уверенности». Тот, кто подобным образом начал в шестнадцать — вернее, не начал, а достиг совершенства в самом начале, — должен был стать вровень с Гёте и Шекспиром. И действительно, казалось, что совершенству нет предела: за этой первой стихотворной драмой («Вчера») последовал грандиозный фрагмент из «Смерти Тициана», в

котором немецкий язык поднялся до итальянского благозвучия, а затем пошли стихи, каждый из которых сам по себе был для нас событием — и сегодня, спустя десятилетия, я помню их наизусть слово в слово, — появились маленькие драмы и те сочинения, которые волшебным соединили богатство знания, безупречное понимание искусства, широту мировоззрения — необозримое пространство, сверхъестественным образом сжатое на нескольких десятках страниц; все, что писал этот гимназист, а потом студент университета, было как искрящийся изнутри кристалл, темный и сверкающий одновременно. Поэзия, проза покорялись его рукам, как ароматный пчелиный воск, любое поэтическое произведение каким-то неповторимым чудом получало свой верный размер, ни на стопу длиннее или короче; всегда ощущалось, что по этим дорогам в неведомое его загадочно ведет нечто стихийное, нечто непостижимое.

Насколько завораживал нас, воспитанных на почитании духовных ценностей, такой феномен, я едва ли в состоянии передать. Ибо что может приводить молодежь в большой восторг, чем сознание, что рядом с тобой, бок о бок, среди таких же, как ты, живой, неповторимый, чистый, возвышенный поэт, чем возможность взглянуть на того, кого воображал себе всегда лишь в облике Гёльдерлина, Леопарди или Китса, недостижимым, полумечтой, полувидением? Поэтому я так отчетливо помню тот день, когда впервые увидел Гофмансталя *in persona*. Мне было шестнадцать лет, и, так как мы с неизбывным вниманием следили за всем, что бы ни делал наш неподражаемый кумир, меня чрезвычайно взволновало неприметное сообщение в газете о том, что в Клубе ученых состоится его доклад о Гёте (мы не могли себе представить, что такой гений выступает в такой скромной обстановке); в нашем гимназическом преклонении мы считали, что самый большой зал будет переполнен, если сам Гофмансталь снисходит до появления на публике. И это событие снова подтвердило мне, насколько мы, зеленые гимназисты, опережали широкую публику и официальную критику в нашей оценке, в нашей — и не только в этом случае — оправдавшей себя чуткости ко всему нетленному; в зале набралось человек сто — сто двадцать, так что при всем моем нетерпении все же не стоило приходить за полчаса до начала, чтобы обеспечить себе место. Некоторое время мы ждали, как вдруг между рядами к сцене прошел стройный, скромно одетый молодой человек и так внезапно заговорил, что у меня едва ли было время хорошо разглядеть его. Гофмансталь благодаря

своим мягким, еще не оформившимся усам и своей гибкой фигуре выглядел еще моложе, чем я ожидал. Его по-итальянски смуглое лицо с острым профилем казалось нервно напряженным, и этому впечатлению способствовало беспокойное выражение его бархатно-темных, очень близоруких глаз; он заговорил сразу, словно пловец, бросившийся в знакомый поток, и чем дольше он говорил, тем свободнее становились его жесты, увереннее осанка; и стоило ему оказаться в родной стихии, как начальная скованность (а это я не раз отмечал позднее и в частных беседах) сменилась изумительной легкостью и окрыленным вдохновением. Лишь вначале я еще замечал, что голос его некрасив, подчас очень близок к фальцету и легко срывается, но вот речь свободно вознесла нас так высоко, что мы уже не слышали голоса и почти не воспринимали лица. Он говорил без конспекта, быть может, без продуманного плана, но каждая фраза благодаря этому его природному чувству формы имела совершенную законченность. Ослепительно разворачивались самые смелые антитезы, чтобы затем разрешиться ясной и неожиданной формулировкой. Невольно возникало чувство, что все услышанное есть лишь случайная частичка неизмеримого целого, что он, вдохновенно паря в высочайших сферах, может говорить так часами, не обедняя себя и не снижая своего уровня. В последующие годы и в частных беседах я ощущал волшебную силу этого «первооткрывателя раскатистого песнопения и искрометного мастерского диалога», как о нем отзывался Стефан Георге; он был беспокоен, разнообразен, чувствителен, не защищен от любого движения воздуха, часто угрюм и неприветлив в личном общении, и сблизиться с ним было нелегко. Однако, когда его начинало что-то интересовать, он срабатывал, как запальное устройство: единым порывом, подобным взлету ракеты, огненной и стремительной, он возносил любую дискуссию на известную *ему одному* и *ему одному* доступную орбиту. Пожалуй, только с Валери, мыслящим более сдержанно, более прозрачно, да еще с неистовым Кайзерлингом мне доводилось беседовать на таком интеллектуальном уровне, как с Гофмансталем. В эти поистине вдохновенные мгновения его демонических прозрений все становилось предметно близким: каждая книга, которую он прочел, каждая виденная им картина, каждый ландшафт; одна метафора соединялась с другой так же естественно, как рука с рукой, и вдруг над предполагаемым горизонтом как бы поднимался занавес и открывалась неведомая перспектива. На той лекции, как и позднее при

личных встречах, я действительно ощущал *flatus*¹ — живительное, окрыляющее воздействие ни с чем не соизмеримой величины, чего-то такого, что невозможно постичь разумом.

В определенном смысле Гофмансталь никогда уже не смог превзойти неповторимое изначальное чудо, каким он был с шестнадцати примерно до двадцати четырех лет. Я не менее восхищаюсь некоторыми его поздними произведениями, великолепными сочинениями, фрагментом «Андреас», этим *torso*², быть может, прекраснейшего романа на немецком языке, и отдельными героями его драм, но при усилившемся пристрастии к реалистическому театру и к интересам своего времени, при всей мудрости и размахе его планов, нечто от сомнамбулической точности, от чистого вдохновения тех первых юношеских созданий, а стало быть, от упоения и экстаза нашей собственной юности ушло навсегда. Таинственное наитие, свойственное несовершеннолетним, подсказывало нам, что это чудо нашей юности неповторимо и невозвратно.

* * *

Бальзак несравненным образом показал, как пример Наполеона наэлектризовал во Франции целое поколение. Ослепительное превращение маленького лейтенанта Бонапарта во властелина мира означало для него не только триумф личности, но и победу молодости. Оказалось, что не обязательно родиться принцем или князем, чтобы достичь власти, что можно происходить из относительно неродовитой или даже бедной семьи и все же в двадцать четыре года стать генералом, в тридцать — повелителем Франции, а вскоре — почти всего мира; и этот неповторимый успех отрывал сотни людей от их скромных занятий и провинциальных городов — пример лейтенанта Бонапарта кружил головы всей молодежи. Он заразил их чрезмерным честолюбием; он создал генералов великой армии, героев и выскочек *Comédie Humaine*³. Молодежь всегда увлекает за собой один-единственный молодой человек, в какой бы области он ни достиг недостижимого, самим фактом своего успеха. В этом смысле пример Гофмансталя и Рильке давал нам, еще более юным, невероятный стимул для нашей еще

¹ Дуновение, веяние (*лат.*).

² Здесь: фрагмент, отрывок (*итал.*).

³ Человеческой комедии (*франц.*).

не перебродившей энергии. Не надеясь на то, что хоть один из нас может повторить чудо Гофмансталя, мы все же находили поддержку в самом факте его существования. Оно доказывало непосредственно, зримо, что и в наше время, в нашем городе, среди нас возможно появление поэта. Его отец, директор банка, в конце концов, происходил из той же еврейской буржуазной среды, что и мы; гений вырос в таком же, как и мы, доме, с такой же мебелью и такой же сословной моралью, ходил в такую же стерильную гимназию, учился по тем же учебникам и просидел восемь лет за такой же партой, столь же нетерпеливый, как и мы, столь же преданный всем духовным ценностям; и надо же, в то самое время, когда он протирал на этих партах брюки и топтался в гимнастическом зале, своим взлетом в безграничное ему удалось преодолеть узость этого мирка, города и семьи. В определенном смысле Гофмансталь доказал нам *ad oculos*¹, что и в нашем возрасте и даже в атмосфере застенка австрийской гимназии и в самом деле можно создавать поэзию, и поэзию истинную. И более того, можно — невероятный соблазн для юной души! — печататься и стать знаменитостью, хотя в школе тебя считают еще недорослем, не стоящим внимания.

Рильке, напротив, подавал пример другого рода, уравновешивая исключительность Гофмансталя. Ибо соперничать с Гофмансталем даже самому дерзновенному из нас показалось бы кощунством. Мы знали: он — неподражаемое чудо ранней зрелости, которое не может повториться, и когда мы, шестнадцатилетние, сравнивали наши стихи со стихами нашего кумира, написанными в том же возрасте, нас передергивало от стыда: мы чувствовали ничтожность наших знаний рядом с этим гимназистом, на орлиных крыльях воспарившим в духовный космос. Рильке, хотя он начал писать стихи и публиковаться так же рано, в семнадцать или восемнадцать лет, был совсем другим. Эти ранние стихи Рильке по сравнению со стихами Гофмансталя, да и без сравнения, были незрелыми, детскими и наивными, в них только при снисходительном отношении можно было обнаружить золотые крупички таланта. Лишь со временем, к двадцати двум — двадцати трем годам, этот прекрасный, бесконечно любимый нами поэт стал складываться как личность; это было для нас невероятным утешением. Не обязательно, значит, быть таким, как Гофмансталь, сложившийся уже в гимназии, можно, подобно Рильке, искать, пробовать, рас-

¹ Воочию (лат.).

ти, совершенствоваться. Не следует сразу отступать только потому, что написанное тобой недостаточно хорошо, незрело, негармонично, можно попытаться повторить в себе вместо чуда Гофмансталя более скромный, более естественный взлет Рильке.

А то, что мы рано начали писать или сочинять, музицировать или декламировать, было вполне естественно; любое пассивное увлечение не свойственно молодежи, потому что она не только воспринимает впечатления, но и плодотворно отзывается на них. Любить театр означает для молодых по меньшей мере мечтать о том, чтобы самим творить в театре или для театра. Восторженное восхищение талантом во всех его проявлениях неминуемо ведет к тому, чтобы заглянуть в себя самого: не отыщется ли отпечаток или задатки избранный в еще не прояснившейся душе? Так вышло, что в нашем классе под влиянием венской атмосферы и особенностей эпохи влечение к художественному творчеству стало прямо-таки эпидемическим. Каждый искал в себе талант и пытался развить его. Четверо или пятеро из нас хотели стать актерами. Они подражали голосам артистов «Бургтеатра», без усталости читали и декламировали, тайно брали уроки актерского мастерства, разыгрывали на переменах целые сцены из классиков, а товарищи составляли заинтересованную, но строгую публику. Двое или трое были великолепно подготовлены в музыкальном отношении, но еще не решили, станут ли они композиторами, исполнителями или дирижерами; им я благодарен за первое знакомство с новой музыкой, которая на программных концертах филармонического оркестра еще не звучала, — а они в свою очередь получали от нас тексты для своих песен и хоров. Еще один одноклассник — сын знаменитого в то время салонного художника — заполнял на уроках наши тетради портретами будущих гениев. Но гораздо сильнее было увлечение литературой. Благодаря взаимному стремлению к скорейшему совершенству и постоянной взаимной детальной критике уровень, которого мы достигли к семнадцати годам, намного превосходил дилетантский, а у некоторых действительно приближался к подлинному творчеству, что подтверждалось хотя бы тем, что наши произведения принимались не только сомнительными провинциальными изданиями, но и ведущими иллюстрированными журналами новой волны, печатались и — это убедительнейшее доказательство — даже оплачивались. Один из приятелей, которого я почитал гением, блистал на первой странице в «Пане», великолепном иллюстрированном

журнале, рядом с Демелем и Рильке; другой, А. М., под псевдонимом Август Элер нашел ход в самый недоступный, самый эклектичный из всех толстых немецких журналов, в «Блеттер фюр ди кунст», куда Стефан Георге допускал лишь узкий избранный круг. Третий, вдохновленный примером Гофмансталя, писал драму о Наполеоне; четвертый развивал новую эстетическую теорию и писал многообещающие сонеты; я нашел пристанище в «Гезельшафт» — ведущем модернистском журнале, и в «Цукунфт» Максимилиана Хардена, играющем значительную роль в политической и культурной жизни Германии еженедельнике. Оглядываясь сегодня назад, со всей объективностью должен отметить, что объем наших знаний, совершенство литературной техники, художественный уровень были для семнадцатилетних поистине поразительны и возможны лишь благодаря вдохновляющему примеру фантастически ранней зрелости Гофмансталя, который побуждал нас, желавших хоть в чем-нибудь преуспеть перед другими, к крайнему напряжению всех сил. Мы владели всеми искусными приемами, самыми смелыми средствами выразительности языка, не раз и не два мы испробовали технику каждой стихотворной формы, все стили, от пиндарической выпренности до безыскусного слога народной песни; в ежедневном обмене своей продукцией мы указывали друг другу малейшие погрешности и обсуждали каждый метрический нюанс. В то время как наши brave учителя, еще ничего не подозревая, красными чернилами вставляли в наши школьные сочинения недостающие запятые, мы критиковали друг друга с такой строгостью, знанием дела и основательностью, как ни один из официальных литературных столпов наших крупных ежедневных изданий, разбирая классические шедевры; в последние школьные годы благодаря нашей одержимости мы оставили далеко позади многоопытных и известных критиков — и в смысле профессионального кругозора, и по части литературного мастерства.

Это правдивое изображение нашей ранней литературной зрелости может создать впечатление, что мы были каким-то особенным классом вундеркиндов. Отнюдь. В десятке соседних венских школ того времени можно было наблюдать тот же феномен не меньшей одержимости и ранних дарований. Случайностью это быть не могло. Сказывалась особая счастливая атмосфера, обусловленная художественным «гумусом» города, время политического затишья — то стечение обстоятельств, когда на рубеже веков возникает новая духовная и литературная ориентация, которая органи-

чески соединилась в нас с внутренней потребностью творить, что, собственно говоря, почти обязательно на этом жизненном этапе. В пору созревания любовь к поэзии или тяга к сочинительству приходят к каждому молодому человеку, но в большинстве случаев лишь мимолетным порывом, и редко подобное влечение не проходит с юностью, ведь оно само — эманация юности. Из пяти «актеров» нашего класса никто так и не попал на сцену настоящего театра, поэты «Пана» или «Блеттер фюр ди кунст» после того, первого, поразительного взлета выдохлись и превратились в ограниченных адвокатов или чиновников, которые сегодня, возможно, с грустью или иронией посмеиваются над своими давнишними притязаниями; я единственный, в ком творческая страсть не иссякла и для кого она стала смыслом и содержанием всей жизни. Но с какой благодарностью вспоминаю я еще о нашем братстве! Как много оно помогло мне! Как рано эти пылкие споры, эта борьба за первенство, это общее восхищение и критика помогли мне набить руку и обострили чувства, какую широкую перспективу духовного космоса открыли, как окрыленно возвысили нас всех над скудостью и угрюмостью нашей школы!

«Ты, благодатное искусство, в минуты тяжкие...» — всегда, когда звучит бессмертная песня Шуберта, я воочию представляю нас поникшими на наших жалких партах и вижу, как мы возвращаемся домой — с сияющими глазами, читаем стихи наизусть, страстно спорим о них, забыв обо всем на свете, воистину «погруженные в лучший мир».

Подобная одержимость искусством, такая чрезмерная переоценка эстетического, разумеется, не могли не сказаться на других интересах, присущих нашему возрасту. И если сегодня я спрошу себя, когда мы, до предела загруженные школьными и частными уроками, находили время читать все эти книги, то станет ясно, что в основном это делалось за счет сна и, стало быть, в ущерб нашему физическому самочувствию. Хотя каждое утро мне надо было вставать ровно в семь, я никогда не откладывал книгу раньше часа или двух ночи — скверная привычка, которая, между прочим, с тех пор укрепилась во мне: как бы ни было поздно, я должен еще час или два перед сном почитать. Так, не могу припомнить, чтобы меня не выпроваживали в школу в последнюю минуту — всегда невыспавшегося, наскоро умытого, заглазывающего на ходу бутерброд; неудивительно, что при всей нашей интеллектуальности мы выглядели худосочными и зелеными, как неспелые фрукты, да, кроме того, неряшливо одетыми. Ведь каждый геллер наших кар-

манных денег уходил на театр, концерты и книги, и вообще мы вовсе не стремились к тому, чтобы нравиться девушкам, — наши притязания шли гораздо дальше. Прогулка с девушкой казалась нам потерянным временем, так как мы в нашей интеллектуальной заносчивости считали противоположный пол духовно неполноценным и не желали растрачивать свое драгоценное время на глупую болтовню. Сегодняшнему молодому человеку будет нелегко понять, до какой степени мы игнорировали и даже презирали все, что связано со спортом. Разумеется, волна увлечения спортом в прошлом столетии еще не докатилась из Англии до нашего континента. Не было еще стадионов, где сотысячная толпа ревет от восторга, когда один боксер наносит другому удар в челюсть; газеты еще не посылали корреспондентов, чтобы те с Гомеровым вдохновением посвящали хоккейному матчу целые полосы. Бои на ринге, атлетические союзы, рекорды штангистов считались в наше время делом лишь окраин, где мясники и грузчики составляли постоянную публику; один только конный спорт, как более аристократический, более благородный, привлекал несколько раз в году на бега «высшее общество», но отнюдь не нас, кому всякое занятие спортом казалось пустой тратой времени. В тринадцать лет, когда я заразился этой интеллектуально-литературной инфекцией, я перестал кататься на коньках и тратил на книги все деньги, выдаваемые родителями на уроки танцев, в восемнадцать я еще не умел ни плавать, ни играть в теннис; и по сей день я не умею ездить на велосипеде, управлять машиной, а в разговоре о спорте любой десятилетний малыш способен посрамить меня. И ныне, в 1941 году, я не постигаю разницы между бейсболом и футболом, между хоккеем и водным поло, а спортивный раздел газеты с его непонятными цифрами кажется мне написанным по-китайски. По отношению ко всем рекордам скорости и выносливости я непоколебимо придерживаюсь точки зрения персидского шаха, который, когда его вздумали пригласить на дерби, сказал по-восточному мудро: «Зачем? Я же знаю, что одна лошадь способна обогнать другую. Какая — мне безразлично». Игры мы презирали не меньше, чем физическую культуру: зряшное препровождение времени; разве что шахматы удостоивались нашего внимания, потому что требовали усилий ума; и даже — что еще более дико — нас, хотя мы чувствовали себя настоящими или, во всяком случае, будущими поэтами, мало волновала природа. В свои двадцать лет я почти не знал прекрасных окрестностей Вены; лучшие и даже самые жаркие летние

дни, когда город становится безлюдным, имели для нас особую привлекательность, потому что тогда мы получали в нашем кафе газеты и журналы гораздо быстрее и в большем количестве. Мне потребовались годы и десятилетия, чтобы чем-то уравновесить эту по-детски неумную одержимость и некоторым образом компенсировать неизбежное отставание в физическом развитии. Но в целом я никогда не раскаивался в этом фанатизме, этом всепоглощающем стремлении видеть и чувствовать. Оно отравило мою кровь страстью к духовному, от которой я не хотел бы избавиться, и все, что я прочел и запомнил, основано на прочном фундаменте тех лет. То, что недобрал в мускулатуре, можно потом наверстать, но тяга к духовным высотам, восприимчивость души развиваются только в эти решающие годы становления, и лишь тот, кто рано научился раскрывать свою душу, способен позднее вобрать в нее целый мир.

* * *

Вызревание в искусстве чего-то нового, чего-то дерзкого, более проблематичного, более новаторского, чем то, что устраивало наших родителей и нашу среду, стало основным содержанием нашей юности. Но, захваченные одной стороной действительности, мы не заметили, что преобразования в области эстетики были лишь следствием и предвестием гораздо более значительных перемен, которым суждено было потрясти мир наших отцов, мир надежности, и в конце концов его разрушить. Необычайная перегруппировка сил совершалась в нашей старой, сонной Австрии. Широкие массы, в течение десятилетий безмолвно и безропотно позволявшие либеральной буржуазии повелевать ими, вдруг взволновались, стали объединяться и заявлять о своих правах. Именно в последнее десятилетие в затишье размеренной жизни, точно ураган, ворвалась политика. Новый век мечтал о новом порядке, о новой эпохе.

Первым из крупных массовых движений в Австрии стало социалистическое. До этого так называемое «всеобщее выборное право» принадлежало только состоятельным людям, тем, кто обладал определенным капиталом. Избранные этим классом адвокаты и землевладельцы, однако, честно и искренне полагали, что в парламенте являются депутатами и представителями народа. Они были очень горды своей образованностью, а подчас — и такое

бывало — и учеными степенями; они заботились о званиях, о манерах и хорошей дикции; поэтому заседания парламента напоминали дискуссионные вечера в благородном клубе. Благодаря своей либеральной вере в достижение идеального прогресса путем терпимости и благоразумия эти буржуазные демократы были непритворно убеждены, что мелкими уступками и постепенными реформами самым наилучшим способом можно способствовать благу всех подданных. Но они совершенно забыли, что представляют лишь пятьдесят или сто тысяч состоятельных людей, а не сотни тысяч и миллионы, населяющие страну. Между тем машина завертелась и на промышленных предприятиях объединила ранее разобщенных рабочих; под руководством видного деятеля, доктора Виктора Адлера, в Австрии образовалась социалистическая партия, требовавшая для всех всеобщего и равного избирательного права; и едва это требование удовлетворили — или, скорее, вынуждены были удовлетворить, — как стало очевидным, насколько непрочным, хотя и неопенимым направлением был либерализм. Из политической жизни общества исчезла благожелательность, открыто столкнулись разные интересы, началась борьба.

Я еще помню тот день моего раннего детства, который стал поворотным в решительном подъеме социалистического движения; рабочие, чтобы впервые наглядно показать свою силу и мощь, призвали объявить Первое мая праздником трудящихся масс и единой колонной направиться в Пратер, и именно по главной аллее, прекрасной широкой каштановой аллее, где обычно в этот день на карнавальном гулянье останавливались лишь кареты и экипажи аристократии и богатых горожан. Ужас парализовал при этом известии добропорядочное либеральное бюргерство. Слово «социалист» имело тогда в Германии и Австрии несколько кровавый и террористический оттенок, как до этого слово «якобинец», а позднее — «большевик»; сначала никто не хотел верить, что этот красный сброд пройдет от окраин до центра, не поджигая дома, не мародерствуя и не совершая других гнусностей. Повсюду распространилась паника. В районе Пратерштрассе расположилась вся городская полиция и полиция пригородов, военные части находились в повышенной боевой готовности. Ни один фиакр, ни один экипаж не отваживались приблизиться к Пратеру, торговцы опустили железные жалюзи на магазинах, и я вспоминаю, что родители нам, детям, наигрознейше запретили в этот кошмарный день, грозящий спалить Вену дотла, появляться на улице. Но ничего не произошло. Рабочие

колонной по четыре человека в ряд с образцовой дисциплиной шли в сопровождении жен и детей в Пратер, у каждого в петлице, словно партийный знак, была продета красная гвоздика. Они шли и пели «Интернационал», а дети, впервые попав в «благородную аллею», сразу же среди этой прекрасной зелени запели свои беспечные школьные песни. Никого не обругали, не избили, никто не сжимал кулаков. Дружелюбно посмеивались полицейские, солдаты вторили им. После такого безупречного поведения буржуазии было уже невозможно и далее поносить рабочих как «революционную банду», все кончилось — как всегда в старой доброй Австрии — обоюдными уступками; еще не была внедрена нынешняя система избияния дубинками и убийств, еще был жив (пожалуй, уже несколько поблекший) идеал гуманности даже у лидеров партий.

Вскоре после красной гвоздики появился другой партийный знак, другой цветок в петлице — белая гвоздика, эмблема принадлежности к христианско-социалистской партии (разве не замечательно, что в ту пору партийными значками были еще цветы, а не сапоги с отворотами и не черепа?). Христианско-социалистская партия была в основном партией мелкой буржуазии, в противовес партии пролетарской, и, по сути, так же как и пролетарская, возникла в результате победы машины над ручным трудом. Ибо машина, дававшая рабочим (благодаря скоплению больших масс на фабриках) власть и улучшение положения, одновременно угрожала гибелью мелким ремесленникам. Крупные торговые дома и промышленное производство несли разорение среднему сословию и мелким ремесленникам-кустарям. Этим недовольством воспользовался ловкий и популярный лидер доктор Карл Луэгер и с помощью лозунга «Надо помочь маленькому человеку» увлек за собой всю мелкую буржуазию и рассерженное среднее сословие, зависть которого по отношению к богатым значительно уступала страху скатиться в ряды пролетариата. Это была та же запуганная прослойка, какую собрал вокруг себя позднее Адольф Гитлер. И Карл Луэгер так же и в другом отношении был его предтечей, научив того ловкому обращению с антисемитскими призывами, которые наглядно демонстрировали мелкой буржуазии истинного врага, а с другой стороны, незаметно отвлекали и ненависть от крупных капиталистов и землевладельцев. Но вся вульгаризация, все озверение сегодняшней политики, ужасающее падение нашего столетия становится ясным как раз из сравнения обеих фигур. Карл Луэгер, со своей мягкой, светлой

бородой, импозантное явление — «красивый Карл», как его прозвали венцы, — имел классическое образование и не напрасно посещал школу в те времена, когда выше всего ставили духовную культуру. Он мог доходчиво говорить, был порывист и остроумен, но даже в самых запальчивых речах — или таких, которые по тем временам воспринимались как запальчивые, — он никогда не нарушал правил приличия, и своего подручного, некоего механика Шнайдера, который распространял небылицы о ритуальных убийствах и подобных вульгарностях, держал в узде. По отношению к противникам он сохранял — неуязвимый и скромный в личной жизни — определенное достоинство, и его официальный антисемитизм не мешал ему оставаться по отношению к своим старым друзьям-евреям благовоспитанным и любезным. Когда его движение завоевало наконец венский совет общины и он — после того как кайзер Франц Иосиф дважды отказывался санкционировать это движение, потому что чувствовал отвращение к антисемитской тенденции, — был назначен бургомистром, то его городская администрация оставалась безукоризненно справедливой и даже образцово демократической; евреи, которые трепетали перед этим триумфом антисемитской партии, продолжали пользоваться такими же равными правами и уважением. В кровообращение эпохи еще не проник яд ненависти и стремление к взаимному безостаточному уничтожению.

Но вот явился на свет и третий цветок, синий василек, любимый цветок Бисмарка и символ немецкой национальной партии, которая — только тогда этого еще не понимали — с убойной силой осознанно стремилась к перевороту, к разрушению австрийской монархии, чтобы под прусским и протестантским началом создать — уже привидевшуюся Гитлеру — Великую Германию. В то время как христианско-социалистская партия упрочила свои позиции в Вене и в деревне, социалистическая — в промышленных центрах, национал-немецкая имела своих приверженцев почти исключительно в пограничных районах Богемии и Альп; она компенсировала свою малочисленность дикой агрессивностью и безмерной жестокостью. Несколько их депутатов стали бичом (в былом смысле), позором австрийского парламента; в их идеях, в их методах Гитлер (также австриец из пограничного района) имеет свои истоки. У Георга Шёнрера он заимствовал призыв «Прочь от Рима!», следуя которому по-немецки организованно тысячи германских националистов назло императору и клиру перешли из католицизма в протестантизм, от него перенял антисемитскую ра-

совую теорию («Все свинство — в расе», — говорил его знаменитый прототип), а также использование беспощадного, все сметающего на своем пути штурмового отряда и тем самым принцип, с помощью которого маленькая террористическая группа запугивает далеко превосходящее по численности, но гуманно-пассивное большинство. То, что для национал-социализма делали штурмовики, разгоня дубинками собрания, нападая по ночам на идейных противников и избивая их до полусмерти, немецким националистам в Австрии обеспечивали студенты, которые под защитой университетской неприкосновенности учиняли беспрецедентные боины и по первому свистку готовы были повоенному четко маршировать при всякой политической акции. Корпоранты, так называемые «бурши», с рассеченными лицами, упившиеся и бездушные, легко врываются в актовЫй зал, потому что у прочих студентов были только повязки и фуражки, а эти были вооружены тяжеленными дубинками; беспрестанно провоцируя, они избивали то славянских, то еврейских, то католических, итальянских студентов и изгоняли беззащитных из университета. Во время каждого такого «променада» (так назывались те субботние вылазки) текла кровь. Полиция, которая благодаря старинной привилегии университета не имела права вступать в университетский двор, должна была безучастно наблюдать извне, как там бушевали эти трусливые погромщики, и ограничивалась лишь тем, что подбирала истекающих кровью потерпевших, которых хулиганы просто сбрасывали с лестницы. Там, где крохотная, но горластая партия немецких националистов в Австрии желала чего-нибудь добиться, она всегда высылала вперед штурмовые студенческие отряды; когда граф Бадени с согласия императора и парламента издал закон о языках, который должен был способствовать миру между национальностями Австрии и, возможно, мог бы продлить существование монархии еще на десятилетия, эта горстка молодых парней заняла Рингштрассе. Пришлось вмешаться кавалерии, пошли в ход сабли и пули. Но столь велико было в ту трагически слабую и трогательно гуманную либеральную эру отвращение к любому насилию и любому кровопролитию, что правительство отступило и не решилось на террор против немецких националистов. Премьер-министр подал в отставку, и исключительно лояльный закон о языках был отменен. Вторжение жестокости в политику могло отметить свой первый успех. Все расселины и трещины между нациями и классами, которые с трудом замазывало время

компромиссов, разверзлись и стали пропастями и безднами. В то последнее десятилетие перед новым столетием в Австрии уже началась война всех против всех.

Однако мы, молодые люди, с головой ушедшие в наши литературные амбиции, мало обращали внимания на опасные изменения в нашей стране: мы знали лишь книги и картины. У нас не было ни малейшего интереса к политическим и социальным проблемам: что значили все эти резкие перепалки в нашей жизни? Город приходил в волнение от выборов, а мы шли в библиотеки. Массы восставали, а мы писали и обсуждали стихи. Мы не видели огненных знаков на стене, мы беспечно вкушали, как во время оно царь Вальтасар, от всех изысканных яств искусства, не видя впереди опасности. И лишь когда через десятилетия обрушились стены и нам на голову рухнула крыша, мы осознали, что фундамент давно уже подточен и вместе с новым веком начался закат индивидуальной свободы в Европе.

ЗАРЯ ЭПОСА

За восемь лет школы в жизни каждого из нас произошло значительное событие: из десятилетних детей мы постепенно превратились в шестнадцатилетних, семнадцатилетних, восемнадцатилетних созревших юношей, и природа стала заявлять о своих правах. Это пробуждение представляется исключительно личной проблемой, которую каждый взрослеющий человек должен решать самостоятельно и которая на первый взгляд отнюдь не предназначена для публичного обсуждения. Но для нашего поколения тот кризис вышел за пределы своих границ. Он совпал одновременно с пробуждением в другом смысле, ибо научил нас впервые критически оценивать тот общественный строй, в котором мы выросли, и его устои. Дети и даже молодые люди в основном готовы вначале относиться с уважением к законам общества. Но они подчиняются их нормам лишь до тех пор, пока видят, что они неукоснительно соблюдаются и всеми другими. Одна лишь фальшивая нота у учителей или родителей неминуемо заставляет молодого человека с подозрением, а стало быть, более проницательно смотреть на все окружение. И нам понадобилось немного, чтобы обнаружить, что все те авторитеты, в которые мы до сих пор верили, — школа, семья и общественная мораль — во всем, что относилось к сексуальности, вели себя до странного ханжески, и даже более того: что они от нас требовали

здесь скрытности и притворства.

Ибо об этих вещах тридцать-сорок лет тому назад думали иначе, чем в наши дни. Быть может, ни в какой области общественной жизни не произошло (по ряду причин: женская эмансипация, фрейдовский психоанализ, спорт и физическая культура, самостоятельность молодежи) в течение жизни лишь одного поколения таких коренных перемен, как в отношениях между полами. Когда пытаешься определить особенности буржуазной морали девятнадцатого столетия, которая, в сущности, была викторианской, и сравнить с сегодняшними, более свободными и более естественными, нравами, то ближе всего к истине было бы сказать, что та эпоха трусливо уходила от проблемы сексуальности из чувства неуверенности в себе. Прежние, еще неподдельные религиозные времена, в частности строго пуританские, решали задачу проще. Преисполненные искренней убежденностью, что чувственное желание есть происки сатаны, а волнение плоти — распутство и грех, авторитеты средневековья лишь подступили к проблеме и строжайшими запретами (особенно в кальвинистской Женеве — под страхом смерти) утвердили свою жестокую мораль. Напротив, у нашей терпимой, давно уже не верующей в дьявола и вряд ли еще верующей в Бога эпохи недостало решимости на столь радикальную анафему, она воспринимала сексуальность как стихийное, а потому тревожащее явление, которое невозможно было включить в нравственность и нельзя было признать при свете дня, потому что всякая форма свободной, внебрачной любви противоречила буржуазному «приличию». И вот для устранения этого противоречия та эпоха пошла на необычный компромисс. Она ограничила свою мораль тем, что хотя и не запрещала молодому человеку отправлять свою *vita sexualis*¹, но требовала, чтобы этим непристойным делом он занимался по мере возможности незаметно. Если уж сексуальность нельзя было устранить из мира природы, то она хотя бы не должна быть видимой в мире нравственности. Было, следовательно, заключено молчаливое соглашение не обсуждать этот досадный комплекс ни в школе, ни в семье, ни в обществе и подавлять все, что может напомнить о его наличии.

Школа и церковь, светское общество и правосудие, газета, книга, мораль упорно избегали всякого упоминания проблемы, и к ним постыдным образом примкнула даже

¹ Половая жизнь (лат.).

наука, чьей непосредственной задачей должен был сразу стать непредвзятый подход ко всем проблемам этой *naturalia sunt turpia*¹. Но и она капитулировала под предлогом, что подобные скабрзные темы науки недостойны. И сколько ни просматривай книг того времени, философских, юридических и даже медицинских, всюду видишь, как авторы, словно по сговору, со страхом уходят от всякого обсуждения. Когда ученые-правоведы на своих конгрессах обсуждали способы более гуманного отношения к заключенным и моральный ущерб, наносимый пребыванием в исправительных заведениях, они боязливо обходили эту проблему. И психиатры, хотя во многих случаях им было совершенно ясно происхождение некоторых истерических заболеваний, не решались сознаться в истинном положении вещей, и у Фрейда можно найти упоминание, что даже его почтенный учитель Шарко признался ему ненароком, что, хотя он и знает настоящую *causa*², никогда, однако, публично не оглашал ее. Менее всего могла в ту пору так называемая «изящная» литература отважиться на правдивое изображение, потому что ей в качестве удельного владения отведено было лишь эстетически прекрасное. В то время как в былые века писатель не боялся рисовать честную и исчерпывающую картину культуры своего времени, в то время как у Дефо, у аббата Прево, у Филдинга и Ретифа де Ла Бретонна встретишь все еще не искаженные изображения действительности, эта эпоха считала, что имеет право лишь на показ «целомудренного» и «возвышенного», а не непристойного и низкого. Поэтому в литературе девятнадцатого века обо всех блужданиях, опасностях и сомнениях молодежи большого города едва ли находишь и мимолетное упоминание. Даже если писатель отважно отмечал существование проституции, то полагал, что обязан облагородить ее, и причислял героиню под «даму с камелиями». Итак, перед нами странное явление: если современный молодой человек, чтобы узнать, как боролась за жизнь молодежь предыдущих поколений, откроет романы даже самых больших мастеров того времени, произведения Диккенса и Теккерея, Готфрида Келлера и Бьёрнсона, он — если не говорить о Толстом и Достоевском, которые, будучи русскими, стояли за гранью европейского псевдоидеализма, — найдет исключительно приукрашенное и темперированное изображение событий, потому что все это поколение было ограничено в

¹ Сообразная с законами природы непристойность (*лат.*).

² Причина, основание (*лат.*).

своей творческой свободе велением времени. И ничто не обнаруживает более явно крайнюю нетерпимость этой патриархальной морали и ее сегодня уже непередаваемую атмосферу, чем то, что и этой литературной сдержанности было недостаточно. Можно ли постигнуть, за что такой исключительно беспристрастный роман, как «Мадам Бовари», был публично запрещен французским судом как безнравственный? Поверят ли, что во времена моей молодости романы Золя считались порнографическими или что такой добропорядочный классик повествовательной прозы, как Томас Гарди, вызвал бурю негодования в Англии и в Америке? Какими бы сдержанными они ни были, эти книги уже слишком много поведали об истинном положении дел.

И в этом тлетворном, густо насыщенном парфюмерией воздухе мы росли. Эта лживая и лицемерная мораль недоумков как кошмар довлела над нашей юностью, а так как в результате всеобщего заговора умолчания отсутствуют подлинные литературные и культурно-исторические документы, не так-то просто реконструировать то, что кажется уже неправдоподобным. Оттолкнуться, правда, есть от чего, достаточно лишь взглянуть на моду, ибо мода целого столетия, дающая наглядное представление о вкусах времени, невольно разоблачает также и его мораль. И действительно, не назовешь случайным то, что сегодня, в 1940 году, когда в кино на экране появляются женщины и мужчины в костюмах образца 1900 года, публика в любом городе, в любой деревне Европы или Америки дружно разражается неудержимым хохотом. Над этими странными фигурами вчерашнего дня, как над карикатурами, смеются даже самые несведущие люди — смеются над неестественно, неудобно, негигиенично, непрактично разряженными глупцами; даже нам, кто еще помнит своих матерей, теток или подруг в этих нелепых одеяниях, тем, кто сами в детстве ходили в точно таких же смешных облачениях, кажется каким-то дурным сном, чтобы подобному дурацкому наряду безоговорочно могло подчиниться целое поколение. Уже мужская мода: высокие крахмальные воротнички, «отцеубийцы», которые делали невозможным любое свободное движение, черные, повиливающие хвостом сковывающие фраки и напоминающие печные трубы цилиндры — вызывает веселье, но каково же было тогдашней «даме» в ее обременительном, неестественном, любой деталью насилующем естеством наряде! Талия перетянута, как у осы, корсетом из жесткого китового уса, нижняя часть тела в свою очередь широко раздута громадным колоколом, шея

скрыта до подбородка, а ноги — до пят, волосы вздымаются бесчисленными локонами и завитками под величественно покачивающимся шляпным сооружением, на руки даже в самое жаркое лето натянуты перчатки... Сегодня это ископаемое, «дама», несмотря на благоухание, которое она распространяла, несмотря на украшения, которыми она была обременена, и на дорогие кружева, рюши и серьги, производит впечатление беспомощного, достойного жалости существа. С первого взгляда ясно, что женщина, закованная в броню подобного туалета, как рыцарь в доспехи, не могла уже больше свободно, легко и грациозно двигаться, что каждое движение, каждый жест и в итоге все ее поведение в таком костюме должны были стать искусственными, неестественными, противоестественными.

Уже сам облик «дамы» — не говоря о светском воспитании, — одевание и раздевание представляли хлопотную процедуру, которая была просто невозможна без чужой помощи. Сначала надо было сзади от талии до шеи застегнуть бесконечные крючки и петли, совместными усилиями прислуги затянуть корсет, а длинные волосы — напоминая молодым людям, что тридцать лет тому назад все женщины Европы, кроме нескольких десятков русских студенток, отращивали волосы до пояса, — завить при помощи щипцов и уложить локонами, пригладить щеткой, расчесать, и пока парикмахер, приглашаемый ежедневно, шпиговал ее уймой булавок, шпилек и гребней, на нее напяливали множество нижних юбок, жилеточек, жакетов и блузок, под которыми, как в луковиче под шелухой, окончательно исчезали следы ее женской индивидуальности. Но в этой бессмыслице был свой резон. Линии женского тела при помощи этих манипуляций скрадывались настолько основательно, что жених за свадебным столом не имел ни малейшего представления, какой уродилась его спутница жизни — стройной или сутулой, полной или тощей, какие у нее ноги — короткие и кривые или стройные; это «нравственное» время отнюдь не считало предосудительным, если для соответствия всеобщему идеалу красоты приходилось пускаться в обман, подделывая волосы или грудь и другие части тела. Чтобы выглядеть настоящей «дамой», женщина должна была всеми силами скрывать свои натуральные формы; по сути дела, мода послушно следовала основному принципу все той же моральной тенденции времени, главной заботой которого были маскировка и сокрытие.

Но эта премудрая мораль совершенно забыла, что, если перед чертом захлопнуть дверь, он все равно влезет в окно.

Наш теперешний, более искушенный, взгляд сразу подмечает в этих нарядах — которые всемерно стремились убрать малейший намек на наготу и естественность — отнюдь не благопристойность их, а, напротив, до неприличия откровенное подчеркивание половых различий. В наше время юноша и девушка, оба высокие и стройные, с чистыми лицами и с короткой стрижкой, внешне похожи друг на друга, и уже одно это располагает их к товариществу; зато в ту эпоху все было по-другому. Мужчины носили напоказ длинные бороды или на худой конец закручивали мощные усы как издавна видимый признак мужественности, в то время как женский корсет делал вызывающе приметным такой специфический «атрибут», как грудь. Так называемый сильный пол резко отличался от слабого также и осанкой; от мужчины требовалось, чтобы он выглядел решительным, по-рыцарски благородным и дерзким, от женщины — казаться робкой, скромной и недоступной; охотник и добыча, а не равный и равная. Из-за этой утрированной поляризации во внешнем облике должно было усилиться и внутреннее, эротическое напряжение между полюсами, и таким образом общество того времени добилось своей лицемерной манерой скрывать и умалчивать как раз обратного тому, к чему стремилось. Ибо, поскольку оно в своем нескончаемом страхе и ханжестве постоянно выслеживало во всех сферах жизни — в литературе, искусстве, одежде — безнравственность, чтобы пресечь ее проявления, оно было вынуждено тем самым непрерывно помышлять о безнравственности. Поскольку оно непрерывно расследовало, что могло бы быть неприличным, оно находилось в неизбывном состоянии надзирательства; во всем «приличию» мерещилась тогда смертельная опасность — в любом жесте, в любом слове. Возможно, сегодня еще и поверят, что в то время считалось предосудительным, если женщина для занятий спортом или для игр надевала брюки. Но как сделать понятным то нездоровое жеманство, из-за которого не позволялось, чтобы с ее уст сорвалось само слово «брюки»? Она должна была, если уж нельзя было обойтись без упоминания столь низкого и опасного предмета, как мужские брюки, произносить «костюм для ног» или специально придуманное уклончивое обозначение «невывразимые». Чтобы, к примеру, двое молодых людей одного круга, но разных полов без присмотра предприняли загородную прогулку — такое было совершенно немислимо, или, более того, первой была мысль, что при этом должно что-нибудь «случиться». Подобное совместное времяпрепровождение было

допустимо лишь в том случае, если молодых людей неотступно сопровождали какие-нибудь надзирающие лица, матери или гувернантки. Молодые девушки даже в самое жаркое лето не могли играть в теннис в коротких платьях, а уж тем более с голыми руками: случись такое, был бы скандал; а если порядочная женщина клала в обществе ногу на ногу, то «мораль» находила это ужасающе безнравственным — ведь из-под подола могла бы выглянуть щиколотка. Даже явлениям природы, даже солнцу, воде и воздуху, не было позволено прикасаться к обнаженной коже женщины. В море они передвигались с трудом в тяжелых костюмах, одетые с ног до головы; в пансионатах и монастырях девушкам полагалось (чтобы забыть, что у них есть тело) даже обычную ванну принимать в длинных белых рубашках. И совсем это не сказка и не преувеличение, что женщины доживали до старости и никто, кроме акушеров, супруга да еще тех, кто впоследствии обмывал их мертвые тела, не видел ни линии их плеча, ни колена. Все это сегодня, через сорок лет, представляется небылицей или комическим преувеличением. Но тем не менее этот страх перед всем телесным и естественным проник из высших сословий в гущу народа с быстротой массового психоза. Разве можно себе сегодня представить, что на рубеже веков, когда первые женщины отваживались сесть на велосипед или при верховой езде в мужское седло, крестьяне швыряли в смельчаков камнями? Что в то время, когда я еще ходил в школу, венские газеты целые полосы отводили дискуссиям о вызывающе безнравственном новшестве: балерины придворной оперы танцевали без трико? Что, когда Айседора Дункан в своих подлинно классических танцах впервые показала изпод белой, к счастью, ниспадавшей до пола туники вместо обычных шелковых туфель голые ступни, это стало невероятной сенсацией?

Теперь представим себе юношей, которые созревают в эту пору неусыпного внимания, — какими смешными должны были им казаться эти опасения за приличие, которому вечно что-то грозит, как только они поняли, что покрывало морали, которое тайком хотели набросить на все эти вещи, само-то изрядно потерто и в нем полно прорех и дыр. В конце концов, нельзя ведь было избежать того, чтобы кто-то из пятидесяти гимназистов встретил своего учителя в одном из тех темных закоулков или случайно в кругу семьи подслушал, что та или другая весьма уважаемая особа сама не без греха. И действительно, ничто не повышало и не обостряло нашего любопытства в такой степени,

как эти шитые белыми нитками способы утаивания; и поскольку естественному не давали развиваться свободно и открыто, то любопытство открывало для себя подземные и в большинстве случаев не очень чистые источники. У молодежи всех сословий из-за этого подавления чувств ощущалось подспудное перевозбуждение, которое выражалось по-детски беспомощно.

Наряду с придворным театром, которому надлежало выражать идеалы времени со всем его благородством и незапятнанной чистотой, имелись театры и кабаре, которые служили исключительно заурядной пошлости; повсюду подавленное влечение теми или иными путями пробивалось наружу. Таким образом, в конечном счете по сути своей то поколение, которому было ханжески отказано в любом разъяснении, в любом непринужденном общении полов, оказалось в тысячу раз более предрасположенным к эротике, чем сегодняшняя молодежь с ее более высокой свободой любви. Ибо лишь то, в чем отказано, вызывает страстное влечение, лишь запретное вызывает желание; и чем меньше видят глаза, чем меньше слышат уши, тем больше работает воображение. Чем меньше воздуха, света и солнца допускали к телу, тем большая истома застигала разум. В итоге давление общества на молодежь вместо более высокой нравственности воспитало в нас лишь недоверие и ожесточение против всех и вся. С первого дня нашего пробуждения мы инстинктивно чувствовали, что своим умолчанием и утаиванием эта бесчестная мораль пыталась отнять у нас то, что по праву принадлежало нашему возрасту, и что она принесла в жертву давно отжившей условности наше стремление к правде.

* * *

Эта «общественная мораль», которая, с одной стороны, допускала *privatim*¹ наличие сексуальности и ее естественных проявлений, а с другой — ни за что не желала признать это публично, была, таким образом, вдвойне лживой. Ибо если на поведение молодых мужчин она один глаз закрывала, а другим даже подбадривающе подмигивала («пусть отточит себе рога», говорили тогда на добродушно подтрунивающем семейном жаргоне), то по отношению к женщине она трусливо закрывала оба глаза и притворялась сле-

¹ Частным образом, для себя (*лат.*).

пой. Что мужчина чувствует влечение и имеет на это право — это должна была молча признать даже условность. Но то, что влечение может в той же мере овладеть и женщиной, что жизнь на земле для своих вечных целей нуждается также в женской полярности, — прямо признать это означало бы разрушить само понятие «святости женщины». И в результате до Фрейда было общепризнанной аксиомой, что существо женского пола не может иметь никаких телесных желаний, пока они не разбужены мужчиной, а это, разумеется, было допустимо лишь в браке. Но так как воздух — особенно в Вене — даже в те моральные времена был полон опасных эротических микробов, то девушке из хорошего дома следовало со дня рождения до того дня, когда она шла со своим супругом к алтарю, жить в совершенно стерильной обстановке. Чтобы обезопасить молодых девушек, их ни на мгновение не оставляли одних. У каждой была гувернантка, которой надлежало следить за тем, чтобы девушка, упаси Господи, не ступила и шага за порог без присмотра; девушек доставляли в школу, в танцкласс, на уроки музыки под охраной и точно так же забирали оттуда. Каждая книга, которую они читали, просматривалась, а главное — молодых девушек постоянно занимали, чтобы отвлечь от возможных опасных мыслей. Они должны были учиться играть на рояле, петь и рисовать, знать иностранные языки, историю искусства и литературы, их учили и переучивали. Но при этом, стараясь, насколько это возможно, «передать» их обществу столь образованными и прекрасно воспитанными, одновременно с опаской заботились о том, чтобы относительно естества они пребывали в непостижимом неведении. Девушке из хорошей семьи ни в коем случае не подобало иметь представление об анатомии мужского тела, о том, как рождаются дети, ибо ангел должен был вступать в брак не только телесно нетронутым, но также и совершенно «чистым» духовно. «Хорошо воспитана» — эти слова применительно к юной девушке в ту пору означали «далека от жизни»; и это незнание жизни у женщин того времени иногда продолжалось до конца их дней. Еще и поныне меня потешает курьезная история с моей теткой, которая в первую брачную ночь возвратилась в родительский дом и категорически заявила, что ни за что не желает видеть этого ужасного человека, за которого ее выдали замуж; он ненормальный, он настоящий садист, ибо предпринял серьезнейшую попытку раздеть ее, и лишь с трудом ей удалось спастись от этого явно нездорового поползновения.

Но я не могу не сказать и о том, что, с другой стороны,

это неведение придавало тогдашним молодым девушкам некую таинственную прелесть. Эти неоперившиеся создания догадывались, что подле и вне их собственного мира существует другой, о котором они ничего не знают и не смеют ничего знать, и это делало их любопытными, тоскующими, мечтательными и привлекательно-беспомощными. Когда их приветствовали на улице, они краснели — найдутся ли еще в наше время юные девушки, умеющие краснеть? Когда они оставались наедине друг с другом, они шушукались и без конца хихикали, точно слегка хмельные. Полные ожидания всего того неизвестного, от чего их отрешили, они представляли себе жизнь романтически, но в то же время испытывали стыдливость, что кто-нибудь вдруг обнаружит, как сильно их тело жаждет ласки, о которой они не знали ничего определенного. Какое-то смятение постоянно определяло их поведение. Они ходили иначе, чем современные девушки, тело которых знакомо со спортом, которые легко и непринужденно чувствуют себя среди молодых мужчин, как равные среди равных; уже за тысячу шагов можно было в ту пору по походке и по манерам отличить молодую девушку от женщины, которая уже познала мужчину. Они были больше девушками, чем сегодняшние девушки, и меньше женщинами, своей необычайной хрупкостью подобные тепличным растениям, которые тянутся вверх под стеклом в искусственно подогретой атмосфере и защищены от любого неприятного дуновения: умело взращенный плод воспитания и культуры.

Но такой и хотело видеть общество молодую девушку: наивной и непосвященной, хорошо воспитанной и ничего не подозревающей, любопытной и стыдливой, неуверенной и непрактичной и в силу этого оторванного от жизни воспитания с самого начала предопределенной к тому, чтобы в браке безропотно подчиняться мужчине. Мораль, казалось, защищает ее как символ своего сокровеннейшего идеала, как знак женственности, девственности, невинности. И подумаешь, какая трагедия, если одна из таких молодых девушек упускала свое время, если в двадцать пять, в тридцать лет она еще не была замужем! Ибо условность безжалостно требовала и от тридцатилетней девицы, чтобы она во имя семьи и морали свято блюла это состояние неискренности, бесстрастности и простодушия, которые давно уже не соответствовали ее возрасту. Но тогда хрупкий образ трансформировался в резкую и жестокую карикатуру. Незамужняя девушка становилась «засидевшейся» девицей, засидевшаяся девица — «старой девой», над которой

изощрялись в пошлых насмешках юмористические журналы. Кто сегодня откроет старый выпуск «Флигенде блеттер» или какого-либо иного тогдашнего юмористического издания, тот с ужасом обнаружит в каждом номере самые глупые издевки над стареющими девицами, которые, с расстроенными нервами, все же не знают, как скрыть свою естественную потребность в любви. Вместо того чтобы признать трагедию этих жертв общества, которые ради семьи и своей репутации должны были подавлять в себе естественные стремления к любви и материнству, над ними издевались с непониманием, которое в нас ныне вызывает лишь чувство гадливости. Но общество всегда наиболее жестоко с теми, кто выдает его тайну о том, что его лицемерное отношение к природе ведет к преступлению.

* * *

Если буржуазная условность с трудом пыталась тогда поддержать фикцию, будто женщина из «хороших кругов» лишена влечений и не смеет иметь их, пока она не выдана замуж, — любое отклонение делало ее «аморальной личностью», парией семьи, — то у молодого мужчины все же были вынуждены признать наличие подобных стремлений. Так как на практике невозможно было помешать молодым людям вести *vita sexualis*, то ограничивались скромным пожеланием: они должны справлять свои недостойные удовольствия *extra muros*¹ священной морали. Как города под чисто прибранными улицами с их красивыми роскошными магазинами и элегантными бульварами скрывают подземную канализацию, куда отводится грязь клоак, так вся сексуальная жизнь молодежи должна была проходить незаметно под моральной поверхностью «общества». Каким опасностям при этом подвергался молодой человек и в какие сферы попадал, было безразлично: и школа и семья боязливо забывали просветить его в этом отношении. Встречались, конечно, кое-где в последние годы прошлого столетия иные предусмотрительные или, как тогда говорили, «просвещенно мыслящие» отцы, которые, как только у сыновей пробивался на подбородке первый пушок, пытались наставить их на путь истинный. Тогда призывался домашний врач, который как бы случайно приглашал молодого человека в кабинет, тщательно протирал очки, прежде

¹ За пределами (лат.).

чем начать лекцию об опасности венерических заболеваний, и молодому человеку, который обычно к этому моменту уже давно знал, что к чему, настоятельно рекомендовалось быть сдержанным и не упускать из виду определенных мер предосторожности. Другие отцы применяли еще одно необычное средство: они нанимали смазливую горничную, которой выпадала честь просветить молодого человека практически. Дескать, пускай лучше он освободится от этого докучливого бремени под собственной крышей: так и приличия соблюдались, и, кроме того, исключалась опасность, что юноша попадет в руки какой-нибудь «прелестницы». И только один способ решительно отвергался в любом случае: какой бы то ни было откровенный разговор.

И какие же возможности открывались для молодого человека буржуазного общества? Во всех других так называемых низших сословиях проблемы тут не было. В деревне батрак уже в семнадцать лет ложился с батрачкой, и возможных последствий никто не боялся: в большинстве наших альпийских деревень число внебрачных детей намного превысило число законных. Рабочий, прежде чем жениться, жил со своей подругой в так называемом «диком», неофициальном браке. У ортодоксальных евреев Галиции семнадцатилетнему, то есть едва созревшему, юноше выбирали невесту, и в сорок лет он уже мог быть дедушкой. Лишь в нашем буржуазном обществе все шло шиворот-навыворот: ранний брак осужден; ни один отец семейства не доверил бы свою дочь двадцатидвухлетнему или двадцатилетнему молодому человеку, ибо подобного юнца не считали еще достаточно зрелым. Здесь также обнажалось лицемерие, ибо буржуазный календарь отнюдь не совпадал с календарем природы. Для общества молодой человек созревал лишь тогда, когда он достигал «социального положения», то есть где-то к двадцати пяти или двадцати шести годам, а для природы — лет в шестнадцать-семнадцать. Так создавался искусственный разрыв в шесть, восемь или десять лет между зрелостью сексуальной и социальной, и в эти годы молодому человеку самому следовало позаботиться о своих «делах» или увлечениях.

Возможностей для этого эпоха предоставляла не так уж много. Лишь единицы, очень богатые молодые люди, могли позволить себе роскошь «содержать» любовницу, то есть снимать ей квартиру и заботиться о ее материальном благополучии. Точно так же лишь совсем немногим счастливицам выпадало на долю осуществить тогдашний литератур-

ный образчик любви — единственное, что разрешалось изображать в романах, — связь с замужней женщиной. Прочие довольствовались продавщицами и официантками, что приносило мало внутреннего удовлетворения. Ибо в те времена, до эмансипации женщины и ее активного самостоятельного участия в общественной жизни, лишь девушки из среды беднейшего пролетариата обладали достаточной свободой для таких мимолетных отношений без серьезных брачных намерений. Плохо одетые, усталые после двенадцатичасового, грошово оплачиваемого трудового дня, неухоженные (ванна по тем временам была доступна лишь богатым) и выросшие в тесном мирке, они стояли настолько ниже своих возлюбленных, что те сами в большинстве случаев остерегались показываться с ними на людях. Правда, на этот случай предусмотрительная условность предприняла свои особые меры: существовали так называемые кабинеты *Chambres Separees*, где можно было с девушкой поужинать незамеченными; а все остальное происходило в маленьких гостиницах, которые для того и существовали в темных переулках. Но все эти встречи были быстротечны и не очень-то отрадны, это был скорее секс, чем эрос. Еще, пожалуй, имелась возможность завести связь с одной из тех «амфибий», что лишь наполовину принадлежали к обществу, — с актрисой, танцовщицей, художницей, единственными «эмансипированными» женщинами того времени. Но в основном эротическая жизнь вне брака держалась на проституции; эта последняя представляла собой как бы фундамент, на котором высилось, сверкая безупречным фасадом, пышное здание буржуазного общества.

* * *

О невероятном распространении проституции в Европе до мировой войны нынешнее поколение уже едва ли имеет представление. Сегодня на улицах большого города проститутка встречается так же редко, как карета на мостовой, но в ту пору тротуары были до такой степени забиты продажными женщинами, что труднее было от них скрыться, чем найти их. К этому прибавьте еще множество «закрытых домов», ночные рестораны, кабаре, танцзалы с их танцовщицами и певичками, бары с девицами, подбивающими раскошелиться. Женский товар в ту пору открыто предлагался по любой цене и в любой час, и, чтобы купить себе жен-

цину на четверть часа, на час или на ночь, мужчина тратил не больше времени и труда, чем на пачку сигарет или газету. Ничто, я полагаю, не подтверждает так сильно большую чистоплотность и естественность нынешних форм жизни и любви, чем тот факт, что современная молодежь сочла возможным и почти само собой разумеющимся обходиться без этого некогда безусловно необходимого социального института и что не полиция, не законы вытеснили проституцию из нашего мира, что этот трагический продукт псевдоморали сам (с некоторыми оговорками) сошел на нет в связи с падением спроса.

Официальная позиция государства и его морали в данном скользком вопросе никогда не была чересчур уступчивой. С точки зрения морали никто не осмелился бы открыто признать за женщиной право на «самопродажу», но с гигиенической точки зрения без проституции, поскольку она давала отток докучливой внебрачной сексуальности, обойтись было невозможно. И вот авторитеты пытались помочь себе двусмысленностью, проведя разграничение между скрытой проституцией, с которой государство боролось как с аморальной и опасной, и проституцией легальной, которая обеспечивалась своего рода промысловым свидетельством и облагалась государственным налогом. Девушка, которая решалась стать проституткой, получала от полиции специальное разрешение, а также — в качестве удостоверения — билет. Став на учет в полиции, обязавшись дважды в неделю показываться врачам, она приобретала право сдавать внаем свое тело по любой сходной цене. Проституция признавалась такой же профессией, как и любая другая, но (тут-то и являлась на сцену мораль!) все же не до конца. Так, например, если проститутка продавала мужчине свой товар, то есть свое тело, а он, купив его, отказывался от оговоренной платы, то она не могла подать на него в суд. В этом случае требование ее сразу, *ob tunc causam*¹, как гласил закон, становилось аморальным и не подлежало его защите.

Уже по таким частностям ощущалась двойственность взгляда, который, с одной стороны, предоставлял всем этим женщинам разрешенный государством промысел, но, однако, каждую из них ставил, как парию, вне общества. Но хуже всего было то, что все эти ограничения относились лишь к бедным сословиям. Балерина, которую всякий мужчина в Вене мог в любое время получить за двести крон с

¹ По причине неприличия (*лат.*).

таким же успехом, как уличную девку за две кроны, в промысловом свидетельстве, ясное дело, не нуждалась; дам полусвета даже упоминали в газетных отчетах среди видных персон, присутствовавших на бегах или дерби, потому что они были составной частью этого «общества». Точно так же по ту сторону закона стояли некоторые из самых благородных посредниц, которые обеспечивали двор, аристократию и богатую буржуазию роскошным товаром; во всех прочих случаях сводничество каралось суровым тюремным наказанием. Наказания, безжалостный контроль и общественное порицание имели силу лишь для многотысячной армии, которая призвана была своими телами и своими униженными душами защитить старый и давно уже подточенный взгляд на мораль.

Эта гигантская армия проституции — точно так же как настоящая армия — подразделялась на отдельные рода войск: кавалерию, пехоту, тяжелую артиллерию. Тяжелой артиллерии скорее всего соответствовал отряд, расквартированный на отведенных улицах. Большой частью это были те районы, где раньше, в средние века, стояла виселица или находилась больница для прокаженных или церковный приход, где живодеры и палачи и другие изгои находили убежище, — то есть такие районы, куда люди на протяжении столетий старались не заглядывать. Там-то власти и отвели несколько переулков под рынок любви, как в квартале Йошивара в Японии или на рыбном рынке в Каире, тут еще в двадцатом столетии двести или пятьсот женщин, одна подле другой, сидели у окон своих жилищ, находившихся на уровне земли, демонстрируя дешевый товар, которым торговали в две смены, дневную и ночную.

Кавалерии или пехоте соответствовала передвижная проституция, бесчисленные продажные девы, которые искали себе клиентов на улице. В Вене повсюду их называли «чёрточки», потому что полиция невидимой чертой ограничила зону, в которой они могли промышлять; днем и ночью вплоть до рассвета они таскали по улицам с трудом купленную, фальшивую элегантность и в дождь и в снег, все снова и снова для каждого прохожего вымучивая завлекающую улыбку на усталых, грубо накрашенных лицах. И все города кажутся мне сегодня красивее и человечнее с тех пор, как их улицы не заполняют больше эти толпы голодных, печальных женщин, которые через силу торговли желанием и в их нескончаемом странствии из одного конца города в другой все же шли одним и тем же неминуемым путем: прямой дорогой в больницу.

Но и эти толпы не могли удовлетворить всех желающих. Кое-кто из потребителей предпочитал развлекаться с большими удобствами и не столь явно, чтобы гоняться по улицам за этими порхающими летучими мышами или печальными райскими птичками. Они желали любви комфортной: с освещением, музыкой, танцами и подобием роскоши. Для таких клиентов имелись «закрытые дома», бордели. Там девицы, кто в вечерних туалетах, кто в неглиже, собирались в так называемом «салоне», обставленном с фальшивой роскошью. Тапер заботился о музыкальном сопровождении, парочки пили, танцевали и болтали, прежде чем потихоньку исчезнуть в спальнях; в некоторых наиболее приличных заведениях, имевших определенную международную известность, особенно в Париже и в Милане, какой-нибудь наивный новичок мог подумать, что его пригласили в частный дом с несколько шаловливым дамским обществом. В таких домах девушкам внешне жилось лучше по сравнению со странствующими уличными девицами. Им не надо было скитаться в ветер, и в дождь, и в грязь по закоулкам, они пребывали в теплом помещении, у них были хорошие платья, предостаточно еды, а тем более — хмельного. В действительности же они были в кабале у своих хозяек, которые по ростовщическим ценам навязывали им платья в рассрочку и так обсчитывали на всем остальном, что даже самая усердная и выносливая девица оказывалась в своего рода долговой тюрьме и не могла покинуть дом по собственной воле.

Написать закулисную историю некоторых из этих домов было бы захватывающе увлекательно и существенно для характеристики культуры того времени, ибо они скрывают удивительнейшие и, как водится, прекрасно известные строгим властям тайности. Тут были скрытые двери и особая лестница, по которой представители самого высшего света — и, как поговаривали, даже придворные — могли нанести визит, не замеченные простыми смертными. Здесь имелись зеркальные комнаты и такие, которые давали возможность тайком подсматривать за развлекающимися парочками; в сундуках и ящиках хранились для любителей самые диковинные одеяния, от платья монашенки до костюма балерины. И это был все тот же город, то же общество, та же мораль, что приходила в негодование от вида девушки на велосипеде; та самая мораль, которая заявляла, что наука втоптана в грязь, когда Фрейд в своей спокойной, ясной и убедительной манере констатировал истины, которых она не желала признавать. Тот же мир, кото-

рый столь патетически защищал чистоту женщины, терпел эту ужасающую «самопродажу», организовывал ее и даже получал от нее прибыли.

* * *

Нельзя, следовательно, обманывать себя сентиментальными романами и повестями той эпохи; для молодежи это было скверное время: девочки, начисто оторванные от жизни и находившиеся под семейным надзором, сдерживаемые в своем свободном физическом, а также духовном развитии; юноши, в свою очередь понуждаемые к скрытности и изворотливости в сфере морали, которой на самом деле никто не верил и не следовал. Откровенные, честные отношения, те, что по всем законам природы для молодежи должны были бы восприниматься как блаженство и самозабвение, дарованы были лишь немногим. И те из этого поколения, кто, не кривя душой, захотят восстановить в памяти свою самую первую встречу с женщиной, найдут мало эпизодов, о которых можно вспомнить с действительно неомраченной радостью. Ибо, кроме общественного давления, которое постоянно вынуждало к осторожности и скрытности, душу, даже в самые интимные мгновения, омрачало еще одно: страх заразиться. И здесь молодежь была обделена по сравнению с сегодняшней, ибо не следует забывать, что сорок лет тому назад венерические заболевания были распространены гораздо шире, чем сегодня, и проявлялись во сто крат опаснее и серьезнее, потому что тогдашняя медицина не знала еще, как с ними бороться практически. Наука еще не была столь сильной, чтобы излечивать их быстро и радикально, как сегодня, когда случаи подобных заболеваний единичны. Тогда как в наши дни в клиниках малых и средних университетов благодаря терапии Пауля Эриха бывают недели, когда ординатор не имеет возможности продемонстрировать студентам свежеинфицированный случай сифилиса, в ту пору статистика свидетельствовала, что в армии и больших городах на десяток молодых людей приходится как минимум один или двое, перенесших венерическое заболевание. В те времена молодежи не уставали напоминать об опасности; на улицах Вены на каждом шестом или седьмом доме можно было обнаружить табличку «Специалист по кожным и венерическим заболеваниям», а к страху перед заражением добавлялся еще ужас от мерзкой и унижительной формы тогдашнего лечения, о

которой нынешний мир тоже ничего не знает. Месяцами тело зараженного сифилисом натирали ртутью, что в свою очередь вело к выпадению зубов и к общему резкому ухудшению здоровья; несчастная жертва случая чувствовала себя, следовательно, существом падшим, не только душевно, но и физически, и даже после такого ужасного курса лечения пострадавший в течение всей своей жизни не мог быть уверен, что залеченный в его теле вирус не проснется в любое мгновение вновь, парализуя спинной мозг или размягчая головной. Не удивительно, что в ту пору многие молодые люди, не успев ознакомиться с диагнозом, хватались за револьвер, потому что само сомнение в излечимости было невыносимо как для заболевшего, так и для его ближайших родственников. К этому добавлялись другие тревоги, всегда неизбежные при тайной *vita sexualis*. Если уж вспоминать до конца, то я не знаю ни одного товарища моей юности, кто хотя бы раз не явился к нам бледным и с испуганным взглядом: один — потому что заболел или заболеть боялся, другой — потому что его шантажировали абортom, у третьего не хватало денег, чтобы тайком от семьи провести курс лечения, четвертый не знал, где взять деньги на алименты для подsunутого ему какой-нибудь официанткой ребенка, у пятого в борделе стащили кошелек, и он не осмеливался заявить об этом. Таким образом, в то псевдонравственное время жизнь была гораздо драматичнее, а с другой стороны, гораздо более непристойной, неестественной и вместе с тем более удручающей, чем это изображают романы и пьесы записных панегиристов того времени. Ни в школе, ни в семье, ни в сфере эроса молодежи никогда не давали свободы и счастья, которых требует этот возраст.

Все это необходимо отметить в правдивой картине времени. Ибо часто, когда я беседую с молодыми приятелями послевоенного поколения, мне лишь с трудом удается доказать, что наша молодость была уж никак не лучше, чем у них. Правда, мы более безмятежно могли предаваться нашему искусству, нашим духовным интересам, в личной жизни быть более независимыми, полнее выявлять свою индивидуальность. Мы могли жить более космополитично, весь мир был открыт нам. Мы могли путешествовать без паспорта и визы, куда нам заблагорассудится, никто не экзаменовал нас на убеждения, происхождение, расу и религию. Мы на практике — я отнюдь не отрицаю этого — имели несравненно больше индивидуальной свободы и не только ее ценили, но и пользовались ею. Но, как хорошо однажды заметил Фридрих Хеббель: «То у нас нет вина, то

бокала». Редко одному поколению дано и то и другое; если мораль предоставляет человеку свободу, то его притесняет государство. Если государство оставляет ему свободу, то его пытается закабалить мораль. Мы лучше и больше знали мир, но современная молодежь живет более интенсивно и больше пользуется благами молодости. Когда я вижу сегодня молодых людей, возвращающихся из школ, из колледжей с веселыми лицами, когда я вижу юношей и девушек вместе, в свободном, беспечном товариществе, без ложной робости и стыда, в учебе, спорте и игре, когда они мчатся на лыжах по снегу или свободно состязаются, как в античные времена, в бассейнах или вдвоем мчатся в автомобиле за город, соединенные близостью во всех формах здоровой неомраченной жизни, без всякого внутреннего или внешнего бремени, тогда всякий раз мне кажется, что между ними и нами, теми, кто вынужден был, чтобы беречь любовь или предаваться ей, всегда искать тень и укрытие, лежит не сорок, а тысяча лет. С искренней радостью я вижу, какая невероятная революция нравов свершилась в пользу молодежи, сколько свободы в любви и в жизни завоевала она и насколько поздоровела физически и духовно благодаря этой свободе; женщины, с тех пор как им разрешено свободно показывать свои формы, кажутся мне красивее, их походка — тверже, их взгляд — радостнее, их речь — менее натянутой. Какая иная уверенность присуща сегодня этой новой молодежи, которой никому не надо отчитываться в своих делах и поведении, только себе и своему чувству личной ответственности; молодежи, которая вышла из-под надзора матерей, и отцов, и теток, и учителей и давно даже не допускает мысли обо всех этих страхах, препятствиях и препонах, которыми было затруднено наше развитие; которая больше ничего не знает об ухищрениях, недомолвках, с какими нам приходилось нечестными путями, словно запретное, отвоевывать то, что она с полным основанием воспринимает как свое право? Счастливо наслаждается она своим возрастом, вдохновенно, со свежестью, легкостью и беспечностью, которые присущи ему. Но самым большим счастьем кажется мне то, что она не должна лгать ни другим, ни себе самой, ей дозволено быть честной по отношению к ее естественным чувствам и желаниям. Возможно, что из-за легкости, с которой сегодняшние молодые люди идут по жизни, им чуточку недостает того преклонения перед духовностью, что окрыляло нашу молодость. Может быть, из-за того, что им так легко брать и давать, ими в любви утрачено что-то, что нам казалось

особенно драгоценным и пленительным, — некая тайная стесненность застенчивости и стыдливости, некая нега нежности. Возможно, они даже не предполагают, насколько сладок может быть запретный плод. Но все это кажется мне незначительным по сравнению хотя бы уже с той раскрепощающей переменой, что нынешняя молодежь свободна от страха и скованности и сполна наслаждается тем, в чем нам в те годы было отказано: чувством независимости и уверенности в себе.

UNIVERSITAS VITAE¹

Наконец настал долгожданный момент, когда вместе с последним годом минувшего столетия мы захлопнули за собой двери ненавистой гимназии. После сданного с трудом выпускного экзамена — ибо что знали мы по математике, физике и всем этим отвлеченным материям? — нас, одетых по этому случаю в черные парадные сюртуки, напутствовал проникновенной речью директор гимназии. Теперь мы взрослые и верой и правдой должны послужить нашему отечеству. Тем самым был положен конец и восьмилетней дружбе: мало кого из моих «согалерников» довелось мне встречать с той поры. Большинство поступило в университет, и с завистью глядели на нас те, кто должен был довольствоваться другой участью.

Ибо университет в те давно минувшие времена имел еще особый романтический ореол; студентам немецких государств гарантировались особые права, дававшие юному «академику» большие преимущества перед остальными сверстниками; подобные архаические привилегии, вероятно, мало известны в других странах, а потому их абсурдность требует пояснений. Наши университеты в большинстве своем были основаны еще в средние века, то есть в то время, когда занятие науками считалось делом незаурядным, и, чтобы привлечь молодых людей к учебе, им давали определенные преимущественные сословные права. Средневековые странствующие студенты не подлежали обычному суду, их не смели «беспокоить» на лекциях филеры, они носили особую одежду, имели право безнаказанно участвовать в дуэлях и признавались замкнутой кастой со своими нравами и пороками. Но по мере демократизации общественной жизни, когда все другие средневековые гиль-

¹ Полнота жизни (*лат.*).

дии и цехи распались, во всей Европе было утрачено привилегированное положение «академиков»; лишь в Германии и немецкой Австрии, где классовое сознание всегда брало верх над демократическим, студенты упорно держались за эти давно уже ставшие бессмысленными привилегии и возводили их даже в особый студенческий кодекс. Немецкий студент гражданскую и личную честь дополнял еще особого рода студенческой «честью»: тот, кто его обидел, должен был дать ему «сатисфакцию» — это значит встретиться с противником с оружием в руках на дуэли, если тот оказывался «достойным» сатисфакции. Но достойным поединка, опять-таки по этой своеобразной чванливой оценке, был не какой-нибудь купец или банкир, а лишь человек с университетским образованием или со степенью и офицер — никто другой из миллионов не мог быть удостоен высокой чести скрестить клинок с безусым глупым молокососом. С другой стороны, чтобы прослыть настоящим студентом, надо было доказать свое мужество — это значит как можно чаще драться на дуэлях и даже носить на лице отметины этих героических дел — шрамы; гладкие щеки и несломанный нос были недостойны настоящего немецкого студента. Таким образом, студенты-корпоранты, то есть такие, кто принадлежал к союзу, имевшему свой цвет, чтобы иметь возможность участвовать в очередных «побоищах», были вынуждены постоянно сталкивать друг с другом совершенно миролюбивых студентов и офицеров. В «союзах» каждый новый студент овладевал на практике самым главным и почетным делом, а помимо того, посвящался в обычаи студенческой корпорации. Каждую «лису», то есть новичка, прикрепляли к корпоранту, которому он должен был рабски повиноваться и который за это учил его уму-разуму и всем искусствам, а именно: пьянствовать до рвоты, осушать залпом тяжеленную кружку пива до последней капли, чтобы тем самым доказать, что он не «слабак», или хором горланить по ночам студенческие песни и дразнить полицию. Все это считалось «мужским», «студенческим», «немецким», и, когда по субботам корпоранты со своими развевающимися флагами, в пестрых беретках и с лентами выходили на свой «променад», эти примитивные, беспутные и заносчивые молокососы чувствовали себя истинными представителями золотой молодежи. С презрением, сверху вниз, взирали они на «чернь», которая не в состоянии была по достоинству оценить и отдать должное их университетской культуре и германской мужественности.

Для недавнего провинциального гимназиста, который

прибыл в Вену зеленым юнцом, этот вид молодцеватой и «веселой студенческой жизни» мог, вероятно, казаться высшим воплощением всякой романтики. Десятилетиями потом разглядывали пожилые нотариусы и врачи, взравду растроганные до слез, развешанные в их комнате крест-накрест сабли и другие предметы гордости, высокомерно они носили свои шрамы как символ «академического сословия».

На нас же, напротив, все это убогое и грубое буйство действовало только отталкивающе, и, когда нам встречалась одна из этих расцвеченных лентами орд, мы благоразумно исчезали за углом; ибо нам, для кого личная свобода была превыше всего, эта тяга к насилию и одновременно преклонение перед силой являли самым очевидным образом наихудшее и опаснейшее в немецком характере. Кроме того, мы знали, что за этой искусственно мумифицированной романтикой скрываются очень тонко рассчитанные практические цели, так как принадлежность к «боевой» корпорации обеспечивала каждому члену протекцию «старых заправил» этого союза по службе и облегчала последующую карьеру.

Из боннской студенческой корпорации «Боруссия» самый прямой путь вел в германскую дипломатию, от католических союзов в Австрии — к теплым местечкам господствующей христианско-социалистической партии, и большинство этих «героев» знали наверняка, что их цветные ленты впоследствии окупят все их потери в знаниях и что парочка шрамов на лбу может оказаться для них при поступлении на службу более полезной, чем содержание самого лба. Уже сам вид этих нахрапистых вооруженных банд, этих изуродованных и наглых физиономий омрачил мне посещение университетских аудиторий; и многие по-настоящему жаждущие знаний студенты направлялись в университетскую библиотеку не через парадный вход, а через неприметную заднюю дверь, чтобы избежать любого столкновения с этими злобными молодчиками.

То, что мне предстоит учиться в университете, давно уже было решено на семейном совете. Но на каком факультете? Тут родители предоставили мне свободу выбора. Старший брат уже вошел в дела отцовского предприятия, стало быть, другой сын мог не спешить с этим. В конце концов, речь шла лишь о том, чтобы поддержать семейную репутацию титулом доктора, безразлично каких наук. И как ни странно, но выбор был безразличен и мне. Разумеется, меня, всей душой давно уже преданного литературе, не интересовала

ни одна из преподававшихся наук, у меня даже было тайное, не утраченное и по сей день, недоверие к любым академическим занятиям. Для меня высказывание Эмерсона о том, что хорошие книги заменяют лучший университет, остается непреложным, и я и сейчас убежден, что можно стать блестящим философом, историком, филологом, юристом и еще неизвестно кем, вовсе не посещая университет и даже гимназию. Великое множество раз находил я жизненное подтверждение тому, что букинисты часто знают книги лучше, чем профессора, антиквары понимают больше, чем ученые-искусствоведы, что львиная доля важных гипотез и открытий во всех областях делается неспециалистами.

Насколько практичными, удобными и полезными университетские занятия могут быть для людей со средними способностями, настолько излишними кажутся они мне для творческих натур, для которых могут стать даже тормозом. Поэтому в таком университете, как наш Венский, с его шестью или семью тысячами студентов, в котором уже из-за этого невозможен был плодотворный личный контакт между преподавателями и учениками и который, кроме того, в силу непомерной приверженности традициям отставал от своего времени, я не видел ни одного человека, который смог бы увлечь меня своей наукой. Таким образом, основным критерием моего выбора стало не столько то, какой предмет может заинтересовать меня больше всего, сколько, напротив, какой будет для меня менее обременителен и предоставит максимум времени и свободы для моих личных увлечений. В конце концов я избрал философию — или, скорее, «чистую» философию, как это у нас называлось по традиции, — и действительно не по зову сердца, ибо мои способности к чисто абстрактному мышлению более чем скромны. Мысли появляются у меня, отталкиваясь исключительно от конкретных предметов, событий и образов; все чисто теоретическое и метафизическое для меня непостижимо. Во всяком случае, материал для изучения был здесь сравнительно невелик, а посещения лекций и семинаров по «чистой» философии можно было избежать проще всего. Единственное, что требовалось, так это в конце восьмого семестра подготовить диссертацию и сдать несколько экзаменов. Таким образом, я с самого начала наметил, как распределить время: три года вообще не думать об учебе в университете! Затем, в оставшийся последний год, с полным напряжением сил одолеть всю эту схоластику и быстро накропать диссертацию! В таком слу-

чае университет давал мне то, чего я единственно от него желал: несколько лет полной свободы для жизни и для литературных начинаний: *universitas vitae*.

* * *

Оглядываясь назад, я могу вспомнить лишь немного таких счастливых моментов, как начало этой университетской жизни без университета. Я был молод, а потому у меня не было чувства ответственности за то, чтобы доводить дело до конца. Я был достаточно независим, в сутках было двадцать четыре часа, и все они принадлежали мне. Я мог читать и работать и делать что хочу, не отдавая ни в чем никому отчета, туча академического экзамена еще не застлала чистый горизонт, ибо такими долгими кажутся в девятнадцать лет три года и так замечательно и насыщенно, с такими неожиданностями и подарками можно их прожить!

Первое, с чего я начал, — я стал отбирать — как полагал, беспощадным образом — свои стихи. Не стыжусь признаться, что мне, недавнему девятнадцатилетнему гимназисту, самым сладким ароматом на земле, слаще масел ширазской розы, казался в ту пору запах типографской краски; любая публикация стихотворения придавала моему, очень слабому от природы, чувству уверенности в себе новый прилив сил. Не пора ли мне сделать решающий шаг и попытаться издать целую книжку? Все решила поддержка моих друзей, которые верили в меня больше, чем я сам. Довольно бесстрашно я послал рукопись как раз в то издательство, которое тогда было самым репрезентативным для немецкой поэзии, — Шустера и Леффлера, издателей Лилиенкрона, Демеля, Бирбаума, Момберта — того целого поколения, которое одновременно с Рильке и Гофмансталем создало новую немецкую поэзию. И — о, чудо! — одно за другим последовали те незабываемо счастливые мгновения, которые больше никогда не повторяются в жизни писателя даже после величайших успехов: я получил письмо со штампом издательства и с трепетом держал в руках, не решаясь открыть. Наступила секунда, когда, сдерживая дыхание, я прочел, что издательство готово опубликовать книгу и что оно даже оговаривает право на дальнейшие публикации. Прибыла бандероль с первыми верстками, которую я вскрыл с безграничным волнением, чтобы увидеть литературный набор, гранки, как бы эмбриональный облик книги, а затем, через несколько недель, саму книгу, первые экзем-

пляры, которыми не уставал любоваться, трогать их, сравнивать еще, и еще, и еще. А затем беготня по книжным магазинам: выставлена ли книга уже в витрине и в центре ли магазина она красуется или скромно прячется в уголке. А затем ожидание писем, первых критических отзывов, первого отклика неизвестности, из непредугадываемого — все то напряжение, волнение, воодушевление, из-за чего я втайне завидую каждому молодому человеку, который отправляет в мир свою первую книгу. Но этот мой восторг был лишь влюбленностью в первый миг, а ни в коем случае не самодовольством. Как я сам вскоре оценил эти стихи, ясно уже из того, что я не только не переиздал «Серебряные струны» (это название того забытого первенца), но и не взял из них ни одного стихотворения в свое «Избранное». Это были стихи каких-то предчувствий и неосознанных переживаний, возникшие не на основе личного опыта, а из книжных страстей. Тем не менее у них была определенная музыкальность и достаточное чувство формы, чтобы быть замеченными в кругу любителей, и я не мог пожаловаться на недостаток поддержки. Лиlienкрон и Демель, в ту пору видные лирические поэты, выразили девятнадцатилетнему сердечное и почти товарищеское признание. Рильке, так пылко мной обожаемый, прислал мне в ответ на «столь прекрасную книгу» подарочное издание своих ранних стихов с «благодарственным посвящением», которое я, как одно из самых дорогих воспоминаний своей юности, вывез из обломков Австрии в Англию (где эта книга теперь?). Словно призрак, напоминала она мне, что этому дружескому дару Рильке — первому из многих — уже сорок лет и что знакомый почерк приветствует меня из царства теней. Но самой непредвиденной неожиданностью было, однако, то, что Макс Регер, наряду с Рихардом Штраусом крупнейший в то время композитор, обратился ко мне за разрешением положить на музыку шесть стихотворений из этой книги; как часто с тех пор слышал я то или иное из них в концертах — мои собственные, давно мной самим забытые и затерянные стихи, пронесенные братским искусством мастера сквозь время.

Это непредвиденное одобрение, сопровождаемое критическими статьями, толкнуло меня на шаг, на который при моем неизлечимом неверии в себя я никогда — или по меньшей мере так скоро — не решился бы. Еще в гимназии кроме стихов я опубликовал несколько небольших новелл и эссе в литературных журналах «модерна», не отваживаясь, однако, предложить ни один из этих опусов крупной, много-

тиражной газете. В Вене имелся, собственно, лишь один печатный орган высокого ранга — «Нойе фрайе прессе», которая благодаря своей объективности, своей известности и культурному и политическому уровню значила для всей австро-венгерской монархии примерно то же, что «Таймс» для английского мира или «Тан» для французского; ни одна из германских газет не заботилась о столь высоком уровне публикуемых материалов. Издатель «Нойе фрайе прессе» Мориц Бенедикт, человек необыкновенного организаторского таланта и неутомимый труженик, вкладывал всю свою прямо-таки фантастическую энергию в то, чтобы превзойти все немецкие газеты в области литературы и искусства. Если он чего-то хотел от какого-нибудь имени-того автора, тому, не считаясь с расходами, посылались одна за другой десять и двадцать телеграмм, заранее соглашались на любой гонорар; праздничные номера к Рождеству и Новому году представляли собой целые тома с величайшими именами современности: Анатолий Франс, Герхарт Гауптман, Ибсен, Золя, Стриндберг и Шоу встречались в таких случаях в этой газете, которая сделала неизмеримо много для литературной ориентации целого города, всей страны. Конечно же, «прогрессивная» и либеральная по направлению, серьезная, но в то же время осторожная в своих оценках, эта газета наилучшим образом соответствовала культурному уровню старой Австрии.

Этот «храм прогресса» имел одну особую святыню, так называемый «Фельетон», который, как и крупные парижские дневные газеты «Тан» и «Журнал де деба», публиковал в «подвале» серьезнейшие и совершеннейшие критические статьи о поэзии, музыке, театре и искусстве, в явном отмежевании от скоротечной политики и злобы дня. Выступить здесь имели право лишь авторитеты, давно себя утвердившие. В эту святыню могли привести лишь основательность суждений, многоопытность и совершенство формы. Людвиг Шпейдель, мастер малых форм, Эдуард Ханслик, писавшие там о театре и музыке, имели такой же «папский» авторитет, как Сент-Бёв в Париже, в его «Понедельниках», они решали для Вены успех произведения, театральной пьесы, книги и тем самым часто — человека. Каждая из таких статей на целый день становилась предметом бесед в просвещенных кругах: статьи обсуждались, критиковались, ими восхищались или возмущались, и, если вдруг среди давно почитаемых признанных «фельетонистов» всплывало новое имя, это становилось событием. Из молодого поколения только Гофмансталь нашел туда вход несколькими из его

блестящих сочинений; обычно же молодые авторы должны были довольствоваться тем, что их прятали в конце литературного раздела. Тот, кто печатался на первой странице, увековечивал свое имя для Вены в мраморе.

Как я нашел смелость предложить небольшую работу «Нойе фрайе прессе», оракулу моих отцов и приюту избранных, мне до сих пор не совсем понятно. Но, в конце концов, ничего более страшного, чем отказ, произойти не могло. Редактор «Фельетона» принимал только раз в неделю с двух до трех часов, так как из-за постоянных посещений известных литераторов у штатных сотрудников для работы с пришельцами оставалось совсем мало времени. Не без сердцебиения поднялся я по маленькой винтовой лестнице в редакцию и попросил доложить о себе. Через несколько минут секретарь вернулся, сказав, что господин редактор просит, — и я вошел в узкую, тесную комнату. Редактора «Фельетона» «Нойе фрайе прессе» звали Теодор Герцль, и это был первый человек всемирно-исторического масштаба, с которым я столкнулся в жизни — разумеется, еще не ведая, какой невероятный поворот призвана совершить эта личность в судьбе еврейского народа и в истории нашего времени. Начал он с поэтических опусов, рано обнаружил блестящие способности журналиста и стал любимцем венской публики сначала как парижский корреспондент, затем как критик «Нойе фрайе прессе». Его статьи — и поныне поражающие богатством острых и часто тонких наблюдений, изощренностью стиля, значительностью мыслей, которые ни в юморе, ни в сатире никогда не утрачивали врожденного благородства, — были образцом изысканности в журналистике, приводили в восторг весь город, а в этом городе изящное понимали. Его пьеса с успехом шла в «Бургтеатре», так что человек это был известный, боготворимый молодежью, чтимый нашими отцами, пока однажды не случилось непредвиденное. Судьба всегда знает, как отыскать путь к человеку, который необходим для ее тайных замыслов, даже если тот хочет спрятаться от нее.

В Париже Теодор Герцль стал свидетелем события, которое потрясло его душу, — один из тех часов, что меняют всю жизнь; в качестве корреспондента он присутствовал на публичном разжаловании Альфреда Дрейфуса, видел, как с несчастного срывали эполеты, а тот громко восклицал: «Я невиновен». И он тогда искренне поверил, что Дрейфус невиновен и вызвал это ужасающее подозрение в предательстве лишь потому, что был евреем. Сам Теодор Герцль, будучи человеком прямым и гордым, стра-

дал от еврейской участи еще в студенчестве — благодаря пророческому дару предвидения он ощутил весь трагизм еще в те времена, когда эта участь едва ли казалась трагичной. Рожденный быть лидером, чему его великолепные внешние данные способствовали в не меньшей степени, чем широта его мышления и знание мира, он создал фантастический план, как раз и навсегда покончить с еврейской проблемой путем воссоединения еврейства с христианством через добровольное массовое крещение. С фантазией истинного драматурга он представлял себе, как возглавит огромное многотысячное шествие австрийских евреев к собору Святого Стефана, чтобы там в беспрецедентном символическом акте навсегда освободить от проклятия и ненависти отверженный народ. Вскоре он осознал невыполнимость этого плана, литературная работа долгие годы отвлекала его от коренной проблемы его жизни, «решение» которой он рассматривал как главную цель; но теперь, в момент разжалования Дрейфуса, мысль об отверженности его народа словно нож вошла в его грудь. Если неизбежна обособленность, сказал он себе, то тогда уж абсолютная! Если нашей участью навечно стало унижение, то противостоять ему нужно гордо. Если мы страдаем от отсутствия родины, то создадим ее себе сами! В итоге он опубликовал брошюру «Еврейское государство», в которой утверждал, что всякая попытка ассимиляции, всякая надежда на терпимое отношение к еврейскому народу невозможны. Евреи должны основать на своей древней родине Палестине новую, собственную отчизну.

Я был еще гимназистом, когда эта небольшая, однако обладающая пробивной силой стального копыя брошюра вышла в свет, но прекрасно помню всеобщее недоумение и досаду венских евреев из буржуазных кругов. Что за бес, говорили они раздраженно, вселился в этого обычно столь рассудительного, остроумного и изысканного писателя? Что за глупости он выдумывает и пишет? С какой это стати нам надо в Палестину? Наш язык немецкий, а не древнееврейский, наша родина — прекрасная Австрия. Разве нам плохо живется под добрым кайзером Францем Иосифом? Разве жизнь наша не становится все лучше и лучше, разве положение наше безнадежно? Разве мы не равноправные подданные государства, не коренные и верные жители любимой Вены? И разве мы живем не во времена прогресса, который через несколько десятилетий устранил все религиозные предрассудки? Зачем понадобилось ему, еврею, давать такие карты в руки нашим злейшим врагам и

пытаться нас обособить, тогда как мы с каждым днем все ближе и теснее соединяемся с немецким миром? Раввины горячились на кафедрах синагог, главный редактор «Нойе фрайе прессе» даже запретил всякое упоминание слова «сионизм» в своем «прогрессивном» журнале. Терсит венской литературы, мастер сарказма, Карл Краус написал брошюру «Корона для Сиона», а когда Теодор Герцль появлялся в театре, по рядам пронесился иронический шепоток: «Его величество явилось!»

Сначала Герцль мог думать, что его неверно поняли; Вена, где он благодаря своей многолетней популярности чувствовал себя лучше всего, отвергла и даже осмеяла его. Но затем, точно эхо, отозвался ответ, внезапно и с такой силой, что он, вызвав к жизни своими несколькими десятками страниц столь мощное, далеко шагнувшее движение, почти испугался. Ответ пришел не от хорошо обеспеченных, живущих с комфортом евреев Запада, а со стороны огромных масс Востока, от галицийского, польского, русского пролетариата из гетто. Сам того не предполагая, Герцль своей брошюрой расшевелил тлеющий на чужбине огонь еврейства, тысячелетнюю мессианскую мечту, предсказание, подтверждаемое священными книгами, о возвращении на землю обетованную — эту надежду и вместе с тем религиозную уверенность, которая единственная делала еще осмысленной жизнь тех забытых и поработанных миллионов. Всегда, когда кто-нибудь — пророк или прохожимец — за две тысячи лет изгнания прикасался к этой струне, то вся душа народа приходила в волнение, но никогда так мощно, как на этот раз, с таким шумным бурлящим откликом. Раздробленную, охваченную распрями массу сплотил несколькими десятками страниц один-единственный человек. Самым счастливым в короткой жизни Герцля было предназначено стать этому первому мгновению, пока идея еще имела уповательно-неясные формы. Как только он попытался конкретно сформулировать свою цель для реальной действительности, собрать воедино все силы, он вынужден был признать, насколько разнородным сделался этот его народ среди различных народов и судеб: здесь евреи верующие, там — атеисты, здесь — социалисты, там — капиталисты, и все и на разных языках горячо выступают друг против друга, и все не способны подчиниться единому авторитету. В тот, 1901 год, когда я увидел Герцля впервые, он находился в центре борьбы и был, возможно, в разладе с самим собой: он еще недостаточно верил в успех, чтобы отказаться от места, которое кормило его и его

семью. Ему еще приходилось разрываться между обычной журналистской службой и задачей, которая была делом его жизни. Тогда и принял меня в редакции Теодор Герцль — редактор «Фельетона».

* * *

Теодор Герцль поднялся, чтобы поздороваться со мной, и я невольно почувствовал, что ироническое прозвище «король Сиона» в чем-то точно: он действительно выглядел по-королевски, со своим высоким, открытым челом, ясными чертами, своей длинной, иссиня-черной бородой апостола и своими темно-карими меланхолическими глазами. Широкие, несколько театральные жесты были лишены искусственности, потому что вызывались естественным величием, и вовсе не требовалось особого повода, чтобы продемонстрировать передо мной его значительность. Даже за этим обшарпанным, заваленным бумагами письменным столом в этом тесном редакционном обиталище в одно окно он производил впечатление шейха бедуинов; развевающийся белый бурнус был бы ему так же к лицу, как его безукоризненно пошитая, явно по парижской моде, черная визитка. После небольшой намеренно выдержанной паузы — он любил, как я потом часто замечал, эти маленькие эффекты и, вероятно, обучился им в «Бургтеатре» — он снисходительно и в то же время весьма дружелюбно подал мне руку. Указав на кресло рядом с собой, он спросил: «Мне кажется, я где-то уже слышал ваше имя или читал. Стихи, не так ли?» Мне пришлось подтвердить. «Итак, — откинулся он в кресле, — что вы принесли?»

Я сказал, что охотно предложил бы небольшую прозаическую работу, и передал рукопись. Он взглянул на титульный лист, пролистал вплоть до последней страницы, чтобы узнать объем, затем еще глубже откинулся в кресле. И, к моему удивлению (этого я не ожидал), я увидел, что он тут же начал читать рукопись. Он читал внимательно, страницу за страницей, не поднимая глаз. Прочитав последний лист, он неспешно сложил рукопись, вложил ее, все еще не глядя на меня, аккуратно в конверт и синим карандашом сделал на нем какую-то пометку. Лишь после того, как этими таинственными манипуляциями он достаточно долго продержал меня в напряжении, он поднял на меня тяжелый, хмурый взгляд и произнес с намеренно замедленной торжественностью: «Я рад сообщить вам, что ваша прекрасная работа принята в отдел критики „Нойе фрайе пресе“».

Словно Наполеон приколот на поле брани орден Почетного легиона молодому сержанту.

Сам по себе этот эпизод кажется незначительным. Но надо быть венцем, и венцем того поколения, чтобы понять, какой взлет означало это признание. Тем самым я на девятнадцатом году жизни за одну ночь возвысился до уровня авторитетов, и Теодор Герцль, с этого момента благорасположившись ко мне, сразу же использовал случайный повод, чтобы в одной из своих ближайших статей написать, что нет оснований говорить об упадке искусства в Вене. Напротив, сейчас наряду с Гофмансталем есть целый ряд талантов, от которых можно многого ожидать, и на первое место поставил мое имя. Я всегда воспринимал как особую честь, что Теодор Герцль, человек столь исключительной значимости, первым публично отметил меня с высоты своей заметной, а потому ответственной должности, и мне было нелегко решиться — тем самым проявив мнимую неблагодарность — на отказ от его настойчивого предложения присоединиться и даже активно участвовать в руководстве его сионистским движением.

Но настоящей привязанности как-то не получалось; меня неприятно поражала непочтительность, сегодня, пожалуй, уже невыносимая, с которой относились к самому Герцлю его же товарищи по партии. Восточные евреи упрекали его в том, что он ничего не смыслит в иудаизме, даже не знает обрядов, специалисты по национальной экономике смотрели на него только как на литератора, у каждого было свое и не всегда приемлемого тона возражение. Я понимал, какое плодотворное или тлетворное воздействие именно в ту пору могли бы оказать на Герцля по-настоящему преданные, особенно молодые люди, но бранчливый, не терпящий ни малейших возражений характер этих постоянных споров, отсутствие искреннего, сердечного уважения друг к другу в этом кругу отдалили меня от движения, к которому я с любопытством приблизился лишь из-за Герцля. Однажды, когда мы заговорили на эту тему, я выразил свое недовольство отсутствием достаточного единства в рядах движения. Он улыбнулся несколько кисло и сказал: «Не забывайте, что мы веками приучены к игре проблемами, к идейным спорам. У нас, евреев, ведь уже две тысячи лет не было никакой исторической практики в реализации чего-нибудь конкретного. Сперва следовало бы научиться жертвовать собой, а к этому я еще и сам не готов, ибо время от времени пишу статьи и веду отдел литературы в «Нойе фрайе прессе», тогда как мой долг — не иметь никаких иных мыслей,

кроме *одной*, и не начертать на бумаге ни единой линии для чего-нибудь иного. Но я уже на пути к исправлению, обязательно хочу научиться жертвовать сам, и, быть может, этому научатся и другие». Я помню, что эти слова произвели на меня сильное впечатление, ибо мы все не понимали, почему Герцль так долго не решается отказаться от своей должности в «Нойе фрайе прессе», — мы думали, что это ради семьи. О том, что это не так и что он для дела пожертвовал даже своим состоянием, мир узнал лишь позднее. Как он страдал от душевного разлада, показал мне не только этот разговор, об этом свидетельствуют и многие заметки в его дневниках.

Я видел его затем еще несколько раз, но из всех встреч особо запомнилась лишь одна, потому, возможно, что она была последней. Я был за границей — связь с Веной поддерживал лишь письмами, — вернулся и как-то встретил его в городском парке. Вероятно, он шел из редакции, шел сутулясь и очень медленно; то была уже не прежняя порывистая походка. Я вежливо поприветствовал его и собрался пройти мимо, но он быстро пошел прямо на меня, подал мне руку: «Почему вы прячетесь? Вам это совсем не нужно». То, что я часто скрывался бегством за границу, он ставил мне в большую заслугу. «Единственно верный путь, — сказал он. — Всему, что я знаю, я научился за границей. Лишь там привыкаешь мыслить масштабно. Я убежден, что здесь я никогда бы не отважился на ту первую концепцию, ее бы уничтожили еще в зародыше. Но, слава Богу, к моменту моего возвращения идея созрела окончательно, и всем ничего не оставалось, как ее проглотить». Затем он с горечью заговорил о Вене; здесь он встретил самые большие преграды, и если бы не приходили все новые импульсы извне, с Востока особенно, а теперь и из Америки, он давно бы потерял всякую веру. «Вообще, — сказал он, — моя ошибка в том, что я начал поздно. Виктор Адлер был вождем социал-демократии в тридцать лет, в свои лучшие, самые боевые годы, не говоря уже о великих людях мировой истории. Если бы вы знали, как я страдаю о потерянных годах — оттого, что за выполнение своей задачи не взялся раньше. Если бы мое здоровье было таким же крепким, как моя воля, тогда бы все было в порядке, но годы назад не вернешь». Я еще долго провожал его по пути домой. У дома он остановился, протянул мне руку и спросил: «Почему вы никогда не приходите ко мне? Вы ведь не бывали у меня дома. Позвоните заранее, а время я уж отыщу». Я пообещал ему это, твердо решив не сдерживать обе-

щение, ибо чем больше я люблю человека, тем больше ценю его время.

И тем не менее я пошел к нему, правда, лишь через несколько месяцев. Болезнь, которая тогда уже грозила согнуть Герцля, свела его вдруг в могилу, и теперь я мог проводить его лишь на кладбище. Удивительный это был день, июльский день, незабываемый для каждого, кто его пережил. Потому что внезапно со всех континентов, из всех стран на все вокзалы города каждым поездом днем и ночью стали приезжать люди — западные, восточные, русские, турецкие евреи, из всех провинций и маленьких городов устремились они сюда с печатью горя на лицах; никогда более явно не ощущалось то, что раньше скрывали бесконечные споры и ссоры: тот, кого здесь хоронили, был лидер большого движения. Шествие было бесконечным. Вена разом заметила, что умер не просто писатель или средней руки поэт, но один из тех создателей идей, какие победно являются в той или иной стране, в том или ином народе лишь через гигантские промежутки времени. На кладбище произошло столпотворение: слишком многие вдруг бросились к его гробу, рыдая, стеноя, вопия в неизбывном отчаянье, дошедшем почти до неистовства, буйства; всякий порядок был забыт в этом простейшем и бурном проявлении скорби; никогда ни до, ни после я не видел такого на похоронах. И по этой гигантской, толчками вырывающейся из глубин многомиллионного народа боли я мог впервые определить, сколько страсти и надежды бросил в мир этот единственный и одинокий человек благодаря силе своей мысли.

Огромное значение для моей личной жизни имело победное вхождение в «Фельетон» «Нойе фрайе прессе». Благодаря ему я приобрел неожиданный авторитет в собственной семье. Родители мои мало интересовались литературой и суждений о ней не имели; для них, как и для всей венской буржуазии, важным было лишь то, что там хвалили, остальное им было безразлично. То, что печаталось в «Фельетоне», являлось для них непререкаемым авторитетом, ибо тот, кто мог выступить там со своим мнением, уже тем самым вызывал уважение. И вот представим теперь себе такую семью, члены которой ежедневно со вниманием и глубоким почтением устремляют свой взгляд на эту одну страницу своей газеты и однажды утром, не веря своим глазам, обнаруживают, что довольно неопрятному девятнадцатилетнему юнцу, сидящему рядом за столом, отнюдь не блестящему в школе, писанину которого они воспринимают со

снисхождением, как «неопасное» баловство (это, во всяком случае, лучше, чем игра в карты или флирт с легкомысленными девицами), предоставлено в этом ответственном издании, наряду с известными и опытными мужами, слово для выражения им своего мнения (дома до сих пор не очень-то почитаемого). Если бы я оказался автором прекрасных стихов Китса, Гёльдерлина или Шелли, то и это не произвело бы такого крутого поворота; когда я приходил в театр, друг другу показывали этого загадочного Вениамина, который чудесным образом проник в святой заповедник почтеннейших и достойнейших. А так как я стал печататься в «Фельетоне» часто и почти регулярно, то вскоре мне начала грозить опасность стать уважаемой местной знаменитостью; но этой опасности я, к счастью, вовремя избежал, поразив как-то утром родителей известием, что со следующего семестра намерен учиться в Берлине. А моя семья изрядно почитала меня — или, скорее, «Нойе фрайе прессе», в золотой тени которой я пребывал, — и даже слишком, чтобы не удовлетворить мое желание.

* * *

Разумеется, я и не думал «учиться» в Берлине. Там за семестр я, как и в Вене, побывал в университете лишь дважды: первый раз — чтобы записаться на курс лекций, а во второй — чтобы получить зачет за их мнимое посещение. Я искал в Берлине не профессоров и не их лекций, а еще более высокую, более полную свободу. В Вене я невольно был привязан к среде. Литераторы, с которыми я общался, почти все происходили из той же буржуазной среды, что и я; в тесном городе, где каждый знал о каждом, я неизбежно оставался сыном из «порядочной» семьи, и я устал от так называемого «хорошего общества»; мне даже в один прекрасный день захотелось откровенно «плохого» общества — непринужденной, неконтролируемой формы существования. Я и не удосужился заглянуть в расписание, кто преподает в Берлине философию; мне достаточно было знать, что «новая» литература там развивается более энергично, более бурно, чем у нас, что там можно встретить Демеля и других поэтов молодого поколения, что там непрестанно возникают журналы, кабаре, театры — одним словом, что там, как говорят венцы, «что-то происходит».

Действительно, я приехал в Берлин в очень интересный исторический момент. С 1870 года, когда он из довольно захолустной, небольшой и совсем небогатой столицы Прус-

сии стал резиденцией германского кайзера, заурядный город на Шпрее начал бурно развиваться. Но на долю Берлина еще не выпало главенство в художественной и культурной областях: Мюнхен с его художниками и поэтами считался подлинным центром искусства, дрезденская Опера диктовала моду в музыке, столичные города притягивали к себе способных людей, и прежде всего Вена, с ее столетней традицией, средоточием духовных сил, ее прямо-таки врожденным талантом, все еще намного превосходила Берлин. Однако в последние годы, в связи с быстрым экономическим подъемом Германии, положение начало меняться. В Берлин потянулись представители крупных концернов, состоятельные семьи, и новое богатство, соединенное с отчаянной дерзостью, открыло здесь архитектуре и театру большие возможности, чем в любом другом крупном немецком городе. Под покровительством кайзера Вильгельма музеи разрослись, театр нашел образцового руководителя в лице Отто Брама, и именно то, что здесь отсутствовали коренные традиции, многовековая культура, толкало молодежь на дерзания. Ибо традиция всегда означает и тормоз. Вена, привязанная к старому, обожествляющая свое прошлое, оказалась осторожной и выжидающей по отношению к молодым людям и дерзким экспериментам. В Берлине же, развивавшемся бурно и своеобразно, искали новое. Таким образом, было естественно, что молодые люди со всей империи и даже из Австрии устремились в Берлин, где наиболее талантливые были по справедливости вознаграждены: венцу Максу Рейнхардту пришлось бы в Вене терпеливо ждать два десятилетия, чтобы достичь положения, которое в Берлине он завоевал за два года.

Я прибыл в Берлин как раз в период его превращения из затрапезной столицы в мировой город. Первое впечатление после сытой и унаследованной от великих предков красоты Вены было разочаровывающим: решительное смещение на запад, где должно было развернуться новое строительство, в противовес довольно пошлым кварталам Тиргартена, только начиналось; и еще не застроенная Фридрихштрассе и Лейпцигерштрассе с ее несуразной парадностью составляли центр города. До пригородов — Вильмерсдорфа, Николасзее, Штеглица — можно было с трудом добраться лишь трамваем, а поездка к озерам с их строгой красотой в то время требовала организации чуть ли не экспедиции. Кроме старой Унтер-ден-Линден, настоящего центра не было, а элегантность в силу исконной прусской экономности вообще отсутствовала. Женщины ходили в театр в само-

дельных, безвкусно сшитых платьях, повсюду недоставало легкого, непринужденного, расточительного размаха, который в Вене, как и в Париже, умеет создать очаровательное излишество из дешевого ничего. Во всем чувствовалась фридрихианская, скупая домовитость: кофе был жидким и плохим, потому что сэкономили каждое зернышко, еда безвкусной, без сока и силы. Повсюду вместо нашей музыкальной круговерти царили чистота и строгий порядок. Ничто для меня, например, не было более показательным, чем противоположность между моими венской и берлинской хозяйками. Венская была бойкой болтливой женщиной и все содержала не в лучшем виде, легкомысленно забывая то об одном, то о другом, но всегда была готова помочь, чем только могла. Берлинка была корректной и все содержала в безукоризненном состоянии; но в первом же месячном счете я нашел учтенной ровным, четким почерком каждую мелкую услугу, которую она оказала: три пфеннига за то, что пришла к брюкам пуговицу, двадцать пфеннигов за то, что удалила со стола чернильное пятно, пока наконец под мощной подводящей все ее усилия чертой не получилась суммища в 67 пфеннигов. Я сначала посмеялся над этим; но интересно, что сам через несколько дней поддался этому педантичному, мучительному прусскому пристрастию к порядку и в первый и последний раз в моей жизни вел точную запись всех расходов.

От венских друзей я получил множество рекомендательных писем. Но ни одним не воспользовался. Ведь подлинным смыслом моей эскапады было бегство от любой обеспеченной и буржуазной обстановки, для того чтобы жить раскованно, рассчитывая на себя самого. Я стремился к тому, чтобы познать людей, к которым нашел бы путь благодаря своим литературным успехам, и по возможности интересных людей; в конце концов, мы ведь читали «Сцены из жизни богемы», а кто из двадцатилетних не хотел бы пережить похожее.

Такой пестрый и случайный круг людей мне не пришлось искать долго. Еще будучи в Вене, я сотрудничал в ведущем органе берлинского «модерна», который почти иронично назывался «Die Gesellschaft»¹, и руководил им Людвиг Якобовски. Этот молодой поэт незадолго до своей ранней смерти создал союз с соблазнительным для молодежи названием — «Die Kommenden»², который собирался раз в

¹ «Общество» (нем.).

² «Грядущие» (нем.).

неделю на нижнем этаже кафетерия на Неоллендорфплац. В этом построенном на манер «Клозери де Лилль»¹ огромном круглом зале собиралась самая разношерстная публика, поэты и архитекторы, просто снобы и журналисты, юные девицы, выдававшие себя за художниц и ваятельниц, русские студенты и белокурые скандинавки, которые хотели усовершенствоваться в немецком языке. Да и сама Германия имела здесь представителей из всех своих провинций: крепко скроенных вестфальцев, простодушных баварцев, силезских евреев — все они спорили и шумели, бурно и непринужденно. Время от времени читались стихи и пьесы, но главным для нас было взаимное общение. Среди этих молодых людей, которые намеренно выглядели «богемно», трогательно, словно Санта-Клаус, выделялся старый человек с седой бородой — всеми уважаемый и любимый истинный поэт и истинная богема Петер Хилле. Этот семидесятилетний старик с голубыми собачьими глазами глядел добродушно и доверчиво на удивительное сборище молодых людей, всегда укутанный в свой старый плащ, который скрывал вконец изношенный костюм и грязную рубашку; всякий раз, охотно уступая нашему натиску, он вынимал из кармана пиджака измятую рукопись и читал свои стихи. Стихи были неравноценные, скорее, импровизации лирического гения, только написанные слишком поспешно, случайно. Он писал их в трамвае или в кафе карандашом, потом забывал про них и с трудом мог разобрать строки на смятых, в пятнах листах. Денег у него никогда не было, но он и не беспокоился о них, ночевал в гостях то у одного, то у другого, и в его отрешенности от мира, его абсолютном бескорыстии было столько потрясающе истинного! Никто не знал, когда и как этот добрый леший попал в большой город Берлин и что он здесь искал. Он совсем ничего не хотел: ни славы, ни известности, ни почестей — и благодаря своей поэтической сказочности был беспечней и свободней всех тех, кого я встречал позднее. Вокруг него галдели и старались перекричать друг друга завзятые спорщики; он только вслушивался, ни с кем ни споря, иногда дружески поднимал бокал в чью-нибудь сторону, но в разговор не вступал. Было такое чувство, что даже во время самого дикого гама в его всклокоченной голове продолжается поиск рифм и слов, которые роятся и ускользают от него.

Непосредственное и детское, что исходило от этого наивного поэта — который даже в Германии ныне уже

¹ Ресторан в центре Парижа. — *Прим. перев.*

почти забыт, — быть может, чисто эмоционально, отвлекло мое внимание от законно избранного председателя, хотя это был человек, чьи мысли и слова определили жизненный путь множества людей. В нем, Рудольфе Штейнере, основателе антропософии, чьи последователи позднее создали великолепные школы и академии для распространения его учения, я встретил человека, на которого судьба возложила миссию стать проводником миллионов. В его темных глазах была гипнотическая сила, и я лучше и более критично слушал Штейнера, когда не смотрел на него, ибо его аскетически-сухощавый, отмеченный духовной страстностью облик, пожалуй, способен был покорять не только женщин. В то время Рудольф Штейнер еще не подошел вплотную к своему учению, он сам еще был в поисках и сомнениях; иногда он комментировал учение о цвете Гёте, образ которого в его интерпретации более походил на Фауста, на Парацельса. Речи его захватывали, ибо образован он был поразительно — и особенно по сравнению с нами, занятыми исключительно литературой, — замечательно многогранно; после его лекций и нескольких задушевных бесед я всегда возвращался домой и воодушевленный, и несколько подавленный. Тем не менее, когда я спрашиваю себя, предвидел ли я тогда, что философские и этические воззрения этого молодого человека окажут столь огромное влияние на массы, я, к стыду своему, должен ответить отрицательно. Я ожидал от его пытливого ума великого вклада в науку и несколько не удивился бы, если бы ему удалось совершить крупное открытие в биологии; но когда, спустя многие годы, в Дорнахе я увидел грандиозный Гётеанум — эту «школу мудрости», эту платоновскую академию «антропософии», которую учредили его ученики, — я был скорее разочарован тем, что его влияние реализовалось таким практическим, отчасти даже банальным образом. Я не беру на себя смелость выносить суждение об антропософии, ибо мне и до сего дня не совсем ясно, чего она добивается и к чему стремится; я даже думаю, что по сути своей ее соблазнительное воздействие связано не с идеей, а с притягательной личностью Рудольфа Штейнера. Как бы то ни было, встретить человека подобной магнетической силы именно тогда, на той ранней ступени его развития, когда он держался более молодого, дружески-непринужденно и без всяких предвзятостей, было для меня неоценимым выигрышем. Его фантастически обширные и в то же время глубокие знания показали мне, что истинный университет (а нам-то с нашим гимназическим высокомерием казалось, что он у же

позади) — это не поверхностная начитанность, не словесные баталии, но многолетний и упорный труд.

Человек в пору особой, молодой впечатлительности, когда дружба завязывается легко, а социальные и политические различия существенной роли не играют, самое главное получает скорее от своих сверстников, чем от зрелых людей. Снова я ощутил — но теперь на более высокой и более «интернациональной» ступени, чем в гимназии, — насколько плодотворен коллективный энтузиазм. В то время как мои венские друзья почти все происходили из буржуазии, молодые люди этого нового мне мира были выходцами из самых разных слоев — верхних, нижних: один — прусский аристократ, сын гамбургского судовладельца — другой, третий — из вестфальского крестьянского рода; я вдруг оказался среди людей, где была и настоящая бедность с рваным платьем и стоптанными туфлями, следовательно, в такой среде, с которой в Вене я никогда не соприкасался. Я сидел за одним столом с настоящими пьяницами и наркоманами, я пожимал — очень гордо — руку одному довольно известному отбывшему наказание авантюристу (который позднее опубликовал свои мемуары и таким образом оказался среди нас, литераторов). Все, чему я почти не верил в реалистических романах, толклось и обитало в маленьких пивных и кафе, куда меня ввели, и чем хуже была репутация какого-нибудь человека, тем более сильным было мое желание познакомиться с ее носителем лично. Этот особый интерес или любопытство к опасным людям, между прочим, сопровождали меня всю жизнь; даже в годы, когда пристало быть уже более разборчивым, мои друзья часто возмущались, с какими-де аморальными, сомнительными и по-настоящему компрометирующими людьми я общаюсь. Возможно, именно добропорядочность той среды, из которой я происходил, и тот факт, что я до определенной степени сам ощущал тяжесть комплекса «благополучия», делали притягательными всех, кто к своей жизни, своему времени, своим деньгам, своему здоровью, своему доброму имени относились расточительно и чуть ли не с презрением, этих людей страсти, этих мономанов чистого бытия без цели; быть может, в моих романах и новеллах заметно влечение ко всем ярким и необузданным натурам. К этому добавлялась привлекательность экзотического, иноземного; почти каждый, уступая натиску моего любопытства, преподносил мне подарок из иного мира. Молодой человек из России переводил мне прекраснейшие места в ту пору еще неизвестных в Германии «Братьев Карамазовых»;

молодая шведка познакомила меня с картинами Мунка; я слонялся по мастерским художников (разумеется, плохих), знакомясь с их техникой; мистик отвел меня в спиритический кружок — многолико и пестро воспринимал я жизнь и не мог насытиться. Жажда впечатлений, проявлявшаяся в гимназии лишь в «чистых» формах, в стихе, рифме и слове, перебросилась теперь на людей: с раннего утра до глубокой ночи я встречался в Берлине все с новыми и разными людьми, воодушевленный, разочарованный, подчас обманутый ими. Думаю, за десять лет я не получил столько от духовного общения, как за один этот короткий семестр в Берлине — первый семестр полнейшей свободы.

* * *

То, что это невероятное многообразие впечатлений должно было стать сильнейшим побуждением к творчеству, казалось мне само собой разумеющимся. В действительности же случилось наоборот: моя уверенность в себе, столь возросшая в гимназическую пору благодаря духовной экзальтированности, заметно поубавилась. Через четыре месяца после публикации сборника стихов я уже не понимал, откуда набрался смелости издать эту незрелую книгу; теперь я воспринимал эти стихи как добротное, искусное, отчасти даже достойное внимания изделие художественного ремесла, возникшее от тщеславного умения играть формой, но слишком сентиментальное. Точно так же с начала соприкосновения с этой действительностью ощутил я в своих первых рассказах аромат надушенной бумаги; написанные при абсолютном незнании реальности, они использовали чью-то чужую, некогда заимствованную технику. Романом, доведенным до конца и привезенным в Берлин, чтобы осчастливить издателя, вскоре была истоплена печь, ибо моя вера в основательность моих гимназических познаний о жизни была вконец подорвана этим первым соприкосновением с жизнью настоящей. У меня было такое чувство, словно в гимназии меня пересадили двумя классами ниже. Действительно, после первой книги стихов я сделал перерыв в шесть лет, прежде чем опубликовать вторую, и лишь через три или четыре года опубликовал первую книгу прозы; последовав совету Демеля, которому я и по сей день благодарен за это, я использовал свое время для переводов, что и теперь считаю лучшей возможностью для молодого поэта глубже и более творчески осознать дух родного язы-

ка. Я перевел стихи Бодлера, кое-что из Верлена, Китса, Уильяма Морриса, небольшую драму Шарля ван Лерберга и роман Лемонье, «*pour me faire la main*»¹. Именно благодаря тому, что любой иностранный язык присущими только ему оборотами создает поначалу трудности для перевода, он требует выражений такой силы, которые обычно без поиска не даются, и эта упорная борьба за постижение самого существенного в иностранном языке и столь же пластичное перенесение в язык родной всегда доставляли мне особое эстетическое наслаждение. Поэтому эта скромная и, собственно говоря, неблагодарная работа, требующая терпения и выдержки — добродетелей, которыми в гимназии по легкомыслию и беспечности я пренебрегал, — стала мне особенно дорога, ибо в этом скромном содействии высокому искусству я впервые ощутил уверенность, что делаю нечто действительно нужное, что оправдывает мое существование.

* * *

Мой путь на ближайшие годы стал мне теперь яснее: как можно больше повидать, многому научиться и только после этого браться за дело! Не вступать в мир с незрелыми публикациями, а сначала познать все его тайны! Берлин со всеми соблазнами еще более усилил мою жажду. И я оглядывался вокруг, выбирая, в какую страну совершить путешествие летом. Мой выбор пал на Бельгию. В этой стране в начале нового века произошел настолько бурный художественный подъем, что в каком-то отношении она даже превзошла Францию. Кнопф, Ропс — в живописи, Константен Менье и Минне — в скульптуре, Ван дер Вельде — в декоративно-прикладном искусстве, Метерлинк, Экхуд, Лемонье — в поэзии придали новые силы европейскому искусству. Но больше всего меня привлекал Эмиль Верхарн, ибо его лирика указывала совершенно новый путь; я открыл его в ту пору, когда он в Германии был еще совершенно неизвестен (официальная литература путала его долго с Верленом, так же как она смешивала Роллана с Ростаном), некоторым образом *privatim*². А когда любишь кого-нибудь один — любишь вдвое сильнее.

Быть может, здесь требуется небольшое пояснение.

¹ Чтобы набить руку (*франц.*).

² Для себя (*лат.*).

Наша эпоха живет слишком быстро и слишком разнообразно, чтобы иметь хорошую память, и я не уверен, значит ли что-нибудь и поныне имя Эмиля Верхарна. Верхарн первым из поэтов, писавших по-французски, попытался дать Европе то, что Уолт Уитмен — Америке: познание современности, познание будущего. Он полюбил современный мир и стремился завоевать его для поэзии. В то время как другим представлялось, будто машины злы, города уродливы, современность — непозитична, его вдохновляло каждое новое изобретение, каждое техническое достижение, и он сознательно культивировал свой восторг, чтобы в этой страсти ощущать себя более сильным. Начав с коротких стихотворений, он перешел к грандиозным, стремительным гимнам. «Admirez-vous les uns les autres»¹ стало обращением к народам Европы. Весь оптимизм нашего поколения, этот давно уже непонятный при теперешней ужасной деградации оптимизм, впервые нашел у него поэтическое воплощение, и некоторые из лучших его стихотворений долго еще будут свидетельствовать о том, какими являлись тогда нашей мечте Европа и человечество. Собственно, я и приехал в Брюссель для того, чтобы познакомиться с Верхарном. Но Камиль Лемонье, этот мужественный, несправедливо забытый в наши дни поэт, чей роман «Самец» я перевел на немецкий, с сожалением сказал мне, что Верхарн лишь изредка наезжает в Брюссель из своей деревушки и теперь его нет в городе. Чтобы как-то компенсировать мое разочарование, он самым сердечным образом свел меня с другими деятелями бельгийского искусства. Так, я повидал старейшего мастера Константена Менье, этого смелого и могучего скульптора, певца труда; а после него Ван дер Стаппена, имя которого сегодня в истории искусств почти стерлось. А как приветлив был этот невысокий, толстощекий фламандец и как сердечно принимали меня, молодого человека, он и его крупная, высокая, веселая жена-голландка! Он показал мне свои работы, мы долго беседовали в тот ясный полдень об искусстве и литературе, и доброта этой четы вскоре заставила меня забыть свою робость. Я откровенно поведал им о своем огорчении: в Брюсселе мне недостает именно того, ради кого я, собственно, приехал, — Верхарна.

Не сказал ли я что-нибудь лишнее? Может быть, я сказал глупость. Во всяком случае, Ван дер Стаппен и его жена заулыбались, переглядываясь украдкой. Я заметил, что мои

¹ Восхищайтесь друг другом (*франц.*).

слова навели их на какую-то мысль. Почувствовав себя неловко, я стал откланиваться, но они не отпустили меня — следовало непременно остаться пообедать. И все та же лукавая усмешка в глазах у обоих. Я понял, что если за всем этим и кроется какая-то загадка, то приятная, и с готовностью отказался от запланированной поездки в Ватерлоо.

Скоро наступил полдень, и вот мы уже сидели в столовой — она находилась, как во всех бельгийских домах, на первом этаже, — а из гостиной сквозь цветные стекла просматривалась улица, как вдруг за окном выросла резко очерченная тень. В цветное стекло постучали, коротко прозвенел звонок. «Le voilà!»¹ — воскликнула жена Ван дер Стаппена и поднялась. Я не знал, кого она имеет в виду, но дверь уже отворилась, и тяжелым, богатырским шагом вошел он — Верхарн. Я сразу узнал его давно знакомое мне по фотографиям лицо. Верхарн часто бывал здесь в гостях, и, когда Ван дер Стаппены слышали, что я тщетно ищу его повсюду, они безмолвно условились сделать мне сюрприз. И вот он, посмеиваясь над удавшейся шуткой, стоит передо мной. В первый раз я ощутил крепкое пожатие его нервной руки, впервые увидел его ясный, добрый взгляд. Он пришел заряженный, как всегда, — в равной мере впечатлениями и энергией. И, жадно принявшись за еду, сразу же стал рассказывать. Он побывал у друзей и в галерее и все еще находился под впечатлением. Откуда бы он ни пришел, он всегда был чем-нибудь взволнован, и это воодушевление стало для него святой привычкой; словно пламя срывалось с его губ, а сказанное он умел великолепно подкрепить резким жестом. С первого же слова он проникал в людские души, потому что был совершенно открыт, доступен всему новому, все принимал и был готов на жертву для любого и каждого. Он открывался перед человеком до самой своей сокровенной сути, и в тот первый час знакомства я испытал на себе благотворный неодолимый натиск его личности, как сотни раз впоследствии покорялся ему вместе с другими людьми. Он еще ничего не знал обо мне, но уже доверял только потому, что услышал, как мне близко его творчество.

После обеда меня ожидал еще один приятный сюрприз. Ван дер Стаппен по просьбе Верхарна давно уже работал над бюстом поэта. И как раз сегодня предстоял последний сеанс. Мое присутствие, сказал Ван дер Стаппен, как нельзя кстати, нужно занять беседой слишком беспокойную модель, пока та будет позировать, — чтобы лицо выглядело

¹ Вот и он! (франц.).

оживленным. И вот в течение двух часов я внимательно вглядывался в это лицо, в это незабываемое лицо. Высокий лоб, густо изборожденный морщинами трудных лет, над ним копна вьющихся каштановых волос, резкие очертания обветренных загорелых скул, словно каменный подбородок, и над узким ртом — густые висячие усы à la Верцингеториг. Тревожное беспокойство таилось в руках — узких, цепких, тонких и все же крупных руках, на которых под прозрачной кожей сильно пульсировали вены. Волевой мощью дышали широкие крестьянские плечи, на которых нервная костистая голова казалась чуть ли не маленькой; лишь при ходьбе заметной становилась его сила. Теперь, глядя на этот бюст — никогда Ван дер Стаппену не удавалось создать ничего лучшего, — я понимаю, насколько он похож и насколько верно он схватывает суть поэта. Он — свидетельство поэтического величия, памятник непреходящей силы.

* * *

За эти три часа я полюбил этого человека на всю жизнь. В его натуре была уверенность, которая ни на минуту не переходила в самодовольство. Он не гнался за деньгами, охотно жил в глуши, лишь бы не писать на потребу нынешнему часу или дню. Он устоял перед опаснейшим искушением — перед славой, когда та наконец пришла к нему в зените жизни. Он остался открытым, не знающим опасений, не подверженным тщеславию, свободным, радостным, восторженным человеком; находясь с ним рядом, я ощущал в себе частицу его воли к жизни.

И вот он, точно такой, каким я представлял его и видел в мечтах, стоял передо мной наяву. И в первый же час нашего знакомства я принял решение: служить этому человеку и его делу. Решение было отчаянным, так как этот творец гимнов в честь Европы был тогда в этой самой Европе малоизвестен и я знал заранее, что перевод его монументальной поэзии и трех его поэтических драм отнимет от моего собственного творчества два или три года. Но, решившись отдать все свои силы, время и страсть служению чужому труду, я получил зато нравственный стимул и оказался в выигрыше. Мои неопределенные искания и эксперименты обрели теперь смысл.

И если бы мне сегодня пришлось давать совет молодому писателю, который не определил еще своего пути, я бы

постарался направить его на то, чтобы он попробовал переложить или перевести какое-нибудь значительное произведение. Подвижническое служение плодотворней для начинающего, чем собственное творчество, и ничто из того, что пожертвовано другому, не потеряно.

* * *

За два года, которые я посвятил переводам поэтических произведений Верхарна и сочинению биографической книги о нем, я много путешествовал — в частности, для чтения публичных лекций. И был неожиданно вознагражден за свой на первый взгляд неблагодарный труд: друзья Верхарна за границей обратили на меня внимание, а вскоре они стали и моими друзьями. Так, однажды ко мне пришла Эллен Кей — эта удивительная шведка, с несравненной смелостью отстаивавшая в те нелегкие времена эмансипацию женщин; в своей книге «Век ребенка» она, задолго до Фрейда, рассказала о том, как хрупок душевный мир подростка; благодаря ей я получил в Италии доступ в поэтический кружок Джованни Чены, а в норвежце Юхане Бойэре обрел большого друга. Георг Брандес, всемирно известный специалист по истории литературы, доверившись моему отзыву, сделал имя Верхарна более известным в Германии, чем на его родине. Кайнци, величайший актер, а также Моисси читали со сцены его стихи в моих переводах. Макс Рейнхардт поставил «Монастырь» Верхарна на немецкой сцене: мне было чем гордиться.

Но тут наступило время вспомнить, что я взял на себя еще одно обязательство. Мне надо было закончить свою университетскую карьеру и привезти домой титул доктора философии. Предстояло за пару месяцев переворочить весь академический материал, который более прилежные студенты с отвращением пережевывали почти четыре года; вместе с Эрвином Гвидо Кольбенхайером, наперсником моих юношеских литературных увлечений (который, вероятно, сейчас не любит об этом вспоминать, став в гитлеровской Германии одним из официозных поэтов и академиком), мы зубрили ночи напролет. Но экзамен оказался несложным. Добряк профессор, достаточно хорошо знавший о моей литературной работе, чтобы не терзать меня всякой чепухой, в частной предварительной беседе сказал улыбаясь: «Вам ведь не хочется экзаменоваться по формальной логике?» — и переключился на те проблемы, в

которых, как он знал, я ориентировался уверенно. Это был первый и, надо полагать, последний случай, чтобы я выдержал экзамен на «отлично». Итак, я обрел внешнюю свободу и всю жизнь, вплоть до сегодняшнего дня, отдал борьбе, которая в наше время становится все более тяжелой, — борьбе за то, чтобы отстоять и свободу внутреннюю.

ГОРОД ВЕЧНОЙ ЮНОСТИ — ПАРИЖ

В подарок на первый же год обретенной свободы я решил преподнести себе Париж. Дважды побывав в этом непостижимом городе, я был знаком с ним лишь поверхностно; я знал, что тот, кому довелось в молодости провести здесь хотя бы год, проносит сквозь всю свою жизнь несравненную память о счастье. Нигде юность не находит такой гармонии разбуженных чувств с окружающим миром, как в этом городе, который раскрывается перед каждым, но которого никому не познать до конца.

Я отлично знаю, что этого Парижа — окрыленного и окрыляющего радостью, Парижа моей юности — больше нет; ему, быть может, никогда уже не вернуть чудесной беззаботности: самая жестокая на земле рука властно отметила его огненным тавром. Как раз когда я начинал писать эти строки, германские армии, германские танки серой массой термитов надвигались на него, чтобы вытравить из этого гармонического творения божественную игру красок, блаженную легкость, нетленное совершенство.

И вот — свершилось: флаг со свастикой развевается на Эйфелевой башне, черные колонны штурмовиков печатают наглый шаг по наполеоновским Елисейским полям, и я вижу из своего далека, как за стенами домов замирают сердца, как мрачнеют вчера еще такие беспечные парижане, когда завоеватели, грохоча сапогами, входят в их уютные бистро и кафе.

Едва ли когда-нибудь личное горе так трогало меня, приводило в такое отчаяние, так потрясало, как падение этого города, наделенного, как никакой другой, даром приносить счастье любому, кто соприкоснулся с ним. Суждено ли ему еще когда-нибудь дать потомкам то же, что дал он нам: мудрейший урок, великолепнейший пример того, как сочетать свободу и творческий труд, быть щедрым ко всем, не скудея душой, а приумножая свои богатства.

Я знаю, знаю: сегодня страдает не только Париж; пройдут десятилетия, прежде чем остальная Европа станет такой

же, какой была до первой мировой войны. С тех пор тучи уже не уходили с европейского, некогда такого ясного горизонта; горечь и недоверие — страны к стране, человека к человеку — отравляют израненное тело Европы. И сколько бы социальных и технических достижений ни дала эта четверть века между двумя мировыми войнами, а все же нет в нашей маленькой Европе ни одного народа, который не понес бы неисчислимых утрат в своем жизнелюбии, в своем добродушии.

Можно было бы часами рассказывать, какими доверчивыми, какими по-детски веселыми, даже в самой горькой бедности, были раньше люди Италии, как смеялись и танцевали они в своих трактирах, как едко вышучивали свое никудышное *governo*¹, а теперь им приходится уныло маршировать, задрвав подбородок и проклиная в душе все на свете. Разве можно еще представить себе австрийца таким легкомысленно-добродушным увальнем, кротко и благочестиво полагающимся на императорское величество и на всевышнего, который сотворил жизнь такой отрадной? Все народы чувствуют лишь, что над их жизнью нависла чужая тень, огромная и тяжелая. Но мы — те, кто еще застал мир личной свободы, — мы знаем и можем засвидетельствовать, что было время, когда Европа безмятежно наслаждалась калейдоскопической игрой красок. И нас потрясает этот поблекший, угасший, порабощенный и перевернутый вверх дном мир, каким он стал в безумии саморазрушения.

Но все-таки нигде нельзя было изведать простую и вместе с тем таинственно-мудрую беспечность бытия счастливей, чем в Париже, торжественно утверждавшем ее красотой своих силуэтов, мягким климатом, обилием традиций и дыханием старины. Каждый из нас, молодых, причастился этой легкости и тем самым привнес что-то свое; китайцы и скандинавы, испанцы и греки, бразильцы и канадцы — никто не чувствовал себя чужаком на берегах Сены. Не было принуждения, можно было говорить, думать, смеяться и негодовать как хочешь, каждый жил, как ему нравилось: на людях или в тишине, расточительно или скромно, по-барски или по-студенчески — все оттенки допускались, удовлетворялись все запросы. Здесь были изысканные рестораны со всеми чудесами кулинарии, с винами по двести — по триста франков за бутылку, с безбожно дорогими

¹ Правительство (*итал.*).

коньяками времен Маренго и Ватерлоо; но почти столь же отменно можно было угоститься в любом *marchand de vin*¹ за первым же углом. В набитых битком студенческих кафе Латинского квартала вы за пару су получали, кроме сочного бифштекса и всевозможных аппетитных приправ к нему, еще и вино — красное или белое — и огромный, восхитительный на вид батон. Одевались как душе угодно: студенты щеголяли на бульваре Сен-Мишель в кокетливых беретах; «*garins*»² в свою очередь отличались широченными шляпами и романтичными бархатными куртками; рабочие беспечно бродили по самым аристократическим бульварам в своих синих блузах, иной раз — закатав рукава; няньки — в бретонских чепцах с широкой складкой, виноторговцы — в передниках. Вовсе не так уж непременно требовалось наступить Четырнадцатому июля, чтобы далеко за полночь прямо на улице начались танцы и полицейский улыбался молодым парочкам: ведь улица принадлежала всем! Никто никого не стеснялся; элегантнейшие девушки не считали зазорным отправиться в ближайшую меблирашку, «*petit hôtel*», рука об руку с черным, как смола, негром или узкоглазым китайцем — кто считался в Париже с такими страшными впоследствии жупелами, как раса, сословие, происхождение? Бродили, разговаривали, жили с теми, кто нравился, все остальное не имело значения. Ах, надо было знать Берлин, чтобы по-настоящему любить Париж; нужно было отвратить добровольного немецкого лакейства, с присущими Германии непреодолимыми социальными барьерами и болезненным сословным тщеславием: офицерская жена не «зналась» с женой учителя, а та — с женой торговца, а эта, само с о б о й, — с женой рабочего. А у Парижа в крови еще бродили заветы революции, пролетарий считал себя таким же свободным и полноправным гражданином, как и его работодатель, официант в кафе запросто пожимал руку генералу в лампасах, добродетельные буржуазки не воротили нос от проститутки, живущей по соседству: они каждый день болтали с ней на лестнице, а их дети дарили ей цветы. Я видел однажды, как в фешенебельный ресторан Ларю, что у церкви Святой Мадлен, ввалились прямо с крестин нормандские крестьяне в своих деревенских нарядах; они громыхали грубыми башмаками, а напомажены были так, что запах проникал и на кухню. Они разговаривали громко и становились все шумней, чем больше пили, и бес-

¹ Кабачке (*франц.*).

² Студенты академии художеств (*франц.*).

церемонно шлепали своих толстых жен. Их нисколько не смущало, что они, простые крестьяне, деревенщина, сидят меж блестящих фраков и изысканных туалетов; и безукоризненно выбритый официант не важничал, как это было бы в Германии или Англии: он прислуживал гостям из заходустья так же безупречно и вежливо, как министрам и князьям, — а метрдотелю даже нравилось приветствовать подгулявших клиентов с особым радушием.

Париж не разбирал, где верх, где низ, противоречия мирно уживались в нем; шикарные улицы переходили в трущобы, и повсюду жилось равно весело и беспечно. В предместьях играли различные музыканты, из окон доносилось пение мидинеток¹, в воздухе звенел смех или ликующий зов. А если где-нибудь и побранились двое извозчиков, то после ссоры они обменивались рукопожатием и пропускали по стаканчику вина, закусывая — это стоило гроши — парочкой устриц. Не было натянутой чопорности. Интрижку было одинаково легко завязать и оборвать, каждый находил, что искал, каждому доставалась веселая и не слишком строгая подружка. Ах, до чего же легко, до чего славно жилось в Париже, особенно молодым! Каждая прогулка была и удовольствием, и уроком — ведь все было доступно: можно зайти к букинисту и порыться с четверть часика в книгах, не боясь хозяйского брюзжания и воркотни. Можно было пройтись по небольшим выставкам или властью потолкаться в магазинчиках *bric-à-brac*², было чем поживиться на торгах в отеле Друо; в садах можно было поболтать с гувернантками; выбравшись на прогулку, трудно было оставаться безучастным: улица затягивала непрерывной, калейдоскопической сменой впечатлений. А кто устал, мог присесть на террасе любого из десяти тысяч кафе и написать письмо — бумага выдавалась бесплатно, — и притом стать жертвой уличных торговцев, предлагавших всякую всячину. Трудно было лишь оставаться дома или идти домой, особенно весной, когда над Сеной переливался мягкий серебристый свет, зеленели на бульварах деревья, а молодые девушки все как одна прикалывали к платью по букетику фиалок за одно су; но, в сущности, в Париже для хорошего настроения не так уж обязательна весна.

Город в ту пору, когда я узнал его, еще не был связан метро и автомобилями в единое целое; главным средством передвижения служили вместительные omnibusы, влеко-

¹ Беловшивейки. — *Прим. перев.*

² Антикварные вещицы, старинные безделушки (*франц.*).

мые могучими взмыленными тяжеловозами. И разумеется, чтобы открыть для себя Париж, не было места удобнее, чем на империале такой колымаги или в открытой коляске — они тоже не очень-то спешили. Но проехать от Монмартра на Монпарнас считалось по тем временам хотя и маленьким, а путешествием, и я, памятуя о бережливости парижских буржуа, вполне допускал, что есть еще на *rive droite*¹ люди, никогда не бывавшие на *rive gauche*², и дети, гулявшие в Люксембургском саду, не видели ни Тюильри, ни Монсо. Настоящий парижанин охотно оставался *chez soi*³, в своей квартире; в недрах большого Парижа он создавал свой собственный — маленький, и потому каждый округ был самобытным и даже суверенным. Иностранцу, таким образом, приходилось выбирать — где бросить якорь. Латинский квартал не привлекал меня больше. Туда я устремился двадцатилетним, в один из прежних кратких наездов, прямо с вокзала; в первый же вечер я уже был в «Кафе Вашет» и благоговейно просил показать мне место, где сидел Верлен, и мраморный стол, по которому он, опьянев, со злобой колотил тяжелой тростью, чтобы внушить окружающим почтение. В его честь я, трезвенник, пропустил рюмочку абсента; зеленая бурда не понравилась мне, но я полагал, что молодость и преклонение перед французскими лириками обязывают меня поддерживать ритуал Латинского квартала; больше всего мне хотелось в то время жить в мансарде, на пятом этаже, неподалеку от Сорбонны (этого требовало чувство стиля), чтобы понастоящему усвоить «истинный» дух Латинского квартала.

В двадцать пять лет я, напротив, уже не был столь наивно романтичен, студенческий квартал казался мне слишком космополитическим, не парижским. А главное — теперь я хотел выбрать себе постоянную квартиру уже не ради литературных реминисценций, а чтобы иметь возможность как следует заниматься своим делом. Сориентировался я моментально. Элегантный Париж, Елисейские поля абсолютно не годились; квартал вокруг «Кафе де ла Пэ» — где встречались богатые балканские туристы и никто, кроме официантов, не говорил по-французски — и подавно не подходил. Меня больше привлекали укрывшиеся в тени колоколен и монастырских стен улицы вокруг Сен-Сюльпис, на которых любили останавливаться и Рильке, и Суа-

¹ Правый берег (франц.).

² Левый берег (франц.).

³ У себя дома (франц.).

рес; охотнее всего я поселился бы на островке Сен-Луи, чтобы обе половины Парижа — право- и левобережная — были под боком. Но в первую же неделю мне удалось, гуляя, набрести на кое-что еще получше. Медленно проходя по галереям Пале-Рояля, я обнаружил, что построенный в восемнадцатом веке внутри этого огромного четырехугольника роскошный дворец принца Эгалите превратился в небольшой, несколько старомодный отель. Я попросил показать мне одну из комнат и с восхищением отметил, что она выходит в сад Пале-Рояля, который с наступлением темноты закрывается. Тогда городской гул слышится неясно и мерно, как беспокойный прибой с далекого берега, статуи блестят в лунном свете, а по утрам ветер доносит прятный аромат овощей с расположенного вблизи Центрального рынка. В этом четырехугольнике Пале-Рояля жили в восемнадцатом и девятнадцатом веках поэты и государственные деятели, прямо напротив стоял дом, в котором так часто бывали Бальзак и Виктор Гюго, одолевая сотню узких ступеней до мансарды столь любимой мною поэтессы — Марселины Деборд-Вальмор; там сияло мрамором возвышение, с которого Камиль Демулен призвал народ к штурму Бастилии; там была потайная дверь, из-за которой бедный маленький лейтенант Бонапарт отыскивал среди прогуливающих не слишком-то благонравных дам свою будущую покровительницу. История Франции глядела тут из каждого камня; а кроме того, на другой стороне улицы располагалась Национальная библиотека, где я проводил первую половину дня, а рядом картины Лувра, рядом бульвары с людским потоком; наконец-то я был там, куда стремился, там, где вот уже много столетий горячо и ровно билось сердце Франции, — я был в святая святых Парижа. Помню, как однажды навестил меня Андре Жид и, пораженный тем, что в самом центре Парижа такая тишина, сказал: «Надо же, именно чужестранцы открывают нам самые красивые уголки в нашем собственном городе». И в самом деле — нигде не нашел бы я более «парижского» и в то же время более уединенного места для работы, чем этот романтический уголок в сокровеннейшей сердцевине самого живого города в мире.

* * *

Сколько бродил я по улицам в те времена, сколько нетерпения было в моих поисках! Мне ведь мало было Парижа 1904 года, я стремился душой к Парижу Генриха IV

и Людовика XIV, к Парижу наполеоновскому и революционному, к Парижу Ретифа де Ла Бретонна и Бальзака, Золя и Шарля Луи Филиппа, мне нужны были все его улицы, образы и события. Во Франции я всякий раз убеждался в том, с какой силой увековечивает свой народ великая и устремленная к правде литература; благодаря искусству поэтов, романистов, историков, исследователей нравов я духовно сроднился с Парижем задолго до того, как увидел его собственными глазами. Все это ожило при встрече, и созерцание превратилось, по сути, в узнавание, в ту радость греческого «анагносиса», которую Аристотель прославляет как самое великое и таинственное из всех эстетических наслаждений. Но все же ни народ, ни город не узнаешь до конца, в их тайная тайных не проникнешь через их книги или даже самое усердное созерцание, а только через лучших их людей. Только в духовной дружбе с современниками получаешь представление о действительных связях между народами и страной; а наблюдение со стороны дает лишь искаженную и скороспелую картину.

Мне дана была такая дружба, самая теплая, — с Леоном Базальжеттом. Близость к Верхарну — дважды в неделю я навещал его в Сен-Клу — уберегла меня от сомнительной компании художников и литераторов со всех концов света, которые, подобно большинству иностранцев, обосновались в «Кафе дю Дом» и вели, по сути, тот же образ жизни, что и у себя в Мюнхене, Риме или Берлине. А с Верхарном я, напротив, бывал у тех художников и поэтов, которые посреди соблазнов и страстей этого города жили и трудились в творческой тишине, каждый как бы на своем уединенном островке; я застал еще мастерскую Ренуара и лучших его учеников. Со стороны жизнь этих импрессионистов, за работы которых платят сегодня десятки тысяч долларов, ничем не отличалась от быта ремесленников или рантье; небольшой домик с пристройкой, в которой помещалась мастерская, — и никакой театральщины, ничего такого, что бьет в глаза, как в Мюнхене у Ленбаха и других знаменитостей на их виллах в ложноклассическом стиле. Поэты, с которыми мне вскоре удалось сойтись, жили так же скромно, как и живописцы. Они по большей части занимали незначительные государственные должности, не требовавшие особого рвения; разумный обычай раздавать небогатым поэтам и писателям тихие синекуры шел от большого внимания к духовным ценностям, свойственного всей Франции — снизу доверху, и оправдывал себя на протяжении многих лет; писателей назначали, например, библиотека-

рями в Морское министерство или Сенат. Это давало небольшое содержание и не отнимало много сил: сенаторы прибегали к услугам библиотеки чрезвычайно редко, и счастливый обладатель теплого местечка мог спокойно сочинять стихи прямо на службе, в тихом старом сенатском дворце, глядя в окно на Люксембургский сад и не помышляя о гонораре.

Скромного заработка хватало на жизнь. Иные были врачами, как позднее Дюамель и Дюртен, держали художественный магазин, как Шарль Вильдрак, или преподавали в гимназиях, как Жюль Ромен и Жан-Ришар Блок, служили в агентстве Гавас, как Поль Валери, или в издательствах. Но никто в отличие от их преемников, развращенных кино и высокими тиражами, не притязал на то, чтобы сразу же устроиться в жизни исключительно в качестве художника.

От своих маленьких должностей, исправляемых без всякого честолюбия, поэты хотели только одного — мало-мальски обеспеченного существования, которое дало бы возможность заниматься любимым делом.

Поэтому они могли себе позволить не сотрудничать с крупными продажными парижскими газетами, бесплатно писать для своих небольших журналов, содержание которых всегда было связано с материальными жертвами, и не огорчаться из-за того, что их произведения исполнялись только в маленьких литературных театрах, а имена поначалу были известны лишь узкому кругу: о Клоделе, Пегги, о Роллане, о Сюаресе и Валери знала весьма немногочисленная элита.

Они одни не спешили в этом торопливом и деловом городе. Тихо жить и тихо работать для тихого кружка вдали от «foir sur la place»¹ было для них важнее, чем пробиваться вверх, и они не считали зазорным вести помещански ограниченную жизнь, с тем чтобы в искусстве мыслить свободно и смело. Их жены стряпали и вели хозяйство; все было очень просто и потому особенно мило на дружеских вечерах. Сидели на дешевых соломенных креслах за столом, наспех застланным клетчатой скатертью — ничуть не шикарней, чем у монтера — соседа по э т а ж у , — но чувствовали себя свободно и непринужденно.

У них не было телефонов, пишущих машинок, секретарей, они обходились без технических ухищрений, так же как и без аппарата рекламы, они писали свои книги от руки, как

¹ Житейские суеты (франц.).

тысячу лет назад, и даже в крупных издательствах, таких, как «Меркюр де Франс», не было обычая диктовать и не водилось всякой техники. Расходы на рекламу и представительство были неизвестны; все эти молодые французские поэты жили, как и весь народ, для радости — разумеется, в одухотворенной ее ф о р м е, — творческой радости, которую дает труд.

Насколько не отвечали эти новообетенные друзья и жизнь, которую они вели, тому представлению о французском поэте, которое создали Бурже и другие беллетристы эпохи, в чьих глазах салон был целым миром! А как «проучили» меня их жены, разрушив воспринятый нами из книг, злоумышленно искаженный образ француженки — этакой светской дамы, занятой лишь интрижками, мотовством и заботами о своей внешности. Я не видывал более домовитых хозяек, чем там, в братском кружке: экономные, скромные, жизнерадостные даже в самых стесненных обстоятельствах, они творили чудеса на крохотных плитках и заботились о детях, живя при этом духовной жизнью своих мужей! Лишь тот, кто был принят в этих кружках как друг, как «камрад», — лишь тот знает настоящую Францию.

Что касается Леона Базальжетта, лучшего из моих друзей, чье имя обходится несправедливым молчанием в большинстве работ о новой французской литературе, то его необычная роль в центре этой поэтической плеяды определялась тем, что все свои творческие силы он расходовал исключительно на чужие произведения, отдавая без остатка свою кипучую энергию людям, которых любил.

Это был истинный «камрад», и в его лице я узнавал воочию чистый тип жертвенного человека, всей душой преданного тому, что он считал единственной целью своей жизни: содействовать распространению наиболее значительных ценностей времени — и вовсе не ради славы первооткрывателя или мецената. Его кипучий энтузиазм был просто-напросто естественной потребностью его нравственного сознания. Несмотря на свою почти военную выправку, он был ярый антимилитарист, в его обращении проглядывала сердечность непоказного дружелюбия. В любой момент готовый прийти на помощь, дать совет, непоколебимо честный, пунктуальный, как часы, он принимал близко к сердцу все, что касалось другого, и никогда не заботился о своих собственных интересах. И время, и деньги он не ставил ни во что, если дело касалось друга, а друзья были у него повсюду в мире — небольшая кучка избранных. Десять лет потратил он на то, чтобы познако-

мить французов с Уолтом Уитменом, дав перевод собрания его стихов и фундаментальную биографию. Цель его жизни заключалась в том, чтоб силою примера этого свободного, влюбленного в жизнь человека расширить духовные горизонты своего народа, сделать своих соотечественников мужественнее и добрей: лучший из французов, он был самым страстным интернационалистом.

Вскоре мы сблизились по-братски: ведь обоим нам была чужда национальная ограниченность, оба любили бескорыстно и беззаветно помогать другим и считали альфой и омегой жизни духовную независимость. В его лице мне впервые предстала «неофициальная» Франция; когда позже я прочитал у Роллана про Оливье и его немецкого друга Жан-Кристофа, мне едва ли не показалось, что описаны наши отношения! Но самое прекрасное, самое незабываемое для меня в нашей дружбе было то, что ей беспрестанно приходилось преодолевать некое щекотливое препятствие, неколебимость которого при обычных условиях не могла бы не помешать откровенной и сердечной близости между двумя писателями.

Сей щекотливый пункт состоял в том, что Базальжетт с присущей ему исключительной честностью самым решительным образом отвергал все, что я писал в те годы.

Он любил меня как человека, он всячески поощрял мою преданность Верхарну. Всякий раз, как я приезжал в Париж, он неизменно оказывался на вокзале и первый приветствовал меня; если мне требовалась помощь, он был тут как тут; по всем существенным вопросам мы сходились с ним ближе, чем родные братья. Но собственных моих работ он совершенно не признавал. Он был знаком с моими стихами и прозой в переводах Анри Гильбо (который позднее, во время мировой войны, и как друг Ленина играл важную роль) и отвергал их резко и напрямик.

Он сурово выговаривал мне, что все это, дескать, не имеет никакой связи с действительностью, что это литература эзотерическая, а он такую литературу терпеть не мог и досадовал, что именно я пишу подобное. Предельно честный с самим собой, он и в этом пункте не шел, даже ради простой вежливости, ни на какие уступки. Например, когда, став редактором одного журнала, он обратился ко мне за помощью, то это значило, что я должен подыскать ему в Германии дельных сотрудников, то есть доставить материалы лучше моих собственных; у меня же, ближайшего своего друга, он упорно не просил и не брал ни строки, хотя в то же время из преданной дружбы самоотверженно и

совершенно бесплатно редактировал для какого-то издательства текст французского перевода одной из моих книг.

То, что наша братская дружба за целых десять лет не ослабевала из-за этого курьезного обстоятельства ни на час, сделало ее еще более драгоценной для меня. И никогда ничья похвала не радовала меня так, как одобрение Базальжета, когда во время мировой войны я, покончив с прежним, сам пришел к форме лирического повествования. Ведь я знал, что его «да» моим новым произведениям было таким же честным, каким в течение десятилетия было его бескомпромиссное «нет».

* * *

Если я заншу на парижскую страницу дорогое мне имя Райнера Марии Рильке, хотя он был немецким поэтом, то это потому, что чаще и охотнее всего я общался с ним в Париже и облик его видится мне, как на старинных картинах, всегда на фоне этого города, любимого им, как никакой другой. И когда сегодня я вспоминаю о нем и о других мастерах золотокованого слова, когда на память приходят эти славные имена, озарившие мою юность отблеском недосыгаемых созвездий, то неотвратимо напрашивается грустный вопрос: возможно ли существование таких чистых, всецело погруженных в лирику поэтов в наше нынешнее время суеты и всеобщей растерянности? Не вымерло ли племя, которое в их лице я оплакиваю с любовью, этот род, не имеющий прямых наследников в наши открытые всем ветрам дни, — поэтов, не требовавших ничего от окружающей жизни: ни признания толпы, ни почестей, ни титулов, ни выгод — и жаждавших только одного — кропотливо и страстно нанизывать строфу к строфе, чтобы каждая строчка дышала музыкой, сверкала красками, пылала образами?

В гуще наших шумных будней эти добровольные отшельники обыденности образовали свой цех или, скорее, монашеский орден, и во всей вселенной не было для них ничего важнее, чем тот хотя и нежный, но пробивающийся сквозь шум времени звук, с которым рифма, присоединяясь к другим, пробуждает несказанный душевный порыв: тише влекогого ветром листа, он тем не менее отдается в самых дальних сердцах.

Но сколь знаменательно было для нас, молодых, существование людей, настолько верных себе, каким примером

для нас была всепоглощающая любовь этих жрецов и ревнителей языка к преображенному слову, к слову, которое служило не текущему моменту и периодическим изданиям, но непреходящему и вечному.

Глядя на них, я испытывал нечто похожее на стыд: так тихо, неприметно они жили — кто по-крестьянски, в деревне, кто на какой-нибудь мелкой должности, а кто и скитаясь по свету, как *passionate pilgrim*¹, — известные лишь немногим, но тем сильнее любимые этими немногими. Один из них жил в Германии, другой во Франции, третий в Италии, и все же отчизна была у них одна, потому что существовали они исключительно в стихе, и, сурово отрешаясь от всего эфемерного, они превращали, создавая произведения искусства, свою собственную жизнь в произведение искусства.

Снова и снова восхищаюсь я тем, что нашей молодости дарованы были такие поэты без страха и упрека. Но поэту я спрашиваю себя снова и снова в какой-то подспудной тревоге: а в наши времена, при новом жизненном укладе, губительном для творческой сосредоточенности, беспощадно изгоняющем человека из этого последнего его убежища, как лесной пожар выгоняет зверей из самых глубоких нор, возможны ли теперь такие души, всецело посвятившие себя лирическому искусству?

Правда, я знаю, что феномен поэта вновь и вновь является в определенные времена, и утешительная сентенция Гёте в его плаче по лорду Байрону пребудет истинной всегда: «...ибо природа вновь их повторяет, как повторяла уже много раз». Вновь и вновь, щедро повторяясь, будут рождаться такие поэты, ибо рано или поздно бессмертие приносит этот дар также и эпохе, вовсе его не заслуживающей. Но разве не таково как раз наше время, которое никому — даже самому чистому, самому далекому от жизни — не дает тишины, той тишины ожидания, созревания, осмысления и накапливания сил, какую еще довелось вкусить европейским поэтам в довоенные времена, когда люди были добрее и жили спокойнее?

Я не знаю, как расценивают сегодня всех этих поэтов. Валери, Верхарн, Рильке, Пасколи, Франсис Жамм — что значат они для поколения, у которого в ушах вместо этой нежной музыки годами стоял грохот мельничного колеса пропаганды и которое дважды оглушал гром пушек? Я знаю лишь — и считаю долгом с благодарностью сказать об этом, — сколь многому научило и как возвысило нас бытие

¹ Ревностный пилигрим (англ.).

людей, служивших идеалу совершенства в уже механизировавшемся мире. И, оглядываясь на свою жизнь, я не нахожу в ней более ценного достояния, чем близость с некоторыми из них, давшая мне возможность присоединить к преклонению перед ними длительную дружбу.

Никто из них, пожалуй, не жил тише, таинственнее, неприметнее, чем Рильке. Но это не было преднамеренное, натужное, укутанное в сутану одиночество, вроде того, какое воспевал в Германии Стефан Георге; тишина словно бы сама ширилась вокруг него, куда бы он ни шел и где бы ни находился. Поскольку он чуждался всякой шумихи, даже своей славы — этой «суммы всех недоразумений, которые собираются вокруг моего имени», как сам он однажды прекрасно сказал, — то набегающая волна любопытства захлестывала лишь его имя, никогда не касаясь личности.

Трудно было застать Рильке дома. У него не было ни постоянного адреса, по которому можно было бы его разыскать, ни квартиры, ни службы. Он всегда был в пути, и никто, включая его самого, не знал заранее, куда он направится. Его бесконечно чувствительной и податливой душе любое твердое решение, всякий план и предуведомление были в тягость. Поэтому лишь случайные встречи с ним удавались.

Стоишь, бывало, в итальянской галерее и вдруг замечаешь тихую дружескую улыбку — не сразу и сообразишь чью. Уже затем узнаешь его голубые глаза, которые, когда он на кого-нибудь глядел, освещали изнутри его лицо, в общем-то неприметное.

Самое таинственное в нем была именно неприметность. Должно быть, тысячи людей прошли мимо этого молодого человека с чуть-чуть меланхолически опущенными светлыми усами и немного славянским, ничем не примечательным лицом, — прошли, не подозревая, что это поэт, и притом один из величайших в нашем столетии; лишь при близком общении открывалась его особенность: невероятная сдержанность. В комнату, где собралось общество, он входил так беззвучно, что едва ли кто замечал его. Потом он сидел, тихонько прислушиваясь, изредка произвольно вскидывая голову, когда что-нибудь его занимало, и если сам вступал в разговор, то делал это как-то бесстрастно, не повышая голоса. Рассказывал он непринужденно и просто, словно мать — ребенку, и так же любовно, как сказку; одно удовольствие было слушать, какой красочной и значительной становится в его устах любая, даже самая малоинтересная тема. Но едва он замечал, что оказался в центре общего

внимания, как тут же резко замолкал и снова превращался в молчаливого и внимательного слушателя.

В каждом движении, в каждом жесте он был сама деликатность; даже когда он смеялся, это был только еле слышный звук. У него была потребность жить вполголоса, и поэтому больше всего раздражал его шум, а в области чувств — любое проявление несдержанности. «Меня утомляют люди, которые с кровью выхаркивают свои ощущения и я, — сказал он как-то, — потому и русских я могу принимать лишь небольшими дозами, как ликер». Порядок, чистота, покой были для него такой же физической потребностью, как и внешняя сдержанность. Необходимость ехать в переполненном трамвае, сидеть в шумном ресторане выбивала его из колеи на целые часы.

Он не выносил ничего вульгарного, и в его одежде, хоть жил он и небогато, всегда были заметны продуманность, опрятность и вкус. Она всегда была обдуманной и поэтичным шедевром соразмерности, но не без крошечной, сугубо индивидуальной черточки, пустячка (вроде тонкого серебряного браслета на руке), которым он втайне гордился. Чувство эстетической законченности, симметрии вносил он в самое интимное и личное. Однажды я, будучи у него дома, наблюдал за тем, как поэт, собираясь в дорогу — мою помощь он вполне резонно отклонил за ненадобностью, — укладывал чемодан. Это была мозаичная кладка: каждая вещь по отдельности бережно опускалась на предназначенное место; и я посчитал бы святотатством разрушить жестом помощи этот красочный пазьянс.

Это чувство изящного, присущее ему от рождения, проявлялось у него в самых незначительных мелочах: стихи он писал только на самой лучшей бумаге каллиграфическим круглым почерком, так что расстояние от строки до строки было как линейкой отмерено; и для самого рядового письма он точно так же брал самую лучшую бумагу, и округлым, ровным, без помарок был его почерк, и соблюдались те же безукоризненные промежутки. Никогда, даже в самой большой спешке, он не позволял себе зачеркнуть слово, и всякий раз, когда фраза или оборот казались ему недостаточно отделанными, он с удивительным терпением переписывал набело все письмо. Он не допускал, чтобы из его рук вышло нечто незавершенное.

Его сдержанность в соединении с внутренней собранностью покорила каждого, кто знал его близко. Как самого Рильке невозможно представить себе несдержанным, так и среди окружающих не было никого, чья бесцеремонность

или тщеславие не тонули бы в излучаемой им трепетной тишине. Ибо в его манере держаться была удивительная благотворная нравственная сила. После любого продолжительного разговора с ним человек часами или даже целыми днями бывал нетерпим ко всему вульгарному. Правда, с другой стороны, эта постоянная душевная сдержанность, это нежелание раскрыться до конца скоро ставили предел всякой чрезмерной сердечности; думаю, лишь немногие могут похвастаться тем, что были друзьями Рильке. В шеститомнике его писем это обращение почти не встречается, а братски-доверительным «ты» он, кажется, едва ли кого удостоил со школьных лет. Подпустить кого-нибудь или что-нибудь слишком близко к себе было для него, при его чрезвычайной чувствительности, невыносимо; а больше всего было неприятно ему все сугубо мужское. Разговаривать с женщинами ему было легче. Им он писал много и охотно и в их присутствии чувствовал себя гораздо непринужденнее. Возможно, ему нравился высокий тембр женских голосов: неблагозвучные голоса причиняли ему настоящее страдание. Так и вижу его беседующим с высокопоставленным аристократом: весь съезжился, плечи мучительно напряжены, а глаза потуплены, чтобы не выдать, какое сильное физическое страдание он испытывал от неприятного фальцета. Но как хорошо бывало с ним, когда он был расположен к человеку. Тогда его душевная доброта, оставаясь скупой на слова и жесты, проникала, как согревающее, целебное излучение, до самого сердца.

В Париже, городе, который так располагает к откровенности, обычно робкий и сдержанный Рильке словно раскрывал свою душу, возможно потому, что здесь еще не знали его произведений, его имени и он, живя инкогнито, чувствовал себя все свободнее и счастливее.

Я бывал у него там на двух квартирах, где он снимал комнату. И та и другая комнаты были простые, без украшения, но благодаря его вкусу тотчас приобретали отпечаток изыска, уюта. Лишь бы дом был не громадный, с шумными соседями, а постариннее, такой, где хоть и меньше удобств, но зато можно устроиться по-своему; а уж внутри он, при его домовитости, любую комнату мог обставить толково и в соответствии со своими привычками. Вещей у него было немного, но в вазе всегда пламенели цветы — то ли женщины дарили, то ли сам он с любовью приносил. На полках всегда пестрели книги, красиво переплетенные или тщательно обернутые в бумагу; книги он любил как бессловесных тварей. На письменном столе в идеальном порядке

были разложены карандаши и ручки, образуя линию прямую, как свеча; чистая бумага лежала аккуратной стопкой; русская икона, католическое распятие — как мне кажется, они сопутствовали ему во всех странствиях — сообщали рабочему месту легкое сходство с алтарем, хотя религиозность Рильке не была связана ни с какой определенной догмой.

Чувствовалось, что каждая мелочь тщательно продумана и любовно оберегается. Одолжив ему книгу, вы получали ее обратно, завернутую без единой морщинки в шелковистую бумагу и перевязанную, точно праздничный подарок, цветной лентой; я не забыл, как он принес мне, словно драгоценный дар, рукопись своей «Песни о любви и смерти», и по сей день храню ленту, которой она была перевязана.

Но лучше всего было бродить с Рильке по Парижу — с глаз точно спадала пелена, и в самом неприметном вы прозревали особый смысл; он не упускал ни одной мелочи и даже вывески, если они казались ему ритмически звучными, охотно читал вслух; узнавать этот город, изучать Париж вдоль и поперек, вплоть до последних, самых укромных уголков, — это было его страстью, чуть ли не единственной, насколько я мог заметить.

Однажды, когда мы встретились у общих друзей, я рассказал ему, что вчера случайно попал на старое кладбище Пикпюс, где упокоены последние жертвы гильотины, в том числе Андре Шенье; я описал ему эту маленькую, трогательную лужайку с разбросанными тут и там могилами, — лужайку, на которую редко заглядывают иностранцы, и рассказал, что на обратном пути я увидел на одной из улиц открытую дверь, за ней монастырский двор и монахинь, должно быть бегинок, безмолвно бродивших по кругу с четками в руках, словно в блаженном сне.

Это был один из немногих случаев, когда я видел, как этот столь тихий и такой выдержанный человек проявил нетерпение: он должен увидеть это — могилу Андре Шенье и монастырь. Не отведу ли я его туда? Мы отправились на следующий же день. В каком-то благоговейном безмолвии он стоял перед этой одинокой могилой, которую он назвал «самой лирической в Париже». Но на обратном пути та монастырская дверь оказалась запертой.

И тут я имел возможность убедиться в его тихом упорстве, которым он пользовался в жизни с не меньшим мастерством, чем в своих произведениях. «Подождем», — сказал он. И, слегка наклонив голову, стал так, чтобы загля-

нуть за ворота, когда они откроются. Прождали мы, вероятно, минут двадцать. Потом по улице прошла монахиня и позвонила у входа. «Сейчас», — прошептал он тихо и взволнованно. Однако сестра заметила его настороженное внимание — я ведь говорил, что от него исходили какие-то флюиды, — подошла к нему и спросила, кого он ждет. Он улыбнулся своей мягкой, обезоруживающей улыбкой и чистосердечно признался, что очень хотел посмотреть монастырскую галерею. Ей очень жаль, улыбнулась в ответ монахиня, но впустить его она не может. Все же она посоветовала ему пройти в расположенный по соседству домик садовника, из верхних окон которого хорошо виден двор. Таким образом, и это удалось ему, как многое другое. Много раз еще скрещивались наши пути, но когда я думаю о Рильке, то вижу его в Париже, до черного дня которого ему не суждено было дожить.

* * *

Люди такого масштаба были подарком судьбы для начинающего; но мне еще предстоял самый главный урок, такой, что запоминается на всю жизнь. Помог случай. Както у Верхарна я разговорился с историком искусства, который сетовал на то, что прошли времена великих произведений живописи и скульптуры. Я горячо возражал. Разве нет у нас Родена, который не уступает в величии гениям прошлого? Я стал называть его произведения, и дискуссия, как водится, перешла в жаркий спор. Верхарн улыбался. «Собственно говоря, тому, кто так любит Родена, следовало бы с ним познакомиться», — сказал он наконец. — Завтра я буду у него в его парижской мастерской. Если ты не против, пойдем вместе».

Не против ли я? На радостях я не мог заснуть. Но при виде Родена язык перестал мне повиноваться. Я не мог вымолвить ни слова и стоял среди статуй, точно сам превратился в одну из них.

Странно: казалось, ему нравится мое смущение, во всяком случае, прощаясь, старик спросил меня, не хочу ли я взглянуть на его ателье в Медоне, где он в основном работает, и даже пригласил к обеду.

Я получил первый урок: великие люди — всегда самые добрые. Второй: в жизни они почти всегда самые простые. У человека, чья слава наполняла мир, чьи произведения были детально, до последнего штриха известны современ-

никам, словно ближайшие друзья, — у этого человека обед был такой же простой, как у обыкновенного крестьянина: кусок сочного мяса, пара маслин и много фруктов да еще крепкое домашнее вино. Оно придало мне мужества, к концу обеда я уже разговаривал с этим старым человеком и его женой так, словно мы были знакомы много лет.

Отобедав, мы прошли в мастерскую. Это был огромный зал, вместивший авторские копии самых значительных его работ, между которыми стояли и лежали сотни драгоценных мелких этюдов: плечо, рука, конская грива, женское ухо — все это по большей части в гипсе; я и сегодня еще помню некоторые из этих этюдов, сделанных им для себя, ради упражнения, и я мог бы часами рассказывать об этом одном часе.

Наконец мастер подвел меня к постаменту, на котором стояло укрытое мокрым полотном его последнее произведение — женский портрет. Грубыми, в морщинах, крестьянскими руками он сдернул ткань и отступил. «Поразительно!» — невольно вырвалось у меня, и тут же я устыдился своей банальности. Но он, разглядывая свое создание с бесстрастным спокойствием, в котором нельзя было найти ни капли тщеславия, только пробурчал довольно: «Вы так считаете?» Постоял в нерешительности. «Вот только здесь, у плеча... Минутку!» Он сбросил куртку, натянул белый халат, взял шпатель и уверенным движением пригладил у плеча мягкую, дышащую, словно живую, кожу женщины. Снова отступил. «И тут еще», — бормотал он. Неуловимое прикосновение — и снова чудо.

Теперь он не говорил. Он подходил вплотную и отступал, разглядывал фигуру в зеркале, бурчал что-то невнятное, переделывал, исправлял. В его глазах, таких приветливых, рассеянных, когда он сидел за столом, вспыхивали огоньки, он казался выше и моложе. Он работал, работал и работал со всей страстью и силой своего могучего, грузного тела; пол скрипел всякий раз, когда он стремительно приближался или отступал. Но он не слышал этого. Он не замечал, что за его спиной молча, затаив дыхание, как замороженный, стоял юноша, вне себя от счастья, что ему дано увидеть, как работает столь несравненный мастер. Он совершенно забыл обо мне. Я для него не существовал. Реальностью здесь для него была только скульптура, только его создание да еще далекий, бесплотный образ абсолютного совершенства.

Я уже не помню, сколько это продолжалось — четверть часа, полчаса. Великие мгновения всегда находятся за чер-

той времени. Роден был так сосредоточен, так погружен в работу, что и гром небесный не отвлек бы его. Жесты становились все более резкими, чуть ли не гневными; точно одержимый лихорадкой, он работал все быстрее и быстрее. Но вот руки замедлили свои движения. Должно быть, признали: им больше нечего делать. Раз, другой, третий отходил он от статуи, уже не притрагиваясь к ней. Потом что-то пробормотал себе в бороду и заботливо, как укрывают шалью плечи любимой женщины, натянул полотно. Он вздохнул глубоко, с облегчением. Казалось, тело его вновь наливается тяжестью. Огонь погас.

И тут случилось непостижимое: он снял халат, снова надел куртку и собрался уходить. Он совсем забыл про меня за этот час предельной сосредоточенности. Он не помнил, что сам же привел в мастерскую некоего молодого человека, который стоял за его спиной, потрясенный, с комом в горле, неподвижный, как его статуи.

Он подошел к двери. Собираясь ее закрыть, вдруг увидел меня и вперился чуть ли не зло: что это за молодой незнакомец проник в его мастерскую? Но уже в следующее мгновение он все вспомнил и подошел ко мне почти сконфуженный. «Извините, м е с ь е», — начал было он. Но я не дал ему продолжать. Я только благодарно пожал ему руку — охотнее всего я поцеловал бы ее. В этот час мне открылась вечная тайна всякого великого искусства и, пожалуй, всякого земного свершения: концентрация, сосредоточенность всех сил, всех чувств, самоотрешенность художника и его отрешенность от мира. Я получил урок на всю жизнь.

* * *

Я намеревался отправиться из Парижа в Лондон в конце мая. Но пришлось ускорить отъезд на две недели, так как по непредвиденным обстоятельствам в моей чудесной квартире стало беспокойно. Произошел курьезный эпизод, который меня весьма позабавил и вместе с тем дал поучительную возможность познакомиться с образом мыслей самых разных слоев французского общества.

На Троицу я на два дня отлучился из Парижа, чтобы полюбоваться великолепным Шартрским собором, которого я еще не видел. Когда во вторник утром, возвратившись в свой гостиничный номер, я захотел переодеться, моего чемодана, который все эти три месяца преспокойно стоял в углу, не оказалось на месте. Я спустился вниз к хозя-

ину отельчика — невысокому, тучному, румяному марсельцу, который днем по очереди со своей женой восседал на месте портье и с которым я часто перекидывался веселой шуткой, а то и сражался в его любимый триктрак в кафе напротив. Он сразу ужасно разволновался и, стукнув кулаком по столу, злобно прорычал таинственные слова: «Так вот оно что!»

В спешке натягивая пиджак — он, как всегда, был в рубашке с закатанными рукавами, — он растолковывал мне положение дел, и, чтобы сделать понятным дальнейшее, надо, вероятно, сперва напомнить об одной особенности парижских домов и гостиниц.

В маленьких парижских гостиницах, как и в большинстве частных домов, ключей не водится: консьерж, то есть привратник, как только позвонят с улицы, отпирает дверь с помощью автоматики, сидя в привратничкой. В небольших гостиницах и домах хозяин (или консьерж) не остается на всю ночь в привратничкой, а дверь отпирает нажатием кнопки прямо из супружеской кровати — как правило, в полудреме; тот, кто уходит из дому, должен крикнуть: «Отоприте, пожалуйста», равно и каждый, кто приходит, обязан назваться, так что теоретически никто из чужих пробраться в дом не может.

Так вот, в два часа ночи кто-то позвонил у входа гостиницы, назвался именем, похожим на имя одного из постояльцев, и снял с доски единственный висевший там ключ. Вообще-то церберу надлежало установить через дверное стекло личность позднего посетителя, но, очевидно, хозяина слишком клонило в сон. Однако через час, когда кто-то снова, теперь уже изнутри, крикнул: «Отоприте, пожалуйста!», желая покинуть дом, то хозяину, уже открывшему дверь, показалось странным, что человек выходит на улицу в третьем часу ночи. Он поднялся, обнаружил, выглянув в переулок, что человек ушел с чемоданом, и как был, в пижаме и шлепанцах, последовал за подозрительным типом. Но как только он увидел, что тот вошел в маленькую гостиницу на Рю-де-пти-шамп, расположенную за углом, то подозрение в грабеже, естественно, отпало и он спокойно улегся снова в постель.

Взволнованный своей ошибкой, он кинулся вместе со мною прямо в ближайший полицейский участок. Тотчас было установлено, что мой чемодан действительно находится в гостинице на Рю-де-пти-шамп, а вора нет — очевидно, вышел в какой-нибудь бар поблизости, чтобы выпить с утра кофе. Двое детективов подстерегали злоумышленника

в привратницкой; когда через полчаса он как ни в чем не бывало вернулся, его немедленно арестовали.

И вот нам с хозяином пришлось отправиться в полицию, чтобы присутствовать при составлении протокола. Нас провели в кабинет супрефекта — невероятно тучного, усатого, симпатичного, добродушного господина, сидевшего в расстегнутом мундире за столом, заваленным бумагами, находящимися в страшном беспорядке. Кабинет пропах табачком, и большая бутылка вина, стоявшая на столе, свидетельствовала, что хозяин отнюдь не принадлежит к числу суровых и аскетичных служителей святой Эрмандады.

По его приказу сначала внесли чемодан; мне надлежало установить, не пропало ли что-нибудь. Единственным предметом, представляющим ценность, был аккредитив на две тысячи франков, изрядно-таки обглоданный за те месяцы, что я провел в Париже; но, само собой, никто, кроме меня, не мог бы им воспользоваться; и в самом деле, он лежал нетронутый на дне. Записав в протокол, что чемодан я признаю своим и ничего из него не пропало, чиновник приказал привести похитителя, наружность которого интересовала меня ничуть не меньше.

Мое любопытство было удовлетворено. Бедняга вошел меж двух здоровенных сержантов, рядом с которыми его плюгавость производила особенно комичное впечатление: довольно потрепанный, без воротничка, с маленькими висячими усиками и мрачной, со следами явного недоедания, крысиной мордочкой. Это был, если можно так выразиться, плохой вор, что подтверждалось и его примитивной методой, и тем, что он, прихватив чемодан, не убрался тем же утром отсюда подальше. Он стоял перед полицейским чиновником, опустил глаза, чуть вздрагивая, точно его знобило, и мне, стыдно признаться, не только было жаль его, но я даже чувствовал к нему какую-то симпатию. И этот сочувственный интерес еще усилился, когда один из полицейских торжественно разложил на большем столе вещи, найденные при обыске.

Едва ли можно представить более странную коллекцию: очень грязный и рваный носовой платок, с десятков музыкально бренчащих ключей и разнокалиберных отмычек, насаженных на кольцо, потертый бумажник — и, к счастью, никакого оружия, что доказывало по крайней мере, что вор действовал хотя и со знанием дела, но мирным образом.

Бумажник обследовали на наших глазах. Результат был неожиданный. Не то чтобы там хранились тысячи или, ска-

жем, сотни франков — там не было ни единой банкноты, но зато не менее двадцати семи фотографий сильно декольтированных известных танцовщиц и актрис, а также три или четыре порнографические открытки, что отводило подозрение в других кражах и уличало этого тощего, унылого парня разве только в том, что он был страстным поклонником красоты и хотел бы привлечь к себе на грудь — хотя бы в фотографиях — недостижимых для него звезд парижского театрального мира. Хотя супрефект рассматривал фотографии со строгим видом, от меня не укрылось, что эта удивительная для мелкого воришки страсть к коллекционированию забавляет и его.

А моя симпатия к этому несчастному злоумышленнику благодаря его эстетическим наклонностям еще усилилась, и, когда чиновник торжественно взяв ручку, спросил меня, желаю ли я *de porter plainte*, то есть подать на преступника в суд, я ответил быстрым и категорическим «нет».

У нас, как и во многих странах, обвинение против преступника возбуждается *ex officio*, то есть государство берет дело правосудия в свои руки; а вот во Франции потерпевшему предоставляется выбор: возбудить дело или отступить. Мне лично такая юридическая концепция представляется более справедливой, чем каноническое право. Ведь она дает возможность простить другому причиненное зло, а вот в Германии, например, если женщина в порыве ревности ранила своего возлюбленного из револьвера, то никакие мольбы пострадавшего не спасут ее от суда. В дело вмешивается государство, женщину насильно разлучают с мужчиной, который, быть может, узнав силу ее страсти, любит ее еще больше, и бросают в тюрьму, тогда как во Франции оба, примирившись, возвращаются рука об руку домой, и делу конец.

Едва я успел произнести свое решительное «нет», как произошли три события. Тощий человек, стоявший между полицейскими, внезапно выпрямился и посмотрел на меня с невыразимой благодарностью. Супрефект удовлетворенно отложил ручку: видно, ему мой отказ пришелся по душе, так как избавлял от дальнейшей писанины. Но мой хозяин реагировал совсем иначе. Побагровев до корней волос, он накинулся на меня с криком, что я не должен так поступать, что надо покончить с этим отребьем, что я понятия не имею, сколько вреда от этих типов. Порядочному человеку ни днем, ни ночью нет покоя от этих подонков, им нельзя давать спуска: сегодня отпустишь одного, а завтра явится целая сотня.

Вся его честность и добропорядочность в соединении с мелочной мстительностью мещанина, ущемленного в своих деловых интересах, взбунтовалась в нем; напомнив о причиненных ему хлопотах, он грубо, чуть ли не с угрозой, потребовал, чтобы я взял свои слова обратно.

Но я остался непоколебим. «Чемодан я получил н а з а д, — отрезал я, — стало быть, дело кончено. Еще ни разу в жизни я ни на кого не подавал в суд и сегодня с большим аппетитом съем за обедом свой бифштекс, если буду знать, что изменяю никто не сел на тюремную похлебку».

Хозяин мой возражал все ожесточеннее, а когда чиновник заявил, что решать должен не он, а я, и раз у меня претензий нет, то дело кончено, он резко повернулся и ушел в ярости, громко хлопнув дверью. Супрефект поднялся, усмехнувшись вслед рассвирепевшему хозяину, и с молчаливым одобрением пожал мне руку. Тем самым процедура была завершена, и я уже взялся было за свой чемодан, чтобы отнести его домой. Но тут произошло что-то странное. Вор поспешно подошел ко мне с униженным видом. «О нет, м е с ь е, — сказал он, — я отнесу его к вам».

И в сопровождении благодарного вора с чемоданом я прошествовал обратно к моей гостинице по тем же четырем улицам. Казалось бы, тут и счастливый конец истории, начавшейся так неприятно. Но она имела своим следствием два события, наступившие сразу, одно за другим, — события, которым я благодарен за поучительный вклад в мои познания в психологии французов.

Когда на следующий день я зашел к Верхарну, он встретил меня ехидной улыбкой. «Ну и странные же вещи приключаются с тобой у нас в П а р и ж е, — сказал он шуточно. — А я и не подозревал, что ты такой невероятный богач». Я не сразу понял, о чем идет речь. Он подал мне газету — и впрямь: там было сенсационное сообщение о вчерашнем инциденте, но, само собой, он был расписан так, что я с трудом узнавал действительные факты среди романтических домыслов. Там с незаурядным журналистским искусством рассказывалось о том, что в одной из центральных гостиниц был похищен чемодан, набитый драгоценностями, а также с аккредитивом на двадцать тысяч франков (две тысячи за ночь удесятерились) и другими уникальными вещами (на самом деле это были рубашки и галстуки), принадлежащими знатному иностранцу (знатным я стал, чтобы выглядеть интереснее). На первых порах казалось, что следов не найти, ибо грабитель орудовал невероятно тонко и, судя по всему, превосходно знал все ходы и выходы. Но окружной

супрефект, месть такой-то, «со свойственной ему энергией и проницательностью» тотчас принял меры. По его звонку все парижские гостиницы и пансионаты были самым тщательным образом обследованы всего за какой-нибудь час, и это распоряжение, исполненное с обычной точностью, в кратчайший срок привело к аресту злоумышленника. Начальник полиции не замедлил выразить образцовому чиновнику особую благодарность за превосходное выполнение служебного долга, ибо тот своей расторопностью и проницательностью лишний раз блестяще доказал, как хорошо поставлено дело в парижской полиции.

Правды в этом репортаже, разумеется, было ни на грош; образцовому чиновнику не пришлось ни на миг оторваться от письменного стола, вора вместе с чемоданом мы доставили ему готовеньким, прямо на дом. Но он использовал эту счастливую возможность, чтобы получить известность.

Если, таким образом, и для вора, и для полицейского начальства история закончилась удачно, то обо мне этого ни в коем случае не скажешь. Ибо с тех пор мой хозяин, прежде такой приветливый, делал все, чтобы отравить мне дальнейшее пребывание в гостинице. Спускаясь по лестнице, я учтиво здоровался с его супругой; она не отвечала и оскорбленно отводила от меня свой добродетельный взор. Коридорный теперь прибирал в комнате для виду, письма странным образом пропадали. В соседних магазинах, даже в табачной лавке, где обычно со мной обращались как с настоящим знатоком, поскольку покупал я много, — даже там меня встречали холодно. Уязвленная мещанская мораль не только дома, но и целого переуллка, да и всей округи, ополчилась на меня за то, что я «покрывал» вора. И в конце концов мне больше ничего не оставалось делать, как обратиться восвояси вместе со спасенным чемоданом, и я с позором покинул уютную гостиницу, словно сам был преступником.

* * *

Оказаться после Парижа в Лондоне — все равно что из полуденной жары вступить в прохладную тень: в первое мгновение пробирает озноб, но зрение и прочие чувства быстро привыкают. Я заранее положил себе пробить в Англии два-три месяца: разве поймешь наш мир и разберешься в его механике, не зная страны, которая вот уже не одно столетие диктует этому миру свои законы. Я расчи-

тывал также подшлифовать мой заржавленный английский (беглым он, между прочим, так никогда и не стал), усердно практикуясь и общаясь с людьми.

Из этого, к сожалению, ничего не вышло; у меня — как и у всех нас, приезжих с континента, — знакомых литераторов на том берегу пролива было мало, а слушая разговоры о придворных новостях, скачках и увеселениях, которые велись за завтраком в гостиной нашего маленького пансиона, я чувствовал себя полнейшим профаном. Я не мог вникнуть в беседы о политике: мне ведь и в голову не приходило, что когда говорят о каком-то Джо, то речь идет о Чемберлене, и лордов тоже называют только по именам; кокни лондонских кучеров долгое время опять-таки был для меня китайской грамотой. Таким образом, я продвигался вперед не так быстро, как предполагал. Я попробовал поднабраться хорошего произношения у проповедников в церквях, побывал на двух или трех судебных заседаниях, посещал театры, слушая правильную английскую речь, — но здесь трудно было отыскать ту общительность, приветливость и веселье, которое так щедро излучал Париж.

Я не нашел никого, с кем бы мог поговорить о самых важных для меня вещах; тем англичанам, которые симпатизировали мне, я, опять-таки из-за моего безграничного равнодушия к спорту, политике и всему, что их обычно занимало, казался, вероятно, довольно неотесанным и нудным собеседником. Нигде не удалось мне найти внутреннюю связь с какими-нибудь людьми, с определенной средой. Таким образом, девять десятых лондонского времени я провел за работой в своей комнате или в Британском музее.

На первых порах я, разумеется, честно попытался испробовать метод прогулок. За неделю я рысцой обегал весь Лондон, так что ступни горели. Как прилежный ученик, я осмотрел все достопримечательности «по Бедкеру»: от паноптикума мадам Тюссо до парламента; я выучился пить эль и сменил парижские сигареты на принятую здесь трубку, стремился приноровиться к сотне мелочей, однако не достиг подлинного взаимопонимания — ни в обществе, ни в литературе; а тот, кто наблюдает Англию только со стороны, проходит мимо главного — как в Сити проходишь мимо могущественных фирм, замечая с улицы всего только хорошо начищенную стереотипную медную дощечку. Попав в клуб, я не знал, чем заняться; вид глубоких кожаных кресел, как и вся обстановка, располагал к какой-то душевной лени, потому что в отличие от других я не был подготовлен к этой мудрой расслабленности ни напряжен-

ной работой, ни спортом. Этот город решительно отторгал от себя фланера, праздного соглядатая, поскольку тот был незнаком с высоким и всеобщим искусством приумножения миллионных капиталов, в то время как Париж мирно принимал его в общую радушную сутолоку.

Я лишь потом понял, в чем заключался мой просчет: мне следовало на эти два месяца найти себе в Лондоне какое-нибудь занятие — наняться в какую-нибудь контору или в газету секретарем, и тогда я по крайней мере проник бы в жизнь англичан хоть чуть-чуть поглубже. А в качестве стороннего наблюдателя мне довелось узнать немного. И только спустя годы, во время войны, я получил представление о настоящей Англии.

Из английских поэтов я виделся только с Артуром Саймонсом. Он в свою очередь помог мне получить приглашение к У. Б. Йитсу, чьи стихи я очень любил и единственно ради удовольствия перевел часть из его великолепной стихотворной драмы «Тени на воде».

Я не знал, что предстоит вечер поэзии; приглашен был узкий круг избранных, мы довольно тесно уселись в небольшой комнате, кое-кто на табуретках или даже на полу. Наконец Йитс зажег возле черного (или покрытого черным) пюпитра две огромные, в руку толщиной, алтарные свечи и приступил к чтению. Весь остальной свет в комнате потушили, так что энергичная голова в черных локонах рельефно обрисовывалась в мерцании свечей. Йитс читал медленно, мелодичным густым голосом, нигде не впадая в декламацию, каждая рифма получала свой полный металлический вес.

Было красиво. Было и впрямь торжественно. Мешала мне только претенциозность оформления: черное монашеское одеяние, придававшее Йитсу сходство со священником, мерцание толстых восковых свечей, от которых, как мне кажется, разносился немного пряный аромат; из-за этого литературное наслаждение — и в этом была для меня прелесть новизны — стало скорее славословием стиху, чем обыкновенным чтением. И невольно я вспомнил, как читал свои стихи Верхарн: в рубашке с засученными рукавами, чтобы свободней было отбивать нервными руками ритм, без помпы и театральщины; или как Рильке порою брал книгу и читал несколько стихотворений, просто, ясно, в тихой службе слову.

Это был первый «театрализованный» поэтический вечер, на котором я присутствовал, и, хотя, несмотря на любовь к произведениям Йитса, меня несколько корбило

это священнодействие, гость у него тогда был все-таки благодарный.

Но поэт, которого мне по-настоящему довелось открыть для себя в Лондоне, не принадлежал к числу живых, это был уже порядком позабытый в то время Уильям Блейк, одинокий и загадочный гений, который еще и сегодня привлекает меня соединением безыскусности и высокого совершенства. Один из моих друзей посоветовал мне сходить в отдел редких книг британского музея, которым руководил в то время Лоренс Биньон, и посмотреть красочно иллюстрированные книги: «Европу», «Америку», «Книгу Иова», которые стали сегодня библиографической редкостью, — я был словно зачарован ими.

Впервые открылась мне одна из тех таинственных натур, которые, сами не зная своего пути, проносятся на крыльях мечты сквозь дремучие дебри фантазии; дни и недели пытался я пробраться глубже в лабиринт этой наивной и вместе с тем демонической души и передать некоторые стихотворения Блейка на немецком языке. Мне страстно хотелось иметь хотя бы страничку с его автографом, и мечта эта казалась несбыточной. Но вот однажды мой друг Арчибальд Г. Б. Рассел, который был уже в те времена лучшим знатоком Блейка, рассказал, что на организованной им выставке продается один из «фантастических портретов» — «Король Джон», — по его (и моему) мнению, самый прекрасный карандашный рисунок мастера. «Он никогда вам не надоест», — предсказал Рассел и оказался прав. Из всех моих книг и картин лишь этот рисунок сопровождал меня более тридцати лет, и как часто магически притягивающие глаза этого сумасшедшего короля смотрели на меня со стены; из всего утраченного и оставленного мной имущества этот рисунок — то, чего мне в моих скитаниях недостает больше всего. Гений Англии, который я так усердно — и напрасно — пытался постичь на городских улицах, открылся мне внезапно в поистине астральном облике Блейка. И моя столь безмерная любовь к этому миру стала еще богаче.

ОКОЛЬНЫЙ ПУТЬ К САМОМУ СЕБЕ

Париж, Англия, Италия, Бельгия, Голландия — все эти увлекательные странствия по белу свету были не только приятны, но и во многом плодотворны. И все же человеку нужна — лишь теперь, став скитальцем уже не по доброй

воле, а спасаясь от погони, я ощутил это в полной мере, — человеку нужна исходная точка, откуда отправляешься в путь и куда возвращаешься вновь и вновь. За годы, прошедшие с окончания школы, составила небольшая библиотека, набралось картин и памятных безделушек; рукописи накапливались толстыми пачками, и нельзя же было повсюду таскать за собой эту поклажу в чемоданах. И вот я присмотрел себе в Вене небольшую квартиру, но это был не домашний кров в полном смысле слова, а всего лишь *ried-à-terre*¹, как в таких случаях метко говорят французы. Дело в том, что вплоть до первой мировой войны я подчинял свою жизнь необъяснимому ощущению неоконченности всего, что я делал. За что бы я ни брался, я твердил себе, что все это еще не то, не настоящее; это касалось и моих произведений, которые я рассматривал лишь как пробу пера, и — равным образом — тех женщин, с которыми был близок. Поэтому я прожил мою молодость, не связывая себя серьезными обязательствами, беззаботно пробуя свои силы, вкушая радости жизни. Уже достигнув тех лет, когда другие давно женились, обзавелись детьми и чинами и, не щадя себя, выбивались из последних сил, я все еще считал себя молодым человеком, дебютантом, новичком, у которого впереди времени сколько угодно, и уклонялся от какого бы то ни было определенного выбора. Подобробно тому, как я свою работу рассматривал лишь как подготовку к «настоящему делу», как визитную карточку, которая извещает литературу о моем существовании, так и квартира моя пока что означала только, что у меня появился адрес, не больше. Я специально выбрал маленькую и в пригороде, чтобы высокая плата не стесняла моей свободы. Я не покупал слишком хорошей мебели, потому что не хотел ее «жалеть», как мои родители, в доме которых на каждое кресло полагался чехол, снимавшийся только с приходом гостей. Я сознательно стремился не засиживаться в Вене подолгу, чтобы избежать сентиментальной привязанности к одному определенному месту. Эта «самодисциплина неприкаянности» долгие годы казалась мне ошибкой, но впоследствии, когда судьба несколько раз сгоняла меня с обжитого места и все, что составляло мой быт, рушилось на моих глазах, таинственное чувство «неприкаянности» очень мне помогло. Рано изведенное, оно облегчало мне любую потерю, любое расставание.

¹ Временное пристанище; букв.: место, куда можно поставить ногу (франц.).

На этой первой квартире мне довелось разместить не так уж много сокровищ. Но уже украшали стену тот самый, купленный в Лондоне рисунок Блейка и одно из прекраснейших стихотворений Гёте, написанное его порывистым легким почерком — в те времена это была жемчужина моей коллекции автографов, начатой еще в гимназии. В ту пору погоня за автографами поэтов, актеров, певцов была в нашей литературной группе таким же повальным увлечением, как и сочинительство; но если большинство рассталось с этим вместе со стихоплетством сразу же после окончания школы, то моя страсть к следам земного существования великих мастеров искусства усилилась и в то же время углубилась. Просто подписи меня уже не интересовали, какой бы мировой известностью или признанием ни пользовался подписавшийся, я искал теперь черновики или наброски литературных или музыкальных произведений, потому что больше всего меня занимала — и в биографическом, и в психологическом плане — проблема возникновения произведений искусства. Непостижимая секунда, когда стих, мелодия, еще неведомые миру, только что схваченные интуицией гения, переступают порог небытия и, ложась записью на бумаге, начинают свой земной путь, — где еще можно услышать и почувствовать ее, как не в перепаханных битвой, издерганных судорогой или возникших в едином душевном порыве черновиках мастеров? Я недостаточно знаю о художнике, если передо мною только его шедевр, и присоединяюсь к мнению Гёте: для того чтобы понять великие творения, нужно рассматривать их не только в законченной форме, но и в становлении. Но бетховенский первый набросок с грубыми, нетерпеливыми штрихами, с чудовищным хаосом начатых и брошенных мотивов, с творческим неистовством демонически переполненной души — неистовством, сжатым в нескольких карандашных линиях, — волнует меня еще и чисто зрительно, возбуждает физически — так сильно мое душевное волнение при виде этих линий; я могу часами зачарованно и влюбленно разглядывать лист с этими иероглифами, как другие — законченную картину. Корректурный лист с правкой Бальзака, где почти каждая фраза разорвана, каждая строка перерыта и поля черны от вычерков, значков, вписанных слов, позволяет мне осязать извращение человеческого Везувия; а когда я впервые вижу рукопись, первую земную форму стихотворения, которое любил на протяжении десятилетий, меня охватывает почти-

тельно-религиозное чувство — я едва осмеливаюсь прикоснуться к ней.

К гордости от обладания несколькими такими листами добавился почти спортивный азарт — раздобывать их, охотиться за ними на аукционах или в каталогах; сколькими напряженными часами обязан я этой охоте, сколькими волнующими случаями! То опоздал на день, то известная вещь оказалась подделкой, а то вдруг новое чудо: у меня была небольшая рукопись Моцарта, но радость обладания омрачалась тем, что одной нотной строки не доставало. И вот эта полоска, отрезанная пятьдесят или сто лет назад вандалом-обожателем, внезапно всплывает на аукционе в Стокгольме, и можно снова представить арию точно такой, как написал ее Моцарт за полтора века до нас.

Тогдашних моих литературных доходов не хватало еще, конечно, на крупные приобретения, но каждый коллекционер знает, насколько больше радости доставляет вещь, если ради нее пришлось отказать себе в других радостях. Кроме того, я обложил данью всех моих друзей-писателей. Роллан отдал мне том «Жан-Кристофа», Рильке — самое известное свое произведение «Песнь о любви и смерти», Клодель — «Благовещение», Горький — большой очерк, Фрейд — монографию; все они знали, что ни один музей не сохранял их рукописей с большей любовью. Сколько их развезно сегодня по ветру вместе с прочими, меньшими радостями!

* * *

О том, что в одном со мною пригородном доме, хотя и не у меня в шкафу, скрывался удивительнейший и ценнейший литературно-музейный экспонат, я узнал только впоследствии, благодаря случайности. Этажом выше, в такой же точно скромной квартире, жила седовласая старая дева, учительница музыки; как-то на лестнице она самым любезным образом заговорила со мной: как ее тяготит, что я вынужден в часы моей работы быть невольным слушателем ее уроков, и она надеется, что неумелые упражнения учениц не слишком отвлекают меня. В ходе разговора выяснилось, что она живет с матерью — та полуслепа, уже почти не выходит из комнаты, — и вот эта восьмидесятилетняя женщина оказалась ни больше ни меньше как дочерью Фогеля — личного врача Гёте, и в 1830 году Оттилия фон Гёте в присутствии самого Гёте стала ее крестной.

У меня слегка закружилась голова — в 1910 году на земле еще жил человек, на котором некогда покоился божественный взор Гёте! Мне вообще было свойственно особое чувство преклонения перед любыми приметам земного пребывания гения, и, кроме автографов, я собирал реликвии, какие удавалось раздобыть; одна из комнат моего дома в более поздние времена, в моей «второй жизни», была, можно сказать, культовым помещением. Здесь стоял письменный стол Бетховена и маленькая шкатулка для денег, из которой он, лежа в постели, отсчитывал помертвелой уже, дрожащей рукой гроши служанке; здесь был лист из его приходно-расходной книги и локон его уже седых волос. Гусиное перо Гёте я годами хранил под стеклом, чтобы не поддасться искушению взять его в собственную недостойную руку.

Но разве можно было сравнивать эти все-таки безгласные вещи с человеком, с дышащим, живым существом, на которое когда-то внимательно и любовно глядел темный круглый глаз самого Гёте, — этим дряхлым, бранным существом последняя тонкая нить, готовая в любой момент оборваться, связывала веймарский Олимп со случайным пригородным домом на Кохгассе, 8.

Я испросил позволения посетить госпожу Демелиус; я встретил у старой дамы радушный и теплый прием, и в квартире у нее я нашел кое-какие вещи из обихода бесмертного, подаренные хозяйке внучкой Гёте — подругой ее детства: то была пара канделябров со стола Гёте и тому подобные достопримечательности из дома на Фрауэнплане в Веймаре.

Но разве не было чудом само существование этой старой дамы с морщинистым ртом, в чепце а-ля бидермейер на поредевших седых волосах, охотно рассказывавшей о своей юности, о первых пятнадцати годах жизни, проведенных в доме на Фрауэнплане, который тогда еще не был музеем, и как она сохраняла вещи неприкосновенными с того часа, когда величайший немецкий поэт навсегда покинул свой дом и мир? Как все старые люди, эту пору своей юности она помнила отчетливее всего; трогательно возмущалась она Обществом изучения Гёте, которое допустило чудовищную бестактность, «уже сейчас» опубликовав любовные письма Оттилии фон Гёте.

«Уже сейчас» — ах, она и забыла, что Оттилии вот уже полвека нет в живых! Для нее любимица Гёте все еще была здесь и оставалась молодой, для нее реальностью были вещи, давно ставшие для нас глубокой стариной и легендой!

При ней я всегда чувствовал себя в призрачной атмосфере. В этом каменном доме жили, говорили по телефону, горел электрический свет, диктовали на машинку письма — а я, поднявшись на двадцать две ступеньки, удалялся в другое столетие и пребывал в священной сени гётевского мира.

Впоследствии я еще много раз встречал женщин, чьи седые головы возносились к миру героев и олимпийцев: Козиму Вагнер, дочь Листа, — сухую, строгую, но великолепную в патетических жестах; Элизабет Фёрстер, сестру Ницше, — изящную, миниатюрную, кокетливую; Ольгу Моно — дочь Александра Герцена, которая ребенком часто сживала на коленях у Толстого; я слышал, как Георг Брандес, уже в старости, рассказывал о своих встречах с Уолтом Уитменом, Флобером и Диккенсом, а Рихард Штраус — о том, как он впервые увидел Рихарда Вагнера. Но ничто не тронуло меня в такой степени, как лик этой старухи, последней оставшейся в живых из тех, на кого глядели еще глаза Гёте. И возможно, что теперь уже и я сам являюсь последним, кто может сегодня сказать: я знал человека, на главе которого с нежностью покоилась какое-то мгновение рука самого Гёте.

* * *

Наконец пристанище на время между разъездами было найдено. Важнее, однако, был другой кров, обретенный в ту же пору, — издательство, которое в течение целых тридцати лет привечало меня и давало приют моим произведениям. Такой выбор в жизни автора является решающим, и я не мог бы сделать лучшего.

За несколько лет до того литературный дилетант — из самых просвещенных — решил пустить свое богатство не на конюшню для скаковых лошадей, а на культурное начинание. Альфред Вальтер Хаймель, сам поэт весьма посредственный, решил основать в Германии, где издательское дело, как и повсюду, велось преимущественно на коммерческой основе, такое издательство, которое, не гоняясь за материальной выгодой и даже готовое на постоянные убытки, сделало бы мерилom для публикации не доходность, а внутреннее содержание произведения. Развлекательная литература исключалась, какую бы прибыль она ни давала, зато здесь предоставлялось убежище всему утонченному и труднодоступному (по форме и содержанию). Отбирать для

издания исключительно произведения, отмеченные стремлением к высокой артистичности, и столь же артистично подавать их читателю — таков был девиз этого издательства, единственного в своем роде и поначалу рассчитанного только на тесный круг подлинных знатоков, издательства, которое в стремлении к гордому одиночеству называлось «Инзель», а позднее — «Инзель-ферлаг»¹.

Ни одна книга не выпускалась в чисто коммерческих целях, и полиграфическая техника была направлена на то, чтобы оформить каждое произведение в соответствии с его внутренними достоинствами. Обложка, формат, шрифт, бумага всякий раз подбирались заново; даже рекламные проспекты, как и почтовая бумага, в этом издательстве были предметом щепетильной неусыпной заботы. Я, например, не припомню за тридцать лет ни одной опечатки в какой-либо из моих книг или переправленной строки в письме этого издательства: все, до последней мелочи, должно было служить эталоном.

Издательство «Инзель» выпустило собрания лирики Гофмансталя и Рильке, и это с самого начала определило высокий уровень требований к издаваемому. Поэтому можно себе представить, как я был рад, как гордился, удостоившись в двадцать шесть лет постоянного гражданства на этом «острове». Принадлежность к нему означала в глазах окружающих переход в более высокий литературный ранг, а для меня — повышенную ответственность. Тот, кто вступал в этот избранный круг, должен был подчиняться жесткой самодисциплине, ни в коем случае не позволяя себе ни литературного легкомыслия, ни журналистской суетливости, ибо марка издательства «Инзель» была гарантией не только полиграфического совершенства, но и высоких литературных достоинств книги.

И какое же счастье для автора молодым набрести на молодое издательство и вместе с ним набирать силу; лишь подобный совместный расцвет создает, собственно, органичные отношения между автором, его трудом и миром. Вскоре меня с руководителем издательства «Инзель» профессором Киппенбергом связала сердечная дружба, укреплявшаяся сродством наших коллекционерских увлечений, ибо гётевская коллекция Киппенберга росла наперегонки с моим собранием автографов и превратилась в самую значительную из всех, какие когда-либо удавалось собрать частным лицам.

¹ Издательство «Остров» (нем.).

Его советы, а иногда и предостережения были для меня очень ценны, а я в свою очередь, используя свои связи с иностранными писателями, не раз подсказывал ему новые идеи: так, «Библиотека издательства „Инзель"», миллионными экземплярами воздвигшая словно бы мировой город вокруг первоначальной «башни из слоновой кости» и сделавшая «Инзель» самым представительным издательством, возникла по моему предложению.

Спустя тридцать лет обнаружилось, что мы уже не то, чем были вначале: скромное издательское предприятие стало одним из самых крупных и популярных в Германии. И действительно, понадобились мировая катастрофа и грубейшее насилие над законом, чтобы расторгнуть эти взаимно необходимые и счастливые узы. Должен признаться, что мне легче было покинуть отчий дом и отчизну, чем больше не видеть столь знакомую марку издательства на моих книгах.

* * *

Итак — путь был открыт. Я начал печататься до неприличия рано и все же втайне был убежден, что в свои двадцать шесть еще не создал ничего стоящего. Самое прекрасное, что мне дали годы молодости, — общение и дружба с лучшими мастерами культуры того времени — странно действовало на меня, угрожающе сокращая мою творческую продуктивность. Я слишком хорошо научился распознавать подлинные ценности, это лишало меня уверенности. Из-за этого малодушия все, что я до тех пор опубликовал, кроме переводов, ограничивалось малыми формами — новеллами и стихами; взяты за роман у меня еще долго не хватало духу (потребовалось еще чуть ли не тридцать лет). На несколько более крупную вещь я впервые замахнулся в драматическом жанре, и с этой первой попытки я стал испытывать сильное искушение, поддаться которому меня склоняли многие благоприятные знамения.

Летом 1905 или 1906 года я написал пьесу; как того и требовал дух времени, это была стихотворная драма, и притом в античном стиле. Называлась она «Терсит». О том, как я сегодня расцениваю эту вещь, не устаревшую лишь со стороны формы, лучше всяких слов говорит тот факт, что я ее — как почти все мои книги, написанные в возрасте до тридцати двух лет, — ни разу не переиздавал. Тем не менее в этой драме сказалась уже определенная черта моего душев-

ного склада — никогда не принимать сторону так называемых «героев» и всегда находить трагическое только в побежденном. Поверженный судьбой — вот кто привлекает меня в моих новеллах, а в биографиях — образ того, чья правота торжествует не в реальном пространстве успеха, а лишь в нравственном смысле: Эразм, а не Лютер, Мария Стюарт, а не Елизавета, Кастильо, а не Кальвин; вот и тогда я тоже взял в герои не Ахилла, а ничтожнейшего из его противников — Терсита, предпочел страдающего человека тому, чья сила и воля причиняют страдания другим.

Закончив драму, я не показал ее ни одному актеру, даже из числа моих друзей: я был достаточно опытен и знал, что белый пятистопный ямб и греческие костюмы, будь автором драмы хоть сам Софокл или Шекспир, не сделают сбора на нынешней сцене. Лишь для проформы я разослал несколько экземпляров в крупные театры, а потом начисто забыл об этом.

И зато как же я был удивлен, получив месяца через три письмо, где на конверте значилось: «Берлинский королевский театр»! «Что нужно от меня прусскому государственному театру?» — подумал я. К моему изумлению, директор театра Людвиг Барнай, в прошлом один из величайших немецких актеров, сообщал, что пьеса произвела на него сильнейшее впечатление, к тому же она особенно хороша тем, что роль Ахилла — как раз то, что давно уже разыскивает Адальберт Матковски, и потому Берлинский королевский драматический театр просит меня предоставить ему право первой постановки.

Я чуть с ума не сошел от радости. У немцев было в те времена два великих актера: Адальберт Матковски и Йозеф Кайнци; первый был северянин, несравненный в своей первобытной мощи и захватывающей страстности; другой, Йозеф Кайнци, был наш, венец, прославившийся благодаря своему душевному изяществу и неповторимой дикции — искусству певучей и звучной речи. И вот Матковски должен был воплотить моего героя, читать мои стихи, самый солидный столичный театр Германской империи брал мою драму под свое покровительство — небывалая карьера драматурга открывалась передо мною, не искавшим ее.

Но с тех пор я научился не спешить радоваться постановке, пока не поднимется занавес. Правда, репетиции действительно пошли одна за другой, и друзья уверяли меня, что никогда Матковски не был столь великолепен, столь мужествен, как читая мои стихи на этих репетициях. Я заказал

уже место до Берлина в спальном вагоне, и тут в последнюю минуту пришла телеграмма: спектакль отложен из-за болезни Матковски. Я посчитал это отговоркой из тех, что идут обычно в ход, когда театр не может сдержать слово. Но через неделю газеты сообщили, что Матковски умер. Последним, что произнес со сцены этот волшебник слова, были мои стихи.

«Все кончено, — сказал я себе. — Не судьба».

Правда, теперь на эту пьесу претендовали два других придворных театра — Дрезденский и Кассельский; но в глубине души мне было все равно. После Матковски я не мог себе представить никакого другого Ахилла. Но вот до меня дошла еще более поразительная новость: как-то утром меня разбудил один из моих друзей, его прислал Йозеф Кайнц, который случайно наткнулся на пьесу и нашел в ней роль себе по вкусу — не Ахилла, которого хотел сыграть Матковски, а Герсита, его трагического антипода. Кайнц передал, что он тотчас же вступит в переговоры с «Бургтеатром». Тогдашний директор «Бургтеатра» Шленгер прибыл в свое время из Берлина, где успел зарекомендовать себя как горячий сторонник господствовавшего там реализма, и театром руководил (к большой досаде венцев) как правоверный реалист; он тотчас написал мне, что видит, чем интересна моя драма, но не уверен, что успех переживет премьеру.

С этим все, опять сказал я себе: ведь я-то с давних пор скептически относился и к себе самому, и к своему литературному труду. Кайнц, напротив, был рассержен. Он тотчас пригласил меня к себе; впервые я увидел вблизи кумира своей юности (в гимназии мы готовы были целовать ему руки и ноги): пружинистая фигура, одухотворенное лицо, озаренное прекрасными темными глазами, — и это в пятьдесят лет! Слушать, как он говорит, было наслаждением. Даже в житейском разговоре каждое слово было строжайшим образом очерчено, каждый согласный звук отшлифован до блеска, каждый гласный взмывал ввысь полно и ясно; еще и сегодня, стоит мне прочесть иной стих, который он декламировал, — и в моих ушах звучит голос Кайнца с присущими ему выразительностью, совершенным ритмом, героическим порывом; никогда больше не доводилось мне с таким удовольствием слушать немецкую речь.

И вот — только подумать! — этот человек, которому я поклонялся как божеству, извинялся передо мной, юношей, за то, что ему не удалось осуществить постановку моей пьесы. Но мы не будем больше терять друг друга из виду, обна-

дежил он меня. Собственно, у него ко мне просьба — я чуть не улыбнулся: у Кайнца ко мне просьба! — и вот какая: у него сейчас много гастрольных поездок, и для них приготовлены две одноактные пьесы. А третьей — нет, а ему хотелось бы маленькую пьесу, желательно в стихах, а лучше всего — с одним из тех лирических каскадов, которые он, единственный на немецкой сцене, умел благодаря своей грандиозной технике речи на одном дыхании обрушить с хрустальным звоном в замерший зал. Не написал бы я ему такую одноактную пьесу? Я обещал попытаться.

Как говорит Гёте, порой и музу можно подчинить своей воле. Я набросал одноактную пьесу «Комедиант поневоле» — легкую как пух, в духе рококо, с двумя вмонтированными большими лирико-драматическими монологами. Непроизвольно я каждое слово писал как бы под его диктовку, изо всех сил стараясь постичь личность Кайнца и даже уловить его речевую манеру; так эта случайная работа стала одной из тех удач, которые приходят не от мастерства, а только в минуту вдохновения. Через три недели я показал Кайнцу получерновой набросок с одной уже вмонтированной «арией». Кайнц искренне воодушевился. Монолог он тотчас прочел вслух дважды — во второй раз уже с незабываемым совершенством. Он с явным нетерпением спросил, сколько мне еще понадобится времени. Месяц. Прекрасно! Это то, что надо! Сейчас он на пару недель уезжает на гастроли в Германию, а как только вернется, сразу надо начать репетиции, потому что эту пьесу следует поставить в «Бургтеатре». А кроме того — это он мне обещает, — куда бы он ни отправился, он включит ее в свой репертуар, потому что она ему впору, словно перчатка. «Как перчатка!» Он все снова и снова повторял это слово, трижды сердечно пожимая мне руку.

И он действительно еще до своего отъезда переполошил «Бургтеатр», так что мне позвонил сам директор, просил показать ему пьесу хотя бы в черновике и мгновенно одобрил ее заранее. Кайнц уже раздал роли актерам. Снова казалось, что при малой ставке сделана главная игра: «Бургтеатр», гордость нашего города, а в «Бургтеатре» еще, наряду с Дузе, величайший актер современности в моей пьесе. Не слишком ли много для начинающего? Теперь оставалось только одно-единственное опасение, чтобы Кайнц не изменил своего мнения о готовой пьесе, но это было столь маловероятно! Как бы то ни было, сейчас проявлял нетерпение я.

Наконец я прочел в газете, что Йозеф Кайнц вернулся с

гастролей. Из вежливости я выждал два дня, считая неудобным беспокоить его сразу же по приезде. На третий день я все же решился и вручил свою визитную карточку портье отеля «Захер», моему хорошему знакомому: «Передайте господину Кайнцу, актеру императорского театра!» Старик удивленно уставился на меня сквозь стекла пенсне: «А разве вы, господин доктор, не знаете?..» Нет, я ничего не знал. «Его же увезли сегодня поутру в санаторий». Только тут я узнал, что Кайнец вернулся тяжелобольным, во время гастролей он, героически преодолевая ужаснейшую боль, в последний раз играл свои великие роли перед ничего не подозревающей публикой.

На следующий день его оперировали по поводу рака. Газетные бюллетени еще позволяли надеяться на его выздоровление, и я навестил его в больницу. Он лежал ослабевший и измученный, его темные глаза на осунувшемся лице казались еще больше, и я испугался: над вечно юным, исключительно подвижным ртом впервые обозначилась снежная седина усов — я видел старого, умирающего человека. Он скорбно улыбнулся мне: «Даст ли Бог сыграть в нашей пьесе? Это помогло бы мне выздороветь!» Но спустя несколько недель мы стояли у его гроба.

* * *

Легко понять дурные предчувствия, связанные с моими дальнейшими занятиями драматургией, и опасения, с тех пор тревожившие меня всякий раз, как только я передавал какому-либо театру новую пьесу. То, что оба величайших актера Германии умерли, читая напоследок мои стихи, сделало меня — не стыжусь признаться — суеверным. Лишь несколько лет спустя я решился написать пьесу, и, когда новый директор «Бургтеатра» Альфред Бергер, превосходный знаток театра и мастер сценической речи, тут же принял ее, я чуть ли не со страхом принялся изучать список назначенных актеров, пока не вздохнул, как это ни странно, с облегчением: «Слава Богу, ни одной знаменитости!» Року не на кого было обрушиться.

И тем не менее случилось невероятное. В тревоге за актеров я позабыл о директоре, Альфреде Бергере, который сам взялся руководить постановкой моей трагедии «Дом у моря» и уже набросал режиссерскую разработку. Так вот: за две недели до начала репетиций он умер. Стало быть, проклятие, словно тяготевшее над моими драмати-

ческими произведениями, еще не утратило силу; даже когда через десять с лишком лет «Иеремия», а после мировой войны «Вольпоне» шествовали по сцене на всевозможных языках, мне было неспокойно.

И в 1931 году, закончив новую пьесу, «Агнец бедняка», я поступился своими интересами.

На другой день после того, как я отослал рукопись моему другу Александру Моисси, от него пришла телеграмма: он просил оставить за ним главную роль при первой постановке.

Моисси, принесший со своей итальянской родины такое чувственное благозвучие языка, какого не знала до него немецкая сцена, был в то время единственным достойным преемником Йозефа Кайнца. Обаятельный, умный, живой человек, к тому же добрейший и восторженнейший, он привнес в каждое произведение частицу своего личного обаяния, лучшего кандидата на роль я и желать не мог. И все же, когда он вызвался играть ее, воспоминание о Матковски и Кайнце ожило во мне, и я отказал Моисси под каким-то предлогом, не открывая ему настоящей причины. Я знал, что он унаследовал от Кайнца так называемый перстень Ифланда — по давней традиции величайший актер Германии передавал его как эстафету лучшему из своих преемников. А что, если он под конец унаследует и судьбу Кайнца? Во всяком случае, что касалось меня, то я не хотел в третий раз быть вестником рока для величайшего немецкого актера нашей эпохи.

Так из суеверия и любви к нему я отказался от идеального исполнения, которое едва ли не решило бы судьбу моей пьесы. Без вины виноватый, я все еще не выпутался из сетей чужого рока.

Я отдаю себе отчет в том, что в этом месте моя история становится подозрительно сверхъестественной. Ну хорошо, Матковски и Кайнец — тут, вероятно, дело объясняется несчастливым стечением обстоятельств. Но при чем здесь Моисси, ведь я не дал ему роли и драм больше не писал.

Это произошло так: много лет спустя (тут мое повествование забегает вперед), летом 1935 года, я преспокойно жил в Цюрихе, как вдруг получил от Александра Моисси телеграмму из Милана: он прибывал в Цюрих вечером, специально для встречи со мной, и просил ждать его непременно. Странно, подумал я. Что за спешка — у меня ведь нет новой пьесы, и вот уже много лет, как я охладел к театру. Но ждал я его, разумеется, с радостью, потому что в самом деле любил как брата этого пылкого, сердечного человека.

Он бросился ко мне, едва вышел из вагона, по итальянскому обычаю мы обнялись, и прямо в машине по дороге с вокзала Моисси, сгорая от нетерпения, как это умел делать только он, стал рассказывать мне, что я могу для него сделать. У него ко мне просьба, огромная просьба. Пиранделло оказал ему особую честь, передав для премьеры свою новую пьесу. Причем премьеры будет не простая, а мирового значения: пьесу поставят в Вене на немецком языке. В первый раз итальянский писатель такого масштаба уступает право первой постановки иностранцам, и даже Парижу он его не решился доверить.

Пиранделло боится, что в переводе музыкальность и зыбкий ритм его прозы будут утрачены. Ему очень хотелось бы, чтобы пьесу перевел на немецкий язык не какой-нибудь случайный человек, а именно я, чье языковое мастерство он давно уже ценит. Разумеется, Пиранделло постеснялся просить меня тратить время на переводы! И вот он, Моисси, взялся передать мне просьбу Пиранделло.

Я и в самом деле уже много лет не занимался переводами. Но я слишком высоко ценил Пиранделло, с которым у меня было несколько теплых встреч, чтобы огорчать его отказом, а самое главное — мне предоставлялась приятная возможность оказать услугу такому близкому другу, как Моисси.

На одну или две недели я оторвался от своей работы; несколько недель спустя в Вене была объявлена международная премьеры (которую по политическим мотивам особенно раздували) пьесы Пиранделло в моем переводе. Пиранделло сам намеревался приехать, а поскольку в ту пору Муссолини провозгласил себя покровителем Австрии, то все официальные круги во главе с канцлером объявили о своем присутствии. Вечер должен был одновременно стать политической демонстрацией итало-австрийской дружбы (в действительности — протектората Италии над Австрией).

В те дни, когда должны были начаться первые репетиции, я случайно оказался в Вене. Я предвкушал встречу с Пиранделло, мне было все-таки любопытно, как зазвучат слова моего перевода в музыке речи Моисси. Но мистическим образом через четверть века повторилось все то же. Открыв рано утром газету, я прочел, что Моисей приехал из Швейцарии с тяжелым гриппом и в связи с его болезнью репетиции переносятся. Грипп, подумал я, — это не может быть опасно. Но когда я шел к гостинице (слава Богу, успокаивал я сам себя, не гостиница «Захер», а «Гранд-отель!»), чтобы навестить больного друга, сердце мое билось уча-

щенно, и воспоминание о напрасном визите к Кайнцу ожило во мне. И с величайшим актером эпохи все опять — в который раз! — произошло точно так же, как более четверти века назад. К Моисси меня уже не допустили: у него началась агония. Спустя два дня вместо репетиции я стоял у его гроба, как стоял у гроба Кайнца.

* * *

Упомянув о том, как в последний раз исполнилось мистическое проклятие, тяготевшее над моими театральными опытами, я забежал вперед. Разумеется, в этом совпадении я вижу всего лишь случайность. Но несомненно, что в свое время смерть Матковски и так быстро последовавшая за ней смерть Кайнца решительно определили направление моей жизни.

Если бы тогда, в мои двадцать шесть, Матковски в Берлине, а Кайнец в Вене поставили мои первые драмы, то благодаря их искусству, которое могло обеспечить успех самой слабой пьесе, я быстрее — и, вероятно, незаслуженно — получил бы широкую известность, но зато потерял бы годы медленной учебы и познания мира.

В то время мне, понятно, казалось, что меня преследует судьба — ведь театр с самого начала предлагал мне такие соблазнительные возможности, о которых я и мечтать не смел, чтобы в последний момент безжалостно отнять их.

Однако лишь в молодые годы отождествляешь судьбу и случай. Потом мы начинаем понимать, что наш жизненный путь предопределен изнутри; и каким бы извилистым и бессмысленно неподвластным нашей воле он ни казался, а все же в конечном счете он всегда ведет нас к нашей незримой цели.

ЗА ПРЕДЕЛЫ ЕВРОПЫ

Может быть, время тогда шло быстрее, чем сегодня, когда оно переполнено событиями, которые меняют нашу жизнь снаружи и изнутри? Или те последние годы моей молодости накануне первой европейской войны представляются мне лишь потому довольно туманно, что прошли они в непрерывной работе? Я писал, печатался, в Германии и за ее пределами уже немного знали мое имя, у меня были почитатели и — что еще больше говорит об определенной

оригинальности — противники; мне были открыты все крупные газеты империи, мне больше не нужно было предлагать свои произведения — ко мне обращались за ними. Но в душе я ни в коем случае не обольщаюсь относительно того, что было создано мною: все написанное в те годы ныне утратило свое значение; все наши притязания, наши заботы, наши разочарования и обиды тех дней кажутся мне сегодня по-лиллипутски мелкими. Масштабы настоящего дня заставили изменить наше видение. Начни я эту книгу несколько лет тому назад, я рассказал бы в ней о беседах с Герхартом Гауптманом, с Артуром Шницлером, Демелем, Пиранделло, Вассерманом, Шоломом Ашем и Анатолем Франсом (последняя была довольно забавной, ибо старый мэтр потчевал нас весьма пикантными историями, но с неподражаемой серьезностью и неопишуемым изяществом).

Я мог бы рассказать о больших премьерах — десятой симфонии Густава Малера в Мюнхене, «Кавалера роз» в Дрездене, о Карсавиной и Нижинском, ибо, будучи довольно любознательным гостем, я был свидетелем многих «исторических» художественных событий. Но все, что не имеет уже связей с проблемами современности, оказывается несостоятельным перед нашим строгим критерием самого насущного. И давно уже те столпы моей юности, которые направили мой взгляд на литературу, кажутся мне менее значимыми, чем те, кто обратил его к действительности.

К ним в первую очередь относился человек, которому предназначено было попытаться выправить судьбу Германской империи в одни из самых ее трагических периодов и которого сразил первый смертельный выстрел национал-социалистов, за одиннадцать лет до захвата власти Гитлером: Вальтер Ратенау. Наши дружеские связи были давние и сердечные; начались они удивительным образом. Одним из первых людей, кого я должен благодарить за дружескую поддержку, когда мне было всего девятнадцать лет, был Максимилиан Харден, чей еженедельник «Цукунфт» в последние десятилетия вильгельмовской империи играл важную роль; Харден — вовлеченный в политику самим Бисмарком, который охотно использовал его как рупор или громоотвод, — свергал министров, выступил со скандальным разоблачением Ойленбурга, заставлял каждую неделю в ожидании очередных нападок и разоблачений дрожать кайзеровский дворец; но все же личным пристрастием Хардена оставались театр и литература. И вот как-то в «Цукунфт» появилась подборка афоризмов, подписанная псев-

донимом, которого я уже не помню, обративших мое внимание своим самобытным остроумием и лаконичностью. Будучи постоянным автором, я написал Хардену: «Кто этот новый талант? Давно я не читал столь великолепно отточенных афоризмов».

Ответ пришел не от Хардена, а от человека, подписавшегося «Вальтер Ратенау», который, как я узнал из его письма и из другого источника, был не кто иной, как сын всемогущего директора берлинской электрокомпании, крупный предприниматель, член наблюдательных советов бесчисленных акционерных обществ, выражаясь словами Жан Поля, один из новых немецких коммерсантов «из высшего света». Он писал, что сердечно благодарит меня за мое письмо, явившееся первым откликом на его первый опыт в литературе. Будучи лет на десять старше меня, он открыто признался мне в своих сомнениях относительно того, стоит ли ему публиковать книгу мыслей и афоризмов. Ведь он, в конце концов, дилетант, и сферой его деятельности до сих пор была экономика. Я искренне его подбодрил, между нами завязалась переписка, так что в свой очередной приезд в Берлин я позвонил ему. Как бы пребывавший в нерешительности голос ответил: «Ах, это вы. Но, к сожалению, завтра рано утром, в шесть, я уезжаю в Южную Африку...» Я прервал: «В таком случае, разумеется, увидимся в следующий раз». Но голос продолжал в неслабшем раздумье: «Нет, погодите... минутку... После обеда все занято совещаниями... Вечером мне надо в министерство, после чего еще ужин в клубе... Но вот в одиннадцать пятнадцать не могли бы вы прийти ко мне?» Я согласился. Мы проговорили до двух часов ночи. В шесть утра он уехал — как я узнал позднее, по поручению германского кайзера — в Юго-Западную Африку.

Я привожу эту деталь потому, что она исключительно характерна для Ратенау. Этот по горло занятый человек всегда находил время. Я видел его в тяжелейшие дни войны и незадолго до конференции в Локарно, а за несколько дней до его убийства я даже ехал с ним в том самом автомобиле, в котором его застрелили, по той же улице. Его дни были расписаны до последней минуты, и тем не менее он в любой момент без всякого усилия мог переключиться с одного дела на другое, мозг его — инструмент такой точности и реакции, какого я не встречал ни у кого, — всегда был в состоянии готовности. Он говорил быстро, словно считывал с невидимого листа, и тем не менее каждая отдельная мысль звучала так образно и ясно, что его речь — будь она

застенографирована — дала бы совершенно готовый материал для печати. Так же уверенно, как по-немецки, он говорил по-французски, по-английски, по-итальянски; память никогда его не подводила, никогда ни по какому вопросу ему не требовалось специальной подготовки. Беседуя с ним, человек чувствовал себя недалеким, необразованным, подавленным его спокойной аналитичностью и объективной деловитостью. Но в этом ослепляющем блеске, в этой хрустальной ясности было нечто такое, от чего становилось не по себе, как от изысканнейшей мебели и прекраснейших картин в его доме. В нем словно был спрятан гениальный механизм, его жилище напоминало музей, а в его феодальном замке королевы Луизы в Бранденбурге человека подавлял идеальный порядок, четкость и чистота. Нечто прозрачное, как стекло, а потому лишенное субстанции было в его мышлении; редко в ком я чувствовал трагичность судьбы сильнее, чем в этом человеке, в котором за видимым превосходством скрывались глубокое беспокойство и неуверенность. Другие мои друзья, например Верхарн, Эллен Кей, Базальжетт, и на десятую долю не были столь умны, ни на сотую — так универсальны, не знали настолько жизнь, как он; но они были уверены в себе. В Ратенау, при всем его необъятном уме, всегда чувствовалось отсутствие почвы под ногами. Он унаследовал от отца такую власть, какую даже трудно вообразить, и все же не хотел быть его наследником, он был коммерсантом, а хотел быть художником, он владел миллионами, а тянулся к социалистам, чувствовал себя евреем, но не сторонился христианства. Он мыслил интернационально, а боготворил пруссачество, мечтал о народной демократии, а сам всякий раз почитал за честь быть принятым кайзером Вильгельмом, слабости и тщеславие которого он проницательно видел до мельчайших подробностей, потакая, однако, собственному тщеславию. Таким образом, вся его непрерывная деятельность была, возможно, лишь своеобразным опиумом, которым он пытался унять внутреннюю нервозность и скрасить одиночество, присущее его натуре. Лишь в решающий момент, когда после поражения германских армий на его долю выпала труднейшая историческая задача возрождения государства из хаоса разрухи, все его огромные потенциальные способности словно по волшебству слились воедино. И он получил то признание, которое соответствовало его гению, посвятив всю свою жизнь одной-единственной цели — спасению Европы.

Кроме несомненного расширения кругозора благодаря беседам, которые по духовному богатству можно сравнить, пожалуй, лишь с общением с Гофмансталем, Валери и графом Кайзерлингом, пробуждения интереса к самой действительности, я обязан Ратенау также и впервые возникшим желанием отправиться за пределы Европы. «Вы не сможете понять Англию, пока вы знаете только сам остров, — сказал он мне, — да и наш континент тоже, пока хотя бы раз не выедете за его пределы. Вы — свободный человек, используйте же свободу! Литература — отличное занятие, потому что она не требует спешки. Годом раньше, годом позже — не имеет значения для настоящей книги. Почему бы вам не съездить в Индию или Америку?» Этот совет, данный мимоходом, глубоко запал мне в душу, и я сразу же решил ему последовать.

Индия оказала на мою душу более тревожащее и более удручающее впечатление, чем я предполагал. Я был потрясен бедственным положением живущих впроголодь людей, безотрадной отрешенностью в угрюмых взглядах, тягостным однообразием ландшафта, а прежде всего разительным разделением классов и народностей, почувствовать которое мне довелось уже на судне. На нашем корабле путешествовали две прелестные девушки, черноглазые и стройные, прекрасно образованные и с хорошими манерами, скромные и элегантные. В первый же день мне бросилось в глаза, что они держатся поодаль, словно их отделяет некий невидимый мне барьер. Они не появлялись на танцах, не принимали участия в разговорах, а сидели в стороне, читая английские или французские книги. Лишь на второй или третий день я понял, что дело было не в них, избегавших английского общества, а в тех, кто сторонился «half-casts»¹, хотя эти прелестные девочки были дочерьми крупного персидского предпринимателя и французженки. В пансионе в Лозанне, в finishing-school в Англии они два или три года чувствовали себя совершенно равноправными; но на корабле в Индию вновь тотчас же проявилась эта холодная, невидимая, но оттого не менее жестокая форма общественного презрения. Впервые я увидел расовую чуму, которая для нашего века стала более роковой, чем настоящая чума в прошлые столетия.

¹ Человек смешанной расы (англ.).

Подобный эпизод с самого начала обострил мое внимание. Не без стыда я пользовался — давно исчезнувшим по нашей собственной вине — преклонением перед европейцами как неким белым богом, которого во время его путешествий, например восхождения на пик Адама на Цейлоне, неотступно сопровождало от двенадцати до четырнадцати слуг — меньше было бы просто ниже его «достоинства». Я все время думал о том, что в грядущие десятилетия и столетия необходимо устранить такое абсурдное положение, о котором мы в нашей воображающей себя благополучной Европе вообще не имели никакого представления. Благодаря этим наблюдениям я увидел Индию не в розовом свете, подобно Пьеру Лоти, как нечто «романтическое», а как предостережение; и причиной тому были не прекрасные храмы, древние дворцы или виды Гималаев, давшие в этом путешествии исключительно много для моего духовного развития, а люди, которых я узнал, — люди другого склада и образа жизни, чем те, которые обычно встречались писателю в Европе. Тот, кто в те времена, когда деньги тратились более умеренно и когда еще и в помине не было увеселительных турне Кука, выезжал за пределы Европы, был почти всегда среди людей своего круга и положения личностью неординарной: если уж торговец, то не какой-нибудь мелкий лавочник, а крупный предприниматель, если врач — то настоящий исследователь, если авантюрист — то из рода конкистадоров, щедрый, решительный, и даже если писатель — то человек с более высокими духовными запросами. За долгие дни и ночи путешествия, которые в ту пору еще не заполняло радио своей трескотней, я в общении с этим иным типом людей узнал о том, что движет нашим миром, больше, чем из сотен книг. Степень удаления от родины меняет и наше отношение к ней. На иные мелочи, которые ранее занимали меня сверх меры, я после моего возвращения стал смотреть именно как на мелочи, а наша Европа уже не казалась мне вечным центром всей Вселенной.

* * *

Один из тех, с кем свело меня путешествие по Индии, оказал на историю нашего времени непредвиденно значительное, хотя и не сразу обнаружившееся влияние: на пути из Калькутты в центральную Индию и на речном судне вверх по Иравади я часами общался с Карлом Хаусхофером и его женой: он в качестве военного атташе направлялся в

Японию. Этот высокий, сухопарый человек с узким лицом и острым орлиным носом дал мне возможность познакомиться с характерными чертами и внутренним миром офицера германского генерального штаба. Я, разумеется, и раньше время от времени общался в Вене с военными — приветливыми, любезными и даже веселыми молодыми людьми, — которые, будучи в основном выходцами из семей несостоятельных, форму надели не по своей воле, а лишь из желания поправить материальное положение. Хаусхофер, напротив — это чувствовалось сразу, — происходил из высококультурной, добропорядочной буржуазной семьи — его отец опубликовал довольно много стихов и был, если не ошибаюсь, профессором университета, — и его образование не ограничивалось сведениями из военных наук, а было в отличие от образования многих офицеров всесторонним. Получив задание изучить на месте театр военных действий русско-японской войны, он, как и его жена, настолько овладел японским языком, что свободно мог читать даже японскую поэзию. На примере Хаусхофера я вновь убедился, что любая наука, в том числе и военная, воспринимаемая широко, непременно должна выходить за пределы узкой специализации и соприкасаться со всеми другими науками. На судне он работал весь день, с помощью полевого бинокля изучал каждую деталь ландшафта, вел дневник или делал рабочие записи, учил язык; редко я видел его без книги в руках. Тонкий, наблюдательный человек, он был прекрасным рассказчиком; я многое узнал от него о загадке Востока и, возвратившись домой, еще долго поддерживал дружеские отношения с семьей Хаусхофер: мы переписывались и навещали друг друга в Зальцбурге и Мюнхене. Тяжелая болезнь легких, продержавшая его целый год в Давосе и Арозе, способствовала его уходу из армии в науку; поправившись, он в мировую войну занял командный пост. Во время поражения и послевоенного хаоса я часто думал о нем с большой симпатией; нетрудно представить, как он, долгие годы трудившийся в своем затворничестве над усилением германского могущества, а может быть, и всей военной машины Германии, должен был страдать, видя Японию, где приобрел много друзей, рядом с торжествующими противниками.

Вскоре обнаружилось, что он был одним из первых, кто настойчиво и планомерно помышлял о возрождении германской мощи. Он издавал журнал геополитики, и, как это часто бывало, я не осознал далеко идущего смысла этого нового движения в его начальной стадии. Я искренне пола-

гал, что речь идет лишь о том, чтобы выявить соотношение сил в ходе развития наций, и даже выражение «жизненное пространство» народов, которое он, кажется мне, сформулировал первый, я понимал в шпенглеровском смысле — лишь как относительную, за века изменяющуюся энергию, свойственную в каждый временной период той или иной нации. Весьма правильным казалось мне также требование Хаусхофера более внимательно изучать национальные особенности народов с целью выработки надежных научных взглядов на эту область, так как считал, что такие исследования должны служить исключительно тенденциям сближения народов; возможно — не берусь утверждать это, — первоначальное намерение Хаусхофера и в самом деле не было связано с политикой. Во всяком случае, я читал его книги (в которых, между прочим, он однажды процитировал меня) с большим интересом и без всякого недоверия, слышал от непредубежденных лиц лестные отзывы о его лекциях как о чрезвычайно полезных, и никто не предполагал, что его идеи могут служить новой политике силы и агрессии и лишь в новой форме призваны идеологически обосновать старые притязания на «Великую Германию». Но однажды, когда я в Мюнхене при случае упомянул его имя, кто-то сказал само собой разумеющимся тоном: «Ах, друг Гитлера». Я не мог этому поверить. Во-первых, жена Хаусхофера была далеко не чистой расы, и его сыновья, очень одаренные и симпатичные, едва ли оказались бы состоятельными с точки зрения нюрнбергского закона о евреях; кроме того, я не видел ничего общего между высокообразованным, широко мыслящим ученым и грубым агитатором, одержимым немецким национализмом в самой фантастической и самой страшной его форме. Но одним из последователей Хаусхофера был Рудольф Гесс, и эта связь была установлена им; Гитлер сам по себе был малоспособен к усвоению новых идей, однако с самого начала он обладал инстинктом усваивать все, что могло служить достижению им его целей; поэтому «геополитика» для него означала и полностью исчерпывалась политикой национал-социалистов, и он пользовался ее услугами лишь настолько, насколько это могло отвечать его замыслам. Подведение идеологической и псевдоморальной базы под свое домогательство власти всегда было характерным приемом национал-социалистов, а благодаря понятию «жизненное пространство» он наконец обрел «философское» обоснование для своих откровенно агрессивных устремлений — формулу, кажущуюся бесхитростной из-за возможности трактовать ее как угодно и в

случае успеха способную оправдать любую аннексию и любой произвол этической и национальной необходимостью. Так что этот мой давний попутчик, который — не знаю, сознательно ли и по доброй ли воле, — стал родоначальником первоначально ориентированной лишь на достижение национального единства и чистоты расы, роковой для мира гитлеровской трактовки проблемы, которая впоследствии у гитлеровцев с помощью теории «жизненного пространства» привела к созданию лозунга: «Сегодня нам принадлежит Германия, завтра — весь мир», — наглядный пример того, что всего лишь одно высказывание благодаря имманентной силе слова может воплотиться в дело и злой рок; так ранее высказывания энциклопедистов о господстве «разума» породили свою противоположность — террор и массовый психоз. Сам Хаусхофер в партии нацистов, насколько мне известно, никогда не занимал видного положения, возможно, даже никогда и не состоял в ней; я в нем отнюдь не вижу, как нынешние скорые на приговор журналисты, демонического «серого кардинала», который, скрытый за кулисами, вынашивает опаснейшие планы и суфлирует их фюреру. Однако не подлежит никакому сомнению, что вольно или невольно эти идеи, которые больше, чем советы самых оголтелых советчиков Гитлера, способствовали превращению агрессивной политики нацизма из узкого национализма в универсальный, принадлежали ему; лишь потомки более документированно, чем можем сделать это мы, современники, дадут его личности верную историческую оценку.

* * *

За этим первым путешествием через океан последовало спустя некоторое время второе — в Америку. Целью его тоже было желание повидать мир и, насколько возможно, частицу того будущего, которое нас ожидало; я действительно думаю, что был одним из очень немногих писателей, кто пересек океан не для того, чтобы обделать свои дела или, как иные борзописцы, ловко нагреть руки на Америке, а с единственной целью — проверить довольно смутное представление о новом континенте.

Это мое представление — я не стыжусь об этом сказать — было довольно романтичным. Америка для меня была страной Уолта Уитмена, нового ритма, грядущего мирового братства; еще раз прочел я, прежде чем отпра-

виться за океан, первозданные и, словно водопад, низвергающиеся с высоты длинные строки «Camerado» и ступил, стало быть, в Манхэттен с открытым сердцем вместо обычного высокомерия европейца. Я еще помню, что своим первым долгом почел спросить у портье в гостинице о могиле Уолта Уитмена, которую хотел посетить, чем вызвал у бедного итальянца сильное замешательство. Он этого имени даже не слышал.

Первое впечатление было потрясающим, хотя Нью-Йорк не имел еще той опьяняющей ночной красоты, как ныне. Еще не было переливающихся каскадов света на Таймс-сквер и искусственного звездного неба над городом, которое по ночам миллиардами электрических звезд посылает свет звездам настоящего неба. Панорама города, да и движение на улицах были лишены сегодняшнего размаха, новая архитектура еще очень робко проявлялась лишь в отдельных высотных зданиях; витрины магазинов не были оформлены так многообразно и с таким вкусом. Но взгляд с Бруклинского моста, мерно покачивавшегося от движения, на порт или прогулка в каменных ущельях авеню становились открытием и волнующим событием, которое, должен признаться, через два или три дня уступало место другому пронзительному чувству: чувству крайнего одиночества. Мне нечего было делать в Нью-Йорке, а ничем не занятый человек был тут более неприкаянным в ту пору, чем где бы то ни было. После того как через два или три дня я самым добросовестным образом изучил музеи и важнейшие достопримечательности, я слонялся туда и обратно, словно судно без руля, по ледящим, продуваемым улицам. В конце концов это чувство бессцельности моего хождения стало настолько сильным, что мне пришлось преодолевать его с помощью одной нехитрой затеи. Я придумал игру: бродя здесь один-одинешенек, внушил себе, будто я один из бесчисленных переселенцев, которые не знают, что им предпринять, и что у меня в кармане всего семь долларов. Делай то, что приходилось делать им. Представь себе, что уже через три дня ты должен начать зарабатывать себе на хлеб. Присмотрись, с чего здесь начинают пришельцы, не имеющие связей и друзей, как им удастся быстро найти себе заработок? И я стал ходить от одного бюро по найму к другому и изучать объявления. Тут искали пекаря, там временного секретаря, которому надлежало знать французский и итальянский, здесь — помощника в книжный магазин: для моего двойника это уже был какой-то шанс. И я взобрался по железной витой лестнице на третий этаж — поинтересо-

ваться заработком и сопоставил его в свою очередь с газетными объявлениями о ценах на жилье в Бронксе. Благодаря этому «поиску места» я сразу же, в первые дни, узнал об Америке больше, чем за все последующие недели, когда уже как турист комфортабельно путешествовал по Филадельфии, Бостону, Балтимору, Чикаго, проведя немного времени в Бостоне у Чарлза Леффлера, положившего на музыку несколько моих стихотворений, а остальное время — всегда один. Лишь однажды полнейшая анонимность моего существования была неожиданно прервана. Я еще ясно помню тот миг. Я брел в Филадельфии по широкой авеню; остановился перед большим книжным магазином, надеясь хотя бы по именам авторов увидеть что-нибудь знакомое, уже известное мне. Вдруг я вздрогнул. В витрине этого магазина внизу слева стояли шесть или семь немецких книг, и в глаза мне бросилось мое собственное имя на обложке одной из них. Я стоял, глядя словно зачарованный, и думал. Частичка моего «я», блуждающего так анонимно и, по всей видимости, бесцельно по этим чужим улицам, никому не известного, никем не узнаваемого, оказывается, уже находилась здесь до меня: книготорговцу потребовалось вписать мое имя на бланк заказов, чтобы эта книга десять дней плыла сюда через океан. На какое-то мгновение меня покинуло чувство заброшенности, и когда два года тому назад я снова побывал в Филадельфии, то невольно искал ту же витрину.

Добраться до Сан-Франциско — Голливуд в ту пору еще не придумали — у меня уже не было сил. И все же, хотя и в другом месте, мне удалось бросить взгляд на столь притягательный Тихий океан, который манил меня к себе еще с детства, когда я прочитал о первых кругосветных путешествиях на парусниках, и с места, которого сегодня уже нет, которое никогда больше не увидит глаз смертного, — с последних насыпей в ту пору еще строившегося Панамского канала. Через Бермуды и Гаити я прибыл туда на маленьком судне — ведь наше поэтическое поколение, воспитанное на Верхарне, к техническим чудесам своего времени относилось с таким же восхищением, как наши предки к древней римской скульптуре. Зрелище было незабываемое: вычерпанное машинами, оранжевое, как охра, слепящее глаза даже сквозь темные очки ложе канала — дьявольское наваждение, — пронизанное миллионами и миллиардами москитов, жертвы которых бесконечными рядами покоились на кладбище. Сколько людей погибло здесь, на этой стройке, которую начала Европа, а заканчивать пришлось

Америке! И вот только теперь, после тридцати лет катастроф и разочарований, она обрела плоть. Еще несколько месяцев заключительных работ на шлюзах, а затем нажатие пальца на электрическую кнопку — и воды двух океанов навсегда соединятся; одним из последних в ту пору, с отчетливым ощущением важности исторического момента, я видел их пока еще разделенными. Это было доброе прощание с Америкой — этот взгляд на ее величайшее творческое деяние.

БЛЕСК И ТЕНИ НАД ЕВРОПОЙ

И вот я прожил десять лет в новом веке, повидал Индию, часть Америки и Африки; с новой, осознанной радостью вновь увидел я нашу Европу. Никогда не любил я так сильно наш Старый Свет, как в эти годы накануне первой мировой войны, никогда так не надеялся на единство Европы, никогда не верил в ее будущее так, как в ту пору, когда нам мерещилась заря новой эры. А на самом деле это было зарево уже приближающегося мирового пожара.

Вероятно, сегодняшнему, выросшему среди катастроф, спадов и кризисов поколению, для которого война стала бытом и чуть ли не повседневностью, трудно представить это доверие к миру, одушевлявшее нас, молодежь, с самого начала нового века. За сорок мирных лет экономика окрепла, техника ускорила ритм жизни, научные открытия наполняли гордостью души современников; начался подъем, который во всех странах Европы был ощутим почти в равной мере. С каждым годом все красивее и многолюднее становились города. Берлин в 1905 году уже не походил на тот, который я знал в 1901-м: придворный город превратился в мировой, а Берлин 1910 года в свою очередь совершенно затмил и его!

Вена, Милан, Париж, Лондон, Амстердам при каждой новой встрече изумляли и восхищали; шире и великолепнее становились улицы, грандиознее — общественные здания, богаче и изящнее — магазины. Уровень жизни возрастал, и это чувствовалось во всем; даже мы, писатели, замечали это по тиражам, которые за десятилетие выросли в три, пять, десять раз. Новые театры, библиотеки, музеи возникли повсюду; такие удобства, как ванна и телефон, бывшие доселе привилегией избранных, проникали в быт мелкой буржуазии, да и пролетариат, с тех пор как рабочий день был сокращен, заявлял о себе, требуя хотя бы малой

доли в благах и удобствах жизни. Все шло вперед. Выигрывал тот, кто рисковал. Кто покупал дом, редкую книгу, картину, видел, как они повышаются в цене; чем смелее, чем безрассуднее затевалось предприятие, тем вернее оно окупалось. И оттого на мир снизошла упоительная беззаботность, ибо что же могло прервать этот подъем, остановить взлет, черпавший в самом себе все новые силы? Никогда Европа не бывала сильнее, богаче, прекраснее, никогда не верила она так глубоко в свое прекрасное будущее; никто, кроме двух-трех ветхих старцев, не оплакивал, как прежде, «доброе старое время».

Не только города, но и люди становились красивее и здоровее — благодаря спорту, лучшему питанию, сокращению рабочего дня и углубившейся связи с природой. Зима перестала быть тоскливым временем, которое убивают, скучая за карточным столом в трактире или томясь в душных комнатах; иные открыли для себя зиму в горах — вино профильтрованного солнца, нектар для легких, радостно бегущую по жилам кровь. А горы, озера, море стали уже не такими далекими, как когда-то. Велосипед, автомобиль, электрифицированные дороги сократили расстояния и дали миру новое ощущение пространства.

По воскресеньям тысячи и десятки тысяч людей устремлялись на лыжах и санях со снежных круч; повсюду возникли бассейны и дворцы спорта. В бассейнах как раз и можно было наглядно изучать перемены; если в годы моей молодости по-настоящему статный человек бросался в глаза на фоне толстых загривков, отвислых животов и впалых ребер, то теперь, следуя античным образцам, соревновались между собой гибкие, распрямленные спортом тела.

По воскресеньям уже никто, кроме последних бедняков, не оставался дома; все молодые люди путешествовали, взбирались на скалы или участвовали в состязаниях во всевозможных видах спорта; отпуск проводили не за городом и даже не в Зальцкаммергуте, как это было принято у моих родителей, — людей одолевал интерес к миру: повсюду ли он одинаково прекрасен. Раньше за границу выезжали только избранные, теперь банковские клерки и мелкие ремесленники предпринимали путешествия в Италию, во Францию. Путешествовать стало дешевле, стало удобнее, но главное — люди почувствовали себя увереннее, в них появилась небывалая отвага, они стали смелее в странствиях, безрассуднее в жизни; более того, мелочной расчетливости стали стыдиться.

Целое поколение решило выглядеть моложе; в противо-

положность нашим отцам каждый гордился своей молодостью; вдруг исчезли бороды — сначала у молодых, затем их примеру последовали старшие, дабы не казаться совсем уж стариками. Молодость, свежесть, никакого жеманства — таков был девиз. Женщины сбросили корсеты, стягивавшие стан, они отказались от зонтов и вуалей, уже не страшась ни солнца, ни воздуха; они укорачивали юбки, чтобы удобнее было играть в теннис, и не стеснялись показывать свои стройные ноги.

Мода становилась все естественнее; мужчины носили бриджи, женщины отваживались ездить верхом, люди не сидели взаперти, они больше не прятались друг от друга. Мир стал не только прекраснее, но и свободнее.

То было здоровье, уверенность в своих силах нового, пришедшего после нас поколения, завоевавшего свободу также и в поведении. На прогулку или на спортплощадку девушки ходили теперь без гувернанток, в компании молодых людей, не скрывая своих товарищеских отношений и не опасаясь за свою девичью честь; они уже не были боязливы и чопорны, они знали, чего хотят, а чего — нет.

Выйдя из-под неусыпного родительского надзора, самостоятельно зарабатывая себе на жизнь службой, они отвоевали право самим определять свою судьбу. Благодаря этим новым, более здоровым и свободным, взаимоотношениям полов заметно пошла на убыль проституция — единственный род любви, официально разрешенный в прежнем мире. Все реже встречалась в бассейнах деревянная перегородка, непреодолимо разделявшая мужскую и дамскую купальни: ни женщины, ни мужчины уже не стыдились обнаженного тела; в это десятилетие было отвоевано больше свободы, непринужденности, непосредственности, чем за весь прошедший век. Изменился и самый ритм жизни. Год — чего только не случалось теперь на протяжении одного года! Одно изобретение, открытие сменялось другим, тут же становившимся в свою очередь всеобщим достоянием; впервые нации ощущали свою сплоченность, когда дело касалось общих интересов. В день, когда Цеппелин отправился в свой первый полет, я случайно, проездом в Бельгию, оказался в Страсбурге, где воздухоплаватель при шумном ликования толпы облетел вокруг собора, словно отдавая честь тысячелетнему творению. А вечером, когда я был уже в Бельгии, у Верхарна, пришло известие, что воздушный корабль разбился в Эхтердингене. На глазах у Верхарна появились слезы, он ужасно расстроился.

Казалось бы, что ему, бельгийцу, до катастрофы в Гер-

мании? Но, как европеец, как сын своего времени, он воспринимал победу над стихиями как общее дело и общее испытание. Мы в Вене так ликовали, когда Блерио перелетел через Ла-Манш, словно он был героем нашей родины; от гордости за ежечасно обгоняющие друг друга триумфы нашей техники, нашей науки впервые возникало чувство европейской общности, европейское национальное сознание. Сколь бессмысленны, говорили мы себе, наши границы, если любой самолет шутя перелетает через них; сколь провинциальны, сколь искусственны, сколь несовместимы с духом нашего времени, которое так жаждет сплоченности и мирового братства, все эти таможенные барьеры и пограничная стража! Этот взлет чувства был не менее замечательен, чем взлет аэропланов; мне жаль каждого, чьи годы молодости пришлись не на эти последние годы взаимодоверия в Европе, ибо воздух, в котором мы живем, не мертвый и не пустой, он несет в себе порыв и ритм времени. Он неощутимо вливает их в наши жилы, наполняет ум и сердце. В эти годы каждый из нас черпал силы в общем порыве, основывал веру в себя на коллективной уверенности. Вероятно, мы тогда не понимали еще — ведь люди обычно неблагодарны, — как могуча, как надежна была несущая нас волна. Однако лишь тот, кто пережил эту эпоху всеобщего доверия, знает, какое падение и затмение наступило вслед за ней.

* * *

Великолепен был этот бодрый мир силы, стучавший в наши сердца со всех концов Европы. Но мы и не подозревали, что в нашем благополучии таилась опасность. Ветер гордой уверенности, шумевший тогда над Европой, нес и тучи. Возможно, подъем был слишком стремителен, государства и города усилились чересчур поспешно, а сила всегда искушает как людей, так и государства пустить ее в ход, а то и злоупотребить ею. Франция была богата. Но ей было мало этого, ей подавай еще новую колонию, хотя и в прежних не хватало людей; и вот Марокко чуть не стало поводом к войне. Италия зарилась на Киренаику, Австрия аннексировала Боснию. Сербия и Болгария стали достаточно сильны для борьбы с Турцией, а обделенная Германия уже занесла свою хищную лапу для яростного удара. Повсюду избыточная кровь бросалась государствам в голову. Добрая воля к сплочению внутренних сил переходила,

подобно эпидемии, в захватнический азарт. Французские промышленники, получавшие отличный доход, старались вытеснить немецких, которые тоже как сыр в масле катались, ибо те и другие, и Крупп и Шнейдер-Крёзо, хотели производить больше пушек. Гамбургское пароходство с его громадными дивидендами конкурировало с Саутгемптонским, венгерские фермеры — с сербскими, одни концерны с другими, всех, по ту и по эту сторону, охватила золотая лихорадка, чудовищное «давай-давай».

Когда сегодня, размышляя спокойно, задаешься вопросом, отчего Европа в 1914 году низверглась в войну, то не находишь ни одной сколько-нибудь разумной причины, даже повода. Дело было отнюдь не в идеях и едва ли — в небольших приграничных территориях; я не могу найти другого объяснения, кроме этого переизбытка силы — трагического порождения внутреннего динамизма, накопленного за сорок мирных лет и искавшего разрядки в насилии.

Каждая страна вдруг пожелала стать могущественной, забывая, что другие хотят того же; каждому хотелось поживиться еще чем-нибудь за чужой счет. А хуже всего было то, что нас обманывало как раз милое нашим сердцам чувство — всеобщий оптимизм, ибо каждый верил, что в последнюю минуту противник все же струсит, и наши дипломаты наперебой начали блефовать. Раза четыре-пять — под Агадиром, в Балканской войне, в Албании — дело так и ограничилось игрой; но все теснее, все грознее спланивались большие коалиции. В Германии в мирное время был введен военный налог, во Франции увеличен срок воинской службы; в конце концов избыток силы должен был разрядиться, и погода на Балканах уже указывала, откуда надвигаются на Европу тучи.

Еще не было паники, но было постоянное и жгучее тайное беспокойство; всякий раз, когда на Балканах раздавались выстрелы, нами овладевало дурное предчувствие. Неужели и впрямь война угрожала разразиться над нами, без нашего ведома и спроса? Медленно — слишком медленно, слишком робко, как мы теперь знаем! — собирались противодействующие силы. Была социалистическая партия — миллионы людей по ту и по эту сторону границы, — программа которой отрицала войну; были влиятельные католические группировки во главе с папой и несколько концернов с разветвленными международными интересами; была горстка здравомыслящих политических деятелей, противившихся тайному подстрекательству. И мы, писатели, тоже стояли в ряду противников войны — правда, как и

всегда, каждый сам по себе, не было ни сплоченности, ни твердости. Интеллигенты в своем большинстве держались, к сожалению, с пассивным безразличием: ведь мы были оптимистами, и проблема войны со всеми ее моральными последствиями еще совсем не задевала нашего сознания — ни в одном из крупных произведений тогдашних кумиров не найти ни критического взгляда на вещи, ни горячего предостережения. Достаточно, казалось нам, и того, что мы мыслим по-европейски и общаемся, не признавая границ, что мы в нашей сфере, воздействующей — правда, лишь опосредованно — на современность, сознаем себя носителями мирного взаимопонимания и духовного братства поверх языковых и государственных барьеров. Новое поколение было сильнее всех предано этой европейской идее. В Париже я увидел, что вокруг моего друга Базальжетта сплотилась группа молодых людей, которые в отличие от старшего поколения осуждали любые проявления национальной ограниченности и агрессивного империализма.

Жюль Ромен, который написал впоследствии великие стихи о воюющей Европе, Жорж Дюамель, Шарль Вильдрак, Дюртен, Рене Аркос, Жан Ришар Блок, объединенные сперва в «Аббатство», а затем в «Свободное усилие» («Effort libre»), были страстными поборниками грядущего европейского сообщества; как показали огненные испытания войны, ничто не могло сломить их отвращения ко всяческому милитаризму — Франция редко являла миру более смелую, одаренную, доблестную молодежь.

В Германии таким был Верфель с его «Другом человечества», Рене Шикеле, сообщивший теме сплочения народов сильнейший лирический акцент; оказавшийся по воле судьбы (он был эльзасец) меж двух наций, Верфель страстно способствовал взаимопониманию; из Италии нас дружески приветствовал Борджезе, слова сочувствия шли из скандинавских и славянских стран.

«Приезжайте-ка к нам как-нибудь! — писал мне большой русский писатель. — Покажите панславистам, которые желают втянуть нас в войну, что вы в Австрии не хотите ее». Ах, мы все любили наше время, которое несло нас на своих крыльях, мы любили Европу!

Но эта простодушная вера в разум, в то, что он в последний час воспрепятуует безумию, — только она и была нашей виной. Конечно, мы недостаточно бдительно гляделись в огненные знаки на стене. Но разве не в том суть подлинной молодости, что она легковерна, а не подозрительна? Мы полагались на Жореса, на социалистический

интернационализм, мы верили, что железнодорожники скорее взорвут пути, чем позволят отправить на фронт как пушечное мясо своих товарищей; мы надеялись на женщин, которые не отдадут Молоху своих сыновей и мужей; мы были убеждены, что духовные, моральные силы Европы восторжествуют в самый последний момент. Наш общий идеализм, наш оптимизм, подогретый успехами прогресса, привели к тому, что мы проглядели общую опасность и пренебрегли ею. А кроме того, нам не хватало организатора, который объединил бы наличные силы вокруг общей цели. Среди нас был всего один прорицатель, один-единственный провидец; однако — что самое примечательное — он жил бок о бок с нами, а мы долгое время не знали о нем, об этом человеке, которому сама судьба указала быть нашим вождем.

Мне посчастливилось, что я, уже в последний час, открыл его для себя, а открыть его было трудно, ибо в Париже он жил в стороне от «foire sur la place»¹. Если кто-нибудь возьмется написать добросовестную историю французской литературы двадцатого века, то не сможет обойти молчанием тот поразительный факт, что парижские газеты, расточая похвалы всевозможным поэтам и знаменитостям, три самых главных имени оставили неизвестными или же упоминали вне связи с их настоящим делом.

С 1900 по 1914 год ни в «Фигаро», ни в «Матэн» я не прочитал ни строчки о Поле Валери как поэте; Марсель Пруст слыл светским щеголем, Ромен Роллан — сведущим музыковедом; каждому из них было чуть ли не под пятьдесят, когда первый робкий луч славы упал на их имена, а свой великий труд они вершили во тьме в самом любознательном, самом одухотворенном городе мира.

* * *

Я своевременно открыл для себя Ромена Роллана лишь благодаря случаю. Во Флоренции русская женщина-скульптор пригласила меня к чаю, чтобы показать мне свои работы и заодно использовать меня в качестве модели. Я явился ровно к четырем, забыв, что она русская, а стало быть, понятия не имеет о времени и пунктуальности. Старушка, которая, как я слышал, была кормилицей еще у ее матери, провела меня в мастерскую, где художественнее

¹ Житейской суеты (франц.).

всего был беспорядок, и попросила обождать. Вокруг стояли всего четыре скульптуры, я осмотрел их за две минуты. Чтобы не терять времени, я взял какую-то книгу, вернее, одну из валявшихся там брошюр в коричневых обложках. Название было «Двухнедельные тетради», и я вспомнил, что вроде бы слышал его в Париже. Но кто мог уследить за всеми этими журналичками, которые по всей стране возникали и снова исчезали, словно эфемерные цветы духа? Перелистав произведение Ромена Роллана, я начал читать со все возрастающим интересом и удивлением. Откуда этот француз так знал Германию? Вскоре я почувствовал благодарность к славной русской скульпторше за ее непунктуальность. Когда она наконец появилась, первый мой вопрос был: «Кто этот Ромен Роллан?» Она не могла дать точных сведений; и, только раздобыв другие части «Жан-Кристофа» (последние еще писались), я понял: вот наконец произведение, которое служит не одной, а всем европейским нациям, их сплочению; вот человек, поэт, который привел в действие все моральные силы: сознательную любовь и честное стремление к знанию, беспристрастность продуманных, отстоявшихся оценок и окрыляющую веру в связующую миссию искусства.

Пока мы разбрасывались на мелкие манифестации, он тихо и терпеливо погружился в труд, чтобы показать народы друг другу с таких сторон, где они — каждый по-своему — были особенно привлекательны; роман, законченный им, был первым сознательно общеевропейским романом, первым решительным призывом к единству, более действенным, чем гимн Верхарна, более проникновенным, чем все памфлеты и протесты, ибо он нашел доступ к широким массам; то самое, на что мы все неосознанно надеялись, чего страстно желали, было совершено в тишине.

В Париже я первым делом стал разузнавать о нем, памятуя слова Гёте: «Он сам учился, он может нас учить». Я спросил о нем друзей. Верхарн припомнил, что какая-то драма, как будто «Волки», шла в социалистическом «Народном театре». Базальжетт со своей стороны слышал, что Роллан — музыковед и написал книжечку о Бетховене; в каталоге национальной библиотеки я отыскал дюжину работ о старинной и современной музыке, семь или восемь драм, все они печатались в мелких издательствах или в «Двухнедельных тетрадях». Наконец, чтобы положить начало знакомству, я послал ему одну из моих книг. Вскоре пришло письмо с приглашением, и вот завязалась дружба,

которая, подобно дружбе с Фрейдом и Верхарном, стала самой плодотворной в моей жизни, а в иные часы даже путеводной.

* * *

Красные дни в календаре жизни светятся сильнее, чем обыкновенные. Вот и этот первый визит я еще помню с необычайной ясностью. Поднявшись на пятый этаж по узкой винтовой лестнице неприметного дома неподалеку от бульвара Монпарнас, я уже перед дверью услышал особенную тишину, шум бульвара едва ли не заглушался ветром, который разгуливал под окнами меж деревьев старого монастырского сада. Роллан отворил мне и провел в небольшую, до потолка уставленную книгами гостиную; впервые взглянул я в его незабываемые сияющие голубые глаза, самые ясные и самые добрые глаза, которые я когда-либо видел у человека, в эти глаза, меняющие в разговоре цвет и блеск под влиянием глубочайшего чувства, обведенные тенями в час печали, вдруг углубляющиеся при раздумье, искрящиеся в возбуждении, в эти зрачки между несколько усталыми, слегка покрасневшими от чтения и бессонницы краями век, в глаза, способные осветлить светом замечательного дружелюбия. Украдкой я разглядывал его. Очень высокий, хорошо сложенный, он при ходьбе слегка сутулился, будто бесчисленные часы, проведенные за письменным столом, согнули его спину; резкие черты лица и сильная бледность придавали ему болезненный вид. Говорил он очень тихим голосом, да и вообще берег себя сверх всякой меры: он почти не выходил на улицу, не пил и не курил, избегал всяческого физического усилия, но впоследствии мне довелось с восхищением открыть, какая необычайная выдержка таилась в этом аскетическом теле, какая работа духа скрывалась под этой кажущейся слабостью.

Он часами писал за маленьким, заваленным бумагами столом, читал часами в постели, никогда не позволяя своему утомленному телу расслабиться сном более чем на четыре-пять часов; мне не забыть, как чудесно играл он на рояле — ударяя по клавишам мягко, ласкающими движениями рук, точно не извлекал звуки, а выманивал их. Ни один виртуоз — а я слышал игру Макса Регера, Бузони, Бруно Вальтера в самом узком кругу — не давал мне пережить с такой силой чувство непосредственного общения с любимыми мастерами.

Многообразие его знаний приводило в смущение: весь обратившись в одно читающее око, он был как дома в литературе, философии, истории, в проблемах всех стран и времен. В музыке он знал каждый такт; самые незначительные произведения Галуппи, Телемана, а также музыкантов шестого и седьмого разряда были ему знакомы; при этом он принимал близко к сердцу любое событие современности.

В этой монашески скромной келье, как в камере-обскуре, отражался весь мир. Роллан был близок с великими людьми своего времени: ученик Ренана, он бывал у Вагнера, дружил с Жоресом; Толстой прислал ему знаменитое письмо, которое по достоинству может быть оценено как «человеческий документ».

Я почувствовал — а это чувство всегда делает меня счастливым — его человеческое, моральное превосходство, внутреннюю свободу, не ведающую тщеславия, свободу как естественное условие существования сильной души. С первого же взгляда я угадал в нем человека, который в решающий час станет совестью Европы.

Мы говорили о «Жан-Кристофе». Роллан объяснил мне, что ставил здесь перед собой тройную задачу: попытаться заплатить долг благодарности по отношению к музыке; выступить в защиту европейского единства и призвать народы опаматоваться. Теперь каждый из нас должен действовать — каждый на своем месте, в своей стране, на своем языке.

Пришло время удвоить и утроить бдительность. Силы, разжигающие ненависть, по своей низменной природе стремительнее и агрессивнее, чем миролюбивые; к тому же в отличие от нас они заинтересованы в войне материально, а это всегда делает человека неразборчивым в средствах. Безумие уже перешло к действиям, и борьба с ним даже важнее, чем наше искусство. «Оно может утешать нас, одинок, — говорил он мне, — но с действительностью оно ничего поделать не может».

* * *

Это было в 1913 году. И это был первый разговор, из которого я уяснил, что наш долг — не сидеть сложа руки перед угрозой войны в Европе; и в тот решающий момент ничто не давало Роллану такого огромного морального превосходства над всеми остальными, как то, что он заранее готовил себя к тяжким духовным испытаниям.

И мы в своем кругу что-то сделали, я многое перевел, чтобы показать, какие поэты у наших соседей, в 1912 году я сопровождал Верхарна в поэтическом турне по всей Германии, которое вылилось в знаменательную демонстрацию германо-французского сплочения: в Гамбурге Верхарн и Демель, величайший французский лирик и великий немецкий поэт, заключили друг друга в объятия на глазах у публики. Я заинтересовал Рейнхардта новой драмой Верхарна; никогда еще наше сотрудничество не было столь сердечным, интенсивным, живым, и порою, в минуты энтузиазма, мы тешили себя иллюзией, будто указали миру путь к истинному спасению. Но мир мало трогали подобные литературные манифестации, он шел своим собственным, неправым путем. Незримые миру столкновения порождали электрические заряды, то и дело с треском проскакивала искра — цабернский инцидент, албанский кризис, некстати взятое интервью, — всякий раз одна лишь искра, но каждая из них могла бы привести к взрыву накопившегося пороха. Особенно в Австрии ощущали мы, что находимся в центре беспокойной зоны. В 1910 году император Франц Иосиф отметил свое восьмидесятилетие. Дни этого старца, ставшего уже символом, были сочтены, и повсюду распространилась уверенность, что после его кончины процесс распада тысячелетней монархии станет неуправляемым. Внутри возрастали национальные трения, извне Италия, Сербия, Румыния и даже — в определенном смысле — Германия ждали возможности принять участие в разделе империи. Война на Балканах, где Крупп и Шнейдер-Крёзо испытывали боевые качества своих пушек на чужом «человеческом материале» (так впоследствии немцы и итальянцы опробовали свои самолеты в гражданской войне в Испании), все больше втягивала нас в водоворот. Люди то и дело вздрагивали, но тут же снова вздыхали с облегчением: «На этот раз обошлось. И надо надеяться, что навсегда».

* * *

Опыт подсказывает, что реконструировать факты той или иной эпохи в тысячу раз легче, чем ее духовную атмосферу. Она проявляется не во внешних событиях, а скорее в мелких, частных эпизодах, подобных тому, который мне хотелось бы здесь привести.

Честно говоря, в то время я не думал о войне. Но было два случая, когда она привиделась мне — как бы сном наяву,

и я пробуждался в холодном поту, с замирающим сердцем. В первый раз это было связано с «делом Редля».

С полковником Редлем, героем одной из запутаннейших шпионских драм, лично у меня было только шапочное знакомство. Он жил через квартал от меня. Однажды в кафе мой друг, прокурор Т., представил меня почтенному, располагающей наружности господину, курившему сигару, и с тех пор мы при встрече раскланивались друг с другом. Но лишь впоследствии мне открылось, что вся наша жизнь окутана тайной и как мало мы знаем о людях, живущих бок о бок с нами. Этот полковник, выглядевший заурядным, добросовестным австрийским служакой, был доверенным лицом наследника престола; ему было поручено ответственнейшее дело: руководить армейской секретной службой и бороться с военной разведкой противника.

И вот стало известно, что в 1912 году, во время балканского военного кризиса, когда Россия и Австрия готовились к войне друг с другом, важнейший секретный документ австрийской армии — «Стратегический план» — был продан в Россию; в случае войны это могло привести к беспрецедентной катастрофе, поскольку русские заранее узнали каждый возможный шаг, всю тактику наступления австрийской армии. В связи с этим предательством паника в кругах, близких к генеральному штабу, поднялась страшная; полковнику Редлю в качестве главного специалиста надлежало разоблачить предателя, а ведь искать его следовало только в самом узком кругу высших офицеров. Министерство внутренних дел со своей стороны, не слишком полагаясь на расторопность военных властей, явило типичный пример сугубо ведомственной междоусобицы: не уведомив генеральный штаб о своем намерении повести самостоятельное расследование, оно, помимо всего прочего, дало полиции указание, невзирая на тайну переписки, вскрывать все письма из-за границы, адресованные до востребования.

И вот однажды в некое почтовое отделение поступило письмо с русской пограничной станции Подволочная, адресованное до востребования на девиз «Бал-маскарад»; когда его вскрыли, то не обнаружили ни листочка почтовой бумаги, зато в конверте было не то шесть, не то восемь новеньких австрийских банкнот достоинством в тысячу крон каждая. Об этой подозрительной находке тотчас известили полицейское управление, и там распорядились посадить к окошку почты детектива, чтобы сразу же арестовать того, кто потребует это подозрительное письмо.

В какой-то момент трагедия стала оборачиваться вен-

ским водевилем. Перед обеденным перерывом явился некий господин и потребовал письмо под девизом «Бал-маскарад». Почтовый чиновник немедленно подал детективу тайный знак. Но детектив как раз в это время отправился пропустить утреннюю рюмочку, а когда он возвратился, удалось лишь установить, что незнакомец взял фиакр и уехал в неизвестном направлении.

Однако вскоре начался второй акт венской комедии. В то время кучер фиакра, этого фешенебельного, элегантного пароконного экипажа, почитал себя слишком важной персоной, чтобы собственноручно мыть свою карету. Для этого на каждой стоянке имелся так называемый «мойщик», в обязанности которого входило задавать корм лошадям и мыть экипаж. Так вот, этот мойщик, к счастью, запомнил номер фиакра, который только что отъехал; через пятнадцать минут все полицейские участки были подняты по тревоге, и кучера нашли. Он описал внешность господина, который вышел у того самого кафе «Кайзерхоф», где я встречал обычно полковника Редля; кроме того, благодаря счастливой случайности в карете нашли перочинный ножик, с помощью которого незнакомец вскрыл конверт. Детективы тотчас помчались в «Кайзерхоф». Тем временем господин, о котором они спрашивали, снова исчез. Но официанты в один голос заявили, что этот господин не кто иной, как полковник Редль, и он только что уехал к себе в гостиницу Кломзера. Детектив остолбенел. Тайна была разгадана. Полковник Редль, главный руководитель австрийской военной разведки, в то же время был платным агентом русского генерального штаба. Он выдавал не только тайны и стратегические планы; сразу стало ясно, почему за последний год были один за другим арестованы и осуждены все разведчики, засланные им в Россию.

Начались бешеные телефонные звонки, пока не удалось связаться с начальником австрийского генерального штаба Конрадом фон Гетцендорфом. Очевидец этой сцены рассказывал мне, что тот после первых же слов побелел как полотно. Телефонные переговоры — теперь уже с Хофбургом — продолжались, шли бесконечные совещания. Что предпринять? Полиция со своей стороны заранее позаботилась о том, чтобы полковник Редль не ускользнул. Когда он снова вознамерился выйти из гостиницы Кломзера и заговорил было с портье, сыщик, незаметно подойдя к нему, показал перочинный ножик и вежливо спросил: «Не забыл ли господин полковник этот ножик в фиакре?» В эту секунду Редль понял, что он погиб. Куда бы он ни направлялся, он

повсюду встречал хорошо знакомые лица следовавших за ним агентов тайной полиции, а когда он возвратился в гостиницу, то в его комнату вошли двое офицеров и положили перед ним револьвер. Ибо тем временем в Хофбурге было решено покончить без шума с этим делом, столь позорным для австрийской армии.

Оба офицера дежурили у дверей комнаты Редля в гостинице Кломзера до двух часов ночи. И лишь тогда изнутри послышался выстрел.

На следующий день в вечерних газетах появился скупой некролог в связи со скоропостижной кончиной заслуженного офицера полковника Редля. Но слишком много лиц было вовлечено в расследование, чтобы тайну удалось сохранить. Открывались все новые и новые подробности, во многом разъяснявшие подоплеку дела. Полковник Редль, о чем не знал никто из его начальников и друзей, был склонен к гомосексуализму и много лет находился во власти шантажистов, которые в конце концов вынудили его совершить этот отчаянный шаг. Трепет ужаса прошел по армии. Все понимали, что случись война — и один этот человек обошелся бы в сотни тысяч жизней, а страна по его милости оказалась бы на краю гибели; только тогда мы в Австрии осознали, что мировая война еще в прошлом году дышала нам в затылок.

* * *

Впервые тогда у меня сжало горло от ужаса. На следующий день я случайно встретил Берту фон Зутнер, великодушную и великодушную современную Кассандру. Аристократка из самых родовитых, она еще в ранней юности видела в окрестностях своего фамильного замка в Богемии ужасы войны 1866 года.

Всю свою жизнь она посвятила одному: предотвратить новую войну, вообще покончить с войной. Она написала роман «Долой оружие!», имевший огромный успех, организовывала бесчисленные встречи пацифистов, но главная ее победа была одержана над Альфредом Нобелем, изобретателем динамита; она пробудила в нем раскаяние, и, чтобы искупить зло, причиненное его открытием, он учредил Нобелевскую премию за мир и международное взаимопонимание.

Она подошла ко мне в сильном волнении.

— Люди не понимают, что происходит, — на всю улицу

кричала она, хотя обычно разговаривала тихо, благожелательно и ровно. — Это ведь была война, а они опять, в который уже раз, все от нас скрыли и держали под спудом. Почему вы, молодые люди, ничего не делаете? Вас это касается в первую очередь! Так защищайтесь, объединяйтесь! Не сваливайте все на нас, на двух-трех старух, которых никто и слушать не хочет.

Я рассказал ей, что собираюсь в Париж, может быть, там действительно удастся организовать массовое выступление. «Почему только «может быть»? — возмутилась она. — Положение сейчас хуже, чем когда-либо, ведь машина уже пущена в ход». Сам встревоженный, я с трудом сумел ее успокоить.

Но именно во Франции мне пришлось, в связи с другим, личным, обстоятельством, припомнить, как далеко заглядывала в будущее старая женщина, которую в Вене не воспринимали всерьез. Это был совсем незначительный эпизод, но на меня он произвел особое впечатление. Весной 1914 года я на несколько дней отправился с одной парижской приятельницей в Турень, чтобы посмотреть на могилу Леонардо да Винчи. Мы погуляли вдоль пологих и солнечных берегов Луары и к вечеру порядком устали. Поэтому в немного сонном городе Туре, в том самом, где я еще раньше поклонился дому, в котором родился Балзак, мы решили отправиться в кинематограф.

Это был маленький пригородный кинематограф, ничуть не походивший на современные дворцы из стали и сверкающего стекла. Один-единственный, наспех оборудованный зал, заполненный простым людом: рабочими, солдатами, торговками — настоящим простонародьем, — которые преспокойно переговаривались и, несмотря на запрет, наполняли затхлый воздух голубыми клубами «Скаферлати» и «Капоралья». На экране показали сперва «Новости со всего света». Гонки на шлюпках в Англии; люди переговаривались и смеялись. Последовал французский военный парад; зрители и тут не очень воодушевились. Но вот третий сюжет: «Визит императора Вильгельма в Вену к императору Францу Иосифу». Вдруг я увидел на экране хорошо знакомый перрон безобразного венского Западного вокзала и нескольких полицейских, ожидающих прибытия поезда. Колокол — и вот старый император Франц Иосиф, шагающий перед строем почетного караула навстречу своему гостю. Едва император — дряхлый господин с седыми бакенбардами — появился на экране и, согбенный, чуть прихрамывая, прошел перед строем, как люди из Тура без-

злобно засмеялись. Затем — прибытие поезда, первый вагон, второй, третий... Открылась дверь салон-вагона, и вышел, выставив, как пики, усы, Вильгельм II в мундире австрийского генерала.

Стоило кайзеру Вильгельму появиться в кадре — и сразу в темноте начались дикий свист и топот. Все вокруг галдело и свистело, женщины, мужчины, дети неистовствовали, выкрикивали оскорбления, как будто им нанесли личную обиду. Добродушных обывателей Тура, ничего не знавших ни о мире, ни о политике, кроме того, о чем писали газеты, в одну секунду охватило безумие.

Я испугался. Испугался до смерти. Ибо я понял, как глубоко проник яд многолетней пропаганды ненависти, если даже здесь, в маленьком провинциальном городке, мирные обыватели и солдаты были до такой степени настроены против кайзера, против Германии, что мимолетный кадр на экране мог так разъярить их.

Это продолжалось всего несколько секунд. Затем кадры сменились, и, кажется, все было забыто. Люди смеялись до колик — крутили комическую ленту — и в восторге хлопали себя по коленкам, так что трещали стулья. Это были всего лишь считанные секунды, но они показали мне, как легко было бы в момент настоящего кризиса натравить народы друг на друга вопреки всем попыткам пробудить взаимопонимание, невзирая на все наши усилия.

Вечер для меня был испорчен. Я не мог заснуть. Случись такое в Париже — это меня тоже встревожило бы, но не потрясло бы так. То, что ненависть столь глубоко, до самой провинции, укоренилась в добродушном, наивном народе, заставило меня содрогнуться от ужаса.

Я рассказал об этом инциденте друзьям; мало кто отнесся к нему серьезно. «Уж как только мы, французы, не потешались над толстой королевой Викторией, а через два года заключили с Англией союз. Ты не знаешь французов — политику они не принимают близко к сердцу».

Один Роллан взглянул на дело иначе. «Чем наивнее народ, тем легче его обмануть. С тех пор как избран Пуанкаре, дела стали плохи. В Петербург он поедет не для увеселительной прогулки».

Мы еще долго говорили о Международном социалистическом конгрессе, который планировалось провести летом в Вене, но Роллан и тут был настроен более скептически, чем остальные. «Кто знает, многие ли выдержат, когда в один прекрасный день будут расклеены приказы о мобилизации? Нам выпало жить в эпоху массовых чувств, массовой

истерии, силу которых на случай войны нельзя предугадать».

Но, как я уже говорил, моменты такой озабоченности улетали, точно паутина на ветру. Правда, мы время от времени думали о войне, но это было похоже на то, как порой вспоминаешь о смерти — вроде бы и возможной, но, скорее всего, далекой. А Париж в те дни был невероятно прекрасен, и мы сами — слишком молоды и слишком счастливы. Я еще припоминаю прелестный фарс, придуманный Жюлем Роменом, чтобы для осмеяния «принца поэтов» короновать «принца мыслителей» — славного, несколько простоватого мужчину, которого студенты подвели к роденовской статуе перед Пантеоном. А вечером мы, как школяры, буйствовали на шутовском банкете. Деревья стояли в цвету, источая нежный, сладостный аромат; кому хотелось размышлять о невероятном, глядя на такую красоту? Друзья были ближе, чем когда-либо, и число их во «вражеской» стране все росло, город жил так безмятежно, как никогда раньше, и каждый любил его в меру собственной беззаботности.

В эти дни я бродил с Верхарном по Руану — он должен был прочесть там лекцию. Ночью мы стояли у собора, башни которого волшебным сияли в лунном свете, — неужто эти хрупкие чудеса все еще принадлежат одной «отчизне», а не всем нам? На вокзале в самом Руане, на том месте, где ему суждено было спустя два года погибнуть под одной из воспетых им машин, мы простились. Он обнял меня. «Первого августа!..» Я обещал — ведь что ни год я приезжал к нему в загородный домик, чтобы в непосредственной близости от него переводить его новые стихи. Почему бы и в этом году не приехать? И с остальными друзьями я простился тоже безмятежно, наспех, без сантиментов — так прощаются, покидая родной дом на пару недель. У меня были четкие планы на ближайшие месяцы. Сперва уединиться где-нибудь в Австрии, в сельской местности, чтобы продолжить работу, посвященную Достоевскому, опубликованную лишь через пять лет, и завершить ею книгу «Три мастера», в которой три великих народа должны были раскрыться через своих величайших романистов. Затем — к Верхарну, ну а зимой, возможно, состоится давно задуманная поездка в Россию — там надо организовать группу содействия духовному взаимопониманию.

В том году, когда мне пошел тридцать второй, моему взору будущее рисовалось безмятежным и светлым; прекрасным, как восхитительный плод, исполненным смысла представлялся мне в это лучезарное лето мир. И я любил

его за его настоящее и еще более — за его величественное будущее.

Но тут 28 июня 1914 года в Сараеве раздался выстрел, который за одну-единственную секунду разбил на тысячу кусков, как пустой глиняный горшок, тот, казалось, надежный мир творческого разума, где мы воспитывались и выросли, — мир, давший нам приют.

ПЕРВЫЕ ЧАСЫ ВОЙНЫ 1914 ГОДА

Лето 1914 года осталось бы в нашей памяти и без того бедствия, которое оно обрушило на Европу. Ибо редко доводилось мне изведать лето более неистовое, более ослепительное и, так и просится сказать, более летнее. Что ни день — голубое шелковое небо, мягкий, но не душный воздух, аромат и тепло трав, дремучие изобильные леса с их зеленоющей порослью; еще и поныне, произнося слово «лето», я невольно обращаюсь к тем июльским дням, которые провел тогда в Бадене под Веной. Я перебрался сюда, чтобы в этом маленьком романтичном городке, где предпочитал отдыхать летом Бетховен, целиком и полностью погрузиться на этот месяц в работу, а затем провести остаток лета у моего друга Верхарна в Бельгии, в его небольшом загородном доме. В Бадене, чтобы насладиться природой, совсем не нужно было покидать этот маленький городок. Великолепный лес на холмах незаметно подступал вплотную к невысоким домам в стиле бидермейер, хранившим простоту и прелесть бетховенского времени. Повсюду здесь в кафе и ресторанах люди сидели на открытом воздухе, а при желании можно было смешаться с пестрой толпой отдыхающих, которые совершали свой моцион в курортном парке или скрывались от нескромных взоров на уединенных тропинках.

Уже накануне перед 29 июня, торжественно отмечаемым католической Австрией как день Петра и Павла, сюда понаехало много гостей из Вены. В светлых летних платьях, радостно и беззаботно, в курортном парке перекатывалась волна отдыхающих. День был ласковым; безоблачное небо над раскидистыми каштанами — подходящий денек, чтобы почувствовать себя счастливыми. Для взрослых и детей наступала пора вакаций, и этот первый летний праздник словно предварял все лето с его дурманящим воздухом, пышной зеленью и забвением всех повседневных хлопот. Я сидел тогда в стороне от толчеи курортного парка и читал.

Но в то же время воспринимал и шелест листвы, и щебетанье птиц, и долетающую из глубины парка музыку. Я отчетливо различал мелодии, и это мне не мешало, ибо наш слух способен настолько приспособливаться, что продолжительный шум или гул — суэта улицы, журчанье ручья — через несколько минут перестают отвлекать наше внимание и, наоборот, лишь неожиданное нарушение ритма заставляет нас настроиться.

Так и я непроизвольно прервал чтение, когда музыка вдруг прекратилась прямо в середине такта. Я не знал, что это за вещь, которую играл курортный оркестр. Просто почувствовал, что музыки внезапно не стало. Невольно я поднял глаза от книги. Толпа, медленно текшая единой светлой массой между деревьями, казалось, преобразилась; движение ее туда и обратно застыло. Очевидно, что-то произошло. Я встал и увидел, что оркестранты покидают музыкальный павильон. И это было странным, поскольку обычно концерт продолжался час и более. Должна была быть какая-то причина такого внезапного окончания концерта; подойдя ближе, я заметил, что взволнованные группы людей толпятся у музыкального павильона перед, очевидно, только что вывешенным сообщением. Как я незамедлительно выяснил, это было сообщение о том, что его королевское высочество, наследник престола Фердинанд и его супруга, отправившиеся на маневры в Боснию, пали там жертвой злодейского политического убийства.

Все больше людей скапливалось вокруг этого извещения. Неожиданное известие передавалось от одного к другому. Но, по правде сказать, на лицах не заметно было особого потрясения или огорчения, ибо наследник трона отнюдь не был популярен. Еще с раннего детства я помню о том другом дне, когда кронпринца Рудольфа, единственного сына императора, нашли застрелившимся в Майерлинг. Тогда весь город был в крайнем волнении: чтобы взглянуть на гроб, установленный для торжественного прощания, столпилось невероятно много людей, искренне сочувствуя императору и испытывая потрясение оттого, что его единственный сын и наследник, на которого — прогрессивного и по-человечески исключительно приятного среди Габсбургов — возлагались самые большие надежды, почил в самом расцвете лет. Францу Фердинанду, напротив, недо ставало именно того, без чего в Австрии невозможно подлинная популярность: личного обаяния, человеческой привлекательности и внешней обходительности. Я часто наблюдал за ним в театре. Он сидел в своей ложе, могучий

и широкий, не бросив ни одного дружелюбного взгляда в публику, ни разу не поддержав артистов искренними аплодисментами. Его никогда не видели улыбающимся, ни на одной фотографии не выглядел он естественным. У него не было никакого чувства музыки или чувства юмора, и так же неприветливо выглядела его жена. Атмосфера вокруг этой пары была ледяная; знали, что у них не было друзей, знали, что старый император всей душой ненавидел Фердинанда, потому что тот не умел тактично скрывать свое нетерпение занять трон. Мое почти мистическое предчувствие, что от этого человека с затылком бульдога и неподвижными, холодными глазами следует ожидать какого-то несчастья, разделяли многие, и в народе сообщение о его убийстве поэтому не вызвало сколько-нибудь глубокого участия. Уже через два часа нельзя было обнаружить ни единого признака истинной скорби. Люди шутили и смеялись, в ресторанах снова допоздна играла музыка. Немало было в Австрии и таких, кто про себя с облегчением подумал, что смерть этого наследника старого императора открывает путь к престолу несравненно более популярному молодому эрцгерцогу Карлу.

На следующее утро газеты, разумеется, напечатали обширные некрологи и дали достойное выражение негодованию по поводу преступления. Но ничто не намекало на то, что это событие будет использовано для политической акции против Сербии.

Для правящего дома эта смерть поначалу обернулась совсем иной заботой — заботой о церемониале погребения. Местом захоронения Франца Фердинанда, как наследника трона и к тому же погибшего при исполнении служебных обязанностей, естественно, должен был стать склеп капучинов — историческое место захоронения Габсбургов. Однако Франц Фердинанд после долгих, жестоких схваток с императорской семьей женился на графине Котек, хотя и знатной аристократке, но по многовековому негласному закону Габсбургов все же ему не равне, и эрцгерцогини на больших церемониях настойчиво утверждали свое первенство перед супругой наследника трона, дети которой не имели права на наследство.

Придворное высокомерие распространилось и на покойницу. Как — в габсбургском императорском склепе погребать какую-то графиню Котек? Нет, этому не бывать! Началась чудовищная интрига, эрцгерцогини осаждали старого императора. В то время как двор официально требовал от народа глубокого траура, в Хофбурге отчаянно строили

козни, и, как это водится, неправым оказался мертвый. Церемониймейстеры нашли выход, утверждая, что усопшая сама высказывала желание быть погребенной в Артштеттене, маленьком австрийском провинциальном местечке, и этой внешне уважительной уловки оказалось вполне достаточно, чтобы избежать публичного прощания с гробом покойной, траурного шествия и всех связанных с этим споров о первенстве. Гробы обоих убитых без лишнего шума были доставлены в Артштеттен и там захоронены. Вена, чью вечную страсть к зрелищам лишили тем самым очередного повода, начала уже забывать трагическое происшествие. В конце концов в Австрии из-за насильственной смерти королевы Елизаветы, кронпринца и скандального бегства то одного, то другого члена императорского семейства давно уже привыкли к той мысли, что старый император одиноко и стойко переживает свои танталовы муки. Еще несколько недель, и имя и образ Франца Фердинанда навсегда бы исчезли из истории.

Но тут, примерно через неделю, в газетах началась словесная перепалка; крещендо звучало слишком синхронно, чтобы быть случайным. Сербское правительство обвинялось в попустительстве, и весьма прозрачно намекалось, что Австрия не должна оставлять без возмездия смерть своего — якобы столь любимого — наследника трона. Нельзя было отделаться от впечатления, что открыто готовится какая-то акция, но никто не помышлял о войне. Ни банки, ни предприятия, ни отдельные люди не изменили свои планы. Что нам до этих вечных распрей с Сербией, которые, как мы знали, в принципе возникли из-за нескольких торговых договоров, связанных с экспортом сербской свинины? Чемоданы были сложены для поездки к Верхарну в Бельгию, работа моя далеко продвинулась; что общего может иметь мертвый эрцгерцог в своем саркофаге с моей жизнью? Лето было прекрасное и обещало стать еще прекраснее; мы все беспечно смотрели в будущее. Помню, как накануне отъезда я шел в Бадене с одним приятелем через виноградники и старый виноградарь сказал нам: «Такого лета, как это, давно уже мы не видели. Если оно простоит таким же, вино мы получим как никогда. Это лето люди запомнят надолго!»

Но он не знал, старый человек в своей голубой куртке винодела, какое страшное предсказание заключали его слова.

И в Ле-Коке, маленьком приморском курорте близ Остенде, где я хотел провести две недели, прежде чем, как и ежегодно, погостить в маленьком загородном доме Верхарна, царила та же беззаботность. Отпускники лежали на берегу под цветными тентами или купались, дети запускали воздушных змеев. Молодежь танцевала перед кафетериями на набережной. Здесь мирно собирались представители самых разных наций, особенно часто звучала немецкая речь, ибо из года в год соседняя страна на Рейне охотнее всего посылала своих курортников на бельгийское побережье. Единственное беспокойство доставляли разносчики газет — мальчишки, которые, желая поскорее их распродать, громко выкрикивали угрожающие заголовки парижских выпусков: «L'Autriche provoque la Russie», «L'Allemagne prépare la mobilisation»¹. Было видно, как омрачались лица людей, когда они покупали газеты, но омрачались лишь на несколько минут. В конце концов, эти дипломатические конфликты были известны всем не первый год, но каждый раз в последний момент, прежде чем дело доходило до развязки, они счастливо улаживались. Так отчего же и на этот раз должно произойти иначе? Полчаса спустя эти люди уже снова, фыркая от удовольствия, плескались в воде, взмывали воздушные змеи, парили чайки, и солнце улыбалось светло и тепло над мирной страной.

Но скверные известия нагромождались и становились все более угрожающими. Сначала австрийский ультиматум Сербии, уклончивый ответ на него, обмен телеграммами между монархами, и наконец почти нескрываемые мобилизации. Мне было больше не усидеть в этом крохотном отдаленном местечке. По небольшой электрифицированной дороге я каждый день приезжал в Остенде, чтобы быть поближе к новостям; а они становились все более дурными. Еще купались люди, еще были полны гостиницы, по набережной еще толпами прогуливались смеющиеся, болтающие курортники. Между тем сюда вторглось уже нечто новое. На побережье вдруг появились бельгийские солдаты (где их обычно никогда не было); пулеметы — забавная особенность бельгийской армии — на маленьких тележках везли собаки.

Я сидел в кафе с несколькими бельгийскими друзьями,

¹ «Австрия провоцирует Россию», «Германия готовится к мобилизации» (франц.).

молодым художником и поэтом Кроммелинком. Послеобеденное время мы провели у Джеймса Энсора, крупнейшего современного художника Бельгии, весьма странного отшельника, гораздо больше гордившегося маленькими, плохими полками и вальсами, которые он сочинял для военных оркестров, чем своими фантастическими, написанными мерцающими красками полотнами. Картины свои он показывал нам довольно неохотно, ибо, как это ни смешно, его угнетала мысль, что кому-то захочется купить одну из них. А он мечтал, как потом рассказывали, смеясь, мне друзья, продать их подороже, но в то же время и сохранить все у себя, ибо к своим картинам был привязан ничуть не меньше, чем к деньгам. Каждый раз, продав какую-нибудь из них, он несколько дней пребывал в полном отчаянии. Станными своими причудами этот гениальный Гарпагон развеселил нас; и когда мимо снова потянулось такое вот войско с пулеметами, запряженными собаками, один из нас встал и погладил собаку, ужасно прогневив сопровождавшего офицера, который испугался, что, лаская военный объект, можно нанести урон престижу всей армии.

«К чему весь этот дурацкий маскарад?» — проворчал кто-то из друзей. Но другой взволнованно возразил: «Надо же принимать соответствующие меры на случай нападения немцев». «Исключено! — сказал я с искренней убежденностью, ибо в то старое время еще верили в святость договоров. — Если чему и суждено случиться и немцы и французы уничтожат друг друга до последнего человека, то вы, бельгийцы, все равно выйдете из воды сухими!» Но наш пессимист не унимался. Это необходимо, твердил он, раз в Бельгии принимают подобные меры. Уже несколько лет ходили слухи о каком-то тайном плане германского генерального штаба в случае войны вторгнуться во Францию через Бельгию, несмотря на все подписанные договоры. Но я тоже не сдавался. Мне казалось совершенно абсурдным, что в то время, как тысячи и десятки тысяч немцев беспечно и радостно наслаждаются гостеприимством этой маленькой нейтральной страны, на границе может стоять готовая к нападению армия. «Чепуха! — сказал я. — Вы можете повесить меня на этом фонаре, если немцы войдут в Бельгию!» Я и поныне должен благодарить моих друзей, что они не приняли мое пари.

А затем наступили последние, самые критические дни июля: каждый час — новое противоречивое известие, телеграммы кайзера Вильгельма царю, телеграммы царя кайзеру Вильгельму, объявление Австрией войны Сербии,

убийство Жореса. Чувствовалось, что дело серьезно. Разом по побережью задул холодный ветер страха и подмел его начисто. Люди тысячами покидали гостиницы, беря штурмом поезда, даже неисправимые оптимисты начали срочно складывать чемоданы. И я тоже, едва услышав о том, что Австрия объявила войну Сербии, запасся билетом — и ввремя, ибо тот остендский экспресс стал последним поездом, ушедшим из Бельгии в Германию. Мы стояли в проходах, взволнованные и полные нетерпения, все говорили наперебой. Никто не в состоянии был спокойно сидеть или читать, на каждой станции устремлялись наружу, чтобы скорее узнать новости, в глубине души надеясь, что чья-то решительная рука еще сможет сдержать освободившийся от пут рок. Все еще не верили в войну, а еще менее — во вторжение в Бельгию, не могли в это поверить, потому что не хотели верить в подобное безумство. Поезд медленно подходил к границе, мы миновали Вервир, бельгийскую пограничную станцию. Немецкие проводники поднялись в вагоны, через десять минут мы должны были быть на немецкой земле.

Но на полпути к Гербесталю, первой немецкой станции, поезд вдруг остановился в открытом поле. Мы столпились в проходах у окон. Что случилось? И тут я в темноте увидел, как один за другим идут встречные товарные поезда, открытые платформы, на которых под брезентом угадывались грозные силуэты пушек. У меня остановилось сердце. Это, должно быть, передовой отряд германской армии. Но, возможно, успокаивал я себя, это всего лишь мера предосторожности, только угроза мобилизацией, а не сама мобилизация. Чем больше опасность, тем безграничнее и надежда. Наконец дали сигнал «путь свободен», поезд пошел дальше и прибыл на станцию Гербесталь. Одним прыжком я соскочил с подножки, чтобы скорее раздобыть газету и что-нибудь выяснить. Но вокзал был занят военными. Когда я попытался войти в зал ожидания, то дорогу перед закрытой дверью мне преградил служащий, седобородый и строгий: вход в вокзальное помещение воспрещен. Но за тщательно занавешенными стеклянными дверями я уже слышал тихое дребезжание и позвякивание сабель, глухой стук прикладов. Сомнений не было: невероятное уже шло полным ходом — германское вторжение в Бельгию вопреки всем международным договорам. Содрогаясь, я поднялся в вагон, чтобы ехать дальше, в Австрию. Теперь уже было бесспорно: да, я ехал навстречу войне.

Утром в Австрии! На каждой станции расклеены объявления, возвещавшие о всеобщей мобилизации. Поезда заполнялись призывниками, развевались знамена, гремела музыка, вся Вена была словно в угаре. Первый испуг от войны, которой никто не хотел — ни народ, ни правительства, — той войны, которая у дипломатов, ею игравших и блефовавших, против их собственной воли выскользнула из неловких рук, перешел в неожиданный энтузиазм. На улицах возникали шествия, повсюду вдруг поплыли знамена, ленты, музыка, ликуя, маршировали новобранцы, и лица их сияли, потому что восторженно приветствовали именно их, самых обыкновенных людей, которых обычно никто не замечает и не славит.

Правды ради надо признать, что в этом первом движении масс было нечто величественное, нечто захватывающее и даже соблазнительное, чему лишь с трудом можно было не поддаться. И несмотря на всю ненависть и отвращение к войне, мне не хотелось бы, чтобы из моей памяти ушли воспоминания об этих днях. Как никогда, тысячи и сотни тысяч людей чувствовали то, что им надлежало бы чувствовать скорее в мирное время: что они составляют единое целое. Город в два миллиона, страна в почти пятьдесят миллионов считали в этот час, что переживают исторический момент, неповторимое мгновение и что каждый призван ввергнуть свое крохотное «я» в эту воспламененную массу, чтобы очиститься от всякого себялюбия. Все различия сословий, языков, классов, религий были затоплены в это одно мгновение выплеснувшимся чувством братства. Незнакомые заговаривали друг с другом на улице, люди, годами избегавшие друг друга, пожимали руки, повсюду были оживленные лица. Каждый в отдельности переживал возвеличивание собственного «я», он уже больше не был изолированным человеком, как раньше, он был растворен в массе, он был народ, и его личность — личность, которую обычно не замечали, — обрела значимость. Мелкий почтовый служащий, который в иное время с утра до вечера сортировал письма, сортировал непрерывно с понедельника до субботы, писарь или сапожник вдруг получили романтическую возможность: каждый мог стать героем; всякого, кто носил форму, остающиеся в тылу уже заранее величали именно этим романтическим словом, а женщины превозносили их по-своему, признавали ту неведомую силу, которая подняла их над обыденностью; даже скорбящие

матери, испытывающие страх женщины стыдились обнаружить свои более чем естественные чувства. Но, может быть, в этом дурмане проявлялась еще более глубокая, более таинственная сила. Так мощно, так внезапно обрушилась волна прибой на человечество, что она, выплеснувшись на берег, повлекла за собой и темные, подспудные, первобытные стремления и инстинкты человека — то, что Фрейд, глядя в суть вещей, называл «отвращением к культуре», стремлением вырваться однажды из буржуазного мира законов и параграфов и дать выход древним инстинктам крови. Возможно, и эти темные силы способствовали тому дикому упоению, в котором было смешано все: самоотверженность и опьянение, авантюризм и чистая доверчивость, древняя магия знамен и патриотических речей, — тому зловещему, едва ли передаваемому словами упоению миллионов, которое в какое-то мгновение дало яростный и чуть ли не главный толчок к величайшему преступлению нашего времени.

Нынешнее поколение, ставшее свидетелем начала только второй мировой войны, возможно, спрашивает себя: почему мы не переживали подобное? Почему в 1939 году массы больше не всколыхнулись в таком же воодушевлении, как в 1914-м? Почему они просто подчинились приказу — беспрекословно, молчаливо и обреченно? Разве здесь было не то же самое, разве речь не шла о вещах даже более важных, более святых, более высоких в этой современной нам войне, которая стала войной идей, а не просто войной за границы и колонии?

Ответ прост: потому что наш мир 1939 года уже не имел былой, по-детски наивной легковёрности, как тот — 1914 года. Тогда народ еще слепо доверял своим авторитетам; никто в Австрии не отважился бы подумать, что повсюду почитаемый отец страны император Франц Иосиф на двадцать четвертом году своего правления мог призвать свой народ без крайней на то необходимости, потребовать кровавых жертв, если бы империи не угрожали злые, коварные, преступные враги. Немцы в свою очередь прочитали телеграммы их кайзера к царю, в которых он ратовал за мир; благоговейное почитание «старших» начальников, министров, дипломатов, их пронизательности и честности было еще в крови маленького человека. Если уж дело дошло до войны, то это могло случиться лишь против воли их государственных деятелей: они не виноваты ни в чем, никто во всей стране не несет ни малейшей вины. Следовательно, преступники, поджигатели войны должны были быть по ту

сторону, в другой стране: мы вынуждены защищаться от подлого и коварного врага, который без всякой причины «напал» на мирную Австрию и Германию. В 1939 году, напротив, эта почти религиозная вера в честность или по меньшей мере в особые достоинства собственного правительства исчезла во всей Европе. Дипломатию презирали с той поры, когда с горечью убедились, что в Версале она не использовала возможность достижения длительного мира; народы слишком хорошо помнили, как бессовестно их обманули обещаниями разоружения и устранения тайной дипломатии. В принципе в 1939 году ни одному государственному деятелю не было доверия и никто легкомысленно не вверял им свою судьбу. Самый последний французский мусорщик издевался над Даладье, в Англии со времен Мюнхена — «peace for our time!»¹ — исчезло всякое доверие к идеям Чемберлена о мире, в Италии, в Германии массы со страхом смотрели на Муссолини и Гитлера: куда он нас снова погонит? Ведь отсидеться было невозможно: речь шла об отечестве — и солдаты брали винтовку, а женщины расставались со своими детьми, но теперь уже без былой непреклонной веры, что жертва необходима. Повиновались, но не ликовали. Шли на фронт, но больше не мечтали стать героями; уже и народы, и отдельные люди осознавали, что они всего лишь жертвы либо самой заурядной политической глупости, либо непостижимой и злой силы рока.

И потом, что знали в 1914 году о войне после почти полувекового мира широкие массы? Они ее не видели, они навряд ли когда-нибудь думали о ней. Она была легендой, и именно отдаленность сделала ее героической и романтической. Люди все еще представляли себе ее по школьным хрестоматиям и картинам в галереях: стремительные атаки кавалеристов в красочных мундирах; если уж смерть, то от пули прямо в сердце, вся военная кампания — сплошной победный марш. «На Рождество мы будем дома», — со смехом кричали в августе 1914 года своим матерям новобранцы. Кто в деревне и городе помнил еще о «настоящей» войне? В лучшем случае несколько стариков, которые в 1866 году воевали с Пруссией, нынешним союзником, да и война была скоротечной, почти бескровной, давней, поход на три недели без особых жертв, даже устать не успели. Стремительная вылазка в романтику, дерзкое мужское приключение — так рисовалась война 1914 года простому челове-

¹ Мир нашему времени! (англ.).

ку; молодые люди даже искренне опасались, что могут пропустить столь волнующее приключение, поэтому они пылко припадали к знаменам, поэтому ликовали и пели в поездах, которые везли их на бойню; бурно и судорожно устремлялась красная кровавая река по венам всей империи. А поколение 1939 года с войной было уже знакомо. Оно уже не обманывалось. Оно знало, что война — это не романтика, а варварство. Что длится она годы и годы, это непоправимое зло жизни. Оно знало, что не с разряженными дубовыми венками и пестрыми лентами они устремятся в атаку на врага, а неделями будут прозябать в окопах или казармах, что могут быть разорваны и изувечены на расстоянии, ни разу не глянув врагу в глаза. Заранее знали из газет и фильмов о новых чудовищных технических способах уничтожения, знали, что огромные танки перемальвают на своем пути раненых, а самолеты превращают спящих женщин и детей в месиво, знали, что любая война 1939 года из-за ее бездушной механизации будет в тысячу раз более подлой, более жестокой и более бесчеловечной, чем все прежние войны человечества. Никто из поколения 1939 года не верил больше в благословенную Господом справедливость войны, и больше того: уже не верили даже в справедливость и продолжительность мира, который она должна была принести. Ибо слишком хорошо еще помнили все разочарования, которые принесла последняя: обнищание вместо обогащения, ожесточение вместо удовлетворения, голод, инфляцию, мятежи, потерю гражданских свобод, закабаление государством, выматывающую нервы неуверенность, недоверие всех ко всем.

В этом состояло различие. Война 1939 года имела духовный смысл, речь шла о свободе, о сохранении моральных ценностей; а борьба за идею делает человека твердым и решительным. Войне 1914 года, напротив, неведомо было истинное положение вещей, она служила химере, иллюзии о лучшем, более справедливом, более безмятежном мире. А лишь иллюзия, незнание делает счастливым. Поэтому опьяненными, бурно выражая свою радость, шли тогда на встречу бойне жертвы, украшенные гирляндами цветов и с дубовой листвой на касках, и улицы бурлили и были освещены, как во время праздника.

То, что я сам не подвергся этому внезапному дурману патриотизма, я отношу отнюдь не на счет особой трезвости или зоркости, а опыта предшествующей своей жизни. Еще за два дня до того я был в «неприятельском стане» и тем самым мог убедиться, что жители Бельгии были такими же мирными и беспечными, как мои соотечественники. Кроме того, я слишком долго жил космополитично, чтобы вдруг, за одну ночь, возненавидеть целый мир, который был таким же моим, как и моя родина. Я уже многие годы не доверял политике и как раз в последнее время в бесчисленных разговорах с моими французскими и итальянскими друзьями обсуждал всю бессмыслицу войны. Я был, следовательно, определенным образом вакцинирован недоверием против инфекции патриотического воодушевления и подготовлен, насколько возможно, против первого приступа этой лихорадки, я был полон решимости отстаивать свое убеждение о необходимости целостности Европы вопреки братоубийственной войне, вызванной неумелыми дипломатами и хищными военными промышленниками.

В глубине души, таким образом, я уверенно чувствовал себя гражданином мира; труднее было избрать правильное поведение как гражданину государства. Хотя мне было уже тридцать два года, я до того не имел никаких воинских обязанностей, так как на всех освидетельствованиях признавался негодным, чему в свое время был чрезвычайно рад. Ибо, во-первых, эта отставка сберегла мне год жизни, который пришлось бы убить на тупую муштру, кроме того, мне казалось преступным анахронизмом — в двадцатом столетии упражняться в овладении орудиями умерщвления. Самым верным для человека моих убеждений было бы объявить себя во время войны «conscientius objector»¹, что в Австрии (в противоположность Англии) грозило самыми тяжелыми наказаниями и потребовало бы стойкости души настоящего мученика. Но моей натуре — я не стыжусь открыто признать этот недостаток — не свойственно героическое. Мне всегда было присуще во всех опасных ситуациях уклончивое поведение, и не только в этом случае я должен, возможно, принять обвинение в нерешительности, которое так часто предъявляли моему уважаемому учителю в другом столетии — Эразму Роттердамскому. С другой стороны, в такое время относительно молодому человеку было

¹ Стронником противоположных убеждений (*лат.*).

невыносимо ждать, пока тебя не извлекут на свет Божий и не упекут в этакое место, где тебе будет совсем уж тошно. Поэтому я подыскивал занятие, которое приносило бы определенную пользу, но не отнимало бы без остатка все время, и то, что один из моих друзей был высшим офицером в военном архиве, помогло мне получить там место. Я должен был работать в библиотеке, где мог быть полезен своим знанием языков, или редактировать некоторые предназначенные для общественности материалы — деятельность, разумеется, не слишком доблестная, что я охотно признаю, но все же такая, которая мне лично показалась более подходящей, чем вонзать русскому крестьянину штык в кишки. Однако решающим было то обстоятельство, что у меня оставалось время после этой не очень обременительной службы для той работы, которая была для меня в этой войне наиважнейшей: способствовать будущему взаимопониманию.

Более трудным оказалось мое положение среди моих венских друзей. Мало знавшие Европу, безоговорочно принимавшие лишь все немецкое, большинство наших поэтов считали, что поступают правильнее всего, усиливая воодушевление масс и поэтическими призывами или научными трудами подводя фундамент под мнимые достоинства войны. Почти все немецкие писатели, во главе с Гауптманом и Демелем, считали своим долгом, точно во времена древних германцев, распалать до иступления, по примеру бардов, атакующих воинов песнями и рунами. Дюжинами, словно ливень, лились стихи, в которых рифмовались «беды» и «победы», «сраженье» и «пораженье», «сметь» и «смерть». Торжественно клялись писатели, что никогда в будущем не будут иметь ничего общего ни с французами, ни с англичанами в области культуры, и даже больше: они буквально в одну ночь решили, что ни английской, ни французской культуры вообще никогда не существовало. Вся их культура ничтожна и ничего не стоит по сравнению с немецкой основательностью, немецким искусством и немецким характером. Еще хуже обстояло с учеными. Философы не нашли ничего умнее, как объявить войну «железной купелью», которая благотворно воздействует на силы народа. Им на помощь спешили врачи, которые столь рьяно расхваливали свои протезы, что даже возникало желание ампутировать себе здоровую ногу и заменить ее таким вот искусственным штативом. Жрецы всех вероисповеданий тоже не желали оставаться в стороне и влились в общий хор; иногда казалось, что перед тобой беснующаяся толпа, хотя это были те

же самые люди, чьим разумом, чьей творческой энергией, чьими поступками мы восхищались еще неделю, месяц тому назад.

Самым потрясающим в этом безумстве было, однако, то, что большинство этих людей были искренни. Многие, слишком старые или немощные для воинской службы, считали, что должны внести свой вклад. Всем, что они создали, они обязаны языку, а значит — народу. Таким образом, они желали служить своему народу словом и дать ему услышать то, что он желал слышать: что в этой борьбе правда только на его стороне, а неправда на другой, что Германия победит, а неприятель потерпит позорное поражение, совершенно не подозревая, что тем самым они предают истинное назначение поэта — быть хранителем и защитником всего человеческого в человеке. Когда туман воодушевления рассеялся, некоторые, разумеется, вскоре ощутили на языке горький привкус своего собственного слова. Но в те первые месяцы больше всего слушали тех, кто драл глотку шибче других, а они голосили и горланили в диком хоре по ту и другую сторону.

Самым типичным, самым ошеломляющим примером такого неподдельного и в то же время безрассудного экстаза был для меня Лиссауэр. Я его хорошо знал. Он писал небольшие, немногословные, строгие стихи и при этом был добродушнейшим человеком, какого только можно себе представить. И по сей день помню, с каким трудом я сдержал улыбку, когда он пожаловал ко мне впервые. По его предельно сжатым, по-немецки крепким стихам я невольно представлял себе этого поэта стройным, подтянутым молодым человеком. Но вот в мою комнату вкатился круглый, как бочонок, добродушное лицо над двойным подбородком с ямочкой, коротышка, распираемый бьющими в нем ключом энтузиазмом и честолобием, буквально захлебывающийся словами, одержимый стихами и исполненный решимости сокрушить любые силы, которые могли бы помешать ему опять и опять цитировать и читать свои вирши. При всем комизме его все же нельзя было не полюбить: он был добр, отзывчив и беспредельно предан своему искусству.

Он происходил из состоятельной немецкой семьи, учился в гимназии Фридриха Вильгельма в Берлине и был, возможно, самым прусским из всех ассимилировавшихся в Пруссии евреев, каких я знал. Он не говорил ни на каком другом языке, он никогда не выезжал за границу. Германия была для него миром, и чем больше немецкого было в чем-

то, тем больше оно его вдохновляло. Йорк, и Лютер, и Штейн были его героями, война за освобождение Германии — его любимой темой, Бах — его музыкальным богом; он играл его великолепно, несмотря на свои маленькие, короткие, некрасивые, толстые пальцы. Никто не знал немецкую литературу лучше, никто более, чем он, не был влюблен в немецкий язык, более им очарован; как многие евреи, чьи семьи влились в немецкую культуру сравнительно недавно, он верил в Германию больше, чем самый ортодоксальный немец.

А когда разразилась война, первое, что он сделал, — поспешил в казармы, чтобы записаться добровольцем. И могу себе представить хохот фельдфебелей и ефрейторов, когда эта туша, пыхтя, взбиралась по лестнице. Они его тотчас отправили обратно. Лиссауэр был в отчаянии, тогда он решил служить Германии хотя бы стихами. Все, что сообщали немецкие газеты и оперативные сводки главного командования, для него было чистой правдой. На его страну напали, а самый ужасный преступник (совсем в духе инсценировки на Вильгельмштрассе) — этот подлый лорд Грей, английский министр иностранных дел. Свое убеждение, что Англия — главный виновник в этой войне против Германии, он выразил в стихотворении «Гимн ненависти к Англии» — у меня его нет перед собой, — которое в суровых, немногословных, впечатляющих стихах поднимало ненависть до вечной клятвы никогда не простить Англии ее «преступление». Роковым образом вскоре стало очевидным, как легко орудовать ненавистью (этот тучный одуряченный маленький еврей Лиссауэр предшествовал в этом Гитлеру). Стихотворение угодило словно бомба в склад с боеприпасами. Никогда, может быть, ни одно стихотворение — даже «Стража на Рейне» — не обошло с такой быстротой всю Германию, как этот пресловутый «Гимн ненависти к Англии». Кайзер был воодушевлен и удостоил Лиссауэра Красным орденом Орла, стихотворение перепечатали все газеты, в школах учителя читали его вслух детям, офицеры декламировали его перед строем солдат — до тех пор, пока каждый не выучил наизусть эту литанию ненависти. Но это было еще не все. Маленькое стихотворение, положенное на музыку и предназначенное для хора, исполнялось в театрах; среди семидесяти миллионов немцев вскоре не было ни одного человека, кто бы не знал «Гимн ненависти к Англии» от первой до последней строки, и вскоре — разумеется, с меньшим воодушевлением — его знал весь мир. За одну ночь Эрнст Лиссауэр обрел самую громкую славу,

какую обретал в этой войне поэт, — правда, славу, которая обожгла его, как Нессова одежда. Ибо едва война закончилась и дельцы снова пожелали торговать, а политики договориться друг с другом, было предпринято все возможное, чтобы отречься от этого стихотворения, которое призвало к вечной вражде с Англией. И чтобы свалить вину с себя, бедного «Ненависть-Лиссауэра» выставили на позор как единственного виновника безумной истерии, которую в действительности в 1914 году разделяли все от мала до велика. В 1919 году от него демонстративно отвернулся всякий, кто в 1914-м его восхвалял. Газеты больше не печатали его стихов; когда он появлялся среди собратьев по перу, наступала напряженная тишина. Впоследствии этот отверженный был изгнан Гитлером из Германии, к которой он был привязан всеми фибрами души, и умер забытым — трагическая жертва одного стихотворения, которое вознесло его так высоко лишь для того, чтобы затем так низко опустить и уничтожить.

* * *

Все они были подобны Лиссауэру. Они искренне полагали, что действуют честно, — поэты, профессора, эти неожиданные тогдашние патриоты; я не отрицаю этого. Но уже в самое ближайшее время стало очевидным, какое ужасное несчастье повлекло за собой восхваление ими войны и их оргии ненависти. Все воюющие народы и без того в 1914 году находились в состоянии крайнего возмущения, самые страшные слухи незамедлительно подтверждались, верили в самую абсурдную ложь. Сотни людей в Германии клялись, что собственными глазами незадолго до начала войны видели груженные золотом автомобили, которые направлялись из Франции в Россию; сказки — которые всегда во время любой войны появляются на третий или четвертый день — о выколотых глазах и отрубленных руках заполнили газеты. Да, они, те, кто, ничего не подозревая, передавали дальше подобную ложь, не ведали, что этот трюк с обвинением вражеских солдат во всех мыслимых жестокостях является таким же военным снаряжением, как боеприпасы и самолеты, и что он всегда, в любой войне, извлекается из арсеналов сразу же, в первые дни. Войну невозможно согласовать с разумом и справедливостью. Ей требуются взвинченные чувства, ей требуется порыв для соблюдения своих интересов и возбуждения ненависти к врагу.

Но в самой человеческой природе заложено, что сильные чувства невозможно поддерживать до бесконечности — ни в отдельном индивиде, ни в народе, — и это известно военной машине. Ей требуется поэтому искусственное разжигание страстей, постоянный «допинг», и служить этому кнуту — с чистой или запятнанной совестью, искренне или только следуя профессиональному долгу — должна интеллигенция, поэты, писатели, журналисты. Они ударили в барабан ненависти и били в него что есть мочи, пока у каждого нормального человека не лопались в ушах перепонки, не сжималось сердце. Почти все они — в Германии, во Франции, в Италии, в России, в Бельгии — покорно служили «военной пропаганде» и тем самым массовому психозу и массовой ненависти, вместо того чтобы это безумство преодолеть.

Последствия были губительные. В ту пору, когда пропаганда в мирное время еще не успела себя дискредитировать, люди, несмотря на нескончаемые разочарования, еще считали, что все, что напечатано, правда. И таким образом чистый, прекрасный, жертвенный энтузиазм первых дней постепенно превращался в оргию самых низменных и самых нелепых чувств. Францию и Англию «завоевывали» в Вене и Берлине, на Рингштрассе и на Фридрихштрассе, что было значительно проще. На магазинах должны были исчезнуть английские, французские надписи, даже монастырь «К ангельским девам» вынужден был переменить название, потому что народ негодовал, не подозревая, что «ангельские» предполагало ангелов, а не англосаксов. Наивные деловые люди наклеивали на конверты марки со словами «Господь, покарай Англию!», светские дамы клялись, что, пока живы, не вымолвят ни единого слова по-французски. Шекспир был изъят из немецкого театра, Моцарт и Вагнер из французских, английских музыкальных залов, немецкие профессора объявляли Данте германцем, французские Бетховена — бельгийцем, бездумно реквизируя духовное наследие из вражеских стран, как зерно или руду. Не довольствуясь тем, что ежедневно тысячи мирных граждан этих стран убивали друг друга на фронте, в тылах вражеских стран поносили и порочили взаимно их великих мертвецов, которые уже сотни лет тихо покоились в своих могилах. Помешательство становилось все более диким. Кухарка, которая никогда не выезжала за пределы своего города и после школы никогда не открывала никакого атласа, верила, что Австрии не прожить без Зандшака (крохотное пограничное местечко в Боснии). Извозчики спорили на улице, какую

контрибуцию наложат на Францию: пятьдесят миллиардов или сто, не представляя себе, что такое миллиард. Не было города или человека, которые бы не поддались этой ужасающей ненависти. Священники проповедовали с амвона, социал-демократы, которые за месяц до того заклеили милитаризм как величайшее преступление, теперь витийствовали, где могли, еще больше других, чтобы не прослыть, по выражению кайзера Вильгельма, «странствующими подмастерьями без отечества». Это была война наивного (ничего не подозревавшего) поколения, и именно неподорванная вера народов в правоту своего дела стала величайшей опасностью.

* * *

Постепенно в эти первые военные недели войны 1914 года стало невозможным разумно разговаривать с кем бы то ни было. Самые миролюбивые, самые добродушные как одержимые жаждали крови. Друзья, которых я знал как убежденных индивидуалистов и даже идейных анархистов, буквально за ночь превратились в фанатичных патриотов, а из патриотов — в ненасытных аннексионистов. Каждый разговор заканчивался или глупой фразой, вроде «Кто не умеет ненавидеть, тот не умеет по-настоящему любить», или грубыми дозрениями. Давние приятели, с которыми я никогда не ссорился, довольно грубо заявляли, что я больше не австриец, мне следует перейти на сторону Франции или Бельгии. Да, они даже осторожно намекали, что подобный взгляд на войну как на преступление, собственно говоря, следовало бы довести до сведения властей, ибо «пораженцы» — красивое слово было изобретено как раз во Франции — самые тяжкие преступники против отечества.

Оставалось одно: замкнуться в себе и молчать, пока друзей лихорадит и в них бурлят страсти. Это было нелегко. Ибо даже в эмиграции — чего я отведал предостаточно — не так тяжело жить, как *одному* в своей стране. В Вене я отдалился от моих старых друзей, искать новых сейчас было не время. Только с Райнером Марией Рильке я иногда мог разговаривать со всей откровенностью. Его тоже удалось пристроить в тихую заводь нашего военного архива, ибо было немислимо, чтобы он, с его сверхчувствительностью, у которого грязь, запах, шум вызывали неподдельную физическую дурноту, тоже сделался солдатом. Не могу не улыбнуться, вспоминая его в форме. Как-то в мою дверь постучали. Нерешительно вошел солдат. В следующее

мгновение я ахнул. Рильке — Райнер Мария Рильке — в военном облачении. Он выглядел таким трогательно-неловким, стесненным узким воротом формы, терялся от одной мысли, что должен, прищелкивая каблуками, отдавать честь каждому офицеру. А так как он, при своей неутомимой тяге к совершенству, стремился и эти ничтожные формальности устава исполнять образцово, он находился в состоянии постоянной растерянности. «Я, — сказал он мне своим тихим голосом, — ненавижу военную форму еще с училища. Я думал, что навсегда избавился от нее. А теперь вот снова, почти в сорок лет!» К счастью, нашлись люди, готовые прийти на помощь и защитить его, и благодаря доброжелательному медицинскому освидетельствованию его вскоре уволили вчистую. Он еще раз пришел в мою комнату, чтобы проститься — теперь уже снова в гражданском платье, так и хочется сказать: им повеяло — настолько непередаваемо бесшумно он всегда входил. Он хотел поблагодарить меня за то, что я через Роллана пытался спасти его библиотеку, конфискованную в Париже. Впервые он уже не выглядел молодым, казалось, будто думы об ужасах войны иссушили его. «За границу, — сказал он, — если бы только можно было за границу! Война — всегда тюрьма». И он ушел. А я снова остался совсем один.

Через несколько недель я, решившись не поддаться этому опасному массовому психозу, перебрался в деревенское предместье, чтобы в разгар войны начать мою личную войну: борьбу за то, чтобы спасти разум от временного безумия толпы.

БОРЬБА ЗА ДУХОВНОЕ БРАТСТВО

Уединение само по себе помочь не могло. Обстановка оставалась удручающей. И вследствие этого я сделал вывод, что одного пассивного поведения, неучастия в этом разгуле поношения противника недостаточно. В конце концов, писатель для того и владеет словом, чтобы даже в условиях цензуры все же суметь выразить свои взгляды. И я попытался. Написал статью, озаглавленную «Зарубежным друзьям», где, прямо и резко отмежевавшись от фанфар ненависти, призвал даже при отсутствии связи хранить верность всем друзьям за границей, чтобы потом при первой возможности вместе с ними способствовать возрождению европейской культуры. Я отправил ее в самую популярную немецкую газету. К моему удивлению, «Берлинер таге-

блатт», не колеблясь, напечатала ее без всяких искажений. Лишь одно-единственное место — «кому бы ни довелось победить» — стало жертвой цензуры, поскольку даже малейшее сомнение в том, что именно Германия выйдет победителем из этой мировой войны, было в ту пору крамольно. Но и с такой поправкой эта статья вызвала немало негодующих писем сверхпатриотов: они не понимали, как это в такое время можно иметь что-то общее с нашими вероломными врагами. Меня это не очень-то задевало. За всю свою жизнь я никогда не пытался обращать других людей в свою веру. Мне достаточно было того, что я мог исповедовать ее, и исповедовать гласно.

Две недели спустя, когда я уже почти забыл об этой статье, я обнаружил отмеченное штемпелем цензуры письмо со швейцарской маркой, и по хорошо знакомому почерку сразу же узнал руку Ромена Роллана. Он, вероятно, прочел статью, поскольку писал: «Non, je ne quitterai jamais mes amis»¹. Я сразу же понял, что эти несколько строк — попытка прошупать, возможна ли в условиях войны переписка с австрийским другом. Я тотчас ответил ему. С тех пор мы писали друг другу регулярно, и эта наша переписка продолжалась затем свыше двадцати пяти лет, пока вторая мировая война — еще более бесчеловечная, чем первая, — не прервала всякую связь между странами.

Это письмо — один из счастливейших моментов моей жизни: словно белый голубь, прибыло оно с ковчега рычащего, топчущего, свирепого зверья. Теперь я не чувствовал себя одиноким, я вновь — наконец — был связан с единомышленниками. Духовные силы Роллана, превосходящие мои, сделали и меня более сильным. Ибо и через границы я знал, как замечательно Роллан проявляет на деле свою человечность. Он нашел единственно правильный путь, который в подобные времена обязан избирать для себя художник: не участвовать в разрушении, убийстве, а — следуя прекрасному примеру Уолта Уитмена, который был санитаром во время Гражданской войны в США, — содействовать оказанию помощи и милосердию. Живя в Швейцарии, в Женеве, где он оказался, когда разразилась война, и освобожденный по состоянию здоровья от всякой воинской обязанности, Роллан сразу же отдается работе в Красном Кресте и изо дня в день в переполненных помещениях работает над поразительным произведением, за которое я позднее попытался во всеуслышание высказать ему благо-

¹ Нет, я никогда не покину своих друзей (*франц.*).

дарность статьёй «Сердце Европы». После кровопролитных сражений первых недель всякая связь была прервана, в воюющих странах родные не знали, погиб ли их сын, брат, отец, только пропал без вести или попал в плен и где об этом узнать, поскольку на получение известий от «врага» надеяться было нечего. И Красный Крест взял на себя задачу посреди всех этих ужасов и жестокосердия снять с людей хотя бы самое жестокое страдание: мучительную, как пытка, неизвестность о судьбах любимых людей, переправляя из враждующих стран письма пленных на родину. Разумеется, созданная за десятилетия до того организация не была рассчитана на такие масштабы, исчисляемые в миллионах; ежедневно, ежечасно число добровольных помощников должно было расти, ибо каждый час мучительного ожидания для родных означал вечность. В конце 1914 года каждый день приносил уже тридцать тысяч писем; в результате в тесном Musée-Rath¹ в Женеве теснились тысяча двести человек, чтобы обработать ежедневную почту и на нее ответить. И тут же среди них трудился, вместо того чтобы эгоистично заниматься исключительно своим литературным делом, самый человечный среди писателей — Ромен Роллан.

Но он не забывал и о другом своем долге — долге художника — высказать свои убеждения, даже если они войдут в противоречие с господствующим в его стране настроением, да и настроением во всем ведущем войну мире. Уже осенью 1914 года, когда большинство писателей старались превзойти друг друга в ненависти, пикировались и с пеной у рта осыпали друг друга оскорблениями, он написал ту памятную исповедь «Над схваткой», в которой, выступив против духовной вражды между народами, требовал от художника справедливости и человечности даже в разгар войны, — ту работу, которая, как никакая другая в то время, вызвала полемику и повлекла за собой целую литературу «за» и «против».

Ибо это положительно отличало первую мировую войну от второй: слово тогда еще имело силу. Оно еще не было забито насмерть организованной ложью, «пропагандой», люди внимали печатному слову, они ловили его. В то время как в 1939 году ни одно выступление поэта ни с добрыми, ни со злыми помыслами не оказало ни малейшего воздействия, как и по сей день ни одна книга, брошюра, статья, стихотворение не затронули самое сокровенное в массах или хотя бы

¹ Музей живописи (франц.).

повлияли на сознание, в 1914 году стихотворение в четырнадцать строк, подобное «Гимну ненависти» Лиссауэра или недалекому заявлению «93 представителей немецкой интеллигенции», а с другой стороны, такая статья в восемь страниц, как «Над схваткой» Роллана, такой роман, как «Огонь» Барбюса, способны были стать событием. Моральная совесть мира не была еще истощена и выхолощена, как сегодня, она моментально откликнулась на любую явную ложь, на всякое нарушение прав народов и гуманности всей силой многовековой убежденности.

Нарушение международного права, подобное вторжению войск Германии в нейтральную Бельгию, которое ныне, когда Гитлер возвел ложь в порядок вещей, а антигуманность в закон, едва ли осуждается всерьез, в ту пору могло еще всколыхнуть мир от края до края. Расстрел сестры милосердия Кэвелл, торпедирование «Лузитании» имели для Германии, в связи со вспышкой всеобщего и единодушного возмущения, более тяжкие последствия, чем проигранное сражение. Голос поэта, голос писателя не были голосами вопиющего в пустыне в то время, когда слух и душа еще не были затоплены беспрестанно переливающимися из пустого в порожнее радиоволнами; напротив: стихийное выступление большого поэта оказывало в тысячу раз большее воздействие, чем все официальные речи государственных мужей, о которых было известно, что как тактики и политики они ведут себя сообразно текущему моменту и в лучшем случае довольствуются лишь полуправдой. Вот почему к поэту как к достойному примеру гражданина с чистой совестью то поколение — позднее столь разочарованное — относилось с гораздо большим доверием. И, зная об этом авторитете поэтов, армия и государственные учреждения пытались вовлечь в свою подстрекательскую деятельность всех лучших представителей интеллигенции: они должны были разъяснять, доказывать, подтверждать, клятвенно свидетельствовать, что вся несправедливость, все зло гнездятся на той стороне, вся справедливость, вся правда присущи лишь их народу. С Ролланом им это не удалось. Он видел свою задачу не в том, чтобы еще более сгущать и без того душную от ненависти, перенасыщенную всеми подстрекательскими средствами атмосферу, а напротив — очищать ее.

Кто сегодня перечитает восемь страниц этой знаменитой статьи «Над схваткой», не сможет, вероятно, уже представить неизмеримое ее воздействие; все, что утверждал в ней Роллан, если читать не по горячим следам, есть не более

чем самая обыденность обыденности. Но эти слова прозвучали в пору массового духовного помешательства, которое сегодня едва ли возможно представить. Когда появилась эта статья, французские сверхпатриоты истошно завопили, словно по недосмотру схватились за раскаленное железо. Уже на следующее утро от Роллана отвернулись его старшие коллеги, книготорговцы не отваживались больше выставлять в витринах «Жан-Кристофа», военные власти, нуждавшиеся для подбадривания солдат в ненависти, вынашивали уже меры против него, одна за другой появлялись брошюры с аргументацией: «Ce qu'on donne pendant la guerre à l'humanité est volé à la patrie»¹. Но, как всегда, вопли лишь подтверждали, что удар попал в самую точку. Дискуссию о поведении в условиях войны способного мыслить человека нельзя было больше сдерживать, проблема неотвратимо была поставлена перед каждым.

* * *

Ничто в этих моих воспоминаниях не вызывает во мне большего сожаления, чем то, что мне недоступны письма Роллана тех лет; мысль о том, что в этом новом всемирном потоке они могут быть уничтожены, гложет меня, словно чувство вины. Ибо, как бы сильно я ни любил его книги, я более чем уверен, что впоследствии именно письма будут считать самым прекрасным и гуманным, что создано его большим сердцем и его страстным разумом. Написанные в безграничном потрясении страдающей души, в состоянии горького бессилия другу по ту сторону границы, следовательно, официально «врагу», они представляют собой, возможно, самые впечатляющие духовные свидетельства времени, когда взаимопонимание требовало невероятного напряжения сил, а верность собственным убеждениям — колоссального мужества. В этой нашей дружеской переписке выкристаллизовалась позитивная инициатива: Роллан предлагал попытаться пригласить в Швейцарию виднейших деятелей культуры всех народов на всеобщую конференцию, чтобы прийти к единой и более приемлемой линии поведения, а при возможности даже обратиться к мировой общественности с призывом добиваться взаимопонимания. Находясь в Швейцарии, он хотел взять на себя приглашение

¹ То, что дают во время войны человечеству, украдено у родины (франц.).

французских и иностранных деятелей культуры, я из Австрии должен был прозондировать тех наших немецких писателей и ученых, которые еще не скомпрометировали себя публичной пропагандой ненависти. Я тотчас взялся за дело. Крупнейшим и самым именитым немецким писателем был тогда Герхарт Гауптман. Чтобы облегчить ему согласие или отказ, я не стал обращаться к нему прямо. Поэтому я написал нашему общему другу Вальтеру Ратенау, чтобы тот доверительно переговорил с Гауптманом. Ратенау отказался — с ведома Гауптмана или без оно, я так и не узнал: сейчас, дескать, еще не то время, чтобы устанавливать духовный мир. На том, собственно, все и кончилось, ибо Томас Манн в то время находился в другом лагере и только что в статье о Фридрихе Великом поддержал официальную позицию Германии; Рильке, о котором я знал, что он на нашей стороне, принципиально отказался от всякой публичной и совместной акции; Демель, бывший социалист, подписывал свои письма с мальчишеской патриотической гордостью как «лейтенант Демель», что же касается Гофманстала и Якоба Вассермана, то личные встречи убедили меня, что на них нечего рассчитывать. Таким образом, с немецкой стороны надеяться особо было не на кого; и у Роллана во Франции дела шли немногим лучше. В 1914, 1915 годах было слишком рано: для тех, кто находился в тылу, война была еще слишком далека. Мы оставались в одиночестве.

Одни, и все-таки не совсем одни. Кое-чего мы уже добились благодаря нашей переписке: определился тот предположительный круг людей, на которых, мы знали, можно было рассчитывать и которые в нейтральных или ведущих войну странах думали так же, как мы; мы обращали внимание на книги, статьи, брошюры друг друга, был обеспечен некий центр притяжения, к которому — сначала колеблясь, но затем все увереннее, под все более ощутимым давлением времени — прибавлялись новые элементы. Сознание того, что находишься не в абсолютном вакууме, придавало мне силы чаще писать статьи, чтобы по ответам и откликам открывать всех тех разобщенных и затаившихся сочувствующих нам. Во всяком случае, я мог воспользоваться крупнейшими газетами Германии и Австрии и тем самым — важной сферой влияния; особого противодействия со стороны властей можно было не опасаться, так как я никогда не вторгался в текущую политику. Под влиянием либерального духа уважение к литературе было еще очень велико, и когда я перечитываю статьи, которые мне в ту пору удалось

контрабандно протащить в печать для самой широкой общественности, то не могу отказать австрийским военным чиновникам в уважении за их великодушие; я мог снова в разгар мировой войны с воодушевлением прославлять основательницу пацифизма Берту фон Зутнер, которая заклеила войну как преступление из преступлений, и в австрийской газете подробно рассказать об «Огне» Барбюса. Излагая самым широким кругам столь противоречащие военному времени мнения, мы должны были, разумеется, выработать определенную технику. Чтобы в статье об «Огне» рассказать об ужасах войны и безразличии тыла, в Австрии, конечно, приходилось акцентировать страдания французского пехотинца, но сотни писем с нашего фронта говорили мне, насколько хорошо осознавали свою собственную участь австрийцы. Или, чтобы изложить свои взгляды, мы избирали такое средство, как мнимые нападки друг на друга. Так, в «Меркюр де Франс» один из моих друзей полемизировал с моей статьей «Зарубежным друзьям», но, перепечатав ее в переводе, якобы в запале полемики, всю до последнего слова, он благополучно контрабандно протащил ее во французскую прессу, так что каждый мог (как и было предусмотрено) прочитать ее там. Подобные опознавательные знаки, словно мигающие сигналы, шли туда и обратно. Насколько хорошо понимали их те, для кого они были предназначены, показал мне позднее маленький эпизод. Когда в мае 1915 года Италия объявила войну Австрии, своему прежнему союзнику, у нас всколыхнулась волна ненависти. Осыпали бранью все итальянское. А тут случайно вышли в свет воспоминания молодого итальянца эпохи Рисорджименто по имени Карл Поэрио, который рассказывал о своей встрече с Гёте. И чтобы в разгар этого всплеска ненависти показать, что итальянцы издавна имели прочные связи с нашей культурой, я преднамеренно написал статью «Итальянец у Гёте», а так как книга предварялась статьей Бенедетто Кроче, то я воспользовался случаем, чтобы в нескольких словах выразить Кроче глубокое уважение. Слова восхищения итальянцу в Австрии в то время, когда нельзя было признавать заслуги ни одного поэта или ученого вражеской страны, означали, само собой разумеется, явную демонстрацию, и ее понимали и за границей. Кроче, который в ту пору в Италии был министром, позднее рассказал мне однажды, как чиновник министерства, который немецкого сам не знал, несколько обескураженно сообщил ему, что в «главной» газете противника что-то напечатано против него (ибо представить себе, что упоминание может

быть иным, не только враждебным, он просто не мог). Кроче потребовал «Нойе фрайе прессе», а затем на славу повеселился, вместо оскорблений обнаружив в ней выражение почтения.

* * *

Я отнюдь не склонен переоценивать эти маленькие, разрозненные попытки. Само собой, на ход событий они не оказали ни малейшего влияния. Но они помогли нам самим — и некоторым безвестным читателям. Они ослабили ужасную отчужденность, внутреннее отчаяние, которое испытывал действительно по-человечески чувствующий человек двадцатого столетия, а сегодня, двадцать пять лет спустя, испытывает снова, столь же беспомощный перед превосходящей силой, и, боюсь, даже больше. Уже тогда я в полной мере осознавал, что не в состоянии свалить с себя этими маленькими протестами и уловками главное бремя; постепенно во мне начал созревать план книги, в которой я смог бы выразить не только частично, но и в целом все мое отношение ко времени и людям, к катастрофе и войне.

Но для изображения войны в художественном обобщении мне недоставало самого главного: я ее не видел. Уже почти год я сидел в надежном пристанище у своего бюро, а где-то в невидимой дали происходило «главное», подлинное, самое чудовищное. Возможность побывать на фронте представлялась мне много раз, трижды крупные газеты предлагали мне отправиться в действующую армию в качестве их корреспондента. Но всякий репортаж по заданию обязывал бы подавать войну в исключительно положительном и патриотическом духе, а я поклялся себе — обет, который я выдержал и в 1940 году, — никогда не писать ни слова, одобряющего войну или принижающего другой народ. Теперь же случайно представилась иная возможность. В результате крупного австро-германского наступления 1915 года под Тарнувом русская линия обороны была прорвана, и одним массированным ударом были заняты Галиция и Польша. Военный архив тут же решил собрать для своей библиотеки оригиналы всех русских прокламаций и объявлений на оккупированной Австрийской территории, прежде чем их сорвут или уничтожат. Полковник, который случайно знал о моем увлечении коллекционера, поинтересовался, не хотел бы я заняться этим; я немедленно согласился, и мне было выдано удостоверение, так что я, не завися ни от каких

местных властей и не подчиняясь какому-либо ведомству или начальству, мог следовать любым военным поездом и свободно передвигаться, куда захочу, что потом приводило к самым неожиданным результатам: ведь офицером я не был, а на моей фельдфебельской форме никаких особых знаков отличия не имелось. Когда я предъявлял мой таинственный документ, это вызывало особое уважение, ибо фронтовые офицеры и чиновники подозревали, что я, должно быть, какой-нибудь переодетый офицер генерального штаба или вообще выполняю сугубо секретное задание. Так как к тому же я избегал офицерского общества и останавливался исключительно в гостиницах, я сверх того получал преимущество находиться вне сложного военного механизма и без всякого «сопровождения» осматривать все, что захочу.

Основное мое поручение по сбору прокламаций не слишком обременяло меня. Всякий раз, когда я прибывал в какой-нибудь из галицийских городов, в Тарнув, Дрогобыч, Лемберг, там на вокзале толкалось несколько евреев, так называемых «факторов», профессией которых было доставать все, чего только ни пожелает клиент: достаточно было сказать одному из этих универсальных дельцов, что мне нужны прокламации и объявления периода власти русских, как фактор бежал словно гончая и передавал задание загадочными путями десяткам унтер-факторов; через три часа у меня, не сделавшего и шага, был материал во всей полноте. Благодаря такой замечательной организации у меня оставалось время увидеть многое, и я многое увидел. Я видел прежде всего ужасающую нищету мирных жителей, в глазах которых застыл ужас пережитого. Я никогда не предполагал подобной нищеты у евреев гетто, которые ютились по восемь-двенадцать человек в подвалах или в помещениях на уровне земли. И в первый раз я увидел «врага». В Тарнуве я натолкнулся на колонну пленных русских солдат. Они сидели на земле в большом квадрате, обнесенном забором, курили и переговаривались под охраной двух или трех десятков пожилых, в большинстве бородатых тирольских ополченцев, которые были так же оборванные и неухоженные, как пленные, и очень мало походили на хорошо выбритых, в форме с иголочки, подтянутых солдат, какими они же выглядели на фотографиях в наших иллюстрированных изданиях. Вид у охраны был далеко не воинственный и отнюдь не драконовский. Пленные не выказывали ни малейшего намерения к бегству, а австрийские ополченцы — ни малейшего желания нести охрану как полагается. Они мирно сидели с пленными, и как раз то, что они, не

зная чужого языка, не могли понять друг друга, доставляло обеим сторонам исключительное веселье. Обменивались сигаретами, смеялись, глядя друг на друга. Вот тирольский ополченец достает из очень старого и потертого бумажника фотографии своей жены и своих детей и показывает их «врагам», которые те — один за другим — разглядывают и спрашивают на пальцах, три или четыре года этому ребенку. У меня было непреодолимое чувство, что эти совсем простые люди воспринимают войну гораздо правильнее, чем наши университетские профессора и писатели, а именно как несчастье, которое на них обрушилось и от которого они никак не могли уберечься, и что каждый попавший в эту беду становился своего рода братом. Понимание этого служило мне утешением на всем пути по разрушенным городам с разграбленными магазинами, мебель из которых валялась на улицах, как сломанные конечности и вывороченные внутренности. И возделанные поля между очагами войны всеяли в меня надежду, что через несколько лет все эти разрушения исчезнут. Разумеется, тогда я еще не мог предвидеть, что точно так же быстро, как следы войны с лица земли, исчезнут из памяти людей и ее ужасы.

По существу, с ужасами войны в первые дни я еще не сталкивался; их обличье превзошло затем мои худшие опасения. Так как регулярного пассажирского движения почти не было, я ездил на открытой артиллерийской платформе, сидя на передке пушки, и в одном из тех вагонов для скота, где люди, уставшие до смерти, спали в неимоверном густом зловонии, вповалку и, в то время как их везли на бойню, сами были подобны убойному скоту. Но самым ужасным были санитарные поезда, которыми мне пришлось пользоваться дважды или трижды. Боже, как мало походили они на те хорошо освещенные, стерильные санитарные поезда, на фоне которых в начале войны в платье сестер милосердия фотографировались эрцгерцогини и благородные дамы! Те, что мне, содрогаясь, пришлось увидеть, состояли из обыкновенных товарных вагонов, с узкими щелями для воздуха вместо окон, освещенных внутри коптящими керосиновыми лампами. Рядами вплотную стояли примитивные нары, и все они были заняты стонущими, потными, мертвенно-бледными людьми, которые хрипели от недостатка воздуха и густого запаха экскрементов и йодоформа. Солдаты-санитары скорее бродили, чем ходили, — настолько были переутомлены; не было и следа от белоснежного постельного белья с тех фотографий. Прикрытые давно

пропитанными кровью грубошерстными одеялами, люди лежали на соломе или жестких нарах, и в каждом таком вагоне среди стонущих и умирающих было уже по два или по три покойника. Я разговаривал с врачом, который, как он мне признался, был, оказывается, стоматологом из маленького венгерского городка и уже много лет не имел хирургической практики. Он был в отчаянии. Он заранее телеграфировал на семь станций, сказал он мне, по поводу морфия. Все уже израсходовано, и у него не хватит даже ваты и свежих бинтов до будапештского госпиталя, который будет только через двадцать часов. Он попросил меня помочь ему, так как его люди падали от усталости. Я попытался, как мог, но сумел быть ему полезным лишь тем, что выбегал на каждой станции и помогал принести несколько ведер воды, плохой, грязной воды, предназначенной, собственно, только для локомотивов, но теперь даже эта вода была словно бальзам — необходима для мытья людей и пола от постоянно капающей на него крови. Ко всему этому для солдат из самых разных стран, угодивших в этот гроб на колесах, прибавлялась еще одна особая трудность — из-за вавилонского смешения языков. Ни врач, ни санитары не знали славянских языков; единственным, кто здесь хоть как-то мог быть полезен, был седовласый священник, который — пребывая в таком же отчаянии, как врач из-за отсутствия морфия, — в свою очередь взволнованно жаловался, что не может исполнять свой святой долг, ибо у него нет масла для последнего причастия. За всю свою жизнь он не причащал так много людей, как за этот последний месяц. И от него я услышал слова, которые никогда затем не забывал, произнесенные с жесткой, горькой интонацией: «Мне уже шестьдесят семь лет, и я многое видел. Но я считал невозможным подобное преступление человечества».

* * *

Тот санитарный поезд, которым я возвращался, прибыл в Будапешт ранним утром. Я тотчас поехал в гостиницу, чтобы первым делом выспаться, единственным местом для сидения в том поезде был мой чемодан. Переутомившись в пути, я проспал примерно до одиннадцати часов, затем быстро оделся, чтобы позавтракать. Но уже после нескольких первых шагов у меня возникло чувство, что мне следует протереть глаза, не снится ли мне все это. Стоял один из тех ясных дней, когда утром еще весна, а в полдень уже лето, и

Будапешт был так красив и беспечен, как никогда. Женщины в белых платьях прогуливались под руку с офицерами, которые вдруг показались мне словно офицерами другой армии по сравнению с теми, которых я видел только позавчера, только вчера. В одежде, во рту, в носу еще стоял запах йода из вчерашнего поезда с ранеными, а я видел, как они покупают букетики фиалок и галантно преподносят их дамам, как по улицам разъезжают шикарные автомобили с безукоризненно выбритыми и одетыми господами. И все это в восьми или девяти часах езды скорым поездом от фронта! Но имел ли я право обвинять этих людей? По существу, разве это не в порядке вещей, что они живут и хотят радоваться жизни? Что они, может быть, именно потому поспешно хватались за все — за несколько хороших платьев, за последние счастливые часы, — что чувствовали грозящую всему опасность! Именно увидев, какое хрупкое, легко разрушаемое существо — человек, у которого крохотный кусочек свинца за тысячную долю секунды может отнять без остатка жизнь со всеми ее воспоминаниями и волнениями, я понимал, что такой полдень собирал тысячи оживленных людей у сверкающей реки потому, что они, быть может, с возросшей силой жаждали видеть солнце, чувствовать свою плоть, собственную кровь, собственную жизнь. Я почти уже примирился с тем, что сначала меня испугало. Но в этот момент, к несчастью, услужливый официант принес мне венскую газету. Я попытался ее читать; и тут мной овладело отвращение, смешанное с яростью. В газете были напечатаны все эти фразы о несгибаемой воле к победе, о незначительных потерях наших войск и огромных — противника; она набросилась здесь на меня — наглая, огромная и бесстыжая ложь войны! Нет, виноваты не эти бесцельно и беззаботно прогуливающиеся люди, но исключительно те, кто своим словом подстрекает к войне. Но виноваты и мы, раз не обратили против них наше слово.

* * *

Лишь теперь я получил настоящий импульс: надо воевать против войны! Внутренняя готовность созрела во мне, чтобы начать, недоставало лишь этого последнего, наглядного подтверждения моему предчувствию. Я распознал врага, против которого мне следовало бороться, — ложное геройство, охотно обрекающее на страдания и смерть других, дешевый оптимизм бессовестных пророков, как политических, так и военных, которые, безответственно предпре-

кая победу, продлевают бойню, а за ними — хор, который они наняли, все эти «фразеры войны», как их окрестил Верфель в своем прекрасном стихотворении. Кто выражал сомнение, тот мешал им в их «патриотическом деле», кто предостерегал, над тем они насмеялись как над пессимистом; кто выступал против войны, от которой они сами не страдали, тех они клеймили предателями. Всякий раз и во все времена это была все та же свора, которая осторожных называла трусами, человеческих — хлюпиками, чтобы потом самим впасть в растерянность в час катастрофы, которую они с легким сердцем навлекли своими заклинаниями. Это была все та же свора, та же, что насмеялась над Кассандрой в Трое, Иеремией в Иерусалиме, и никогда я не понимал трагизм и величие этих фигур так, как в эти слишком похожие часы. С самого начала я не верил в «победу» и лишь одно знал наверняка: даже если ее можно добыть неисчислимыми жертвами, она не оправдывает эти жертвы. Но среди моих друзей я с подобным предостережением всегда оставался один, а устрашающий победный клич до первого выстрела, дележ добычи до первого сражения заставляли меня часто сомневаться, в здравом ли рассудке я сам среди всех этих умников или же, наоборот, единственный трезвый человек посреди их разгула. Таким образом, для меня стало вполне естественным изображение в драматической форме моего собственного, трагического положения «пораженца» — это слово придумали, чтобы тем, кто стремился к пониманию, приписать стремление к поражению. Я избрал в качестве символа фигуру Иеремии, пророка. Однако руководствовался я отнюдь не желанием написать «пацифистскую» пьесу, воплотить в слово и стих азбучную истину, что мир лучше войны, а стремлением показать, что тот, кого презирают как слабого, трусливого в период воодушевления, в пору поражения по большей части оказывается единственным, кто выдерживает и преодолевает тяжесть этого поражения. С первой моей пьесы — «Терсит» — меня снова и снова занимала проблема духовного превосходства побежденного. Меня всегда привлекало изображение внутреннего очерствения, которое вызывает в человеке любая форма власти, духовного обнищания, которое влечет за собой всякая победа у целых народов, и этим силам противопоставить будоражащую, болезненно и безмерно бердящую душу силу поражения. В разгар войны, в то время как другие, преждевременно ликуя, предрекали друг другу неминуемую победу, я уже бросился в самую глубокую пропасть катастрофы и искал из нее путь наверх. Эта драма

стала первой из моих книг, которую я ценил. Теперь я знаю: без всего того, что я, сочувствуя и предчувствуя, выстрадал тогда во время войны, я бы остался писателем, каким был до войны, «приятно-трогательным», как говорят о музыке, но никогда не берущим за живое, захватывающим, проникающим до самых глубин. Теперь, в первый раз, у меня было ощущение, что я говорю одновременно и от своего имени, и от имени времени. Пытаясь помочь другим, я в ту пору помог и себе: моему самому личному, самому интимному произведению, наряду с «Эразмом», который помог мне преодолеть подобный кризис в 1934 году, в дни Гитлера. Работая над этими трагедиями, я уже не страдал так тяжело от трагедии времени.

В громкий успех этого произведения я не верил ни мгновения. Из-за соединения столь многих начал: пророческого, пацифистского, еврейского, — из-за хоральных форм заключительных сцен, которые выливаются в гимн побежденного своей судьбе, размер этой пьесы перерос обычный размер драмы в такой степени, что полная постановка потребовала бы, собственно, два, а то и три театральных вечера. К тому же — каким образом могла бы появиться на немецкой сцене пьеса, которая изображала поражение и даже прославляла его, в то время как газеты ежедневно трубили: «Победить или погибнуть!» Я должен был бы считать чудом, если бы книга увидела свет, но и на худой конец, если бы это не удалось, она должна была помочь мне самому пережить тяжелейшее время. В поэтическом диалоге я высказал все, о чем должен был умалчивать в разговорах с людьми. Я сбросил груз, который лежал у меня на душе, и стал самим собой, в тот час, когда все во мне было одним сплошным «нет» своему времени, я нашел «да» для самого себя.

В СЕРДЦЕ ЕВРОПЫ

Весной 1917 года, когда моя трагедия «Иеремия» вышла отдельной книгой, меня ожидал сюрприз. Я создавал, что написал ее в самое неподходящее время и должен поэтому ожидать соответствующее неприятие. Но произошло как раз обратное. Двадцать тысяч экземпляров книги были распроданы мгновенно, цифра фантастическая для пьесы; не только единомышленники, например Ромен Роллан, публично одобрили ее, но и те, кто до того разделяли, скорее, противоположные взгляды, например Ратенау и Рихард

Демель. Директора театров, которым пьеса даже не предлагалась — о ее постановке в Германии в разгар войны нечего было и думать, — обращались ко мне с просьбой закрепить за ними право на ее первую постановку в мирное время; даже сторонники продолжения войны вели себя более сдержанно и почтительно. Я ожидал всего, только не этого.

Что случилось? Да ничего, кроме того, что война длилась уже целых два с половиной года: время действовало отрезвляюще. После ужасного кровопролития на полях сражений возбуждение начало угасать. Люди смотрели в лицо войне уже поостывшими, более трезвыми, чем в первые месяцы воодушевления, глазами. Прежнего единодушия не было, ибо никто уже ни в малейшей степени не верил в великое «нравственное очищение», столь восторженно провозглашенное философами и поэтами. Единство народа дало глубокую трещину; страна словно распалась на две отдельные территории: впереди — территория солдат, которые сражались и испытывали ужасные лишения, позади — территория оставшихся в тылу, тех, кто продолжал жить беспечно, кто заполнял театры, да еще зарабатывал на бедствиях других. Фронт и тыл размежевывались друг от друга все более резко. В двери учреждений в сотнях масок прокрался бесстыдный протекционизм; знали, что кое-кто с помощью денег или солидных связей получает прибыльные поставки, в то время как недобитую половину крестьян и рабочих вновь и вновь загоняют в окопы. Каждый поэтому без зазрения совести помышлял лишь о себе. Из-за беззастенчивой спекуляции предметы первой необходимости с каждым днем дорожали, все сильнее сказывалась нехватка продовольствия, а над серым болотом массовой нищеты фосфоресцировала, словно болотные огни, вызывающая роскошь нажившихся на войне. Горькое разочарование начало постепенно охватывать население — разуверялись в деньгах, которые все больше обесценивались, в генералах, офицерах, дипломатах, исчезла вера в любые официальные сообщения правительства и генерального штаба, было утрачено доверие к газетам с их сообщениями, к самой войне, вера в необходимость ее. Следовательно, причиной, обусловившей неожиданный успех моей книги, были не ее художественные достоинства — просто я высказал то, о чем другие открыто говорить не осмеливались: об отвращении к войне, о неверии в победу.

Воплотить подобный замысел в живом звучащем слове на сцене было, разумеется, невозможно. Это неизбежно вызвало бы недовольство, и я полагал, что мне придется

отказаться от надежды увидеть постановку этой первой антивоенной пьесы во время войны. Но тут я неожиданно получаю от директора цюрихского городского театра известие о том, что он намерен немедленно поставить у себя моего «Иеремию» и приглашает меня на премьеру. Тогда я упустил из памяти, что еще существует — как и в этой, второй войне — один крохотный, но драгоценный кусочек немецкой земли, которому даровано благо держаться в стороне, — демократическая страна, где слово оставалось пока свободным, а разум непомраченным. Само собой, я тотчас же согласился.

На этом этапе, разумеется, от меня требовалось лишь принципиальное согласие, ибо оно предполагало разрешение на какое-то время оставить службу и страну. Но, к счастью, во всех воюющих странах имелся — в эту вторую войну вообще не учрежденный — отдел, который назывался «Пропаганда культуры». Всегда, чтобы сделать понятной разницу в духовной атмосфере первой и второй мировых войн, необходимо указывать на то, что тогда страны, вожди, кайзеры, короли, воспитанные на традициях гуманизма, безотчетно еще стыдились войны. Одна страна за другой отвергали как гнусную клевету обвинения в «милитаризме», более того, каждая стремилась показать, доказать, объяснить, продемонстрировать, что является «культурной нацией». В 1914 году агитировали за мир, который культуру ставил бы выше насилия, а к пропагандистским лозунгам вроде «*sacro egoismo*»¹ и «жизненного пространства» относился бы с отвращением как к безнравственным; ничего не отстаивали более упорно, чем признание общечеловеческих духовных творений. Во всех нейтральных странах поэтому культурная жизнь была ключом. Германия посылала свои оркестры под руководством всемирно известных дирижеров в Швейцарию, в Голландию, в Швецию; Вена — свой филармонический оркестр; направлялись даже поэты, писатели, ученые, и не для того, чтобы прославлять военные подвиги или восхвалять политику захвата, но единственно для того, чтобы своими стихами, своими произведениями доказать, что немцы — не «варвары» и создают не только огнеметы или высокоэффективные отравляющие вещества, но также подлинные и значимые для Европы ценности. В те дедовские времена 1914—1918 годов — я вынужден снова и снова это подчеркивать — мировая совесть была еще фактором, с которым считались;

¹ Священный эгоизм (*итал.*).

творцы прекрасного, высоконравственная часть нации представляли собой еще силу, оказывавшую свое воздействие, правительства еще стремились завоевать симпатии народа, а не расправлялись с людьми, как Германия 1939 года, дубинками бесчеловечного террора. Таким образом, положительный ответ на мое прошение об отпуске в Швейцарию на премьеру пьесы был вполне возможен; в худшем случае трудности могли возникнуть из-за того, что речь шла об антивоенной пьесе, в которой австриец — пусть даже в символической форме — предвосхищал возможное поражение. Я обратился к начальнику отдела министерства и изложил ему мою просьбу. К моему вящему удивлению, он сразу же поддержал ее, причем с необычной мотивировкой: «Ведь вы, слава Богу, никогда не принадлежали к бездумным глашатаям войны. Вот и сделайте там все возможное, чтобы поскорее покончить с нею». Через четыре дня я получил отпуск и иностранный паспорт.

* * *

Я был до некоторой степени обескуражен тем, что так откровенно высказал один из высших чиновников австрийского министерства в разгар войны. Но, не посвященный в тайные ходы политики, я не предполагал, что в 1917 году, при новом императоре Карле, в высших правительственных кругах уже исподволь началось движение против диктата германской военщины, которая кровожадно продолжала вести Австрию на поводу своего оголтелого аннексионизма. В нашем генеральном штабе возмущались высокомерием Людендорфа, в ведомстве иностранных дел решительно протестовали против неограниченной подводной войны, которая сделала нашим врагом Америку, даже народ роптал по поводу «прусского зазнайства». Все это выражалось пока лишь в осторожных намеках да якобы ненароком оброненных словах. Но вскоре мне привелось узнать еще больше и раньше других неожиданно соприкоснуться с одной из самых важных в ту пору политических тайн.

А произошло это так: по пути в Швейцарию я на два дня остановился в Зальцбурге, где приобрел себе дом, намереваясь жить здесь после войны. В этом городе имелся узкий круг ревностных католиков, двоим из которых суждено было, став канцлерами, сыграть важную роль в послевоенной истории Австрии — Генриху Ламмашу и Игнацу Зейпелю. Первый был одним из самых выдающихся правоведов

своего времени и на Гаагских конференциях занимал место в президиуме, другому, Игнацу Зейпелю, католическому священнику необычайной эрудиции, предназначено было взять в свои руки руководство урезанной Австрией после падения австрийской империи и на этом посту блистательно подтвердить свой политический талант. Оба они были решительные пацифисты, ортодоксальные католики и истинные патриоты Австрии и как таковые ненавидели германский, прусский, протестантский милитаризм, который они считали несовместимым с традиционными идеалами Австрии и ее католической миссией. Моя драма «Иеремия» нашла в этих религиозно-пацифистских кругах самую горячую поддержку, и надворный советник Ламмаш — Зейпель тогда находился в отъезде — пригласил меня к себе в Зальцбурге. Благородный старый ученый очень сердечно говорил со мной о моей книге: она облекает в плоть и кровь нашу австрийскую идею терпимости, и он твердо верит, что ее влияние выйдет далеко за пределы литературы. И к моему изумлению, он поведал мне, человеку, которого видел впервые, с откровенностью, говорившей о его личной смелости, что мы в Австрии находимся перед решающим поворотом. После выхода из войны России ни для Германии, если та пожелает отказаться от своих агрессивных планов, ни для Австрии нет больше серьезных препятствий для мира; этот момент нельзя упускать. Если пангерманская клика в Германии и дальше будет сопротивляться переговорам, то Австрии следует взять инициативу в свои руки и действовать самостоятельно. Он намекнул мне, что молодой император Карл одобрил эти планы; возможно, уже в ближайшем будущем станут заметны результаты его личной политики. Все теперь зависит от того, хватит ли у Австрии решимости на претворение в жизнь вместо «победного мира», которого требует, невзирая ни на какие жертвы, германская военная партия, «мира соглашательского». В крайнем случае Австрии, прежде чем германский милитаризм вовлечет ее в катастрофу, необходимо будет выйти из союза. «Никто не может обвинить нас в измене, — сказал он твердо и решительно. — У нас более миллиона погибших. С нашей стороны достаточно и дел и жертв. Отныне ни одной человеческой жизни, ни единой для германского мирового господства!»

У меня перехватило дыхание. Обо всем этом мы не раз думали про себя, но ни у кого не доставало мужества сказать прямо: «Вовремя отречемся от немцев и их политики аннексий», ибо такое высказывание могло быть расценено как

«предательство братьев по оружию». А здесь это говорил человек, который, как мне было известно, в Австрии пользовался доверием императора, а за рубежом, в связи с его деятельностью в Гааге, самым высоким авторитетом, — говорил мне, чуть ли не постороннему, и с таким спокойствием и решительностью, что я сразу почувствовал, что идея о сепаратных переговорах Австрии давно уже находится не на стадии подготовки, а проводится в жизнь. Идея была смелой: склонить Германию к переговорам угрозами о сепаратном мире или же, если это не поможет, такую угрозу осуществить; история подтверждает, что то было единственной, последней возможностью, которая в то время могла бы спасти австрийскую империю, монархию и, возможно, Европу. К сожалению, для претворения этой идеи в жизнь недоставало первоначальной решимости. Император Карл действительно направил в Клемансо брата своей жены, принца Пармского, чтобы, без согласования с берлинским двором, проведать о возможности мира, а быть может, начать и сами переговоры. Каким образом об этой тайной миссии провела Германия, думаю, еще не до конца выяснено; роковым образом у императора Карла не хватило мужества открыто отстаивать свою позицию, то ли из-за того — как утверждают некоторые, — что Германия угрожала военным вторжением в Австрию, то ли потому, что он, как один из Габсбургов, страшился нарушить клятву и в решающий момент расторгнуть заключенный Францем Иосифом и столь обильно скрепленный кровью союз. Во всяком случае, на пост премьер-министра он призвал не Ламмаша или Зейпеля, католиков-интернационалистов, единственных, у кого достало бы духовных сил, следуя нравственным убеждениям, принять на себя «позор» откола от Германии, и это промедление императора Карла оборотилось гибелью. Оба эти человека стали премьер-министрами уже в изувеченной Австрийской республике, а не в старой империи Габсбургов, тогда же никто бы не был более способен отстоять перед миром эту мнимую несправедливость, чем эти значительные и авторитетные личности. Прямой угрозой разрыва или самим разрывом Ламмаш спас бы не только существование Австрии, но и Германию от ее самой страшной беды — безудержного стремления к аннексии. Европа оказалась бы в лучшем положении, если бы план, о котором поведал мне тогда мудрый и глубоко религиозный человек, не был погублен инертностью и косностью.

На следующий день я продолжил свой путь и пересек швейцарскую границу. Трудно даже представить, что означал тогда переход из наглухо закрытой, недоедавшей воюющей страны в нейтральную. Всего несколько минут от одной станции до другой, но в первую же секунду тебя охватывало такое чувство, словно ты вдруг попал из затхлого, спертого воздуха в крепкий, напоенный снегом, ты чувствовал своего рода опьянение, которое распространялось по всему телу. Через несколько лет, когда я из Австрии снова проезжал мимо этой станции Букс (название которой никогда не осталось бы у меня в памяти), у меня вновь на мгновение возникло ощущение этого долгожданного вздоха облегчения. Ты не успел спрыгнуть с подножки, как в тебе всколыхнулось все то, о чем ты уже забыл, что раньше казалось таким привычным: здесь были налитые золотом апельсины, бананы, тут свободно лежали шоколад и ветчина, которые у нас можно было достать лишь из-под прилавка, хлеб и мясо здесь были без карточек — и пассажиры действительно набросились, как голодные звери, на эту недорогую роскошь. Тут был телеграф, почта, откуда можно было без всякой цензуры писать и телеграфировать во все концы света. Здесь лежали французские, итальянские, английские газеты, и их можно было безнаказанно купить, развернуть и читать. Здесь, на расстоянии пяти минут пути, запретное было разрешено, тогда как по ту сторону — запрещено разрешенное. Благодаря такому тесному соседству особенно ощутимым становилось все безумство европейских войн; там, по ту сторону границы, в маленьком городке, вывески магазинов которого можно было прочесть невооруженным глазом, из каждого дома, из всякого убежища выволакивали мужчин и отправляли на Украину или в Албанию, где бы они убивали или были убиты, — а здесь, на расстоянии в пять минут ходьбы, мужчины того же возраста мирно сидели со своими женами перед увитыми плющом домами и курили свои трубки; я невольно спросил себя: может быть, и рыбы в этой пограничной речушке на правой стороне ведут войну, а по левую сторону — нейтральны? За одну ту секунду, в которую я пересек границу, я начал думать иначе, свободнее, чувствовать более взволнованно, поступать менее осмотрительно, и уже буквально на следующий день я испытал, насколько пребыванием в воюющей стране подорвано не только наше моральное

состояние, но и физическое самочувствие: когда я в гостях у родственников после еды безмятежно выпил чашечку черного кофе, да еще к тому же выкурил гаванскую сигару, то в глазах все вдруг поплыло и у меня началось сильное сердцебиение. Мое тело, мои нервы после многих месяцев всяческих эрзацев оказались уже неспособны ответить настоящего кофе и хорошего табака; и тело тоже после ненормальных условий войны должно было приспособливаться к нормальным условиям мирной жизни.

Это опьянение, это приятное головокружение отразилось и на настроении. Каждое дерево казалось мне красивее, каждая гора выше, каждый пейзаж радовал сильнее, ибо в охваченной войной стране мирный благоухающий луг предстает омраченному взору как вопиющее предательство природы, каждый багряный закат напоминает о пролитой крови; здесь, в нормальном состоянии мира, благородная отрешенность природы вновь обрела свою естественность, и я любил Швейцарию, как никогда раньше. Всегда я с охотой ехал в эту небольшую, но замечательную и бесконечно многоликую страну. Никогда, однако, не осознавал я ее роли так сильно: швейцарская идея мирного сосуществования наций на общей территории, эта мудрейшая максима, благодаря взаимному уважению и осуществленной на деле демократии рождающая братство вопреки языковым и национальным различиям, — какой пример для нашей совершенно свихнувшейся Европы! В течение столетий обитель мира и свободы, терпимая по отношению к любым убеждениям при неукоснительном сохранении самобытности, — сколь важным для нашего мира оказалось существование этого единственного наднационального государства! По праву, думалось мне, эта страна благословенна красотой и одарена богатством. Нет, здесь ты не будешь чужим; свободный, независимый человек чувствовал себя в этот трагический для мира период здесь дома больше, чем в своем собственном отечестве. Часами бродил я по ночным улицам Цюриха и по берегу озера. Мирно светили огни. Люди здесь жили тихой, безбедной жизнью. Мне казалось, будто я вижу, что женщины за окнами в своих постелях не лежат без сна от дум о своих сыновьях; я не видел раненых, искалеченных, не видел молодых солдат, — которых завтра-послезавтра должны погрузить в поезд, — здесь жизнь твоя казалась более осмысленной, в то время как в воюющей стране ты чувствовал смущение или даже вину за то, что еще цел и невредим.

Но самым главным для меня были не переговоры по

поводу премьеры, не встречи со швейцарскими и зарубежными друзьями. Прежде всего я хотел увидеть Роллана, человека, о котором я знал, что это именно он сделал меня сильнее, зорче и решительнее, и я хотел поблагодарить его за то, что дала мне его поддержка, его дружба в дни жесточайшего душевного одиночества. Первым делом я должен был увидеть его, и я тотчас отправился в Женеву. По существу, мы, как «враги», оказались теперь в довольно сложной ситуации. Правительствам воюющих стран, разумеется, было совсем не по вкусу, что между гражданами происходит на нейтральной территории личное общение. Но, с другой стороны, это нигде не запрещалось никаким законом. Не имелось ни одной статьи, по которой за такое общение следовало бы наказание. Запрещено и приравнено к предательству было лишь деловое общение — «делка с врагом», — и, чтобы нас не смогли бы заподозрить и в малейшем нарушении этого запрета, мы избегали даже того, чтобы угоститься сигаретой у друзей, ибо, без сомнения, находились под непрерывным наблюдением бесчисленных агентов. Чтобы избежать любого подозрения, будто мы чего-то опасаемся или у нас нечиста совесть, мы, друзья из разных стран, избрали простейший способ: ничего не скрывать. Мы писали друг другу не на условные адреса или *poste restante*¹, не пробирались друг к другу тайком по ночам, а вместе ходили по улицам и открыто сидели в кафе. Так, внизу, у портье в гостинице — сразу же по прибытии в Женеву, — я, записавшись полным именем, пожелал поговорить с господином Роменом Ролланом, чтобы и немецкой, и французской спецслужбам все упростить; они могли доложить, кто я и кого посетил; нам же, старым друзьям, разумеется, не к чему было избегать друг друга из-за того, что мы по воле судьбы принадлежим к двум разным народам, находящимся в данный момент в состоянии войны. Мы не считали себя обязанными участвовать в абсурде потому, что сам мир вел себя абсурдно.

И вот я наконец в его комнате — она мне показалась почти такой же, как в Париже. Здесь, как и там, стояли стол, заваленный книгами, и кресло. Гора журналов лежала на письменном столе, письма и бумаги, это была та же самая скромная и в то же время связанная со всем миром рабочая келья отшельника, дух которой везде, где бы он ни оказался, определялся складом его натуры. В первое мгновение я не мог найти слов для приветствия, мы подали друг

¹ До востребования (*франц.*).

другу лишь руки — первая французская рука, которую после долгих лет мне довелось пожать; Роллан был первым французом, с которым я говорил за последние три года, — но за эти три года мы сблизились еще больше. Я говорил на чужом языке доверительнее и более открыто, чем с кем бы то ни было на родном дома. Я прекрасно понимал, что друг, стоявший передо мной, — величайший человек современности, что он — чистая совесть Европы. Только теперь я мог оценить, как много он сделал и делает своей самоотверженной борьбой за взаимопонимание. Работая днем и ночью, всегда один, без помощников, без секретаря, он следил за всеми выступлениями во всех странах, переписывался с несметным количеством людей, которые просили у него совета в делах совести, исписывал каждый день много страниц своего дневника; как ни в ком из современников, в нем жила ответственность свидетеля исторического момента, и он понимал ее как долг отчитаться об этом времени перед грядущим. (Где они сегодня, те бесчисленные рукописные тома дневников, которые когда-нибудь дадут полное представление обо всех нравственных и духовных коллизиях первой мировой войны?) В то же время он публиковал статьи, каждая из которых вызвала тогда международные отклики, работал над романом «Клерамбо»¹ — это было самоотвержение, беззаветное, беспрестанное, жертвенное самоотречение всей жизни ради безмерной ответственности, которую он взял на себя: действовать во время этого припадка безумия человечества безупречно и по-человечески справедливо даже в самой мелочи. Он не оставлял без ответа ни одного письма, непрочитанной ни одну брошюру по проблемам современности; этот слабый, хрупкий человек, здоровью которого именно в ту пору грозила особая опасность, говоривший только тихо и постоянно перевозмывавший кашель, человек, который не мог выйти без накинутого шарфа и которому приходилось останавливаться после каждого быстрого шага, нашел в себе столько силы, сколько потребовало от него то невероятное время. Ничто не могло поколебать его, никакая травля, никакое злопахательство; бесстрашно и прозорливо вглядывался он во всемирное столпотворение. Здесь я встретил иной героизм — духовный, нравственный, словно памятник героизму в живом человеке; даже в моей книге о Роллане я сумел передать все это не в полной мере (ибо всегда трудно отдать

¹ Роман Р. Роллана «Клерамбо» (1920) имеет подзаголовок «История одной свободной совести во время войны». — *Прим. перев.*

должное живущим). Насколько я был тогда потрясен и, если так можно сказать, «очищен», когда увидел его в этой крохотной комнате, из которой исходило во все стороны света невидимое, придающее силы излучение; это чувство осталось во мне надолго, и я знаю: распрямляющая спину, ободряющая сила, которую в ту пору излучал Роллан, один или почти один противостоявший бессмысленной ненависти миллионов, принадлежит к тем неуловимым явлениям, которые не поддаются никакому измерению или учету. Лишь мы, свидетели того времени, знаем, что значила тогда его деятельность, его личность и его беспримерная стойкость. Он стал хранителем совести обезумевшей Европы.

В беседах того вечера и последующих дней меня глубоко трогала его тихая грусть, которая окрашивала каждое его слово, та же печаль, которая звучала у Рильке, когда он говорил о войне. Он был полон горечи от действий политиканов, людей, которым для удовлетворения своего национального тщеславия было все еще недостаточно жертв. Но вместе с тем всегда ощущалось сострадание к несметному числу тех, кто страдал и умирал за «идею», которая им самим была непонятна и на самом деле была просто бессмыслицей. Он был полон решимости независимо, авторитетом собственной личности служить делу, которому он поклонялся, — сплочению народов. Так же как он не требовал ни от кого следования своим идеям, он отказывался от любого обязательства. Он признавал право всех на нравственную свободу и сам подавал пример в меру своих сил, оставаясь свободным и верным своему убеждению даже наперекор целому миру.

* * *

В Женеве в первый же вечер я познакомился с небольшой группой французов и других иностранцев, которые объединились вокруг двух небольших независимых газет: «Ля фэй» и «Демэн», — П. Ж. Жувом, Рене, Франсом Мазерелем. Мы сблизились с таким воодушевлением, какое обычно присуще молодости. Но инстинктивно мы чувствовали, что стоим на пороге совсем иной жизни. Большинство наших старых связей из-за «патриотического» ослепления прежних товарищей распалось. Нужны были новые друзья, а поскольку мы находились на одном «фронте», в одном идейном стане против общего врага, то стихийно между нами возникло некое страстное содружество; буквально

через день мы настолько доверяли друг другу, словно были знакомы годы, и, как водится на фронте, обращались друг к другу на братское «ты». Подвергаясь личной опасности, мы все — «we few, we happy few, we band of brothers»¹ — ощущали также беспрецедентную дерзость нашего совместного пребывания: мы знали, что в пяти часах пути отсюда каждый немец, который выследил француза, каждый француз, который выследил немца и заколол его ударом штыка или разорвал на куски ручной гранатой, получал за это награду; что миллионы и там и тут мечтали лишь о том, чтобы уничтожить друг друга и стереть с лица земли, что газеты писали о «противнике» лишь с пеной ненависти у рта, в то время как мы, крохотная горстка среди многих миллионов, не только мирно сидели за одним столом, но и ощущали самое неподдельное, осознанное братство. Мы знали, что тем самым противопоставляем себя всему официальному и приказному, мы знали, что, открыто заявляя о верности нашей дружбе, подвергали себя опасности, исходившей со стороны наших государств; но именно опасность нашего дерзновенного содружества приводила нас чуть ли не в восторг. Мы шли на риск и наслаждались ощущением этого риска, ибо сам он придавал нашему протесту особый смысл. Так, я (факт уникальный в этой войне) публично выступал вместе с П. Ж. Жувом в Цюрихе — он читал свои стихи по-французски, я отрывки из моей драмы «Иеремия» — по-немецки; но, именно открыв свои карты, мы показали, что были честны в этой смелой игре. Что об этом думали в наших консульствах и посольствах, нам было безразлично, даже если мы, подобно Кортесу, сжигали тем самым корабли для возвращения. Ибо до глубины души были проникнуты убеждением, что «предатели» не мы, а те, кто гуманистическое предназначение поэта готов в любую минуту предать. А как самоотверженно они жили, эти молодые французы и бельгийцы! И среди них Франс Мазерель, который своими гравюрами на наших глазах, запечатлевая на дереве ужасы войны, создал непреходящую художественную память о войне — эти незабываемые чернобелые листы, по силе и страсти не уступающие даже «Desastros de la guerra»² Гойи. День и ночь неустанно резал этот мужественный человек фигуры и сцены на немом дереве; узкая комната и кухня накопили горы этих деревянных дощечек, но каждое утро «Ля фэй» публиковала какое-

¹ Нас мало, мы немногие счастливицы, мы — союз братьев (*англ.*).

² «Бедствия войны» (*исп.*).

нибудь новое из его обвинений в рисунке, и каждый рисунок возлагал вину не на тот или другой народ, а на нашего общего врага — войну. Как мы мечтали, чтобы их можно было сбрасывать с самолетов вместо бомб, как листовки, над городами и окопами, эти без слов, без знания языка понятные каждому, даже самому непонятливому, гневные, ужасающие, клеймящие позором разоблачения; они — я убежден в этом — сократили бы время этой войны. Но, к сожалению, они появлялись лишь в небольшой газетке «Ля фэй», которая почти не была известна за пределами Женевы. Все, что мы говорили и пытались предпринять, замыкалось в тесном швейцарском кружке и могло оказать влияние только тогда, когда уже было поздно. В душе мы не обольщались относительно наших возможностей в борьбе против механизмов генеральных штабов и политических ведомств, и если нас не преследовали, то, скорее всего, потому, что мы, подавленные, как наше слово, скованные, как наша инициатива, не могли быть опасны. Но именно то, что мы знали, как мы малочисленны, как одиноки, спланивало нас теснее — плечо к плечу, сердце к сердцу. Никогда впоследствии, в зрелые годы, я не наслаждался дружбой с такой полнотой, как тогда в Женеве, и эта дружба выдержала испытание временем.

* * *

С психологической и исторической точек зрения (но не с художественной) примечательнейшим явлением в этой группе был Анри Гильбо; в нем я более убедительно, чем в ком бы то ни было другом, видел подтверждение непреложного закона истории, гласящего, что в эпохи стремительных переворотов, в частности во время войны или революции, стойкость и отвага зачастую стоят больше, чем интеллектуальные достоинства, а пылкое гражданское мужество может быть более решающим, чем характер и твердость. Всегда, когда время стремительно летит вперед и обгоняет самое себя, натуры, которые способны без всяких колебаний броситься в волны, побеждают. И как много, по сути дела, эфемерных субъектов вынесло, опережая самое себя, оно тогда — Бела Кун, Курт Эйсер — на должности, до которых нравственно они не доросли! Гильбо, тщедушный, светловолосый человечек с колючими, бегающими серыми глазами и неплохо подвешенным языком, не был талантлив. Хотя именно он перевел лет за десять до того мои стихи

на французский язык, я должен честно сказать, что его литературные способности были невелики. Выразительность его языка была вполне заурядна, знания неглубоки. Его сильной стороной была способность к полемике. По складу своего характера он относился к тем людям, которые всегда «против» — все равно против чего. Он чувствовал себя хорошо лишь тогда, когда мог сражаться со всеми как настоящий гамен и с ходу набрасываться на то, что превосходило его самого. До войны в Париже он то и дело — и это несмотря на свою в общем добродушную натуру — напрапалую полемизировал в литературе как с целыми направлениями, так и с отдельными лицами, затем подвизался во всех радикальных партиях, и ни одна из них не окзалась для него достаточно радикальной. Но вот во время войны он как антимилитарист неожиданно обрел гигантского противника: мировую бойню. Нерешительность, трусость большинства и опять-таки его отвага, безрассудная смелость, с которой он бросился в бой, на какое-то мгновение сделали его в мире видным и даже незаменимым. Его влекло как раз то, что других отпугивало: опасность. И то, что он оказался намного бесстрашнее других, придало этому, по существу, незначительному литератору внезапную величину и возвысило его публицистические, его бойцовские способности — феномен, который можно обнаружить и в эпоху Французской революции в судьбе дотоле невидных адвокатов и юристов Жиронды. В то время как другие молчали, в то время как и мы колебались и по каждому поводу тщательно взвешивали, что делать, а где и выждать, он решительно брался за дело, и неотъемлемой заслугой Гильбо останется то, что он руководил основанным им же, единственным во время первой мировой войны имевшим влияние антивоенным журналом «Демэн» — тем документом, который, хотя бы постфактум, должен прочесть каждый, кто хочет по-настоящему понять духовные течения той эпохи. Он, отвечая нашим нуждам, явился центром интернациональной, наднациональной дискуссии в разгар войны. То, что за ним стоял Роллан, определило значение журнала, ибо благодаря моральному авторитету и связям писателя журнал мог привлечь к сотрудничеству в нем виднейших представителей Европы, Америки и Индии. С другой стороны, находившиеся еще в ту пору в эмиграции революционеры из России — Ленин, Троцкий и Луначарский — прониклись доверием к радикализму Гильбо и регулярно писали для «Демэн». Таким образом, в мире в течение года-полтора не было более интересного, более независимого

журнала, и если бы он пережил войну, то стал бы, возможно, определяющим по воздействию на общественное мнение. Одновременно Гильбо взял на себя в Швейцарии представительство радикальных французских групп правых, которых Клемансо жестокой рукой лишил возможности действовать. На знаменитых конгрессах в Кинтале и Циммервальде, где социалисты, верные интернационализму, отмежевывались от неожиданных патриотов, он сыграл историческую роль; ни одного француза, даже того капитана Садуля, который перешел в России к большевикам, в парижских политических и военных кругах во время войны не опасались и не ненавидели так, как этого светловолосого человечка. В конце концов французской контрразведке удалось устроить ему ловушку. В гостинице в Берне из комнаты немецкого агента были выкрадены листы промокательной и копировальной бумаги, которые доказывали — разумеется, *не больше* того, — что германская разведка выписала несколько экземпляров «Демэн» — сам по себе безобидный факт, так как эти экземпляры, вероятнее всего, при немецкой дотошности, предназначались различным библиотекам и ведомствам. Но для Парижа это сочли достаточным поводом, чтобы объявить Гильбо купленным Германией агитатором и привлечь его к ответственности. Он был приговорен *in contumaciam*¹ к смерти — более чем несправедливо, что, собственно, и подтверждает тот факт, что спустя десять лет этот приговор был отменен на кассационном процессе. Но вскоре, помимо этого, он из-за своей резкости и нетерпимости, постепенно становившихся опасными и для Роллана, и для нас всех, вступил в конфликт со швейцарскими властями, был арестован и заключен в тюрьму. Спас его только Ленин, который испытывал к нему личную склонность, а также в благодарности за оказанную в тяжелейшее время помощи, одним росчерком пера превратив его в гражданина России и позволив ему во втором запломбированном поезде прибыть в Москву. Теперь, пожалуй, он мог бы развернуться во всю свою мощь. Ибо в Москве ему, имевшему за плечами все заслуги настоящего революционера, тюрьму и смертный приговор *in contumaciam*, во второй раз были предоставлены все возможности действовать. Но на самом деле оказалось, что Гильбо был отнюдь не природным вождем, а лишь, как многие поэты периода войны и политики революции, рыцарем на час; такие раздвоенные натуры после неожиданных взлетов

¹ Заочно (лат.).

в конце концов уходят в самих себя. В России, как в свое время в Париже, неизлечимый спорщик, он растратил свои способности на мелкие перебранки и склоки и постепенно испортил отношения даже с теми, кто уважал его смелость, — сначала с Лениным, а затем с Барбюсом и Ролланом и в конце концов со всеми нами. Как в Женеве благодаря поддержке Роллана, в России благодаря доверию Ленина он мог бы сделать много положительного в строительстве новой жизни; с другой стороны, в силу проявленного им во время войны мужества едва ли кто-нибудь другой после войны был предназначен играть во Франции решающую роль в парламенте и обществе, так как все радикальные группы видели в нем настоящего, активного, мужественного человека, прирожденного вождя. Он кончил, когда все улеглось, как и начал: не заслуживающими внимания брошюрами и никчемными пререканиями; совсем безвестный, он вскоре после его помилования умер в каком-то уголке Парижа. Отважнейший и храбрейший в войне против войны, оказавшийся на высоте в свой час, имевший задатки к тому, чтобы стать одной из крупнейших фигур нашей эпохи, сегодня он полностью забыт — и я, быть может, один из последних, кто вспоминает о нем с благодарностью за выступления его «Демэн» во время войны.

Из Женевы я через несколько дней возвратился в Цюрих, чтобы начать переговоры о постановке моей пьесы. Я давно любил этот город за его красивое расположение у озера в тени гор, за его благородную, немного консервативную культуру. Но в связи с тем, что мирная Швейцария оказалась между воюющими странами, Цюрих распротился со своей тишиной и в одну ночь стал важнейшим центром Европы, средоточием всех духовных течений, а также, разумеется, и всевозможных дельцов, спекулянтов, лазутчиков, пропагандистов, на которых местное население из-за этой нежданной любви к их городу смотрело с весьма оправданным недоверием... В ресторанах, кафе, трамваях, на улицах звучали все наречия. Повсюду встречались знакомые, приятные и неприятные, и ты попадал, хотел этого или нет, в водоворот живейших дискуссий. Ибо существование всех этих людей, волею судьбы всплывавших на поверхность, было связано с исходом войны: одни — выполнявшие задания своих правительств; преследуемые и объявленные вне закона — другие; но каждый из них был вырван из своей привычной жизни, брошен на волю случая, в неизвестность. Поскольку у всех них не было дома, они постоянно искали дружеского участия, и, не имея возможности влиять на

военные и политические события, они день и ночь дискутировали, охваченные своего рода духовной лихорадкой, которая одновременно и бодрила, и утомляла. И в самом деле, нелегко было воздержаться от желания говорить, после того как дома месяцы и годы держал рот на замке, тянуло писать, печататься, с тех пор как вновь обрел право свободы думать и высказываться; каждый в отдельности был возбужден до предела, и даже заурядные личности — как я показал это на примере Гильбо — становились интереснее, чем были до того или станут потом. Здесь можно было встретить писателей и политиков всевозможных направлений и национальностей: Альфред Х. Фрид, лауреат Нобелевской премии, издавал здесь «Фриденсварте»; Фриц фон Унру, ранее прусский офицер, читал нам свои драмы; Леонгард Франк написал волнующую книгу «Человек добр»; Андреас Лацко вызвал сенсацию своими «Людьми на войне»; Франц Верфель приехал сюда для выступления; я встречал в моем старом «Отеле Швердт», где в свое время останавливались Казанова и Гёте, людей всех национальностей. Я видел русских, которых затем сделала известными революция и настоящие имена которых я так никогда и не узнал; итальянцев — католических духовных лиц; непримиримых социалистов и сторонников германской военной партии; из швейцарцев нас поддерживали блистательный пастор Леонард Рагац и поэт Роберт Фези. Во французском книжном магазине я встретил моего переводчика Поля Мориса, в концертном зале — дирижера Оскара Фрида, все были здесь, заглядывали сюда проездом. Можно было слышать все мнения, самые абсурдные и самые разумные; раздражаться и воодушевляться; основывались журналы, завязывались споры; противоречия сглаживались или усиливались; образовывались или распадались группы; никогда потом не встречалось мне более пестрое и более живое смешение людей и мнений в столь сложной и вместе с тем накаленной обстановке, чем в эти цюрихские дни, точнее сказать, ночи (ибо дискутировали, пока в кафе «Бельвию» или кафе «Одеон» не гасили свет, после чего зачастую перебирались к кому-нибудь на квартиру). Никто не замечал в этом обетованном крае всех его красот, гор, озер и их умиротворяющего покоя; жили газетами, сообщениями и слухами, мнениями и дискуссиями. И странно: война здесь духовно переживалась, по сути дела, интенсивнее, чем на воюющей родине, потому что проблема здесь как бы объективировалась и совершенно отрывалась от национальных интересов войны и мира. Ее рассматривали не с политичес-

кой точки зрения, а с европейской, как ужасающее и гигантское событие, которому суждено изменить не только несколько пограничных линий на географической карте, но и будущее устройство нашего мира.

* * *

Наиболее привлекали к себе мое внимание — словно меня уже коснулось предчувствие собственной будущей судьбы — люди без родины или, того хуже, те, кто вместо одного отечества имели два или три и по-настоящему не знали, какому они принадлежат. В углу кафе «Одеон» обычно в одиночестве сидел молодой человек с маленькой каштановой бородкой; острые темные глаза за чрезвычайно толстыми стеклами очков; мне сказали, что это очень талантливый английский писатель. Когда через несколько дней я познакомился с Джеймсом Джойсом, он резко отверг всякую принадлежность к Англии. Он — ирландец. Хотя он и пишет на английском языке, однако думает не на английском и не желает думать на английском. «Мне бы хотелось иметь язык, — сказал он мне тогда, — который стоит над всеми языками, язык, которому служат все другие. На английском я не могу выразить себя полностью, не придерживаясь тем самым какой-либо традиции». Я это не совсем понимал, потому что не знал, что он уже тогда писал своего «Улисса»; он одолжил мне лишь свою книгу «Портрет художника в юности», единственный экземпляр, который у него был, и маленькую драму «Улисс в изгнании», которую я тогда даже хотел перевести, чтобы помочь ему. Чем больше я его узнавал, тем больше он поражал меня своим фантастическим знанием языков; за этим круглым, крепко сбитым лбом, который при свете электричества светился, словно фарфоровый, были спрессованы все слова всех языков, и он играл ими по очереди самым блистательным образом. Однажды, когда он спросил меня, как бы я передал по-немецки одно мудрое предложение в «Портрете художника», мы попытались сделать это вместе на итальянском и французском; на одно слово он находил в каждом языке четыре или пять, включая диалектные формы, и знал все оттенки их значения до мельчайших нюансов. Какая-то нескрываемая печаль почти не оставляла его, но я думаю, что это чувство было именно той силой, которая способствовала его духовным взлетам и творчеству. Его неприязнь к Дублину, к Англии, к определенным людям приняла в нем

форму движущей силы, реализующейся в его писательском труде. Но он, казалось, лелеял этот свой ригоризм; никогда я не видел его смеющимся или просто веселым. Всегда он производил впечатление затаившейся мрачной силы, и когда я встречал его на улице — узкие губы плотно сжаты, и шаг всегда тороплив, словно он куда-то спешит, — то я еще сильнее, чем в наших беседах, ощущал стремление его натуры защититься, внутренне изолироваться. И позднее я несколько не был удивлен, что именно он написал самое сиротливое, самое «обездоленное», словно метеорит, стремительно ворвавшееся в наше время произведение.

Другим таким сыном двух наций был Ферруччо Бузони, по рождению и воспитанию итальянец, по образу жизни немец. С юношеских лет никого из виртуозов не любил я до такой степени. Когда он сидел за роялем, его глаза излучали чудесный, волшебный свет. Без всяких усилий его руки творили музыку неподражаемой красоты, а сам он, с его одухотворенным запрокинутым лицом, внимал поющей в нем мелодии. Своего рода просветление, казалось тогда, постоянно владеет им. Как часто в концертных залах я словно зачарованный смотрел на этот озаренный лик, в то время как звуки, вкрадчиво тревожащие и вместе с тем серебристо-чистые, проникали в самую душу. И вот я увидел его снова: волосы его были седыми, а под его глазами залегли густые тени печали. «Какой стране я принадлежу? — спросил он меня однажды. — Внезапно пробудившись ночью, я знаю, что во сне говорил по-итальянски. А если затем пишу, то думаю немецкими словами». Его ученики были рассеяны по всему свету — «возможно, один теперь стреляет в другого», — а к главному своему произведению, опере «Доктор Фауст», он еще не отважился приступить, потому что чувствовал себя выбитым из колеи. Чтобы поднять дух, он написал маленькую, легкую одноактную оперу, но туча висела над его головой всю войну. Редко я слышал теперь его замечательный раскатистый, его аретинский смех, который раньше мне так нравился. А однажды я встретил его поздно ночью в зале вокзального ресторана; он один выпил две бутылки вина. Когда я проходил мимо, он окликнул меня. «Глушу! — сказал он, указывая на бутылки. — Пить нельзя! Но иногда необходимо себя именно оглушить, иначе не вынести этого. Музыка помогает не всегда, а вдохновение приходит в гости лишь в добрые часы».

Но тяжелее всего, однако, двойственность положения была для эльзасцев, а среди них опять-таки наиболее тяже-

лой для тех, кто, как Рене Шикеле, сердцем был привязан к Франции, а писал на немецком языке. Война ведь, собственно говоря, шла за их землю, и коса резала прямо посередине через самое сердце. Их хотели разодрать надвое, заставить признать своей хозяйкой или Германию, или Францию, но они ненавидели это «или — или», которое было для них неприемлемо. Они, как и мы все, хотели видеть Германию и Францию сестрами, хотели согласия вместо вражды, а потому страдали за ту и другую, желая благополучия обеим.

А тут еще множество неустойчивых, смешанных браков: англичанки, вышедшие замуж за немецких офицеров, французские матери австрийских дипломатов, семьи, в которых один сын воевал здесь, а другой — там и родители ждали писем оттуда и отсюда; здесь — конфискация последнего имущества, там — лишение средств существования; и, чтобы избежать подозрения, которое их в равной мере преследовало и на старой и на новой родине, все эти расколотые семьи искали спасения в Швейцарии. Опасаясь скомпрометировать тех или других, они избегали говорить на каком-либо языке и прокрадывались повсюду как тени, униженные, надломленные люди. Чем больше человек жил Европой, тем более жестоко карал его кулак, который раздробил ее.

* * *

Тем временем близилась премьера «Иеремии». Она прошла с большим успехом, а наушническое сообщение «Франкфуртер цайтунг» в Германии о том, что на ней присутствовали американский посланник и некоторые видные представители союзников, не очень меня обеспокоило. Мы ощущали, что война, к этому моменту длившаяся уже три года, внутри воюющих стран былой поддержкой не пользовалась, и выступать против ее продолжения, вынуждаемого исключительно Людендорфом, было уже не столь опасно, как в первые часы угара. Окончательно все должно было решиться осенью 1918 года. Но я не хотел больше дожидаться этого в Цюрихе. Ибо постепенно я все более и более прозревал. В порыве воодушевления первых дней я ошибочно решил, что нашел в лице всех этих пацифистов и антимилитаристов истинных единомышленников, честных, решительных борцов за европейское взаимопонимание. Вскоре я осознал, что среди тех, кто изображал себя бежен-

цами и кто выдавал себя за героических мучеников идеи, были люди, стремящиеся следить за каждым и все вынюхивать, и некие темные личности, которые находились на службе у немецкой разведки и ею оплачивались. Спокойная, солидная Швейцария оказалась, как это мог вскоре установить на собственном опыте всякий, подточенной подрывной деятельностью тайных агентов из обоих лагерей. Горничная, которая опоражнивала мусорную корзину, телефонистка, официант, который обслуживал подозрительно медленно, состояли на службе у той или иной стороны, часто даже один и тот же агент на службе у обеих сторон. Чемоданы таинственным образом открывались, промокательная бумага фотографировалась, письма исчезали по пути на почту или с нее; в холлах гостиниц навязчиво улыбались элегантные женщины; удивительно энергичные пацифисты, о которых мы никогда не слышали, вдруг обьявлялись и приглашали подписать воззвание или бесцеремонно просили адреса «надежных» друзей. Один «социалист» предложил мне подозрительно большой гонорар за выступление в Ла-Шо-де-Фон¹ перед рабочими, которые об этом ничего не знали; постоянно надо было быть начеку. Уже вскоре я заметил, как немногочисленны были те, на кого можно было положиться, а поскольку я не хотел, чтобы меня вовлекли в политику, я все более ограничивал свое общение. Но и у надежных друзей во мне вызвала скуку бесплодность бесконечных дискуссий и эта сортировка на радикалов, либералов, анархистов, большевиков и внепартийные группировки; впервые я вблизи увидел вечный тип псевдореволюционера, который чувствует себя в своей незначительности возвышенным благодаря только своему оппозиционному положению и цепляется за догму, потому что не имеет опоры в себе самом. Остаться в этом болтливом скопище — значит окончательно запутаться самому, поддерживать ненадежные связи и подвергнуть опасности нравственную незапятнанность собственных убеждений. Поэтому я уединился. Фактически никто из этих кофейных заговорщиков не отваживался на заговор, из всех этих импровизированных мировых политиков ни один не способен был делать политику, когда это действительно стало необходимо. И когда наступили лучшие, послевоенные времена, они остались пребывать в своем мелочном, брюзжащем нигилизме, и лишь немногим художникам и после войны еще удалось создать значительные произведения. Это бурное время

¹ Рабочий район Цюриха. — *Прим. перев.*

делало их поэтами, спорщиками и политиками, и, как и всякая группа, которая своей общностью обязана сиюминутному стечению обстоятельств, а не выношенной идее, весь этот круг интересных, одаренных людей бесследно распался, как только не стало врага, с которым они боролись, — войны.

В качестве надежного пристанища я избрал — примерно в полудне пути от Цюриха — маленькую гостиницу в Рюшликоне, с холма которого открывалось все озеро и где-то в отдалении виднелись маленькие башни города. Здесь я мог видеть лишь тех, кого приглашал к себе сам, истинных друзей, и они приезжали: Роллан и Мазерель. Здесь я мог работать для себя и максимально использовать время, которое, как всегда, шло своим чередом. Вступление Америки в войну убедило всех, у кого не помутнело зрение и не испортился слух от патриотических фраз, что немецкое поражение неотвратимо; когда германский кайзер вдруг объявил, что отныне намерен править «демократично», мы поняли: колокол пробил. Признаюсь открыто: мы, австрийцы и немцы, вопреки языковой, духовной общности не могли дожидаться, чтобы неизбежное, когда оно уже стало неизбежным, свершилось скорее; и день, когда кайзер Вильгельм, поклявшийся бороться до последнего вздоха людей и лошадей, сбежал за границу, а Людендорф, который принес в жертву своему «победному миру» миллионы людей, в темных очках подался в Швецию, стал для нас днем надежды. Ибо мы верили — и весь мир тогда был с нами, — что с этой винной пришел конец «всем войнам вообще»: хищник, который опустошает наш мир, усмирен и даже уничтожен. Мы верили в замечательную программу Вильсона, которая полностью совпадала с нашей, мы видели на Востоке неясный свет в те дни, когда русская революция, избегающая применения насилия, полная радужных надежд, праздновала свою победу. Мы были наивны, я знаю это. Но таковыми были не мы одни. Кто пережил то время, тот помнит, что улицы всех городов звенели от ликования в превозношении Вильсона как исцелителя земли, что солдаты неприятельских армий обнимались и целовались; никогда в Европе не было столько доверия, как в первые дни мира. Ибо теперь появилась наконец на земле возможность для создания давно обещанного царства справедливости и братства, теперь или никогда решалась судьба единства Европы, о котором мы мечтали. Ад остался в прошлом. Что после него могло еще нас испугать? Наступала эра второго мира. А так как мы

были молоды, мы говорили себе: это будет наш мир, мир, о котором мы мечтали, более добрый, более человечный мир.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В АВСТРИЮ

С точки зрения логики самое безрассудное, что я мог предпринять после того, как германо-австрийское оружие было повержено, — это возвратиться в Австрию, которая теперь проступала на карте Европы жалкой, серой и безжизненной тенью Австро-Венгерской империи. Чехи, поляки, итальянцы, словаки вышли из ее состава; остался лишь обезображенный остов, кровоточащий из всех вен. Из шести или семи миллионов, которых заставляли называть себя «немецкими австрийцами», только одна столица вместила в себя два миллиона голодающих и замерзающих; предприятия, которые раньше обогащали страну, оказались на чужой территории; железные дороги превратились в жалкие останки; из национального банка изъяли золото, а взамен взвалили гигантский груз военного займа. Границы были еще не определены, так как мирная конференция только что началась; обязательства еще не установлены: не было ни муки, ни хлеба, ни угля, ни бензина; революция или какой-либо другой катастрофический исход казались неотвратимы. По всем бесспорным прогнозам, эта страна, искусственно созданная государствами-победителями, не могла существовать независимой и (все партии: социалистическая, клерикальная, национальная — твердили это в один голос) даже не хотела самостоятельности. Впервые, насколько мне известно, за всю историю случился такой парадокс, чтобы к самостоятельности принуждали страну, которая бы упорно тому противилась. Австрия хотела объединения либо с прежними соседями, либо с исстари родственной Германией, но ни в коем случае не желала вести в таком изуродованном виде унизительное, попрошайническое существование. Соседние государства, напротив, не желали оставаться с подобной Австрией в экономическом союзе, отчасти потому, что считали ее нищей, отчасти опасаясь возвращения Габсбургов; с другой стороны, включению в победленную Германию противились союзники, чтобы тем самым не усилить ее. В результате решили: немецкая республика Австрия должна существовать и дальше. Стране, которая не желала этого — явление уникальное в истории! — было приказано: «Существовать!»

Что побудило меня тогда, в самое скверное время, которое когда-либо переживала страна, вернуться в нее по своей воле, я и сам вряд ли могу теперь объяснить. Но мы, люди довоенного поколения, несмотря на все и вся имевшие более развитое чувство долга, считали, что в такой трудный час, как никогда, необходимы своему дому, своему отечеству. Мне представлялось это трусостью — пересидеть предстоявший трагический период, и я чувствовал — именно как автор «Иеремии», — что обязан своим словом помочь преодолеть поражение. Лишний во время войны, я казался себе теперь, после поражения, на своем месте, учитывая, что благодаря моим антивоенным выступлениям я приобрел определенный авторитет, в частности у молодежи. Даже если ты не в силах что-либо изменить, то по крайней мере испытаешь удовлетворение оттого, что делишь со всеми те тяготы, которые выпали на общую долю.

Поездка в Австрию требовала тогда подготовки, как для экспедиции на Северный полюс. Нужно было обзавестись теплыми вещами и шерстяным бельем, ибо было известно, что на той стороне нет угля, а зима стояла на пороге. Надо было подновить подошвы на обуви, поскольку по ту сторону имелись лишь деревянные подметки. С собой брали столько продуктов и шоколада — чтобы не умереть с голоду, пока выдадут карточки на хлеб и жиры, — сколько позволит правительство Швейцарии. Багаж страховали настолько высоко, насколько было возможно, так как товарные вагоны грабили, а каждый башмак, каждая мелочь гардероба были невосполнимы. Какое-то мгновение я еще стоял в нерешительности на пограничной станции Букс, где более года назад испытал такое чувство облегчения, и спрашивал себя, не повернуть ли мне все же в последний момент обратно. Момент был, я чувствовал это, решающим в моей жизни. Но в конце концов я предпочел то, что было сложнее. Я снова оказался в вагоне.

* * *

За год до этого, оказавшись на швейцарской пограничной станции в Буксе, я пережил волнующую минуту. Теперь, при возвращении, мне предстояло пережить не менее памятный момент на австрийской, в Фельдкирхе. Только я вышел из вагона, как заметил необычное спокойствие пограничников и полицейских. Они почти не обращали на нас внимания и исполняли досмотр спустя рукава: очевидно, их занимало нечто более важное. И вот прозвуч-

чал колокол, который возвестил о приближении поезда с австрийской стороны. Полицейские стали в оцепление, все служащие высыпали из своих помещений, их жены, очевидно предупрежденные заранее, столпились на перроне; особенно мне запомнилась среди встречавших старая дама в черном, с двумя дочерьми, судя по манере держаться — аристократка. Она была явно взволнована и все время подносила к глазам платочек.

Медленно — лучше сказать, величаво — подошел необычного вида поезд, не обшарпанные, с потеками от дождей обычные пассажирские вагоны, а черные, широкие: салон-вагоны. Паровоз остановился. Заметное волнение прокатилось по рядам ожидающих, я все еще не знал, в связи с чем. И тут в зеркальной вагонной раме я увидел почти во весь рост императора Карла, последнего императора Австрии, его одетую в черное супругу, королеву Циту. Я вздрогнул: последний император Австрии, наследник габсбургской династии, которая правила страной семьсот лет, покидает свою империю! Хотя он отказался от формального отречения, республика устроила ему проводы со всеми почестями или, скорее, вынудила его принять их. И вот высокий опечаленный человек стоит у окна и в последний раз смотрит на горы, дома, жителей своей страны. Это было историческое мгновение — тем более для того, кто вырос в старой империи, для кого первой песней в школе была песня об императоре, кто потом на военной службе присягал этому человеку, который здесь, в гражданской одежде, грустно всматривался в присягнувших на «послушание на суше, на воде и в воздухе». Сколько раз я видел старого императора в давно уже ставшем легендарным костюме для больших торжеств, я видел его на парадной лестнице в Шёнбрунне, окруженным семьей и генералами в блестящих мундирах, когда его славили восемьдесят тысяч венских школьников, построенных на широком зеленом плацу, певших трогательным хором тонких голосов «Боже, храни» Гайдна. Я видел его на придворном балу, на представлениях в Theatre-Parc — в блестящей форме, и снова в зеленой тирольской шляпе в Ишле едущим на охоту, я видел его с набожно склоненной головой на празднике тела Христова в шествии, идущем к собору Святого Стефана — и катафалк в тот туманный, пасмурный зимний день, когда, в разгар войны, старика проводили на вечный покой в склеп Капуцинов. «Кайзер» — это слово было для нас воплощением всей власти, всего богатства, символом незыблемости Австрии, и мы уже с детства привыкли произносить эти два

слога с благоговением. А теперь я видел наследника, последнего императора Австрии, изгнанником, покидавшим страну. Доблестная черед Габсбургов, которые из столетия в столетие передавали из рук в руки державу и корону, — она заканчивалась в эту минуту. Все вокруг ощущали в этот момент историю, мировую историю. Жандармы, офицеры, солдаты казались смущенными и стыдливо смотрели в сторону, потому что они не знали, следует ли им оказывать прежние почести, женщины не отваживались поднять глаза, никто не говорил, и поэтому вдруг все услышали тихое всхлипывание старой женщины в трауре, которая Бог знает из какого далека явилась сюда, чтобы еще раз увидеть «своего» императора. Но вот начальник поезда подал сигнал. Каждый невольно вздрогнул, наступил неотвратимый момент. Паровоз тронулся резким толчком, словно и он совершал над собою насилие; поезд медленно удалялся. Служащие благоговейно смотрели ему вслед. Затем разошлись с тем подавленным видом, какой можно заметить на похоронах, по своим служебным местам. Только теперь, в это мгновение, почти тысячелетней монархии действительно пришел конец. Я знал, что Австрия уже другая, что мир, в который я направлялся, уже не тот.

* * *

Как только поезд исчез вдаль, нас попросили пересесты из стерильно чистых швейцарских вагонов в австрийские. Достаточно было лишь подняться в них, чтобы понять, что произошло с этой страной. Истощенные, голодные, изрядно пообносившиеся проводники, которые указывали места, едва волочили ноги; дырявые, протертые формы висали с их поникших плеч. Кожаные ремни на оконных рамах были срезаны, поскольку каждый кусок кожи представлял ценность. По сиденьям тоже прошлись лихие лезвия и штыки; целые куски обивки были варварски срезаны каким-то вандалом, который для починки своих башмаков добывал кожу, где только мог. Похищены были и пепельницы ради небольшого куска никеля и меди. В разбитые окна с резким осенним ветром залетали сажа и шлак скверного бурого угля, которым теперь топили паровозы; он накопился пол и стены, но его чад хоть немного смягчал резкий запах йода, напоминавший о том, как много больных и раненых перевезли во время войны эти остовы вагонов. В любом случае то, что поезд вообще двигался вперед, озна-

чало чудо — разумеется, замедленное; всякий раз, когда несмазанные колеса скрипели менее резко, мы уже опасались, что у изношенной машины откажет дыхание. Расстояние, которое обычно проходили за час, требовало теперь четыре, а то и пять; с сумерками мы погрузились в полную темень. Электрические лампочки были разбиты или вывернуты, что-либо отыскать можно было лишь со спичками или на ощупь, и не замерзали мы лишь потому, что с самого начала сидели по шесть или восемь человек, тесно прижавшись друг к другу. Но на первой же станции втиснулись новые пассажиры, совсем измученные многочасовым ожиданием. Проходы забились полностью, люди, несмотря на холодную ночь, сидели даже на подножках, и каждый в страхе прижимал к себе свой багаж и узелок с продуктами; никто не отваживался в темноте хотя бы на минуту выпустить что-нибудь из рук. Из мирной жизни я сразу окунулся в ужас войны, которая, как ошибочно полагал, уже закончилась.

Перед Инсбруком паровоз вдруг захрипел и не смог одолеть небольшой подъем, несмотря на кряхтение и пыхтение. В темноте со своими дымящими фонарями беспокойно засновали служащие. Прошел час, пока на помощь не притащился еще один паровоз, но и тогда на то, чтобы поезд прибыл в Зальцбург, вместо семи часов понадобилось семнадцать. На всей станции — ни одного носильщика; наконец несколько оборванных солдат предложили тащить багаж до извозчика; но лошадь в упряжке была такой старой и голодной, что, казалось, ее поддерживали оглобли, и вряд ли она была способна тянуть повозку. Я усомнился, что это призрачное животное сможет сделать хоть шаг, если я погружу еще и свои чемоданы, и оставил их — разумеется, опасаясь, что никогда не увижу их снова, — на вокзале.

Во время войны я купил себе в Зальцбурге дом, ибо разрыв с моими прежними друзьями из-за нашего противоположного отношения к войне заставил меня избегать проживания в больших городах, среди многолюдья; позднее моя работа только выигрывала от этого уединенного образа жизни. Зальцбург из всех австрийских маленьких городов казался мне наиболее подходящим не только благодаря своей живописности, но и географическому положению, потому что, находясь на краю Австрии, в двух с половиной часах по железной дороге от Мюнхена, в пяти часах от Вены, в десяти часах от Цюриха или Венеции и в двадцати от Парижа, он был отправным пунктом в Европу. Разумеется, в ту пору он еще не превратился в знаменитый своими

фестивалями (и летом принимающий снобистский вид) город встреч «видных деятелей» (иначе я не избрал бы его местом для работы), а был старинным, сонным, романтическим городком на последнем склоне Альп, откуда горы и возвышенности постепенно переходят в Немецкую равнину. Небольшой лесистый холм, на котором я жил, был как бы последней затухающей волной этой гигантской горной гряды; путь наверх, недоступный для машин, был крестным путем в сотню ступеней трехсотлетней давности, но этот тяжкий труд вознаграждался сказочным видом с террасы на крыши и шпили многобашенного города. Вдали панорама простиралась до прославленной цепи Альп (включая Соляную гору под Берхтесгаденом, где вскоре как раз напротив меня изволил поселиться никому не известный человек по имени Адольф Гитлер). Дом оказался столь же романтическим, сколь и непрактичным. В семнадцатом столетии маленький охотничий замок архиепископа, примыкавший к мощной крепостной стене, он в конце восемнадцатого был расширен: к нему с обеих сторон пристроили по комнате; великолепные старинные обои и разрисованный кегельный шар, которым кайзер Франц в 1807 году во время посещения Зальцбурга собственноручно сбивал в длинном проходе нашего дома кегли, вместе с несколькими старинными грамотами различных владельцев были вещественными доказательствами его, надо признать, славного прошлого.

То, что этот маленький замок — благодаря вытянутому фасаду он производил помпезное впечатление, имея, однако, не более девяти помещений, потому что не шел в глубину, — был старинным курьезом, очень восхищало позднее наших гостей; вместе с тем его историческое прошлое оборачивалось против нас. Мы нашли наш дом почти непригодным для проживания. В дождь в комнатах сразу появлялись протечки, после каждого снегопада в коридорах начиналось наводнение, а отремонтировать крышу как следует было невозможно: у плотников не было бревен для стропил, у кровельщиков — железа для водостока; с большим трудом заделали толем самые большие дыры, но, как только выпал снег, надо было самому лезть на крышу, чтобы своевременно сбросить его оттуда лопатой. Телефон барахлил, так как в проводах вместо меди использовали сталь; поскольку помощников не было, то все приходилось тащить на гору самим. Но больше всего донимал холод, так как угля не было во всей округе, поленья из садовых деревьев были сырыми и шипели, как змеи, вместо того чтобы гореть, и,

потрескивая, плевались, вместо того чтобы греть. По необходимости мы перебивались торфом, который создавал хотя бы видимость тепла, но целых три месяца я писал, не вылезая из постели, посиневшими от холода руками, которые после каждой страницы, чтобы согреть, снова прятал под одеяло. Но даже это неприветливое пристанище необходимо было отстаивать, ибо ко всеобщей нехватке продуктов питания и топлива прибавился в тот катастрофический год еще и жилищный голод. Четыре года в Австрии не строили, многие дома пришли в негодность, а тут еще стал прибывать бесчисленный поток демобилизованных солдат и освобожденных военнопленных, не имевших крова над головой, так что в каждую свободную комнату решено было вселять семью. Четырежды к нам наведывались комиссии, но мы давно уже добровольно отдали две комнаты, а необходимость и холод нашего дома, вначале столь враждебные к нам, теперь стали нашими помощниками: никто, кроме нас, не хотел преодолевать сто ступеней, чтобы затем мерзнуть.

Всякий спуск в город был тогда чрезвычайным событием; впервые я смотрел в желтые и страшные глаза голода. Хлеб — черное месиво, имевшее вкус смолы и глины; кофе — поило из обожженного ячменя, пиво — желтая водичка, шоколад — подкрашенный сахар, картофель — мороженый; многие, чтобы не забыть вкус мяса, разводили кроликов; в нашем саду какой-то парень пристрелил белочку для воскресной трапезы, а ухоженные собаки и кошки довольно редко возвращались с дальних прогулок. То, что предлагалось из тканей, в действительности было обработанной бумагой, эрзацем эрзаца; мужчины, едва таскавшие ноги, почти все были одеты в ношеную, в том числе русскую, военную форму, которую они доставали на складе или в госпитале, где в этой одежде умер уже не один человек; брюки, сшитые из старых мешков, были не редкость. Каждый шаг по улицам, где витрины выглядели разграбленными, штукатурка, как стружья, осыпалась с обветшалых домов, а изможденные люди из последних сил тащились на работу, вызывал отчаяние. В деревне дела с питанием обстояли лучше; но при тотальном падении нравственности ни одному крестьянину и в голову не могло прийти отдавать свое масло, свои яйца, свое молоко по установленным законам «максимальным ценам». Он придерживал все, что мог, в закромах, выжидая, когда в его дом пожалуют выгодные покупатели. Вскоре возникла новая профессия, так называемые «мешочники». Безработные мужчины, прихватив

один или два рюкзака, отправлялись по деревням, в наиболее богатые места добирались даже по железной дороге, чтобы недозволенным образом раздобыть продукты, которые затем перепродавались в городе в розницу в четырех-пять раз дороже. Сначала крестьяне радовались уйме бумажных денег, которые в обмен за их масло и яйца посыпались дождем, и тому, что они тоже не лыком шиты. Но как только они, с туго набитыми бумажниками, являлись в город, чтобы приобрести нужные вещи, то, к своему огорчению, обнаруживали, что, пока они за свои покупки запрашивали в пять раз дороже, цены на молоток, котелок, косу, которые они хотели купить, выросли в двадцать или пятьдесят раз. Вскоре они стали ценить лишь промышленные изделия и требовали вещь за вещь, товар за товар; человечество, благополучно откатившееся рытъем окопов к пещерным временам, отменило и тысячелетнее назначение денег и возвратилось к примитивному товарообмену. По всей стране пошла удивительная торговля. Горожане тащили крестьянам в деревни то, без чего могли обойтись сами: китайские фарфоровые вазы и ковры, сабли и ружья, фотоаппараты и книги, лампы и украшения; так, попав в зальцбургский крестьянский дом, можно было, к своему удивлению, обнаружить индийского будду, уставившегося на тебя, или книжный шкаф в стиле рококо с французскими книгами в коже, которыми новые владельцы немало гордились. «Настоящая кожа! Франция!» — хвастались они, надув щеки. Вещи, но только не деньги, — вот что стало правилом. Иным приходилось снимать с пальца обручальное кольцо, а с живота кожаный ремень, чтобы этот живот набить.

В конце концов вмешались власти, чтобы пресечь торговлю из-под полы, которая на деле была выгодна лишь богатым; между провинциями устанавливались кордоны, чтобы отбирать товар у велосипедных и железнодорожных мешочников и передавать его в городские ведомства снабжения продовольствием. Мешочники ответили тем, что организовывали ночные перевозки по образцу Дикого Запада или подкупали инспекторов, у которых у самих дома были голодные дети; подчас дело доходило до настоящих сражений с револьверами и ножами, с которыми эти парни послали четырехлетней фронтовой практики умели обращаться так же хорошо, как и по-военному искусно скрываться от погони. С каждой неделей хаос возрастал, население все сильнее роптало. С каждым днем деньги обесценивались все больше. Соседние государства заменили старые

австро-венгерские денежные знаки собственными, а крохотной Австрии предоставили возможность погасить главные долги старой «кроны». Первым признаком недоверия населения было исчезновение металлических денег, ибо кусочек меди или никеля по сравнению с просто разрисованной бумагой представлял собой все же «субстанцию». И хотя государство постоянно увеличивало выпуск искусственных денег в невероятных масштабах, чтобы, по рецепту Мефистофеля, сделать их как можно больше, но все же не поспевало за инфляцией; в результате каждый город, каждый поселок и в конечном итоге каждая деревня начали печатать свои «денежные суррогаты», которые в соседней деревне не признавали, а позднее, ввиду их бесполезности, просто выбрасывали. Экономист, который смог бы наглядно описать все эти этапы — сначала инфляцию в Австрии, а затем в Германии, — как мне кажется, по занимательности легко превзошел бы любой роман, ибо хаос принимал все более фантастические размеры. Вскоре никто уже не знал, сколько что-либо стоит. Цены прыгали произвольно; коробок спичек стоил в магазине, который своевременно поднял цену, в двадцать раз больше, чем в другом магазине, где доверчивый владелец, ничего не подозревая, продавал свой товар еще в вчерашней цене, и в качестве вознаграждения за его честность его магазин очищали за час, ибо один сообщал другому и каждый бежал и покупал все, что имелось в продаже, независимо от того, нуждался он в этом или нет. Даже аквариумная рыбка или старый телескоп были все же «субстанцией», а каждому была нужна вещь, а не бумага. Самым невероятным образом разрыв сказывался при найме жилища, ибо правительство для защиты съемщиков, составлявших огромную массу, и в ущерб домовладельцам запретило любое повышение цен. Вскоре в Австрии квартира средней величины стоила ее съемщикам за целый год меньше одного обеда; пять или десять лет вся Австрия, по сути дела (ибо и в эти годы расторжение договоров было запрещено), прожила чуть ли не даром. Из-за такого безумного хаоса положение с каждой неделей становилось все более абсурдным и безнравственным. Кто сорок лет копил, а потом патриотически вложил свои деньги в военный заем, превращался в нищего. У кого были долги, тот от них избавлялся. Кто жил только на продовольственные карточки, умирал с голоду; кто нагло плевал на все нравственные нормы, ел досыта. Кто умел дать взятку, преуспевал; кто спекулировал, получал прибыль. Кто торговал честно, тот разорился; кто высчитывал все до

копеечки, того надували. Не было никакой меры ценности, когда деньги таяли и улетучивались на глазах; не было никакой иной добродетели, кроме одной — быть ловким, изворотливым, безрассудным и уметь обуздать скачущего коня, не дав затоптать себя.

И в то время как австрийцы из-за резкого изменения цен потеряли всякое представление о них, некоторые иностранцы смекнули, что у нас можно неплохо пожить. Единственной ценностью, оставшейся стабильной за все три года инфляции, которая неудержимо развивалась, были иностранные деньги. Каждый, когда австрийские кроны расплзались, словно студень под пальцами, хотел иметь швейцарские франки, американские доллары, и очень много иностранцев пользовались конъюнктурой, чтобы хоть что-то откромсать от бьющейся в конвульсиях умирающей австрийской кроны, Австрия была «открыта» и переживала роковой «сезон иностранцев». Все гостиницы в Вене были переполнены этими стервятниками; они купали все, от зубной щетки до поместий, они опустошали частные коллекции и антикварные магазины, прежде чем владельцы в их бедственном положении замечали, как нагло они обворованы и ограблены. Мелкие гостиничные портье из Швейцарии, стенографистки из Голландии жили в княжеских апартаментах отеля на Рингштрассе. И каким бы невероятным ни показался этот факт, я могу засвидетельствовать, что знаменитый отель-люкс «Европа» в Зальцбурге долгое время полностью занимали английские безработные, которые благодаря достаточному английскому пособию по безработице имели здесь более дешевое жилье, чем в своих slums¹ дома. Все, что не было пришито или прибито, исчезало; постепенно весть о необычайной дешевизне жизни в Австрии разнеслась повсюду, новые алчные гости прибывали теперь из Швеции, из Франции, на центральных улицах Вены чаще говорили на итальянском, французском, турецком и румынском, чем на немецком. Даже Германия, где инфляция сначала проходила в более медленном темпе — правда, чтобы потом обогнать нашу в миллион раз, — использовала свою марку против трещавшей по швам кроны. Зальцбург как пограничный город давал мне прекрасную возможность наблюдать эти ежедневные грабительские нашествия. Сотнями и тысячами из соседних мест прибывали сюда баварцы и рассеивались по всему городу. Они здесь заказывали себе костюмы, чинили машины, они шли

¹ Трущобах (англ.).

в аптеки и к врачам, крупные фирмы из Мюнхена отправляли письма и телеграммы за границу из Австрии, чтобы извлечь выгоду из разницы в почтовом сборе. В конце концов по настоянию германского правительства был введен пограничный контроль для предотвращения того, чтобы предметы первой необходимости покупались не в более дешевом Зальцбурге, где за одну марку фактически получали семьдесят австрийских крон, а в местных магазинах, и на таможне решительно конфисковывалась любая сделанная в Австрии вещь. Но один предмет торговли, который конфисковать не могли, пересекал границу свободно: пиво, находившееся уже в желудке. И любители пива из Баварии изо дня в день прикидывали по курсу, могут ли они выпить в Зальцбурге вследствие обесценивания кроны пять, или шесть, или десять литров пива за те деньги, за которые дома они получили бы лишь один. Более чудесной приманки придумать было невозможно. И вот с женами и детьми сюда из соседнего Фрейлассинга и Рейхенгалля потянулись толпы, чтобы доставить себе удовольствие влить в себя столько пива, сколько позволит вместить желудок. Каждый вечер вокзал являл собой настоящее скопище пьяных, орущих, рыгающих, плюющих человеческих орд; иных, нагружившихся чересчур, к вагонам доставляли прямо на тележках для багажа, прежде чем поезд, из которого раздавались крики и громкое пение, отбывал в свою страну. Разумеется, они не предвидели, эти веселые баварцы, что скоро их ждет ужасный реванш. Ибо, когда крона стабилизировалась, а марка, напротив, в астрономических пропорциях упала, с этого же вокзала австрийцы отправлялись к ним, в Германию, чтобы в свою очередь дешево напиться, и то же представление началось во второй раз, только теперь в обратном направлении. Эта пивная война в разгар обеих инфляций относится к моим самым необычным воспоминаниям, ибо она, как в капле воды, отражает всю нелепость тех лет, быть может, ярче всего.

* * *

Поразительно, что сегодня я никак не могу вспомнить, как мы в те годы сводили концы с концами, как каждый австриец из раза в раз добывал тысячи и десятки тысяч крон, а немец потом — миллионы на хлеб насущный. Но самое невероятное заключалось в том, что они находились. Привыкли, приспособились к хаосу. Следуя логике, ино-

странец, не переживший того времени, когда яйцо в Австрии стоило столько же, сколько раньше роскошный автомобиль (а в Германии чуть позже за него платили четыре миллиарда марок — примерно то, во что раньше оценивали стоимость всех домов Большого Берлина), должен был представлять себе, что женщины в ту пору как сумасшедшие, с всклокоченными волосами носились по улицам, в магазинах купить было абсолютно нечего, а уж театры и места увеселений, разумеется, пустовали. Но удивительным образом все было как раз наоборот. Воля к жизни оказалась сильнее, чем неустойчивость денег. Посреди финансового хаоса повседневная жизнь продолжалась почти по-прежнему. Если брать все в отдельности, то изменилось очень многое: богатые стали бедными, так как их деньги в банках, стоимость их облигаций государственного займа растаяли, спекулянты становились богатыми. Но маховик крутился, не заботясь о судьбе каждого в отдельности, все дальше, все в том же ритме; ничто не замирало, пекарь пек хлеб, сапожник тачал обувь, писатель писал книги, крестьянин возделывал землю; поезда отправлялись по расписанию, газета каждое утро в обычное время лежала под дверью, а места увеселений — бары, театры — были переполнены. Ибо именно потому, что самое устойчивое всегда — деньги — с каждым днем обесценивалось, люди тем больше ценили истинные блага жизни: труд, любовь, дружбу, искусство и природу, — и все в разгар катастрофы жили интенсивней и напряженней, чем когда-либо; юноши и девушки отправлялись в горы и возвращались домой загорелыми, в танцевальных залах до глубокой ночи звучала музыка, повсюду открывались новые предприятия и магазины; о себе скажу, что я вряд ли когда-нибудь жил и работал более напряженно, чем в те годы. То, что мы ценили прежде, стало еще более ценным; никогда в Австрии не любили искусство больше, чем в те годы хаоса, потому что на примере вероломства денег познали, что лишь вечное в нас было по-настоящему устойчивым.

Никогда, например, не забуду оперный спектакль тех крайне тяжелых дней. По полутемным улицам приходилось пробираться на ощупь, ибо освещение из-за нехватки угля было недостаточным, место на галерке оплачивали пачкой банкнот, которых раньше хватало бы на годовой абонемент в ложе-люкс. Сидели в пальто, потому что зал не отапливался, и прижимались к соседу, чтобы согреться; и как мрачен, как бесцветен был этот зал, раньше сверкавший мундирами военных и дорогими нарядами дам! Никто не знал,

пойдут ли спектакли и на будущей неделе, если обесценивание денег продолжится, а состава с углем не будет еще неделю; отчаяние охватывало здесь вдвойне — в этой роскоши и королевском великолепии. У пюпитров сидели оркестранты — серые тени, и они, в их старых, потертых фраках, истощенные и измученные всеми лишениями, и мы сами были подобны призракам в ставшем призрачном зале. Но вот дирижер поднял палочку, занавес раздвинулся, и удивительно легко стало на душе. Каждый певец, каждый музыкант отдавали себя целиком и полностью, ибо они чувствовали, что это, возможно, их последнее выступление в этом дорогом сердцу месте. И мы слушали и внимали, открытые, как никогда раньше, ибо это, возможно, было в последний раз. Так жили мы все, мы — тысячи, мы — сотни тысяч; каждый отдавал свои последние силы в эти недели, и месяцы, и годы, короткий период перед закатом. Никогда я не ощущал в окружающих и в себе самом волю к жизни так сильно, как тогда, когда речь шла о главном: о существовании, о том, чтобы выжить.

* * *

И все же я затруднился бы объяснить, каким образом уцелела тогда разграбленная, нищая, злосчастная Австрия. Справа, в Баварии, образовалась республика Советов, слева — Венгрия во главе с Бела Куном стала большевистской; еще и сегодня остается мне непонятным, почему революция не перекинулась в Австрию. Во взрывчатке воистину недостатка не было. По улицам бродили возвратившиеся домой солдаты, полуголодные и полураздетые, и со злобой глядели на вызывающую роскошь тех, кто нажился на войне и инфляции; в казармах уже стоял в боевой готовности батальон Красной гвардии, а противодействовать ему было некому. Две сотни решительных людей могли бы в то время взять власть в свои руки в Вене и во всей Австрии. Но ничего серьезного не произошло. Один-единственный раз какая-то группа анархистов попыталась устроить переворот, который легко был подавлен четырьмя или пятью дюжинами вооруженных полицейских. Так чудо стало действительностью; эта отрезанная от своих сырьевых источников, своих фабрик, своих угольных шахт, своих нефтяных промыслов, эта разграбленная страна с обесцененной, падающей, словно лавина, бумажной валютой продолжала существовать, — возможно, благодаря своей слабости,

потому что люди были слишком немощны, слишком голодны, чтобы еще за что-то бороться; возможно, однако, также благодаря ее самой характерной, типично австрийской черте: ее врожденной терпимости. Так, две самые крупные партии, социал-демократическая и христианско-социалистическая, несмотря на их глубокие разногласия, в этот тяжелейший час создали единое правительство. Каждая из них пошла навстречу другой, чтобы предотвратить еще более тяжкие последствия. Жизнь стала постепенно налаживаться, силы консолидировались, и, к нашему собственному удивлению, произошло невероятное: это увечное государство уцелело и позднее даже собиралось защищать свою независимость, когда явился Гитлер, чтобы отнять у этого славного, готового на жертвы и удивительно стойкого в лишениях народа его душу.

Но радикального переворота в политическом смысле удалось избежать лишь чисто внешне: подспудно в эти первые послевоенные годы происходила невиданная революция. Вместе с армией было разбито и еще кое-что: вера в непогрешимость авторитетов, в повиновении которым нас воспитывали. Неужто немцы будут и впредь восхищаться своим кайзером, который поклялся воевать «до последнего вздоха человека и лошади», а сам под покровом ночи бежал за границу, или своим генеральным штабом, своими политиками или поэтами, которые неустанно рифмовали «войны — страны», «беды — победы»? Весь ужас обнаружился только теперь, когда в стране развеялся пороховой дым и стал явным урон, причиненный войной. Разве можно и дальше пользоваться моральным кодексом, позволявшим четыре года подряд убивать и грабить, называя это героизмом и аннексией? Разве может народ и далее верить обещаниям государства, которое аннулировало все неугодные ему обязательства, данные гражданам? Ведь те же самые люди, та же камарилья стариков, так называемых «мудрейших», затмила нелепость войны своим еще более нелепым миром. Все знают сегодня — а мы, немногие, знали еще тогда, — что этот мир был едва ли не *самой* большой моральной возможностью истории. Но старые генералы, старые государственные деятели, старые интересы разрезали и искромсали грандиозный черновой набросок на мелкие, ничтожные клочки бумаги. Великое, священное обещание, данное миллионам, что эта война будет последней, обещание, которое позволило отнять у разуверившихся, истощенных и отчаявшихся солдат их последние силы, было цинично принесено в жертву интересам военных промышленников и

азарту политиканов, знавших, как благополучно спасти от мудрого и гуманного требования свою старую, роковую тактику тайных договоров и переговоров за закрытыми дверями. Открыв глаза, мир обнаружил, что он обманут. Обмануты матери, которые принесли в жертву своих детей, обмануты солдаты, которые вернулись домой нищими, обмануты все те, кто мечтал о новом, более благополучном мире, а теперь увидел, что старая игра, ставкой в которой было наше существование, наше счастье, наше время, наше имущество, вновь начата теми же самыми или новыми авантюристами. Стоит ли удивляться, что новое поколение с недоверием и упреком смотрело на своих отцов, у которых сначала отняли победу, а затем мир? Которые все делали плохо, которые ничего не предусмотрели и ничего не умели рассчитать верно? Вполне понятно, что у нового поколения пропала всякая почитливость к старшим. Оно не верило больше родителям, политикам, учителям; любое постановление, любой призыв государства воспринимались с предубеждением. Послевоенное поколение разом освободило себя от прежних норм поведения, отвернулось от всех традиций, решительно взяв свою судьбу в собственные руки, напроць покончив с прошлым и устремившись в будущее. С него должен начаться совершенно иной мир, совсем другие порядки во всех сферах жизни; и, само собой разумеется, все началось с диких крайностей. Со всеми и со всем, что не было связано с их поколением, было кончено. Вместо прежних путешествий с родителями двенадцатилетние, тринадцатилетние дети организованными и уже весьма хорошо просвещенными в сексуальном отношении стайками потянулись, словно «перелетные птицы», по стране до Италии и Северного моря. В школах по русскому образцу были введены ученические комитеты, которые следили за учителями, «учебная программа» низвергнута, ибо дети желали учить только то, что им нравилось. Бунтовали против всякого действующего правила ради самого бунта, даже против самой природы, против извечной противоположности полов. Девушки подстригали себе волосы, и настолько коротко, чтобы по «мальчишеским головам» их нельзя было отличить от парней; молодые мужчины в свою очередь брились, чтобы казаться женственнее. И каждое такое проявление «самости» объявляло себя самым радикальным и революционным — в искусстве, разумеется, тоже. Новая живопись объявила все, что создали Рембрандт, Гольбейн и Веласкес, устаревшим и приступила к самым диким кубистским и сюрреалистическим экспериментам. Все то, что

было понятно, отвергалось — мелодия в музыке, сходство в портрете, ясность в языке. Местоимения «этот, эта, это» были изъяты, синтаксис поставлен на голову, писали «бес-связно» и «задиристо», телеграфным стилем, яростными междометиями; любая литература, которая не была «актуальной», то есть не предавалась рассуждениям о политике, выбрасывалась на помойку. Музыка непременно выискивала новую тональность и синкопировала такты, архитектура выворачивала здания изнутри наружу, из танца исчез вальс, уступив место кубинским и негритянским ритмам; мода, все откровеннее оголяя тело, становилась все более нелепой; Гамлета играли в театре во фраке, в самых неожиданных постановках. Во всех областях началась эра дичайшего экспериментирования, которая одним-единственным дерзким прыжком пыталась оставить позади все прежнее, созданное до нее, совершенное; и чем моложе, чем менее образованным был человек, тем более был он приемлем, так как не был связан никакой традицией, — наконец-то молодежь могла дать выход своей ярости против нашего родительского мира. Но в этом опустошительном карнавале ничто не представлялось мне более трагикомическим, чем зрелище того, как многие интеллектуалы старшего поколения, в паническом страхе отступить и прослыть «несовременными», лихорадочно натягивали маску художественного буйства, неуклюже хромя, норовили пуститься по самым избитым окольным дорогам. Честные, славные, седобородые профессора академии покрывали свои прежние, обесцененные натюрморты символическими угольниками и кубами, потому что молодые устроители (повсюду теперь искали молодых, а еще лучше: самых молодых) выставили из галерей их картины как слишком «классические» и отправили их в запасники. Писатели, которые десятилетиями писали простым, ясным немецким языком, покорно расчленили фразы и упражнялись в «злободневности»; солидные прусские тайные советники читали с кафедр политэкономия, прежние придворные балерины, на три четверти голые, выбрасывая ножки, танцевали «Аппассионату» Бетховена и «Ночь преображения» Шёнберга. Повсюду старость стыдливо поспешала вслед за последней модой; тщеславие вдруг стало проявляться лишь в одном: в желании быть «молодым», и как можно скорее, учитывая то, что еще вчера было современным, придумать еще более современное, еще более радикальное и ранее неизвестное направление. Что за дикое, анархическое, невероятное время — те годы, когда в Австрии и Германии вместе с убы-

вающей ценностью денег стали шаткими все прочие ценности! Эпоха вдохновенного экстаза и дикого надувательства, беспрецедентная смесь нетерпения и фанатизма. Все, что было экстравагантно и загадочно, переживало золотые времена: теософия, оккультизм, спиритизм, сомнамбулизм, антропософия, хиромантия, графология, индийская йога и парацельсовский мистицизм. Все, что обещало острые, ранее неизвестные ощущения, любой из наркотиков: морфий, кокаин и героин, — сбывалось нарасхват; в театральных пьесах кровосмешение и отцеубийство, в политике резкое размежевание между сторонниками коммунизма или фашистами — вот единственно популярные темы; любая форма умеренного, напротив, обязательно отвергалась; но я не хотел бы утратить воспоминания об этом безжалостном времени — ни о роли его в моей собственной жизни, ни в развитии искусства. Как всякая духовная революция, оно, безудержно наступая, первым же ударом очистило атмосферу от всего удушающе традиционного, разрядило напряжение многих лет и, несмотря на все, оставило от своих дерзких экспериментов плодотворные начинания. И как бы сильно ни отталкивали нас его крайности, мы не имеем права его поносить и высокомерно отвергать, ибо, по сути дела, это новое поколение пыталось сделать — пусть даже излишне запальчиво, слишком нетерпеливо — то, что наше поколение не сумело из осторожности и оторванности от жизни. По существу, они правильно чувствовали, что послевоенное время должно быть иным, чем предвоенное, а разве мы, старшие, не желали точно так же новой эпохи, лучшего мира до войны и во время нее? Но и после войны мы, старшие, вновь обнаружили нашу неспособность вовремя противопоставить опасной неополитизации мира наднациональную организацию. Правда, еще во время мирных переговоров Анри Барбюс, которому его роман «Огонь» принес мировую известность, пытался примирить всех европейских деятелей искусства. «Кларте» («Грезвомыслящие») — так должна была называться эта группа, в которой объединились бы писатели и деятели искусства всех наций, присягнувшие противостоять любому подстрекательству народов. Барбюс возложил на меня и Рене Шикеле совместное руководство немецкой группой — наиболее тяжелую часть задачи, ибо в Германии еще не улеглись страсти вокруг мирного договора в Версале. Было нереально заставить видных немцев стать выше узконациональных интересов, до тех пор пока Рейнская область, Саар и Майнцский плацдарм оккупированы иностранными войсками. И тем не менее

удалось бы создать организацию, как это позднее осуществил Голсуорси с ПЕН-клубом, если бы Барбюс не изменил свои взгляды. Поездка в Россию, где его с огромным воодушевлением встречали широкие массы народа, привела его к убеждению, что буржуазные и демократические государства не способны установить подлинное братство народов и что оно мыслимо лишь при коммунизме. Исподволь он пытался превратить «Кларте» в орудие классовой борьбы; мы, однако, были против радикализации.

В итоге и этот сам по себе значительный проект был обречен на неудачу. Снова мы обнаружили несостоятельность в борьбе за духовную свободу из-за слишком большой любви к личной свободе и независимости.

В итоге оставалось только одно — тихо и в стороне от других делать свое дело. Для экспрессионистов и — если так можно выразиться — эксцессионистов я в мои тридцать шесть лет был отнесен уже к старшему, в сущности уже вымершему поколению, потому что отказался по-обезьяньи к ним подлаживаться. Мои прежние работы не нравились мне самому, я не переиздал ни одной книги моего «эстетского» периода. Нужно было начинать снова и переждать, пока нетерпеливая волна всех этих «измов» не откатится обратно, и для такого отступления весьма полезным оказалось отсутствие у меня личного тщеславия. Я начал большую серию «Строители мира», поскольку был уверен, что этим можно заниматься многие годы, я написал новеллы «Амок» и «Письмо незнакомки», отрешившись от всего и вся. Постепенно жизнь в стране и в мире вокруг меня налаживалась, следовательно, и я не должен был медлить; прошло уже то время, когда я мог обманываться, что все, что я начинаю, только подготовительный этап. Полжизни уже было пройдено, возраст одних обещаний миновал; ты должен их оправдать и на деле показать, на что ты способен, или окончательно признать себя побежденным.

СНОВА В МИРЕ

Три года — 1919, 1920, 1921, — три тяжелейших для Австрии послевоенных года, я прожил в Зальцбурге замкнуто — по правде говоря, оставив даже надежду снова когда-либо повидать мир. Послевоенная разруха, ненависть, которую вызывал за границей каждый немец или пишущий по-немецки, обесценивание нашей валюты — все было настолько катастрофичным, что пришлось смириться

с мыслью о том, что придется всю свою жизнь безвыездно провести в тесных стенах родного дома. На деле, однако, все оказалось не так плачевно. Снова стали есть сытно. Можно было, ничего не опасаясь, работать за своим письменным столом. Ни грабежей, ни переворотов. Появился вкус к жизни. А что, если вновь вспомнить молодость и отпритаться путешествовать?

О дальних путешествиях думать пока было рано. Но Италия находилась совсем близко, всего каких-нибудь восемь-десять часов пути. Может быть, рискнуть? В австрийцах видели там «заклятых врагов», хотя никто никогда не ощущал это лично на себе. Выходит, придется дать возможность друзьям от тебя отречься, пройти мимо них, не узнавая, чтобы не ставить их в неловкое положение? Я рискнул и в один прекрасный день пересек границу.

Вечером я прибыл в Верону и направился в гостиницу. Мне подали бланк для прописки, я заполнил его; портье прочитал листок и поразился, увидев в графе «национальность» «Austriaco». «Lei è Austriaco?» — спросил он. «Сейчас он мне укажет на дверь», — думал я. Но когда я подтвердил, он чуть ли не возликовал. «Ah, che piacere! Finalmente!»¹ Это был первый добрый знак и новое подтверждение ощущавшегося уже во время войны настроения, что вся пропаганда ненависти и травли породила лишь краткую умственную лихорадку, глубоко не затронув широкие массы Европы. Через четверть часа этот славный портье зашел в мою комнату, чтобы узнать, хорошо ли я устроился. Он был в восторге от моего итальянского, и мы расстались с сердечным рукопожатием.

На следующий день я был в Милане; снова увидел собор, медленно прошелся по галерее. Я радовался тому, что слышу музыку итальянской речи, уверенно ориентируюсь повсюду и воспринимаю незнакомое как что-то очень близкое. Проходя мимо большого здания, я обратил внимание на табличку «Coggiere della Sera». Вдруг я сообразил, что один из руководителей этой редакции — мой старый друг Д. А. Борджезе, в чьем обществе я — вместе с графом Кайзерлингом и Бенно Гейгером — провел в Берлине и Вене немало восхитительных вечеров. Один из лучших и самых страстных писателей Италии, имевший огромное влияние на молодежь, он, переведший «Страдания молодого Вертера» и будучи преданнейшим почитателем немецкой философии, во время войны занял резкую антигерманскую и анти-

¹ «Вы — австриец?»... «Ах, какая радость! Наконец-то!» (итал.).

австрийскую позицию и, поддерживая Муссолини (с которым позднее разошелся), настаивал на войне. Всю войну сама мысль о том, что мой старый товарищ может оказаться среди самых непримиримых врагов, представлялась мне невероятной; тем сильнее я захотел увидеть такого «врага». Но в то же время не хотелось доводить дело до того, чтобы мне указали на дверь. Поэтому я оставил для него свою визитную карточку, указав адрес отеля. Но не успел я спуститься по лестнице, как кто-то бросился вслед за мной; поразительно живое лицо сияло от радости — Борджезе; через пять минут мы говорили так же искренне, как прежде, а быть может, еще откровеннее. Он тоже извлек урок из войны, и, находясь на разных берегах, мы стали ближе друг другу, чем когда-либо ранее.

Так было повсюду. Во Флоренции на меня набросился на улице старый друг Альберт Стринга, художник, и заключил в объятия так решительно и бесцеремонно, что моя жена, которая была со мной и не знала его, решила, что этот незнакомый бородач намерен покончить со мной. Все было как прежде — нет, еще сердечнее. Я вздохнул: война была похоронена. Война миновала.

Но она не миновала. Мы просто не знали этого. Нас всех подвела наша вера в добро, мы приняли нашу личную готовность за готовность целого мира. Но нам не следовало стыдиться нашего заблуждения, ибо не меньше, чем мы, заблуждались политики, экономисты, банкиры, которые в свою очередь в эти годы принимали обманчивую конъюнктуру за оздоровление, а усталость за умиротворение. На самом же деле война лишь переместилась из сферы национальной в социальную; и сразу же в первые дни я стал свидетелем сцены, глубинный смысл которой мне раскрылся намного позже. О политической жизни в Италии мы, австрийцы, знали лишь то, что послевоенное разочарование способствовало укреплению левых социалистических и даже коммунистических тенденций. На каждой стене можно было видеть неровно написанные углем или мелом буквы «Viva Lenin».

Однако уже начали поговаривать о том, что некий Муссолини во время войны организовал какую-то новую группу. Но такие известия тогда никого не тревожили. Подумаешь, какая-то группка! Такие в ту пору появились в каждой стране; они маршировали и в Прибалтике, в Рейнской области, в Баварии возникли нацистские организации, повсюду происходили демонстрации и путчи, которые, однако, почти всегда подавлялись. И никто не думал рас-

смаatrивать этих «фашистов», которые вместо гарибальдийских красных рубашек завели черные, как существенный фактор будущего европейского развития.

Но в Венеции это слово вдруг наполнилось для меня конкретным содержанием. Я приехал в любимый город на лагунах из Милана во второй половине дня. Ни одного носильщика, ни одной гондолы, лишь без дела стояли рабочие и служащие вокзала, руки демонстративно в карманах. Поскольку у меня было два тяжелых чемодана, я, оглядевшись в поисках помощи, спросил пожилого господина, где здесь можно найти носильщика. «Вы прибыли в плохой день, — ответил он с сочувствием. — Но теперь у нас подобные дни не редкость. Всеобщая забастовка». Я не знал, чем вызвана забастовка, но выяснять не стал. К подобным явлениям мы успели привыкнуть уже в Австрии, где к этому сильнодействующему средству нередко прибегали социал-демократы.

Таким образом, я с трудом сам тащил свои чемоданы дальше, пока не заметил, что из одного смежного канала мне поспешно и украдкой подает знак какой-то гондольер, к которому я и спустился вместе со своей поклажей. Проплыв мимо нескольких предназначенных штрейкбрехеру кулаков, мы через полчаса оказались в гостинице. По старой привычке я тотчас отправился на площадь Святого Марка. Она выглядела необычно заброшенной. Витрины большинства магазинов были задернуты, кафе пустовали, лишь множество рабочих отдельными группами стояли под аркадами, точно в ожидании чего-то необычного. Я тоже решил подождать. И тут произошло следующее. Из соседнего переулочка вышел маршем, точнее, вылетел в марш-броске отряд молодых людей, шагавших в четком строю, в ногу, слаженно певших какую-то песню, слова которой были мне не известны, — позднее я узнал, что это была «Джовиненца». И вот они уже, все так же в ногу, размахивая дубинками, стремительно протаранили превосходящую во сто раз толпу, прежде чем та опомнилась, чтобы дать отпор. Наглый подход этого маленького сплоченного отряда произошел так быстро, что все осознали, что имела место провокация, лишь когда он уже скрылся из виду. Возмущенные, собирались теперь рабочие вместе и сжимали кулаки, но было поздно. Маленький штурмовой отряд был уже далеко.

Увиденное своими глазами всегда убеждает сильнее. Тогда-то я впервые осознал, что этот мифический, неведомый мне фашизм есть нечто реальное, нечто искусно управляемое и что среди его приверженцев есть наглые, способ-

ные действовать юнцы. Теперь я уже не мог согласиться со своими старыми друзьями во Флоренции и Риме, которые небрежным пожатием плеч выражали свое презрение к этим молодчикам как к «наемной банде» и высмеивали их. Из любопытства я купил несколько номеров «Пополо д'Италия» и в резком, по-латински кратком стиле Муссолини почувствовал ту же наглость, что и в том марш-броске через площадь Святого Марка. Разумеется, масштабов, которые приняло это движение уже через год, я не мог предвидеть. Но то, что здесь, как и повсюду, предстоит схватка, и то, что наш мир был далеко уже не тем миром, стало мне теперь ясно.

* * *

Для меня это послужило первым предупреждением о том, что в нашей Европе, под обманчиво спокойной поверхностью, прячутся опасные подводные течения. Второе предупреждение не заставило себя долго ждать. После своего недавнего успешного путешествия я решил поехать летом в Вестерланд, на немецкое Северное море. Для австрийца поездка в Германию в ту пору имела смысл. Марка по отношению к нашей искалеченной кроне в то время держалась еще уверенно, процесс оздоровления, казалось, шел полным ходом. Поезда ходили с точностью до минуты, гостицы сверкали чистотой, повсюду вдоль железной дороги стояли новые дома, новые фабрики, везде был безукоризненно налаженный порядок, который презирали до войны, а в период разлуки вновь оценили. Какое-то напряжение, конечно, висело в воздухе, ибо вся страна ждала, принесут ли переговоры в Генуе и Рапалло — первые переговоры, в которых Германия участвовала равноправно с недавними вражескими державами, — столь желанное облегчение от военных тягот и пусть даже смутный признак подлинного понимания. Возглавлял эти столь памятные для истории Европы переговоры не кто иной, как мой старый друг Ратенау. Его выдающийся организаторский талант замечательно проявился уже во время войны; буквально в первый час он определил самое слабое звено германской экономики, на которое позднее и пришелся смертельный удар: обезпечение сырьем, — и предусмотрительно централизовал всю экономику. И когда после войны потребовался дипломат, который — au pair¹ с самыми умными и самыми опыт-

¹ Наванне (франц.).

ными среди противников — смог бы противостоять им в качестве германского министра иностранных дел, выбор, естественно, пал на него.

Будучи в Берлине, я не без колебаний позвонил ему. Можно ли докучать человеку, когда он решает мировые проблемы? «Какая жалость, — сказал он мне по телефону, — сейчас мне и дружбу приходится приносить в жертву работе». Но, с его исключительной способностью использовать каждую минуту, он тотчас изыскал возможность для встречи. Ему предстоит развезти по нескольким разным посольствам визитные карточки, а это от Грюневальда займет полчаса на машине, и проще всего, если я зайду к нему и эти полчаса мы побеседуем прямо в автомобиле. Действительно, его удивительная способность собраться, та поразительная легкость, с какой он переключался с одного дела на другое, были столь совершенны, что он мог вести разговор в автомобиле столь же ясно и обдуманно, как в своем кабинете. Я не хотел упускать возможность, и, мне думается, ему тоже хотелось выговориться перед человеком, политически нейтральным и связанным с ним многолетней дружбой. Разговор затянулся, и я берусь утверждать, что Ратенау, который сам по себе отнюдь не был лишен честолюбия, вовсе не с легким сердцем и уж тем более без всяких амбиций принял портфель министра иностранных дел Германии. Он заранее знал, что задача пока неразрешима и он в лучшем случае может добиться лишь частичного успеха, нескольких незначительных уступок и что еще рано рассчитывать на подлинный мир и снисхождение. «Через десять лет, возможно, — сказал он мне, — при условии, что у всех дела будут плохи, а не только у нас одних. Сначала надо убрать из дипломатии стариков, а генералов оставить лишь в качестве безмолвных памятников на городских площадях». Наверно, нечасто случалось в истории, чтобы человек с таким скептицизмом и полный столь глубоких сомнений приступал к задаче, зная, что не он, а лишь время способно ее решить, и понимая, чем это грозит лично ему. После убийства Эрцбергера, взявшего на себя неприятную миссию заключения перемирия, от которой Людендорф предусмотрительно незаметно скрылся за границу, он уже не обманывался, что и его, идущего в авангарде борцов за всеобщее понимание, ожидает такая же участь. Но, холостой, бездетный и по складу характера глубоко одинокий, он считал, что ему нечего опасаться; и у меня не хватило решительности призвать его к осторожности. То, что Ратенау сделал свое дело в Рапалло настолько хорошо, насколько это было возможно при сло-

жившихся тогда обстоятельствах, — ныне исторический факт. Его блестящая способность быстро улавливать каждое благоприятное мгновение, его светскость и личный авторитет никогда не проявлялись более ярко. Но в стране уже сильны были группировки, которые знали, что лишь в том случае получают признание, если будут постоянно внушать побежденному народу, что он вовсе не побежден и что всякие переговоры и уступки есть предательство нации. Уже тогда эти тайные союзы были гораздо сильнее, чем это предполагали руководители республики, которые в своем понимании свободы были готовы предоставить ее любому, кто хотел навсегда уничтожить свободу Германии.

В городе, перед министерством, я распрощался с ним, не предполагая, что это было прощанием навсегда. А позже я узнал по фотографиям, что улица, по которой мы ехали вместе, была той самой, где вскоре после этого убийцы подстерегли его в том же автомобиле; пожалуй, это чистая случайность, что я не стал свидетелем этой исторически роковой сцены. Так я еще более глубоко и зримо почувствовал трагическое событие, за которым последовала трагедия Германии, трагедия Европы.

В тот же день я был уже в Вестерланде; весело плескались в море тысячи курортников. Снова, как и в день сообщения об убийстве Франца Фердинанда, перед пол-летнему беззаботными людьми играл оркестр, когда, словно белые буревестники, по аллее понеслись разносчики газет: «Вальтер Ратенау убит!» Разразилась паника, и она потрясла весь рейх. Сразу упала марка, и продолжала безудержно падать, пока не дошла до фантастически сумасшедших чисел — миллиардов. Только теперь инфляция отмечала здесь свой шабаш ведьм, по сравнению с которым наша австрийская инфляция с ее невероятным соотношением один к пятнадцати тысячам казалась теперь всего лишь детской игрой. Чтобы рассказать о ней во всех подробностях, со всей ее абсурдностью, потребовалась бы целая книга, и эту книгу люди сегодняшнего дня восприняли бы как сказку. Были такие дни, когда утром газета стоила пятьдесят тысяч, а вечером — сто; кто хотел обменять иностранные деньги, оттягивал этот обмен на час-другой, ибо в четыре часа он получал во много раз больше, чем за шестьдесят минут перед тем. Я послал, например, моему издателю рукопись, над которой работал целый год, и полагал себя обеспеченным, потребовав немедленной оплаты вперед за десять тысяч экземпляров; когда я получил перевод, он уже едва покрыл почтовые расходы на пересылку рукописи —

неделю тому назад в трамвае платили миллионами, бумажные деньги развозились из имперского банка в другие его отделения на грузовиках, а через две недели банкноты в сто тысяч находили на помойке: их с презрением выбросил нищий. Шнурок от туфли стоил больше, чем до того сам ботинок, нет, больше, чем роскошный магазин с двумя тысячами пар туфель; замена разбитого стекла — больше, чем раньше весь дом; книга — чем до того типография с сотнями ее станков. За сто долларов можно было кварталами закупать семиэтажные дома на Курфюрстендамм. Фабрики — в пересчете — стоили не больше, чем раньше какая-нибудь тележка. Подростки, которые нашли в порту забытый ящик мыла, месяцами гоняли на машинах и жили как князья, продавая каждый день по одному куску, в то время как их родители, некогда богатые люди, перебивались чем только могли. Разносчики основывали банки и спекулировали валютами разных стран. Над всеми ними, на недостижимой высоте, стояла фигура крупного спекулянта Стиннеса. Пользуясь тем, что марка безудержно падала, он скупал все, что можно было купить: угольные шахты и суда, фабрики и пакеты акций, замки и поместья, — и все задаром, потому что любой вклад, любой долг превращался в нуль. Вскоре в его руках оказалась четверть Германии, и странное дело — им, словно гением, бурно восхищался народ, который в Германии всегда поклоняется видимому успеху. На улицах тысячами стояли безработные и показывали кулаки сидевшим в роскошных автомобилях спекулянтам и иностранцам, которые покупали целые улицы, словно коробок спичек; каждый, едва умея читать и писать, продавал и перепродавал, наживался, хотя всех не оставляло тайное чувство, что все они обманывают себя и обмануты невидимой рукой, которая со знанием дела инспирировала этот хаос, чтобы освободить государство от его долгов и обязательств. Мне кажется, я довольно основательно знаю историю общества, насколько мне известно, оно никогда не превращалось на столь длительный период в огромный сумасшедший дом. Менялись всякие представления о ценностях — и не только материальных; постановления правительства высмеивались и отвергались все традиции и нормы морали. Берлин превратился в сущий Вавилон. Бары, увеселительные заведения и распивочные росли как грибы. То, что мы видели в Австрии, оказалось лишь маленькой и робкой прелюдией этого шабаша ведьм, ибо немцы поставили с ног на голову всю свою кипучую энергию и весь свой педантизм. Даже Рим Светония не знал таких оргий, как

берлинские балы «трансвестистов», где сотни мужчин в дамских платьях, а женщины в мужском одеянии танцевали под покровительственным надзором полиции. Это сумасшествие как результат падения всех ценностей охватило как раз буржуазные, до тех пор непоколебимо устойчивые круги. Молодые девушки похвалялись своей извращенностью: в шестнадцать лет быть заподозренной в невинности считалось тогда в каждой берлинской школе позором, каждой хотелось поведать о своих похождениях, и чем более необычных, тем лучше. Но самым отвратительным в этой эротомании была ее ужасающая неестественность. В основе своей германская вакханалия, разразившаяся с инфляцией, была лишь слепым подражанием; по этим юным девушкам из хороших буржуазных семейств было видно, что куда охотнее они носили бы волосы просто на пробор, а не прилизанную мужскую прическу, охотнее копались бы ложечкой во взбитых сливках и ели бы пирожные, чем глотали крепкие напитки; по всему было заметно, что народу невыносима эта постоянная взвинченность, эта ежедневная беспощадная необходимость делать шапगत на канате инфляции и что вся уставшая от войны нация тоскует, собственно, лишь по порядку, покою, небольшой толике безопасности и гражданских прав. И в душе она отвергала республику не потому, что та хотя бы немного обуздала свободу, а, напротив, потому, что слишком отпускала поводья.

Тот, кто пережил эти апокалипсические месяцы, эти годы, сам отторгнутый и ожесточенный, тот понимал: следует ждать ответного удара, ужаснейшей реакции. И, невидимые, ждали, усмехаясь, своего часа те, кто втянул немецкий народ в этот хаос: «Чем хуже в стране, тем лучше для нас». Они знали, что час их придет. Скорее вокруг Людендорфа, чем вокруг не имевшего еще тогда власти Гитлера, уже совершенно открыто скапливались силы контрреволюции; офицеры, у которых отняли эполеты, организовывались в тайные союзы; обыватели, считавшие себя обманутыми, потому что пропали их накопления, тоже сплывались и были готовы откликнуться на любые призывы, лишь бы те обещали порядок. Ничто не было для германской республики более пагубным, чем ее идеалистическая попытка оставить свободу всем, даже ее врагам. Ибо немецкий народ, народ порядка, не знал, что делать со своей свободой, и, полный нетерпения, уже выискивал тех, кто должен отнять ее у него.

Тот день, когда закончилась инфляция (это было в 1924 году), мог бы стать поворотным в истории. Вдруг словно

ударил колокол, и вместо биллиона взвинченной марки вошла в оборот лишь одна-единственная новая марка, и все стало приходить в норму. В самом деле, мутная бурлящая пена со всей ее грязью и тиной вскоре отхлынула, бары, распивочные исчезли, условия нормализовались, каждый теперь мог подсчитать точно, сколько он выиграл, а сколько проиграл. Большинство, огромная масса, проиграло. Но к ответу привлекались не те, по чьей вине произошла война, а те, кто, не ожидая за это никакой благодарности, самоотверженно взвалили на себя бремя нового порядка. Ничто не сделало немецкий народ — это надо усвоить хорошо — таким ожесточенным, таким яростно ненавидящим и таким подготовленным для Гитлера, как инфляция. Ибо война, какой бы убийственной она ни была, все же дарит часы ликования с колокольным звоном и победными фанфарами. И, по духу милитаристское государство, Германия чувствовала себя в связи с временными победами возвышенной в своей гордости, в то время как из-за инфляции она ощутила себя лишь вываленной в грязи, обманутой и униженной; целое поколение не забыло эти годы, не простило их германской республике и предпочло добровольно склонить голову перед своими палачами. Но все это было еще впереди. Внешне в 1924 году дикая фантазмагория, подобная пляске среди блуждающих огней, казалось, улеглась. Снова стало светло как днем и ясно, где вход, а где выход. И в этом укреплении порядка мы уже усматривали начало длительного периода спокойствия. И снова, в который раз, мы думали, что с войной покончено, — неизлечимые глупцы, какими мы были всегда. И хотя это была обманчивая мечта, она даровала нам все же десятилетие труда, надежды и даже безопасности.

* * *

Оглядываясь назад, видишь, что краткое десятилетие между 1924 и 1933 годами, с момента окончания инфляции в Германии и до захвата власти Гитлером, несмотря на все и вся, представляет собой передышку в веренице катастроф, свидетелями и жертвами которых наше поколение было с 1914 года. Не то чтобы за этот период не было никаких конфликтов, потрясений и кризисов (прежде всего экономический кризис 1929 года), но в течение этого десятилетия мир в Европе казался устойчивым, а это значило многое. Германии как равноправного члена приняли в Лигу Наций, зай-

мами содействовали ее экономическому подъему, а в действительности — ее тайному вооружению; Англия отказалась от своих претензий, а в Италии Австрию защищал Муссолини. Мир, казалось, снова желает лишь созидать. Париж, Вена, Берлин, Нью-Йорк, Рим — города победителей и города побежденных — в равной мере становились красивее, самолет ускориł сообщение, оформление документов упростилось. Курс денег стал устойчивее; можно было посчитать, сколько получишь и сколько можно потратить, внимание уже не было приковано к внешним проблемам. Можно было снова работать, внутренне собраться, думать о духовных предметах. Можно было даже снова мечтать и тешить себя надеждами на единство Европы. В эти десять лет, краткий миг для истории, казалось, будто нашему много испытавшему поколению вновь дарована нормальная жизнь.

Для меня лично самым примечательным было то, что в те годы в мой дом милостиво пожаловал и обосновался гость — гость, которого я никогда не ждал, — успех. Разумеется, не очень пристойно упоминать о внешнем успехе своих книг, и в обычной ситуации я опустил бы и самое мимолетное упоминание, которое можно было бы истолковать как тщеславие или хвастовство. Но у меня есть на то особое право, и я даже вынужден не замалчивать данный факт моей жизни, ибо этот успех уже семь лет, с момента прихода Гитлера к власти, как стал достоянием истории. Из сотен тысяч и даже миллионов моих книг, неизменно присутствовавших на полках книжных магазинов и многих домов, сегодня в Германии не сыскать ни одной; тот, у кого остался хотя бы один экземпляр, тщательно прячет его подальше, а в публичных библиотеках они хранятся в так называемых «шкафах для яда» — для тех немногих, кто пользуется ими с особого разрешения властей, в основном с целью «научного» поношения. Ни читатели, ни друзья, которые мне писали, — никто из них давно уже не осмеливается указать на конверте мое объявленное преступным имя. Мало того, и во Франции, и в Италии, во всех в настоящее время поработенных странах, где книги мои — в переводе — принадлежали к самым читаемым, они по приказу Гитлера также ныне запрещены. Сегодня я как писатель, по выражению нашего Грильпарцера, стал одним из тех, кто «живой идет за своим собственным трупом»; все или почти все, что в течение сорока лет я создавал для всего человечества, раздавила эта тяжелая рука. Таким образом, упоминая о своем «успехе», я говорю о том, что когда-то принадле-

жало мне, — так же как мой дом, мое отечество, мое достоинство, моя свобода, моя независимость; только имея в виду утрату всего этого, можно представить во всей глубине и неизбежности то падение, которое я, как и многие другие, столь же неповинные люди, испытал; поэтому я должен показать ту высоту, с которой оно последовало, беспрецедентность и неотвратимость уничтожения всего нашего литературного поколения.

Этот успех не ворвался в мой дом внезапно; он входил медленно, осторожно, но до тех пор, пока Гитлер не прогнал его от меня бичом своих постановлений, оставался постоянным и прочным. Он возрастал из года в год. Путь ему проложила первая же книга, которую я опубликовал после «Иеремии», — первый том моих «Строителей мира», трилогия «Три мастера»; экспрессионисты, активисты, экспериментаторы уже выдохлись, для терпеливых и упорных путь к массам был снова открыт. Мои новеллы «Амок» и «Письмо незнакомки» получили популярность, какой обычно пользовались лишь романы, их инсценировали, читали со сцены, экранизировали. Тираж маленькой книжечки «Звездные часы человечества» — ее читали во всех школах — за короткое время достиг в издательстве «Инзель» двухсот пятидесяти тысяч экземпляров. За несколько лет мне удалось создать то, что, на мой взгляд, является для автора самым ценным проявлением успеха, — содружество своих читателей, которые ждали каждую новую книгу, приобретали ее, верили в меня и доверие которых мне нельзя было обмануть. Постепенно их становилось все больше и больше; в Германии в первый день расхodziлось двадцать тысяч экземпляров каждой новой книги, прежде чем газеты успевали сообщить о ее появлении. Иногда я пытался уклониться от успеха, но он буквально преследовал меня. Так, чтобы развлечь самого себя, я написал книгу — биографию Фуше; когда я отправил ее издателю, он сообщил мне, что тотчас издаст десять тысяч экземпляров. Я срочно написал ему, убеждая не печатать так много. Фуше — фигура малоприятная, в книге нет ни одного любовного эпизода, такой книгой невозможно привлечь широкий круг читателей; для начала достаточно пяти тысяч. Всего через год в Германии было распродано пятьдесят тысяч экземпляров — в той самой Германии, которая сегодня не смеет прочесть ни одной моей строки. То же самое произошло — из-за моего почти патологического неверия в себя — с моей обработкой «Вольпоне». Я хотел сделать версию в стихах, но написал все сцены — легко и свободно — за девять дней в прозе. Так

как дрезденский «Хофтеатр», которому я был обязан премьерой моего первенца — «Терсита», именно в эти дни случайно поинтересовался моими новыми планами, я послал ему версию в прозе, предупредив: то, что я предлагаю, всего лишь первый набросок предполагаемого варианта в стихах. В ответ пришла телеграмма, чтобы я, ради Бога, ничего не менял; действительно, пьеса в этом виде прошла затем по сценам всего мира (в Нью-Йорке в «Голдтиэтр» с Алфредом Лангом). Что бы я ни предпринимал в те годы, мне сопутствовал успех, и число немецких читателей все больше росло.

Так как в работе над биографией или эссе я всегда считал своим долгом выявить в чужих произведениях или исторических личностях причины их признания или непризнания современниками, то, размышляя над этим, не мог не спросить себя, что именно в моих книгах определило столь для меня неожиданный успех. В конечном счете это следствие присущего мне порока — того, что я являюсь нетерпеливым и темпераментным читателем. Всякое многословие, всякое суемудрие и неопределенная мечтательность, все нечеткое и неясное, всякое излишнее торможение действия романа, биографии, статьи раздражают меня. Лишь книга, которая целиком и полностью захватывает и читается залпом, заставляя затаять дыхание, доставляет мне удовольствие. Девять десятых всех книг, которые попадают в мои руки, я нахожу чрезмерно затянутыми, перегруженными излишними подробностями, пустыми диалогами и ненужными второстепенными персонажами, а потому недостаточно увлекательными, динамичными. Даже в самых знаменитых классических шедеврах мне мешают многие расплывчатые и затянутые места, и часто я предлагал издателям смелый план выпустить в виде опыта серией всю мировую литературу от Гомера через Балзака и Достоевского до «Волшебной горы», основательно сократив в каждом конкретном случае все лишнее, тогда все эти произведения, несомненно имеющие непреходящее значение, могут быть восприняты и в наше время.

Эта антипатия ко всякой многоречивости и затянутости действия в чужих произведениях естественным образом должна была отразиться на моем собственном творчестве и «держатъ меня построже». Вообще я пишу легко и быстро, в первом наброске книги я даю перу полную свободу и записываю все, что подсказывает мне сердце. Точно так же в биографическом произведении: вначале я использую самые разнообразные документальные подробности, которыми

только располагаю; в биографии, например в «Марии Антуанетте», я перепроверил каждый отдельный счет, чтобы представить ее личные расходы, просмотрел все газеты и памфлеты того времени, основательно изучил все протоколы процесса, вплоть до последней точки. Но в опубликованной книге из всего этого не осталось ни строки, ибо только по завершении первого, приблизительного наброска книги для меня, по сути дела, и начинается работа, работа по сокращению и увязке, работа, в которой отмечается версия за версией. Это непрестанное выбрасывание балласта за борт, постоянное уплотнение и прояснение внутренней архитектуры; в то время как многие не могут удержаться от соблазна рассказать о том, что они знают, и, держась за каждую удавшуюся строчку, хотят предстать намного шире и глубже, чем они есть на самом деле, мое честолюбие состоит в том, чтобы знать всегда больше того, что остается на поверхности.

Этот процесс уплотнения и тем самым усиления напряженности действия повторяется затем дважды и трижды в гранках; в конце концов это становится своего рода своеобразной охотой за еще одним предложением или хотя бы словом, отсутствие которых не уменьшит точность, но повысит динамичность повествования. Во всей работе сокращение, пожалуй, доставляет мне наибольшее удовольствие. И я вспоминаю, как однажды, когда я поднялся из-за письменного стола особенно довольный и жена сказала, что, как ей кажется, сегодня мне удалось нечто чрезвычайное, я гордо ответил: «Да, мне удалось вычеркнуть еще целый абзац и благодаря этому найти более динамичный переход». Так что если иногда в моих книгах отмечают интенсивность развития действия, то это качество проистекает отнюдь не из природной пылкости или особой эмоциональности, а единственно из этого метода постоянного исключения всех излишних пауз и побочных шумов; и если я и признаю какое-нибудь писательское мастерство, то это умение расставаться с написанным, и я не сетую, когда из тысячи исписанных страниц восемьсот отправятся в корзину для мусора, а останутся только двести, очищенных от шелухи. И если пытаться объяснить успех моих книг, речь должна идти о стремлении строго держаться в рамках малых жанров, ограничиваясь самым существенным, и я, чьи мысли с самого начала были связаны с Европой, с национальным, действительно почувствовал себя счастливым, когда появились и зарубежные издатели — французские, болгарские, армянские, португальские, аргентинские,

норвежские, латышские, финские, китайские. Вскоре мне пришлось приобрести огромный стеллаж, чтобы разместить переводы моих книг, а как-то в статистическом отчете «Coopération Intellectuelle» Женевской Лиги Наций я прочел, что в настоящее время являюсь самым переводимым автором (но в силу своего характера счел это сообщением ложным). Вскоре после этого пришло письмо русского издательства, в котором оно предлагало мне издать полное собрание моих сочинений на русском языке и интересовалось, соглашусь ли я, чтобы предисловие к нему написал Максим Горький. Согласен ли я? Еще в школе читал я рассказы Горького из-под парты, уже многие годы любил его и восхищался им. Но мне и в голову не могло прийти, что он слышал обо мне, а тем более читал что-нибудь из моих книг, и, уж конечно, то, что подобный мастер сочтет для себя возможным написать предисловие к моим произведениям. А в один прекрасный день с рекомендациями — словно в них была необходимость — в моем зальцбургском доме появился американский издатель с предложением выпустить все мои произведения и публиковать их и в будущем. Это был Бенджамен Хюбш из «Викинг пресс», который с тех пор стал моим самым надежным другом и советчиком и, поскольку все, что у меня было, ныне втоптанно в грязь сапогами с подвернутыми голенищами Гитлера, предоставил мне последнее прибежище в слове, так как прежнее, родное, немецкое, европейское, я утратил.

* * *

Подобный внешний успех всегда опасен и может вскружить голову тому, кто больше привык полагаться на значительность замысла, чем на мастерство и результаты своего труда. Всякая известность сама по себе нарушает нормальное равновесие внутри личности. В обычном состоянии имя, которое носит человек, есть не больше чем обертка для сигары: просто этикетка, внешний, почти не обязательный атрибут, лишь условно связанный с его владельцем, его сущностью. Но в случае успеха это имя словно разбухает. Оно отрывается от человека, который его носит, и становится самовластью, силой, «вещью в себе», предметом торговли, капиталом и, наконец, силой, которая начинает довлеть над своим носителем, воздействовать на человека, который его носит. Счастливые самонадеянные натуры имеют обыкновение неосознанно отождествлять себя с тем, что они делают. Титул, положение, орден и, как следствие

этого, известность их имени способны укрепить их уверенность, углубить чувство собственного достоинства, заставляют их полагать, что им принадлежит особая роль в обществе, государстве и истории, и они невольно распускают хвост, чтобы оправдать сложившееся о них впечатление. Но тот, кто в силу своего характера относится к себе самому с недоверием, любой внешний успех воспринимает как обязательство (насколько это возможно) и в столь нелегком случае оставаться самим собой.

Я вовсе не хочу сказать, что не радовался своему успеху. Напротив, я был счастлив, но лишь постольку, поскольку известность касалась моих книг, живших уже своей собственной жизнью, если не считать их призрачной связи с моим именем. Было трогательно, находясь в книжном магазине в Германии, вдруг увидеть, как, ни на кого не обращая внимания, входит маленький гимназист, требует «Звездные часы» и выкладывает за них свои считанные карманные деньги. Могло приятно тешить самолюбие, когда в спальном вагоне проводник брал паспорт и, увидев имя, возвращал его с большим почтением или итальянский таможенник в благодарность за какую-нибудь книгу, которую он прочитал, милостиво отказывался от перетряхивания багажа. Весьма приятны для автора и чисто внешние результаты его труда. Случайно я как-то приехал в Лейпциг как раз в тот день, когда шла печать моей новой книги. Меня охватило необычайное волнение, когда я увидел, сколько человеческого труда связано с тем, что я написал на трехстах страницах бумаги за три или четыре месяца. Рабочие укладывали книги в огромные ящики, другие, отдуваясь, тащили их вниз к грузовикам, которые везли их к вагонам, идущим во все стороны света. Десятки девушек укладывали рядами листы бумаги, наборщики, переплетчики, экспедиторы, торговые агенты трудились с утра до ночи, и казалось, что этими книгами, сложенными в ряды, как кирпичи, можно было бы застроить приличную улицу. И к материальной стороне дела я никогда не относился свысока. В начале пути я не осмеливался и подумать, что когда-нибудь смогу зарабатывать своими книгами деньги и даже существовать на доходы от них. Но вот они нежданно принесли немалые и все растущие суммы, которые, казалось, навсегда — кто мог предвидеть нынешние времена? — освободили меня от всяких забот. Я мог широко предаться былому увлечению моей молодости — собирать автографы, и некоторые прекраснейшие, драгоценнейшие из этих чудесных реликвий нашли у меня любовно охраняемое пристанище. Если

говорить по большому счету, то за свои все же довольно недолговечные произведения я смог приобрести рукописи непреходящих произведений, рукописи Моцарта и Баха, Бетховена, Гёте и Бальзака. Таким образом, было бы нелепой позой, вздумай я утверждать, что неожиданный внешний успех нашел меня равнодушным или даже настроенным отрицательно.

Но я искренен, когда говорю, что радовался успеху лишь постольку, поскольку он относился к моим книгам и моему литературному имени, что для меня он, однако, стал скорее обременительным, когда интерес стал вызывать я сам. С ранней юности во мне не было ничего сильнее инстинктивного желания оставаться свободным и независимым. Я чувствовал, что самое ценное, что есть у человека, — его личная свобода — сковывается и уродуется, когда выставляется на всеобщее обозрение. Кроме этого, то, что начиналось как увлечение, грозило принять форму профессии и даже некоего доходного дела. Каждая почта доставляла кипы писем, приглашений, предложений, анкет, на которые надо было отвечать, а когда я куда-нибудь уезжал на месяц, то потом два или три дня уходило на то, чтобы разобрать скопившуюся грудку и снова наладить «свое предприятие». Сам того не желая, я благодаря спросу на мои книги оказался занят чем-то, что требовало порядка, учета, осмотрительности и сноровки, чтобы вести дело должным образом, — все это весьма достойные добродетели, которые, к сожалению, отнюдь не соответствовали моей натуре и самым серьезным образом грозили помешать хорошо обдуманному решению и планам. Поэтому чем больше от меня требовали участия в чем-то, чтения лекций, представительства по разным поводам, тем больше я уединялся, и мне никогда не удавалось преодолеть почти патологический страх, что придется отвечать собой за свое имя. Я и поныне совершенно инстинктивно стараюсь сесть в зале — на концерте, спектакле — в последний, неприметный ряд, и нет для меня ничего более невыносимого, чем выставлять себя напоказ на сцене или каком-то ином обозреваемом месте; анонимность существования в любой форме для меня — потребность. С детских лет мне были непонятны те писатели и деятели искусства старшего поколения, которые старались, чтобы их узнавали прямо на улице — по бархатным курткам и развевающимся волосам, ниспадающим на лоб прядям, как, например, мои уважаемые друзья Артур Шницлер и Герман Бар, или по бросающейся в глаза бороде и экстравагантной одежде. Я убежден, что всякое обретение известности вне-

шнего свойства невольно толкает человека, если процитировать Верфеля, «жить зеркальным отражением» своего собственного «я», в каждом жесте следовать определенному стилю; но с нарочитым изменением поведения утрачивается обычно сердечность, свобода и простодушие. Если бы сегодня я мог начать все сначала, то постарался бы наслаждаться обоими видами счастья: литературным успехом в сочетании с личной анонимностью, опубликовав свои произведения под другим, вымышленным именем; ибо жизнь уже сама по себе прекрасна и полна неожиданностей, а тем более жизнь двойная!

ЗАКАТ

Это время, о котором я всегда буду вспоминать с благодарностью, эти десять лет, с 1924-го по 1933-й, были для Европы относительно спокойными; но на политическом горизонте появился тот человек, и миру был положен конец.

Наше поколение, именно потому, что на его долю выпало столько тревог, приняло временную передышку как неожиданный подарок. Было такое чувство, словно мы должны наверстать все, что украдено из нашей жизни мрачными военными и послевоенными годами: счастье, свободу, душевную сосредоточенность; мы работали больше, но не чувствовали усталости, мы путешествовали, экспериментировали, заново открывали для себя Европу, мир. Никогда еще не путешествовали так много, как в эти годы, — может быть, молодежь спешила вознаградить себя за все, что было потеряно в разобщенности? А может, это было смутное предчувствие, что надо вовремя вырваться из этой норы, прежде чем ее засыпят?

Я тоже много путешествовал тогда, но иначе, чем в дни моей молодости. Теперь ни в одной стране я не был чужаком, повсюду имелись друзья. А также издатели, публика — ведь я больше не был безвестным любопытствующим посетителем, а приезжал в качестве автора своих книг. Это давало много преимуществ. Я получил гораздо больше возможностей для пропаганды идеи, которая много лет назад стала главной в моей жизни, — идеи духовного единения Европы. Лекции на эту тему я читал в Швейцарии, в Голландии, я произносил речи на французском языке в Брюссельском Дворце искусств, на итальянском — во Флоренции, в историческом Дворце дождей, где бывали Микеланд-

жело и Леонардо, на английском — в Америке во время лекционного турне от Атлантического побережья до Тихого океана.

Да, путешествовал я иначе; я запросто общался с лучшими людьми страны, а не искал доступа к ним; те, на кого я в молодости взирал с благоговением и которым никогда не осмелился бы написать, стали моими друзьями. Я стал вхож в круги, как правило наглухо закрытые для непосвященных; я любовался частными коллекциями во дворцах Сен-Жерменского предместья, в итальянских палаццо; в государственных библиотеках я теперь уже не стоял с просительным видом у барьера, где выдают книги, — директора лично показывали мне самые редкостные и ценные издания; я бывал в гостях у антикваров, ворочающих миллионами долларов, например у доктора Розенбаха в Филадельфии, — рядовой коллекционер робко обходит стороной такие магазины.

Я впервые вступил в так называемый «высший» свет, да еще с тем преимуществом, что не нуждался в рекомендациях и все шли мне навстречу сами.

Но лучше ли я видел благодаря этому мир? Снова и снова томила тоска по путешествиям, какие я совершал в молодости, когда никто меня не ждал и все поэтому представлялось таинственнее, — мне хотелось вернуться к прежнему способу путешествовать.

Прибывая в Париж, я не спешил в тот же день оповещать о своем приезде даже ближайших друзей, таких, как Роже Мартен дю Гар, Жюль Ромен, Дюамель, Мазерель. Мне хотелось прежде всего побродить по улицам — бесцельно, как некогда в студенческие годы. Я заходил в старые кафе и гостиницы, словно возвращался в свою молодость; как и прежде, если я хотел поработать, то выбирал самую неподходящую местность — Булонь, или Тирано, или Дижон; было так хорошо жить в безвестности, в маленьких гостиницах (особенно после мерзости роскошных), то появляясь на поверхности, то уходя на глубину, распределяя свет и тень по собственной воле.

И что бы впоследствии ни отнял у меня Гитлер, но светлого чувства, что все-таки еще одно десятилетие было прожито так, как мне хотелось, с ощущением душевной свободы европейца, — этого даже он не в силах ни конфисковать, ни разрушить.

Одно из путешествий того времени было для меня особенно волнующим и поучительным — путешествие в новую Россию. Я собирался поехать туда еще в 1914 году, когда работал над книгой о Достоевском, но кровавая коса войны преградила мне путь, и с тех пор меня удерживали сомнения.

Благодаря небывалой доселе деятельности большевиков Россия стала после войны самой притягательной страной; не имея точных сведений, одни безудержно восхищались ею, другие питали к ней столь же фанатичную вражду.

Никто достоверно не знал — из-за пропаганды и бешеной контрпропаганды, — что там происходило. Однако было ясно, что там затеяли нечто совершенно новое, нечто такое, что может повлиять на судьбы всего будущего мира.

Шоу, Уэллс, Барбюс, Истрати, Жид и многие другие ездили туда; одни вернулись энтузиастами, иные — скептиками, и чего бы стоила моя сопричастность миру духа, моя устремленность к новизне, если бы я тотчас не загорелся возможностью сопоставить свои представления с увиденным собственными глазами.

Там были очень популярны мои книги — не только собрание сочинений с предисловием Максима Горького, но и маленькие грошовые издания, имевшие хождение в самых широких слоях народа; я мог не сомневаться в хорошем приеме. Но меня удерживало то, что любая поездка в Россию в те годы немедленно обретала характер некоей политической акции; требовался публичный отчет — признаешь или отрицаешь, — а я, испытывая глубочайшее отвращение и к политике, и к догматизму, не мог допустить, чтобы меня заставили после нескольких недель пребывания в этой необъятной стране выносить суждения о ней и о ее еще не решенных проблемах.

Поэтому, несмотря на жгучее любопытство, я не решался отправиться в Советскую Россию. И вот весной 1928 года я получил приглашение — в качестве представителя от австрийских писателей принять участие в праздновании столетнего юбилея Льва Толстого и выступить с речью о нем на торжественном вечере. У меня не было причин для отказа, поскольку поездка, в связи с общечеловеческой значимостью повода ее, не имела политического характера. Толстого — апостола непротивления — нельзя было представить большевиком, а говорить о нем как о писателе я имел полное право, так как моя книга о нем разошлась во

многих тысячах экземпляров; к тому же мне представлялось, что для сплочения Европы станет важным событием, если писатели всех стран объединятся, чтобы отдать дань восхищения величайшему среди них.

Я согласился, и мне не пришлось пожалеть о своем быстром решении. Поездка через Польшу уже была событием. Я увидел, насколько быстро умеет наше время залечивать раны, которые оно само себе наносит. Те самые галицийские города, развалины которых я видел в 1915-м, выглядели обновленными; я опять убедился, что десять лет, такой огромный для каждого человека период, — это всего лишь миг жизни народа. В Варшаве ничто не напоминало о том, что по ней дважды, трижды, четырежды прокатились победоносные и разбитые армии. В кафе блистали элегантные женщины. Стройные офицеры в приталенных мундирах прогуливались по улицам, похожие, скорее, на ловких придворных актеров, наряженных военными. Повсюду ощущалось оживление, доверие и оправданная гордость за то, что новая, республиканская Польша быстро поднялась из руин.

От Варшавы было уже недалеко до русской границы. Местность становилась все более плоской, почва — более песчаной; на каждой станции выстраивалось все население деревни в пестрых сельских нарядах: в запретную и закрытую страну проходил в те времена один поезд в день, и прохождение ослепительного вагона-экспресса, соединяющего миры: Восток и Запад, — это было целым событием. Наконец добрались до пограничной станции Негорелое!

Над железнодорожным полотном был натянут кумачовый транспарант с надписью, которую я не разобрал, так как это была кириллица. Мне перевели: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Пройдя под этим пламенеющим стягом, мы вступили в империю, где правил пролетариат, в Советскую республику, в новый мир. Правда, поезд, который нам подали, был отнюдь не пролетарский. Он оказался старорежимным спальным поездом и был роскошнее, чем европейские люкс-поезда, и удобнее — вагоны шире, а скорость меньше.

Впервые ехал я по русской земле, и — странное дело — она не казалась мне чужой. Все было удивительно знакомо — тихая грусть широкой пустынной степи, избушки, городки, высокие колокольни с луковичными завершениями, бородастые мужики — каждый не то крестьянин, не то пророк, — улыбавшиеся нам открыто и добродушно, женщины в пестрых платках и белых фартуках, торговавшие квасом, яйцами и огурцами. Откуда я знал все это? Исключительно

благодаря замечательной русской литературе — по произведениям Толстого, Достоевского, Аксакова, Горького, которые столь правдиво изобразили «жизнь народа». Мне казалось, хотя я и не знал языка, что понимаю то, что говорят эти люди — трогательно-простые мужики, спокойно стоявшие вокруг в своих просторных рубахах, и молодые рабочие в поезде, игравшие в шахматы, или читавшие вслух, или спорившие, — понимаю эту беспокойную, неукротимую энергию молодости, неизмеримо возросшую в ответ на обращение отдать все свои силы. Сказывалась ли в этом отношении любовь Толстого и Достоевского к «народу», которая жила во мне как воспоминание, — во всяком случае, уже в поезде меня охватило чувство симпатии к детскому и трогательному, умному и естественному в этих людях. Две недели, которые я провел в Советской России, потребовали непрерывного огромного напряжения. Смотрел, слушал, восхищался, разочаровывался, воодушевлялся, сердился — меня без конца бросало то в жар, то в холод. Уже сама Москва двоилась: вот великолепная Красная площадь: стены и башни с луковичами — нечто поразительно татарское, восточное, византийское (а стало быть, исконно русское), — а рядом, словно выходцы из другого мира, современные, сверхсовременные дома, подобные американским. Одно не вязалось с другим; в церквях еще смутно вырисовывались древние закоптелые иконы и сверкающие драгоценными камнями алтари святых, а в какой-то сотне метров от них лежало в своем стеклянном гробу, только что покрашенном (не знаю, в нашу ли честь), тело Ленина в черном костюме.

Один-два сверкающих автомобиля — и тут же бородастые, грязные извозчики, погоняющие кнутом, причмокиванием и ласковыми словами своих тощих лошадей; Большой театр, в котором мы выступали перед пролетарской публикой, сиял царским великолепием и торжественным блеском, а на окраинах стояли ветхие дома-инвалиды, прислонясь друг к другу, чтобы не упасть. Слишком много накопилось старого, инертного, заржавленного, и теперь все стремилось без промедления стать современным, ультрасовременным, супертехническим. Из-за этой спешки Москва казалась переполненной, перенаселенной, сумбурной и хаотичной... Повсюду толкались люди: в магазинах, перед театрами, и повсюду им приходилось ждать, излишняя заорганизованность приводила к сбоям. Молодые руководители, призванные навести «порядок», еще вкушали радость от сочинительства записок и разрешений, что тормозило дело.

Большой вечер, который должен был начаться в шесть часов, открылся в половине десятого; когда в три часа утра, смертельно усталый, я покидал театр, ораторы как ни в чем не бывало продолжали выступать. Время утекало между пальцев, но все же каждая секунда была насыщена впечатлениями и спорами; во всем этом был какой-то лихорадочный ритм, и я чувствовал, как захватывает это загадочное горение русской души, неукротимая страсть выплескивать мысли и чувства еще горячими.

Сам не понимая отчего, я пребывал в какой-то восторженности: по-видимому, дело было в самой атмосфере, беспокойной и новой; возможно, я уже сроднился с русской душой.

Было много замечательного, особенно в Ленинграде, этом городе, созданном неукротимым государем, городе с широкими проспектами, громадными дворцами, — и в то же время это был гнетущий Петербург «Белых ночей», город Раскольникова. Незабываемое зрелище: в величественном Эрмитаже толпы рабочих, солдат, крестьян, в тяжелых сапогах, благоговейно сняв шапки, словно перед иконами, проходили по бывшим царским апартаментам, разглядывая с затаненной гордостью картины — теперь это наше, и мы научимся понимать такие штуки. Учителя проводили по залам круглощеких детей, комиссары искусства объясняли слегка робеющим крестьянам Рембрандта и Тициана; всякий раз, когда обращали внимание на детали картин, зрители взглядывали исподлобья, украдкой. Здесь, как и повсюду, это бескорыстное и искреннее стремление одним духом поднять народ из тьмы невежества до понимания Бетховена и Вермера отдавало чем-то наивным, но желание одних с ходу объяснить, а других — с лету понять высочайшие ценности было у тех и у других одинаково нетерпеливым.

В школах детям давали срисовывать самые странные, самые экстравагантные вещи; у двенадцатилетних девочек на партах лежали книги Гегеля и Сореля (которого я и сам в то время еще не знал); извозчики, и читать-то еще не выучившиеся как следует, не расставались с книгой лишь потому, что это были книги, а книги — это учение, то есть дело чести для молодого пролетариата. Ах, как часто случалось улыбаться, когда нам показывали обыкновенные фабрики, ожидая, что мы удивимся, как будто мы ни в Европе, ни в Америке ничего подобного не видели. «Элект-

рическая», — сказал мне один рабочий, указывая на швейную машину, и в глазах его было ожидание: ведь я должен был изумиться. Потому что все эти технические предметы народ видел впервые, он безропотно верил, что все это придумали и изобрели революция и батюшки Ленин и Троцкий.

И я посмеивался, восхищаясь, и восхищался, улыбаясь про себя; до чего же замечательный, одаренный и добрый большой ребенок эта Россия, думал я постоянно и спрашивал себя: сможет ли она и в самом деле выучить этот невероятный урок так скоро, как решила? Воплотится ли этот план с еще большим великолепием или увязнет в старой русской обломовщине? Временами я был уверен в успехе, порою сомневался. Чем больше я видел, тем меньше понимал суть происходящего.

Но разве только во мне была эта двойственность, разве не было ее еще больше в глубине русской души, даже в душе Толстого, на чествование которого мы прибыли? В поезде, по пути в Ясную Поляну, я говорил об этом с Луначарским. «Кем он, собственно, был, — сказал мне Луначарский, — революционером, реакционером? Разве сам он это знал? Как настоящий русский, он хотел всего сразу, хотел одним махом изменить весь тысячелетний мир. Совсем как мы, — добавил он, улыбаясь, — и, подобно нам, он хотел добиться этого с помощью одной-единственной формулы. Нас, русских, неверно понимают, называя терпеливыми. Мы терпеливы телом и даже душой. Но мышление у нас нетерпеливее, чем у любого другого народа, нам подавай сию минуту всю правду-матку. И как он, старик, страдал из-за этого».

И в самом деле, бродя по дому Толстого в Ясной Поляне, я все время думал: «Как он страдал, этот великий старик». Вот письменный стол, за которым он писал свои бессмертные произведения, и он уходил от него, чтобы тут же, за стеной, в убогой комнатухе тачать сапоги, плохие сапоги. Я видел дверь и лестницу, по которой он хотел бежать от двойственности своего существования. Там висело ружье, из которого он стрелял на войне во врагов — а ведь он был противником всякой войны. В этом невысоком светлом доме я оказался лицом к лицу с загадкой всей его жизни, но это гнетущее, трагическое чувство, как ни странно, утихло, когда мы пришли к месту его последнего упокоения.

Ибо я не видел в России ничего более прекрасного, более волнующего, чем могила Толстого. Эта величайшая святыня расположена в лесу, в отдалении. Узкая тропинка ведет к холму — это всего-навсего прямоугольник насыпан-

ной земли, не защищенный, не охраняемый никем, кроме нескольких больших тенистых деревьев. Высокие эти деревья Лев Толстой посадил сам — так сказала мне его внучка, когда мы стояли у могилы. В детстве они с братом Николаем услышали от какой-то крестьянки поверье, будто место, где посадишь дерево, становится счастливым. И они посадили несколько саженцев — скорее для забавы. Лишь много лет спустя, уже стариком, он вспомнил это удивительное предсказание и завещал похоронить себя под теми деревьями, которые сам посадил. Воля его была исполнена в точности, и могила эта — самая волнующая в мире благодаря хватающей за душу скромности. Прямоугольный холмик в лесу, тонущий в листве, — *nulla crux, nulla corona*¹ — ни креста, ни плиты, ни надписи. Великий человек, больше всех на свете страдавший от своего имени и славы, похоронен безымянным, так же как случайный бродяга, как неизвестный солдат. Никому не возбраняется приблизиться к его последнему пристанищу, легкая деревянная оградка не заперта. Никто не сторожит вечный покой того, кто не знал покоя, — он под охраной одного лишь людского благоговения. Обычно взоры привлечены к пышному убранству могилы, а здесь эта простота властно налагает запрет на всякое суетное любопытство. Над безымянной могилой шумит ветер, точно молитву читает, а вокруг — безмолвие, и можно пройти мимо, увидев лишь то, что здесь кто-то похоронен — русский человек в русской земле. Ни саркофаг Наполеона под мраморными сводами Дома Инвалидов, ни гроб Гёте в герцогском склепе, ни памятники Вестминстерского аббатства не производят такого потрясающего впечатления, как эта затерянная в лесу, удивительно молчаливая, трогательно безымянная могила: только ветер шелестит над ней — ни слов, ни славы.

* * *

Две недели пробыл я в России, не переставая ощущать этот внутренний подъем, этот легкий туман духовного опьянения. Но что же, что вызвало такое волнение? Вскоре я понял: дело было в людях и в порывистой сердечности, которую они излучали. Все как один были убеждены, что участвуют в грандиозном, всемирно-историческом деле, всех воодушевляла мысль, что они идут на выпавшие им

¹ Ни креста, ни венца (*лат.*).

лишения и ограничения во имя высокой цели. Старое чувство неполноценности по отношению к Европе переросло в опьяняюще-горделивое сознание, что они первые, они впереди всех. «Ex oriente lux» — они были уверены, что несут избавление: Истина — они узрели ее; им выпало осуществить такое, о чем другие только мечтали. Какую бы мелочь они ни показывали, глаза у людей сияли: «Это сделали мы». И это «мы» объединяло весь народ. Извозчик, широко улыбаясь, указывал кнутом на новостройку: «Это мы построили». В студенческих общежитиях подходили татары, монголы, важно показывали книги: «Дарвин», — говорил один; «Маркс», — вторил другой с такой гордостью, точно они сами написали и эти книги. Беспреданно окружая нас, они наперебой объясняли и показывали — они были рады возможности показать результаты своего труда.

Каждый — годы до Сталина! — испытывал к европейцу безграничное доверие, смотрели они на человека добрыми, верными глазами и руку трясали по-братски, что есть силы.

Но в то же время даже самые скромные давали почувствовать, что если они кого и любят, то, уж во всяком случае, без «почитания» — ведь все были братья, товарищи, друзья. И писатели тоже не изменяли этому правилу. Мы все собрались в доме, принадлежавшем некогда Александру Герцену, — не только европейцы и русские, но и тунгусы, и грузины, и кавказцы; каждая советская республика послала к Толстому своего делегата. Многие из них не могли объясняться друг с другом, и все-таки понимали все. То один, то другой вставал, подходил, называя книгу, которую написал его собеседник, и прикладывал руку к сердцу, как бы говоря: «Мне очень нравится», а потом вашу руку сжимали и трясали так, точно хотели от избытка любви переломать вам все кости. И каждый — что было особенно трогательно — подносил вам подарок. Времена были еще трудные, ценностей никаких ни у кого не имелось, но каждый оставлял что-нибудь на память: старую, грошовую гравюру, книгу, которую мне было не прочесть, или деревенскую резную самоделку. Я был в более выгодном положении, ведь я мог одаривать «драгоценностями», которых в России тогда не было: бритвенным лезвием «Жиллет», авторучкой, хорошей белой почтовой бумагой, парой мягких домашних туфель; так что на обратном пути чемодан у меня был совсем легкий. Покоряла именно эта молчаливая и вместе с тем порывистая сердечность, неизвестные у нас широта и тепло отношений, которые здесь воспринимались обостренно — ибо у нас ведь до «народа» никогда никто не

добирался, — всякое пребывание с этими людьми оборачивалось опасным соблазном, перед которым и в самом деле не могли устоять иные из иностранных писателей во время их визитов в Россию. Видя, что их чествуют, как никогда прежде, и любят широкие массы, они верили в то, что необходимо прославлять режим, при котором их так читали и любили; ведь это заложено в человеческой натуре: на великодушие отвечать великодушием, на избыток чувств избытком чувств. Должен признаться, что в иные мгновения я сам в России был близок к тому, чтобы стать высокопарным и восхищаться восхищением.

Благодарить за то, что я не поддался этому колдовскому дурману, следует не столько мои собственные душевные силы, сколько незнакомца, имя которого мне неизвестно и никогда не станет известно. Это произошло после торжественной встречи со студентами. Они окружили меня, обняли, трясли мои руки. Мне еще было жарко от их энтузиазма, охваченный радостью, я видел их оживленные лица. Целая ватага, четыре или пять человек проводили меня домой, при этом переводила мне все прикрепленная ко мне переводчица, тоже студентка. И только закрыв за собой дверь гостиничного номера, я наконец остался один, один, по сути дела, впервые за последние двенадцать дней, потому что все время тебя здесь сопровождали, окружали теплом и заботой. Я стал раздеваться и снял пиджак. При этом что-то зашуршало. Я сунул руку в карман. Это было письмо. Письмо на французском языке, но письмо это прибыло не по почте, очевидно, кто-то, когда меня со всех сторон обступили студенты, ловко опустил его мне в карман.

Письмо было без подписи, очень умное, человеческое письмо, совсем не от «белого», и все же полное горечи из-за усилившегося в последние годы ограничения свободы. «Верьте не всему, — писал мне этот незнакомец, — что Вам говорят. При всем, что Вам показывают, не забывайте того, что многое Вам не показывают. Поверьте, что люди, с которыми Вы говорите, Вам в большинстве случаев говорят не то, что сказать хотят, а лишь то, что смеют. За всеми нами следят, и за Вами — не меньше. Ваша переводчица передает каждое Ваше слово. Телефон Ваш прослушивается, каждый шаг контролируется». Он приводил ряд примеров и мелочей, перепроверить которые я был не в состоянии. Но письмо это я сжег в полном соответствии с его указанием: «Вы его не просто порвите, потому что отдельные кусочки из Вашей мусорной корзины достанут и составят их вместе» — и впервые задумался обо всем. В самом деле,

разве не соответствовало действительности то обстоятельство, что во всей этой искренней сердечности, этом чудесном дружелюбии мне ни единого раза не представилась возможность поговорить с кем-нибудь непринужденно наедине? Незнание языка мешало мне вступать в непосредственный контакт с простыми людьми. И потом: какую микроскопически малую часть этой необозримой страны мне довелось увидеть в эти четырнадцать дней! Если я хотел быть честным по отношению к себе и другим, мне следовало признать, что все мои впечатления, какими бы волнующими, какими воспаляющими во многих отношениях они ни были, не могли иметь никакой объективной значимости. Таким образом, вместо того чтобы, как очень многие европейские писатели, побывавшие в России, тотчас опубликовать книгу с восхищенным «да» или ожесточенным «нет», я не написал ничего, кроме нескольких статей. И подобная сдержанность была оправдана, ибо уже через три месяца многое выглядело по-другому, чем это видел я, а через год, поскольку ситуация изменилась коренным образом, каждое мое слово было бы опровергнуто фактами как ложь. И все же я ощутил стремнину нашего времени в России так интенсивно, как редко в моей жизни.

Мои чемоданы при отъезде из Москвы были довольно пусты. Все, что можно было раздать, я оставил в Москве, взяв с собой лишь две иконы, которые долго еще украшали мою комнату.

Но самым ценным из того, что я привез домой, была дружба Максима Горького, с которым я впервые встретился лично в Москве. Год или два спустя мы увиделись в Сорренто, куда он вынужден был поехать, чтобы поправить свое подорванное здоровье, и где я провел три незабываемых дня гостем у него в доме.

На этот раз наше общение протекало довольно своеобразно. Горький не владел никакими иностранными языками, я же не говорил по-русски. По логике вещей нам оставалось только молча разглядывать друг друга или прибегать в любом разговоре к переводческим услугам нашей дорогой баронессы Будберг. Но не зря ведь Горький был одним из гениальнейших в мировой литературе рассказчиков; рассказ был для него не только формотворчеством, но и насыщенный способ самовыражения. Рассказывая, он жил в событиях своего рассказа и превращался в его героев — и я, не зная языка, понимал его сразу же по мимике. Сам он выглядел очень «русским», иначе не скажешь. В его лице не было ничего примечательного; этого высокого, худого

человека со светлыми волосами и широкими скулами можно было представить себе крестьянином в поле, извозчиком на облучке, уличным сапожником или опустившимся бродягой — он был воплощенный «народ», воплощенный тип русского человека.

На улице я не обратил бы на него внимания, прошел бы мимо, не заметив ничего особенного. Только сидя напротив него, когда он говорил, вы понимали, кто это, ибо он невольно превращался в того, кого описывал. Я вспоминаю его рассказы о человеке, встреченном в скитаниях, — старом, горбатым, усталом, — я понял это прежде, чем мне перевели. Голова сама собой ушла в поникшие плечи, лучисто-голубые, сиявшие в начале рассказа глаза стали темными, усталыми, голос задрожал, сам того не зная, он превратился в старого горбуна.

Но стоило ему припомнить что-нибудь веселое, он заливался смехом, непринужденно откидываясь на стуле; лицо его сияло; слушать его, когда он плавными и в то же время точными — я бы сказал, изобразительными — жестами воссоздавал обстановку и людей, было неопишваемым наслаждением. Все в нем было совершенно естественно — походка, манера сидеть, слушать, его озорство; как-то вечером он нарядился боярином, нацепил саблю, и тотчас взгляд его стал высокомерным. Властно насунив брови, он энергично расхаживал взад и вперед по комнате, словно обдумывая безжалостный приговор; а в следующее мгновение, сбросив маскарад, он рассмеялся по-детски — ни дать ни взять деревенский парень. В нем была необыкновенная воля к жизни; он, с его разрушенным легким, жил, собственно говоря, вопреки всем законам медицины, однако невероятное жизнелюбие, железное чувство долга поддерживало его; по утрам он писал каллиграфически аккуратным почерком новые страницы своего большого романа, отвечал на сотни вопросов, с которыми обращались к нему молодые писатели и рабочие его страны; рядом с ним я чувствовал Россию — не старую или сегодняшнюю Россию, а саму душу бессмертного народа, широкую, сильную. И все же его угнетала мысль, что он живет вдали от своих товарищей в такие годы, когда каждая неделя — решающая.

В эти дни я случайно стал очевидцем одной очень характерной, в духе новой России, сцены, в которой мне открылось сведавшее его беспоконие. В Неаполь впервые зашел советский военный корабль, находившийся в учебном плавании. Молодые матросы в парадной форме, никогда не бывавшие в этом всемирно известном городе,

бродили по Виа-де-Толедо, не в силах досыта наглядеться своими большими, любопытными крестьянскими глазами на все диковины. На следующий день некоторые из них решили съездить в Сорренто, чтобы навестить своего писателя. Они не предупреждали о своем визите: русская идея братства подразумевала, что их писатель всегда найдет для них время. Они нагрянули к нему домой — и не ошиблись: Горький не заставил их ждать.

Но эти молодые люди, для которых их «дело» было выше всего, поначалу держались с Горьким довольно сурово — он сам со смехом рассказывал об этом на следующий день. «Как ты тут живешь, — заговорили они, едва войдя в красивую, удобную виллу, — словно какой-нибудь буржуй. И почему, собственно, ты не возвращаешься в Россию?» Горькому пришлось объяснить им все как можно подробнее. В сущности, эти смелые парни были настроены не так уж строго. Они просто хотели показать, что не питают никакого «почтения» к славе и судят о каждом прежде всего по его убеждениям. Они непринужденно расселись, пили чай, болтали и на прощание по очереди обняли его.

Стоило посмотреть, как великолепно Горький рассказывал об этой сцене: восхищаясь раскованностью и свободой нового поколения, без тени обиды на бесцеремонность этих людей. «До чего же мы были не похожи на них, — повторял он без конца, — были забытые — были порывистые, но ни у кого не было уверенности в себе». Весь вечер глаза его сияли. И когда я сказал ему: «Вы, кажется, охотнее всего уехали бы с ними на родину», он взглянул на меня строго и удивленно: «Откуда вы знаете? Я и вправду до самой последней минуты все раздумывал, а не бросить ли мне все как есть — и книги, и рукописи, и работу — и уйти на пару недель в море с такими вот молодыми ребятами, на их судне. Я заново понял бы, что такое Россия. На расстоянии забывается самое лучшее, еще никто из нас не создавал ничего стоящего на чужбине».

* * *

Но Горький ошибался, когда называл Сорренто эмиграцией. Он мог в любой день вернуться домой — да так он и сделал. Ни сам он, ни его книги не были отвергнуты, как случилось с Мережковским — я встречал этого озлобленного неудачника в Париже — или сегодня с нами, с теми, у кого, по прекрасному выражению Грильпарцера, «две чуж-

бины и ни одной родины», кто бесприютен в своем языке и гоним судьбой.

Нет, настоящего и притом своеобразного изгнанника я встретил в Неаполе: это был Бенедетто Кроче. Целые десятилетия он был духовным вождем молодежи, удостаивался, как сенатор и министр, всех почестей, какие могла оказать ему страна, — до тех пор, пока сопротивление фашизму не привело его к разрыву с Муссолини. Он отказался от всех своих постов и устранился от дел; но крайне правым («бешеным») было мало этого, они хотели сломить его стойкость, а в случае неудачи — и проучить его. Студенты — теперь, в отличие от прежних времен, они повсюду стали штурмовым отрядом реакции — осаждали его дом и били стекла.

Но приземистый человек с умными глазами и бородкой клинышком, похожий, скорее, на преуспевающего буржуа, не дал себя запугать. Он не покинул страну, он остался в своем доме за баррикадой из книг, невзирая на приглашения американских и прочих университетов. Он продолжал издавать журнал «Критика», придерживаясь прежнего направления, он печатал свои книги, и авторитет его был так велик, что по приказу Муссолини цензура, как правило нетерпимая, не трогала его, хотя с его учениками, с его соратниками было покончено.

Соотечественник и даже иностранец, вздумавший его навестить, должен был обладать немалой смелостью, ибо власти прекрасно знали, что в своей цитадели, своем доме, забитом книгами, он высказывался без экивоков.

Так он и жил — словно в наглухо замкнутом пространстве, под каким-то воздушным колпаком посреди сорока-миллионного моря своих соотечественников. Эта герметическая изоляция в огромном городе, в многомиллионной стране представлялась мне чем-то загадочным и в то же время героическим. Я еще не знал, что это была гораздо более мягкая форма духовного умерщвления, чем та, что впоследствии выпала на долю нас самих, и я не мог не восхищаться той бодростью и духовной энергией, которую сохранил в повседневной борьбе этот уже не молодой человек.

А он смеялся. «Сопротивление-то как раз и возвращает молодость. Останься я сенатором, живи полегче — давно уже впал бы в духовную спячку, изменил бы себе. Ничто так не вредит человеку умственного труда, как недостаток сопротивления; лишь после того, как я остался один и рядом со мной нет молодежи, я сам оказался вынужден снова стать молодым».

Но должно было пройти еще несколько лет, прежде чем я постиг, что испытания зовут на борьбу, преследования закаляют, а одиночество возвышает человека — если он не сломится под ними. Как и все самое важное в жизни, это знание никогда не дается чужим опытом, а всегда — только собственной своей судьбой.

* * *

То, что я никогда не видел наиважнейшего человека Италии, Муссолини, следует приписать тому, что меня смущает сближение с политиками; даже у себя дома, в моей маленькой Австрии, что, по сути дела, не так-то просто, я ни разу не встретился ни с одним из ведущих государственных деятелей — ни с Зейпелем, ни с Дольфусом, ни с Шушником. И тем не менее мне следовало бы высказать личную признательность Муссолини, который, как я знал от общих друзей, в Италии был одним из первых и самых ревностных читателей моих книг, за то, что он быстро исполнил мою единственную просьбу, с какой я вообще когда-либо обращался к какому-нибудь государственному деятелю.

Это произошло так. В один прекрасный день я получил срочное письмо от одного друга из Парижа: по важному делу в Зальцбурге меня желает посетить одна итальянка, а я должен ее принять. Итальянка эта появилась на следующий день, и то, что она мне рассказала, меня потрясло. Ее муж, видный врач из бедной семьи, был воспитан Маттеотти на его средства. После злодейского убийства фашистами этого социалистического лидера изрядно подуставшая мировая совесть еще раз с прискорбием отреагировала на это вопиющее преступление. Возмутилась вся Европа. Верный друг Маттеотти, этот врач оказался, разумеется, одним из шести смельчаков, кто отважился публично нести по улицам Рима гроб с убитым; после начавшихся затем бойкота и угроз в его адрес он эмигрировал. Но судьба семьи Маттеотти не давала ему покоя; помня своего благодетеля, он решил нелегально переправить его детей из Италии за границу. Но попытка не удалась, и он попал в руки шпионов или агентов-provokаторов и был арестован. Так как всякое упоминание о Маттеотти для Италии было неприятно, то процесс по такому поводу вряд ли кончился бы для него очень плохо; но прокурор ловко препроводил его в другой, проходивший одновременно с этим процесс, связанный с заранее спланированным вооруженным поку-

шением на Муссолини. И врач, получивший на войне высшие военные награды, был приговорен к десяти годам тюрьмы строгого режима.

Молодая женщина, понятно, была невероятно взволнована. Нужно что-то предпринять в связи с этим приговором, которого ее муж не выдержит. Нужно объединить для публичного протеста видных писателей Европы, и она просит помочь ей. Протестовать публично я ей отсоветовал сразу. Я знал, насколько тщетны были все эти манифестации накануне войны. Я пытался разъяснить ей, что хотя бы из национального престижа ни одна страна не позволит воздействовать на свою юстицию извне и что европейский протест в случае Сакко и Ванцетти в Америке имел скорее пагубное, чем благотворное воздействие. Поэтому я просил ее ничего не предпринимать в этом отношении. Она просто ухудшит положение мужа: никогда Муссолини не пожелает, а если даже и пожелает, то не сможет смягчить наказание, если ему попытаются навязать его извне. Но я, взволнованный до глубины души, пообещал сделать все, что смогу. По воле случая на будущей неделе я как раз еду в Италию, где у меня есть добрые друзья во влиятельных кругах. Быть может, им нелегально удастся помочь ему.

Я попытался заговорить об этом в первый же день. Но увидел, как уже сильно поразил их души страх. Стоило мне назвать имя, как каждый приходил в замешательство. Нет, в этом случае он бессилен. Абсолютно. И так говорил каждый из них. Обескураженный вернулся я назад; мне казалось, несчастная женщина не верит, что я использовал все возможности. Все ли? Оставалась еще одна, последняя, — обращение к человеку, от которого непосредственно зависело решение, к самому Муссолини.

Я так и поступил. Написал ему во всех отношениях искреннее письмо. Не хочется начинать с лести, писал я, или утверждать, будто мне неизвестны ни этот человек, ни мера его вины. Но я познакомился с его женой, которая, несомненно, ни в чем не виновата, а на нее тоже падет вся тяжесть наказания, если ее муж проведет эти годы в тюрьме. Ни в коем случае не хочу оспаривать приговор, но смею думать, что это спасло бы жизнь женщины, если бы ее мужа вместо тюрьмы поместили на одном из островов для заключенных, где женам и детям разрешено жить вместе с сосланными.

Это письмо, адресованное его превосходительству Бенито Муссолини, я бросил в обыкновенный зальцбургский почтовый ящик. Через четыре дня итальянское

посольство в Вене известило меня, что его превосходительство просит поблагодарить меня и сообщить, что мое пожелание он учтет и уже предусмотрел сокращение срока наказания. Одновременно из Италии пришла телеграмма, подтверждавшая перевод, о котором просили. Одним росчерком пера Муссолини самолично исполнил мою просьбу, и в самом деле, осужденный вскоре вообще был помилован. Ни одно письмо в моей жизни не доставило мне столько радости и удовлетворения, и если говорить о литературном успехе, то об этом я думаю с особой благодарностью.

Хорошо было путешествовать в те последние годы затишья перед бурей. Но и возвращаться домой тоже было прекрасно. Странные вещи происходили там в это спокойное время. Маленький — сорок тысяч жителей — город Зальцбург, который я избрал своим местожительством именно из-за его романтической отдаленности, поразительно переменялся: что ни лето он превращался в летнюю артистическую столицу не только Европы, но и всего мира.

В труднейшие послевоенные годы Макс Рейнхардт и Гуго фон Гофмансталь, пытаясь помочь нуждающимся актерам и музыкантам, сидевшим каждое лето без хлеба, поставили на зальцбургской соборной площади несколько спектаклей на открытой сцене — прежде всего ту знаменитую пьесу «Для всех», — привлекаяших сначала только окрестных жителей; затем предприняли оперные постановки, которые тоже от раза к разу удавались все лучше, все совершеннее. В конце концов они вызвали интерес во всем мире. Лучшие дирижеры, певцы, актеры наперебой оспаривали честь приехать сюда, привлеченные возможностью продемонстрировать свое искусство перед международной, а не только отечественной аудиторией. Зальцбург стал вдруг всемирным центром паломничества, это были как бы олимпийские игры современного искусства, на которых все нации стремились показать свои лучшие достижения. Отныне трудно было себе представить, как раньше мир жил без этих шедевров исполнительского искусства.

Европа еще не знала подобного средоточия исполнительского музыкального мастерства, какие явил миру этот небольшой городок в маленькой Австрии, которой пренебрегали долгое время. Зальцбург преобразился. Летом на его улицах можно было встретить всех, кто ценил в искусстве высочайшее совершенство формы; каждый, будь то европеец или американец, одевался «по-зальцбургски»: на мужчинах — белые полотняные шорты и просторные куртки, на женщинах — пестрый «баварский» наряд; крохотный

Зальцбург захватил первенство в мировой моде. Номера в гостинице были нарасхват, скопление автомобилей у здания, где проходил фестиваль, выглядело не менее внушительно, чем съезд карет перед каким-нибудь балом в императорском дворце, на вокзале яблоку было негде упасть; другие города пытались переманить этот золотой дождь к себе, но безуспешно. На протяжении этого десятилетия Зальцбург был Меккой артистической Европы. Так я неожиданно-негаданно очутился, не покидая своего города, в самом центре Европы. Судьба опять исполнила мое желание, в котором я вряд ли осмелился бы сам себе признаться, и наш дом на Капуцинерберг превратился в европейский салон. Кто только не побывал там! Книга посетителей могла бы рассказать об этом больше, чем моя бедная память, но и книги, и сам дом, и многое другое досталось нацистам.

С кем только не вели мы там долгих душевных бесед, сидя на террасе, любуясь красивым и мирным ландшафтом и даже не подозревая, что прямо напротив, в Берхтесгадене, находится некий человек, который все это разрушит. У нас гостили Ромен Роллан и Томас Манн, запросто бывали писатели Г. Д. Уэллс, Гофмансталь, Якоб Вассерман, Ван Лун, Джеймс Джойс, Эмиль Людвиг, Франц Верфель, Георг Брандес, Поль Валери, Джейн Адамс, Шолом Аш, Артур Шницлер; музыканты Равель и Рихард Штраус, Альбан Берг, Бруно Вальтер, Барток — да разве их перечтешь, этих художников, актеров, ученых со всего света? Сколько добрых и светлых часов интеллектуальной беседы дарило нам каждое лето! Однажды, одолев крутую лестницу, зашел Артуро Тосканини, и с этой минуты началась дружба, заставившая меня еще сильнее и осознанней, чем прежде, полюбить музыку, наслаждаться ею.

С тех пор в течение ряда лет я непременно присутствовал на его репетициях и всякий раз переживал заново ту страстную борьбу, в которой выковывалось его мастерство — то самое, которое на публичных концертах представляется одновременно и волшебным, и простым.

Как-то я попытался описать эти репетиции, которые представляют для любого художника образец и пример того, каким неотступно взыскательным надо быть даже в самом малом. Слова Шекспира, что «музыка — хлеб для души», блистательно оправдались, и, наблюдая за состязанием искусства, я благословлял судьбу, даровавшую мне возможность длительное время трудиться в союзе с ними.

Как насыщенные, как яркие были эти летние дни, когда

искусство и божественный ландшафт взаимно обогащали друг друга! И всякий раз я, оглядываясь назад, вспоминал, каким был этот городок в первые послевоенные годы: разрушенный, серый, притихший, в нашем доме протекает крыша, и мы боремся с дождем, — лишь тогда я понимал, чем стали в моей жизни эти незабвенные мирные годы. Вновь появилась возможность верить в мир, в человечество.

* * *

Много бывало в те годы в нашем доме желанных, имениных гостей, но и в часы, когда я оставался один, вокруг меня теснилась магическая толпа великих образов тех, чьи тени, одну за другой, мне удавалось вызывать из тьмы небытия: в моей уже упоминавшейся коллекции автографов были теперь представлены образцы почерка величайших мастеров всех времен. Благодаря опыту, достатку и все возраставшему увлечению затея пятнадцатилетнего дилетанта превратилась за эти годы из обыкновенного собрания в органичное целое, смею даже сказать — в истинное произведение искусства.

На первых порах я, как и всякий начинающий, гнался за именами, за громкими именами; потом собирал — из любопытства к психологии — только рукописи произведений, черновики или фрагменты, которые, помимо всего прочего, позволяли заглянуть в творческую лабораторию прославленного мастера.

Самой глубокой и самой таинственной из бесчисленных и неразрешенных загадок бытия остается все же тайна творчества. Тут природа не терпит соглядатаев, нам не суждено было увидеть момент, в который возникла Земля, или былинка или стихотворение, или человек. Тут она немилосердно и непреклонно задерживает завесу.

Ни поэт, ни музыкант не сумеют описать миг вдохновения после того, как он уже миновал. И если вещь завершена, художник уже не помнит о ее рождении, развитии и становлении. Никогда или почти никогда он не способен объяснить, каким образом в его взволнованной душе слова сложились в строфу, а разрозненные звуки — в мелодию, которая потом звучит веками. Единственное, что может как-то приблизить нас к непостижимому процессу творчества, — это рукописи, особенно еще не готовые для печати, испещренные поправками, первые, пока безымянные наброски,

из которых не сразу, а лишь впоследствии выкристаллизуется окончательная форма.

Свести воедино все манускрипты такого рода, принадлежавшие великим поэтам, философам и музыкантам, собрать свидетельства их авторской работы, запечатлевшие труд и борьбу, — этим я занимался на втором, более осмысленном этапе своего коллекционерства. Охотиться за автографами на аукционах, с трудом выслеживать их в самых укромных тайниках было для меня не только удовольствием, но и в некотором роде научной работой: мало-помалу рядом с моей коллекцией автографов выросла и вторая — собрание всех когда-либо написанных книг об автографах, всех без исключения когда-либо вышедших каталогов — общим числом более четырех тысяч — и справочная библиотека, не имевшая в мире равных, потому что даже торговцы не могли отдавать чему-то одному так много времени и любви. Пожалуй, я вправе сказать — на что я никогда не осмелился бы, если бы речь шла о литературе или любой другой области, — что за тридцать или сорок лет, что я собираю рукописи, я стал в этом деле крупным авторитетом и мог сказать, где находится, кому принадлежит и каким образом попал к своему владельцу любой сколько-нибудь ценный автограф; я был настоящим знатоком, умел с первого взгляда отличить подлинник от подделки и в оценках был опытнее большинства специалистов.

Однако со временем тщеславие коллекционера завело меня еще дальше. Мне уже мало было просто владеть рукописным сводом всемирной литературы и музыки, зеркалом тысячи творческих методов; простое расширение коллекции уже не занимало меня, и последние десять лет моего собирательства прошли в том, что я без конца облагораживал ее. Если на первых порах я довольствовался теми рукописями поэта или музыканта, которые отражали творческий процесс, то со временем моей главной заботой стало представить каждого автора в минуту творческого счастья, в миг высочайшего взлета. Другими словами, теперь я разыскивал уже не просто рукопись стихотворения того или иного поэта, а рукопись одного из его прекраснейших стихотворений, а еще лучше — такого, в котором ощущалось бы вдохновение первого мига озарения, воплощенного в первых чернильных или карандашных штрихах, устремленного к вечности.

Я хотел — о дерзкое тщеславие! — постичь в реликвии рукописи именно то, что сделало бессмертных бессмертными для мира.

Таким образом, коллекция, по сути дела, находилась в беспрестанном движении; каждый имевшийся у меня манускрипт, не отвечавший этим высоким требованиям, подлежал изъятию, продаже или обмену, как только мне удавалось найти более значительный, более характерный, более сопричастный вечности, если можно так сказать. И что самое примечательное — удавалось это не так уж редко: ведь мало кто собирал ценные вещи с таким знанием дела, так упорно и умело, как я. В результате набралась папка, а затем целый ларец, где, защищенные металлом и асбестом от порчи, лежали черновики и черновые фрагменты произведений, которые принадлежат к главнейшим достижениям человеческого творчества.

Сейчас, когда я вынужден жить как на бивуаке, у меня нет под рукой каталога этой давно уже распавшейся коллекции, и я могу перечислить наудачу некоторые из вещей, в которых запечатлен земной гений в минуту общения с вечностью. Тут был лист из рабочей книги Леонардо, зашифрованные с помощью зеркала примечания к рисункам; обращение Наполеона к солдатам под Риволи, четыре страницы, исписанные в бешеной спешке почти неразборчивым почерком; тут были корректуры целого романа Бальзака, каждый оттиск — поле битвы, тысячи поправок, с невероятной наглядностью отразивших его титаническую борьбу за новые и новые улучшения в тексте (по счастью, сохранилась фотокопия, сделанная в одном американском университете). Здесь было «Рождение трагедии» — первый, неизвестный вариант, который Ницше написал задолго до опубликования и посвятил своей возлюбленной — Козиме Вагнер; имелась кантата Баха, глюковская «Ария Альцесты» и одна из арий Генделя, чьи рукописные партитуры встречаются реже всего.

Я всегда искал и по большей части находил самое ценное: «Цыганские напевы» Брамса, «Баркаролу» Шопена, бессмертное «К музыке» Шуберта, неувядаемую мелодию «Храни, Господь» из Императорского квартета Гайдна.

В некоторых случаях мне даже удалось составить из нескольких творческих вспышек целостную картину внутренней жизни художника.

Так получилось с Моцартом: у меня были не только робкие опыты одиннадцатилетнего мальчика, но и шедевр его песенного искусства — бессмертная «Фиалка» на слова Гёте, и танцевальная музыка — менуэт, перекликавшийся с *Non più andrai* Фигаро, а из самого «Фигаро» — ария Керубино; а кроме всего этого — очаровательно-непристойные,

никогда не печатавшиеся полностью письма к тетушке, скабрёзный канон и, наконец, написанная Моцартом совсем незадолго до смерти ария из «Тита».

Обозначались подобным же образом и контуры биографии Гёте: первая страница — латинский перевод девятилетнего мальчика, последняя — стихотворение, написанное на восемьдесят втором году жизни, незадолго до смерти, а между ними — потрясающая страница из шедевра, из «Фауста», — лист гербовой бумаги, исписанный с обеих сторон, и трактат по естествознанию, и множество стихотворений, да еще рисунки самого разного времени... На этих пятнадцати листах мне раскрывалась вся жизнь Гёте.

С Бетховеном такого исчерпывающего обзора не получилось. Здесь у меня был конкурент — мой издатель, профессор Киппенберг, один из самых богатых людей в Швейцарии; он собрал уникальную бетховениану.

И все же, не говоря о юношеской записной книжке, песне «Поцелуй» и фрагментах «Эгмонта», мне удалось представить один, самый трагический миг его жизни с такой наглядностью, какая не снилась ни одному музею мира.

Сначала мне посчастливилось приобрести все уцелевшие вещи из его комнаты — те, что были после смерти Бетховена проданы с аукциона и достались советнику Бройнингу: во-первых, письменный массивный стол с потайным ящиком, где были обнаружены портреты обоих его возлюбленных — графини Джульетты Гвиччарди и графини Эрдели; во-вторых, шкатулка для денег, с которой он не расставался до последнего вздоха (она стояла подле кровати); затем конторка, за которой он уже незадолго до смерти набрасывал последние произведения и письма; локон седых волос, срезанный с головы Бетховена, когда он лежал в гробу; приглашенный билет на отпевание; последний перечень белья, написанный уже неверной рукой; опись домашней утвари для аукциона и лист подписки, которую провели его венские друзья в пользу кухарки Зали, оставшейся без гроша.

А поскольку случай всегда на стороне настоящего коллекционера, то вскоре после приобретения обстановки той комнаты, в которой Бетховен умер, удалось заполучить еще и три рисунка, где он изображен на смертном одре. Со слов современников было известно, что молодой художник Иозеф Тельчер, друг Шуберта, пытался в тот день, 26 марта, когда Бетховен был уже в агонии, зарисовать умирающего, но советник Бройнинг счел это кощунством и выставил его из комнаты.

На протяжении всего века считалось, что эти рисунки пропали бесследно, пока на каком-то маленьком аукционе в Брюнне не были распроданы за бесценок несколько десятков альбомов этого незначительного художника, и в них вдруг нашлись эти наброски.

И опять-таки, поскольку удача любит удачливых, мне в один прекрасный день позвонил некий торговец и спросил, не интересуюсь ли я оригиналом рисунка, изображающего Бетховена на смертном одре. Я ответил, что у меня-то он и находится, но выяснилось, что мне предлагают оригинал литографии Дангаузера «Бетховен на смертном одре», столь известный впоследствии. Таким образом, я стал обладателем всего, что зримо запечатлело эти последние, достойные и воистину значительные мгновения.

Само собой разумеется, я всегда считал себя не владельцем этих вещей, а только временным хранителем. Меня радовало не чувство собственности, обладания, но прелесть объединения, превращения коллекции в произведение искусства. Я понимал, что создал нечто более достойное бессмертия, чем мои собственные произведения. Мне не раз предлагали составить каталог, но я не решался, потому что работа по созданию коллекции была еще далека от завершения и я ощущал острую нехватку некоторых имен и шедевров. Было у меня благое намерение завещать эту уникальную коллекцию учреждению, которое выполнит мое особое условие — выделит ежегодную субсидию, чтобы пополнять коллекцию так, как это задумал я. Это помогло бы ей избежать окостенения, и она осталась бы живым организмом, быть может, перешагнула бы на полвека, на век пределы моего собственного существования и, разрастаясь, стала бы еще более ценной и целостной.

Но моему многострадальному поколению не дано загадывать вперед. Когда наступила эпоха фашизма и я оставил свой дом, радости собирательства улетучились вместе с верой в возможность сохранить что-либо навсегда. В течение некоторого времени я хранил коллекцию по частям в банковских сейфах и у друзей, но потом — вспомнив бессмертные слова Гёте о том, что музеи, коллекции и арсеналы, прекратив движение, мертвеют, — предпочел навсегда расстаться с нею, раз уж не мог продолжить ее созидание.

Часть коллекции я передал Венской национальной библиотеке — главным образом то, что сам получил в дар от друзей и современников, другую часть распродал, а то, что случилось с остальным, не очень тревожит меня. Не создание, а созидание всегда радовало меня. И я не оплакиваю

то, чем некогда владел. Ибо если уж нам, затравленным и гонимым, и суждено было в эти времена, враждебные искусству и собирательству, научиться еще чему-нибудь, так это искусству расставания с тем, что мы когда-то любили и чем гордились.

* * *

Так шли годы — в работе и путешествиях, занятиях и чтении, собирательстве и развлечениях. В одно ноябрьское утро 1931 года я проснулся пятидесятилетним. Седому, подтянутому зальцбургскому почтальону в этот день пришлось туго. В Германии был распространен благой обычай широко отмечать в газетах писательские полувековые юбилеи, и старику пришлось втащить по крутой лестнице изрядный груз писем и телеграмм. Прежде чем вскрыть их и прочесть, я задумался над тем, что значит для меня этот день. Пятидесятилетие — это перевал; с тревогой оглядываешься назад, на уже пройденный путь, и втайне спрашиваешь себя, суждено ли ему идти все выше. Я перебирал прожитые годы; я оглядывал эти пятьдесят лет, оставшиеся позади, как будто смотрел из окна своего дома на цепь Альп и пологую долину, и мне пришлось сказать себе, что роптать было бы грешно.

В конечном счете мне было дано больше, безмерно больше, чем я ожидал или надеялся достичь. Поприще, на котором я желал воспитать и выразить свою душу — поэтическая, литературная работа, — принесло плоды, о которых я и помыслить не мог даже в самых смелых отроческих мечтах.

Лежавшая передо мной отпечатанная к моему пятидесятилетию библиография — подарок от издательства «Инзель» — упоминала мои книги, вышедшие на всех языках мира, и сама была книгой; ни один язык не был пропущен — ни болгарский, ни финский, ни португальский, ни армянский, ни китайский, ни маратхи. Мои слова и мысли устремились к людям в знаках для слепых, в стенографических значках, на самых экзотических алфавитах и диалектах, мое существование вышло далеко за пределы моего собственного «я».

Я завоевал дружеское расположение некоторых из лучших людей нашего времени, наслаждался блистательнейшими зрелищами; мне было дано вкусить радость общения с вечными городами, бессмертными книгами и прекрасней-

шими пейзажами Земли. Я сохранил свободу, не зависел от службы и профессии, моя работа была мне в радость, и мало того — она доставляла радость другим!

Чего же мне было теперь бояться?

Вот стоят мои книги — разве кому под силу их уничтожить? — так, ни о чем не догадываясь, рассуждал я тогда.

Вот мой дом — разве может кто-либо прогнать меня отсюда? Вот мои друзья — разве могу я когда-нибудь потерять их? Я без страха думал о смерти, о болезни, но не мог вообразить и сотой доли того, что мне еще предстоит пережить: что мне придется бездомным, затравленным изгнанником скитаться из одной страны в другую; по морям и океанам; что мои книги будут сожжены, запрещены и объявлены вне закона; что на моем имени Германия поставит клеймо преступника и лица тех самых друзей, чьи письма и телеграммы лежали на столе передо мной, будут бледнеть при случайной встрече. Мне и в голову не приходило, что все достигнутое тридцати-сорокалетними усилиями, можно перечеркнуть, что вся эта жизнь, такая удобная, прочная, казавшаяся мне такой незыблемой, может пойти прахом и что я, почти достигнув вершины, буду принужден опять начинать все сначала — с почти растраченными уже силами и разбитым сердцем.

Да и впрямь, не такой это был день, чтобы воображать разные невозможные нелепости. Я мог радоваться. Я любил свою работу и потому любил жизнь. Мне не надо было думать о пропитании: даже если бы я больше не написал ни строчки, мои книги прокормили бы меня. Казалось, что я всего достиг и подчинил себе судьбу. Вера в себя, с которой я вышел из отчего дома и которую утратил в годы войны, благодаря моим усилиям была обретаена вновь. Чего мне было еще желать?

Но удивительно — именно то, что мне в этот час нечего было пожелать себе, наполняло душу странным беспокойством. Так ли уж было хорошо в самом деле, вопрошал меня некий внутренний голос, если твоя жизнь и далее пойдет по-прежнему — столь же спокойно, упорядоченно, выгодно, удобно, без новых усилий и испытаний! Разве это привилегированное, застрахованное от всех бед существование не чуждо тебе, не чуждо самому главному в тебе?

Я расхаживал по дому, погруженный в размышления. Эти годы мне жилось хорошо и как раз так, как я хотел. Но неужели я так и буду всегда жить здесь, сидеть за этим самым письменным столом, писать книгу за книгой, а потом получать гонорар за гонораром, огражденный от всех слу-

чайностей, трудностей и опасностей, постепенно превращаясь в этакое солидного, знающего себе цену господина, которому остается лишь жить на проценты со своего имени и пожинать плоды трудов своих? Неужели вот так все и пойдет — год за годом, до шестидесяти, до семидесяти — по прямой, избитой более?

Не лучше ли было бы, мечталось мне еще, зажить как-то иначе, по-новому, так, чтобы стать тревожнее, упорнее, моложе ради новой и, возможно, еще более отчаянной борьбы? Ведь любому художнику извечно присуща таинственная двойственность; в безумных треволнениях жизни он алчет покоя, но дайте ему покой — и снова он тоскует по борьбе.

Вот и у меня в этот пятидесятый день рождения было в глубине души одно легкомысленное желание: стряслось бы что-нибудь такое, чтобы мне развязаться со всем этим незбылемым уютом и быть вынужденным начать сначала, а не просто продолжать начатое.

Может статься, это был страх старости, усталости, инерции? Или таинственный инстинкт, призывавший меня тогда к более суровой жизни — во имя внутреннего роста? Этого я не знаю.

Я не знаю этого. Ибо то, что поднималось во мне в тот необыкновенный час из потемок бессознательного, отнюдь не было ни отчетливым желанием, ни тем более порождением ума. Просто мелькнула беглая мысль — возможно, совсем и не моя, а пришедшая из неведомых мне глубин. Но загадочная сила, властвовавшая над моей жизнью, та неведомая сила, которая уже дала мне много такого, о чем я никогда и помыслить не смел, — она, должно быть, подслухала ее.

И вот она уже покорно подняла руку, чтобы разрушить мою жизнь до основания и заставить меня пойти по совершенно иному, более суровому, тернистому пути.

ГИТЛЕР INCIPIT¹

Непреложным законом истории остается тот факт, что современникам не дано распознать еще в истоках те важные движения, которые определяют их эпоху. Вот и я не могу припомнить, когда впервые услышал имя «Адольф Гитлер» — имя, о котором с некоторых пор мы вынуждены

¹ Наступает (*лат.*).

думать и произносить его ежедневно, а порой по тому или иному поводу даже ежеминутно, имя человека, который принес нашему миру несчастья больше, чем кто бы то ни было за всю историю. Во всяком случае, произошло это, вероятно, довольно рано, ибо наш Зальцбург был в известной степени соседом Мюнхена, находившегося всего в двух с половиной часах езды по железной дороге, так что его местные новости вскоре становились известны и нам. Знаю только, что однажды — точно дату не могу припомнить — оттуда приехал знакомый и пожаловался, что в Мюнхене опять беспокойно. В частности, там объявился некий оголтелый горлопан по имени Гитлер, который устраивает собрания с дикими потасовками и совершенно нагло подстрекает против республики и евреев. Имя это мне ничего не говорило и тут же забылось. Оно меня не интересовало. Сколько их — сегодня уже бесследно исчезнувших из памяти имен крикунов и скандалистов — всплывало тогда в дезорганизованной Германии, чтобы тут же вновь навсегда исчезнуть. Сотни мелких пузырей беспорядочно всплывали во всеобщем брожении и, не успев лопнуть, не оставляли после себя ничего, кроме дурного запаха, который явно выдавал скрытый процесс гниения в еще открытой ране Германии. Как-то на глаза мне попала и газетка этого нового национал-социалистского движения «Мисбахер анцайгер», из которой позднее выросла «Фелькишер беобахтер». Но Мисбах был всего лишь крохотной деревушкой, а газетка такой примитивной. Кого она могла тронуть?

И вдруг в соседних пограничных городках Рейхенхалле и Берхтесгадене, где я бывал почти еженедельно, объявились небольшие, но растущие отряды молодых парней в сапогах с отворотами и коричневых рубашках, с кричащего цвета повязкой со свастикой на рукаве. Они устраивали собрания и массовые шествия, парадным шагом маршировали по улицам с песнями и хором скандировали; оклеивали стены огромными плакатами, марали их свастиками; тогда я впервые осознал, что за этими так неожиданно возникающими бандами должны стоять финансовые и другие влиятельные силы. Одному Гитлеру, который в те времена разглагольствовал лишь в баварских пивных, судя по всему, вряд ли удалось бы создать из тысяч этих молодых парней такую дорогостоящую машину. Нужны были более крепкие руки, чтобы подтолкнуть это новое «движение». Ибо форма была с иголочки, «штурмовые отряды», которые направлялись то в один город, то в другой, имели в своем распоряжении — разве не удивительно? — совершенно новые автомобили,

мотоциклы и грузовики, и это во времена всеобщей бедности, когда ветераны войны ходили в изношенной до дыр форме. Кроме того, было очевидным, что тактике этих молодых людей обучали — или, как говорили в то время, «дисциплинировали по-военному» — профессиональные военные, что это сам рейхсвер, на тайной службе которого Гитлер давно уже состоял шпиком, регулярно муштровал здесь добровольно поставляемый ему материал. Вскоре мне случайно довелось увидеть одно из этих запланированных «боевых действий». В пограничный городок, в котором самым мирным образом проходило собрание социал-демократов, внезапно ворвались четыре грузовика, каждый битком набит нацистскими выкормышами, вооруженными резиновыми дубинками, и точно так же, как я это видел на площади Святого Марка в Венеции, своей стремительностью они застали неподготовленных людей врасплох. Это был тот же, перенятый у итальянских фашистов, метод, только еще более по-военному отточенный и доведенный в мелочах до совершенства истинно по-немецки. По свистку штурмовики, молниеносно прыгнув с машин, обрушили свои резиновые дубинки на каждого, кто оказался на их пути, и, прежде чем смогла вмешаться полиция или подождать рабочие, вновь вспрыгнули на машины и умчались восвояси. Что меня поразило, так это отработанная техника этой выгрузки-погрузки, которая всякий раз происходила по одному лишь резкому свистку главаря банды. Было видно, что любой парень каждым своим мускулом и нервом знал заранее, как и у какого колеса автомашины и в каком именно месте ему следует выпрыгнуть, чтобы не помешать другому, ставя тем самым под угрозу срыва всю операцию. Это была отнюдь не личная ссорка — каждый из этих приемов, несомненно, отработывался десятки, а быть может, и сотни раз в казармах и на учебных плацах. С самого начала — это было ясно с первого взгляда — отряд готовился для нападения, насилия и террора.

Вскоре стало известно о таких нелегальных маневрах в Баварии. Когда уже все засыпали, молодые парни, крадучись, покидали дома и собирались для ночных «тактических занятий на местности»; офицеры рейхсвера срочной службы или резервисты, оплачиваемые государством или таинственными кредиторами партии, муштровали эти отряды, не привлекая излишнего внимания властей к необычным ночным маневрам. Спали власти в самом деле или только закрывали глаза? Безразлично ли было им это движение, или скрытно они способствовали его развитию?

Во всяком случае, даже те, кто тайно поддерживал движение, были впоследствии напуганы его жестокостью и быстротой, с которой оно вдруг стало на ноги. Одним прекрасным утром власти очнулись, но Мюнхен был уже в руках Гитлера, все учреждения захвачены, газеты вынуждены под дулом револьвера с триумфом возвестить о свершившемся перевороте. Точно с небес, на которые лишь мечтательно взирала ничего не подозревающая республика, явился *deus ex machina*¹, генерал Людендорф, первый из тех, кто уверовал, что перехитрил Гитлера, но на самом деле был им одурачен. С утра начался знаменитый путч, который должен был охватить всю Германию, днем (передо мной не стоит здесь задача пересказать мировую историю), как известно, он уже завершился. Гитлер бежал и вскоре был арестован; на том движение, казалось, иссякло. В этом же 1923 году исчезли свастики, штурмовые отряды, и имя Адольфа Гитлера было почти забыто. Никто более не думал о нем как о возможном претенденте на власть.

Лишь через несколько лет оно снова всплыло, и нарастающая волна недовольства быстро его вознесла. Инфляция, безработица, политические кризисы и в не меньшей мере косность остального мира всколыхнули немцев: во всех слоях населения Германии проявилось невероятное стремление к порядку, а порядок для него уже издавна значил больше, чем свобода и право. И на стороне того, кто такой порядок обещал — еще Гёте говорил, что беспорядок для него хуже, чем несправедливость, — сразу же оказались сотни тысяч.

Но мы все еще не замечали опасности. Те немногие писатели, кто действительно дал себе труд прочитать книгу Гитлера, иронизировали — вместо того чтобы проанализировать его программу — над витиеватостью его бумажной прозы. Крупные демократические газеты — вместо предостережения — изо дня в день успокаивали своих читателей, что движение, которое с грехом пополам с помощью денег крупных промышленников и сомнительных махинаций финансирует непомерную саморекламу, неминуемо со дня на день развалится. Но, возможно, за рубежом так никогда и не поняли истинную причину того, почему Германия во все эти годы настолько недооценивала и преуменьшала и личность, и растущую власть Гитлера: Германия всегда была не просто классовым государством — в ее классовом

¹ Букв.: бог из машины; развязка вследствие вмешательства высших сил (лат.).

идеале свято почиталось и обожествлялось «образование». Не считая нескольких генералов, высокие посты в государстве были забронированы исключительно за так называемыми «академически образованными»: для немца было немислимым, чтобы человек, не закончивший даже среднюю школу, не говоря уж о высшем учебном заведении, чтобы тот, кто обитает в ночлежках и неизвестно на что живет, смел бы даже мечтать о таком положении, которое занимали барон фон Штейн, Бисмарк или князь Бюлов. Не что иное, как высокомерие образованности, обмануло немецкую интеллигенцию, заставив по-прежнему видеть в Гитлере горлопана из пивных, который никогда не будет представлять серьезную опасность, в то время как тот давно уже благодаря своим закулисным покровителям получил сильную поддержку в самых различных кругах. И даже когда в тот январский день 1933 года он стал канцлером, большинство, и среди них те, кто протасил его на этот пост, смотрели на него как на калифа на час, а на господство нацистов — как на эпизод.

В ту пору впервые полностью проявилась бесподобная в своем цинизме тактика Гитлера. Уже много лет он раздавал обещания направо и налево и привлек на свою сторону крупных деятелей многих партий, каждый из которых полагал, что сможет воспользоваться мистическими силами «неизвестного создателя» для своих целей. Он так совершенно умел обманывать и тех и других своими посулами, что в тот день, когда он пришел к власти, в противоположнейших лагерях царило ликование. Монархисты в Доорне полагали, что он преданнейший человек, прокладывающий путь кайзеру, и точно так же торжествовали баварские, виттельбахские монархисты в Мюнхене: они тоже считали его «своим» человеком. Немецкие националисты надеялись, что он колет дрова, которые должны растопить их печи; их вожак Гугенберг договором обеспечил себе ключевой пост в кабинете Гитлера и был уверен тем самым, что крепко держится в седле, — разумеется, в первые же недели он, несмотря на прежние клятвенные заверения, вылетел из него. Толсто-сумы-промышленники чувствовали себя избавленными с помощью Гитлера от страха перед большевиками, у кормила власти они видели теперь человека, которого многие годы тайно субсидировали; и одновременно свободно вздохнула разоренная мелкая буржуазия, которой он на сотнях собраний обещал уничтожение «налоговой кабалы». Мелкие торговцы вспомнили об обещании закрыть крупные магазины — их самых опасных конкурентов (обещание,

которое так никогда и не было выполнено); но особенно пришелся по душе Гитлер военным, потому что был настроен агрессивно и поносил пацифизм. Даже социал-демократы, против всех ожиданий, отнеслись к его восхождению весьма терпимо, так как надеялись, что он устранил их заклятых врагов, наступавших им на пятки, — коммунистов. Самые разные, самые противоположные партии смотрели на этого «неизвестного солдата» — клятвенно наобещавшего всего и заверившего во всем каждое сословие, каждую партию, каждое направление — как на своего друга; даже немецкие евреи были не очень обеспокоены. Они тешили себя надеждой на то, что «ministre Jacobin» больше не якобинец, что канцлер германского рейха, само собой, расстанется с вульгарными приемами антисемитского подстрекателя. И, наконец, как может он прибегнуть к насилию в государстве, основанном на законности, где большинство в парламенте было против него и каждый гражданин государства считал свои свободу и равноправие обеспеченными торжественно принятой конституцией?

Затем произошел поджог рейхстага, парламент исчез, Геринг спустил с цепи свое отребье, одним ударом в Германии было уничтожено всякое право. С ужасом узнали, что в мирное время существуют концентрационные лагеря и что в казармах имеются потайные помещения, где без суда и следствия убивают невинных. Это лишь вспышка бессмысленной ярости, уговаривали себя. Такое в двадцатом столетии не может продолжаться долго. Но это было только начало. Мир насторожился, но отказался поверить в невероятное. Хотя уже в те дни я увидел первых беженцев. По ночам они преодолевали Зальцбургские горы или переплывали пограничную реку. Голодные, оборванные, испуганные, они смотрели, словно оцепенев; началось паническое бегство от бесчеловечности, распространившейся затем по миру. Но я не предполагал еще, глядя на этих изгнанников, что их бледные лица предвещают уже мою собственную судьбу и что все мы станем жертвами произвола этого чело-веконенавистника.

Трудно за несколько коротких недель отрешиться от тридцати- или сорокалетней незыблемой веры в мир. Живя нашими представлениями о праве, мы верили в существование немецкой, европейской, мировой совести и в то, что есть мера бесчеловечности, которая человечеству однажды покажется предельной. Так как я стараюсь, насколько возможно, передать все как можно более объективно, я вынужден признать, что все мы в Германии и Австрии ни в

1933-м, ни даже в 1934 году ни на сотую, ни на тысячную долю не считали возможным то, что должно было случиться в самом скором времени. Разумеется, то, что мы, свободные и независимые писатели, должны столкнуться с определенными трудностями, неприятностями, враждебностью, было ясно с самого начала. Сразу же после поджога рейхстага я сказал своему издателю, что скоро с моими книгами в Германии будет кончено. Я не забуду его удивление. «Кто может запретить ваши книги?» — спросил он тогда, в 1933 году, и добавил: «Вы ведь никогда не написали ни единого слова против Германии и не вмешивались в политику». Как видно, вся эта фантастика: сжигание книг и позорные судилища, которые через несколько месяцев, спустя месяц после захвата власти Гитлером, стали действительностью, даже для дальновидных людей казалась за пределами возможного. Ибо нацизм в своей бессовестной технике обмана остерегался обнаружить всю крайность своих целей, прежде чем мир попривыкнет. Они осторожно опробовали свой метод: всегда лишь одна доза, а после нее — небольшая пауза. Всего лишь одна-единственная пилюля, а затем какое-то время выжидания, не окажется ли она слишком сильной, выдержит ли совесть мира и эту дозу. А так как европейская совесть — к стыду и позору нашей цивилизации — срочно подчеркнула свое невмешательство, потому что ведь все эти ужасы происходят «по ту сторону границы», дозы становились все сильнее и сильнее, пока наконец от них не погибла вся Европа. Сила Гитлера состояла именно в этой тактике осторожного прощупывания и все более сильного давления на все более слабеющую в моральном, а вскоре и в военном отношении Европу. Давно предreshенная акция уничтожения всякого свободного слова и всякой независимой печати в Германии тоже происходила по этому методу предварительного зондирования. Не сразу был издан закон — это произошло через два года, — полностью запрещающий наши книги; сначала устроили лишь небольшую репетицию — выясняя, как далеко можно пойти, — официально приписав первую атаку на наши книги некой безответственной группе студентов-нацистов. По той же самой системе, по которой инсценировали «народный гнев», чтобы начать разгул антисемитизма, к студентам был обращен тайный призыв публично продемонстрировать свое «возмущение» нашими книгами. И немецкие студенты, довольные всякой возможностью проявить свою реакционную сущность, послушно устраивали сборища в каждом университете, выносили наши книги из книжных магазинов

и с развевающимися знаменами маршировали с этими трофеями на площадь. Там книги по старинному германскому обычаю — средневековые вдруг стало образцом для подражания — или приколачивались к позорному столбу (я сам видел такой пробитый гвоздями экземпляр одной из моих книг, который после экзекуции спас один дружески относившийся ко мне студент и передал его мне), или же — видимо, потому, что, к великому сожалению, не было разрешено сжигать людей, — они сжигались на больших кострах под декламацию патриотических лозунгов. И хотя после долгих колебаний министр пропаганды Геббельс в конце концов дал свое благословение на сжигание книг, оно долго оставалось полуофициальной мерой, и ничто не указывает более явно, насколько эти акции не принимались всерьез, как то, что общественность не сделала ни малейших выводов из этих вылазок студентов, сжигавших книги. Хотя торговцы книгами были призваны не выставлять в витрине ни одну из наших книг и ни одна газета более не упоминала о них, на истинных ценителях это никак не отразилось. Пока за этим не стояли еще тюрьма или концлагерь; мои книги, несмотря на все трудности и препоны, продавались даже в 1933 и 1934 годах почти так же широко, как и прежде. Категорическое требование «защитить немецкий народ», объявлявшее печатание, продажу и распространение наших книг государственным преступлением, сначала следовало узаконить, чтобы принудительным путем отдалить нас от сотен тысяч и миллионов немцев, которые теперь с еще большим интересом относились к нашему творчеству, особенно на фоне всех этих вдруг откуда-то явившихся напыщенных доморощенных поэтов.

Право разделить судьбу полного уничтожения в литературе Германии с такими выдающимися современниками, как Томас Манн, Генрих Манн, Верфель, Фрейд, Эйнштейн, и некоторыми другими, чей труд я считал гораздо более весомым, чем мой, я воспринимал скорее как честь, чем позор, и поза мученика мне настолько претит, что о своей доле в этой общей судьбе я предпочел бы не распространяться. Но, как ни странно, именно мне суждено было побеспокоить нацистов и даже «самого» Гитлера *in persona*¹. Именно мой литературный герой среди всех объявленных вне закона в высших и высших кругах берхтесгаденской виллы снова и снова становился предметом долгого и бурного обсуждения, так что к приятным моментам своей

¹ Персонально (*лат.*).

жизни я могу прибавить скромное удовлетворение тем, что явился причиной раздражения Адольфа Гитлера.

Уже в первые дни нового режима я неожиданно-негаданно стал виновником необычайного переполоха. Дело в том, что в это время по всей Германии шел фильм, снятый по моей новелле «Жгучая тайна» и имевший то же название. Название как название. Но на следующий день после поджога рейхстага, который нацисты безуспешно пытались приписать коммунистам, у рекламных тумб с афишами «Жгучей тайны», перемигиваясь и подталкивая друг друга, стали толпиться люди. Гестаповцы быстро раскусили, почему это название вызывает смех. В тот же вечер повсюду пронеслись полицейские на мотоциклах, демонстрация фильма была запрещена, а название «Жгучая тайна» со следующего утра бесследно исчезло из всех газетных объявлений и афиш. Запретить одно-единственное неприятное слово и, более того, сжечь и развеять в прах все наши книги было для них делом несложным. И лишь в одном конкретном случае они не могли разделаться со мной, не задев одновременно человека, в котором они из соображений престижа в этот критический момент весьма нуждались, — великого, самого знаменитого из живых немецких музыкантов — Рихарда Штрауса, с которым я только закончил работу над оперой.

Это была моя первая совместная работа с Рихардом Штраусом. До этого, начиная с «Электры» и «Кавалера роз», все либретто для него писал Гуго фон Гофмансталь, а я даже лично не был с ним знаком. И вот после смерти Гофмансталя он передал через моего издателя, что намерен начать новую работу, и спросил, не возьмусь ли я написать для него текст оперы. Такое предложение мне было исключительно лестно. С того момента как Макс Регер впервые положил на музыку мои стихи, я не представлял свою жизнь без музыки и музыкантов. С Бузони, Тосканини, Бруно Вальтером, Альбаном Бергом я был в близких, дружеских отношениях. Но я не знал более плодovitого современного музыканта, которому с большей готовностью желал бы послужить, чем Рихард Штраус, последний из великой когорты истинных немецких музыкантов, которая восходит к нашим дням от Генделя и Баха через Бетховена и Брамса. Я тотчас объявил о своем согласии и при первой встрече предложил Штраусу использовать для сюжета оперы «Молчаливую женщину» Бена Джонсона, и было приятной неожиданностью, что Штраус сразу же понял меня и принял мое предложение. Я и не предполагал в нем столь тонкого

художественного чутья, столь поразительного понимания драматургического искусства. Ему еще только излагали материал, а он уже оформлял его сценически, тут же примеривая его — и это было поразительнее всего — к границам своего собственного мастерства, которые видел с почти пугающей четкостью. Мне довелось встречаться со многими крупными деятелями культуры, но ни один из них не умел сохранять объективность по отношению к самому себе настолько безошибочно и бесстрашно. Так, Штраус сразу честно признался мне, что в семьдесят лет музыкант не владеет изначальной силой музыкального вдохновения. Такие симфонические произведения, как «Тиль Уленшпигель», «Дон Жуан» или «Жизнь героя», едва ли ему вновь под силу, ибо именно чистой музыке требуется крайняя степень творческой свежести. А вот слово все еще его волнует. Произведение литературы он и теперь способен проиллюстрировать полнокровным действием, потому что коллизии и речь стихийно пробуждают в нем музыкальные темы; вот почему в преклонном возрасте он обратился исключительно к опере, хотя знает, что опера, как форма искусства, свое отжила. Вагнер — вершина, выше которой не подняться никому. «Но, — добавил он с широкой баварской улыбкой, — я эту гору обошел».

После того как мы уяснили для себя главное, он высказал несколько частных пожеланий. Он предоставляет мне полную свободу, либретто как у Верди — подогнанное под музыку — его никогда не вдохновляло, его волнует поэзия. Вот только ему хотелось бы, чтобы я включил несколько сложных форм, которые предоставят большие возможности колоратуре. «Мне не приходят в голову длинные мелодии, как Моцарту. У меня всегда рождаются короткие темы. Но вот в чем я понимаю толк, так это в умении использовать тему, парафразировать ее, вытянуть из нее все, что в ней заложено, и я думаю, что в наши дни никто не способен это сделать так же, как я». И снова я, был поражен такой откровенностью, ведь у Штрауса и в самом деле едва ли отыщется какая-либо мелодия, превышающая несколько тактов, но как они затем усиливаются, эти несколько тактов — например, вальс из «Кавалера роз», — как вырастают в совершенную мелодию!

Каждая последующая встреча вновь и вновь восхищала меня тем, с какой уверенностью и серьезностью этот старый мастер относился к себе. Однажды я сидел рядом с ним на закрытой репетиции его «Елены Египетской» в Зальцбургском доме фестивалей. В совершенно темном

зале, кроме нас, никого не было. Он слушал. Вдруг я заметил, что он тихо, но нетерпеливо постукивает пальцами по спинке кресла. Затем прошептал мне: «Плохо! Просто очень плохо! Здесь мне ничего не пришло на ум». А через несколько минут снова: «Если бы я мог это вычеркнуть! Боже милостивый, это место никуда не годится: пусто и слишком длинно!» И снова через несколько минут: «А вот это, послушайте, это — хорошо!» Он судил свое собственное произведение так серьезно и так бесстрастно, словно эту музыку слушал впервые, а написана она была композитором, ему совершенно неизвестным, и это удивительное чувство границ собственных возможностей никогда не подводило его. Он всегда знал точно, кто он и на что способен. Что по сравнению с ним значат другие, интересовало его мало, и так же мало — что значит он для других. Что его волновало, так это работа.

«Работа» для Штрауса — процесс довольно удивительный. Ни следа демонизма, ничего от творческого «озарения», от тех спадов и отчаяния, которые нам известны из биографий Бетховена, Вагнера. Штраус работает деловито и холодно, он сочиняет как Иоганн Себастьян Бах, как все настоящие мастера своего дела — спокойно и планомерно. В девять часов утра он садится за стол и продолжает работу с того места, на котором остановился вчера, всегда записывая первый набросок карандашом, чернилами — партитуру клавира, и так без перерыва до двенадцати или до часу. После обеда он играет в скат, переносит две-три страницы в партитуру, а вечером при любых обстоятельствах дирижирует в театре. Всякая нервозность ему чужда, днем и ночью его художнический разум одинаково бодр и ясен. Когда прислуга стучится в дверь, чтобы подать концертный фрак, он откладывает работу, едет в театр и дирижирует с той же уверенностью и тем же спокойствием, с каким после обеда играет в скат, а вдохновением снова включается на следующее утро в том месте, где была прервана работа. Ибо Штраус, выражаясь словами Гёте, «повелевает» своим вдохновением; искусство означает для него мастерство и еще раз мастерство, как об этом свидетельствует его шутка: «Кто хочет стать настоящим музыкантом, тот должен уметь сочинять музыку даже к меню». Трудности его не пугают, они доставляют лишь развлечение его виртуозному мастерству. Я с удовольствием вспоминаю, как искрились его большие голубые глаза, когда он торжествующе обращал мое внимание на то или другое место: «Ну и задал же я тут задачку певице! Настроится она, бедняжка, пока у нее

получится это место». В такие редкие секунды, когда глаза его начинали искриться, чувствовалось, что в этом необыкновенном человеке, который точностью, планомерностью, основательностью, мастерством и внешним спокойствием своего творческого метода, да и всей своей внешностью — на первый взгляд заурядным лицом с пухлыми по-детски щеками, невыразительностью черт и слегка выпуклым лбом — сначала вызывает некоторое недоверие, глубоко скрыто нечто демоническое. Достаточно раз заглянуть в его глаза, светло-голубые, лучистые глаза, чтобы почувствовать за этой маской добропорядочного бюргера некую особую магическую силу. Быть может, это самые живые глаза, когда-либо виденные мной у музыканта, не демонические, но какие-то по-своему ясновидящие глаза человека, который до конца познал свое назначение.

Возвратившись после этой вдохновляющей встречи в Зальцбург, я тотчас принялся за работу. Сгорая от любопытства, подойдут ли ему мои стихи, я буквально через две недели отослал первый акт. Ответ пришел незамедлительно: открытка с цитатой из мейстерзингеров — «первый бар¹ удался». После второго акта еще более сердечное послание: начальные такты его песни «Благословен тот час, когда тебя я встретил, о милое дитя!» — и эта радость его и даже восторг сделали всю мою дальнейшую работу невыразимым удовольствием. Во всем моем либретто Рихард Штраус не изменил ни единой строчки и лишь один раз попросил меня вставить для вторых голосов еще три или четыре строки. Так между нами установились самые сердечные отношения, он бывал у нас дома, а я у него в Гармише, где он своими длинными тонкими пальцами проигрывал мне на рояле, одну часть за другой, всю оперу. И для нас было само собой разумеющимся, решенным делом то, что после окончания этой оперы я должен буду сразу же приступить ко второй, предварительный набросок которой он уже заранее безоговорочно одобрил.

* * *

В январе 1933 года, когда Гитлер пришел к власти, наша опера «Молчаливая женщина» в клавирной партитуре была почти готова и примерно один акт инструментован. Несколько недель спустя последовал категорический запрет немецким театрам ставить произведения неарийцев, в

¹ Бар — многострофная песня мейстерзингеров. — *Прим. перев.*

том числе и те, к созданию которых имел какое-то отношение еврей; это предание анафеме распространялось даже на мертвых, и, к возмущению любителей музыки во всем мире, перед Гевандхаусом в Лейпциге был снесен памятник Мендельсону. Этим запретом, как я считал, была решена судьба нашей оперы. Совершенно естественным находил я то, что Рихард Штраус прекратит дальнейшую нашу совместную работу и начнет новую с кем-нибудь другим. Он же слал мне письмо за письмом: я не имею права так думать, напротив, теперь, когда он уже приступил к инструментровке, я просто обязан подготовить текст к следующей его опере. Он и мысли такой не допускает, что кто-то посмеет запретить ему сотрудничать со мной; и я должен прямо сказать, что впоследствии он хранил мне дружескую верность, пока ее можно было хранить. Правда, наряду с этим он предпринял шаг, который был мне исключительно неприятен: сблизился с властями, неоднократно встречался с Гитлером, Герингом и Геббельсом и позволил объявить себя президентом нацистской имперской музыкальной академии, в то время как даже Фуртвенглер еще открыто противился этому.

Его прямое сотрудничество в этот период было чрезвычайно важно нацистам. Ибо, к их неудовольствию, не только лучшие писатели, но и виднейшие музыканты открыто показали им спины, а те немногие, кто переметнулись на их сторону, были неизвестны широким кругам. Публично заполучить на свою сторону в этот неустойчивый период самого знаменитого немецкого музыканта чисто политически означало для Геббельса и Гитлера большой успех. Гитлер, рассказывал Штраус, уже во времена своих венских скитаний, на деньги, с трудом добытые им неведомым способом, отправился в Грац, чтобы присутствовать на премьере «Саломеи», и демонстративно восторгался; на всех торжествах в Берхтесгадене, кроме Вагнера, исполнялись произведения только Рихарда Штрауса. Поведение Штрауса было куда более расчетливым. При всем его эгоизме в искусстве, проявляемом им открыто и последовательно, в душе ему был безразличен любой режим. Он служил в качестве капельмейстера германскому кайзеру и инструментовал для него военные марши, затем придворным капельмейстером — у австрийского императора в Вене, и в равной мере был *persona gratissima*¹ и в Австрии, и в Германии. Заигрывать с нацистами — на то у него име-

¹ Самая желанная личность (*лат.*).

лись житейские основания. С точки зрения нацистов, он был весьма уязвим. Сын его женился на еврейке, и ему следовало опасаться, что его внуки, которых он безгранично любил, будут исключены из школы; его опера была опорочена моим именем, предшествующие оперы — Гуго фон Гофманстале, не являвшимся «чистым арийцем»; его издателем был еврей. Тем настоятельнее казалась ему необходимость заручиться поддержкой, и он упорно искал ее. Дирижировал именно там, где этого требовали новые господа, положил на музыку гимн для Олимпийских игр, хотя в письмах ко мне открыто высказывал свое недовольство этим заказом. В действительности в *sacro egoismo* художника беспокоило его лишь одно: сохранить свое произведение в первозданности, увидеть постановку своей новой оперы, которая была особенно близка его сердцу.

Снисхождение со стороны нацистов было бы мне в высшей степени неприятно. Легко могло возникнуть впечатление, будто я втайне с ними сотрудничаю или, во всяком случае, отношусь терпимо, дабы получить для своей особы в этом унижительном бойкоте право на одноразовое исключение. Со всех сторон на меня пытались воздействовать мои друзья: они склоняли меня к публичному протесту против постановки оперы в нацистской Германии. Однако, во-первых, я чувствую принципиальное отвращение ко всяким публичным и патетическим жестам, а кроме того, в душе мне было неприятно создавать трудности гению масштаба Рихарда Штрауса. Штраус в конечном счете был самым значительным из живущих музыкантов, и ему исполнилось семьдесят лет, этому своему произведению он отдал три года и в течение всего этого времени проявлял по отношению ко мне дружеское расположение, обязательность и даже мужество. Поэтому со своей стороны я считал правильным не вмешиваться в события, молча предоставив их естественному ходу. Кроме того, я знал, что новым стражам немецкой культуры создам еще больше трудностей своей полнейшей пассивностью, ибо нацистская имперская канцелярия и министерство пропаганды только и ищут необходимый предлог, чтобы запретить величайшего немецкого музыканта. Именно поэтому либретто было затребовано во все — какие только возможно — инстанции в тайной надежде найти долгожданный предлог. Как было бы удобно, если бы в «Молчаливой женщине» была, например, такая же сцена, как в «Кавалере роз», где молодой человек выходит из спальни замужней женщины! Это можно было бы преподнести как необходимость защиты

немецкой морали. Но, к их разочарованию, мой текст не содержал ничего безнравственного. Затем были перерыты всевозможные картотеки гестапо и все мои книги. Но и здесь нельзя было обнаружить ни одного обидного слова, сказанного мной против Германии (как и против какой-либо другой страны), или хотя бы следы высказываний на политические темы. Что бы они ни пытались предпринять — будь то отказ их на глазах у целого мира в праве поставить свою оперу корифею, которому они сами вручили знамя национал-социалистской музыки, или — день «национального позора»! — дозволение осквернить (в который уже раз) немецкие афиши именем «Стефан Цвейг», на объявлении которого автором текста категорически настаивал Рихард Штраус, — ответственность неизменно ложилась на них одних. Как я втайне наслаждался их великими заботами и неразрешимой головоломкой; я предчувствовал, что и без моего вмешательства или, точнее, именно благодаря полному отсутствию с моей стороны со- или противодействия моя музыкальная комедия неудержимо вырастет в партийно-политический кошачий концерт.

До поры до времени нацисты уходили от решения. Но в начале 1934 года в конце концов все же пришлось выбирать: либо пойти против своего собственного закона, либо против величайшего музыканта эпохи. Дело не терпело дальнейшего отлагательства. Партитура, клавираусцуг, текст были давно отпечатаны, в «Хофтеатре» Дрездена были заказаны костюмы, роли распределены и даже разучены, а всевозможные инстанции: Геринг и Геббельс, имперская канцелярия и совет по культуре, министерство просвещения и гвардия цензоров — все еще не могли договориться. И хотя это кажется смешным, но история «Молчаливой женщины» превратилась в дело государственной важности. Ни одна из всех этих многочисленных инстанций не осмеливалась взять на себя всю полноту ответственности как за дозволение, так и за запрещение, и, стало быть, ничего иного не оставалось, как предоставить решать вопрос лично самому владыке Германии и вождю нацистской партии — Адольфу Гитлеру. Еще до этого мои книги «удостоились чести» быть прочитанными нацистами, особенно «Фуше», которого они считали образцом политической благонадежности и перечитывали снова и снова. Но что после Геббельса и Геринга Адольф Гитлер должен будет самолично утруждать себя прочтением *ex officio*¹ трех актов моего лирического

¹ По должности, по обязанности (*лат.*).

либретто, этого я никак не ожидал. Решение далось ему нелегко. Как вскоре мне удалось выяснить всякими окольными путями, состоялся бесконечный ряд совещаний. Наконец Рихард Штраус предстал перед «всемогущим», и Гитлер сообщил ему *in persona*, что постановка, хотя она противоречит всем законам нового германского рейха, как исключение разрешается — обещание, очевидно, данное столь же неохотно и лицемерно, как подписание договора со Сталиным и Молотовым.

И вот наступила премьера — день позора для нацистской Германии, когда имя Стефана Цвейга, объявленное вне закона, красовалось на всех афишах. На спектакле я, разумеется, не присутствовал, так как знал, что зрительный зал будет переполнен коричневыми формами, а на одно из представлений ожидают самого Гитлера. Опера имела очень большой успех, и я должен отметить, к чести музыкальных критиков, что девять десятых из них с готовностью использовали хорошую возможность, чтобы еще раз — в последний раз — заявить о своем внутреннем неприятии расовой теории, высказав самые, какие только возможно, добрые слова о моем либретто. Все немецкие театры: в Берлине, Гамбурге, Франкфурте, Мюнхене — тотчас объявили постановку оперы на следующий сезон.

Вдруг, после второго спектакля, с высоких небес грянул гром. Запрет был наложен разом на все, в одну ночь оперу запретили в Дрездене и по всей Германии. И более того, все с удивлением прочитали, что Рихард Штраус заявил о своем уходе с поста президента музыкальной академии. Каждый понимал, что произошло нечто чрезвычайное. Но минуло еще какое-то время, прежде чем я узнал всю правду. Оказывается, Штраус написал мне письмо, в котором убеждал меня безотлагательно приступить к либретто новой оперы и более чем откровенно выразил свое личное отношение ко всему происходящему. Это письмо попало в руки гестапо. Оно было предъявлено Штраусу, который тотчас после этого вынужден был подать в отставку, а опера была запрещена. Она увидела свет на немецком языке лишь в свободной Швейцарии и в Праге, позднее — на итальянском языке — в миланской «Ла Скала», по особому дозволению Муссолини, в то время еще не успевшего позаимствовать расистскую теорию. Однако немецкий народ был лишен возможности наслаждаться этой чарующей оперой своего величайшего музыканта современности.

Пока вся эта история довольно бурно протекала в Германии, я жил за границей, ибо чувствовал, что в Австрии мне не дадут спокойно работать. Мой дом в Зальцбурге находился так близко от границы, что невооруженным глазом я мог видеть гору Берхтесгаден, на которой стоял дом Адольфа Гитлера — малоотрадное и очень тревожное соседство. Эта близость немецкой границы давала мне, разумеется, и возможность судить лучше, чем моим друзьям в Вене, об угрожающем положении в Австрии. Завсегдатаи кафе и даже люди в министерствах рассматривали нацизм как движение, которое происходит «по ту сторону» и ни в коем случае не может коснуться Австрии. Разве у нас нет больше социал-демократической партии, которая включает в себя почти половину населения и так четко все организует? И разве ее всеми силами не поддерживает партия клерикалов, особенно с тех пор, как «германские христиане» Гитлера открыто преследуют христиан, а своего фюрера величают «более великим, чем Христос»? Разве Франция, Англия, весь союз народов не являются больше покровителями Австрии? Разве не клятвенно поручился защитить и обеспечить независимость Австрии сам Муссолини? Даже евреи не тревожились и делали вид, будто лишение гражданских прав врачей, адвокатов, ученых, артистов происходит в Китае, а не в трех часах пути отсюда, по ту сторону границы, в той же языковой области. Они преспокойно сидели по своим домам и разъезжали в своих автомобилях. Кроме того, у каждого была заготовлена успокоительная фраза: «Долго это продолжаться не может!»

В Зальцбурге, в непосредственной близости от границы, многое было видно более отчетливо. Начались беспрестанные переходы через узкую пограничную речку: молодые люди прокрадывались ночью на ту сторону, и их там муштровали; на машинах или с альпенштоками, как рядовые «туристы», через границу проникали агитаторы и создавали свои «ячейки» во всех слоях населения. Они вербовали, грозили тем, кто не признавал себя их сторонником, что они за это поплатятся. Это угнетало полицейских и государственных служащих. Я ощущал все большую неуверенность в поведении людей, они начали колебаться. А то, что пережил в повседневной жизни сам, убеждает больше всего. В Зальцбурге у меня был друг молодости, довольно известный писатель, с которым тридцать лет я находился в близ-

ком духовном общении. Мы были на «ты», мы посвящали друг другу книги, встречались каждую неделю. И вот однажды я увидел этого старого друга на улице с незнакомым господином и заметил, что он тотчас остановился у совершенно ему безразличной витрины и чрезвычайно заинтересованно указывал в ней на что-то, повернувшись ко мне спиной, этому господину. Странно, подумал я, он не мог не увидеть меня. Возможно, случайно. На следующий день он мне вдруг позвонил, спросил, не может ли он зайти ко мне для разговора после обеда. Я ответил утвердительно, несколько удивленный, ибо обычно мы встречались в кафе. Однако сказать ему было нечего, несмотря на столь срочный визит, и мне стало ясно, что, с одной стороны, он хотел сохранить дружбу со мной, с другой — боялся быть заподозренным в дружбе с евреем и обнаружить особую близость ко мне в нашем маленьком городе. Это насторожило меня, и вскоре я заметил, что за последнее время целый ряд знакомых, которые часто меня навещали, давно не появлялись. Ведь я числился в черном списке.

Тогда я еще не думал покидать Зальцбург окончательно, но с большим желанием, чем обычно, решил провести зиму за границей, чтобы уйти от всех этих мелких неприятностей. И я не предполагал, что, уезжая в октябре 1933 года, я прощаюсь со своим столь любимым домом.

* * *

Я намеревался провести, работая, январь и февраль во Франции. Я любил эту духовно прекрасную страну как вторую родину и не чувствовал себя там иностранцем. Валери, Ромен Роллан, Жюль Ромен, Андре Жид, Роже Мартен дю Гар, Дюамель, Вильдрак, Жан Ришар Блок — ведущие литераторы — были моими друзьями. У моих книг здесь было едва ли не больше читателей, чем в Германии, никто не считал меня иностранным писателем. Я любил народ, любил страну, любил Париж и чувствовал себя в нем в такой степени дома, что всякий раз, когда поезд въезжал в Gare du Nord¹, у меня было такое чувство, будто я «возвращаюсь». Но в этот раз, в связи с особыми обстоятельствами, я выехал раньше, чем обычно, а в Париже рассчитывал оказаться лишь после Рождества. Ну а куда же пока? И тут я вспомнил, что более четверти века не бывал в Англии, со

¹ Северный вокзал (франц.).

студенческих времен. Почему всегда только Париж, сказал я себе. Почему бы не поехать на десять-четырнадцать дней в Лондон, спустя столько лет другими глазами взглянуть на музеи, на страну и город? Так, вместо скорого поезда на Париж я сел на поезд в Кале и в результате туманным ноябрьским днем через тридцать лет вновь оказался на вокзале Виктория, и непривычным было лишь то, что в гостиницу ехал не в кебе, как некогда, а в автомобиле. Туман, холодная мягкая серость были прежними. Я еще не успел и взглянуть на город, а мое обоняние и через три десятилетия снова узнало этот удивительно терпкий, вязущий, влажный, обволакивающий воздух.

Багаж мой был невелик, как и мои ожидания. Дружеских связей у меня в Лондоне почти не было; и в литературном отношении между нами, континентальными и английскими писателями, было мало контактов. Они вели обособленный образ жизни, опиравшийся на традиции, нам не совсем понятные: я не могу припомнить, чтобы среди книг, которые приходили в мой дом со всего света, на моем столе хоть раз оказалась книга английского автора — подарок от коллеги. С Шоу я встречался в Хеллерау, Уэллс навестил меня однажды в моем зальцбургском доме; мои же книги, хотя и были все переведены, не пользовались известностью: Англия всегда оставалась страной, где они были наименее популярны. В то время как я лично дружил с моими американским, французским, итальянским, русским издателями, я никогда не видел главу фирмы, которая публиковала мои книги в Англии. Я подготовился к тому, чтобы почувствовать себя здесь так же неприкаянно, как и тридцать лет назад.

Но вышло иначе. Через несколько дней я почувствовал себя в Лондоне невероятно хорошо. Не то чтобы существенно изменился Лондон. Просто я сам изменился. Я стал на тридцать лет старше и после всех этих военных и послевоенных лет нервозности и сверхнапряжения был полон желания хоть немного пожить совсем тихо, не слыша ничего о политике. Разумеется, и в Англии имелись партии, но их разногласия меня не волновали. Различные направления и течения, споры и скрытое соперничество, несомненно, были и в литературе, но я находился от всего этого в стороне. А вот отраднo было то, что я наконец снова ощутил вокруг себя атмосферу терпимости, любезности, спокойствия и дружелюбия. Ничто в последние годы не отравляло мне жизнь в такой степени, как постоянное чувство неприязни и напряженности в стране, в моем городе вокруг

меня, необходимость постоянно ограждать себя от того, чтобы тебя втянули в какие-нибудь дебаты. Население здесь не было сбито с толку, в общественной жизни было куда больше справедливости и порядочности, чем в наших странах, ставших аморальными после великого обмана инфляции. Люди жили спокойнее, в большем достатке, их скорее интересовали их собственный сад и маленькие призрастия, чем жизнь соседа. Здесь можно было свободно дышать, думать и размышлять. Но главное, что меня здесь удерживало, была новая работа.

Это произошло так. Только что вышла моя «Мария Антуанетта», и я читал корректуру моей книги об Эразме, где пытался дать духовный портрет гуманиста, который, хотя и более ясно понимал абсурдность времени, нежели сами преобразователи мира, трагическим образом все же не в состоянии был даже при его здравом разуме выступить против этой абсурдности. После завершения этого замаскированного автопортрета я хотел написать давно задуманный роман. Биографий у меня было достаточно. Но так уж случилось, что уже на третий день в Британском музее, привлеченный моей давней страстью к автографам, я рассматривал различные экспонаты, выставленные в специальном помещении. Среди них было рукописное сообщение о казни Марии Стюарт. Невольно я спросил себя: что же, собственно, произошло с Марией Стюарт? Действительно ли она была причастна к убийству своего второго супруга или нет? Так как вечером мне нечего было читать, я купил книгу о ней. Это был прямо-таки гимн, который защищал ее как святую, книга пустая, поверхностная и глупая. В своем неизлечимом любопытстве на следующий день я достал другую, которая утверждала нечто прямо противоположное. Это заинтересовало меня. Я спросил, существует ли действительно серьезная книга на эту тему. Никто не мог мне ее указать, и так, разыскивая и справляясь, я непроизвольно втянулся в сопоставление и, еще не осознавая, приступил к книге о Марии Стюарт, которая затем удерживала меня неделями в библиотеках. Когда в начале 1934 года я снова поехал в Австрию, то был полон решимости вернуться в полюбившийся мне Лондон, чтобы в тишине закончить там эту книгу.

В Австрии мне потребовалось не более двух или трех дней, чтобы увидеть, насколько за эти несколько месяцев ухудшилось положение. Приехать из тихой и надежной Англии в эту сотрясаемую беспорядками и столкновениями Австрию было равносильно тому, как в жаркий июль-

ский день в Нью-Йорке вдруг выйти из прохладного помещения с кондиционером на раскаленную улицу. Давление нацистов начало постепенно ощущаться клерикальными и буржуазными кругами; все сильнее они чувствовали экономические тиски, губительный и нетерпеливый натиск Германии. Правительством Дольфуса, которое хотело сохранить Австрию независимой и оградить от Гитлера, готово было схватиться за соломинку. Франция и Англия находились далеко и проявляли безразличие. Прага еще хранила старое раздражение на свою соперницу Вену; оставалась лишь Италия, которая в то время стремилась к экономическому и политическому протекторату над Австрией, чтобы защитить альпийские перевалы и Триест. За это покровительство Муссолини потребовал большую цену. Австрия должна была, приняв фашистскую идеологию, покончить с парламентом и тем самым с демократией. Но это было невозможно без ликвидации или лишения прав партии социал-демократов, самой сильной и лучше всех организованной в Австрии. Одолеть ее можно было только путем применения силы.

Для этого уже предшественник Дольфуса, Игнац Зейпель, создал организацию, так называемый «Хаймвер». Со стороны она представляла самое жалкое зрелище, какое только можно было себе представить: мелкие провинциальные адвокаты, демобилизованные офицеры, темные личности, безработные инженеры — каждый разочарованная посредственность и каждый люто ненавидел другого. Наконец в молодом князе Штаремберге нашли так называемого вождя, который некогда был приспешником Гитлера и метал громы и молнии против республики и демократии, а теперь с кучкой наемников объявился уже как противник Гитлера, заверяя, что «покатятся головы». Чего хотели хаймверовцы на самом деле, было совершенно неясно. Главное для них было любым способом дорваться до власти, держались они с помощью Муссолини, подталкивавшего их вперед. Того, что эти псевдопатриоты Австрии с помощью винтовок, доставленных из Италии, подпиливали сук, на котором сидели, они не замечали.

Социал-демократическая партия лучше понимала, откуда исходит действительная опасность. Что до нее самой, то ей открытой борьбы можно было не опасаться. У нее было свое оружие: всеобщей забастовкой она могла парализовать все дороги, водоснабжение, все электростанции. Но она знала также, что Гитлер ждет лишь подобной так называемой «красной революции», чтобы получить

повод вторгнуться в Австрию «спасителем». Таким образом, ей представлялось, что лучше пожертвовать большей частью своих прав и даже парламентом, но добиться приемлемого компромисса. Все благоразумные вынуждены были выступить за подобное урегулирование, когда Австрия находилась в угрожающей тени гитлеризма. Даже сам Дольфус, гибкий, честолюбивый, но чрезвычайно реалистичный человек, казалось, склонялся к соглашению. Но молодой Штаремберг и его сподвижник, майор Фей, который позднее сыграл особую роль в убийстве Дольфуса, требовали, чтобы шцубунд сдал свое оружие и чтобы был уничтожен всякий след демократической и гражданской свободы. Против этого требования выступали социал-демократы, послания с угрозами передавались из лагеря в лагерь. Развязка, это явно ощущалось, была близка, и в этом ощущении всеобщей напряженности невольно думалось о словах Шекспира: «So foul a sky clears not without a storm»¹.

* * *

В Зальцбурге я пробыл несколько дней и вскоре поехал дальше — в Вену. И как раз в эти первые февральские дни разразилась гроза. Хаймверовцы напали в Линце на помещение рабочего союза, чтобы отобрать у него оружие, предполагалось, что оно там есть. Рабочие ответили всеобщей забастовкой, Дольфус со своей стороны приказал оружием подавить эту спровоцированную «революцию». В рабочие кварталы Вены были направлены регулярные войска с пулеметами и пушками. Три дня шли ожесточенные бои от дома к дому; это было в последний раз перед Испанией, когда демократия в Европе боролась с фашизмом. Три дня стойко держались рабочие, прежде чем отступили перед превосходящими силами.

Эти три дня я находился в Вене и, следовательно, должен был быть очевидцем этого решающего сражения и его результата — самоубийства австрийской независимости. Но поскольку я намерен быть честным свидетелем, то должен признаться в том факте, кажущемся поначалу парадоксальным, что сам я не видел и следа этой революции. Кто ставит перед собой цель дать по возможности честную и наглядную картину своего времени, должен иметь мужество развеивать некоторые романтические представления. И ничто не

¹ Мрачное небо без бури не очистить (англ.).

кажется мне более характерным для нынешних революций, как то, что на огромном пространстве современного крупного города они совершаются, собственно, в немногих точках и поэтому для большинства жителей проходят совершенно незаметно. Как это ни покажется странным, я был в эти исторические февральские дни 1934 года в Вене и не видел ничего из этих решающих событий, которые разыгались здесь, не знал даже о самой малости происходящего. Стреляли пушки, войска занимали дома, выносили сотни трупов — ничего этого я не видел. Любой читатель в Нью-Йорке, в Лондоне, в Париже имел лучшее представление о том, что происходило тогда, чем мы, кто, судя по всему, должны были быть свидетелями происходившего. И тому удивительному феномену, что в наше время в десяти улицах от решающих событий знаешь меньше, чем люди на расстоянии в тысячи километров, я не раз находил подтверждение впоследствии. Когда среди бела дня несколько месяцев спустя в Вене был убит Дольфус, то уже в половине шестого вечера в Лондоне я увидел на улицах объявления. Я попытался тотчас позвонить в Вену; к моему удивлению, я тут же получил связь и, к моему еще большему изумлению, узнал, что в Вене, через пять улиц от министерства иностранных дел, знали гораздо меньше, чем в Лондоне на углу каждой улицы. Таким образом, на примере того, как я пережил события в Вене, я могу сделать вывод: насколько мало сегодня современник, если он не окажется случайно на решающем месте, узнает о событиях, которые изменяют лик мира и его собственную жизнь. Вот все, чему я был свидетелем: вечером у меня было свидание с хореографом из оперы, Маргарет Вальман, в кафе на Рингштрассе. Я спокойно отправился на Рингштрассе пешком и хотел перейти ее. Тут ко мне подошли несколько человек в старых, наспех подобранных формах, с винтовками, и спросили, куда я направляюсь. Когда я объяснил им, что в кафе, они меня спокойно пропустили. Я и понятия не имел, почему и с какой целью вдруг здесь оказались эти гвардейцы. На самом деле тогда уже в течение нескольких часов велась ожесточенная перестрелка, но в центре города никто об этом не знал. И лишь когда вечером я вернулся в гостиницу и хотел оплатить счет, поскольку на следующее утро собирался уехать в Зальцбург, портье высказал опасение, что это будет невозможно: поезда не ходят — забастовка на железной дороге и, кроме того, что-то происходит в пригородах.

На следующее утро газеты довольно неопределенно

сообщали о восстании социал-демократов, которое в основном уже подавлено. В действительности же восстание как раз достигло в тот день своей полной силы, и правительство решилось после пулеметов направить пушки в рабочие кварталы. Но и пушек я также не слышал. Если бы в то время в Австрии пришли к власти нацисты, социалисты или коммунисты, я бы знал столь же мало, как в свое время жители Мюнхена, которые утром проснулись и лишь из «Мюнхенер нойесте нахрихтен» узнали, что их город в руках Гитлера. В центре города все шло как обычно, спокойно и размеренно, и в то время, когда в пригороде бушевали бои, мы слепо верили официальным сообщениям о том, что все улажено и с беспорядками покончено. В Национальной библиотеке, где мне нужно было кое-что посмотреть, как всегда, сидели и читали студенты, все магазины были открыты, люди совершенно спокойны. И только на третий день, когда все закончилось, по крупницам узнали правду. Как только снова пошла поезда, я выехал утром в Зальцбург, где двое-трое знакомых, которых я встретил на улице, тотчас набросились на меня с вопросами, что, собственно, произошло в Вене. А я, непосредственный «очевидец», должен был им честно ответить: «Не знаю. Лучше всего купите иностранную газету».

* * *

На следующий день, в странной связи с этими событиями, мне пришлось принять решение в моей собственной жизни. К вечеру я возвратился из Вены в свой дом в Зальцбурге, обнаружил там кипы гранок и писем и работал до поздней ночи, чтобы все привести в порядок. На следующее утро, когда я еще лежал в постели, в дверь постучали; наш бравый старый слуга, который обычно никогда меня не будил, если я не указывал точного часа, появился со смущенным видом. Меня просят спуститься вниз, там господа из полиции и хотели бы поговорить со мной. Я был несколько удивлен, надел халат и спустился на первый этаж. Там стояли четверо полицейских в штатском, объявившие мне, что у них приказ обыскать дом; я должен немедленно выдать все, что спрятано в доме из оружия республиканского шуцбунда.

Должен признаться, что в первое мгновение я был слишком потрясен, чтобы что-то ответить. Оружие республиканского шуцбунда в моем доме? Это было слишком

абсурдным. Я никогда не принадлежал ни к одной партии, никогда не интересовался политикой. Меня много месяцев не было в Зальцбурге, кроме того, было бы самым нелепым делом на свете создавать склад оружия именно в этом доме, который стоял за городом на горе, так что всякого, кто нес винтовку или иное оружие, видно было со всех сторон. Я не ответил ничего, кроме холодного: «Пожалуйста, смотрите». Четверо детективов походили по дому, открыли несколько ящиков, простучали пару стен, но мне сразу же стало ясно по их поведению, что обыск был *pro forma* и никто из них не верил всерьез в склад оружия в этом доме. Через полчаса они заявили, что обыск закончен, и ушли.

Причина, почему этот фарс огорчил меня в то время так сильно, нуждается, к сожалению, в одном поясняющем историческом примечании. Ибо в последние десятилетия Европа и мир почти забыли, каким святым делом были права личности и гражданская свобода. С 1933 года обыски, произвольные аресты, конфискация имущества, выселение из домов и изгнание с родины, высылки и всякая иная мыслимая форма унижения стали почти рядовым явлением; я едва ли назову кого-либо из моих европейских друзей, кто не столкнулся бы с этим. Но тогда, в начале 1934 года, домашний обыск в Австрии был еще невероятным оскорблением. Чтобы человек вроде меня, стоявший совершенно в стороне от политики и уже многие годы не пользовавшийся своим выборным правом, был подвергнут обыску, на это должны были быть особые причины, а кроме того, это было сугубо внутреннее дело самой Австрии. Президент полиции Зальцбурга был вынужден резко выступить против нацистов, которые по ночам устраивали взрывы и будоражили население, и этот его шаг был рискованным проявлением мужества, ибо уже в то время партия вводила свою технику террора. Каждый день чиновники получали письма с угрозами, что им еще придется дорого заплатить за все, если они и дальше будут «преследовать» национал-социалистов; и в самом деле, когда речь шла о мести, нацисты всегда сдерживали свое слово на сто процентов: самые преданные австрийские служащие в первый же день после вторжения Гитлера были брошены в концентрационные лагеря. Этот обыск должен был дать понять, что проведение подобных мер безопасности будет происходить невзирая на лица. Я, однако, за этим незначительным эпизодом видел, насколько серьезно уже стало положение в Австрии, насколько ощутимо давление Германии. Мой дом был уже

не тот после этого визита, и определенное чувство говорило мне, что подобные эпизоды — лишь скромный пролог гораздо более далеко идущих акций. В тот же вечер я начал собирать свои важнейшие бумаги, решив постоянно жить за границей, и это отторжение означало больше, чем просто отторжение от дома и родины, ибо моя семья была привязана к отчужденному дому как к своей отчизне, она любила страну. Для меня, однако, личная свобода была важнейшим делом на земле. Не уведомив никого из своих друзей и знакомых о своем намерении, двумя днями позже я отправился обратно в Лондон; первое, что я сделал там, — это сообщил властям в Зальцбурге, что оставил свое жилище навсегда. Это был первый шаг, который отторг меня от моей отчизны. Но я знал со дня тех событий в Вене, что Австрия потеряна, — разумеется, я не предполагал тогда, сколь многое потерял я сам.

АГОНИЯ МИРА

Погасло солнце Рима: грозные
Его затмили тучи. Нам — конец!

Шекспир. Юлий Цезарь

Англия означала для меня в первые годы эмиграции не больше, чем в свое время Сорренто для Горького. Австрия все еще существовала и после вооруженных столкновений и последовавшей попытки нацистов захватить власть в стране путем внезапного переворота и убийства Дольфуса. Агонии моей отчизны суждено было продолжаться еще четыре года. Я мог вернуться домой в любое время, я еще не был выдворен, объявлен вне закона. В зальцбургском доме по-прежнему стояли в неприкосновенности мои книги, была действителен мой австрийский паспорт, родина еще была моей родиной, а я был ее гражданином — гражданином со всеми правами. Еще не подступили тот ужас, то ни для кого, кто не прочувствовал его на себе самом, не понятное до конца положение человека без родины, это убийственное ощущение, будто пытаешься ходить в пустоте с открытыми глазами, сознание того, что отовсюду, где только останешься, тебя могут вышвырнуть в любой момент. Тогда это лишь начиналось. Когда в феврале 1934 года я вышел из поезда на вокзале Виктория, это было уже другое прибытие: иначе воспринимаешь город, в котором решил остаться, чем тот, в который приезжаешь только на время. Я не

знал, как долго я проживу в Лондоне. Одно лишь было мне важно: снова засесть за свою работу, защитить свою внутреннюю и внешнюю свободу. Поэтому я не приобрел — всякое владение уже связывает — никакого дома, а снял небольшую квартиру, достаточную для того, чтобы разместить на двух стеллажах те немногие книги, без которых я просто не в силах жить, и поставить письменный стол. Тем самым у меня, собственно говоря, было все, что необходимо для творческого труда. Для общения, правда, места не оставалось. Но я предпочитал жить в стесненных условиях, но зато время от времени иметь возможность путешествовать: жизнь моя неосознанно настраивалась на проходящее, а не на устойчивое.

В первый вечер — уже темнело, и очертания стен расплывались в сумерках — я вошел в маленькую квартиру, которая наконец была подготовлена, и испугался. У меня вдруг возникло такое чувство, будто я очутился в той другой маленькой квартире, в которой жил почти тридцать лет тому назад, в Вене: такие же маленькие комнаты и единственное доброе знамение — те же книги на полках и галлюцинирующие безумные глаза блейковского «Короля Джона», который сопровождал меня повсюду. Мне и впрямь потребовалось какое-то время, чтобы прийти в себя, ибо многие годы я уже не вспоминал об этой квартире. Не было ли это предвестием того, что моя жизнь — так долго устремленная вперед — поворачивала в прошлое и я сам становился собственной тенью? Когда тридцать лет тому назад я нашел себе то жилище, я только начинал. Я еще ничего не создал — или почти ничего; ни моих книг, ни моего имени еще не знали на родине. Теперь — поразительное сходство — моих книг снова не было там, и то, что я писал, было совершенно неизвестно в Германии. Друзья были далеко, старый кружок распался, дом с его коллекциями картин и книг недостижим; точно так же, как и прежде, все вокруг меня было чужое. Все, к чему я когда-то стремился, что делал, чему учился, чем наслаждался, казалось, развеяно в прах; перешагнув за пятьдесят, я снова оказался на пороге, снова был тем студентом, который сидел за своим письменным столом, а утром спешил в библиотеку — только теперь без былой веры, без того энтузиазма, с проблемным седины в волосах и тихой тенью печали в уставшей душе.

Я не решаюсь говорить подробно о тех годах — с 1934 -го по 1940-й в Англии, — ибо уже подступил к нашему времени, а все мы пережили его почти одинаково, с тем же вызываемым радио и газетами беспокойством, с теми же надеждами и теми же заботами. Мы все сегодня без особой гордости думаем о его политических ошибках и заблуждениях, но с ужасом: куда оно нас завело; кто захотел бы объяснять, должен бы был обвинять, а у кого из нас есть такое право! И еще: моя жизнь в Англии была сплошным затворничеством. Поскольку я осознавал, что мне не дано преодолеть в себе излишнюю стеснительность, то был все эти годы полуэмиграции и эмиграции лишен всякого искреннего общения, глупо полагая, что в чужой стране я не смею высказываться по актуальным вопросам. Если я ничего не мог поделаться с бестолковостью правящих кругов в Австрии, на что же я мог решиться здесь, на этом добром острове, где чувствовал себя гостем, хорошо знавшим, что если он — обладая большей информацией — укажет на опасность, которая грозит миру со стороны Гитлера, то это может быть воспринято как частное предвзятое мнение. Разумеется, молча наблюдать за совершением явных ошибок было порой нелегко. И больно было видеть, как наивысшая добродетель англичан — их лояльность, их стремление сразу поверить другому, не требуя особых доказательств, — была использована в преступных целях образцово отработанной пропагандой. Их снова и снова лживо уверяли, что Гитлер хочет только присоединить немцев приграничных областей, тогда он будет удовлетворен и в благодарность за это искоренит большевизм; эта приманка действовала превосходно. Гитлеру достаточно было произнести в речи слово «мир», и, страстно ликуя, газеты забывали обо всем и уже не спрашивали, зачем, собственно говоря, Германия так безудержно вооружается. Туристы, которым в Берлине пускали пыль в глаза, возвратившись домой, превозносили новый порядок и его создателя, мало-помалу в Англии начали уже негласно одобрять его «притязания» на Великую Германию как обоснованные — никто не понимал, что Австрия — краеугольный камень в стене и что Европе суждено развалиться, как только его выбьют. Я же смотрел на наивность, благодарную доверчивость, с которой англичане и их лидеры давали себя обмануть, горящими глазами человека, который близко видел у себя дома штурмовиков и слышал, как они распевают: «Сегодня нам принадлежит Германия, а завтра —

весь мир». Чем больше усиливалась политическая напряженность, тем больше сторонился я разговоров и всяких публичных выступлений. Англия — единственная страна Старого Света, где я не опубликовал в газете ни одной статьи на злобу дня, никогда не выступал по радио, не принимал участия в публичных дискуссиях; я жил там в своей маленькой квартире более замкнуто, чем за тридцать лет до этого студентом в своей венской квартире. Таким образом, я не имею права говорить об Англии как осведомленный очевидец, тем более что потом мне пришлось признаться себе самому, что до войны я так и не смог уловить сокровенную и проявляющуюся лишь в час крайней опасности силу Англии.

Писателей я тоже видел мало. Двоих, именно тех, с кем я стал сближаться, Джона Дринкуотера и Хью Уолпола, вскоре унесла смерть, с более молодыми я со своей стороны встречался не часто, так как из-за того злополучного гнетущего чувства неуверенности «foreigner»¹ я избегал клубов, обедов и публичных мероприятий. Тем не менее однажды я получил особое и действительно незабываемое удовольствие, став свидетелем того, как два острейших ума, Бернард Шоу и Г. Дж. Уэллс, сошлись во внутренне накаленной, но внешне рыцарской и блистательной словесной схватке. Происходило это во время ленча в самом узком кругу у Шоу, и я оказался в небезынтересном, но в то же время шекотливом положении человека, который не знал заранее, что, собственно, вызвало ту потаенную напряженность между обоими патриархами, которая, словно электричество, почувствовалась уже в том, как они приветствовали друг друга, со слегка пропитанной иронией фамильярностью, — по всей вероятности, между ними имелись принципиальные разногласия, которые незадолго перед тем были устранены или предполагалось их устранить в ходе этой встречи. Оба они, два гиганта, слава Англии, полвека тому назад в фабианском обществе плечом к плечу боролись за нарождающийся социализм. С тех пор они в соответствии со своими очень несхожими характерами все больше и больше отдалялись друг от друга: Уэллс — следуя своему деятельному идеализму, неугомонно представляя в своем воображении будущее человечества, Шоу, напротив, все больше взирая на будущее, как и настоящее, со скепсисом и иронией, распространяя и на это свой снисходительно-иронизирующий юмор. Они даже внешне становились с годами

¹ Иностранец, чужеземец (англ.).

все более непохожи. Восьмидесятилетний Шоу, невероятно живой, высокий, сухощавый, полный энергии, язвительная улыбка на словоохотливых устах, увлеченный фейерверком своих парадоксов больше, чем когда-либо, на ленче лакомился лишь орехами и фруктами; семидесятилетний Уэллс, жизнерадостный, более терпимый, чем когда-либо прежде, маленький, краснощекий и сохранявший серьезность и в моменты особого оживления, ел с аппетитом. Шоу, ослепительный в атаках, быстро и неожиданно менял направление ударов. Уэллс уверенно держал оборону, стойкий, как всякий, кто верен своим убеждениям. У меня сразу сложилось такое впечатление, что Уэллс пришел не просто на дружескую беседу за ленчем, а на встречу для обсуждения принципиальных вопросов. И именно потому, что я ничего не знал о предшествовавшем идейном конфликте, я особенно отчетливо ощутил его атмосферу. В каждом жесте, каждом взгляде, каждом слове обоих проскакивала какая-то часто озорная, но в то же время и довольно серьезная запальчивость, как у фехтовальщиков, которые, прежде чем атаковать, короткими, прощупывающими выпадами проверяют оборону противника. Шоу обладал более быстрой реакцией. Глаза из-под его кустистых бровей сверкали словно молнии, когда он парировал выпад противника, его умение острить, каламбурить, за шестьдесят лет доведенное до настоящей виртуозности, здесь доходило чуть ли не до озорства. Его белая, клочковатая борода сотрясалась иногда от неслышного саркастического смеха, и казалось, что он, склонив немного голову набок, смотрит вслед своей стреле: куда она угодила. Уэллс, со своими красными щечками и спокойными полуприкрытыми глазами, был более резок и прямолинеен; и его мозг работал невероятно быстро, но удары били не столь ослепительными зарядами, а более легко и с большей непринужденностью. Это состязание происходило в таком темпе и столь остро — то здесь разряд молнии, то там отражение и выпад, выпад и отражение, и все вроде бы в шутку, — что сторонний наблюдатель не переставал восхищаться этим поединком, разрядами молний и точностью взаимных ударов. Но за этим стремительным и неизменно изысканно-вежливым диалогом скрывалось какое-то внутреннее напряжение, которое сдерживалось чисто английским искусством вести спор в светских формах. Это была — что и делало дискуссию такой захватывающей — серьезность в шутке и шутка в серьезности, резкое столкновение двух полярных характеров, и ход этого блистательного состязания был предопределен неизвест-

ными мне причинами и мотивами. Но, так или иначе, я видел двух лучших мыслителей Англии в момент подъема, и продолжение этой схватки, которая в последующие недели была вынесена на страницы «Нейшн», по сравнению с тем темпераментнейшим диалогом не доставило мне и сотой доли того удовольствия, потому что за доказательствами, ставшими отвлеченными, уже не были видны живые люди и суть дела. Но редко я так сильно наслаждался электрическими разрядами интеллекта, которые возникали при столкновении двух умов, — ни раньше, ни позже ни в одной комедии в театре я не видел такого виртуозно отточенного искусства, как тогда, когда оно жило в этой непреднамеренной, нетеатральной и самой благородной форме.

* * *

Но лишь местом жительства, а не всей своей душой был я тогда связан с Англией. Именно тревога за Европу, эта мучительно-гнетущая тревога, заставила меня в тот период, между захватом власти Гитлером и началом второй мировой войны, много путешествовать и даже дважды переправиться через океан. Возможно, меня подстегивало предчувствие, что, пока мир доступен и суда могут мирно следовать своим курсом, необходимо, насколько сможет вместить сердце, запастись впечатлениями и опытом на более мрачные времена, а может, страстное желание убедиться, что в то время, как наш мир рушился из-за недоверия и раздоров, зарождался и креп другой, а возможно, еще неясное предчувствие, что мое будущее и будущее многих из нас лежит по ту сторону Атлантики. Турне с лекциями по Соединенным Штатам предоставило мне благоприятную возможность увидеть эту огромную страну во всем ее многообразии и в то же время во внутреннем единстве с востока на запад, с севера на юг. Но еще более сильным, возможно, оказалось впечатление от Южной Америки, куда я охотно отправился на конгресс, получив приглашение международного Пен-клуба; никогда не казалось мне более важным, чем в этот период, утвердить идею духовной солидарности стран и народов.

Как раз перед отбытием из Европы я получил серьезное предостережение, вызвавшее беспокойство. В то лето 1936 года началась гражданская война в Испании, которая лишь на поверхностный взгляд была только внутренним делом этой прекрасной страны с трагической судьбой, а в действительности — уже подготовкой к будущей схватке двух идеологических миров. Я отбыл из Саутгемптона на английском

корабле и был уверен, что судно, чтобы уклониться от района военных действий, не сделает, как обычно, первой остановки в Виго. К моему удивлению, мы все же вошли в порт, и нам, пассажирам, было даже разрешено на несколько часов сойти на берег. Виго в ту пору был в руках франкистов и находился далеко в стороне от театра военных действий. И все же за эти немногие часы я смог кое-что увидеть, что дало достаточный повод для серьезных размышлений. Перед ратушей, над которой развевался франкистский флаг, стояли рядами — во главе каждого ряда священник — молодые парни в крестьянских одеждах, согнанные сюда, по всей видимости, из близлежащих деревень. В первый момент я не понял, что все это значит. Быть может, это рабочие, их завербовали на какие-нибудь принудительные работы? Или это безработные, которым будут раздавать еду? Но через четверть часа я увидел тех же молодых парней, которые выходили из ратуши совсем в другом виде. На них была форма с иголки, они шли с винтовками и штыками; под присмотром офицеров их погрузили в новенькие и сверкающие автомобили и быстро увезли из города. Мне стало не по себе. Где я однажды уже видел это? Сначала в Италии, а затем в Германии! И тут, и там вдруг появлялись эти совершенно новые формы, новые автомобили и пулеметы. И снова я спросил себя: кто поставляет, кто оплачивает все это, кто организует этих молодых бедных людей, кто подстрекает их против действующих законов, против избранного парламента, против их собственного законного народного представительства? Государственное богатство, насколько мне известно, находилось в руках законного правительства, точно так же как и арсеналы с оружием. Эти автомобили, это оружие, следовательно, доставлены из-за границы, и они, несомненно, прибыли через границу из соседней Португалии. Но кто их поставил, кто оплатил их? Это новая сила, которая рвется к власти, та же самая сила, которая проявлялась то тут, то там, прибегала к насилию, нуждалась в насилии и для которой все те идеи, к которым мы были привержены и ради которых мы жили: мир, гуманность, терпимость, — считались пережитками мягкотелости. Это были нелегальные группы, притаившиеся в учреждениях и концернах, которые цинично использовали наивный идеализм молодежи, чтобы добиться власти и своих целей. Это была жажда насилия, которая хотела изощренным способом ввергнуть нашу злосчастную Европу в давно минувшее варварство войны. Одно ярко пережитое впечатление всегда действует на душу сильнее, чем тысяча газет-

ных статей и брошюр. И никогда сильнее, чем тогда — когда я видел, как этих молодых безвинных парней вооружали таинственные закулисные заправилы, намеревающиеся повернуть их против точно таких же парней, их же соотечественников, — мной не овладевало предчувствие того, что ждет впереди нас, всю Европу. Когда через несколько часов стоянки корабль продолжил плавание, я уже был внизу, в каюте. Я не мог больше без боли смотреть на эту прекрасную страну, по чьей-то злой воле подвергнушуюся ужасающему опустошению; обреченной на гибель показалась мне Европа из-за ее собственного безумия, Европа, наша священная родина, колыбель и Парфенон нашей западной цивилизации.

Тем более благословенной показалась затем Аргентина. Это была вторая Испания, ее древняя культура, оберегаемая и сохраняемая на новой, более обширной, еще не сдобренной кровью, еще не отравленной ненавистью земле. Тут было обилие продуктов, богатство и избыток, тут были бескрайние просторы, а значит, и новые ресурсы. Безграничная радость охватила меня. Разве культуры не странствуют уже тысячелетия от одной страны к другой, разве всегда, когда дерево становилось добычей топора, не спасались семена и тем самым и новые цветы, новый плод? То, что поколения создавали до нас и вокруг нас, никогда ведь не исчезало бесследно. Надо было лишь научиться мыслить крупномасштабно, мерить более значительными временными измерениями. Пора, говорил я себе, мыслить не только европейскими масштабами, но шире, не зарывать себя в отмирающем прошлом, но способствовать его возрождению. Ибо по сердечности, с которой все население нового миллионного города относилось к нашему конгрессу, я понял, что мы здесь не чужие и что вера в духовное единство, которому мы посвятили всю нашу жизнь, еще жива здесь, действует и с ней считаются; что, следовательно, в наше время новых скоростей нас не разделяет более даже океан. Новая задача встала здесь рядом со старой: более широко и смело упрочить единство, о котором мы мечтали. Если я считал Европу потерянной с того последнего момента, когда увидел приготовления к грядущей войне, то под Южным Крестом я снова начал надеяться и верить.

Не менее значительным впечатлением, не меньшим обещанием стала для меня Бразилия, эта щедро одаренная природой страна с красивейшим городом на земле, эта страна, гигантское пространство которой и сегодня еще не в состо-

нии измерить до конца ни железные дороги, ни шоссе, ни даже самолет. Здесь прошлое сохранялось более заботливо, чем в самой Европе, сюда еще не проникло очерствение, которое внесла первая мировая война в нравы, в дух наций. Люди здесь были более миролюбивы, более терпимы, не таким неприязненным, как у нас, было само общение между различными народами. Здесь человек еще не был отделен от человека нелепыми теориями крови, расы и происхождения, чувствовалось, что здесь можно было жить спокойно, ибо имелось то неизмеримое, предназначенное для будущего пространство, за крохотную крупницу которого в Европе государства воевали, а политики вели бесконечные дебаты. Здесь земля еще ждала человека, чтобы он ее возделал и наполнил своим присутствием. Здесь вся та цивилизация, которую создала Европа, могла успешно продолжаться и развиваться в новых и разнообразных условиях. Я заглянул, наслаждаясь зрелищем тысячелетней красоты этой новой природы, в будущее.

* * *

Но путешествия, и даже дальние — под другие звезды и в другие миры, — не означали бегства от Европы и от ее тревог. Порой кажется, что природа зло мстит человеку тем, что все достижения техники, благодаря которым он подчинил себе ее сокровеннейшие силы, лишают покоя его душу. Нет более страшного наказания, чем то, что технические средства лишают нас возможности хотя бы на мгновение уйти от действительности. Люди предыдущих поколений могли в тяжелые времена бежать, уединяться; и только мы получили сомнительную привилегию — какие бы беды ни случались на нашем земном шаре, в тот же час и ту же секунду обо всем узнавать и все переживать. Как бы далеко я ни находился от Европы, ее судьба оставалась моей. Высадившись в Пернамбуку ночью, под Южным Крестом, я увидел прикрепленную газету с сообщением о бомбардировке Барселоны и гибели испанского друга, с которым несколько месяцев тому назад провел незабываемые часы. В Техасе, проносясь в пульмановском вагоне недалеко от Хьюстона, я вдруг услышал истошные крики и беснование на немецком языке: какой-то ничего не подозревавший пассажир настроил приемник на волну Германии, так что мне довелось в поезде, идущем по равнине Техаса, услышать одну из поджигательских речей Гитлера. Не было возможности бежать, ни днем, ни ночью; я вынужден был с мучи-

тельной тревогой постоянно думать о Европе, а думая о Европе — неизбежно об Австрии. Может быть, покажется мелкотравчатым патриотизмом то, что, когда опасность приняла гигантские размеры — от Китая до Эбро и Мансарес, — меня особо волновала судьба именно Австрии. Но я знал, что судьба всей Европы связана с этой маленькой страной — волею судеб моим отчим краем. Если, оглядываясь назад, пытаются выявить ошибки политики после мировой войны, то величайшей признают то, что как европейские, так и американские политики не осуществили, а исказили план Вильсона.

Его идея заключалась в том, чтобы предоставить малым нациям свободу и самостоятельность, однако он справедливо считал, что эти свобода и самостоятельность могут быть устойчивыми лишь внутри единого сверхсоюза, объединяющего крупные и малые государства. Однако, создав эту высшую организацию — подлинно всеобщий союз народов, — но реализовав лишь одну часть его программы, а именно самостоятельность малых государств, политики породили вместо спокойствия постоянную напряженность. Ибо нет ничего опаснее, чем мания величия карликов, в данном случае маленьких стран; не успели их учредить, как они стали интриговать друг против друга и спорить из-за крохотных полосок земли: Польша против Чехословакии, Венгрия против Румынии, Болгария против Сербии, а самой слабой во всех этих распрях выступала микроскопическая по сравнению со сверхмощной Германией Австрия.

Эта раздробленная и изувеченная страна, властелин которой некогда распоряжался Европой, — вынужден это повторить — была краеугольным камнем.

Я знал, что за Австрией падет и Чехословакия и Балканы станут для Гитлера легкой добычей, что нацизм вместе с Веной, благодаря ее особому положению, получит в свои жестокие руки рычаг, которым он сможет раскачать и сорвать с петель всю Европу. Лишь мы, австрийцы, знали, какая страсть, подстрекаемая затаенной обидой, гнала Гитлера в Вену, в город, который видел его в дни крайнего унижения и в который он хотел войти триумфатором. Поэтому всегда, когда после недолгого пребывания в Австрии я возвращался обратно, то на границе вздыхал с облегчением: «Пока пронесло» — и оглядывался назад словно в последний раз.

Я видел неотвратимое приближение катастрофы; сотни раз по утрам все эти годы, в то время как другие с надеждой брали в руки газету, я боялся увидеть в ней крупный заголо-

вок: «Конец Австрии». Ах, как я обманывал сам себя, делая вид, что давно уже не связан с ее судьбой! Находясь далеко от нее, я вместе с ней ежедневно переживал ее медленную и тяжкую агонию — бесконечно сильнее, чем мои оставшиеся в стране друзья, которых ввели в заблуждение патриотические демонстрации и которые ежедневно заверяли друг друга: «Франция и Англия не допустят нашего падения. А прежде всего этого не разрешит Муссолини». Они верили в лигу наций, в мирные договоры, как больные в лекарства с красивыми этикетками. Они продолжали жить беззаботно и счастливо, в то время как я, смотревший более трезво, изводил себя постоянными страхами.

Причиной моей последней поездки в Австрию тоже явилось не что иное, как волна внутреннего беспокойства, связанного с приближающейся катастрофой. Осенью 1937 года я побывал в Вене, чтобы навестить мою старую мать, больше мне там делать было нечего; никакие срочные дела не звали меня туда. Как-то в середине дня несколько недель спустя — вероятно, в конце ноября — я возвращался по Риджент-стрит домой и мимоходом купил «Ивнинг стандарт». Это было в тот день, когда лорд Галифакс полетел в Берлин, чтобы впервые вступить в личные переговоры с Гитлером. В этом выпуске газеты прямо на первой странице — это и сейчас еще перед глазами — жирным шрифтом были перечислены отдельные пункты, по которым Галифакс хотел прийти к соглашению с Гитлером. Среди них — Австрия. И, пробегая по строчкам, я прочел — или мне показалось это? — предполагалось принести в жертву Австрию, ибо что иное могла означать встреча с Гитлером? Мы-то, австрийцы, знали: в этом пункте Гитлер никогда не уступит. Странное дело, это перечисление пунктов, по которым пытались договориться, появилось только в том дневном выпуске «Ивнинг стандарт», а затем бесследно исчезло из вечернего выпуска этой газеты. (Позднее до меня дошли слухи, что эту информацию газете подбросило итальянское посольство, ибо в 1937 году Италия ничего так не опасалась, как сговора Германии и Англии за ее спиной.) Не берусь судить, какова на самом деле доля правды в этой — большинством, вероятно, вообще оставленной без внимания — заметке одного из выпусков «Ивнинг стандарт». Я знаю лишь, как беспредельно лично я испугался при мысли, что между Гитлером и Англией уже ведутся переговоры об Австрии; я не стыжусь признаться, что газета дрожала в моих руках. Вымышленное или действительное, сообщение взволновало меня, как никакое другое за

последние годы, ибо я знал: если оно правдиво хотя бы на йоту, то это станет началом конца, из стены выпадет камень, а вслед за этим обрушится и сама стена. Я тотчас повернул обратно и вскочил в первый автобус с надписью «Вокзал Виктория» и поехал в «Эмпайр эруэйз», чтобы узнать, нет ли билета на следующее утро. Я хотел еще раз увидеть мою старую мать, моих родных, мою родину. Дело случая, но билет я достал, наскоро собрал чемодан и полетел в Вену.

Мои друзья удивились, что я так быстро и так неожиданно вернулся. Но как они меня высмеивали, когда я дал им понять, что именно меня тревожит: я все еще «старик Иеремия», шутили они. Разве мне не известно, что вся Австрия единодушно поддерживает Шушнига? Они подробно расписывали парадные манифестации «Отечественного фронта», тогда как я еще в Зальцбурге видел, что большинство участников этих манифестаций предписанный значок единства носят на лацкане пиджака лишь для того, чтобы не рисковать своей работой, и в то же время предусмотрительно числятся в Мюнхене у нацистов — я слишком долго изучал историю и писал о ней, чтобы не знать, что большинство всегда тотчас же переходит на ту сторону, на чьей сейчас сила. Я знал, что те же голоса, которые сегодня кричат «хайль Шушниг», завтра будут горланить «хайль Гитлер». Но в Вене все, с кем я разговаривал, проявляли наивную беспечность. Они устраивали званые вечера в смокингах и фраках (не предвидя, что скоро будут носить одежду узников концлагерей), они сновали по магазинам, делая к Рождеству покупки в свои прекрасные дома, не предвидя, что эти их дома через несколько месяцев отнимут и разграбят. И эта вечная беззаботность старой Вены, которую я раньше так сильно любил и по которой тоскую, эта беспечность, которую венский поэт определил однажды краткой аксиомой: «С тобой ничего не может случиться», впервые отозвались во мне болью. Но, возможно, в конечном счете они были более мудрыми, чем я, все эти друзья в Вене, потому что их страдания начались лишь тогда, когда все действительно произошло, в то время как я уже заранее, в воображении, испытывал муки, и вторично — когда беда пришла. И все же я перестал понимать их и не мог заставить их понять меня. На следующий день я больше никого не предостерегал. Зачем беспокоить людей, которые не хотят этого?

И это не домысливание задним числом, а чистая правда: на каждую хорошо знакомую улицу, каждую церковь,

каждый сквер, каждый старый уголок города, в котором я родился, в те последние дни я смотрел в полном отчаянии, с немым «никогда больше!», с сознанием того, что это прощание, прощание навсегда. Мимо Зальцбурга, города, где находился дом, в котором я работал двадцать лет, я проехал, не выходя даже на перрон. И хотя из окна вагона я мог бы увидеть на холме мое жилище, связанное со многими воспоминаниями прожитых лет, я даже не глянул в ту сторону. К чему? Ведь мне никогда не придется жить в нем снова. И в тот момент, когда поезд пересек границу, я понял, как некогда библейский праотец Лот, что все за мной — прах и пепел, горькой солью окаменевшее прошлое.

* * *

Я считал, что предвижу все ужасы, которые могут произойти, если кошмарный бред Гитлера сбудется и он вступит в Вену — город, который отверг его, жалкого молодого неудачника, — как завоеватель. Но сколь робким, сколь ничтожным, сколь убогим оказалось мое воображение, как и воображение любого человека, по сравнению с трагедией, которая произошла 13 марта 1938 года, в тот день, когда Австрия — и тем самым вся Европа — стала жертвой неприкрытого насилия! Теперь маска была сброшена. Так как другие государства не смогли утаить свой страх, зверству незачем было более сдерживать себя какими бы то ни было моральными барьерами — подумаешь, Англия, Франция, мир! — ему уже не нужны были фальшивые измышления о «марксистах», которых необходимо политически обезвредить. Теперь уже не просто бесчинствовали и грабили, но дана была воля неограниченному надругательству над человеком. Университетских профессоров заставляли убирать улицы, набожных белобородых евреев сгоняли в святые храмы, и гогочущие молодчики принуждали их бить поклоны и хором кричать «хайль Гитлер». Неповинных людей отлавливали на улице, как зайцев, и волокли в казармы СА¹ чистить нужники; все, что прежде мерещилось болезненно-грязному, безудержно злобствующему воображению по ночам, бесчинствовало теперь среди бела дня. То, что нацисты врывались в жилища и у дрожавших от страха женщин вырывали из ушей серьги, было не ново — городские грабежи, как известно, происходили и сотни лет тому

¹ СА (нем. SA — Sturmabteilungen) — нацистские штурмовые отряды. — *Прим. перев.*

назад, во времена средневековых войн; но здесь было бесстыжее упоение от публичного истязания, душевных пыток, изощренных унижений. Все это засвидетельствовано не одним, а тысячами тех, кто это выстрадал. *До* этого «нового порядка» убийство одного-единственного человека без суда и следствия еще потрясало мир, пытки считались невыносимыми в двадцатом столетии, экспроприацию еще прямо называли — воровство и грабеж. *Теперь*, однако, после нескончаемых варфоломеевских ночей, после ежедневных истязаний до смерти в застенках и за колючей проволокой, какое значение может иметь еще одна несправедливость, земное страдание? После Австрии 1938 года мир притерпелся к бесчеловечности, к несправедливости и жестокости больше, чем за все предшествующие столетия. В прежние времена того, что произошло в злосчастной Вене, было бы достаточно для международного бойкота; в 1938 году мировая совесть помалкивала или лишь слегка роптала.

* * *

Эти дни, когда с родины постоянно доносились призывы о помощи, известия о том, что ближайших друзей хватают, пытаются и унижают, а ты лишь беспомощно переживаешь за тех, кого любил, принадлежат к самым ужасным в моей жизни. И я не стыжусь признаться — настолько время извратило наши чувства, — что у меня не оборвалось сердце, я не зарыдал, когда пришло известие о смерти моей старой матери, которую мы оставили в Вене, но, напротив, я почувствовал своего рода облегчение, сознавая, что она наконец избавлена от всех страданий и невзгод. Восьмидесятичетырехлетняя, почти оглохшая, она жила в нашем семейном доме, и даже по новым «арийским законам» ее не должны были выселить; и мы надеялись, что через некоторое время удастся каким-нибудь образом вывезти ее за границу. Но уже одно из первых распоряжений по городу жестоко отразилось на ней. В свои восемьдесят четыре года она уже слабо держалась на ногах и во время ежедневной маленькой прогулки имела обыкновение после пяти или десяти минут утомительной для нее ходьбы отдыхать на скамье на Рингштрассе или в парке. Гитлер еще и недели не пробыл властелином города, а уже прибыл скотский приказ, по которому евреям запрещалось сидеть на скамьях — один из тех запретов, которые явно придуманы лишь с садистской целью гнусного издевательства, ибо в том,

чтобы грабить евреев, — в этом все же была своя логика и определенный смысл, потому что добычей от грабежа фабрик, обстановки квартир, вилл и освободившимися должностями можно было содержать своих пособников, вознаграждать старых приспешников: так, картинная галерея Геринга своим богатством обязана главным образом этой проводимой в широких масштабах практике. Но отказать старой женщине или обессилевшему старику в том, чтобы несколько минут передохнуть на скамейке, — это стало уделом двадцатого столетия.

К счастью, моя мать была избавлена от необходимости долго пребывать среди подобного рода жестокости и унижения. Она умерла через несколько месяцев после оккупации Вены, и я не могу не упомянуть один эпизод, связанный с ее смертью: отметить именно эти подробности представляется мне важным для будущих времен, когда подобные вещи покажутся невозможными. Восьмидесятичетырехлетняя женщина утром неожиданно потеряла сознание. Вызванный к ней врач сразу же заявил, что она едва ли переживет ночь, и пригласил к постели умирающей сиделку, женщину лет сорока. Рядом не было ни меня, ни моего брата, единственных ее детей, да мы и не могли прибыть, ибо и приезд к смертному одру матери представителя «германской культуры» сочли бы преступлением. Поэтому вечером в квартире согласился пробыть один наш родственник, чтобы хоть кто-то из родных был рядом во время ее смерти. Этому нашему родственнику тогда было шестьдесят лет, он сам давно уже болел и год спустя умер. Когда он в соседней комнате как раз собрался приготовить на ночь постель, появилась — к ее чести, надо признать, довольно смущенная — сиделка и заявила, что в силу новых нацистских законов она, к сожалению, не сможет остаться на ночь у одра умирающей. Мой родственник — еврей, и она, будучи женщиной в возрасте до пятидесяти лет, не имеет права остаться на ночь под одной с ним крышей, даже рядом с умирающей, ведь, по логике Штрайхера, первой мыслью еврея должно быть поползновение надругаться над чистотой германской расы. Разумеется, сказала она, это предписание ей ужасно неприятно, но она вынуждена подчиняться законам. В результате мой шестидесятилетний родственник был вынужден вечером покинуть дом для того, чтобы с моей умирающей матерью могла остаться сиделка; теперь, возможно, понятно, что я вздохнул с облегчением оттого, что ей больше не придется жить среди подобных людей.

Падение Австрии внесло в мою личную жизнь изменение, которое я сначала рассматривал как совсем пустяковое и чисто формальное: я утратил тем самым мой австрийский паспорт и должен был испросить бумагу, заменяющую паспорт человеку без родины. Часто в своих космополитических мечтаниях я тайно представлял себе, как бы это было прекрасно, насколько это, по существу, соответствовало бы моему внутреннему побуждению — быть человеком без родины, не быть обязанным ни одной стране, не принадлежать всем без исключения. Но снова мне пришлось признать, сколь ограничена наша земная фантазия и что лишь тогда поймешь сокровеннейшие чувства, когда выстрадаешь их сам. В ту только минуту, когда после долгого ожидания на скамье просителей в коридоре я был впущен в английскую канцелярию, я постиг, что означает этот обмен моего паспорта на бумагу иностранца. Ибо на свой австрийский паспорт я имел право. Каждый австрийский чиновник консульства или офицер полиции был обязан тотчас выдать мне его как полноправному гражданину. Английскую бумагу, которую я получил, мне пришлось выпрашивать. Это было унижительное одолжение, и, кроме того, одолжение, которого меня в любой момент могли лишить. За ночь я вновь опустился на одну ступеньку ниже. Вчера еще зарубежный гость и в некотором роде джентльмен, который здесь спускал свой иностранный капитал и выплачивал налоги, я стал эмигрантом, «refugee»¹. Я оказался в куда менее почитаемой, если даже не позорной категории. Кроме того, всякую иностранную визу по этому листу бумаги отныне надо было особо вымаливать, поскольку во всех странах с подозрением относились к тому «сорт» людей, к какому стал принадлежать я, — к лишенному прав человеку без родины, которого в случае необходимости нельзя было выдворить и препроводить назад, как других, когда он становился обременительным, задерживаясь чересчур долго. И мне все чаще приходилось думать о словах, сказанных мне за несколько лет до этого: «Раньше человек имел только тело и душу. Теперь он еще нуждается в паспорте, иначе к нему не будут относиться как к человеку».

И в самом деле, ничто, возможно, не свидетельствует о падении человечества после первой мировой войны более

¹ Беженец, эмигрант (англ.).

очевидно, чем ограничение личной свободы перемещения человека. До 1914 года земля принадлежала всем. Каждый отправлялся, куда хотел, и оставался, на сколько хотел. Не было никаких разрешений, никаких санкций, и я снова и снова получаю истинное наслаждение, видя, как удивлены молодые люди, когда узнают, что до 1914 года я путешествовал в Индию и Америку, не имея паспорта и даже вообще не имея понятия о таковом. Ехал, куда и когда хотел, не спрашивая никого и не подвергаясь расспросам, не было необходимости заполнять ни одну из той сотни бумаг, которые требуются сегодня. Не было никаких разрешений, никаких виз, никаких справок; те же самые границы, из-за патологического недоверия всех ко всем превращенные сегодня таможенниками, полицией, постами жандармерии в проволочные ограждения, были чисто символическими линиями, через которые человек переступал так же просто, как через меридиан в Гринвиче. Только после войны началось искушение мира национализмом, и явным проявлением этой духовной эпидемии нашего столетия явилась ненависть к иностранцам или по меньшей мере страх перед чужеродным. Повсюду отгораживались от иностранца, повсюду его игнорировали. Все те унижения, придуманные раньше исключительно для преступников, теперь распространялись до и во время поездки на каждого путешественника. Надо было фотографироваться справа и слева, в профиль и en face, волосы стричь коротко, чтобы было открыто ухо, нужно было оставлять отпечатки пальцев, сначала только большого, а затем всех десяти, сверх того надо было предъявлять свидетельства, справки о состоянии здоровья, справки о прививках, свидетельство полиции о благонадежности, рекомендации, надо было предъявлять приглашения и адреса родственников, нужны были моральные и финансовые гарантии, нужно было заполнять и подписывать анкеты в трех, четырех экземплярах, и, если хоть одной бумаги в этой кипе не доставало, дело шло насмарку.

Это кажется мелочами. И на первый взгляд может показаться мелочным с моей стороны само их упоминание. Но этими бессмысленными «мелочами» наше поколение безвозвратно, бессмысленно растрчивало драгоценное время. Если подсчитать, сколько анкет я заполнил за эти годы, заявлений во время каждого путешествия, налоговых деклараций, валютных свидетельств, справок о пересечении границы, разрешений на пребывание, разрешений на выезд, заявлений на прописку и выписку, сколько часов отстоял в приемных консульств и органов власти, перед каким числом

чиновников высидел, сколько выдержал опросов и обысков на границах, — тогда начнешь понимать, как много от человеческого достоинства потеряно в этом столетии, в которое мы, будучи молодыми людьми, веровали как в столетие свободы, грядущей эры мирового гражданства. Как много отнято у нашей производительности, у творческих сил, нашего воображения из-за этих бесполезных и вместе с тем унижающих душу мелочей! Ибо за эти годы каждый из нас изучил больше служебных распоряжений, чем умных книг, первый шаг в чужом городе, в чужой стране вел уже не в музеи, не в окрестности, как некогда, а в консульство, полицейский участок, чтобы получить «разрешение». Те, кто раньше читал наизусть стихи Бодлера и горячо спорил на интеллектуальные темы, встречаясь теперь, ловили себя на том, что говорят о письменных показаниях под присягой и визах и рассуждают, подавать ли прошение на длительную визу или визу туриста; знакомство с мелкой сошкой в консульстве, которая может ускорить дело, в последнее десятилетие стало куда полезней, чем дружба с «каким-нибудь» Тосканини или «каким-нибудь» Ролланом. С душой, рожденной свободной, приходилось постоянно чувствовать, что являешься объектом, а не субъектом, что прав у тебя нет никаких, а все лишь милость властей. Тебя постоянно допрашивали, регистрировали, нумеровали, проверяли, избличали, и я — неисправимый представитель более свободной эпохи и гражданин пригрезившейся всемирной республики — по сей день воспринимаю каждую из этих печатей в моем паспорте как клеймо, каждый из этих вопросов и обысков — как унижение. Это мелочи, всего лишь мелочи, я знаю, мелочи — для времени, когда ценность человеческой жизни падает еще быстрее, чем ценность валюты. Но, только отметив эти маленькие симптомы, более позднее время сможет установить правильный клинический диагноз духовной атмосферы и духовной сумятицы, которая охватила наш мир между двумя мировыми войнами.

Возможно, прежде я был слишком избалован, или из-за этих резких перемен последних лет мое восприятие постепенно болезненно обострилось. Всякая форма эмиграции сама по себе неизбежно вызывает определенное нарушение равновесия. Перестаешь — и это надо пережить, чтобы понять, — держаться прямо, когда не чувствуешь больше под ногами родной почвы, становишься менее уверенным, более недоверчивым по отношению к себе самому. И я, не раздумывая, признаю, что с того дня, когда я начал жить

с этими бумагами или паспортами, я никогда более не чувствовал себя самым собой. Что-то свойственное моему природному, изначальному «я» оказалось навсегда утрачено. Я стал более сдержанным, чем это было мне свойственно, и меня — бывшего космополита — не покидает чувство, что теперь мне следовало бы благодарить особо за каждый глоток воздуха, который я отнимаю у другого народа. Трезво размышляя, я, разумеется, понимаю всю нелепость подобных причуд, но разве разуму когда-нибудь удавалось победить чувство! Мне не помогло то, что почти столетия я приучал мое сердце биться как сердце «citoyen du monde»¹. Нет, в тот день, когда я утратил мой паспорт, я — в пятьдесят восемь лет — обнаружил, что со своей родиной теряешь больше, чем кусок застолбленной земли.

* * *

Я был не одинок в этом чувстве неуверенности. Постепенно беспокойство стало распространяться по всей Европе. Политический горизонт в Англии оставался пасмурным с того дня, как Гитлер напал на Австрию, и даже те, кто тайно прокладывал ему дорогу, надеясь тем самым купить мир для собственной страны, теперь начинали задумываться. С 1938 года во всех городах и селах не было больше ни одного разговора — как бы далеко ни отстояла его тема вначале, — который бы в конце концов не сводился к неизбежному вопросу: можно ли и как избежать войны или хотя бы ее отсрочить. Когда я оглядываюсь назад, на все эти месяцы постоянного и нарастающего страха перед войной в Европе, то вспоминаю в основном лишь о двух или трех днях подлинной уверенности, о двух или трех днях, когда еще раз, в последний раз, появилась надежда, что туча пройдет мимо и снова можно будет дышать мирно и свободно, как некогда. Поразительно, что эти два или три дня были именно теми, которые сегодня считаются самыми роковыми в новейшей истории: дни встречи Чемберлена и Гитлера в Мюнхене.

Я знаю, что сегодня неохотно вспоминают об этой встрече, на которой Чемберлен и Даладьё оказались вынужденными капитулировать перед Гитлером и Муссолини. Но так как я здесь намерен следовать правде, то должен сказать, что для каждого, кто эти три дня находился в Англии, они

¹ Гражданин мира (*франц.*).

тогда казались прекрасными. Ситуация в те дни сентября 1938 года была исполнена драматизма. Чемберлен только что вернулся из своей второй поездки к Гитлеру, куда ездил затем, чтобы в Годесберге безоговорочно согласиться с Гитлером в том, чего тот требовал от него ранее в Берхтесгадене. Но то, что Гитлер считал достаточным несколько недель тому назад, уже не могло насытить его истерию власти. Политика appeasement¹ и «try and try again»² самым жалким образом провалилась, эпоха веры в добро закончилась в Англии в одну ночь. Англии, Франции, Чехословакии, всей Европе оставалось лишь смириться перед императивным стремлением Гитлера к власти — или же преградить ему путь с оружием в руках. Англия, казалось, решилась на крайность. Теперь вооружались уже не тайком, а открыто и демонстративно. Вдруг появлялись рабочие и прямо в парках Лондона, в Гайд-парке, в парке Риджент и против германского посольства рыли укрытия от грозящих бомбардировок. Флот был мобилизован, офицеры генерального штаба постоянно летали между Парижем и Лондоном туда и обратно, чтобы согласовать последние решения; иностранцы, стремившиеся своевременно оказаться в безопасности, брали штурмом корабли, идущие в Америку; с 1914 года Англия не знала подобной встряски. Люди выглядели более серьезными и сосредоточенными. На здания и на многолюдные улицы смотрели с тайной мыслью: не посыплются ли уже завтра на них бомбы? А во время последних известий люди стояли или сидели подле радио. Неприметно и все же ощутимо в каждом человеке, не отпуская ни на секунду, сказывалось невероятное напряжение, охватывавшее всю страну.

Затем состоялось то историческое заседание парламента, на котором Чемберлен уведомил, что он еще раз попытался прийти к соглашению с Гитлером, в третий раз предложив ему встретиться в Германии в любом месте, чтобы спасти мир от угрозы войны. Ответа на его предложение пока не последовало. И вот в разгар заседания — проходившего весьма драматично — пришло то известие, которое подтверждало согласие Гитлера и Муссолини провести совместную конференцию в Мюнхене, и в этот момент — возможно, единственный случай в истории Англии — английскому парламенту изменила его выдержка. Депутаты, повскакав с мест, кричали и аплодировали, галереи гремели

¹ Умиротворение (англ.).

² Пытайся снова и снова. (англ.).

от ликования. Уже многие годы почтенное здание не сотрясалось так от взрыва восторга, как в эти минуты. Чисто человечески было отрадно видеть, как искреннее воодушевление, вызванное надеждой на то, что мир еще можно спасти, преодолело обычно столь искусное умение англичан сдерживать свои чувства. Но политически этот взрыв был огромной ошибкой, ибо своим бурным ликованием парламент, страна обнаружили, как сильно ненавидели они войну, на какие жертвы они готовы были пойти ради мира: на любой отказ от собственных интересов и даже от собственного престижа. С самого начала поэтому о Чемберлене поговаривали, что он отправился в Мюнхен не для того, чтобы отстаивать мир, а чтобы его выпрашивать. Но никто тогда даже не предполагал, чем это обернется. Потом еще два-три дня томительного ожидания, три дня, когда весь мир, казалось, затаил дыхание. Рыли в парках убежища, работали на военных заводах, устанавливали зенитные орудия, раздавали противогазы, составляли планы эвакуации детей из Лондона и проводили тайные приготовления, назначения которых — каждого в отдельности — никто не понимал, но все знали, для чего они проводятся. Каждое утро, день, вечер, ночь проходили в ожидании газеты, сообщений по радио. Снова как бы возвратились те дни июля 1914 года с их ужасающим, изматывающим нервы ожиданием «да» или «нет».

А затем вдруг, словно невероятным порывом ветра, нависшая туча развеялась; на душе полегчало, с сердца упал камень. Стало известно, что Гитлер и Чемберлен, Даладье и Муссолини пришли к полному согласию, более того — что Чемберлену удалось заключить с Германией соглашение, которое гарантировало мирное урегулирование между этими странами всех возможных конфликтов в будущем. Казалось, что это решающая победа непреклонной воли в общем-то незначительного и ничем не примечательного государственного деятеля, и все сердца в этот первый час благодарно раскрылись навстречу ему. И вот по радио передали послание «Peace for our time»¹, которое возвестило нашему уже немало испытанному поколению, что ему позволено пожить мирно еще, побыть беззаботным, потрудиться над созданием нового, лучшего мира; и всякий лжет, кто задним числом пытается отрицать, что мы не были опьянены этим магическим известием. Ибо кто мог подумать, что вернувшийся домой в проигрыше способен вызвать три-

¹ Мир нашему времени (англ.).

умфальное шествие? Если бы широкие массы населения Лондона в то утро, когда Чемберлен возвратился из Мюнхена, знали точный час его прибытия, сотни тысяч устремились бы в аэропорт, чтобы приветствовать его и выразить свое восхищение человеку, который, как мы все считали тогда, спас мир Европы и честь Англии. Затем вышли газеты. На помещенных в них фотографиях Чемберлен, строгое лицо которого обычно имело сходство с головой встревоженной птицы, гордо улыбаясь, размахивал, выходя из самолета, тем историческим листом, который устанавливал «peace for our time» и который он привез домой своему народу как самый драгоценный дар. Вечером эту сцену показывали уже в кино; люди вскакивали со своих мест и, ликуя, кричали — чуть ли не обнимая друг друга в порыве этого возникшего братства, которое отныне должно было воцариться в мире. Для каждого, кто тогда находился в Лондоне и вообще в Англии, это был необычайный, окрыляющий душу день.

В такие исторические дни я люблю бывать на улицах, чтобы лучше, более осязаемо почувствовать атмосферу, чтобы, в полном смысле слова, подышать воздухом времени. В парках рабочие приостановили рытье убежищ, улыбаясь и переговариваясь, их окружили люди, ибо благодаря «Peace for our time» бомбоубежища оказались ненужными; я слышал, как два молодых человека шутили на отличном кокни: дескать, теперь есть надежда, что из этих убежищ соорудят подземные общественные туалеты, ведь в Лондоне их явно не хватает. Каждый с готовностью смеялся вместе со всеми, люди выглядели посвежевшими, воскресшими, как растения после грозы. Они держались более уверенно, чем еще за день до этого, расправив плечи, и в их обычно столь холодных английских глазах появилось оживление. Дома казались освещенными ярче с тех пор, как стало известно, что им больше не угрожают бомбы, автобусы казались наряднее, солнце ярче, жизнь многих тысяч — счастливее и надежнее благодаря этим вдохновляющим словам. И я ощущал, как они окрыляют меня самого. Я ходил без усталости, быстрее и раскованней, и меня тоже увлекала с собой поднимающаяся волна новой надежды. На углу Пикадилли ко мне внезапно кто-то подскочил. Это был английский государственный чиновник, с которым я едва был знаком, отнюдь не экспансивный, скорее замкнутый человек. В другое время мы, как обычно, вежливо поклонились бы друг другу, и ему никогда не пришло бы в голову заговорить со мной. Но теперь он с блестящими глазами остано-

вил меня. «Что вы скажете о Чемберлене? — сказал он, сияя от радости. — Никто в него не верил, а он все же сделал свое дело. Он не уступил и тем самым спас мир».

Так думали все; то же чувствовал и я в тот день. И следующий день тоже был днем счастья. Хором ликовали газеты, на бирже резко подскочили валютные курсы, из Германии впервые за многие годы послышались дружелюбные голоса, французы предложили воздвигнуть Чемберлену памятник. Но это была лишь последняя яркая вспышка пламени перед наступлением кромешной тьмы. Уже в ближайшие дни просочились скверные подробности того, сколь безоговорочной была капитуляция перед Гитлером, сколь позорно предали Чехословакию, которую торжественно заверяли в помощи и поддержке, а на следующей неделе было очевидно, что капитуляции Гитлеру уже недостаточно, что он — едва успела высохнуть подпись на договоре — уже нарушил его во всех пунктах. Не стесняясь, Геббельс объявил всему миру, что в Мюнхене Англию приперли к стене. Великий свет надежды погас. Но он светил в течение одного-двух дней и согрел наши сердца. Я не могу и не хочу забыть о тех днях.

* * *

С того момента как мы узнали, что же на самом деле произошло в Мюнхене, я, как ни странно, редко встречался в Англии с англичанами. Я сам был повинен в этом, ибо избегал их, и больше всего — разговоров с ними, хотя не мог не восхищаться ими гораздо больше, чем раньше. К беженцам, которые теперь прибывали толпами, они относились великодушно, демонстрируя самое благородное сочувствие и готовность оказать помощь. Но между ними и нами выросла некая невидимая разделяющая стена: мы знали то, что им было еще неизвестно. Мы понимали, что произошло и должно произойти, они не могли это понять, пытаясь вопреки всему упорствовать в заблуждении, что слово есть слово, договор — договор и что с Гитлером можно договориться, надо только говорить с ним разумно, по-доброму. В силу давней демократической традиции английские правящие круги не могли или не хотели признавать, что у них под боком выработана и пущена в ход техника преднамеренно циничного аморализма и что новая Германия отвергла все когда-либо действовавшие в международных отношениях и в рамках права нормы, как только они показались ей обременительными. Англичане все еще

верили и надеялись, что Гитлер сначала ринется на других — желательно на Россию! — а тем временем можно будет прийти к какому-либо соглашению с ним. У нас же, у каждого, стоял перед глазами образ погибшего друга, замученного пытками товарища, а потому был более жесткий, более острый, более холодный взгляд. Мы — объявленные вне закона, гонимые, лишенные прав, — мы знали, что никакой повод не будет чрезмерно нелеп, чрезмерно лжив, когда речь идет о грабеже и господстве. Таким образом, мы, эмигранты, уже пережившие испытание и оставшиеся в живых, и они, англичане, говорили на разных языках; думаю, не будет преувеличением, если скажу, что, кроме немногих британцев, мы тогда в Англии были единственными, кто не заблуждался относительно подлинных размеров опасности. Как в свое время в Австрии, мне суждено было также и в Англии пострадавшим сердцем предвидеть неотвратимое, с той лишь разницей, что здесь, как иностранец, как гость, которого терпят, я не смел предостерегать.

Таким образом, мы, кого судьба уже отметила каленым тавром, оставались в полном одиночестве, когда первое дуновение грядущего опалило нам губы, — и как мы терзались тревогой за страну, которая по-братски нас приняла!

Но то, что даже в самое мрачное время беседа с мудрым человеком высшей нравственности может дать безмерное утешение и душевную устойчивость, мне незабываемым образом продемонстрировали славные часы, которые в те последние месяцы перед катастрофой я имел возможность провести с Зигмундом Фрейдом. Несколько месяцев меня терзала мысль, что восьмидесятитрехлетний больной человек оставался в Вене Гитлера, пока наконец прелестной принцессе Марии Бонапарте, его ревностной ученице, не удалось переправить его оттуда в Лондон и тем самым спасти этого, жившего в порабощенной Вене, выдающегося человека. Счастливейшим в моей жизни был день, когда я прочитал в газете, что он ступил на остров, и когда я увидел возвратившимся из Гадеса самого уважаемого из моих друзей.

* * *

Я знал Зигмунда Фрейда, этот незаурядный и строгий ум, как никакой другой в нашу эпоху углубивший и расширивший наше знание о человеческой душе, в Вене еще в те времена, когда его там считали своенравным и весьма несимпатичным оригиналом и относились к нему неприязненно. Фанатик правды, понимающий как должно ограни-

ченность всякой правды — он однажды сказал мне: «Стопроцентная правда бывает столь же редко, как стопроцентный алкоголь!», — он так же независимо отстранился от университета и его академических перестраховок, как отваживался вторгаться в до тех пор не проторенные и боязливо избегаемые зоны гласно-негласного мира влечений, то есть именно в ту сферу, на которую то время торжественно наложило табу. Оптимистически-либеральный мир неосознанно ощущал, что этот бескомпромиссный интеллект своей глубинной психологией безжалостно подтачивает их тезис о постепенном подавлении влечений «разумом» и «прогрессом», что он своей безжалостной техникой разоблачения опасен для их методики игнорирования неугодного. Однако же не только университет, не только клика старомодных невропатологов, объединившись, оборонялись против этого неудобного «аутсайдера» — то был целый мир, весь старый мир, старый образ мышления, моральная «условность», то была целая эпоха, которая опасалась его разоблачений. Шаг за шагом против него как врача организуется бойкот, он теряет свою практику, а так как его тезисы и даже самую смелую постановку проблем научно не опровергнуть, то с его теорией сна пытаются разделаться на венский манер — иронизируя над ней или низводя ее до банальной забавы в обществе. Только маленький кружок страстных поклонников собирався вокруг опального на еженедельные дискуссионные вечера, на которых новая наука психоанализа обретала свои первые контуры. Задолго еще до того, как сам я осознал весь масштаб духовной революции, которая подготавливалась первыми основополагающими работами Фрейда, я проникся уважением к твердой, нравственно непоколебимой позиции этого необыкновенного человека. То был ученый муж, о каком как о своем идеале лелеял мечту молодой человек, муж осторожный в любом утверждении, пока налицо нет последнего доказательства в абсолютной достоверности, но непреклонный перед целым миром, как только его гипотеза претворялась в твердую убежденность, человек скромный, когда речь шла о нем лично, но полный решимости отстаивать каждое положение своего учения и до смерти быть преданным имманентной правде, которую он защищал в своих научных выводах. Нельзя представить себе человека в нравственном отношении более неустрашимого; Фрейд неизменно отваживался говорить то, что думал, даже когда знал, что этим ясным, непримиримым суждением растревожит и всполошит; никогда не стремился

он свое сложное положение облегчить хоть какой-нибудь ничтожной — пусть даже и формальной — уступкой. Я уверен, что Фрейд смог бы без всяких помех и сопротивления со стороны «традиционной» науки высказать четыре пятых своей теории, если бы согласился ее осмотрительно задрапировать, вместо «сексуальность» сказать «эротика», вместо «либидо» — «эрос», и не делать все время неумолимо самые последние выводы, а просто на них намекнуть. Однако там, где дело касалось учения и правды, он был непримирим; чем отчаяннее было сопротивление, тем тверже становилась его решимость. И когда для понятия нравственного мужества — единственного героизма на земле, не требующего никаких чужих жертв, — я ищу символ, я всегда вижу перед собой прекрасный, мужественный лик Фрейда с открыто и спокойно глядящими темными глазами.

Человек, бежавший в Лондон со своей родины, которую он на века одарил всемирной славой, был человеком престарелым и вдобавок тяжелобольным. Но не усталым и сломленным. Втайне я немного опасался встретить его омраченным и растерянным, после всех тех мучительных часов, которые ему, по всей видимости, пришлось пережить в Вене, а нашел его более свободным и даже более счастливым, чем когда-либо. Он повел меня в сад своего дома в лондонском предместье. «Разве мне жилось лучше?» — спросил он со светлой улыбкой на некогда столь строгих устах. Он показал мне свои любимые египетские статуэтки, которые спасла для него Мария Бонапарте. «Разве я опять не дома?» А на письменном столе лежали раскрытыми большие канцелярского формата страницы его рукописи, и он, восьмидесятитрехлетний, ежедневно писал тем же круглым четким почерком, со столь же ясным умом, что и в лучшие свои дни, и столь же неустанно; его сильная воля преодолела все: болезнь, старость, эмиграцию, и впервые свободно изливалась из него скопившаяся за долгие годы борьбы исконная его доброта. Старость сделала его лишь мягче, перенесенное испытание — лишь снисходительнее. Теперь иногда он обнаруживал нежность в жестах, чего прежде я в этом владеющем собой человеке не замечал; он клал собеседнику руку на плечо, и глаза за сверкающими стеклами очков смотрели с большей теплотой. Всегда в течение всех этих лет беседа с Фрейдом доставляла мне высшее духовное наслаждение. Одновременно я учился и восторгался, чувствовал, что каждое мое слово понятно этому замечательно свободному от предрассудков человеку, которого не испугает никакое признание, не выведет из себя

никакое утверждение и для которого стремление воспитать других ясновидящими, ясночувствующими давно уже стало инстинктом жизни. Но никогда не ощущал я всю незаменимость этих долгих бесед с большей благодарностью, чем в тот мрачный, последний год его жизни. В мгновение, когда ты входил в его комнату, безумие внешнего мира словно отступало. Самое ужасающее становилось абстрактным, самое запутанное ясным, сиюминутное послушно включалось в большие циклические фазы. В первый раз я зрел высившегося над самим собой, подлинного мудреца, который и боль и смерть не воспринимает более как личное переживание, но как надличностный объект созерцания, наблюдения: смерть его была не меньшим нравственным подвигом, чем его жизнь. Фрейд тогда уже тяжело страдал от болезни, которой вскоре суждено было отнять его у нас. Из-за съемного протеза разговор ему давался с видимым усилием, и посетитель буквально не знал, куда глаза деть при каждом его слове, обращенном к нему, потому что артикулировать ему было трудно. Но гостя он не отпускал; особым честолюбием для его несгибаемой души было показать друзьям, что воля его оставалась еще крепче, чем низменные страдания, которые доставляло ему его тело. С перекошенным от боли ртом писал он за своим письменным столом до последних дней, и даже когда по ночам его сон — его отменно крепкий, здоровый сон, который восемьдесят лет был источником его силы, — прерывали страдания, он отказывался от снотворного, от всяких болеутоляющих инъекций. Он не желал затуманивать ясность своего духа подобными успокаивающими средствами ни на один час; лучше страдать в бдении, лучше думать в муках, чем не думать, — герой духа до последнего, самого последнего мгновения. Это была ужасающая борьба, и разворачивающаяся тем великолепно, чем долгие она длилась. От раза к разу смерть все отчетливее бросала свою тень на его лик. Она сделала впалыми его щеки, словно резцом выточила виски из лба; перекосила рот, преградила путь словам; не в силах был ничего поделать мрачный душитель лишь против глаз, против этих неприступных сторожевых башен, с которых героический дух держал под наблюдением мир: глаза и разум, они оставались ясными до последнего мгновения. Как-то, во время одного из моих посещений, я взял с собой Сальвадора Дали, талантливейшего, по моему мнению, художника нового поколения, который безмерно почитал Фрейда, и во время моего разговора с Фрейдом он сделал набросок. Этот набросок я бы никогда не осмелился

показать Фрейду, ибо Дали прозорливо поселил уже в нем смерть.

Все ожесточеннее становилась эта борьба сильной воли, самого пронизательного ума нашего времени против гибели; только когда он сам ясно осознал, он, для кого ясность издавна была высшей добродетелью мышления, что не сможет больше писать, прудиться, он, как римский герой, дал врачу разрешение покончить с болью. То было величественное завершение исполненной величия жизни, смерть, знаменательная даже посреди гибели множества людей в это смертоносное время. И когда мы, друзья, опускали его гроб в английскую землю, мы знали, что ей мы предаем самое лучшее нашей родины.

* * *

В те часы я часто говорил с Фрейдом о жестокости гитлеровского мира и войны. Как всякий смертный, он был глубоко потрясен, но как мыслитель отнюдь не удивлен этой вспышкой зверства. Всегда, говорил он, его осыпали ругательствами за пессимизм, потому что он отрицал превосходство культуры над инстинктами; и вот, пожалуйста — задирать нос, разумеется, здесь не от чего, — его мнение о том, что варварство, стихийная тяга к уничтожению в человеческой душе неистребимы, находит самое ужасающее подтверждение. Возможно, в грядущие столетия некую форму сдерживания этих инстинктов удастся найти хотя бы для сообщества народов; но в обыденной жизни и в самой сокровенной природе они неистребимы, а возможно, и необходимы как некие силы, поддерживающие напряжение. Все больше в эти последние дни занимала Фрейда проблема еврейства и его нынешняя трагедия: здесь ученый в нем не мог дать никакого объяснения, а его светлый ум — никакого ответа. Незадолго до этого он опубликовал свое исследование о Моисее, в котором Моисея изобразил не как еврея, а как египтянина, и этим едва ли научно обоснованным утверждением задел как евреев правоверных, так и в не меньшей степени атеистов-евреев. Теперь он сожалел, что книга появилась именно в этот ужасный для еврейства час: «Сейчас, когда у них отнимают все, я отнимаю у них еще их лучшего мужа». Я вынужден был признать его правоту, что теперь каждый еврей стал всемерно чувствительнее, ибо даже посреди этой мировой трагедии они жертвы номер один, повсеместные жертвы, потому что, напуган

ные еще до нынешнего удара судьбы, повсюду знали, что все худое в первую очередь и семикратно коснется их и что самый лютей человек всех времен может унижить и изгнать до самого последнего краешка земли и под землю именно их. Неделя за неделей, месяц за месяцем прибывало все больше беженцев, и вновь прибывающие выглядели с каждым разом все более обездоленными и потерянными. Те, кто покинул Германию и Австрию первыми, еще смогли спасти свою одежду, свои чемоданы, свои мелкие домашние вещи, а некоторые даже немного денег. Но чем дольше кто-то продолжал верить в Германию, чем труднее он разлучался со своей любимой родиной, тем жестче была кара. Сначала у евреев отняли их профессии, им запретили посещать театры, кино, музеи, а ученым — пользоваться библиотеками: они оставались из верности или из-за инертности, из-за трусости или из-за гордости. Лучше уж быть униженным на родине, чем попрошайкой унижаться на чужбине. Затем у них отобрали прислугу и радио и телефоны из квартир, затем сами квартиры, затем им насильно прикололи звезду Давида; словно в прокаженных, каждый должен был на улице видеть в них отверженных и объявленных вне закона, избегать их и глумиться над ними. Они были лишены всякого права, над ними чинилось всякое душевное, всякое телесное насилие с азартным вождением, и для каждого еврея старая русская пословица вдруг стала ужасной правдой: «От сумы да тюрьмы не зарекайся». Кто не покидал страну, того бросали в концентрационный лагерь, где германское воспитание делало податливым даже самого гордого, а потом, ограбленного, в одном-единственном костюме и с десятью марками в кармане, его выталкивали из страны, не спрашивая куда. Затем они задерживались на границах, затем кланчили в консульствах, и почти всегда напрасно, потому что какой стране нужны обездоленные, нужны нищие? Никогда не забуду, какая мне представилась картина, когда однажды я попал в Лондоне в бюро путешествий; оно было битком набито беженцами, в основном евреями, и все они стремились куда-нибудь. Все равно, в какую страну, во льды Северного полюса или в раскаленный песчаный котел Сахары, лишь бы прочь, лишь бы подальше, потому что разрешение на пребывание просрочено, надо дальше, дальше с женой и детьми под чужие звезды, в чужой языковой мир, к людям, которых не знаешь и которые не желают знать тебя. Я встретил там некогда очень богатого промышленника из Вены, который вместе с тем был одним из наших самых просвещенных кол-

лекционером произведений искусства; сначала я его не узнал, таким седым, таким старым, таким усталым он стал. Он вяло опирался обеими руками о стол. Я спросил его, куда он хочет. «Не знаю, — сказал он. — Кто сегодня спрашивает о нашем желании? Едут туда, куда нашего брата еще пускают. Кто-то мне сказал, что здесь вроде бы еще можно получить визу на Гаити или в Сан-Доминго». У меня остановилось сердце: старый, наконец измученный человек с детьми и внуками дрожит от надежды отправиться в страну, которую до этого момента едва ли видел на карте, лишь для того, чтобы и далее попрошайничать и быть чужим и ненужным! Рядом кто-то с отчаянной горячностью спрашивал, как можно добраться до Шанхая, он слышал, что у китайцев еще принимают. И так теснились они рядом друг с другом, бывшие университетские профессора, директора банков, коммерсанты, землевладельцы, музыканты, каждый готовый влачить жалкие обломки своей жизни через моря и земли, готовые все сделать, все стерпеть, лишь бы прочь из Европы, лишь бы прочь, лишь бы прочь! То была призрачная толпа. Но я содрогнулся от мысли, что эти пятьдесят измученных людей представляют всего лишь наблюдающий, совсем крохотный дозор огромной армии пяти, восьми, возможно, десяти миллионов евреев, выступающих в поход уже за ними и напирющих на них, всех этих ограбленных, а потом и растоптанных в войне миллионов, которые ждали посылки от благотворительных учреждений, разрешений властей и денег на проезд: гигантская масса, смертельно напуганная и панически бегущая от гитлеровского лесного пожара, осаждала вокзалы на всех границах Европы и заполняла тюрьмы, целиком выдворенный народ, которому отказывали в праве быть народом, и все же народ, который вот уже более двух тысяч лет ничего не жадал так сильно, как того, чтобы не было необходимости странствовать и чтобы можно было, сделав привал, почувствовать наконец под ногами землю, тихую, мирную землю.

Но самое трагическое в этой еврейской трагедии двадцатого столетия было то, что переживающие ее не могли найти в ней никакого смысла и никакой вины. Их праотцы и предки, все эти изгои средневековья, они хотя бы знали, за что страдали: за свою веру, за свой закон. Они обладали еще в качестве талисмана души тем, что нынешние давно утратили, — непоколебимым доверием к своему Богу. Они жили и страдали в гордом заблуждении, что в качестве избранного народа предназначены Творцом мира и людей

для особой судьбы и особого призвания, и слово Библии было для них заповедью и законом. Когда их бросали на костер, они прижимали к груди священное для них писание и благодаря этой внутренней огненной стихии не столь обжигающим чувствовали убийственное пламя. Когда их гнали через страны, у них оставалась еще последняя отчизна, их отчизна в Боге, из которой их не могли изгнать ни земная власть, ни кайзер, ни король, ни инквизиция. Пока их соединяла религия, они еще были общностью и поэтому силой; когда их отталкивали и изгоняли, то они искупали вину за то, что своей религией, своими обычаями сами осознанно обособили себя от других народов земли. Но евреи двадцатого столетия давно уже не были общностью. У них не было общей веры, свое еврейство они воспринимали скорее как бремя, нежели как гордость, и не осознавали никакого предназначения. Они жили в стороне от заповедей своих некогда священных книг и не хотели знать древний общий язык. Сосуществовать, влиться в народы, окружающие их, раствориться во всеобщем всегда было их заветным и самым страстным желанием, только бы обрести приют от всякого преследования, привал в вечном бегстве. Таким образом, влившись в другие народы, одни не понимали других, давно уже больше французы, немцы, англичане, русские, чем евреи. Только теперь, когда их сгоняли всех вместе и подметали, словно мусор на улицах, — директоров банков из их берлинских дворцов и синагогальных служек из ортодоксальных общин, парижских профессоров философии и румынских извозчиков, обмывателей покойников и лауреатов Нобелевской премии, концертных певцов и плакальщиц на похоронах, писателей и винокуров, владельцев и неимущих, великих и маленьких, верующих и свободомыслящих, ростовщиков и мудрецов, сионистов и ассимилировавшихся, ашкенази и сефардов, праведников и грешников, а позади них еще оробевшую толпу тех, кто полагал, что давно уже избежал проклятия, крещеных и смешанных, — теперь вот впервые за сотни лет евреям снова навязывали общность, которой они давно уже не чувствовали, возвращающуюся вновь и вновь со времен Египта общность изгнания. Но почему эта участь им и снова и снова им одним? В чем причина, в чем смысл, в чем цель этого бессмысленного преследования? Их изгоняли из стран и не давали никакой страны. Говорили: живите не с нами, но им не говорили, где они должны жить. На них сваливали вину и не давали никакой возможности искупить ее. И таким образом горящими глазами они вперялись друг в

друга во время бегства — почему я? Почему ты? Почему я с тобой, кого я не знаю, язык которого не понимаю, образ мышления которого не постигаю, с которым меня ничего не связывает? Почему мы все? И никто не знал ответа. Даже Фрейд, самый ясный ум этого времени, с которым я часто говорил в эти дни, не видел никакого пути, никакого смысла в этой бессмыслице. Но, быть может, конечный смысл еврейства в том как раз и есть, чтобы снова и снова своим загадочно продолжающимся существованием повторять вечный вопрос Иова к Богу, дабы не быть забытым на земле.

* * *

Нет ничего более мистического, когда то, что ты считал давно отжившим и погребенным, вдруг наяву предстает перед тобой и в том же самом обличье. Наступило лето 1939 года, давно позади уже был Мюнхен с его кратковременной иллюзией передышки, «peace for our time»; уже Гитлер, вопреки клятвам и торжественным заверениям, напал на изувеченную Чехословакию и захватил ее, уже был захвачен Мемель, германская пресса в исступлении требовала Данциг с польским коридором. В Англии наступило горькое прозрение от ее снисходительного попустительства. Даже простые, неискушенные люди, которые лишь неосознанно чувствовали отвращение к войне, начали выражать резкое негодование. Каждый из обычно столь сдержанных англичан заговаривал сам — портье, охранявший наш многоквартирный дом, мальчик-лифтер в лифте, горничная, прибиравшая в комнате. Никто из них отчетливо не понимал, что происходит, но каждый помнил об одном, неопровержимо очевидном — что Чемберлен, премьер-министр Англии, чтобы спасти мир, трижды летал в Германию и так и не смог убогатворить Гитлера. В английском парламенте вдруг послышались твердые голоса: «Stop aggression!»¹, повсюду ощущались приготовления к предстоящей войне. Снова светлые аэролаты — они еще выглядели невинными серыми детскими игрушечными слонами — начали зависать над Лондоном, опять рылись бомбоубежища и тщательно примерялись выданные противогазы. Положение стало столь же напряженным, как и год назад, а возможно, еще напряженнее, потому что на этот раз за правительством стояло уже не наивное и доверчивое, а решительное и протестующее население.

¹ Остановить агрессию! (англ.).

В те дни я оставил Лондон и перебрался в Бат. Никогда в жизни я не ощущал бессилие человека перед мировыми событиями более трагично. Я сидел в своей комнате, как и все другие, беззащитный, как муха, бессильный, как улитка, в то время как речь шла о жизни и смерти, обо мне самом и моем будущем, о созревающих в моем мозгу мыслях, рожденных и нерожденных планах, о моей работе и отдыхе, моей воле, моем имуществе, обо всем моем бытии. А я все сидел и ждал, вглядываясь в пустоту, как осужденный в его камере, замурованный, вставленный, словно звено в цепь, в это бессмысленное, бессильное ожидание; а меня окружали такие же заключенные и так же вопрошали, гадали и спорили, будто кто-то из нас знал или мог знать, кто и каким образом распорядился нами. Звонил телефон, и кто-либо из друзей спрашивал, что я думаю. Приходила газета, которая запутывала все еще больше. По радио передавали сообщения, и одно противоречило другому. Тогда я выходил на улицу, и первый встречный начинал выпытывать у меня, столь же неосведомленного, мое мнение, будет война или нет. А я, обеспокоенный, вместо ответа сам спрашивал и говорил, обсуждал и спорил, хотя прекрасно понимал, что всякое знание, всякий опыт, любое предвидение, все накопленное и усвоенное за многие годы ничего не стоит, что вторично за двадцать пять лет снова оказался бессильным и безвольным перед судьбой, а бессвязные мысли стучали в висках, отдаваясь болью. В конце концов я больше не мог вынести громадного города, потому что на каждом углу posters¹, крупные заголовки набрасывались на человека с кричащими словами, как бешеные собаки, а я невольно пытался прочесть на лице у каждого из тысяч людей, мелькавших мимо, о чем он думает. А думали мы ведь все об одном и том же, думали только о «да» или «нет», о черном и красном в решающей игре, в которой для меня ставкой была вся моя жизнь, мои последние сбереженные годы, мои ненаписанные книги, все, в чем до сих пор я видел мою задачу, смысл жизни.

Но, выматывая нервы своей медлительностью, шарик рулетки дипломатии неуверенно катился то туда, то обратно, сюда и туда, туда и сюда, черное и красное, красное и черное, надежда и разочарование, хорошие вести и плохие вести, и все еще не последние, не окончательные. Забудь! — говорил я себе. Спасайся бегством, беги в твой внутренний мир, в твою работу, туда, где ты просто живое существо,

¹ Плакаты, объявления (англ.).

не гражданин государства, не ставка в этой дьявольской игре, в единственное прибежище в обезумевшем мире, где крупница твоего рассудка еще может трудиться.

В работе недостатка не было. Многие годы я беспрерывно накапливал материал для большого, двухтомного жизнеописания Балзака и его творчества, но никак не хватало решимости приняться за столь объемную, рассчитанную на длительный срок работу. Но именно отсутствие мужества в данный момент дало мне мужество приступить к ней. Я перебрался в Бат — и не случайно, потому что этот город, где писали многие из тех, кто прославил английскую литературу, прежде всего Филдинг, более достоверно и проникновенно, чем любой иной город Англии, создает перед застывшим взором иллюзию другого, более мирного столетия — восемнадцатого. Но как же мучительно контрастировал этот мягкий, наделенный столь нежной красотой ландшафт с растущим беспокойством мира и моих мыслей! Точно так же, как июль 1914-го был наилучшим из всех, что я помню в Австрии, столь же вызывающе изумительным был этот август 1939 года в Англии. Опять мягкое, шелковисто-голубое небо, словно шатер господний, опять эти добрые лучи солнца над полями и лесами, к тому же неописуемое великолепие цветов, — тот же вечный покой над землей, в то время как на ней люди вооружались к войне. Невероятным, как тогда, казалось безумие перед этим мирным, ликующим, пышным цветением, этим наслаждающимся собственным дыханием покоем в долинах Бата, которые своей прелестью необычайно напоминали мне те долины под Баденом.

И снова я не хотел верить в плохое. Снова я, как тогда, готовился к летней поездке. На первую неделю сентября 1939 года в Стокгольме был назначен конгресс ПЕН-клуба, и шведские товарищи пригласили меня — поскольку я не представлял больше никакой нации — в качестве почетного гостя; каждый день, каждый вечер в ходе конгресса был заранее расписан гостеприимными хозяевами до минуты. Я давно уже заказал билет на корабль, но тут, опережая друг друга, появились угрожающие сообщения о предстоящей мобилизации. По всем законам разума мне следовало бы теперь быстро собрать свои книги, свои рукописи и покинуть Британские острова как потенциальную воюющую страну, ибо в Англии я был иностранцем, а в случае войны — тотчас же иностранцем-неприятелем, которому грозило всякое ограничение свободы. Но что-то необъяснимое вставало во мне против спасения бегством. Отчасти это было

упрямое нежелание бежать снова и снова, так как судьба все равно догонит повсюду; отчасти это была уже подступившая усталость. «Такими время встретим мы, какими нас оно застигнет», — вспомнил я слова Шекспира. Если ты ему нужен, то, на шестом десятке, нет смысла сопротивляться ему далее! Над твоей лучшей, твоей прожитой жизнью оно ведь уже не властно. И в итоге я остался. Прежде всего я хотел по возможности упорядочить свое гражданское состояние, и так как у меня было намерение вступить во второй брак, то решил не терять ни мгновения, чтобы из-за интернирования или других непредвиденных обстоятельств не быть разлученным надолго со своей спутницей жизни. Таким образом, я отправился в то утро — это было 1 сентября, пятница, — в нотариальную контору в Бате, чтобы оформить свой брак. Служащий принял наши бумаги, выказав невероятную благожелательность и усердие. Он, как и каждый в это время, понимал наше желание избежать проволочек. Бракосочетание должно было состояться на следующий день; он взял ручку и начал вписывать в свою книгу наши имена красивыми круглыми буквами.

В этот момент — вероятно, около одиннадцати часов — дверь соседней комнаты резко распахнулась. Молодой клерк ворвался в комнату, на ходу надевая пиджак. «Немцы напали на Польшу. Это война!» — громко раздался его голос в тишине помещения. Слово это молотом ударило меня в сердце. Но сердца нашего поколения уже привыкли к любым жестоким ударам. «До войны дело еще не дошло», — сказал я, искренне убежденный. Но служащий был чуть ли не взбешен. «Нет, — крикнул он резко, — с нас хватит! Нельзя каждые шесть месяцев начинать все сначала! Пора покончить с этим!»

Между тем другой служащий, уже начавший заполнять нам свидетельство о браке, задумчиво отложил ручку в сторону. В конце концов, ведь мы иностранцы, рассуждал он, и в случае войны автоматически становимся враждебными иностранцами. Он не знает, разрешается ли заключать брак в подобных обстоятельствах. Он сожалеет, но в любом случае ему придется обратиться за инструкцией в Лондон. Затем прошли еще два дня ожидания, надежд, страхов, два дня ужасающего напряжения. В воскресенье утром радио передало сообщение, что Англия объявила войну Германии.

Это было странное утро. Молча отходили от радио, швырнувшего в пространство известие, которому суждено пережить столетия, — известие, которому предназначено было коренным образом изменить наш мир и жизнь каждого из нас; известие, которое для тысяч из тех, кто молча в него вслушивался, таило в себе смерть, скорбь и несчастье, отчаянье и угрозу для нас всех и, возможно, спустя многие годы — содержание творчества. Это снова была война, более ужасная и разгорающаяся все шире, чем любая из бывших когда-либо на земле. Опять кончалась одна эпоха, опять начиналась другая. Мы молча стояли в комнате, вдруг ставшей тихой, как дыхание, и избегали смотреть друг на друга. Снаружи доносилось беззаботное щебетание птиц, предававшихся под теплым ветром легкомысленной любовной игре, и в золотом блеске света шелестели деревья, словно их листья, как губы, хотели нежно прикоснуться друг к другу. Она опять ничего не ведала, древняя мать-природа, о тревогах ее созданий.

Я прошел в свою комнату и собрал вещи в небольшой чемодан. Если подтвердится то, о чем меня заранее предупредил занимавший высокий пост друг, то мы, австрийцы, будем отнесены в Англию к немцам и нам следует ожидать тех же ограничений; возможно, ночью мне уже не придется спать в своей постели. Снова я опустился ступенью ниже, вот уже час больше не просто иностранец в этой стране, а епему alien, враждебный иностранец, насильственно высылаемый обратно, туда, куда совсем не тянулась моя душа. Ибо можно ли было придумать более абсурдную ситуацию для человека, давно уже выдворенного из Германии, заклеяменного как «антинемец» из-за его национальности и образа мыслей, чтобы теперь, в другой стране, в силу бюрократического указа принудительным путем причислить его к общности, к которой он как австриец никогда не принадлежал? Одним росчерком пера смысл целой жизни превратился в бессмыслицу; я писал, я думал еще на немецком языке, но каждая мысль, которую я вынашивал, каждое желание, которое я чувствовал, принадлежало странам, которые встали на защиту свободы мира. Всякая другая связь, все бывшее в прошлом было разбито и развеяно, и я знал, что и после этой войны снова придется начинать все сначала. Ибо самая священная задача, которой я всей силой своей убежденности служил в течение сорока лет, — мирное единение Европы — оказалась неразрешимой. То, чего я стра-

шился больше, чем собственной смерти, война всех против всех была развязана вторично. И тот, кто целую жизнь страстно стремился к духовному и человеческому единению, ощущал себя в этот час, как никакой другой, требовавший несокрушимого единства, из-за этой неожиданной изолированности бесполезным и одиноким, как никогда в своей жизни.

Чтобы бросить последний взгляд на мирную жизнь, я еще раз вышел в город. Он тихо лежал в полуденном свете и был таким, как обычно. Люди обычным шагом шли своим обычным путем. Они не спешили и не собирались группами для разговоров. По-воскресному спокойно и невозмутимо было их поведение, и в какой-то момент я спросил себя: неужели они еще не знают всего? Но это были англичане, привыкшие владеть своими чувствами. Они не нуждались ни в знаменах и барабанах, ни в шуме и музыке, чтобы подкрепить себя в твердой, без всякой ложной патетики решимости. Насколько иначе выглядело это в июльские дни 1914 года в Австрии, но насколько другим, чем тот молодой неопытный человек, стал и я сам, столь тяжело обремененный воспоминаниями! Я знал, что такое война, и, глядя на изобильные, сверкающие магазины, совершенно отчетливо увидел магазины 1918 года, разграбленные и пустые, точно открытыми глазами глядящие на тебя. Как в вешем сне, видел я длинные очереди убитых горем женщин перед продовольственными лавками, матерей в трауре, раненых, калек — все эти ночные кошмары былого, точно призрак, вставали в ярком полуденном свете. Мне вспомнились наши бывалые солдаты, вернувшиеся с войны смертельно усталыми и одетыми в лохмотья, мое бьющееся сердце чувствовало всю прошлую войну в той, которая началась сегодня и ужасы которой еще были недоступны взору. И я знал: опять все прошлое осталось позади, все свершения уничтожены — Европа, наша родина, для которой мы жили, разрушена на срок намного больший, чем наши собственные жизни. Началась какая-то иная, новая эра, но сколько кругов ада потребует еще пройти, чтобы изжить ее?

Солнце светило ослепительно ярко. Когда я направился домой, взгляд вдруг упал на мою тень, шагающую впереди; и так же я увидел тень другой войны — позади нынешней. Она не покидала меня все это время, эта тень, она омрачала каждую из моих мыслей днем и ночью; возможно, ее темный отпечаток лежит на некоторых страницах этой книги. Но каждая тень в конечном счете тоже ведь дитя света, и лишь тот, кто познал светлое и темное, войну и мир, подъем и падение, — лишь тот действительно жил.

Фридрих Ницше

Я ценю философа в той мере, в какой он способен служить образцом.

Несвоевременные размышления

ТРАГЕДИЯ БЕЗ ПАРТНЕРОВ

Сорвать лучший плод бытия значит: жить гибельно.

Трагедия Фридриха Ницше — монодрама: на сцене своей краткой жизни он сам является единственным действующим лицом. В каждом лавиной низвергающемся акте стоит одинокий борец под грозовым небом своей судьбы; никого нет рядом с ним, никого вокруг него, не видно женщины, которая смягчала бы своим присутствием напряженную атмосферу. Всякое движение исходит только от него: несколько фигур, вначале мелькающих в его тени, сопровождают его отважную борьбу немymi жестами изумления и страха и постепенно отступают как бы перед лицом опасности. Никто не решается вступить в край этой судьбы; всю свою жизнь говорит, борется, страдает Ницше в одиночестве. Его речь не обращена ни к кому, и никто не отвечает на нее. И что еще ужаснее: она не достигает ничьего слуха.

Лишена партнеров, лишена реплик, лишена слушателей эта беспримерная в своем героизме трагедия Фридриха Ницше; нет в ней и места действия, нет пейзажа, декораций, костюмов: она разыгрывается как бы в безвоздушном пространстве мысли. Базель, Наумбург, Ницца, Сорренто, Зильс-Мариа, Генуя — все эти географические имена не обозначают в действительности место его пребывания: это

только верстовые столбы вдоль измеренной огненными крыльями дороги, холодные кулисы, безмолвный фон. В действительности декорация остается в этой трагедии неизменной: замкнутость, одиночество, мрачное, бессловесное, безответное одиночество, непроницаемый стеклянный колпак, покрывающий, окружающий его мышление, одиночество без цветов, без красок и звуков, без зверей и людей, одиночество даже без божества, оцепенелое, опустошенное одиночество первобытного мира — мира довременного или пережившего все времена. И особенно ужасна, особенно невыносима и в то же время особенно причудлива и непостижима пустыньность, безотрадность его мира тем, что этот глетчер, эта скала одиночества высится среди американизированной страны с семидесятимиллионным населением, в центре новой Германии, которая звенит и свистит железными дорогами и телеграфом, гремит шумом и гамом сборищ, в центре болезненно-любопытной культуры, которая ежегодно выбрасывает в мир сорок тысяч книг, в сотне университетов ищет новых проблем, в сотнях театров ежедневно смотрит трагедии — и в то же время ничего не чувствует, ничего не знает, ничего не подозревает об этой величайшей драме человеческого духа, которая разыгрывается в самом ее центре, в ее самом глубоком ядре.

Ибо в самые великие мгновения для трагедии Фридриха Ницше ни зрителей, ни слушателей, ни свидетелей в немецком мире нет. Вначале, пока он говорит с профессорской кафедры и сияние Вагнера бросает на него отраженный свет, его речь еще возбуждает некоторое внимание. Но чем более он углубляется в самого себя, чем глубже он проникает в эпоху, тем слабее становится отзвук на его речь. Один за другим в смятенье встают друзья и враги во время его героического монолога, испуганные возрастающим пылом его экстазов, и он остается на сцене своей судьбы в убийственном одиночестве. Беспokoйство овладевает трагическим актером, замечающим, что он говорит в пустоту; он повышает голос, он кричит, жестикулирует с удвоенной энергией — лишь бы возбудить отклик или хотя бы крик возмущения. Он присоединяет к своей речи музыку, манящую, пьянящую, дионисийскую музыку — но никто уже не слушает его. Он превращает свою трагедию в арлекинаду, смеется язвительным, насильственным смехом, принуждает свои фразы куврякаться и совершать акробатические *salto mortale* — чтобы вымученной гримасой привлечь слушателей к ужасному смыслу представления, — но никто не аплодирует ему. И вот он придумывает танец, танец среди

мечей; израненный, истерзанный, обливаясь кровью, он показывает миру свое новое, смертоносное искусство — но никто не понимает значения этих рыдающих шуток, никто не подозревает смертельной страсти в этой наигранной легкости. Без слушателей, без отклика доигрывает он перед пустыми стульями самую потрясающую драму человеческого духа, какая была показана нашему веку упадка. Никто не обратил к нему равнодушного взгляда, когда в последний раз бурно вознесся, словно на стальном острие, великолепный вихрь его мысли — вознесся и упал на землю в последнем экстазе: «перед лицом бессмертья бездыханный».

В этом пребывании наедине с собой, в этом пребывании наедине против самого себя — самый глубокий смысл, самая священная мука жизненной трагедии Фридриха Ницше: никогда не противостояла такому неимоверному избытку духа, такой неслыханной оргии чувств такая неимоверная пустота мира, такое металлически-непроницаемое безмолвие. Даже сколько-нибудь значительных противников — и этой милости не послала ему судьба, и напряженная воля к мышлению, «замкнутая в самой себе, вскапывая самое себя», из собственной груди, из глубины собственного трагизма извлекает ответ и сопротивление. Не из внешнего мира, а из собственных кровью сочащихся ран добывает судьбой одержимый жгучее пламя и, подобно Гераклу, рвет на себе Нессову одежду, чтобы нагим стоять перед последней правдой, перед самим собой. Но какой холод вокруг этой наготы, каким безмолвием окутан этот ужасный вопль духа, какие молнии и тучи над головой «богоубийцы», которого не ищут противники, который не находит противников и поражает самого себя, «себя познающий, себя казнящий без сострадания». Гонимый своим демоном за пределы времени и мира, за крайние пределы своего существа,

В жару неведомых доселе лихорадок,
Колющей дрожью объятый от льдистых игл мороза,
Тобой гоним, о Мысль!
Безвестная! Сокрытая! Ужасная!

содрогаясь, в страхе оглядывается он назад, замечая, как далеко за пределы всего живущего и когда-либо жившего бросила его жизнь. Но такой сверхмощный разбег уж не остановить; и в полном сознании и в то же время в предельном экстазе самоопьянения он подчиняется своей судьбе, которую уже изваял его любимый Гёльдерлин, — судьбе Эмпедокла.

Героический пейзаж, лишенный неба, титаническое представление, лишенное зрителей, молчание, все грознее сгущается молчание над нечеловеческим воплем духовного одиночества — вот трагедия Фридриха Ницше. Она вызвала бы только ужас, как одна из многих бессмысленных жестокостей природы, если бы он сам не сказал ей экзистенциальное «да», если бы он сам не избрал, не возлюбил эту беспримерную суровость ради ее беспримерности. Добровольно, отказавшись от спокойного существования, и намеренно он выстроил себе эту «не общую жизнь» из глубочайшего трагического влечения, и с беспримерным мужеством он бросил вызов богам — на нем «испытать высшую меру опасности, которой живет человек». «*Χαίρετε δαιμονες!*» — «Радуйтесь, демоны!» Этим надменным возгласом в одну из веселых студенческих ночей заклиняет духов Ницше со своими друзьями-филологами; и в полночный час из наполненных бокалов они плещут из окна красным вином на спящую улицу Базеля, совершая возлияние невидимым силам. Это всего лишь фантастическая шутка, таящая в себе глубокое предчувствие. Но демоны слышат заклятье и следуют за тем, кто их вызвал; так мимолетная ночная игра вырастает в трагедию судьбы. Но никогда не противится Ницше неимоверной страсти, овладевшей им с такой неотразимой силой: чем сильнее ударяет его молния, тем чище звенит в нем медный слиток воли. И на докрасна раскаленной наковальне страдания с каждым ударом все тверже и тверже выковывается формула, медной броней покрывающая его дух, «формула величия, доступного для человека, *amor fati*¹, чтобы ничего больше не было нужно — ничего впереди, ничего позади, ничего во веки веков. Не только терпеть, и уж отнюдь не скрывать, а любить неизбежность». Этот пламенный гимн судьбе мощным дифирамбом заглушает крик боли: поверженный наземь, раздавленный всеобщим молчанием, разъеденный самим собой, сожженный горечью страдания, ни разу не поднял он руку, моля о пощаде. Он просит большей, горшей боли, глубочайшего одиночества, бездонного страдания, полной меры своих сил; не для защиты, а только для мольбы подымает он руки, для величественной мольбы героя: «О, предреченное моей душе, ты, что называю Рокком! ты, что во мне! надо мной! Сохрани меня, сбереги меня для великой судьбы!»

Кто знает такую великую молитву, тот будет услышан.

¹ Любовь к судьбе (*лат.*).

ДВОЙСТВЕННЫЙ ОБЛИК

Пафос позы не служит признаком величия; тот, кто нуждается в позах, обманчив...

Будьте осторожны с живописными людьми!

Патетический облик героя. Так изображает его мраморная ложь, живописная легенда: упрямо устремленная вперед голова героя, высокий, выпуклый лоб, испещренный бороздами мрачных размышлений, ниспадающая волна волос над крепкой, мускулистой шеей. Из-под нависших бровей сверкает соколиный взор, каждый мускул энергичного лица напряжен и выражает волю, здоровье, силу. Усы Верцингеторига, низвергаясь на мужественные, суровые губы и выдающийся подбородок, вызывают в памяти образ воина варварских полчищ, и невольно к этой мощной львиной голове пририсовываешь грозно выступающую фигуру викинга с рогом, щитом и копьем. Так, возвеличенным в немецкого сверхчеловека, в античного Прометида, наследника скованной силы, любят изображать наши скульпторы и художники великого отшельника духа, чтоб сделать его доступным для маловерных, школой и сценой приученных узнавать трагизм лишь в театральном одеянии. Но истинный трагизм никогда не бывает театрален, и в действительности облик Ницше несравненно менее живописен, чем его портреты и бюсты.

Облик человека. Скромная столовая недорогого пансиона где-нибудь в Альпах или на Лигурийском побережье. Безразличные обитатели пансиона — преимущественно пожилые дамы, развлекаются *causerie*, легкой беседой. Трижды прозвонил колокол к обеду. Порог переступает неуверенная, сутулая фигура с поникшими плечами, будто полуслепой обитатель пещеры ощупью выбирается на свет. Темный, старательно почищенный костюм; лицо, затененное зарослью волнистых, темных волос; темные глаза, скрытые за толстыми, почти шарообразными стеклами очков. Тихо, даже робко, входит он в дверь; какое-то странное безмолвие окружает его. Все избличает в нем человека, привыкшего жить в тени, далекого от светской общительности, испытывающего почти неврастенический страх перед каждым громко сказанным словом, перед всяким шумом. Вежливо, с изысканно-чопорной учтивостью он отвешивает поклоны собравшимся; вежливо, с безразличной любезностью отвечают они на поклон немецкого про-

фессора. Осторожно присаживается он к столу — близорукость запрещает ему резкие движения, — осторожно пробует каждое блюдо — как бы оно не повредило больному желудку: не слишком ли крепок чай, не слишком ли пикантен соус — всякое уклонение от диеты раздражает его чувствительный кишечник, всякое излишество в еде чрезмерно возбуждает его трепещущие нервы. Ни рюмка вина, ни бокал пива, ни чашка кофе не оживляют его меню; ни сигары, ни папиросы не выкурит он после обеда; ничего возбуждающего, освежающего, развлекающего: только скудный, наспех проглоченный обед да несколько незначительных, светски-учтивых фраз, тихим голосом сказанных в беглом разговоре случайному соседу (так говорит человек, давно отвыкший говорить и боящийся нескромных вопросов).

И вот он снова в маленькой, тесной, неудобной, скудно обставленной *chambre garnie*¹, стол завален бесчисленными листками, заметками, рукописями и корректурами, но нет на нем ни цветов, ни украшений, почти нет даже книг, и лишь изредка попадаются письма. В углу тяжелый, неуклюжий сундук, вмещающий все его имущество — две смены белья и второй, поношенный костюм. А затем — лишь книги и рукописи, да на отдельном столике бесчисленные бутылочки и скляночки с микстурами и порошками: против головных болей, которые на целые часы лишают его способности мыслить, против желудочных судорог, против рвотных спазм, против вялости кишечника и, прежде всего, ужасные средства от бессонницы — хлорал и веронал. Грозный арсенал ядов и снадобий — его спасителей в этой пустынной тишине чужого дома, где единственный его отдых — в кратком, искусственно вызванном сне. Надев пальто, укутавшись в шерстяной плед (печка дымит и не греет), с окоченевшими пальцами, почти прижав двойные очки к бумаге, торопливой рукой часами пишет он слова, которые потом едва расшифровывает его слабое зрение. Так сидит он и пишет целыми часами, пока не отказываются служить воспаленные глаза: редко выпадает счастливый случай, когда явится неожиданный помощник и, вооружившись пером, на час-другой предложит ему сострадательную руку. В хорошую погоду отшельник выходит на прогулку — всегда в одиночестве, всегда наедина со своими мыслями: без поклонов, без спутников, без встреч совершает он свой путь. Пасмурная погода, которую он не выно-

¹ Меблированная комната (*франц.*).

сит, дождь и снег, от которого у него болят глаза, подвергают его жестокому заключению в четырех стенах его комнаты: никогда он не спустится вниз к людям, к обществу. И только вечером — чашка некрепкого чая с кексом, и вновь непрерывное уединение со своими мыслями. Долгие часы проводит он еще без сна при свете копящей и мигающей лампы, а напряжение докрасна накаленных нервов все не разрешается в мягкой усталости. Затем доза хлорала, порошок от бессонницы, и наконец — насильственно вызванный сон, сон обыкновенных людей, свободных от власти демона, от гнета мысли.

Иногда целыми днями он не встает с постели. Тошнота и судороги до беспамятства, сверлящая боль в висках, почти полная слепота. Но никто не войдет к нему, чтобы оказать какую-нибудь мелкую услугу, нет никого, чтобы положить компресс на пылающий лоб, никого, кто бы захотел почистить ему, побеседовать с ним, развлечь его.

И эта *chambre garnie* — всегда одна и та же. Меняются названия городов — Сорренто, Турин, Венеция, Ницца, Мариенбад, — но *chambre garnie* остается, чуждая, взятая напрокат, со скудной, нудной, холодной мебелировкой, письменным столом, постелью больного и с безграничным одиночеством. И за все эти долгие годы скитания ни минуты бодрящего отдыха в веселом дружеском кругу, и ночью ни минуты близости к нагому и теплому женскому телу, ни проблеска славы в награду за тысячи напоенных безмолвием, беспросветных ночей работы! О, насколько обширнее одиночество Ницше, чем живописная возвышенность Зильс-Мариа, где туристы в промежуток между ленчем и обедом «постигают» его сферу: его одиночество простирается через весь мир, через всю его жизнь от края до края.

Изредка гость, чужой человек, посетитель. Но слишком уже затвердела кора вокруг жаждущего общения ядра: отшельник облегченно вздыхает, оставшись наедине со своим одиночеством. Способность к общению безвозвратно утрачена за пятнадцать лет одиночества, беседа утомляет, опустошает, озлобляет того, кто утоляет жажду только самим собой и постоянно жаждет только самого себя. Иногда блеснет на краткое мгновенье луч счастья: это — музыка. Представление «Кармен» в плохоньком театре в Ницце, две-три арии, услышанные в концерте, час-другой, проведенный за роялем. Но и это счастье сопряжено с насилием: оно «трогает его до слез». Недоступное уже утрачено настолько, что проблеск его причиняет боль.

Пятнадцать лет длится это поддонное странствие из *chambre garnie* в *chambre garnie* — незнаемый, неузнанный, им одним лишь познанный, ужасный путь в стороне от больших городов, через плохо меблированные комнаты, дешевые пансионы, грязные вагоны железной дороги и постоянные болезни, в то время как на поверхности эпохи до хрипоты горланит пестрая ярмарка наук и искусств. Только скитания Достоевского почти в те же годы, в таком же убожестве, в такой же безвестности освещаются тем же туманным, холодным, призрачным светом. В течение пятнадцати лет восстает Ницше из гроба своей комнаты и вновь умирает; в течение пятнадцати лет переходит он от муки к муке, от смерти к воскресению, от воскресения к смерти, пока не взорвется под нестерпимым напором разгоряченный мозг. Распростертым на улице Турина находят чужие люди самого чуждого человека эпохи. Чуждые руки переносят его в чужую комнату на *Via Carlo Alberto*. Нет свидетелей его духовной смерти, как не было свидетелей его духовной жизни. Тьмой окружена его гибель и священным одиночеством. Никем не провожаемый, никем не узнанный, погружается светлый гений духа в свою ночь.

АПОЛОГИЯ БОЛЕЗНИ

Что не убивает меня, то меня
укрепляет.

Бесчисленны вопли истерзанного тела. Бесконечный перечень всех возможных недугов, и под ним ужасный итог: «Во все возрасты моей жизни я испытывал неимоверный излишек страдания». И действительно, нет такой дьявольской пытки, которой бы не хватало в этом убийственном пандемониуме болезней: головные боли, на целые дни приковывающие его к кушетке и постели, желудочные спазмы с кровавой рвотой, мигрени, лихорадки, отсутствие аппетита, утомляемость, припадки геморроя, запоры, ознобы, холодный пот по ночам — жестокий круговорот. К тому же еще «на три четверти слепые глаза», которые опухают и начинают слезиться при малейшем напряжении, позволяя человеку умственного труда «пользоваться светом глаз не более полутора часов в сутки». Но Ницше пренебрегает гигиеной и по десять часов работает за письменным столом. Разгоряченный мозг мстит за это излишество бешеными головными болями и нервным возбуждением: вечером,

когда тело просит уже покоя, механизм не останавливается сразу и продолжает работать, вызывая галлюцинации, пока порошок от бессонницы не остановит его вращение насильно. Но для этого требуются все большие дозы (в течение двух месяцев Ницше поглощает пятьдесят граммов хлоралгидрата, чтобы купить эту горсточку сна), а желудок отказывается платить столь дорогую цену и подымает бунт. И вновь — *circulus vitiosus*¹ — спазматическая рвота, новые головные боли, требующие новых средств, неумолимое, неутомимое состязание возбужденных органов, в жестокой игре друг другу перебрасывающих мяч страданий. Ни минуты отдыха в этом *perpetuum mobile*², ни одного гладкого месяца, ни одного краткого периода спокойствия и самозабвения; за двадцать лет нельзя насчитать и десятка писем, в которых не прорывался бы стон. И все ужаснее, все безумнее становятся вопли мученика до предела чувствительной, до предела напряженной и уже воспаленной нервной системы. «Облегчи себе эту муку: умри!» — восклицает он или пишет: «Пистолет служит для меня источником относительно приятных мыслей» или: «Ужасные и почти непрестанные мучения заставляют меня с жадностью ждать конца, и по некоторым признакам разрешающий удар уже близок». Он уже не находит превосходных степеней выражения для своих страданий, уже они звучат почти монотонно в своей пронзительности и непрерывности, эти ужасные, почти нечеловеческие вопли, несущиеся из «собачьей конуры его существования». И вдруг вспыхивает в «*Esse homo*»³ — чудовищным противоречием — мощное, гордое, каменное признание, будто улика во лжи: «*In summa summarum*»⁴ (в течение последних пятнадцати лет) я был здоров».

Чему же верить? Тысячекратным воплям или монументальному слову? И тому и другому! Организм Ницше был по природе крепок и устойчив, его ствол прочен и мог выдержать огромную нагрузку: его корни глубоко уходят в здоровую почву немецкого пасторского рода. В общем итоге, «*in summa summarum*», как совокупность задатков, как организм в своей психофизиологической основе. Ницше действительно был здоров. Только нервы слишком нежны

¹ Порочный круг (лат.).

² Вечное движение (лат.).

³ «Се человек» (лат.) — заглавие последнего сочинения Ницше. — Прим. переводчика.

⁴ В общем итоге (лат.).

для его бурной впечатлительности и потому всегда в состоянии возмущения (которое, однако, не в силах поколебать железную мощь его духа). Ницше сам нашел удачный образ для выражения этого опасного и в то же время неприступного состояния: он сравнивает свои страдания со «стрельбой из орудий мелкого калибра».

И действительно, ни разу в этой войне дело не доходит до вторжения за внутренний вал его крепости: он живет как Гулливер — в постоянной осаде среди пигмеев. Его нервы неустанно бьют в набат на дозорной башне внимания, всегда он в состоянии изнурительной, мучительной самозащиты. Но ни одна болезнь (кроме той, может быть, единственной, которая в течение двадцати лет роет минный подкоп к цитадели его духа, чтобы внезапно взорвать ее) не достигает победы: монументальный дух Ницше недоступен для «орудий мелкого калибра», только взрыв способен сокрушить гранит его мозга. Так неизмеримому страданию соответствует неизмеримая сопротивляемость, исключительной стремительности чувства — исключительная чуткость нервнодвигательной системы. Ибо каждый нерв желудка, как и сердца, как и высших чувств, является в его организме точнейшим, филигранно выверенным манометром, который болезненным возбуждением, как бы резким отклонением стрелки, отмечает самые незначительные изменения в напряжении. Ничто у него не остается скрытым от тела (как и от духа). Малейшая лихорадка, немая для всякого другого, судорожным сигналом подает ему весть, и эта «бешеная чувствительность» раздробляет ему природную жизнеспособность на тысячи колющих, режущих, пронзающих осколков. Отсюда эти ужасные вопли — всякий раз, как малейшее движение, неподготовленный жизненный шаг вызывает прикосновение к этим обнаженным, судорожно напряженным нервам.

Эта ужасающая, демоническая сверхчувствительность его нервов, на весах которой всякий едва вибрирующий нюанс, для других дремлющий глубоко под порогом сознания, превращается в отчетливую боль, является корнем всех его страданий и в то же время ядром его гениальной способности к оценке. Ему не нужно что-либо вещественное, реальный аффект, для того чтобы в его крови возникла судорожная реакция: уже самый воздух с его суточными изменениями метеорологического характера служит для него источником бесконечных мучений. Едва ли найдется еще один человек, живущий духовными интересами, который был бы так чувствителен к метеорологическим явлени-

ям, так убийственно чуток ко всякому атмосферному напряжению и колебанию, был бы в такой мере манометром и ртутью, обладал бы такой раздражимостью: словно тайные электрические контакты соединяли его пульс с атмосферным давлением, его нервы с влажностью воздуха. Его нервы отмечают болью каждый метр высоты, всякое изменение давления и мятежным ритмом отвечают на всякий мятеж в природе. Дождь, облачное небо понижает его жизнеспособность («затянутое небо глубоко угнетает меня»), грозовые тучи он ощущает всем существом, вплоть до кишечника, дождь его «депотенцирует», сырость изнуряет, сухость оживляет, солнце освобождает, зима для него — столбняк и смерть. Никогда барометрическая игла его апрельски непостоянных нервов не остается неподвижной: разве лишь изредка при безоблачном пейзаже безветренной возвышенности Энгадина. Но не только внешнее небо отражает в нем давление и облачность: его чуткие органы отмечают также всякое давление, всякое возмущение на внутреннем небе, на небе духа. Ибо всякий раз, как сверкнет мысль в его мозгу, она будто молния пронизывает туго натянутые нити его нервов: акт мышления протекает у Ницше до такой степени экстаично и бурно, до такой степени электрически-судорожно, что всякий раз он действует на организм как гроза, и «при всяком взрыве чувства достаточно мгновения в точном смысле этого слова, для того чтобы изменить кровообращение». Тело и дух у этого самого витального из мыслителей связаны до того напряженно, что внешние и внутренние воздействия он воспринимает одинаковым образом: «Я не дух и не тело, а что-то третье. Я страдаю всем существом и от всего существующего».

И эта врожденная склонность к дифференцированию раздражений, к бурной реакции на всякое впечатление получает преувеличенное, насильственное развитие в неподвижной, замкнутой атмосфере, созданной десятилетиями отшельнической жизни. Так как в течение трехсот шестидесяти пяти дней, составляющих год, он не встречает никакой телесности, кроме собственного тела — у него нет ни жены, ни друга, — и так как в течение двадцати четырех часов, составляющих сутки, он не слышит ничего голоса, кроме голоса своей крови, — он как бы ведет непрерывный диалог со своими нервами. Постоянно он держит в руках компас своего самочувствия и, как всякий отшельник, затворник, холостяк, чудак, ипохондрик, следит за малейшими функ-

циональными изменениями своего тела. Другие забывают себя: их внимание отвлечено работой и беседой, игрой и утомлением; другие одурманиваются апатией и вином. Но такой человек, как Ницше, гениальный диагност, постоянно подвергается искушению в своем страдании найти пищу для своей психологической любознательности, сделать себя самого «объектом эксперимента, лабораторным кроликом». Непрерывно, острым пинцетом — врач и больной в одном лице — он обнажает свои нервы и, как всякий нервный человек и фантазер, повышает их и без того чрезмерную чувствительность. Не доверяя врачам, он сам становится собственным врачом и непрерывно «уврачевывает» себя всю свою жизнь. Он испытывает все средства и курсы лечения, какие только можно придумать, — электрические массажи, самые разнообразные диеты, воды, ванны: то он заглушает возбуждение бромом, то вызывает его всякими микстурами. Его метеорологическая чувствительность постоянно гонит его на поиски подходящих атмосферных условий, особенно благоприятной местности, «климата его души». В Лугано он ищет целебного воздуха и безветрия; оттуда он едет в Сорренто; потом ему кажется, что ванны Рагаца помогут ему избыть боль от самого себя, что благотворный климат Санкт-Морица, источники Баден-Бадена или Мариенбада принесут ему облегчение. В одну из весен особенно близким его природе оказывается Энгадин — благодаря «крепкому, озонированному воздуху», затем эта роль переходит к южным городам — Ницце с ее «сухим» воздухом, затем к Венеции и Генуе. То леса привлекают его, то моря, то стремится он к озерам, то ищет маленький уютный городок «с доброкачественным, легким столом». Одному Богу известно, сколько тысяч километров изъездил вечный странник в поисках этого сказочного места, где прекратилось бы горение и дерганье его нервов, вечное бодрствование всех его органов. Постепенно дистиллируется его опыт в своего рода географию здоровья; толстые томы геологических сочинений штудировал он, чтобы найти эту местность, которую он ищет как перстень Аладдина, чтобы обрести наконец власть над своим телом и мир своей душе. Нет расстояний, которые бы его пугали: Барселона входит в его планы наряду с Мексиканским плоскогорьем, Аргентиной и даже Японией. География, диететика климата и питания постепенно становится как бы его второй специальностью. В каждой местности он отмечает температуру, атмосферное давление, гидроскопом и гидростатом измеряет в миллиметрах количество осадков и влажность воз-

духа — до такой степени превратился его организм в ртутный столб, до такой степени уподобился реторте. Та же преувеличенность и в отношении диеты. И тут целый перечень предосторожностей, целый свод медицинских предписаний: чай должен быть определенной марки и определенной крепости, чтобы не причинить ему вреда; мясная пища для него опасна, овощи должны быть приготовлены определенным образом. Постепенно это непрерывное самоисследование и самоврачевание приобретает отпечаток болезненного солипсизма, до предела напряженной сосредоточенности на самом себе. И самое болезненное в болезнях Ницше — это постоянная вивисекция: психолог всегда страдает вдвойне, дважды переживает свое страдание — один раз в реальности и другой — в самонаблюдении.

Но Ницше — гений мощных поворотов; в противоположность Гёте, который обладал гениальным даром избегать опасностей, Ницше отважно встречает опасность лицом к лицу и не боится схватить быка за рога. Психология, духовное начало — я пытался это показать — приводит его беззащитную чувствительность в глубины страдания, в бездну отчаянья; но та же психология, тот же дух восстанавливает его здоровье... И болезни, и выздоровления Ницше происходят из гениального самопознания. Психология, над которой ему дана магическая власть, становится терапией — образец беспримерной «алхимии, создающей ценности из неблагородного металла». После десяти лет непрерывных мучений он достиг «низшей точки жизнеспособности»; казалось, что он уже вконец растерзан, разъеден своими нервами, жертва отчаяния и депрессии, пессимистического самоотречения. И тогда в духовном развитии Ницше внезапно наступает столь характерное для него молниеносное, поистине вдохновенное «преодоление», одно из тех мгновений самопознания и самоспасения, которые сообщают истории его духа такую величественную, потрясающую драматичность. Резким движением привлекает он к себе болезнь, которая подрывает почву у него под ногами, и прижимает ее к сердцу; таинственный, неопределимый во времени миг, одно из тех молниеносных вдохновений, когда Ницше на путях своего творчества «открывает» для себя свою болезнь, когда, изумленный тем, что он все еще, все еще жив, тем, что в самых жестоких депрессиях, в самые болезненные периоды жизни не иссякает, а возрастает его творческая мощь, он с глубоким убеждением провозглашает, что эти страдания неотъемлемо принадлежат к «сущности», священной, безгранично ценной сущности его суще-

ства. И с этой минуты его дух отказывает телу в сострадании, отказывается от сострадания с телом, и впервые открывается ему новая перспектива жизни, углубленный смысл болезни. Простирая руки, мудро принимает он ее, как необходимость, в свою судьбу и, фанатический «заступник жизни», любя все, что дает ему существование, и страданию своему он говорит гимническое «да!» Заратустры, ликующее «Еще! еще! — и навеки!». Голое признание становится знанием, знание — благодарностью. Ибо в этом высшем созерцании, которое возносит взор над собственной болью и мерит жизнь лишь как путь к самому себе, открывает он (с обычной беспредельностью восторга перед магией предела), что ни одна земная сила не дала ему больше, чем болезнь, что самому жестокому своему палачу он обязан высшим своим достоянием: свободой. Свободой внешнего существования, свободой духа. Ибо всякий раз, как был он готов успокоиться в косности, плоскости, плотности, преждевременно оцепенеть в профессии, службе, в духовном шаблоне, — всякий раз она своим жалом мощно толкала его вперед. Благодаря болезни он был избавлен от военной службы и посвятил себя науке; благодаря болезни он не увяз навсегда в науке и филологии; болезнь бросила его из базельского университетского круга в «пансион», в жизнь, и вернула его самому себе. Болезни обязан он «освобождением от книги», «величайшим благодеянием, которое я оказал себе». От всякой коры, которой он мог обрасти, от всяких цепей, которые могли сковать его, спасала его (мучительно и благодатно) болезнь. «Болезнь как бы освобождает меня от самого себя», — признается он; болезнь была для него акушером, облегчавшим рождение внутреннего человека, сестрой милосердия и мучительницей в одно и то же время. Ей он обязан тем, что жизнь стала для него не привычкой — обновлением, открытием: «Я будто заново открыл жизнь, включая и самого себя».

Ибо — так воспевает страдалец свое страданье в величественном гимне священной боли — только страданье дает мудрость. Просто унаследованное, непоколебимое медвежье здоровье тупо и замыкается в своей ограниченности. Оно ничего не желает, ни о чем не спрашивает, и поэтому у здоровых людей нет психологии. Всякая мудрость проистекает от страдания — «Боль постоянно спрашивает о причинах, а наслаждение склонно стоять на месте, не оглядываясь назад». «Боль утончает» человека; страданье, вечно скребущее, грызущее страданье, вскапывает почву души, и болезненность этой внутренней пахоты взрыхляет душу для

нового духовного урожая. «Только великая боль приводит дух к последней свободе; только она позволяет нам достигнуть последних глубин нашего существа», — и тот, для кого она была почти смертельна, с гордостью может сказать о себе: «Я знаю о жизни больше потому, что так часто бывал на границе смерти».

Итак, не искусственно, не путем отрицания, не сокрытием, идеализацией своего недуга преодолевает Ницше всякое страдание, а изначальной силой своей природы — познаванием: верховный созидатель ценностей открывает ценность в своей болезни. В противоположность мученику за веру, он не обладает заранее верой, за которую терпит мученье: веру создает он себе в муках и пытках. Но его мудрая химия открывает не только ценность болезни, но и противоположный ее полюс: ценность здоровья; лишь совокупность обеих ценностей создает полноту жизненного чувства, вечное состояние напряженного экстаза и муки, которое бросает человека в беспредельность. То и другое необходимо — болезнь как средство, здоровье как цель, болезнь как путь, здоровье как его завершение. Ибо страдание в смысле Ницше — только один, только темный берег болезни, другой сияет несказанным светом: это — выздоровление, и только отпавляясь от берега страдания, можно его достигнуть. Но выздоровление, здоровье означает больше, чем достижение нормального жизненного состояния, не просто превращенье, а нечто бесконечно большее: это восхождение, возвышение и утончение: из болезни выходит человек «с повышенной чувствительностью кожи, с утонченным осязанием, обостренным для радостей вкусом, с более нежным языком для хороших вещей, с более веселыми чувствами и с новой, более опасной неискушенностью в наслаждении», детски простодушным и в то же время в тысячу раз более утонченным, чем когда бы то ни было. И это второе здоровье, стоящее позади болезни, не слепо воспринятое, а страстно выстраданное, насильно вырванное, сотнями вздохов и криков купленное, это «завоеванное, вымученное» здоровье в тысячу раз жизненнее, чем тупое самодовольство всегда здорового человека. И тот, кто однажды изведal трепетную сладость, колючий хмель такого выздоровления, сгорает жадой пережить его вновь; он вновь и вновь бросается в огненный поток горящей серы, пылающих мук, чтобы вновь достигнуть «чарующего чувства здоровья»; золотистого опьянения, которое для Ницше в тысячу раз слаще, чем обычные возбуждающие средства — никотин и алкоголь. Но едва открыл Ницше смысл своего

страдания и великое сладострастие выздоровления, как он немедленно превращает его в проповедь, возводит в смысл мира. Как всякая демоническая натура, он отдает себя во власть экстаза, и мелькающая смена страдания и наслаждения уже не насыщает его: он хочет еще горшей муки, чтобы вознестись еще выше — в последнее, всеблагое, все-светлое, всемогущее выздоровление. И в этом сияющем, томящем опьянении он постепенно привыкает свою безграничную волю к здоровью принимать за самое здоровье, свою лихорадку — за жизнеспособность, свой восторг гибели — за достигнутую мощь. Здоровье! Здоровье! — будто знамя развеивается опьяненное самим собою слово; в нем смысл мира, цель жизни, мера всех вещей, только в нем мерило всех ценностей; и тот, кто десятилетиями блуждал во тьме, переходя от муки к муке, ныне переступает свой предел в этом гимне жизнеспособности, грубой, самовлюбленной силе. В неимоверно жгучих красках разворачивает он знамя воли к власти, воли к жизни, к суровости, к жестокости и в экстазе ведет за ним грядущее человечество — не подозревая, что та самая сила, которая воодушевляет его и побуждает так высоко держать это знамя, уже напрягает лук, чтобы сразить его смертельной стрелой.

Ибо последнее здоровье Ницше, которое в своей избыточности воспекает себя в дифирамбе, есть лишь самовнушение, «изобретенное здоровье». И в ту минуту, когда он, ликуя, воздает руки к небу в упоении своей силой, когда он пишет в «Ессе homo» о своем великом здоровье и клятвенно заверяет, что никогда он не переживал состояний болезни, состояний упадка, — уже сверкают молнии в его крови. То, что воздает хвалу, то, что торжествует в нем, — это уже не жизнь, а смерть, уже не мудрый дух, а демон, овладевающий своей жертвой. То, что он принимает за сияние, за самое яркое пламя своей силы, в действительности таит в себе смертельный взрыв его болезни, и блаженное чувство, которое охватывает его в последние часы, клинический взор современного врача безошибочно определит как эйфорию, типичное ощущение здоровья, предшествующее катастрофе. Уже трепещет навстречу ему, наполняя его последние часы, серебристое сияние потустороннего мира, ореол, венчающий демонических поэтов, — но он, упоенный, об этом не знает. Он только чувствует себя преисполненным блеска земной благодати: огненные мысли пылают ему, язык с первобытной силой струится из всех пор его речи, музыка наводняет его душу. Куда бы ни обратился он взор, всюду сияет ему мир: люди на улице улыбаются

ему, каждое письмо несет божественную весть, и, цепenea от счастья, обращается он в последнем письме к другу, Петеру Гасту: «Спой мне новую песнь: мир просветлен, и небеса объаты радостью». И вот из этого просветленного неба поражает его огненный луч, сплавляя блаженство и боль в одном нераздельном мгновенье. Оба полюса чувств одновременно пронзают его бурно вздымающуюся грудь, и гремит кровь в его разрывающихся висках, сливая смерть и жизнь в единую апокалипсическую песнь.

ДОН ЖУАН ПОЗНАНИЯ

Не в вечной жизни суть, а в вечной
жизненности.

Иммануил Кант живет с познанием как с законной женой, с которой он сожительствует в течение сорока лет, на одном и том же духовном ложе зачинает и приживает целое поколение немецких философских систем, до сих пор доживающих свой век в нашем мире. Его отношение к истине можно определить как строгую моногамию, и этот принцип унаследовали все его духовные сыновья — Шеллинг, Фихте, Гегель и Шопенгауэр. Их влечение к философии лишено и намек на демонизм: это воля к высшему порядку, к системе, честная немецкая воля к дисциплине духа, к архитектурной упорядоченности бытия. Они любят истину простой, спокойной, неизменно постоянной любовью: в этой любви нет и следа эротики, жажды поглотить и быть поглощенным; истина для них — супруга и прочно обеспеченное достояние, принадлежащее им до гробовой доски, и ни разу они не нарушили супружеской верности. Поэтому их отношение к истине — отношение домохозяина и домоседа, и каждый из них поместил свое брачное ложе в уютный «собственный дом» — в свою прочную систему. И каждый из них плугом и бороной прилежно возделывает свой участок, новину духа, вырубленную им на благо человечества в первобытной чаще хаоса. Осторожно расширяют они границы своего познания в глубь эпохи и культуры, потом и кровью умножая духовный урожай.

У Ницше страсть к познанию — продукт совсем другого темперамента, противоположного полюса чувств. Его отношение к истине исполнено демонизма, трепетная, напеченная горячим дыханием, гонимая нервами, любознательная жажда, которая ничем не удовлетворяется, никогда не

иссякает, нигде не останавливается, ни на каком результате, и, получив ответ, нетерпеливо и безудержно стремится вперед, вновь и вновь вопрошая. Никакое познание не может привлечь его надолго, нет истины, которой он принес бы клятву верности, с которой бы он обручился как со «своей системой», со «своим учением». Все истины чаруют его, но ни одна не в силах его удержать. Как только проблема утратила девственность, прелесть и тайну преодолеваемой стыдливости, он покидает ее без сострадания, без ревности к тем, кто придет после него, — так же, как покидал своих *mille e tre*¹ Дон Жуан, его брат по духу. Подобно тому как великий соблазнитель среди множества женщин настойчиво ищет единую, так Ницше среди всех своих познаваний ищет единое познание, вечно не осуществленное и до конца неосуществимое; до боли, до отчаяния чарует его не овладение, не обладание и нахождение, а преследование, искание, овладение. Не к достоверности, а к неуверенности стремится его любовь, демоническая радость соблазна, обнажения и сладострастного проникновения и насилования каждого предмета познания — познание в духе Библии, где мужчина «познаёт» женщину и тем самым совлекает с нее покров тайны. Он знает, вечный релятивист, переоценщик ценностей, что ни один из этих актов познания, ни одна из этих попыток алчного духа не дает «познания до конца», что истина в конечном смысле не допускает обладания: «тот, кто мнит: я обладаю истиной, — сколь многого он не замечает!» Поэтому Ницше никогда не чувствует себя хозяином, никогда не стремится к накоплению и сохранению и не строит себе духовного дома: он предпочитает — к этому влечет его инстинкт кочевника — навсегда отказаться от всякого имущества, — Немврод, в охотничьих доспехах одиноко блуждающий по чащам духа, лишенный крова, семьи, очага, пожертвовавший всем ради радости, счастья охоты; как Дон Жуан, он ценит не прочность чувства, а «великое мгновение восторга»; его влекут лишь приключения духа, опасные «может быть», которые волнуют и манят охотника, пока они далеки, но не насыщают настигшего; ему нужна не добыча, а только (так рисует он сам образ Дона Жуана познания) «дух, щекочущее наслаждение охоты, интриги познания — вплоть до самых высоких, самых далеких звезд познания», — так, чтобы не оставалось другой добычи, кроме абсолютной боли позна-

¹Тысячу три (*исп.*) — число соблазненных Доном Жуаном женщин. — Прим. переводчика.

ния, как у пьяницы, который пьет абсент и кончает азотной кислотой.

Ибо Дон Жуан в представлении Ницше — отнюдь не эпикуреец, не сладострастный развратник: тонким нервам этого аристократа чуждо тупое удовольствие пищеварения, косная неподвижность сытости, рисовка и похвальба, чужда самая возможность пресыщения. Охотник на женщин, как и Немрод духа, сам жертва охоты — своей жгучей любознательности, искуситель — сам жертва искушения — искушать каждую женщину в ее непознанной невинности; так и Ницше ищет только ради искания, ради неутолимой психологической жажды вопрошать. Для Дон Жуана тайна во всех и ни в одной — в каждой на одну ночь и ни в одной навсегда; так и для психолога истина во всех проблемах на мгновение и ни в одной навсегда.

Потому так безостановочен духовный путь Ницше, лишенный гладких, зеркальных поверхностей: он всегда стремителен, извилист, полон внезапных излучин, распутий и порогов. Жизнь других немецких философов протекает в эпическом спокойствии, их философия — это как бы уютно-ремесленное плетение однажды распутанной нити, они будто философствуют сидя, не напрягая свои члены, и в их мыслительном акте почти неощутимо повышенное кровяное давление, лихорадка судьбы. Никогда не вызовет Кант потрясающего образа мыслителя, схваченного вампиром мысли, образа духа, страждущего от сурового принуждения к творчеству и созиданию; и жизнь Шопенгауэра после тридцатилетнего возраста, после того как был создан «Мир как воля и представление», рисуется мне как уютная жизнь отставного философа на пенсии со всеми мелкими заботами топтания на месте. Все они твердым, уверенным шагом идут по свободно выбранному пути, а Ницше всегда стремится в неизвестность, будто преследуемый какой-то враждебной силой. Потому история познаний Ницше (как и приключения Дон Жуана) насквозь драматична, непрерывная цепь опасных, внезапных эпизодов, трагедия, без антрактов развертывающая перипетии непрерывно, в грозных вспышках возрастающего напряжения и приводящая к неизбежной катастрофе, к падению в бездну. Именно эта безграничная тревога исканий, нескончаемое обязательство мыслить, демоническое принуждение к безостановочному полету в пространство, сообщает этому беспримерному существованию беспримерный трагизм и (благодаря полному отсутствию ремесленности, уютного покоя) непреодолимую художественную привлекательность. Над Ницше

тяготееет проклятие; он осужден непрестанно мыслить, как сказочный охотник — непрестанно охотиться; то, что было его страстью, стало его страданием, его мукой, и в его дыхании, в его стиле ощущается горячее, прыгающее, бьющееся стремление укрыться от преследования, в его душе — томление, изнеможение человека, навек лишённого отдыха и мира. Потому так потрясающе звучат его жалобы — жалобы Агасфера, вопль человека, жаждающего отдыха, наслаждения, остановки; но непрестанно пронзает жало его истерзанную душу, мощно гонит его вперед вечная неудовлетворенность. «Бывает, что мы полюбим что-нибудь, и едва укоренится в нас эта любовь, как живущий в нас тиран (которого мы готовы называть чуть ли не своим высшим «я») говорит: именно это принеси мне в жертву. И мы повинемся ему. Но это зверская жестокость и самосожжение на медленном огне». Эти воплощения Дон Жуана осуждены вечно стремиться вперед, от жгучей радости познания, от поспешных объятий женщин к пропасти, куда гонит их демон вечной неудовлетворенности (демон Гёльдерлина, Клейста и других фанатических поклонников беспредельного). И будто пронзительный крик преследуемого стрелой настигнутого зверя, звучит вопль Ницше, вопль обреченного на вечное познание: «Везде открываются мне сады Армиды, и отсюда — все новые отпадения и новые горечи сердца. Я должен передвигать ноги, усталые, израненные ноги, и так как я должен, то красота, которая не сумела меня удержать, нередко вызывает во мне самые гневные воспоминания — именно потому, что она не сумела меня удержать!»

Такие глубинные вопли, стихийные стоны из последней глубины страдания не раздавались в той сфере, которую до Ницше называли немецкой философией: может быть, только у средневековых мистиков, у еретиков и подвижников готики изредка звучит (может быть, глуше и за стиснутыми зубами) подобное пламя тоски сквозь темные обороты речи. Паскаль — тоже из тех, чья душа пылает в огне чистилища, и он знает эту подорванность, растерзанность ищущей души, но ни у Лейбница, ни у Канта, Гегеля, Шопенгауэра не услышим мы этого стога потрясенной стихии. Насквозь закономерны эти фигуры ученых; смело, решительно распространяет свое воздействие их напряжение, но никто из них не отдается столь нераздельно — сердцем и всеми внутренностями, нервами и плотью, всей своей судьбой — героической игре с познанием. Они горят как свечи — только сверху, только духом. Судьба мирской,

частной и поэтому самой интимной части их существа всегда остается прочно обеспеченной, тогда как Ницше ставит на карту все свое достояние, не «только шупальцами холодной, любознательной мысли», но всей радостью и мукой крови, всей тяжестью своей судьбы познает опасность. Его мысли приходят не только сверху, из мозга: они рождены лихорадочной возбужденной, затравленной крови, мучительным трепетом нервов, ненасытностью чувств, всей целокупностью жизненного чувства; потому его познания, как и у Паскаля, трагически сгущаются в «страстную историю души», превращаются в восходящую лестницу опасных, почти смертельных приключений, в драму жизни, которую сопереживает потрясенный зритель (тогда как биографии других философов ни на дюйм не расширяют духовного кругозора). И все же, в горчайших муках, он не согласится променять свою «гибельную жизнь» на их спокойное существование: *aequitas anima*¹, обеспеченный душевный отдых, укрепленный вал против натиска чувств — все это ненавистно Ницше как умаление жизненной энергии. Для его трагической, героической природы игра с познанием — нечто безмерно большее, чем «жалкая борьба за существование», за утверждение уверенности, чем создание бруствера против жизни. Только не уверенность, не удовлетворенность, не самодовольство! «Как можно пребывать среди чудесной зыбкости и многозначности бытия и не вопрошать, не трепетать от вожделения и наслаждения вопроса?» С высокомерным презрением отталкивает он домоседов и всех, кто удовлетворяется малым. Пусть они коченеют в своей уверенности, пусть замыкаются в раковины своих систем: его привлекает лишь гибельный поток, приключение, соблазнительная многозначность, зыбкость искушения, вечное очарование и вечная разочарованность. Пусть они сидят в теплом доме своей системы, как в лавочке, честным трудом и расчетливостью умножая свое достояние, накапливая богатство: его привлекает только игра, только последняя ставка, только жизнь, поставленная на карту. Ибо даже собственная жизнь не пленяет авантюриста как достояние; даже и здесь он требует героического изытка: «Не в вечной жизни суть, а в вечной жизненности».

С Ницше впервые появляется на морях немецкого познания черный флаг разбойничьего брига: человек иного племени, иного происхождения, новый род героизма, философия, низведенная с кафедры, в вооружении и в военных

¹ Душевное равновесие (*лат.*).

доспехах. И до него другие, тоже смелые, могучие мореплаватели духа, открывали континенты и земли, и всегда с цивилизаторской, с утилитарной целью — завоевать их для человечества, распространить мировую карту на terra incognita¹ мысли. На завоеванных землях они водружают знамя бога или духа, строят города и храмы, прокладывают дороги в новую неизвестность; за ними приходят наместники и правители — возделывать новую почву, комментаторы и профессора. Но пределом их стремлений служит всегда покой, мир и безопасность: они хотят умножить достояние человечества, установить нормы и законы, высший порядок. Напротив, Ницше вторгается в немецкую философию, как флибустьеры шестнадцатого века в Испанию, орда необузданных, неустрашимых, своевольных варваров, без рода и племени, без вождя, без короля, без знамени, без дома и родины. Подобно им, он завоевывает не для себя, не для грядущих поколений, не во имя Бога, короля, веры, а единственно ради радости завоевания — он не хочет владеть, приобретать, достигать. Он не заключает договоров, не строит себе дома, он презирает правила философской войны и не ищет последователей; он, разрушитель всякого «бурого покоя», жаждет только одного: разорять, разрушать всякую собственность, громить обеспеченный, самодовольный покой, огнем и мечом будить настороженность, которая ему так же дорога, как тусклый, «бурый» сон мирным людям. Неустрашимо совершает он свои набеги, врывается в крепости морали, проникает сквозь частоколы религии, никому и ничему не дает он пощады, никакие запреты церкви и государства не останавливают его. За собой оставляет он, подобно флибустьерам, разрушенные церкви, развенчанные тысячелетние святилища, опрокинутые алтари, поруганные чувства, разбитые убеждения, сломанные загородки нравственности, горизонт, объятый пламенем пожаров, невероятный маяк отваги и силы. Но он не оборачивается назад — ни для того, чтобы обозреть свою добычу, ни для того, чтоб владеть ею; незнаемое, еще никем не завоеванное непознанное — вот его безграничная область, разряд силы, «борьба с сонливостью» — его единственная радость. Не принадлежа ни к какой вере, не присягая никакому государству, с черным флагом аморализма на опрокинутой мачте, отдав все помыслы священной неизвестности, вечной неопределенности, с которой он кровно связан демоническим родством, непре-

¹ Неведомая земля (лат.).

станно готовит он новые набеги. С мечом в руке, с пороховой бочкой в трюме, отчаливает он от берега и, в одиночестве, среди гибельных опасностей, поет во славу себе величественную песнь пирата, песнь пламени, песнь своей судьбы:

Да, я знаю, знаю, кто я:
Я, как пламя, чужд покоя,
Жгу, сгорая и спеша.
Охвачу — сверканье чуда,
Отпущу — и пепла гряда.
Пламя — вот моя душа.

Перевод В. А. Зоргенфрея

СТРАСТЬ К ПРАВДИВОСТИ

Единая заповедь да будет тебе:
Останься чист.

«*Passio nuova*¹, или Страсть к справедливости» — гласит заглавие одной из задуманных в юности книг Ницше. Он так и не написал ее, но — и это нечто большее — он воплотил ее в жизнь. Ибо страстная правдивость, фанатическая, иступленная, возведенная в страданье правдивость — вот творческая, эмбриональная клетка роста и превращений Фридриха Ницше: здесь кроется, крепко вцепившись в мясо, мозг и нервы, тайная стальная пружина, непрестанно напрягающая его потребность мыслить, словно спущенный курок, смертельной силой пули стремящая его ко всем проблемам жизни. Правдивость, справедливость, честность — несколько неожиданным кажется, что основным жизненным импульсом «аморалиста» Ницше служит столь обыденный идеал — то, что мирные обыватели, лавочники, торгаши и адвокаты гордо называют своей добродетелью, — честность, правдивость до гробовой доски, истовая, истинная добродетель нищих духом, самое посредственное и условное чувство. Но в чувствах интенсивность — это все, содержание безразлично; и демоническим натурам дано самые, казалось бы, огражденные, укрощенные понятия возвращать творческому хаосу, сообщая им безграничное напряжение. Самые безразличные, самые стертые условности зажигаются для них разноцветными огнями экстаза и восторга: все, к чему прикоснется демон, становится вновь причастно хаосу и его неукротимой силе. Потому и правди-

¹ Новая страсть (*итал.*).

вость Ницше не имеет ничего общего с выветрившейся в корректность справедливостью людей порядка: его любовь к правде — это пламя, демон правды, демон ясности, дикий, алчный, ненасытный хищный зверь с обостренным чутьем и с неутолимимым охотничьим инстинктом. Правдивость Ницше ни одним атомом не соприкасается ни с укрощенным, прирученным, вполне домашним, торгашеским инстинктом осторожности, ни с неуклюжей, воловьей правдивостью Михаэля Кольхааса, свойственной мыслителям в шорах (вроде Лютера), которые, ничего не видя по сторонам, в бешенстве набрасываются на одну-единственную, на свою правду. Как бы ни были порывисты и необузданны вспышки этой страсти у Ницше, все же она слишком нервна и слишком заботливо вскормлена, для того чтобы ограничивать себя: никогда она не сковывает свой бег раз навсегда определенным направлением, никогда не связывает себя одной определенной проблемой: сверкающим пламенем устремляется она от проблемы к проблеме, каждую поглощая и пронизывая светом и ни одной не насыщаясь. Великолепен этот дуализм: никогда не иссякает у Ницше страсть, никогда не убывает его правдивость. Быть может, никогда не обнаруживал психологический гений такого постоянства, такой силы характера.

Поэтому Ницше более, чем кому-либо, дана в удел ясность мышления: для кого психология — страсть, тот все свое существо ощущает с таким сладострастием, которое устремляется только к совершенству. Честность, правдивость, эти, как я уже сказал, обывательские добродетели, которые обычно ощущаются вещественно, как необходимый фермент духовной жизни, у Ницше звучат как музыка. Изумительные переплетения, контрапунктические нагнетания в его стремлении к правде — это как бы мастерская fuga интеллекта, в бурных нарастаниях из мужественного *andante* переходящая в великолепное *maestoso*, непрестанно обновляющаяся в дивной полифонии. Ясность превращается здесь в магию. Этот полуслепой, ошупью передвигающийся человек, подобно сове проводящий свою жизнь в темноте *in psychologies*¹, обладал соколиным зрением, которое в один миг взором хищной птицы уверенно схватывает на бесконечном небосклоне своего мышления самые неуловимые признаки, самые тонкие, самые незаметные нюансы. Ничто не укроется от его познания, ничто не обманет его беспримерную пронизательность: словно рент-

¹ В области психологии (*лат.*).

геновским лучом пронизывает его взор одежду и кожу, шкуру и мясо и проникает в глубь всякой проблемы. И, как нервы его отмечают всякое изменение в атмосферном давлении, так его вскормленный нервами интеллект безошибочно реагирует на каждый нюанс в духовном мире. Психология Ницше проистекает не из алмазной твердости и ясности его рассудка: она составляет интегральную часть изощренной оценочной способности, свойственной его организму; он пробует на вкус, вынюхивает и буквально физически чувствует — «мой гений — в моих ноздрях» — все нечистое, несвежее в человеческом, нравственном мире. «Предельная чистота во всем» — для него не нравственная догма, а первичное, необходимое условие существования: «я погибаю в нечистых условиях». Неясность, нравственная нечистоплотность действует на него угнетающим и раздражающим образом — так же, как грозовые тучи — на его желудок; телом он реагирует прежде, чем духом: «мне свойственна совершенно сверхъестественная возбудимость инстинкта чистоты — в такой мере, что я физиологически ощущаю — обоняю — близость или тайные помыслы, внутренности всякой души». Безошибочным чутьем он улавливает запах моралина, церковного ладана, ложного искусства, патриотической фразы, всего, что одурманивает совесть: он обладает исключительно тонким обонянием, исключительной чуткостью к гнетворным, гнилоственным, нездоровым запахам, к запаху духовной нищеты; ясность, чистота, чистоплотность — такие же необходимые условия существования для его интеллекта, как чистый воздух и ясный ландшафт — я уже говорил об этом — для его тела: здесь психология действительно становится, как он сам требовал, «истолкованием тела», продолжением восприимчивости нервов в области мозга. Все остальные психологии перед его пророческой пронизательностью кажутся тупыми и топорными. Даже Стендаль, вооруженный столь же тонкими нервами, не может с ним сравниться: ему не хватает этого акцента страстности, этой стремительности натиска; он лениво записывает свои наблюдения, тогда как Ницше всей тяжестью своего существа бросается на каждое познание, будто хищная птица с безграничной высоты на мелкую тварь. Один только Достоевский обладает таким же ясновидением нервов (тоже благодаря чрезмерной напряженности, болезненной, мучительной чувствительности); но в правдивости даже Достоевский уступает Ницше. Он может быть несправедлив, пристрастен в своем познании, тогда как Ницше даже в экстазе ни на шаг не отступит от справед-

ливости. Поэтому не было, быть может, человека, который бы в такой мере был предназначен природой в психологи, духа, который бы в такой мере мог служить выверенным барометром для метеорологии души; никогда исследование ценностей не располагало более точным, более совершенным прибором.

Но для совершенства психологии недостаточно самого тонкого, самого строгого скальпеля, недостаточно самого изощренного инструмента духа: надо, чтоб и рука психолога была стальной, металлически твердой и гибкой, чтобы она не дрогнула во время операции. Психология не исчерпывается дарованием; психология прежде всего дело характера, мужества «продумывать все, что знаешь»; в идеале (осуществленном в Ницше) это способность к познанию в сочетании с исконной мужской волей к познаванию. Истинный психолог должен не только уметь видеть, но и хотеть видеть; он не имеет права, уступая сентиментальной снисходительности, робости, страху, закрывать глаза, закрывать мысль на что бы то ни было или усыплять свое внимание осторожностью и сантиментами. Им, призванным ценителям и стражам, для которых «бдительность является долгом», не пристала терпимость, робость, добродушие, сострадание — слабости (или добродетели) обывателя, среднего человека. Они, воители и завоетатели духа, не смеют выпустить из рук истину, настигнутую ими в отважных дозорах. В области познания «слепота — не заблуждение, а трусость», добродушие — преступление, ибо тот, кто боится стыда и насилия, воплей обнаженной действительности, уродства наготы, никогда не откроет последней тайны. Всякая правда, которая не достигает предела, всякая правдивость без радикализма лишена нравственной ценности. Отсюда суровость Ницше к тем, кто из косности или трусости мышления нарушает священный долг неустрашимости; отсюда его неумолимость к Канту, который через потайную дверь ввел в свою систему понятие Бога; отсюда его ненависть ко всякому зажмуриванью глаз в философии, к дьяволу или «демону неясности», который трусливо маскирует или сглаживает последнее познание. Нет истин «крупного стиля», которые были бы открыты при помощи лесты, нет тайн, готовых доверчиво совлечь с себя покровы: только насилием, силой и неумолимостью можно вырвать у природы ее заветные тайны, только жестокость позволяет в этике «крупного стиля» установить «ужас и величие безграничных требований». Все сокровенное требует жестких рук, неумолимой непримиримости: без честности нет позна-

ния, без решимости нет честности, нет «добросовестности духа». «Там, где покидает меня честность, я становлюсь слеп; там, где я хочу познать, я хочу быть честен, то есть строг, жёсток, жесток, неумолим».

Этот радикализм, эту жесткость и неумолимость психолог Ницше не получил в дар от судьбы вместе с соколиным зрением: он заплатил за него ценой всей своей жизни, покоя, сна, уюта. Обладая от природы мягким, добродушным, обходительным, веселым и безусловно благожелательным характером, Ницше путем спартанского воспитания воли вырабатывает в себе непрístupность и неумолимость по отношению к собственному чувству: полжизни он провел как бы в огне. Надо глубоко заглянуть в него, чтобы сочувственно пережить всю боль этого духовного процесса: вместе с этой «слабостью», вместе с мягкостью и кротостью Ницше сжигает в себе все человеческое, что связывает его с людьми; он жертвует дружбой, отношениями, связями, и последний кусок его жизни так жарок, добела накаленный в собственном огне, что всякий, кто пытается к нему прикоснуться, обжигает руки. Подобно тому, как прижигают рану адским камнем, чтобы держать ее в чистоте, так насильственно выжигает Ницше свое чувство, чтобы сохранить его чистым и честным; безжалостно подвергает он себя попытке докрасна раскаленным железом воли, чтобы достигнуть высшей правдивости; потому и одиночество его — тоже вымученное. Но, как истый фанатик, он жертвует всем, что любит, даже Рихардом Вагнером, дружбу которого он считает самым священным событием своей жизни; он обрекает себя на бедность, на отчужденность и презрение, на отшельническую жизнь без проблеска счастья — только для того, чтобы остаться верным истине, чтобы выполнить миссию честности. Как у всякой демонической натуры, страсть — у него страсть к правдивости — постепенно превращается в мономанию и пожирает своим пламенем все достояние его жизни; как всякая демоническая натура, он в конце концов не видит ничего, кроме своей страсти. Поэтому пора наконец раз навсегда оставить школьные вопросы: чего хотел Ницше? что думал Ницше? к какой системе, к какому мировоззрению он стремился? Ницше ничего не хотел: в нем наслаждается собой непреодолимая страсть к правде. Он не знает никаких «для чего?»: Ницше не думает ни о том, чтобы исправлять или поучать человечество, ни о том, чтобы успокоить его и себя; его экстатическое опьянение мышлением — самоцель, самоупоение, вполне своеобразное, индивидуальное и стихийное насла-

ждение, как всякая демоническая страсть. Это невероятное напряжение сил никогда не было направлено на создание «учения» — он давно преодолел «благородное ребячество начинающих — догматизирование» — или на создание религии. «Во мне нет ничего, напоминающего основателя религии. Религии — дело черни». Ницше занимается философией как искусством, и потому, как истинный художник, он ищет не результата, не холодной законченности, а только стиля, «крупного стиля в этике», и, вполне как художник, он живет и наслаждается всем трепетом внезапных откровений. Может быть, и даже вероятно, напрасно называют Ницше философом, другом мудрости, Софии: объятый страстью не может быть мудр, и ничто не чуждо Ницше более, чем обычная цель философов — достигнуть равновесия чувства, успокоения и разрешения некоего *tranquillitas*¹ удовлетворенной «бурой» мудрости, неподвижной точки зрения, раз навсегда выработанных убеждений. Он «вынашивает и изнашивает убеждения», отказывается от того, что он приобрел, и скорее может быть назван филалетом, страстным поклонником истины, девственной богини, жестоко искушающей своих жрецов, подобно Артемиде, обрекающей тех, кто воспытал к ней страстью, на вечную погоню — только для того чтобы, оставив в их руках разорванное покрывало, пребывать вечно недостижимой. Истина, правда, как понимает ее Ницше, — не застывшая кристаллизованная форма истины, а пламенная воля к достижению правдивости и к пребыванию в правдивости, не решенное уравнение, а непрестанное демоническое повышение и напряжение жизненного чувства, наполнение жизни в смысле высшей полноты: Ницше стремится не к счастью, а только к правдивости. Он ищет не покоя (как девять десятых из числа философов), а — как раб и поклонник демона — превосходной степени возбуждения и движения. Но всякая борьба за недостижимое возвышается до героизма, а всякий героизм неумолимо приводит к своему священному завершению — к гибели.

Такое фанатическое стремление к правдивости, такое неумолимое и грозное требование, какое ставил Ницше, должно неизбежно вызвать конфликт с миром, убийственный, самоубийственный конфликт. Природа, сотканная из многих тысяч разнородных элементов, с необходимостью отвергает всякий односторонний радикализм. Вся жизнь в конечном счете зиждется на примирении, на компромиссе

¹ Спокойствие (*лат.*).

(и Гёте, который так мудро повторил в своем существе существо природы, рано понял и воспроизвел этот закон). Для того чтобы сохранить равновесие, она, как и люди, нуждается в равнодействующих, в компромиссах, в соглашениях, в примирении противоречий. И тот, кто, живя в этом мире, ставит противное природе, абсолютно антропоморфное требование отказаться от поверхностности, от терпимости, примиримости, кто хочет насильственно вырваться из тысячелетиями сотканной сети обязательств и условностей, невольно вступает в единоборство с обществом и природой. И чем непримиримее индивид в этом требовании чистоты, тем решительнее ополчается против него действительность. Подобно Гёльдерлину, он хочет претворить в чистую поэзию эту прозаическую жизнь, или, подобно Ницше, внести «ясность мысли» в бесконечную путаницу земных отношений, — все равно это неблагоприятное, хоть и героическое требование означает мятеж против условности и быта и обрекает отважного борца на непроницаемое одиночество, на величественную, но безнадежную войну. То, что Ницше называет «трагическим умонастроением», эта решимость достигнуть крайних пределов чувства переступает уже за грани духа в область судьбы и порождает трагедию. Всякий, кто хочет навязать жизни единый закон, в этом хаосе страстей утвердить единую страсть, свою страсть, обречен на одиночество и на гибель — безумный мечтатель, если он действует бессознательно, герой, если, зная об опасности, он искушает ее. Ницше, несмотря на всю страстность своего стремления, принадлежит к числу тех, кто знает. Он знает о грозящей ему гибели, с первого мгновения, со времени первой напечатанной книги знает, что его мысль вращается вокруг губительного, трагического центра, что он живет губительной жизнью, — но, истинный герой трагедии духа, он любит жизнь только ради этой опасности, которая принесет ему гибель. «Стройте жилища у подошвы Везувия», — призывает он философов, чтобы внушить им высшее сознание судьбы, ибо «мера опасности, которой живет человек» — единственная мера его величия. Только тот, кто все ставит на карту в высокой борьбе за бесконечность, может выиграть бесконечность; только тот, кто готов пожертвовать жизнью, может тесным земным формам сообщить ценность бесконечности. «Fiat Veritas, pereat vita»¹, пусть осуществится правда, хотя бы ценою жизни: страсть выше человеческого су-

¹ «Да свершится правда, пусть погибнет жизнь» (лат.).

шествования, смысл жизни выше самой жизни. С невероятной мощью экстаза расширяет он эту мысль далеко за пределы своей личной судьбы: «Все мы готовы скорее согласиться на гибель человечества, чем на гибель познания». Чем грознее сгущаются тучи его судьбы, чем ближе он чувствует губительную молнию на безгранично поднимающемся горизонте духа, тем отважнее, тем радостнее встретится он навстречу своей судьбе, навстречу последнему конфликту. «Я знаю свой жребий, — говорит он за мгновение до гибели, — когда-нибудь с моим именем соединится воспоминание о чем-то невероятном, о кризисе, какого не бывало на земле, о глубочайшей коллизии совести, о решимости бросить вызов всему, во что верили до тех пор как в святыню». Но Ницше любит последнюю пропасть, и все его существо радостным трепетом встречает эту смертельную решимость. «Какую меру истины может вынести человек?» — вот вопрос всей жизни неустранимого мыслителя; но для того, чтоб до конца познать эту меру способности познания, он должен, переступив границу безопасности, достигнуть высоты, где оно уже невыносимо, где последнее познание уже смертельно, где свет слишком близок и ослепляет взор. И эти последние ступени восхождения — самые мощные и незабываемые эпизоды в трагедии его судьбы: никогда не достигал его дух такой ясности, его душа — такой страстности, никогда не была его речь в такой мере музыкой и радостным гимном, как в тот миг, когда он, сознавая и ликуя, с вершины своей жизни падал в бездну уничтожения.

ПРЕОБРАЖЕНИЯ В САМОГО СЕБЯ

Змея, которая не может сменить кожу, погибает. Так же и дух, которому не дают сменить убеждения: он перестает быть духом.

Люди порядка, хоть они и страдают дальтонизмом по отношению ко всякому своеобразию, безошибочным инстинктом распознают то, что им враждебно; в Ницше они почуяли врага задолго до того, как в нем обнаружился аморалист, поджигатель частоколов, ограждающих их моральные загоны: чутье подсказало им то, чего он сам о себе еще не знал. Он был им неудобен — никто не владел в таком совершенстве *the gentle art of making enemies*¹, как загадоч-

¹ Благородное искусство создавать врагов (*англ.*).

ный человек, не подходящий ни под какие категории, как смесь философа, филолога, революционера, художника, литератора и музыканта, — и с первого же шага люди различных специальностей возненавидели его как нарушителя границ. Едва он успел напечатать первую филологическую работу, как Валамовиц, примерный филолог (каковым он оставался еще в течение полувека после того, как его противник ушел в бессмертие), приковывает к позорному столбу коллегу, не желающего знать границ науки. Точно так же вагнерианцы — и не без основания! — не доверяют страстному панегиристу, философы, «друзья мудрости», — другу истины. Еще бескрылый, в коконе филологии, он уже вооружает против себя специалистов. И только гений, знаток превращений, только Рихард Вагнер в подрастающем гении любит будущего врага. Но другие — в его смелой, широкой поступи они сразу почуяли опасность — в его неположительности, неверности убеждениям, безмерной свободе, с которой этот безмерно свободный человек относится ко всему на свете, а значит, и к самому себе. И даже теперь, когда его авторитет запугивает и давит, люди специальности пытаются найти полочку для этого философа вне закона, заключить его в систему, в определенное учение, в религию, в какое-нибудь евангелие. Им хотелось бы видеть его таким же неподвижным, как они сами, опутанным убеждениями, замурованным в мировоззрение; им хотелось бы навязать ему нечто окончательное, неоспоримое — то, чего он больше всего боялся, — и кочевника (теперь, когда он покорил необъятный мир духа) приковать к храму, к дому, которого он никогда не имел и никогда не желал.

Но Ницше нельзя сковать учением, накрепко пришить к системе — и на этих страницах я менее всего пытаюсь из потрясающей трагедии духа выжать холодную «теорию познания»: никогда страстный релятивист всех ценностей не чувствовал себя надолго связанным или обязанным тем или иным словом, слетевшим с его уст, тем или иным убеждением своей совести, той или иной страстью своей души. «Философ вынашивает и изнашивает убеждения», — с чувством превосходства отвечает он оседлым мыслителям, которые гордятся верностью убеждениям, твердостью характера. Всякое свое убеждение он ощущал как переход, и даже свое «я», свою кожу, свое тело, свой духовный облик, — как множество, как «общественную постройку многих душ»; текстуально он произносит следующие безгранично смелые слова: «Для философа вредно быть прикованным к одной личности. Если он нашел себя, он должен

стремиться время от времени терять себя — и затем вновь находить». Его существо — непрерывное преобразование, самопознавание путем самоутраты, вечное становление, а не покоящееся неподвижное бытие; потому «Стань тем, кто ты есть» — единственная жизненная заповедь, какую можно найти в его сочинениях. Гёте тоже иронически говорил, что его постоянно ищут в Веймаре, когда он уже давно в Йене, — излюбленный образ Ницше, образ сброшенной змеиной кожи, за сто лет предвосхищен в письме Гёте. И все же — как контрастирует осторожное развитие Гёте с вулканическими превращениями Ницше! Гёте концентрическими кругами расширяет свою жизнь вокруг неподвижного центра и, как дерево, которое каждый год нанизывает кольцо за кольцом на невидимый стержень, разрывая наружную кору, становится все крепче, сильнее, все шире и выше. Его развитие создается терпением, постоянством и упорством жизненной силы и в то же время умеряется чувством самосохранения. Развитие Ницше осуществляется насилием, порывистыми толчками воли. Гёте обогащается, не жертвуя ни одной частицей своего «я»; напротив, Ницше в своих превращениях должен всякий раз уничтожить свое «я» и выстроить его наново. Все его самонахождения и самооткрытия возникают из безжалостного самоубийства и утрат веры, из химического саморазложения; чтобы ступить на высшую ступень, он всякий раз должен отбросить часть своего «я» (тогда как Гёте не жертвует ничем и подвергает себя только химическому соединению и перегонке). Только боль, только отрыв приводит его к более высокому, более свободному состоянию: «Трудно разрывать каждую цепь, но вместо каждой цепи у меня вырастает крыло». Как всякая демоническая натура, он знает только самый насильственный способ преобразования — самосожжение: как феникс должен погрузить свое тело в уничтожающее пламя, чтобы в новых красках, с новой песней, в новом взлете воспарить из пепла, — так человек его духовного склада должен всю свою веру бросить в огонь противоречий, чтобы вновь и вновь возрождался его дух, обновленный и свободный от прежних убеждений. Ничто из прежнего не остается невредимым и неотвергнутым в его обновленном и уже готовом к новому обновлению космосе: потому что фазы его развития не сменяются в братском согласии, а враждебно вытесняют друг друга. Всегда он на пути в Дамаск; и не один раз было ему суждено сменить веру и чувство, а несчетное количество раз, ибо всякий новый духовный элемент пронизывает не только дух его, но и тело, и

все внутренности: интеллектуальные и моральные познавания химически преобразуются в новое кровообращение, новое самочувствие, новое мышление. Будто отчаянный игрок, отдает Ницше (как требовал Гёльдерлин) «всю душу разрушительной силе действительности», и с самого начала жизненные впечатления и опыт приобретают у него бурную форму вулканических явлений. Когда юным студентом в Лейпциге он читает Шопенгауэра, он в течение двух недель не в состоянии заснуть, все его существо охвачено циклоном, рушится вера, которая служила ему опорой; и когда ослепленный дух постепенно оправляется от потрясения, он находит совершенно изменившееся мировоззрение, неузнаваемо новое мироотношение. Точно так же и встреча с Вагнером превращается в страстное любовное переживание, бесконечно расширяющее диапазон его чувств. Вернувшись из Трибшена в Базель, он видит, что жизнь его приобрела новый смысл: филолог в нем умер, перспектива прошлого переместилась в будущее. Вся его душа объята этим пламенем духовной любви, и потому отпадение от Вагнера наносит ему зияющую, почти смертельную рану, которая постоянно гноится и сочится и никогда не закрывается, никогда не заживает. И каждое духовное потрясение — для него землетрясение, превращающее в щепы все здание его убеждений; всякий раз Ницше должен строить себя заново. Ничто не вырастает в нем тихо, мирно и незаметно, естественно и органически; никогда не напрягается его внутреннее «я» в скрытой работе, постепенно приводящей к обогащению: все, даже собственные мысли, разряжается в нем, как «удар молнии»; всякий раз он должен разрушить свой внутренний мир, чтобы возник в нем новый космос. Беспримерна эта грозная сила идей у Ницше: «Я бы хотел, — пишет он, — быть свободным от экспансии чувства, вызывающей такие последствия: у меня часто является мысль, что я внезапно умру от чего-нибудь подобного». И действительно, при каждом духовном обновлении что-то в нем отмирает: всякий раз что-то разрывается в его внутренней ткани, как будто в нее вонзился нож, разрушающий все прежние сцепления. Всякий раз переплавляется в огне нового откровения вся духовная оболочка. Судорога смерти, судорога родов сопровождается у Ницше всякое превращение. Быть может, не было человека, который бы развивался в таких муках, всякий раз сдирая с себя окровавленную кожу. Поэтому все его книги — не что иное, как клинические отчеты об этих операциях, методика подобных вивисекций,

своеобразное акушерство — учение о родах свободного духа. «Мои книги говорят только о моих преодолениях» — это история его превращений, история его беременностей и разрешений, его умираний и воскресений, история безжалостных войн, которые он вел с самим собою, экзекуций и карательных экспедиций, и, в совокупности, — биография всех людей, которыми становился и был Ницше за двадцать лет своей духовной жизни.

Ни с чем не сравнимое своеобразие непрерывных превращений Ницше состоит в том, что линия его жизни развивается как бы в обратном направлении. Если возьмем опять Гёте — как самый наглядный пример, как прототип органической природы, развивающейся в таинственном созвучии с мировым порядком, — то легко заметим, что формы его развития символически отражают возрасты человеческой жизни. Мы видим его вдохновенно-пламенным юношей, рассудительно-деятельным мужем, кристально-мудрым старцем: ритм его мышления определяется органически температурой его крови. Его начальный хаос (естественный в юности) превращается в порядок (свойственный старости), из революционера он становится консерватором, из лирика ученым, самосохранение сменяет юношескую расточительность. Ницше идет обратным путем: если Гёте стремится к достижению внутренней прочности, плотности своего существа, то Ницше все более страстно жаждет саморастворения: как всякая демоническая натура, с годами он становится все более торопливым, нетерпеливым, бурным, буйным, хаотичным. Даже внешние события его жизни обнаруживают направление развития, противоположное обычному. Жизнь Ницше начинается старостью. В двадцать четыре года, когда его сверстники еще предаются студенческим забавам, пьют пиво на корпорантских пирушках и устраивают карнавалы, Ницше — уже ординарный профессор, достойный представитель филологической науки в славном Базельском университете. Его друзья в ту пору — пятидесяти- и шестидесятилетние мужи, престарелые и знаменитые ученые, как Якоб Буркхардт и Ритшль, его ближайший друг — самый серьезный и самый замечательный художник эпохи Рихард Вагнер. Неумолимая, железная строгость, непоколебимая объективность изобличают в нем только ученого, отнюдь не художника, и в его работах звучит голос не начинающего, а опытного исследователя. Силой подавляет он в себе поэтическую мощь, вздымающийся поток музыки; будто какой-нибудь высохший советник, сидит он, склонившись над греческими руко-

писями, составляет указатели, перелистывает запыленные листы древних памятников. Взор начинающего Ницше обращен назад, в историю, в мир мертвого и прошлого; его жизнерадостность замурована в старческую манию, его задор — в профессорское достоинство, его взор устремлен в книги и научные проблемы. В двадцать семь лет «Рождением трагедии» он прорывает первую, пока еще скрытую штольню в современность; но автор еще не снимает строгую маску филолога, и лишь первые подземные вспышки намекают на будущее — первые вспышки пламенной любви к современности, страсти к искусству. В тридцать с лишним лет, когда нормально человек только начинает свою карьеру, в возрасте, когда Гёте получает чин статского советника, а Кант и Шиллер — кафедру, Ницше уже отказался от карьеры и со вздохом облегчения покинул кафедру филологии. Это первый итог, который Ницше подвел самому себе, первая его встреча со своим собственным миром, первое внутреннее переключение, и в этом отказе — рождение художника. Подлинный Ницше начинается лишь с момента его вторжения в современность — трагический, несвоевременный Ницше, со взором, обращенным в будущее, с чаянием нового, грядущего человека. Он вступил на путь непрерывных молниеносных обращений, внутренних переворотов, резких переходов от филологии к музыке, от суровости к экстазу, от терпеливой работы к танцу. В тридцать шесть лет Ницше — философ вне закона, аморалист, скептик, поэт и музыкант — переживает «лучшую юность», чем в своей действительной юности, свободный от власти прошлого, свободный от пут науки, свободный даже от современности, двойник потустороннего, грядущего человека. Так годы развития, вместо того, чтобы сообщить жизни художника устойчивость, прочность, целенаправленность, как это бывает обычно, с какой-то страстностью разрывают все жизненные отношения и связи. Неимоверен, беспримерен темп этого омоложения. В сорок лет язык Ницше, его мысли, все его существо содержит больше красных кровяных шариков, больше свежих красок, отваги, страсти и музыки, чем в семнадцать лет, и отшельник Зильс-Мариа шествует в своих произведениях более легкой, окрыленной, более напоминающей танец поступью, чем преждевременно состарившийся двадцатичетырехлетний профессор. Чувство жизни у Ницше не успокаивается с годами, а приобретает все большую интенсивность: все стремительнее, свободнее, вдохновеннее, многообразнее, напряженнее, все злораднее и циничнее становятся его превращения; нигде не

находит «точки опоры» его торопливый дух. Едва замедлит где-нибудь, как уже «коробится и рвется кожа»; в конце концов его самопереживание уже не поспевает за его жизнью, превращения постепенно приобретают кинематографический темп, картины дрожат и мелькают в непрерывной смене. Те, кто воображают, что знают его — друзья его более раннего возраста, увязшие в своих науках, убеждениях, системах, — с каждой встречей все явственнее чувствуют пропасть, отделяющую его от них. С испугом подмечают они в его лице новые, юношеские черты, ничем не напоминающие прошлое; и он сам в своей вечной изменчивости готов видеть призрак в своем прежнем облике, когда его «смешивают» с профессором Базельского университета Фридрихом Ницше, с этим ученым старцем, которым — он с трудом вспоминает об этом — он был двадцать лет тому назад, — с такой решительностью он отжил свое прошлое, так безжалостно отбросил все, что оставалось у него от прежних рудиментов и сантиментов; отсюда его ужасающее одиночество в последние годы. Все связи с прошлым порваны, а для того, чтобы закреплять новые отношения, слишком стремителен темп его последних лет, его последних превращений. Будто пуля пролетает он мимо людей, мимо явлений; и чем более он приближается к самому себе — тем даже если это лишь кажущееся приближение, — тем пламеннее его жажда снова потерять себя. И все решительнее становятся эти самоотчуждения, все резче скачки от утверждения к отрицанию, электрические переключения внутренних контактов; он сжигает себя в самоотрицании, путь его — путь всепожирающего огня.

Но по мере того, как эти превращения ускоряются, они становятся все насильственнее, все мучительнее. Первые «преодоления» Ницше — это лишь отказ от детских, отроческих верований, заученных в школе мнений авторитетов; их легко было сбросить, как высохшую змеиную кожу. Но чем глубже становится его психология, тем более глубокие слои своего внутреннего вещества приходится ему вскрывать; чем более пронизаны нервами, пропитаны кровью его убеждения, чем больше в них его собственной плазмы, тем больше требуется от него решимости, готовности к страданию, к насильственной потере крови: он становится «собственным палачом», Шейлоком, вонзающим нож в живое мясо. В конце концов самовскрытия достигают последних глубин чувства; операции становятся опасны; ампутация комплекса Вагнера — одно из самых болезненных, почти смертельных вскрытий собственного тела, затронувшее

область сердца, почти самоубийство, и в то же время, в своей неожиданной жесткости, как бы убийство на почве садизма: в любовном объятии, в мгновение самой интимной близости познает и умерщвляет его неукротимый инстинкт правды самый близкий, самый любимый образ. Но чем мучительнее, тем лучше: чем больше крови, чем больше боли, чем больше жестокости потребовало от Ницше такое «преодоление», тем сладостнее упивается его честолюбие испытанием воли. Неумолимый инквизитор, неумолимо допрашивает он свою совесть о каждом своем убеждении и переживает испански-мрачное, сладострастно-жестокое наслаждение при виде бесчисленных аутодафе, пожирающих убеждения, которые он признал еретическими. Постепенно влечение к самоуничтожению становится у Ницше страстью: «Радость уничтожения сравнима для меня только с моей способностью к уничтожению». Из постоянного превращения возникает страсть противоречить себе, быть своим собственным антагонистом: отдельные высказывания в его книгах как будто намеренно сопоставлены так, чтобы одно опровергало другое; страстный прозелит своих убеждений, каждому «нет» он противопоставляет «да», каждому «да» — властное «нет», бесконечно растягивает он свое «я», чтобы достигнуть полюсов бесконечности и электрическое напряжение между двумя полюсами ощутить как подлинную жизнь. Стремление постоянно убежать от себя и постоянно настигать себя — «душа, убегающая от самой себя и настигающая себя на самых дальних путях» — в конце концов развивает в нем невероятное возбуждение, которое становится для него роковым: едва достигла форма его существа последних пределов, как напряжение духа разрядилось: прорывается плазменное ядро, исконная сила демонизма, и необоримая стихия единым вулканическим напором уничтожает величественный ряд образов, созданный творческим духом из его плоти и крови, и погружает его в бездну бесконечности.

ОТКРЫТИЕ ЮГА

Нам нужен Юг; во что бы то ни стало нужны нам светлые, бодрые, блаженные, безмятежные и нежные звуки.

«Мы — воздухоплаватели духа», — с гордостью говорит Ницше, чтобы выразить беспредельную свободу мышления, пролагающего себе пути в безграничной и бездорожной

ной стихии. И действительно, история его духовных странствий, полетов и поворотов, эта погоня за бесконечностью разыгрывается в высшем, в духовно не ограниченном пространстве. Будто воздушный шар на привязи, постепенно сбрасывающий балласт, становится Ницше все более свободным. Обрезая канат за канатом, обрывая связь за связью, он открывает все более широкий горизонт, всеобъемлющий кругозор, вневременную, индивидуальную перспективу. Много раз меняет направление воздушный корабль его жизни, прежде чем попадет в губительный циклон; неисчислимы эти перемены и почти неразличимы. Только одно мгновение роковых решений в жизни Ницше выделяется отчетливо и ярко: это как бы драматический миг, когда обрезан последний канат и воздушный корабль, оторвавшись от твердой и плотной стихии, уносится в свободу и беспредельность. Эта минута в жизни Ницше — день, когда он покидает отечество, профессию, профессию, с тем чтобы не возвращаться в Германию иначе, как мимоходом, бросая на нее презрительный взгляд из своей новой, свободной, воздушной сферы. Все, что он пережил до этого часа, несущественно для подлинного Ницше, героя мировой истории: первые преобразования — это лишь подготовка к самому себе. И без этого решительного шага к свободе при всей своей гениальности он остался бы человеком связанного мира, профессором, специалистом, Эрвином Роде или Дильтеем, одним из тех, кого мы чтим в их сфере, но не считаем столпами нашего духовного мироздания. Только прорыв демонизма, раскрепощение страсти к мышлению, первобытное чувство свободы делает жизнь Ницше пророчеством и превращает его судьбу в миф. И так как я пытаюсь представить здесь его жизнь не как историю, а как драму, как художественное произведение и трагедию духа, то его жизненный подвиг начинается для меня с того мгновения, когда пробуждается в нем художник, вспоминающий о своей свободе. Ницше, развивающийся в коконе филологии, представляет филологическую проблему; только окрыленный Ницше, «воздухоплаватель духа», служит предметом художественного изображения.

В первом странствии к самому себе Ницше направляет паруса своего «Арго» на Юг; и этот выбор остается преобразованием всех его преобразований. И в жизни Гёте итальянское путешествие также знаменует резкую цезуру: и он бежит в Италию к своему подлинному «я», из связанности к свободе, из обыденной жизни к переживанию. И над ним, едва он переступил Альпы, с вулканической силой сверкнул

из ослепительного сияния итальянского солнца луч преобразования: «Я будто возвращаюсь из путешествия в Гренландию», — пишет он из Тренто. И он, тоже «мученик зимы», страдающий в Германии под «злыми небесами», вечно стремящийся к свету и высшей ясности, — и он, ступив на землю Италии, ощутил в себе взрыв стихийного чувства, потрясенность и освобожденность, натиск новой, самой личной свободы. Но Гёте слишком поздно переживает чудо Юга, на сороковом году; затвердела уже кора его до предела упорядоченного и рассудительного духа: частица его существа, его мышления осталась в Веймаре, дома, при дворе, отягченная чином и службой. Он уже слишком кристаллизован в самом себе, чтобы до конца растворяться или преобразиться в новой стихии. Быть преодоленным — это противоречило бы органической форме его жизни: Гёте хочет всегда оставаться господином своей судьбы, брать от внешнего мира ровно столько, сколько ему нужно (тогда как Ницше, Гёльдерлин, Клейст, расточители, нераздельно, всей душой отдаются каждому впечатлению и всегда готовы радостно раствориться в его потоке, в его текучем пламени). Гёте находит в Италии то, что он ищет, едва ли больше: он ищет глубоких сцеплений (а Ницше — высшей свободы), величия прошлого (а Ницше — величия будущего и полного отрешения от истории); он, в сущности, изучает то, что под землей: античное искусство, дух Древнего Рима, тайны растений и горных пород (тогда как Ницше, опьяняясь и вновь отрезвляясь, неизменно всматривается в то, что над ним сапфирное небо, безгранично ясный горизонт, магия повсюду разлитого света, пронизывающего все поры его тела). Поэтому Гёте переживает Италию по преимуществу эстетически и церебрально, а Ницше — жизненно: если Гёте привозит из Италии прежде всего художественный стиль, то Ницше находит там жизненный стиль. Гёте только оплодотворен Италией, Ницше — пересажен в новую почву и обновлен. Правда, и веймарский мудрец ощущает потребность в обновлении («Конечно, лучше мне вовсе не возвращаться, если я не могу вернуться возрожденным»), но, как всякая полустывшая форма, его дух открыт только для «впечатлений». Для полного, совершенного преобразования в духе Ницше сорокалетний поэт слишком завершен, слишком своевластен и, главное, слишком своеволен: его мощный, столь для него характерный инстинкт самоутверждения (который в более позднем возрасте застывает в ледяной панцирь) способствует устойчивости и ограничивает возможность превращений; он берет

от жизни, мудрый диететик, ровно столько, сколько, по его мнению, может быть полезно для его организма (тогда как дионисийский характер, поглощая все, стремится только к избытку и к опасности). Гёте хочет только обогащаться впечатлениями, а не претворяться и растворяться в них до конца. Потому и последний его привет Югу — строго отмеченная, точно взвешенная благодарность и, в конце концов, мягкий отпор: «В числе полезных вещей, которым я научился в этом путешествии, — гласит его заключительное слово о поездке в Италию, — я узнал также и то, что никоим образом не могу дольше оставаться в одиночестве и жить вне отечества».

Эта формула, четко отчеканенная, будто новая монета, словно в зеркальном отражении представляет *in pise*¹ переживание Юга в душе Ницше. Подведенный им итог — прямая противоположность выводу Гёте: с этих пор он хочет жить только в одиночестве и только вне отечества; в то время как Гёте возвращается из Италии, как из поучительного и освежающего путешествия, — возвращается в исходную точку, домой, привозя в сундуках и чемоданах, в голове и сердце новые ценности, — Ницше окончательно экспатрирован, окончательно поселяется только в самом себе, философ вне закона, блаженный изгнанник, бездомный скиталец, навеки отреченный от всякой «отечественности», от всякого «патриотического ущемления». С этих пор для него нет иной перспективы, кроме перспективы птичьего полета, точки зрения «честного европейца», представителя «наднационального и кочующего племени», неизбежный приход которого он предчувствует атмосферически и среди которого он укореняется — в потустороннем, в грядущем царстве. Не там, где он родился: рождение — это прошлое, «история», — а там, где он зачинает, где он сам рождает, — вот где для Ницше духовная отчизна: «*Ubi pater sum, ibi patria*» — «Там, где я отец, там мое отечество», а не там, где он зачат. В этом неоценимый, неотъемлемый дар Юга Ницше: отныне весь мир становится для него равно чужбиной и отчизной; отныне дан ему острый, ясный взор хищных птиц, который, низвергаясь с высоты полета, направлен сразу во все стороны, которому открыты все горизонты (тогда как Гёте, из чувства самосохранения, сужал свой кругозор — по его выражению, «обставляя себя замкнутыми горизонтами»). Покинув отечество, Ницше навсегда поселился по ту сторону своего прошлого: он окон-

¹ В зародыше (*лат.*).

чательно дегерманизировался — так же окончательно, как дефилологизировался, дехристианизировался, деморализировался; и так характерно для его неукротимо стремящейся вперед, неудержимо избыточной натуры, что никогда он не сделал ни одного шага назад, ни разу не обратил тоскующего взора к преодоленным пространствам. Мореплатель, направляющий свой парус в страну будущего, слишком счастлив своим странствием «в Космополис на самом быстроходном корабле», для того чтобы тосковать по своей односторонней, одноязычной, однородной родине; потому заранее осуждена в его глазах, как насилие, всякая попытка регерманизировать его. Из свободы нет пути назад тому, кто ее достиг; с той поры как он познал над собой ясность итальянского неба, душа его содрогается перед всяким «омрачением», от чего бы оно ни исходило, — от туч, заволакивающих небо, от церкви, от аудитории, от казармы; его легкие, его атмосферические нервы не выносят никакого Севера, никакой неметчины, никакой затхлости; он больше не в силах жить при закрытых окнах, при запертых дверях, в полутьме, в духовном сумраке, под облачным небом.

Правдивость для него отныне равнозначна ясности: быть правдивым — значит видеть беспредельную даль, различать резкие контуры в самой бесконечности; и с той поры, как всей пьянящей силой своей крови отдался он свету, живительному, слепительному, стихийному свету Юга, он навек отрекся от «специфически немецкого дьявола, гения или демона неясности». Теперь, когда он живет в Италии, «за границей», его почти гастрономическая восприимчивость ощущает все немецкое как слишком тяжелую, обременительную пищу для проясненного чувства, как своего рода «несваренные желудки», нескончаемую и бесплодную возню с проблемами, неуклюжее ковылянье души по жизненным путям; отныне все немецкое для него недостаточно легко и свободно. Даже те произведения, которые он когда-то любил больше всего, — и они теперь вызывают у него ощущение как бы духовной тяжести в желудке: в «Мейстерзингерах» он чувствует тяжеловесность, причудливость, вычурность, насильственные потуги веселья, у Шопенгауэра — омраченные внутренности, у Канта — лицемерный привкус политического моралина, у Гёте — бремя чинов и службы, насильственную ограниченность кругозора. Все немецкое для него отныне символ сумеречности, неясности, неопределенности — слишком много в нем тени вчерашнего, слишком много истории, слишком тяжел неотвязный

груз собственного «я»; безграничность возможностей — и в то же время отсутствие ясного бытия; вечный вопрос и стон, тоска исканья, тяжеловесное, мучительное становление, колебание между «да» и «нет». Но это не только неприязнь великого духа к современному (поистине достигнутому самому низкому уровню) духовному быту новой, слишком новой Германии, не только политическое озлобление против «империи» и тех, кто пожертвовал немецкой идеей ради идеала пушки, не только эстетическое отвращение к Германии плюшевой мебели и к Берлину «Столпа победы». Его новое учение о Юге требует от всякой проблемы — не только от национальной, — от всего мироотношения требует светлой, свободно струящейся, солнечной ясности, «света, только света даже для дурных вещей», высшей радости через высокую ясность — «*gaia scienza*», «веселой науки», а не брюзгливо-трагической учебы «народа-ученика», терпеливой немецкой деловитой, профессорски-строгой учености, вяло слоняющейся по кабинетам и аудиториям. Не из рассудка, не из интеллекта, а из нервов, сердца, чувства и внутренностей возникает его решительное отречение от Севера, от Германии, отечества; это возглас, вырвавшийся из легких, наконец ощутивших чистый воздух, ликование человека, сбросившего бремя, человека, наконец нашего «климат своей души» — свободу. Отсюда эта глубокая, безудержная радость, злорадный торжествующий возглас: «Я ускользнул!»

Вместе с окончательной дегерманизацией Юг приносит ему и полную дехристианизацию. Теперь, когда он, будто лаццрта, радуясь солнцу, пронизывающему его душу до последнего нерва, оглядывается назад и спрашивает себя, что омрачало его в течение долгих лет, что на протяжении двух тысячелетий прививало человечеству такую робость, запуганность, подавленность, что заставляло его вечно каяться в каких-то грехах, что обесценивало все естественные, бодрящие, животворные ценности и даже самую жизнь, — в христианстве, в потусторонней вере он узнает омрачающий принцип современного мира. Этот «смердящий юдаин раввинизма и суеверий» растворил и заглушил чувственность, бодрость мира; для пятидесяти поколений он служил самым губительным наркотическим средством, приведшим все, что прежде было действенной силой, в состояние морального паралича. Но теперь — и в этом он почувствовал свою жизненную миссию — настало для будущности время объявить крестовый поход против креста, начать завоевание Святой земли человечества — нашей посюсто-

ронности. «Сверхчувство бытия» открыло ему страстный взор на все посюстороннее, животнo-подлинное и непосредственное; сделав это открытие, он узнал, что все эти долгие годы фимиам и мораль скрывали от него «здоровую, полнокровную жизнь». На Юге, в этой «великой школе духовного и чувственного исцеления», он научился естественной, невинно-жизнерадостной, бодро играющей, без страха зимы, без страха Божия жизни, научился вере, которая невинно говорит себе уверенное «да». И оптимизм этот приходит свыше — но не от притаившегося Бога, а от самой явной, самой блаженной тайны — от солнца и света. «В Петербурге я бы стал нигилистом. Здесь я верую, как верует растение, — верую в солнце». Вся его философия — непосредственный продукт брожения освобожденной крови: «Оставайтесь южным, хотя бы только ради веры», — пишет он одному из друзей. Но кому свет стал здоровьем, тому становится он и святыней: во имя его объявляет он войну, готовит самый ужасный поход — против всего на земле, что нарушает яркость, ясность, бодрость, обнаженную непосредственность и солнечный хмель жизни: «...отныне мое отношение к современности — борьба не на жизнь, а на смерть».

И вместе с решимостью вступает задорная радость в эту филологическую, в болезненной неподвижности, за спущенными шторами изживаемую жизнь, встряска, вспышка погасшего кровообращения: в тайниках нервов тает и оживает кристально ясная форма мысли, и в стиле, в бурно расцветшем, ожившем языке сверкает алмазными искрами солнце.

Все вписано в этот «язык южного ветра» — так назвал он сам язык первого из своих южных творений: в нем слышится треск ломающегося льда, мощный гул потока, сбрасывающего ледяные оковы, — и будто весна, играя и лаская мягкой сладостью, вступает в мир. Свет, проникающий до последних глубин, ясность, сверкающая в каждом слове, музыка в каждой паузе, и во всем — ослепительный звук залитого сиянием неба. Какое преображение ритма — прежнего, пусть окрыленного, мощного и выпуклого, но все же окаменелого — в новый, внезапно раскрывшийся, звенящий язык — радостно-гибкий, ликующий язык, который расправляет свои члены и — подобно итальянцам — мимирует и жестикулирует бесчисленными движениями, — и как мало напоминает он немецкую речь, звучащую из неподвижного, безучастного тела! Не похож он на самодовольный, благозвучный, фрачный язык немецкого гуманиз-

ма, этот новый язык, которому поверяет обновленный Ницше свои свободно рожденные, будто мотыльки прилетевшие мысли, — свежему воздуху мысли нужен свежий язык, подвижный, ковкий, с обнаженным, гимнастически стройным телом и гибкими суставами, язык, способный бегать, прыгать, выпрямляться, сгибаться, напрягаться и танцевать все танцы от хоровода меланхолии до тарантеллы безумия, язык, который может все выразить и все вынести, не склоняя плечи под непосильной ношей и не замедляя шаг. Все терпеливо-домашнее, все уютно-почтенное будто хлопьями отпало от его стиля, вихрем он перебрасывается от шутки к бурному ликованию, и подчас гремит в нем пафос, словно гул древнего колокола. Он набухает брожением и силой, он газирован множеством мелких, сверкающих пузырьков афоризма и обдает внезапной пеной ритмического прибоя. В нем разлита золотистая торжественность шампанского и магическая прозрачность, лучистая солнечность сквозит в его ослепительно светлом потоке. Быть может, никогда язык немецкого поэта не переживал такого стремительного, внезапного, такого полного омоложения; и, уж наверное, ни у кого не найти так жарко напоенного солнцем, вином и Югом, язычески свободного стиля, расцветающего в божественно легкой пляске. Только в братских стихии Ван Гога переживаем мы то же чудо внезапного прорыва солнца в северном художнике: только переход от темного, тяжеловесно-массивного, мрачного колорита его голландского периода к жгуче-белым, резким, броским, звонким краскам Прованса, только этот взрыв одержимости светом в уже полуослепшем духе можно сравнить с южным просветлением Ницше. Только эти фанатики превращений знают такое самоопьянение, только вампиры — такое стремительное и ненасытное, неистовое всасыванье света. Только демонические натуры переживают чудо пламенного раскрытия души до последнего атома ее краски, звука, слова.

Но в жилах Ницше не текла бы демоническая кровь, если бы он мог насытиться опьянением: для Юга, для Италии он ищет сравнительной степени, «сверх-ясности», «сверх-света». Подобно тому, как Гёльдерлин постепенно переносит свою Элладу в «Азию», в восточный, в варварский мир, так последняя страсть Ницше пылает навстречу тропическому, «африканскому» миру. Он жаждет солнечного пожара вместо солнечного света, жестокой обнажающей ясности, а не простой четкости, судорог восторга, а не спокойной радости: бурно вскипает в нем жажда без

остатка претворить в хмель возбуждение чувств, танец обратить в полет, добела раскалить свое жгучее ощущение бытия. И по мере того, как набухает в его жилах это страстное вожделение, язык перестает удовлетворять его неукротимый дух. И он тоже становится для него слишком материален, тесен, тяжеловесен. Новая стихия нужна ему для пьянящей дионисийской пляски, охватившей его существо, свобода, недоступная связанному слову, — и он вливается в свою исконную стихию — в музыку. Музыка Юга — его последняя мечта, музыка, где ясность — уже мелодия, и дух окрылен. И неустанно он ищет ее, кристальную музыку Юга, тщетно ищет в эпохах и странах, пока не находит ее — в себе.

БЕГСТВО В МУЗЫКУ

Ясность, златая, приди!

Музыка всегда была причастна существу Ницше, но долго она пребывала в нем связанной, сознательно подавленная волей к нравственному оправданию. Уже мальчиком он смелыми импровизациями приводит в восторг своих товарищей, а в его юношеских дневниках встречается немало указаний на самостоятельное творчество. Но чем тверже становится решение юного студента посвятить себя филологии и затем философии, тем энергичнее он противится стихийному взрыву загнанной в подземелье склонности. Музыка остается для молодого филолога делом досуга, отдыхом от серьезных занятий, развлечением наряду с театром, чтением, верховой ездой, фехтованием, — приятной духовной гимнастикой. Так при помощи заботливо сооруженных каналов музыка отведена от основного русла его жизни, и в первые годы ни одна плодотворная капля ее не просачивается в его работу сквозь запертые шлюзы; когда он пишет «Рождение трагедии из духа музыки», музыка служит для него лишь объектом, темой, предметом мысли; но его язык, поэзия, манера мышления остаются непроницаемы для модулирующих вибраций музыкального чувства. Даже юношеская лирика Ницше лишена всякой музыкальности, и — что еще удивительнее — его композиторские опыты, по все же компетентному отзыву Бюлова, представляют собой голую тематику, аморфную мысль, то есть типичную антимзыкальность. Музыка долгие годы остается для него личной склонностью, которой молодой

ученый отдается со всей легкостью безответственности, с радостью чистого дилетантства, но всегда вне и в стороне от «жизненной задачи».

Музыка вторгается в мир Ницше лишь тогда, когда размочилась филологическая кора, ученая деловитость, облежавшая его жизнь, когда весь его космос потрясен и подорван вулканическими толчками. Тогда внезапно наводняются каналы и раскрываются шлюзы. Музыка обычно врывается в обессиленную, до глубин смятенную, взорванную страстью душу — это справедливо подметил Толстой и трагически почувствовал Гёте. Ведь даже он, всегда занимавший по отношению к музыке осторожную, оборонительную позицию (как и ко всему демоническому: во всяком облике узнавал он искусителя), он подпадает ее власти только в разрыхленные (или, как он говорит, «в развороченные») мгновения, когда вскопано все его существо, в часы слабости и разомкнутости. Всякий раз, как он становится добычей чувства (в последний раз в эпизоде с Ульрикой) и теряет власть над собой, она прорывает непроницаемую плотину, вырывая у него дань слез и музыку стиха, дивную музыку — невольную дань благодарности. Музыка — кто этого не испытал? — всегда требует разомкнутости, раскрытости, женственности в самом блаженном, в самом томительном смысле — только в такие минуты может она оплодотворить чувство. Так и Ницше настигла она в то мгновение, когда он весь раскрыт навстречу мягкости Юга, в ненасытной, томительной жажде жизни. В своей изумительной символике она овладевает им в ту минуту, когда его жизнь во внезапном катарсисе оставляет свое спокойное, эпически постепенное течение и впадает в трагизм; он хотел изобразить «рождение трагедии из духа музыки», но сам он пережил обратное: рождение музыки из духа трагедии. Сверхъестественная мощь новых чувств уже не находит выражения в мерной речи, она влечет к новой стихии, к высшей магии: «Тебе придется петь, о душа моя!»

Именно потому, что этот глубинный, демонический источник его существа так долго был засыпан филологией, ученостью и равнодушием, внезапно пробивается он с такой мощью, и текучий луч его насквозь пронизывает нервные волокна и каждую интонацию его стиля. Будто инфильтрированный новой жизненной силой язык, который прежде стремился только к изображению, вдруг начинает дышать музыкально: монотонное лекторское *andante maestoso*, тяжеловесный стиль его ранних сочинений, приобретает обороты, изгибы, «волнообразность», многообразие музы-

кального движения. В нем сверкают все утонченные приемы виртуоза — острые staccato афоризмов, певучая сурдина лирики, pizzicato иронии, острая, смелая гармонизация прозы, фразы и стиха. Даже знаки препинания, беззвучная штриховка речевого звучания, штрихи мысли, подчеркивания — и они служат как бы знаками музыкального исполнения: никогда на немецком языке не создавалась такая инструментальная проза — проза для малого и для большого оркестра. Следить за развитием ее небывалой полифонии — для художника слова такое же наслаждение, как для музыканта — изучать партитуру великого мастера: какую беспредельную гармонию скрывают заостренные диссонансы, какая безграничная ясность формы в этой пьянящей полноте! Не только нервные окончания языка вибрируют музыкой: целые произведения воспринимаются как симфонии; не рассудочной планировкой, не холодной, обдуманной архитектурной они рождены, а непосредственностью музыкального вдохновения. О «Заратустре» он сам сказал, что эта книга написана «в духе первой части Девятой симфонии, и словесно неподражаемое, поистине божественное вступление к «Ессе homo», монументальная композиция, — разве это не органная прелюдия, созданная для гигантского собора будущего? А такие стихотворения, как «Ночная песня» или «Баркарола», — разве это не перво-бытный гимн человеческого голоса, звучащий из бесконечного одиночества? И где звучит восторг такой стихийной пляской, такой героической, греческой музыкой, как в пеане его последнего ликования, в «Дионисийском дифирамбе»? Сверху пронизанный ясностью Юга, снизу подмытый струящимся потоком музыки, язык превращается в вечное движение волн, и над этой всемогущей стихией парит дух Ницше, провидя гибельный водоворот.

И действительно, когда совершилось это бурное, насильственное вторжение музыки в его душу, Ницше, знаток демонических сил, сознает опасность: он чувствует, что этот поток может увлечь его за пределы его существа. Но в то время, как Гёте избегает опасностей — Ницше отмечает «осторожное отношение Гёте к музыке», — Ницше всегда хватается их за рога: переосмысление, переоценка — вот его способ самозащиты. Так претворяет он яд (как и свою болезнь) в противоядие. Музыка теперь для него не то, чем была в его филологические годы: тогда ему нужно было повышенное напряжение нервов, вспышки чувства (Вагнер), музыка, пьянящее, бродящее начало, должна была создать противовес его размеренной жизни ученого, слу-

жить возбуждающим средством против трезвости. Но теперь, когда его мышление само обратилось в экссесс, в экстагическую расточительность чувства, музыка нужна ему как разряд, как своего рода духовный бром, как успокоительное средство. Уже не опьянения требует он от нее (теперь уже всякая мысль стала для него звучащим хмелем), а, по прекрасному слову Гельдерлина, «священной трезвости»: «музыка как отдых, а не как возбуждающее средство». Он хочет музыки, которая была бы для него убежищем, когда он придет к ней смертельно раненный, обессиленный непрестанной охотой мысли, была бы приютом, купальней, кристалльным потоком, освежающим и очищающим, — *musica divina*¹, горней музыкой, музыкой ясного неба, а не тесной, страстной, душной души. Ему нужна музыка, которая несет забвение, которая не замыкает его в себе, не гонит его обратно в кризисы и катастрофы чувства, «словом и делом утверждающая» музыка, музыка Юга, музыка прозрачно ясных гармоний, первобытно непосредственная и чистая, музыка, «которую можно насвистывать». Музыка, непричастная хаосу (который пылает в нем самом), музыка седьмого дня творения, когда мир объят покоем и только небеса радостно воздают хвалу творцу, музыка отдохновенья: «Здесь достиг я пристани: музыка, музыка».

Легкость — последняя любовь Ницше, высшая мера вещей. То, что дает легкость, здоровье, хорошо — в пище, в духе, в воздухе, в солнце, в пейзаже, в музыке. Только то, что дает крылья, что позволяет забыть тупость и мрак жизни, уродливость правды, дарует благодать. Отсюда эта последняя, поздняя любовь к искусству, которое одно «делает возможной жизнь», служит «великим *Stimulans* жизни». Музыка, светлая, легкая, разрешающая музыка, становится отныне излюбленной услдой его смертельных возбуждений. В своих кровавых перерождениях он уже не может обходиться без этого облегчения. «Жизнь без музыки — просто бремя, заблуждение». Больной в жару горящими, потрескавшимися губами мучительно жаждет воды, но несравненно мучительней жаждет Ницше в своих последних кризисах серебристого напитка музыки: «Может ли человек испытывать такую жажду музыки?» В музыке его последнее спасенье, спасенье от самого себя; отсюда эта апокалипсическая ненависть к Вагнеру, который наркотическими и возбуждающими средствами возмутил ее кристалльную

¹ Божественная музыка (*лат.*).

чистоту; отсюда боль «от судьбы музыки, как от свежей раны». Всех богов оттолкнул он в своем одиночестве, лишь одного он не может лишиться: музыка для него нектар и амброзия, освобождающая душу и дарующая вечную юность. «Искусство, и только искусство, — искусство дано нам для того, чтобы мы не погибли от правды».

И музыка благосклонно внимает его потрясающим заклятиям, она подхватывает его падающее тело. Все покинули изнывающего в лихорадке; давно ушли друзья, мысли всегда далеки в безудержном, в непрестанном странствии; только она сопутствует ему вплоть до последнего, седьмого одиночества. К чему прикасается он, к тому прикасается и она; там, где он говорит, звучит и ее чистый голос: мощно поддерживает она влекомого мощной силой. И еще в миг падения она бодрствует над его погасшим духом; когда Овербек входит в комнату, где мечется его ослепленная душа, он застает его за роялем — судорожными руками он ищет высоких гармоний; и когда помешанного везут на родину, он всю дорогу поет потрясающую мелодию — свою «Баркаролу». Вплоть до мрачных глубин безумия ему сопутствует музыка, своей демонической силой властно пронизывая и жизнь его, и смерть.

СЕДЬМОЕ ОДИНОЧЕСТВО

Великий человек отталкивается,
оттесняется, мукой возносится в свое
одиночество.

«О ты, одиночество, отчизна моя, одиночество!» — из ледяного мира тишины доносится песня тоски. Заратустра поет вечернюю песню, песню последней ночи, песню о вечном возврате. Одиночество — не оно ли было единственным пристанищем странника, его холодным очагом, его каменным кровом? В бесчисленных городах побывал он, в бесконечных странствиях духа; не раз он пытался избегнуть его в странах других людей — но вечно, израненный, измученный, разочарованный, возвращается он домой, «в свою отчизну — одиночество».

Но, странствуя вместе с ним в его преображениях, оно само как-то странно преобразилось, и в испуге он смотрит в его лицо. Оно стало слишком похоже на него самого в постоянном соприкосновении, вместе с ним стало жестче, суровее, своевольнее, научилось причинять боль и вращать

в опасность. И хотя он продолжает нежно называть его одиночеством, своим старым, милым, привычным одиночеством, в действительности оно уже не то: теперь это уже не одиночество, а отъединение, последнее, седьмое одиночество, уже не пребывание наедине с собой, а замкнутость в себе. Убийственная пустота окружает позднего Ницше, мертвая тишина. Ни один затворник, ни один пустынный, ни один столпник не чувствовал себя таким покинутым: у них, у фанатиков веры, остается Бог, тень которого пребывает в их келье или падает от их столпа. Но у него, «богоубийцы», не осталось ни людей, ни Бога, чем ближе он к самому себе, тем дальше он от мира, чем обширней его путь, тем обширней и его «пустыня». Обычно даже самые одинокие книги постепенно и незаметно излучают магнетическую энергию воздействия: будто скрытая во мраке подземная сила расширяет ее пределы вокруг пока не замечаемого центра. Но произведения Ницше действуют репульсивно: они отталкивают от него все дружески расположенное и его самого вытесняют из современности. С каждой новой книгой он утрачивает друга, с каждым новым произведением обрывается какая-нибудь связь. Один за другим погибают в ледяном холоде скудные ростки интереса к его деятельности: сперва теряет он филологов, затем Вагнера и его круг, наконец — друзей своей юности. Не остается в Германии ни одного издателя, который бы согласился напечатать его книгу: пятнадцатипудовым грузом лежит в подвалах, сваленная переплетенными кипами, его продукция за двадцать лет; для того, чтобы печатать книги, он вынужден пользоваться своими скудными сбережениями и подаренными деньгами. Но мало того, что никто их не покупает, — даже для экземпляров «от автора» Ницше, поздний Ницше, не находит читателей. Четвертую часть «Заратустры» он печатает за собственный счет всего в сорока экземплярах, и в семидесятиmillionной Германии он находит ровно семь человек, которым он может послать книгу, — так чужд, так непостижимо чужд стал Ницше эпохе на вершине своего творчества. Он не встречает ни крохи доверия, не видит благодарности хотя бы с горчичное зерно: напротив, для того, чтобы сохранить последних друзей, для того, чтобы не потерять Овербека, он должен извиняться в том, что пишет книги, просить у них прощения. «Старый друг, — вы слышите робкий голос, видите встревоженное лицо, поднятые руки, жест покинутого, в страхе ожидающего нового удара, — читай эту книгу с начала и с конца, не смущайся и не покидай меня. Собери всю силу своего расположения ко

мне. Если книга будет для тебя невыносима, то, может быть, ты примиришься с сотней отдельных мест». Так в 1887 году величайший гений столетия дарит своим современникам одно из величайших произведений современности, и доказательством самой героической дружбы для него служит то, что разрушить ее ничто не может — даже «Заратустра». Даже «Заратустра»! — такой тягостью, таким бременем стало творчество Ницше для его ближайших друзей, так неизмерима пропасть между его гением и уровнем эпохи. Все разреженнее становится атмосфера, которой он дышит, все глуше, все тише.

Эта тишина превращает в ад последнее, седьмое одиночество Ницше: об ее металлическую стену разбивается его мозг. «На такой призыв, каким был мой «Заратустра», призыв, вырвавшийся из глубины души, не услышать ни звука в ответ, ничего — ничего, кроме беззвучного, теперь уже тысячекратного одиночества, — в этом есть нечто ужасное, превышающее всякое понимание; от этого может погибнуть самый сильный человек», — так стонет он и прибавляет: «А я не из самых сильных. С тех пор мне кажется, будто я смертельно ранен». Он жаждет не успеха, не сочувствия, не славы — напротив, его боевой темперамент готов встретить гнев, негодование, даже насмешку — «в состоянии почти до разрыва натянутого лука всякий аффект благодворен для человека, при условии, чтобы это был сильный аффект», — но лишь бы какой-нибудь ответ, горячий или холодный, или даже теплый, лишь бы что-нибудь подтвердило ему его существование, его духовное бытие. Но даже друзья робко уклоняются от ответа и в письмах тщательно избегают всякого отзыва, как тягостной повинности. И эта рана въедается все глубже в его тело, разъедает его гордость, воспаляет его самосознание, зажигает пожар в его душе — «рана от неполученного ответа». Она-то и делает его одиночество отравленным и лихорадочным.

И эта лихорадка, достигнув точки кипения, внезапно брызнула ключом из раненой души. Достаточно приложить ухо к сочинениям и письмам его последних лет, чтобы в этой разреженной атмосфере услышать возбужденное, болезненное биение, невероятное давление крови; сердце горных туристов и воздухоплателей знает этот стучащий, учащенный звук вздувающихся легких, в последних письмах Клейста звучит учащенный стук напряженности, этот грозный гул и хруст готовой взорваться машины. Черты беспокойства, нервности окрашивают до тех пор спокойное, полное достоинства поведение Ницше: «Длительное молчание

ожесточило мою гордость» — он хочет, требует ответа во что бы то ни стало. Он торопит издателя письмами и телеграммами — только бы скорей, скорей вышла книга, — как будто он боится опоздать. Он уже не заканчивает «Волю к власти», свой капитальный труд, а, нарушая план, в нетерпении вырывает из него отдельные части и, как факел, бросает их в эпоху. «Ослепительный звук» погас; стон звучит в этих последних произведениях, стон, срывающийся со сжатых губ, стон безмерного язвительного гнева: бичом нетерпения выгнаны из его души эти разъяренные волки с пеной у рта и оскаленными зубами. «Ожесточена» гордость равнодушного к эпохе мыслителя, и он начинает провоцировать эпоху, чтобы она откликнулась ему — хотя бы воплем гнева. И для того, чтобы придать вызову еще большую дерзость, он с «цинизмом, которому суждено стать историческим», в «Ессе homo» рассказывает свою жизнь. Нет книги, которая была бы написана с такой жаждой, с таким болезненно-судорожным, лихорадочным ожиданием ответа, как последние монументальные памфлеты Ницше: подобно Ксерксу, повелевавшему бичевать непокорное, бездушное море, он в своем безумном вызове пытается разбудить тупое равнодушие скорпионов своих книг. Ужасный страх, что он не успеет снять жатву, демоническое нетерпение сквозит в этой жажде ответа. И после каждого взмаха бичом он медлит мгновение, изгибается в нестерпимом напряжении, чтобы услышать вопль своих жертв. Но ни звука вокруг. Не слышно отклика в мире «лазурного» одиночества, словно железный обруч, стискивает молчание его горло, и самый ужасный вопль, какой раздавался на земле, не в силах его сломить. И он чувствует: нет Бога, который мог бы вывести его из темницы последнего одиночества.

Тогда, в последние часы, овладевает изнемогающим апокалипсическая ярость. Как ослепленный Полифем, мечет он вокруг себя огромные камни, уже не видя, задевают ли они кого-нибудь: и так как у него нет никого, кто бы сострадал, кто бы сочувствовал ему, он хватается за свое судорожное сердце. Всех богов он убил — и себя самого он делает богом: «разве не должны мы сами стать богами, чтобы явиться достойными подобных деяний?» Все алтари он низверг — и себе самому воздвигает алтарь, «Ессе homo», чтобы прославить того, кого не прославляет никто. Словесные скалы он громоздит, гремят раскаты языка с незнакомой столетию мощью; вдохновенно поет он лебединую песнь избытка и упоенья, пеан своих деяний и побед. Во мраке звучит эта песнь, и слышится в ней шум приближения

грозы, и вдруг в вышине сверкнул смех, резкий, злобный, безумный смех, смех отчаянья, способный душу раззять: песнь «Ессе homo». Все прерывистой ритм, все резче врывается смех в глетчер молчания: в восторге самообожания воздевает он руки, в такт дифирамбу вздрагивает его нога — и вот начинается танец, танец над бездной, над бездной его конца.

ТАНЕЦ НАД БЕЗДНОЙ

Если долго смотреть в бездну, то бездна начинает смотреть в тебя.

Пять осенних месяцев 1888 года — последние творческие месяцы Ницше — явление небывалое в летописях творчества. Никогда, может быть, на протяжении столь краткого промежутка времени гений единичного человека не совершал такой огромной, такой напряженной, такой величественной и гиперболической работы; никогда человеческий мозг не был так наводнен мыслями, пронизан образами, опьянен музыкой, как мозг этого, в те дни уже отмеченного судьбой человека. Для этого избытка, для этого бурно изливающегося экстаза, для этой фанатической ярости творчества история духа всех времен не знает примера в своих необъятных далях, кроме, может быть, одного — в современности: в том же году, под той же широтой, переживает другой художник такой же неистовый, уже загнанный в безумие подъем творчества — в саду и в сумасшедшем доме в Арле; с той же стремительностью, с той же иступленной одержимостью светом, с той же маниакальной избыточностью творчества создает свои картины Ван Гог. Едва закончит он добела раскаленную картину, как уверенный штрих уже ложится на новое полотно — без обдумыванья, без промедленья, без размышлений. Творчество стало диктовкой, демоническим ясновидением и быстровидением, непрерывной цепью видений. Друзья, покинувшие его час тому назад, вернувшись, с изумлением видят новую законченную картину, а он, с еще не высохшей кистью, с горящими глазами, уже принимается за третью: демон, схвативший его за горло, не дает передышки, не терпит перерывов; что ему до всадника, чье пышущее огнем, пылающее тело будет растоптано копытами бешено скачущего коня! Так создает и Ницше произведение за произведением, без остановки, без передышки, с той же неповторимой ясностью и быстротой.

Десять дней, две недели, три недели — вот сроки создания его последних произведений; зачатие, созревание, рождение, первоначальный набросок и окончательная форма — все эти стадии пролетают здесь с быстротой пули. Нет инкубационного периода, нет остановок, исканий, нащупываний, нет изменений и поправок: все выливается сразу в окончательную, неизменную, совершенную, горячую и тут же застывающую форму. Никогда не развивал человеческий мозг такого мощного электрического напряжения, сверкающего в каждом судорожном слове, никогда не сплетались ассоциации с такой волшебной быстротой; едва возникшее видение — уже слово, мысль — сама прозрачность, и, несмотря на эту невероятную полноту, не чувствуется ни малейшего труда, ни малейшего усилия — творчество давно перестало быть для него деятельностью, работой: это чистое *laissez faire*, произвольное тайнодеяние высших сил. Потрясенному духом достаточно поднять взор — дальновидящий, «дальномыслящий» взор, — чтоб открылись ему (как и Гёльдерлину в последнем взлете к мифическому созерцанию) необъятные просторы времени в прошлом и в будущем: и он, одержимый демоном ясности, с демонической ясностью видит свою добычу. Достаточно ему протянуть руку, горячую, быструю руку, чтобы схватить их; и едва прикоснется он к ним, как они наполняются кровью, трепещут музыкой, оживленные и одушевленные. И этот поток мыслей и образов не останавливается ни на миг в течение этих поистине наполеоновских дней. Дух затоплен разливом, предан насилию — насилию стихийных сил. «Заратустра овладел мною», — всегда сообщает он о какой-нибудь одержимости, о незащитности перед непреодолимыми силами, как будто в глубине его существа обрушилась скрытая плотина разума, органической самозащиты и неумный водопад катит свои волны над обессиленным, над величественно обезволенным пловцом. «Быть может, вообще никогда и ничто не создавалось таким избытком силы», — в экстазе говорит Ницше о своих последних произведениях; но ни одним словом он не обмолвился о том, что эта сила, так щедро его одаряющая, так ярко его озаряющая, исходит от его существа. Напротив, в благоговейном упоении он видит в себе лишь «мундштук потусторонних императивов», лишь носителя высшей, священной, демонической стихии.

Но это чудо вдохновения, ужас и трепет этой в течение пяти месяцев не утихающей творческой грозы — кто решится его изобразить после того, как он сам в восторге

благодарности, в сиянии непосредственного, самого жизненного чувства изобразил свое переживание? Я могу лишь переписать эту страницу молниями изваянной прозы так, как он ее написал: «Имеет ли кто-нибудь в конце девятнадцатого столетия ясное представление о том, что поэты сильных эпох называли вдохновением? Если нет, то я это опишу. Действительно, при самом ничтожном остатке суверенитет в душе почти невозможно отказаться от представления, что являешься только воплощением, только мундштуком, только посредником сверхмощных сил. Понятие откровения, в том смысле, что внезапно, с невыразимой достоверностью и тонкостью нечто становится видимым, слышимым, нечто такое, что глубоко потрясает и опрокидывает человека, только описывает факты. Не слушаешь, не ищешь; берешь — и не спрашиваешь, кто дает; будто молния сверкнет мысль, с необходимостью, уже облеченная в форму, — у меня никогда не бывало выбора. Восторг, неимоверное напряжение которого иногда разрешается потоком слез, восторг, при котором шаг то бурно устремляется вперед, то замедляется; полный экстаз, пребывание вне самого себя, с самым отчетливым сознанием бесчисленных тончайших трепетов и увлажнений, охватывающих тело с головы до ног; глубина счастья, в котором самое болезненное и мрачное действует не как противоположность, а как нечто обусловленное, вынужденное, как необходимая краска среди такого избытка света; инстинкт ритмических отношений, оформляющий обширные пространства, — протяженность, потребность в широком ритмическом охвате может почти служить мерой для силы вдохновения, как бы противовесом давлению и напряжению. Все происходит в высшей степени произвольно, но как бы в урагане ощущения свободы, безусловности, божественности, мощи... Самое замечательное в этом — произвольность образа, сравнения; утрачивается всякое понятие об образе, о сравнении, все дается как самое точное, самое верное, самое естественное выражение. Действительно, кажется, говоря словами Заратустры, будто предметы сами приходят к тебе и сами сочетаются в сравнения («тут все предметы, ласкаясь, приходят в твою речь и льнут к тебе; ибо они хотят ездить на твоей спине. Здесь раскрываются перед тобой все слова и все ларцы слова; всякое бытие здесь хочет стать словом, всякое становление хочет учиться у тебя речи»). Вот мой опыт вдохновения; я не сомневаюсь, что нужно вернуться на тысячелетия назад, чтобы найти кого-нибудь, кто скажет: и мой тоже».

Эта самоупоенная, эта гимническая интонация счастья — я знаю: наши врачи видят в ней эйфорию, восторг, предшествующий гибели, и стигму мегаломании, самовозношение, типичное для душевнобольных. И все же, спрошу я, кем изваяно в вечности с такой алмазной ясностью состояние творческого экстаза? Ибо самое изумительное, самое своеобразное чудо последних произведений Ницше в том, что высшей степени экстаза здесь сомнамбулически сопутствует высшая степень ясности, что они остаются мудры как змеи среди вакханалии своей почти животной силы. Обычно у экстатиков, у всех, чья душа опьянена Дионисом, неподвижны уста, и слово их озвучено мраком. Будто из глубин сновидения звучат их смятенные, вещие речи; все они, заглянувшие в бездну, навсегда сохраняют орфическую, пифическую, тайновидческую интонацию потустороннего языка, внятную нашему трепетному чувству, но непонятную уму. Но Ницше остается алмазно-ясен среди экстаза, неколебимо твердым и острым остается в пламени опьянения его слово. Быть может, никто из смертных не вглядывался в бездну безумия так глубоко и зорко, так властно и ясно, без малейшего головокружения: показания Ницше не подкрашены, не подтушеваны тайной, как у Гёльдерлина, как у мистиков и пификов; напротив, никогда он не был ясней и правдивей, чем в свои последние мгновения — в свете сияющей тайны. Правда, губительно это сиянье — фантастическая, болезненная яркость полуночного солнца, в раскаленном ореоле встающего над ледяными горами, северное сияние души, вызывающее трепет своим неповторимым величием. Оно не греет, а устрашает, не ослепляет, но убивает. Не бурные волны ритма уносят его, как Гёльдерлина, не темные воды тоски: его сжигает собственная яркость, будто солнечный удар безмерного света, безмерного жара, добела раскаленной и уже невыносимой ясности. Гибель Ницше — огненная смерть, испепеление самовоспламенившегося духа.

Давно уже пылает и сверкает в судорогах его душа от этой чрезмерной яркости; он сам, в магическом предвидении, нередко пугается этого потока горнего света и яркой ясности своей души. «Интенсивности моего чувства вызывают во мне трепет и хохот». Но ничем уж не остановить экстатического потока этих соколом низвергающихся с неба мыслей; звеня и звуча, жужжат они вокруг него день и ночь, ночь и день, час за часом, пока не оглушит его гул крови в висках. Ночью помогает еще хлорал, возводя шаткую крышу сна — слабую защиту от нетерпеливого ливня

видений. Но нервы пылают как раскаленная проволока; он весь — электричество, молнией вспыхивающее, вздрагивающее, судорожное пламя.

Удивительно ли, что в этом вихре скоростей вдохновения, в этом безудержном водопаде гремящих мыслей он теряет твердую, ровную почву под ногами, что Ницше, разрываемый всеми демонами духа, уже не знает, кто он, что он, безграничный, уже не видит своих границ? Давно уже вздрагивает его рука (с тех пор, как она пишет под диктовку высших сил, а не человеческого разума), подписывая письма именем «Фридрих Ницше»: ничтожный сын наумбургского пастора — подсказывает ему смутное чувство — это уже давно не он, переживающий невероятное, существо, которому нет еще имени, колосс чувства, новый мученик человечества. И только символическими знаками — «Чудовище», «Распятый», «Антихрист», «Дионис» — подписывает он письма, свои последние послания, с того мгновенья, как он постиг, что он и высшие силы — одно, что он — уже не человек, а сила и мессия... «Я не человек, я — динамит». «Я — мировое событие, которое делит историю человечества на две части», — гремит его гордыня, потрясая окружающую его пустоту. Как Наполеон в пылающей Москве, среди бесконечной русской зимы, видя лишь жалкие обломки великой армии, все еще издает монументальные, грозные манифесты (величественные до грани смешного), так Ницше, запертый в пылающем Кремле своего мозга, обессиленный, собирая рассеянные отряды своих мыслей, пишет самые убийственные памфлеты: он приказывает германскому императору явиться в Рим, чтобы расстрелять его; он требует от европейских держав вооруженного выступления против Германии, на которую он хочет надеть железную смирительную рубашку. Никогда столь апокалипсическая ярость не свирепствовала так буйно в пустом пространстве, никогда столь величественная гордыня не уносила человеческий дух так далеко за пределы всего земного. Будто удары молота, разбивают его слова все мироздание: он требует, чтобы летоисчисление начиналось не с Рождества Христова, а с появления Антихриста, свое изображение он ставит над образами всех времен — даже ослепленный бред у Ницше величественнее, чем у других ослепленных духом; и здесь, как во всем, царит у него великолепная, смертельная чрезмерность.

Никогда не испытывал творящий человек такого потока вдохновения, как Ницше в ту неповторимую осень. «Так никто еще не творил, не чувствовал, не страдал: так может

страдать только Бог, только Дионис» — эти слова зарождающегося безумия таят ужасную правду. Ибо в этой тесной комнате в четвертом этаже и в берлоге в Зильс-Мариа вместе с больным, издерганным человеком Фридрихом Ницше ютятся самые отважные мысли, самые величественные слова, какие были пережиты концом столетия: творческий дух нашел приют под низкой, солнцем накаленной крышей и здесь изливает на несчастного, безвестного, одинокого, робкого, потерявшегося человека всю свою полноту — свыше меры, какую может вынести человек. И в этом тесном пространстве, задыхаясь бесконечностью, шатаясь, блуждает испуганный, бедный земной рассудок, под тяжестью ударов молнии, под бичами озарений и откровений. Некий Бог — мнится ему, как и ослепленному духом Гёльдерлину, — некий Бог веет над ним, огненный Бог, чей взор ослепляет и чье дыханье сжигает... в трепете тщится он познать его лик, и в изнеможении бродят его мысли. И он, переживающий, создающий, сознающий в муках несказанное... не Бог ли он сам... Бог мира, убивший другого Бога... Кто же, кто же он?.. Уж не распятый ли он, мертвый Бог?.. или живой?.. Бог его юности, Дионис?.. или, может быть, сразу и тот, и другой, распятый Дионис?.. Все смятеннее мысли, слишком бурно бушует поток, переполненный светом... И что это — свет?.. или уже музыка? Тесная комната в четвертом этаже на Via Alberto начинает звучать, сферы парят и сияют, небеса объаты светом... О, какая музыка! Слезы текут по его усам, теплые, горячие слезы... о, божественная нежность! о, изумрудная радость!.. А теперь... какие светлые краски!.. И внизу, на улице, все улыбаются ему... все кланяются... как они приветствуют его!.. и эта разносчица — она ищет для него лучшие яблоки в своей корзине... все склоняется перед ним, богоубийцей, все ликует... но почему?.. Да, да, он знает: Антихрист пришел в мир, и они возглашают: «Осанна!.. осанна!»... все гремит, мир гремит в ликование и в музыку... И вдруг — тишина... Что-то упало... Это он... он сам упал перед дверью своего дома... Его несут наверх... вот он уж в комнате... как долго он спал! какая тьма вокруг!.. вот рояль... музыка! музыка!.. И вдруг — в комнате люди... ведь это Овербек!.. нет, нет, он в Базеле... а сам он, сам он... где?.. Он не знает... Почему они смотрят так странно, так озабоченно?.. Потом — вагон, вагон... как грохочут колеса!.. как странно грохочут, — как будто вот-вот запоют... и вот поют... поют его «Баркаролу», и он поет с ними в тон... поет в беспредельной тьме...

И потом где-то в комнате, в незнакомом месте, где вечный мрак, вечный мрак. Нет больше солнца, нет больше света, ни здесь, нигде. Где-то внизу голоса людей. Вот женщина — быть может, сестра? Но ведь она далеко... навсегда. Она читает ему книгу... Книгу? Разве сам он не писал книг? Кто-то ласково отвечает ему. Но он уже не понимает слов. Тот, в чьей душе отшумел такой ураган, навеки глух для человеческой речи. Тот, кто так глубоко заглянул в глаза демону, ослеплен навеки.

ВОСПИТАТЕЛЬ СВОБОДЫ

Быть великим — значит дать направление.

«Меня поймут после европейской войны» — в последних писаниях проскальзывает пророческое слово. И в самом деле, истинный смысл, историческая необходимость великих увещаний уясняется только из напряженного, зыбкого и грозного состояния нашего мира на пороге нового столетия: в этом атмосферическом гении, который всякое предчувствие грозы претворял из нервного возбуждения в сознание, из предчувствия в слово, — в нем мощно разрядилось неимоверное давление спертой нравственной атмосферы Европы — величественная гроза духа, предвестье губительной грозы истории. «Дальномыслящий» взор Ницше видел кризис еще в ту пору, когда другие уютно грелись у очагов услужливой фразы, и видел его причину: «национальный зуд сердца и гангрену, из-за которой Европа будто карантинными отгораживает народ от народа», «национализм рога-того скота», не знающий более высоких идей, чем эгоистическая идея истории, — в то время как все силы бурно стремятся к высшему объединению, к союзу будущего. И гневно звучит из его уст предвещание катастрофы, когда он видит судорожные попытки «навечно закрепить мелководявие Европы», оградить нравственность, основанную только на торгашестве и выгоде. «Это абсурдное состояние не может долго длиться, — огненными буквами пишет на стене его рука, — лед под нашими ногами стал слишком тонок: все мы чувствуем гибельное теплое дыхание южного ветра». Никто не слышал так явственно, как Ницше, хруст в социальном строении Европы, никто в Европе в эпоху оптимистического самолюбования с таким отчаянием не призывал к бегству — к бегству в правдивость, в ясность, в

высшую свободу интеллекта. Никто не ощущал с такой силой, что эпоха отжила и отмерла и рождается в смертельном кризисе нечто новое и мощное: только теперь мы знаем это вместе с ним.

И этот смертельный кризис — смертельно продумал и пережил он его в предчувствии; в этом его величие, его героизм. И неимоверное напряжение, которое так терзало и в конце концов надорвало его дух, — оно связало его с горной стихией: это был лихорадочный жар нашего мира, продолжавшийся, пока не вскрылся гнойный нарыв. Перед великими революциями и катастрофами всегда летают буревестники духа, и смутная вера народа, которая перед войнами и кризисами всегда видит кровавые кометы в высшей стихии, — эта суеверная вера оправдывается в духе. Ницше был таким маяком в воздушной стихии, предгрозовой молнией, великим шумом на горных высях, предвещающим бурю в долинах, — никто с такой метеорологической точностью не предчувствовал силу грядущего катаклизма нашей культуры. Но вечная трагедия духа в том, что его сфера высшего, ясного виденья не сообщается с затхлым, стоячим воздухом эпохи, что никогда современность не чувствует и не замечает знамений на небе духа и шумных крыл пророчества. Даже самый светлый гений века не был достаточно ясен, не был внятен эпохе: как марафонский гонец, видевший гибель персидского царства и пробежавший много миль до Афин, мог возвестить победу только иступленным возгласом измученных легких (и хлынула кровь из смертельно пылавшей груди), так Ницше мог лишь предсказать, но не предотвратить ужасную катастрофу нашей культуры. Только вопль, иступленный, неслышанный, незабываемый вопль он бросил в эпоху — и смертельно было для него напряжение духа.

Но подлинный его подвиг лучше всех выразил, как мне кажется, его лучший читатель Якоб Буркхардт, написав ему, что его книги «увеличили независимость в мире». Именно так сказал умный, умудренный знанием человек: независимость в мире — не независимость мира. Ибо независимость существует всегда только в личности, в единственном числе, она не поддается размножению, не вырастает из книг и знаний: «нет героических эпох, есть только героические личности». Только индивид может внести ее в мир, и только для себя может он ее установить. Всякий свободный дух подобен Александру: штурмом он покоряет города и царства, но нет у него наследников — и завоеванное им царство свободы достается в удел диадохам и прави-

телям, комментаторам и толкователям, которые неизбежно становятся рабами слова. Поэтому величественная независимость Ницше создает не учение (как полагают школьные педанты), не веру, а только атмосферу, бесконечно ясную, безмерно светлую, бурей страсти насыщенную атмосферу демонической личности, разрешающуюся в разрушении, в грозе. Входя в его книги, мы ощущаем озон, стихийный, очищенный от всякой затхлости, спертости, мрачности воздуха: свободный кругозор открывается в этом героическом пейзаже, свободный небосклон, и веет в нем безгранично прозрачный, острый, как нож, воздух для сильного сердца, воздух свободного духа. Всегда в свободе для Ницше последний смысл — смысл его жизни, смысл его гибели: как природе нужны циклоны и вихри, чтоб в мятеже против своего постоянства мощно излить избыток сил, так нуждается время от времени дух в демонической личности, чтоб избыток мощи своей она обратила против монотонии морали и общности мысли; и, разрушая, она разрушает себя. Но в мятеже остается герой изваянием и ваятелем космоса — не меньше, чем мирный строитель: один отражает полноту жизни, другой — ее непостижимую ширь. Ибо только в трагизме героя познаем мы свою глубину. И только безмерный укажет человечеству его последнюю меру.

Зигмунд Фрейд

Если тайная игра силы чувственного влечения кроется в тусклом свете обычных аффектов, то тем нагляднее, явственнее и огромнее проявляет она себя в состоянии бурной страсти; тонкий наблюдатель человеческой души, знающий, в какой мере можно, собственно, рассчитывать на механику обычной свободы воли и до какой степени дозволено мыслить аналогиями, извлечет из этой области немало опыта для своей науки и переработает все применительно к запросам нравственной жизни... Если бы явился, как в другой области природы, новый Линней, который бы стал классифицировать по влечениям и склонностям, как бы мы изумились...

Шиллер

ПОЛОЖЕНИЕ НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ

Сколько истины может вынести дух, на какую степень истины он отваживается? Это становилось для меня все больше и больше мерлом ценности. Заблуждение (вера в идеал) не слепота, заблуждение — трусость. Всякое достижение, всякий шаг вперед в познании вытекают из мужества, из жестокости по отношению к себе, из чистоплотности по отношению к себе.

Ницше

Вернейшим мерлом всякой силы является сопротивление, которое она преодолевает. И труд Зигмунда Фрейда, труд разрушения и созидания наново, становится понятным лишь в его сопоставлении с предвоенной ситуацией в обла-

сти психологии, с тогдашними взглядами — или, правильнее, с отсутствием всякого взгляда на мир человеческих инстинктов. В наши дни фрейдовские мысли — двадцать лет назад еще богохульные и еретические — свободно обращаются в крови эпохи и языка; отчеканенные им формулы кажутся сами собой понятными; требуется, собственно говоря, большее напряжение для того, чтобы мыслить вне их, чем для того, чтобы мыслить ими. Таким образом, именно потому, что нашему двадцатому столетию непонятно, почему это девятнадцатое так яростно противилось давно уже назревшему открытию движущих сил души, необходимо осветить установку тогдашнего поколения в вопросах психологии и потревожить в гробу смехотворную мумию предвоенной нравственности.

Презирать тогдашнюю мораль — а наша молодежь слишком жестоко за нее платила, чтобы можно было не питать к ней искренней ненависти, — не значит еще отрицать самое понятие морали и ее необходимость. Всякое сообщество людей, связанное религиозными или гражданскими узами, считает себя вынужденным, ради самоутверждения, ограничивать агрессивные, сексуальные, анархические тенденции отдельных личностей, ставить им преграды и отводить их течение при помощи той плотины, которая является нравственным правилом или гражданским узаконением.

Само собой разумеется, что каждая из этих групп создает для себя особые нормы и формы нравственности; начиная от первобытной орды и кончая веком электричества, каждое сообщество стремилось подавлять первобытные инстинкты при помощи своих, особых приемов. Жесткие цивилизации прибегали к жесткой силе: эпохи лакедемонская, древнеиудейская, кальвиновская и пуританская пытались выжечь извечный инстинкт сладострастия раскаленным железом. Но, жестокие в своих предписаниях и запрещениях, эти драконовские законы служили все какой-то логической идее. А всякая идея, всякая вера освящают до некоторой степени допущенное ради них насилие. Если Спарта требует нечеловеческой дисциплины, то лишь в интересах воспитания расы, мужественного, воинственного поколения; с точки зрения ее идеального «города», идеального общества всякая свободно изливающаяся чувственность представляется хищением государственной мощи. Христианство в свою очередь борется с плотскими устремлениями человека ради одухотворения, ради спасения вечно

зablуждающегося человеческого рода. Именно потому, что церковь, обладающая высшею психологическою мудростью, знает плотскую, Адамову страстность в человеке, она насильственно противопоставляет ей, как идеал, страстность духовную; при помощи костров и темниц рушит она высокомерие своевольной человеческой природы, чтобы способствовать душе в обретении ее высшей, изначальной родины; жесткая логика, но все же — логика. Здесь и повсюду практика морального законодательства вытекает еще из твердого мирозерцания. Нравственность является осязаемой формой неосязаемой идеи.

Но во имя чего, ради какой идеи требует девятнадцатое столетие, с давних пор только внешне благочестивое, вообще какой-либо узаконенной нравственности? Чувственное, грубо-материалистическое и падкое до наживы, без тени религиозной воодушевленности, характерной для прежних благочестивых веков, провозглашающее начала демократии и права человеческие, оно не может даже сколько-нибудь серьезным образом оспаривать у своих граждан право на свободу чувственности. Кто начертал единожды на знамени культуры слово «терпимость», тот уже не имеет права вмешиваться в моральные воззрения индивидуума.

В действительности и новейшее государство ничуть не беспокоится, как некогда церковь, о подлинном моральном усовершенствовании своих подданных; единственно закон обществу настаивает на соблюдении внешних приличий. И не требуется, таким образом, действительной морали, подлинно нравственного поведения, требуется только видимость морали, порядок, когда каждый на глазах у каждого поступает «словно бы». А в какой мере отдельный человек ведет себя в дальнейшем действительно нравственно, остается его частным делом; он не должен только дать себя достигнуть врасплох при нарушении благопристойности. Может случиться всякое, и даже многое может случиться, но все это не должно вызывать никаких толков. Можно, следовательно, в строгом смысле выразиться так: нравственность девятнадцатого столетия вовсе не касается существа проблемы. Она от этой проблемы уклоняется и все свои усилия сосредоточивает на ее обходе. Единственно благодаря безрассудной посылке «если что-либо прикрыть как следует, то оно не существует» мораль нашей цивилизации, в трех или четырех поколениях, противостала всем нравственным и сексуальным проблемам или, вернее, уклонилась от них. И жестокая шутка нагляднее всего уясняет

действительное положение: не Кант дал направление нравственности девятнадцатого века, а «Cant»¹.

Но как могла такая трезвая, такая рассудочная эпоха запутаться в дебрях столь нежизненной и несостоятельной психологии? Как случилось, что век великих открытий, век технических достижений снизошел в своей морали до столь откровенного фокусничества? Ответ простой: именно в силу того, что он возгордился своим разумом, в силу высокомерия своей культуры, в силу избыточно оптимистического отношения к цивилизации. Благодаря неожиданным успехам науки девятнадцатое столетие подпало какому-то рассудочному головокружению. Все, казалось, рабски покоряется власти интеллекта. Каждый день, каждый час мировой истории приносили известия о новых завоеваниях научного духа; укрощались все новые и новые, непокорные дотоле стихии земного пространства и времени; высоты и бездны раскрывали свои тайны планомерно-испытующему любопытству вооруженного взора человеческого; повсюду анархия уступала место организации, хаос — воле расчетливого рассудка. Почему бы, при этих условиях, не взять было верх земному разуму над анархическими инстинктами в крови человека, не поставить на место разнузданные первобытные влечения? Ведь вся главнейшая работа в этой области давно уже проделана, и если время от времени и вспыхивает еще что-то в крови современного, «образованного» человека, то это всего только бледные, немощные зарницы отгремевшей грозы, последние содрогания старого умирающего зверя. Еще два-три года, еще два-три десятка лет, и то человечество, которое столь величаво возвысилось от каннибализма к гуманности, к социальному чувству, очистится пламенем своей этики и освободится и от этих остаточных, тусклых шлаков; поэтому нет никакой надобности даже вспоминать вообще об их существовании. Только не привлекать внимания людей к области пола, и они забудут. Только не дразнить разговорами, не пичкать вопросами древнего, посаженного за железную решетку нравственности зверя, и уж он станет ручным. Только проходить побыстрее, отведя взоры, мимо всего щекотливого, поступать так, как будто ничего н е т , — вот и весь кодекс нравственности девятнадцатого столетия.

В этот планомерный поход против искренности государ-

¹ Святошество, лицемерие (*лат.*).

ство мобилизует, согласованным порядком, все зависящие от него силы. Все — искусство и наука, мораль, семья, церковь, низшая школа и университет, — все получает одинаковую инструкцию относительно ведения войны: уклоняться от всякой схватки, не приближаться к противнику, но обходить его на далеком расстоянии, ни в каком случае не вступать в настоящую дискуссию. Бороться отнюдь не при помощи аргументов, но молчанием, только бойкотировать и игнорировать. И, чудесным образом послушные этой тактике, все духовные силы культуры, рабски ей преданные, отважно проделали лицемерный церемониал обхода проблемы.

В продолжение целого столетия половой вопрос находился в Европе под карантином. Он не отрицается и не утверждается, не ставится и не разрешается, он потихоньку отставляется за ширмы. Организуется громадная армия надсмотрщиков, одетых в форму учителей, воспитателей, пасторов, цензоров и гувернанток, чтобы оградить юношество от всякой непосредственности и плотской радости. Ни одно дуновение свежего воздуха не должно коснуться их тела, никакой разговор, никакое разъяснение не должны потревожить их душевного целомудрия. И в то время как раньше и повсюду, у всякого здорового народа, во всякую нормальную эпоху достигший зрелости отрок вступает в возраст возмужалости как на праздник, в то время как в греческой, римской, иудейской цивилизациях и даже у всех нецивилизованных народов тринадцатилетний или четырнадцатилетний отрок открыто принимается в сообщество познавших жизнь — мужчина в ряду мужчин, воин в ряду воинов, — убогая педагогика девятнадцатого века искусственным и противоестественным образом преграждает ему доступы ко всякой искренности. Никто не говорит свободно в его присутствии и таким путем не освобождает его. То, что ему известно, он может знать только по уличным разговорам или из пересказа товарища постарше, шепотом, на ухо. И так как каждый в свою очередь решается передавать дальше эту натуральнейшую из наук опять-таки только шепотом, то всякий подрастающий, сам того не сознавая, служит в качестве пособия этому культурному лицемерию.

Следствием такого, целое столетие упорно длящегося заговора — прятать свое «я» и его замалчивать — является беспримерно низкий уровень психологической науки, наряду с чрезвычайно высокой культурой интеллекта. Ибо как могло бы развиваться глубокое понимание душевных явлений без искренности и честности, как могла бы распро-

страниться ясность, когда как раз те, кто призваны сообщать знание, — учителя, пасторы, художники и ученые — сами являются лицемерами от культуры или неучами? А невежественность всегда влечет за собою жестокость. И вот насылается на юношество безжалостное в силу своего непонимания пожелание педагогов, причиняющее непоправимый вред детским душам вечными своими приказами быть «моральными» и «владеть собою». Мальчики-подростки, прибегающие, под гнетом полового созревания и в силу незнакомства с женщиною, к единственно возможному для них способу облегчения своего физического состояния, получают от этих «просвещенных» менторов мудрые, но опасно ранящие душу указания, что они предаются ужасному, разрушительно действующему на здоровье «пороку»; таким образом, их насильственно отягощают чувством неполноценности, мистическим сознанием вины. Студенты в университете (я сам еще пережил это) получают от того сорта профессоров, которых любили в те времена обозначать эффектным словом «прирожденные педагоги», памятные записки, из которых они узнают, что всякое половое заболевание, без исключения, «неизлечимо». Из таких орудий палит тогдашняя неистовая мораль, ничуть не задумываясь, по человеческим нервам. Таким мужицким, железом подкованным сапогом топчет педагогическая этика душевный мир подростка. Неудивительно, что благодаря этому планомерному насаждению чувства страха в нестойких еще душах что ни миг грохочет револьвер, неудивительно, что в результате этих насильственных оттеснений колеблется внутреннее равновесие несчетного числа людей и создается целыми сериями тип неврастеника, всю жизнь влачащего в себе свои отроческие страхи, в форме неизжитых задержек. Беспомощно блуждают тысячи таких пришибленных моралью лицемерия от одного врача к другому. Но так как в то время медики не умеют еще прощупать болезнь в ее корне, а именно в области пола, и психологическая наука дофрейдовской эпохи, в силу этической благовоспитанности, не решается проникать в эти таинственные, обреченные на замалчивание зоны, то и неврологи оказываются в полной мере беспомощными перед лицом таких пограничных состояний. С чувством неловкости направляют они этих душевно расстроенных в водолечебницы, как еще не созревших для клиники или сумасшедшего дома. Пичкают их бромом, обрабатывают им кожу электровибрацией, но никто не решается доискиваться подлинных причин.

Еще более ранит это непонимание людей ненор-

мально предрасположенных. Заклейменные наукою как этически неполноценные, как отягченные наследственностью, трактуемые государством как преступники, влчат они за собою свою тайну, как незримое иго, всю жизнь, под постоянную угрозою вымогательства и тюрьмы. Ни у кого не находят они ни помощи, ни совета. Ибо если бы в дофрейдовские времена предрасположенный к гомосексуализму обратился к врачу, то господин медицинский советник возмущенно насупил бы брови по поводу того, что пациент дерзает лезть к нему с таким «свинством». Такого рода интимности не подходят для приемного кабинета. Куда же они подходят? Куда подходит человек с расстроенным жизнеощущением, человек, идущий неверным путем? Какая дверь раскроется перед миллионами этих людей, ждущих помощи и облегчения? Университеты уклоняются, судьи цепляются за статьи законов, философы (за исключением одного лишь отважного Шопенгауэра) предпочитают вовсе не замечать наличия в их благоустроенном мире этой формы эротического отклонения, которую, однако, безусловно понимали прежние культуры, общественность судорожно прикрывает глаза и объявляет все щекотливое не подлежащим обсуждению. Только ни слова об этом в газетах, в литературе, никаких научных дискуссий: полиция осведомлена, и этого достаточно. А то обстоятельство, что в непроницаемой оболочке этого тайнодействия задыхаются сотни тысяч замурованных, столь же известно, сколь и безразлично высоко нравственному и высокостерпимому веку — важно только, чтобы ни один звук не вырвался наружу, чтобы сохранился нерушимым ореол святости, созданный для себя этой культурой, самой нравственной из культур. Ибо видимость нравственности важнее для этой эпохи, чем суть человеческого существования.

Целое столетие, ужасающе длинное столетие, владеет Европою этот малодушный заговор «нравственного» молчания. И вдруг это молчание нарушает один, единичный голос. Не помышляя о каком-либо перевороте, поднимается однажды с места молодой врач в кругу своих коллег и, исходя из своих исследований относительно сущности истерии, заводит речь о расстройствах и задержках наших инстинктов и о возможностях их высвобождения. Он обходится без всяких патетических жестов, он не заявляет возбужденно, что настала пора утвердить мораль на новых основаниях и подвергнуть свободному обсуждению вопросы п о л а , — нет, этот молодой, строго-деловитый врач отнюдь не изображает проповедника новой культуры в академиче-

ской среде. Он в своем докладе интересуется исключительно диагностикой психозов и их обусловленностью. Но та непринужденная уверенность, с которой он устанавливает, что многие неврозы, и, собственно говоря, даже все, имеют источником подавленные сексуальные влечения, вызывает смертный ужас в кругу коллег. Не то чтобы они признавали такую этиологию ложной — наоборот, большинство из них давно уже чувствует это или это наблюдало; все они, частным образом, сознают важное значение половой сферы для общей конституции человека. Но все же, связанные чувством эпохи, покорные той морали, которая принята цивилизацией, они чувствуют себя до такой степени задетыми этим откровенным указанием на ясный как день факт, словно бы этот диагностический выпад сам по себе явился неприличным жестом. Они переглядываются смущенно: разве этому юному доценту неведомо неписаное соглашение, в силу которого о таких щекотливых вещах не говорят, по крайней мере в открытом заседании высокопочтенного «Общества врачей»? По части сексуальности — это бы должен знать и соблюдать новичок — устанавливается взаимное понимание между коллегами при помощи дружеского подмигивания, на эту тему шутят за карточным столом, но ведь не преподносят же таких тезисов в девятнадцатом столетии, в столь культурный век, академической коллегии. Уже первое официальное выступление Зигмунда Фрейда — а сцена эта действительно имела место — производит в кругу его товарищей по факультету впечатление выстрела в церкви. И наиболее благожелательные из его коллег тотчас же дают ему понять, что он, уж ради своей академической карьеры, поступил бы правильнее, если бы в будущем отказался от столь щекотливых и нечистоплотных исследований. Это ни к чему не ведет, по крайней мере ни к чему такому, что могло бы быть предметом открытого обсуждения.

Но Фрейда интересуют не приличия, а истина. Он напал на след и идет по нему. И как раз раздражение, им вызванное, служит ему указанием, что он бессознательно дотронулся до больного места, что первое же прикосновение привело его вплотную к нервному узлу всей проблемы. Он держится цепко. Он не дает себя запугать ни старшим, великодушно-благожелательным коллегам, его предостерегающим, ни оскорбленной морали, сетующей на него и не привыкшей к столь резким прикосновениям *in puncto puncti*¹. С тем упорным бесстрашием, с тем чисто человеческим

¹ В средоточии точки (*лат.*).

мужеством и с тою интуитивною мощью, которые в своей совокупности образуют его гений, он не перестает нажимать как раз на самое чувствительное место, все крепче и крепче, пока наконец нарыв молчания не лопанется и не вскрывается рана, которую можно теперь начать лечить. В этом первом своем продвижении в область неведомого молодой врач не подозревает, как много обретет он в окружающей его тьме. Он только чувствует глубину, а глубина всегда магнетически влечет всякий творческий дух.

То обстоятельство, что первая же встреча Фрейда с современным ему поколением превратилась, при всей незначительности повода, в столкновение, является символом, а отнюдь не случайностью. Ибо здесь оказываются задетыми единичной теорией не просто оскорбленная стыдливость и вошедшая в привычку горделивая мораль; нет, здесь отживший метод замалчивания сразу же чувствует, с нервной пронизательностью, неизменно сопутствующей опасности, действительного противника. Не *как* касается Фрейд этой сферы, а то, *что* он вообще ее касается и смеет касаться, является поводом к войне не на жизнь, а на смерть. Ибо здесь с первого же мгновения речь идет не об улучшениях, а о совершенно обратной установке. Не о частных, а об основных положениях. Не о единичных явлениях, а обо всем в целом. Лицом к лицу сталкиваются друг с другом две формы мышления, два метода, столь диаметрально противоположных, что между ними нет и не может быть взаимного понимания. Старая, дофрейдовская психология, всецело покоившаяся на идее о первенстве мозга над кровью, требует от отдельного, от образованного и цивилизованного человека, чтобы он разумом подавлял свои инстинкты. Фрейд отвечает грубо и ясно: инстинкты вообще не дают подавлять себя, и крайне поверхностным является взгляд, что, будучи подавлены, они куда-то исчезают. В лучшем случае можно оттеснить их из сознательного в бессознательное. Но тогда они скопляются, утесненные, в этой области души и своим непрерывным брожением порождают нервное беспокойство, расстройство, болезнь. Полностью чуждый иллюзий и веры в прогресс, решительный и радикальный в своих суждениях, Фрейд устанавливает неизбежно, что игнорируемые моралью силы *libido*¹ составляют неотъемлемую часть человека, наново рождающуюся с каждым новым эмбрионом, что они являются стихией, которую ни в каком случае нельзя устранить и, самое боль-

¹ Похоть, страсть (*лат.*).

шее, можно переключить на безопасную для человека работу путем перенесения их в сознание. Таким образом, Фрейд рассматривает как нечто благотворное как раз то, что этика старого общества объявила коренной опасностью, а именно процесс осознания; и то, что это общество признавало благотворным — подавление инстинктов, — он именует опасным. Там, где старый метод практиковал прикрытия, он требует раскрытия. Вместо игнорирования — идентификации. Вместо обхода — прямого пути. Вместо отвода глаз — проникновения вглубь. Вместо вуалирования — обнаженности. Инстинкты может укротить лишь тот, кто познал их; взять верх над демонами — лишь тот, кто извлечет их из глубинного их обиталища и смело посмотрит им в глаза. Медицине столь же мало дела до морали и стыдливости, как до эстетики и филологии; ее важнейшая задача — заставить заговорить то таинственное, что есть в человеке, а не обречь на молчание. Ничуть не считаясь с тенденциями девятнадцатого века к набрасыванию покровов, Фрейд в резкой форме ставит перед своими современниками проблему самопознания и осознания всего вытесненного и неосознанного. И тем самым он приступает к целению не только несчетного числа отдельных лиц, но и всей морально нездоровой эпохи, путем выявления ее основного, подавленного конфликта и перенесения его из области лицемерия в область науки.

Этот новый, навстречу жизни идущий метод Фрейда не только изменил взгляд на психику индивидуума, но дал другое направление всем основным вопросам культуры и ее генеалогии. И поэтому грубо недооценивает и крайне поверхностно судит тот, кто рассматривает, все еще с точки зрения 1890 года, заслугу Фрейда как чисто терапевтическое достижение, ибо в данном случае он сознательно или бессознательно смешивает исходную точку с конечной целью. То обстоятельство, что Фрейд случайным образом пробил брешь в китайской стене старой психологии именно с ее медицинской стороны, исторически, правда, важно, но не важно для его подвига. Ибо решающим для творчества ума является не то, откуда он исходит, но единственно — в каком направлении и как далеко он продвинулся. Фрейд исходит из медицины не в большей степени, чем Паскаль из математики и Ницше из древнеклассической филологии. Несомненно, этот источник сообщает его работам известную окраску, но не определяет и не ограничивает их ценности. И как раз сейчас, на семьдесят пятом году его жизни, уместно подчеркнуть, что его труды и их ценность давно

уже не зависят от второстепенного вопроса о том, большее или меньшее число невротиков вылечиваются ежегодно посредством психоанализа, а также от правильности отдельных пунктов и положений его вероучения. «Замещено» ли *libido* сексуально или нет, заслуживают или не заслуживают канонизации кастрационный комплекс, нарциссическая установка и не знаю еще какие из сформулированных им тезисов — все это давно стало предметом богословских споров приват-доцентов и не имеет никакого касательства к непреходящему культурно-историческому факту открытия им душевной динамики и новой технической постановке вопроса. В данном случае одаренный творческим прозрением человек преобразовал всю внутреннюю нашу сферу, и то обстоятельство, что здесь действительно речь шла о перевороте, что его «садизм правдивости» вызвал революцию в воззрении мира на вопросы психики, — эту опасную сторону его учения (опасную именно для них) постигли первыми как раз представители отмирающего поколения; тотчас же все они, иллюзионисты, оптимисты, идеалисты, поборники стыдливости и доброй старой морали, со страхом отметили: тут взялся за дело человек, который проходит сквозь все запреты, которого не запугаешь никакими «табу», не смутишь никаким противоречием, человек, у которого поистине нет ничего «святого». Они почувствовали инстинктивно, что непосредственно вслед за Ницше, за антихристом, явился в лице Фрейда второй великий разрушитель древних скрижалей, антииллюзионист, человек, который своим беспощадным рентгеновским взором проникает сквозь все прикрития, который в *libido* прозревает *sexus*¹, в невинном ребенке — первобытного человека, в кругу мирной семьи — грозовую напряженность взаимоотношений отца и сына и в самых невинных снах — бурную игру крови. С первого же мгновения их мучит жуткое предчувствие: не проникнет ли, со своим жестоким зондом, еще дальше этот человек, ничего, кроме смутных вожелений, не видящий в их величайших святынях — в культуре, цивилизации, гуманности, морали и прогрессе. Не обратится ли этот иконоборец со своей бесстыдной аналитической техникой от отдельной души в конце концов и к душе массовой? Не дойдет ли он до того, что станет постукивать своим молотком по фундаменту государственной морали и по налаженным с таким трудом комплексам семейственности? Не разложит ли он своими ужасающе едкими

¹ Пол (лат.).

кислотами патриотическое чувство и, может быть, даже религиозное? И действительно, инстинкт отмирающего довоенного мира не обманулся: безотчетное мужество, духовная неустранимость Фрейда нигде и ни перед чем не остановились. Равнодушный к возражениям и к зависти, к шуму и замалчиванию, он с рассчитанным и непоколебимым терпением ремесленника работал над усовершенствованием своего архимедова рычага, пока не оказался в состоянии пустить его в ход против вселенной. На семидесятом году своей жизни Фрейд проделал и это — попытался применить свой испытанный на индивидууме метод по отношению ко всему человечеству и даже к Богу. У него достало мужества идти вперед и вперед, вплоть до последнего nihil¹, по ту сторону всяческих иллюзий, в величавую беспредельность, где нет уже ни веры, ни надежд, ни сновидений — даже сновидений о небе или о смысле и цели человеческого существования.

Зигмунд Фрейд — великий подвиг одного, отдельного человека! — сделал человечество более сознательным; я говорю более сознательным, а не более счастливым. Он углубил картину мира для целого поколения, я говорю углубил, а не украсил. Ибо радикальное никогда не дает счастья, оно несет с собою только определенность. Но в задаче науки не входит убаюкивать вечномладенческое человеческое сердце все новыми и новыми грезами; ее назначение в том, чтобы научить людей ходить по жесткой нашей земле прямо и с поднятой головою. В неустанной работе своей жизни Фрейд явил прообраз этой идеи; в его научных трудах его твердость превратилась в силу, строгость — в непреклонный закон. Ни разу не указал Фрейд человечеству, утешения ради, выхода в уют, в эдемы земные или небесные, а всегда только путь к самим себе, опасный путь в собственные свои глубины. Его прозрение было чуждо снисхождения; его мышление ни на йоту не сделало жизнь человека легче. Ворвавшись, подобно резкому и режущему северному ветру, в душную атмосферу человеческой психики, он разогнал немало золотых туманов и розовых облаков чувствительности, но горизонт очистился и область духа прояснилась. Иными глазами, свободнее, сознательнее и пристальнее глядит новое поколение благодаря Фрейду в свою эпоху. Тем, что опасный психоз лицемерия, целое столетие терроризировавший европейскую мораль, рассеялся без остатка, что мы научились без ложного стыда взгляды-

¹ Ничто (*лат.*).

ваться в свою жизнь, что такие слова, как «порок» и «вина», вызывают в нас трепет негодования, что судьи, знакомые с мощью человеческих инстинктов, иной раз задумываются над приговорами, что учителя в наши дни принимают естественное как естественное, а семья отвечает на искренность искренностью, что в системе нравственности все большее и большее место начинает занимать откровенность, а в среде юношества — товарищеские отношения, что женщины более непринужденно считаются со своею волею и с правами своего пола, что мы научились уважать индивидуальную ценность каждого существования и творчески воспринимать тайну нашего собственного существа, — всеми этими элементами более совершенного и более нравственного развития мы и новый наш мир обязаны в первую очередь этому человеку, имевшему мужество знать то, что он знал, и притом еще троекратное мужество — навязывать это свое знание негодующей и трусливо отвергающей его морали. Некоторые отдельные элементы его системы могут казаться спорными, но что значит «отдельные»! Идеи живы столь же их приятием, сколь и встречаемым ими противодействием, творческий труд — столь же любовью, сколь и ненавистью, им возбуждаемой. Претворение в жизнь — вот что единственно означает решающую победу идеи, единственную победу, которую мы готовы еще чтить. Ибо в наше время пошатнувшегося права ничто не поднимает так веру в мощь духовного начала, как пережитый живой пример — пример того, как один-единственный человек проявляет, в своей правдивости, мужество, достаточное для того, чтобы повысить меру правдивости во всей вселенной.

ЗАРИСОВКА

Откровенность — источник всяческой
гениальности.

Берне

Строгая дверь одного из венских больших домов вот уже полвека скрывает частную жизнь Зигмунда Фрейда; хочется даже сказать, что у него никакой частной жизни и не было, в столь скромной отдаленности проходит его личное существование. Семьдесят лет в том же городе, более сорока лет в том же доме. А дома прием больных в том же самом кабинете, чтение в том же кресле, литературная

работа за тем же письменным столом. Pater familias¹ из шести человек детей, лично без всяких потребностей, не знающий иных увлечений, кроме увлечения своим призванием и своей призванностью. Ни секунды размеренного и вместе с тем щедро расточаемого времени на тщеславный показ своей личности, на титулы и отличия; ни малейшего, по-агитаторски, выпячивания себя самого, как творца, на первый план, помимо своего творчества; у этого человека жизненный ритм подчиняется, полностью и единственно, безостановочному, терпеливо и равномерно протекающему ритму работы. Каждая неделя из нескольких тысяч недель его семидесятипятилетней жизни замыкает тот же одинаковый круг его деятельности; каждый день — как двойник другого дня: в его академическом распорядке времени раз в неделю лекция в университете, раз в неделю, по средам, духовное пиришествво в кругу учеников, по примеру Сократа, раз, по субботам, после обеда, карты, — а в остальное время с утра до вечера, вернее, далеко за полночь, всякая минута целиком уходит на анализ, лечение, разработку тех или иных вопросов, чтение и научное оформление. Этот неумолимый календарь не знает пустой странички; на протяжении полустолетия напряженный день Фрейда заполнен, час за часом, исключительно умственным трудом. Непрестанная деятельность столь же естественно присуща этому работающему с точностью мотора мозгу, как регулирующее кровь биение — сердцу; работа является для Фрейда не вытекающим из веления воли действием, а естественной, постоянной и безостановочной функцией. Но именно эта безостановочность его бодрствующего ума и является самым поразительным в его духовном облике, норма воплощается в данном случае в жизнь. Сорок лет подряд Фрейд проделявает восемь, девять, десять, иной раз одиннадцать анализов в день, иначе говоря, девять, десять, одиннадцать раз сосредоточивается он, по целому часу, с крайним напряжением, можно сказать с трепетом, на чужой личности, подстерегает и взвешивает каждое слово, и в то же время его память, никогда ему не изменяющая, сопоставляет данные этого анализа с результатами всех предыдущих. Он, таким образом, полностью сживается с этой чужой личностью, в то же время наблюдая ее извне, как психодиагност. И в один миг он должен, по истечении часа, переселиться из этого своего пациента в другого, следующего, восемь, девять раз в день, и, таким образом, хранить в себе обособ-

¹ Отец семейства (*лат.*).

ленно, без всяких записей и мнемонических приемов, сотни судеб, наблюдая каждую в тончайших ее ответвлениях. Такая рабочая установка, с постоянным переключением внимания, требует духовной настороженности, готовности душевной и нервного напряжения, которых не хватило бы у другого и на два-три часа. Но поразительная жизненность Фрейда, его духовная мощь не знают усталости и упадка. Как только кончена аналитическая работа, девяти-десяти-часовое служение человеку, начинается творческое оформление результатов, та работа, которую мир считает его единственной. И весь этот гигантский, безостановочный труд, практически касающийся тысяч людей и передающийся затем миллионам, осуществляется полстолетия без помощников, без секретаря, без ассистентов; каждое письмо написано собственноручно, каждое исследование единолично доведено до конца, каждая работа единолично оформлена. Единственно эта грандиозная равномерность творческой мощи свидетельствует о наличии, где-то за будничной гладью существования, истинно демонического начала. Эта нормальная на первый взгляд жизнь проявляет свою единственность и ни с чем не сравнимое своеобразие лишь в области творчества.

Столь точный рабочий аппарат, никогда не изменяющий, десятилетиями не портящийся и не отказывающийся служить, мыслим только при безукоризненном материале. Как у Генделя, у Рубенса и у Бальзака, столь же непрестанно творящих, духовный переизбыток имеет у Фрейда источником в корне здоровую натуру. Этот великий врач никогда не болел сколько-нибудь серьезно до семидесяти лет, этот тончайший наблюдатель игры человеческих нервов никогда не страдал нервами, этот проникновенный знаток ненормальной психики, этот прошумевший сексуалист был на протяжении всей своей жизни до жути прямолинеен и здоров во всем, что касалось его личных переживаний. По собственному опыту этот человек незнаком даже с самыми обыкновенными, самыми будничными помехами в умственной работе; он почти не знает головной боли и усталости. В течение нескольких десятков лет Фрейду ни разу не пришлось обратиться за помощью к товарищу по врачебной профессии, не пришлось ни разу отказать больному по нездоровью; лишь в патриархальном возрасте коварная болезнь пытается сломить это прямо-таки поликратовское здоровье. Но тщетно! Не успела, еще зажить рана, а уж прежняя дееспособность возвращается, ни в какой степени не умаленная. Здоровье для Фрейда равносильно дыханию,

бодрствование духа — работе, творчество — жизни. И подобно тому как напряженна и полна его дневная работа, совершенен и ночной отдых этого из стали откованного тела. Короткий, но крепкий, отрешенный от всего постороннего сон восстанавливает, что ни утро, творческие силы его духа, столь величественно-нормального и вместе с тем столь величаво-необычного. Когда Фрейд спит, он спит очень крепко, а когда бодрствует, то его дух бодр неслышанно.

Этой уравновешенности внутренних сил не противоречит и внешний образ. И здесь полнейшая пропорциональность всех черт, до конца гармоническое сочетание. Не слишком высокий и не слишком низкий рост, не слишком плотное, но и не слабое сложение. Годами отчаиваются карикатуры по поводу его лица, ибо в этом безукоризненно правильном овале не найти никакого указания для игры художественного преувеличения. Тщетно стали бы мы рассматривать, один за другим, его портреты поры молодости, чтобы подглядеть какую-нибудь преобладающую линию, что-либо по существу характеризующее. Черты лица тридцатилетнего, сорока- и пятидесятилетнего Фрейда говорят только одно: красивый мужчина, мужественный человек с правильными, пожалуй, чересчур уж правильными чертами лица. Правда, сосредоточенный взор темных глаз вызывает представление о духовности, но при всем желании в этих поблекших фотографиях не откроешь больше того, что наблюдаем мы в излюбленных Ленбахом и Макартом портретах — обрамленное выхоленной бородою лицо врача, идеально-мужественного склада, смуглое, мягкое, серьезное, но в конечном счете мало изысканное. Уже думаешь, что придется отказаться от какой бы то ни было попытки выявить характерное в этом замкнувшемся в своей гармонии лице. И тогда вдруг начинают говорить последние портреты. Лишь старость, обычно смыывающая у большинства людей основные черты индивидуальности и размельчающая их в тусклую глину, лишь патриархальный возраст приступают к Фрейду с резцом художника; лишь болезнь и преклонные годы непреложно извлекают физиономию из лица как такового. С тех пор как волосы поседели и борода, когда-то темная, не оттеняет так округло жесткого подбородка и резко сомкнутого рта, с тех пор как выступает наружу костисто-пластическое строение нижней части лица, обнаруживается нечто жесткое, агрессивное, обнаруживается неумолимость, чуть ли не неприязненность его волевого начала. Его взор, прежде взор простого наблюда-

теля, впивается теперь глубже, сумрачнее, упорнее, неотступнее, горькая складка недоверия прорезает, словно шрам от раны, его открытый, в морщинах, лоб. И напряженно, как бы отклоняя: «Нет!» или «Неправда!», смыкаются узкие губы. Впервые чувствуешь в этом лице упорство и строгость фрейдовской натуры; чувствуешь: нет, это не good grey old man¹, ставший к старости кротким и обходительным, но твердый, неумолимый исследователь, который не дается в обман и никогда не согласен обманываться. Человек, которому побоишься солгать, потому что он своим насторожившимся, как бы из темноты нацелившимся взором стрелка следит за каждой попыткой уклониться и заранее видит каждый потайной уголок; лицо, может быть, скорее гнетущее, чем сулящее облегчение, но великолепным образом оживленное напряжением проникновенности, лицо не простого наблюдателя, а беспощадного провидца.

Следует отказаться от всяких льстивых попыток отрицать этот налет ветхозаветной суровости, эту жесткую непримиримость, которые светятся почти угрожающе во взгляде старого борца. Ибо если бы не было у Фрейда этой остро отточенной, открыто и беспощадно выступающей решимости, то вместе с нею не стало бы и лучшего, самого решающего, что есть в его подвиге. Если Ницше философствовал ударами молота, то Фрейд всю жизнь оперировал скальпелем; такие инструменты не созданы для руки мягкой и податливой. Условности, церемонии, жалость и снисходительность были бы ни в какой мере несовместимы с радикальными формами мышления, свойственными его творческой природе; ее смысл и назначение были исключительно в выявлении крайностей, а не в их смягчении. Воинственная решимость Фрейда признает только «за» или «против», только «да» или «нет», никаких «с одной стороны» и «с другой стороны», «между тем» и «может быть». Там, где речь идет об истине, Фрейд ни с чем не считается, ни перед чем не останавливается, не мирится и не прощает; как Иегова, он отпустит вину скорее отступнику, чем наполовину усомнившемуся. Полувероятности не имеют для него цены, его влечет только чистая, стопроцентная истина. Всякая расплывчатость, как в личных отношениях одного человека к другому, так и в форме высокопарных туманностей человеческой мысли, именуемых иллюзиями, вызывает в нем неистовое и почти ожесточенное желание отделиться, отмежеваться, распорядиться самостоятельно до конца;

¹ Славный седой старичок (англ.).

взор его во что бы то ни стало должен созерцать всякое явление во всей остроте непреломленного света. Но эта ясность видения, мышления и созидания не означает для Фрейда какой-либо напряженности, какого-либо волевого акта; анализировать — это неизменно ему присущее, это врожденное и неистребимое влечение его натуры. Там, где Фрейд сразу же и до конца не понимает, он уж не договорится о понимании; там, где он не видит ясно сам по себе, никто ничего ему не разъяснит. Его взор, как и ум его, самовластен и непримирим; и как раз в военных действиях, в одинокой борьбе с подавляющими силами противника выявляется полностью агрессивность его мышления, природою выкованного наподобие остро-режущей стали.

Но жесткий, строгий и неумолимый к другим, Фрейд проявляет те же жесткость и недоверие к самому себе. Привыкший к тому, чтобы угадывать самую замаскированную неоткровенность другого человека в тайных дебрях его бессознательного, открывать за одним пластом другой, более глубокий, за каждой истиной — другую, еще более достоверную, за каждым признанием — другое, еще более искреннее, проявляет он и по отношению к себе ту же бдительность контроля. Поэтому столь часто употребляемое выражение «отважный мыслитель» кажется мне в отношении Фрейда не слишком удачным. Идеи Фрейда не имеют ничего общего с импровизацией и едва ли обязаны многим интуиции. Чуждый в своих формулировках легкомыслия и поспешности, он часто целые годы колеблется, прежде чем открыто высказать как утверждение какое-либо свое предположение; его конструктивному гению совершенно несвойственны игра мысли и скороспелые построения. Опускаясь в глубины не иначе как ступенька за ступенькой, осторожный и отнюдь не восторженный, Фрейд первым замечает всякое шаткое положение; несчетное число раз встречаются в его сочинениях такие указания, как «Возможно, это только гипотеза» или «Я знаю, что в этом отношении мало могу сказать нового». Истинное мужество Фрейда начинается позже, когда появляется уверенность. Только после того как этот беспощадный разрушитель всяческих иллюзий убедит до конца самого себя и поборет свои собственные сомнения, излагает он свою систему, уверенный в том, что не прибавит к мировым иллюзиям еще одну грезу. Но как только он постиг и открыто признал какую-либо идею, она входит ему в плоть и кровь, становится органической частью его жизненного существования, и никакой

Шейлок не в состоянии вырезать из его живого тела хоть частицу ее.

Это твердое отстаивание своих взглядов противники Фрейда с раздражением именуют догматизмом, порою даже его сторонники жалуются на это, громко или тихо. Но эта категоричность Фрейда неотделима характерологически от его природы; она вытекает не из волевой установки, а из своеобразного, особого устройства его глаза. Когда Фрейд рассматривает что-либо творчески, он смотрит так, как будто этого предмета никто до него не наблюдал. Когда он думает, он забывает все, что думали об этом до него другие. Он видит свою проблему так, как должен ее видеть по необходимости, по природе; и в каком бы месте он ни раскрыл Сивиллину книгу души человеческой, ему раскрывается новая страница; и прежде чем его мышление критически к ней отнесется, глаз его почерпнул все, что нужно. Можно поучать людей относительно ошибочности их мнения, но нельзя внушить того же глазу в отношении творческого его взора: видение находится по ту сторону всякой внушаемости, так же как творчество — по ту сторону воли. А что же именуем мы истинным творчеством, как не способность взглянуть на издревле установившееся так, как будто никогда не озаряло его сияние земного ока, высказать наново и в девственной форме то, что высказывалось уже тысячекратно, и притом так, словно бы никогда уста человеческие этого не произносили. Эта магия интуитивного прозрения, не поддаваясь выучке, не терпит и никаких наущений; упорство гения в отстаивании однажды и навсегда им увиденного — это не упрямство, а глубокая необходимость.

Поэтому и Фрейд никогда не пытается уговорить своего читателя, своего слушателя относительно правильности своих взглядов, не пытается заговорить его, его убедить. Он только излагает свои взгляды. Его безусловная честность не позволяет ему «подавать» даже самые важные для него мысли в поэтически-внушающей форме и, таким образом, делать, при помощи примиряющих оборотов, некоторые жесткие и горькие блюда более приемлемыми для чувствительных умов. По сравнению с головокружительною прозою Ницше, рассыпающейся самыми отчаянными фейерверками искусства и художества, его проза кажется на первый взгляд трезвой, холодной и бесцветной. Фрейдовская проза не агитирует, не вербует приверженцев; она полностью отказывается от всякой поэтической подмалевки, от всякого музыкального ритма (к музыке, как он сам признается, у него нет никакой внутренней склонности — оче-

видно, в понимании Платона, обвиняющего музыку в том, что она вносит расстройство в чистое мышление). А Фрейд только и стремится к чистому мышлению, он поступает по Стендалю: «Pour être bon philosophe, il faut être sec, clair, sans illusion»¹. Ясность для него, как во всех человеческих отношениях, так и в области словесного выражения, — первое и последнее; этой максимальной озаренности и отчетливости он подчиняет, как нечто второстепенное, все художественные достоинства; единственно в результате достигаемой таким путем алмазной твердости очертаний его проза обретает свою несравненную *vis plastica*². Полностью безыскусственная, строго деловитая, подобная римской, латинской, эта проза не затуманивает поэтически изображенного предмета, но высказывает его резко и по существу. Она не приукрашивает, не нагромождает, не примешивает и не теснит избытком; она до крайности скупа на образы и сравнения. Но если уж встречается в ней сравнение, то оно действует, силою своей убедительной мощи, как выстрел. Некоторые образные формулировки Фрейда имеют в себе нечто от прозрачной четкости резных камней, и в составе его безупречно ясной прозы они действуют как оправленные в тяжелый хрусталь камни, незабываемые каждая в отдельности. Но ни на минуту не покидает Фрейд в своих философских построениях прямого пути; отступления в области языка столь же ненавистны ему, как обходы в области мышления, и в составе его пространственных трудов едва ли найдется положение, которое не было бы понятно, в его прямом и единственном смысле, даже и человеку необразованному. Его выражения, так же как и его мысли, неизменно рассчитаны на прямо-таки геометрическую точность определения; и поэтому его требованиям ясности мог служить лишь язык на взгляд неприглядный, но в действительности в высшей степени светоозаренный.

Всякий гений носит маску, говорит Ницше, Фрейд избрал для себя самую непроницаемую — маску неприметности. Его внешняя жизнь за трезвой, почти филистерской будничностью скрывает демонический подвиг труда; его лицо за чертами равновесия и спокойствия таит творческий гений. Его труд, более революционный и смелый, чем какой-либо другой, скромно ступшевуется вовне в качестве натуралистически-точной разработки академического

¹ «Чтобы быть хорошим философом, необходима сухость, ясность, отсутствие иллюзий» (франц.).

² Пластическая сила (франц.).

метода. И язык его холодом и бесцветностью прикрывает художественную мощь четкого образотворчества. Гений трезвости, он любит выявлять лишь то трезвое, что в нем заключено, а не гениальное. Только размеренность его доступна на первых порах взору, и лишь потом, на глубине — его чрезмерность. Во всех случаях Фрейд — больше, чем он дает о себе понять, и все же в каждый миг своего существования один и тот же. Ибо всякий раз, когда человеком творчески владеет закон высшего единства, он, этот закон, явственно и победно проявляет себя во всем его существе — в языке, в творчестве, во внешнем облике и в жизни.

ИСХОД

«Особого влечения к карьере и деятельности врача я не чувствовал в молодости, а впрочем — не чувствовал и в дальнейшем», — откровенно признается в своем жизнеописании Фрейд со столь характерной для него беспощадностью к себе самому. Но это признание сопровождается следующим многозначительным пояснением: «Скорее мною двигала своего рода любознательность, направленная, однако, больше на область человеческих отношений, чем на объекты природы». Этой его глубочайшей склонности не соответствовала никакая собственно научная дисциплина, ибо в учебном плане медицинского факультета Венского университета такого научного курса, как «Человеческие отношения», не имеется. И так как юный студент должен подумать о куске хлеба в будущем, то ему не приходится долго предаваться личной своей склонности, а нужно, вместе с другими медиками, терпеливо пройти путь предугазанных двенадцати семестров. Уже в качестве студента Фрейд серьезно работает над самостоятельными исследованиями; но, согласно своему собственному откровенному признанию, он «довольно небрежно» проделывает круг своих академических трудов, и лишь в 1881 году, в возрасте двадцати пяти лет, «с некоторым опозданием» удостоивается звания доктора медицины.

Судьба многих и многих: этому не уверенному в правильности избранного пути человеку предчувствие приуготовило уже призвание в его духе, а ему приходится променять его для начала на отнюдь не желанную для него практическую специальность. Ибо с первого же мгновения ремесленный, школьный, врачебно-технический элемент медицин-

ской науки мало привлекает этот склонный к универсальности ум. В глубине души прирожденный психолог, сам того пока еще не знающий, он инстинктивно пытается наметить себе теоретическое поле действия по крайней мере в соседстве с областью психики. Он, таким образом, избирает себе специальностью психиатрию и занимается анатомией мозга, ибо психология с установкою на индивидуальность, эта давно уже ставшая для нас необходимостью психическая дисциплина, в то время не преподается и не практикуется в медицинских аудиториях; Фрейду придется изобрести ее для нас. Всякая душевная неуравновешенность понимается механистически мыслящей эпохой исключительно как перерождение нервов, как болезненное изменение; непоколебимо царит ложное представление о том, что путем все более и более точного познания соответственных органов и на основе опытов с животными удастся когда-нибудь в точности рассчитать автоматику «душевной области» и регулировать всякое отклонение. Поэтому наука о душевных явлениях имеет своим поприщем психологическую лабораторию: люди думают, что исчерпывающим образом знакомясь с этой наукою, если при помощи скальпеля и ланцета, микроскопа и чувствительного электрического аппарата отмечают содрогания и сокращения нервов. И Фрейду, таким образом, приходится на первых порах присесть к анатомическому столу и при помощи всевозможной технической аппаратуры доискиваться причинности, которая в действительности никогда не проявляет себя в грубой форме чувственного восприятия. Несколько лет работает он в лаборатории у знаменитых анатомов Брюкке и Мейнерта, и оба мастера своей специальности убеждаются во врожденном даре творческой изобретательности, присущем молодому ассистенту. Оба пытаются привлечь его как постоянного сотрудника в своей области; Мейнерт предлагает даже молодому врачу быть его заместителем по читаемому им курсу анатомии мозга. Но какая-то внутренняя настроенность, полностью бессознательно, этому противится. Может быть, уже в то время его инстинкт предчувствовал, как решится дело; во всяком случае, он отклоняет лестное предложение. Однако проделанные им гистологические и клинические работы, выполненные с академической тщательностью, оказываются вполне достаточными для того, чтобы предоставить ему доцентуру по кафедре нервных болезней при Венском университете.

Доцент по неврологии — для двадцатидевятилетнего, молодого, не имеющего состояния врача это завидное в

Вене по тем временам и притом доходное звание. Фрейду следовало теперь из года в год пользоваться без усталы своих пациентов по толково изученному, академически предуманному методу, и он мог стать экстраординарным профессором и в конце концов даже гофратом. Но уже в то время проявляет себя характерный для него инстинкт самосохранения, который на протяжении всей жизни ведет его все дальше и все глубже. Ибо этот молодой доцент честно признает то, что боязливо замалчивают все другие неврологи друг перед другом и даже перед самим собою, а именно что вся техника трактовки нервно-психических явлений, в той форме, в какой она преподается в то время, около 1885 года, беспомощнейшим образом и без всякой пользы для других застряла в тупике. Но как практиковать другую, когда никакая другая в Вене не преподается? Все, что можно было заимствовать там, около 1885 года (и долгое время спустя), у профессоров, молодой доцент постиг до последних деталей — тщательную клиническую работу, безукоризненно точное знание анатомии, а к тому же еще и главнейшие добродетели Венской школы: строгую основательность и непреклонное усердие. Чему же учиться помимо этого у людей, знающих не больше, чем он сам? Поэтому известие, что в течение нескольких лет психиатрия в Париже рассматривается с совершенно иной точки зрения, является для него могучим и непреодолимым искушением. Он узнает с изумлением и с недоверием, но в то же время испытывая соблазн, что Шарко, поначалу и сам специалист по анатомии мозга, производит там своеобразные опыты при помощи того прошумевшего и преданного проклятию гипноза, который подвергся в Вене, со времени благополучного изгнания из города Франца Антона Месмера, семикратной опале. Издали, пользуясь только сообщениями медицинских журналов, нельзя получить отчетливого представления об опытах Шарко, это сразу понимает Фрейд; нужно самому их увидеть, чтобы судить о них. И тотчас же молодой ученый, с тем таинственным внутренним предчувствием, которое всегда указывает умам правильное направление, устремляется в Париж. Его патрон Брюкке поддерживает ходатайство молодого, не имеющего средств врача о командировочной стипендии. Стипендия ему присуждается. И молодой доцент уезжает в 1886 году в Париж, чтобы еще раз начать снова, чтобы поучиться, прежде чем учить.

Тут он сразу же попадает в другую атмосферу. Правда, и Шарко, как и Брюкке, исходит из патологической анато-

мии, но он ее преодолел. В своей знаменитой книге «La foi qui guérit»¹ великий француз исследует, в отношении душевной их обусловленности, те чудеса религиозного исцеления, которые отрицались дотоле как недостовверные столь много о себе мнящей медицинской наукой, и устанавливает в этих явлениях определенную закономерность. Вместо того чтобы отвергать факты, он начал толковать их и столь же непосредственно подошел и ко всем другим чудесным методам врачевания, в том числе и к пользующемуся столь дурною славою месмеризму. Впервые встречается Фрейд с учением, которое не отмахивается презрительно, подобно Венской школе, от истерии как от симуляции, но доказывает, пользуясь этой интереснейшей, в силу ее выразительности, болезнью, что вызываемые ею припадки являются следствием внутренних потрясений и должны быть поэтому истолковываемы в их психической обусловленности. На примере загипнотизированных пациентов Шарко показывает в переполненных публикою аудиториях, что всем знакомые типические состояния парализованности могут посредством внушения быть вызваны в гипнотическом сне и потом устранены и что, следовательно, это рефлексы не грубо физиологические, но подчиненные воле. Если отдельными элементами учения Шарко не всегда являются убедительными для молодого венского врача, то все же на него неотразимо действует тот факт, что в области неврологии в Париже признается и получает оценку не только чисто физическая, но и психическая и даже метафизическая причинность; он чувствует с удовлетворением, что психология снова приблизилась здесь к старой науке о душе, и этот психический метод влечет его больше, чем все до сих пор изученные. И в новом кругу Фрейду выпадает счастье — впрочем, можно ли назвать счастьем то, что по существу является инстинктивным взаимопониманием высокоодаренных умов? — счастье вызвать особый интерес к себе со стороны своего наставника. Так же, как Брюкке, Мейнерт и Нотнагель в Вене, узнает сразу же и Шарко во Фрейде творчески мыслящую натуру и вступает с ним в личное общение. Он поручает ему перевод своих сочинений на немецкий язык и нередко отличает его своим доверием. Когда потом, через несколько месяцев, Фрейд возвращается в Вену, его мировосприятие изменилось. Правда, он чувствует смутно, что и путь Шарко не вполне его путь, что и этого исследователя занимает слишком много физический эксперимент и

¹ «Вера, которая исцеляет» (франц.).

слишком мало — то, что этот эксперимент доказывает в области психики. Но уже в течение этих немногих месяцев созрели в молодом ученом новое мужество и стремление к независимости. Теперь может начаться его самостоятельная творческая работа.

Перед тем, правда, нужно выполнить еще одну небольшую формальность. Всякий университетский стипендиат обязан, вернувшись, сделать сообщение о научных результатах своей заграничной командировки. Это проделывает и Фрейд в Обществе врачей. Он рассказывает о новых путях, которыми идет Шарко, и описывает гипнотические опыты в Salpêtrière. Но со времен Франца Антона Месмера сохранилось еще в медицинском цехе города Вены яростное недоверие ко всяким методам, связанным с внушением. Утверждение Фрейда, что можно вызывать искусственно симптомы истерии, встречается со снисходительной улыбкой, а его сообщение о том, что бывают даже случаи мужской истерии, вызывает явную, веселость в кругу коллег. Сперва его благожелательно похлопывают по плечу — что за чушь навязали ему там, в Париже; но так как Фрейд не уступает, ему, как недостойному, преграждают за его отступничество вход в святилище лаборатории мозга, где, слава Богу, занимается еще психологией «строго научно». С того времени Фрейд остался *bête noire*¹ Венского университета, он не переступал уже порога Общества врачей, и только благодаря личной протекции одной влиятельной пациентки (как сам он, весело настроенный, признается) получает он через много лет звание экстраординарного профессора. Но величественный факультет в высшей степени неохотно вспоминает о его принадлежности к академическому составу. В день его семидесятилетия он даже предпочитает определенно не вспоминать об этом и обходится без всякого приветствия и пожеланий счастья. Обыкновенным профессором Фрейд никогда не сделался, равно как гофратом и тайным советником; он остался тем, кем был там с самого начала: экстраординарным профессором среди обычных.

Своим мятежом против механистического подхода к невропатологии, выражавшегося в применении к психически обусловленным заболеваниям исключительно таких средств, как раздражение кожи или назначение лекарств. Фрейд испортил себе не только академическую карьеру, но и врачебную практику. Отныне ему приходится идти своим,

¹ Существо ненавистное (*франц.*).

одиноким путем. И в начале этого пути он знает, пожалуй, только одно, чисто отрицательное, а именно что на решающие психологические открытия нельзя рассчитывать ни в лаборатории мозга, ни путем измерения нервной реакции особыми аппаратами. Только при помощи совершенно иного и с иной стороны подходящего метода можно приблизиться к таинственной области душевных сплетений; найти этот метод или, вернее, изобрести его становится отныне страстной мечтой и страстным трудом его последующих пятидесяти лет. Некоторые указания относительно правильного пути дали ему Париж и Нанси. Но, так же как в искусстве, и в области науки, одной мысли никогда не бывает достаточно для окончательного оформления; в деле исследования оплодотворение совершается путем скрещения идеи с опытом. Еще один, самый ничтожный толчок, и творческая мощь разрешится от бремени.

Этот толчок получается — столь интенсивно уже напряжение! — в результате личного дружеского общения с более старшим товарищем, доктором Йозефом Брейером, с которым Фрейд встречался и раньше, в лаборатории Брюкке. Брейер, чрезвычайно занятый работой домашний врач, весьма деятельный и в научной области, без определенной, однако, творческой установки, еще раньше, до парижской поездки Фрейда, сообщал ему об одном случае истерии у молодой девушки, при котором он достиг удачного результата совершенно особенным образом. У этой молодой девушки были налицо все обычные, зарегистрированные наукой явления истерии, этой наиболее выразительной из всех нервных болезней, то есть параличные состояния, извращения психики, задержки и помрачение сознания. И вот Брейер подметил, что молодая девушка чувствовала облегчение всякий раз, когда имела возможность порассказать о себе то или другое. Врач, человек неглупый, терпеливо слушал все, что говорит больная, так как убедился, что всякий раз, когда она изливала свою фантазию, наступало временное улучшение. Но среди всех этих отрывочных, лишенных внутренней связи признаний Брейер чувствовал, что больная искусно обходит молчанием наиболее существенное, решающее в деле возникновения ее истерии. Он заметил, что пациентка знает о себе кое-что такое, чего она отнюдь не желает знать и что она, по этой причине, в себе подавляет. Для того чтобы очистить путь к предшествующему ее переживанию, Брейер решает подвергнуть девушку систематическому гипнозу. Он надеется, что вне контроля воли будут устранены все задержки, препятству-

ющие конечному установлению имевшего место факта (спрашивается, какое слово, вместо слова «задержки», применили бы мы, если бы психоанализ его не изобрел). И в самом деле, попытка его увенчивается успехом; в гипнотическом состоянии, когда чувство стыдливости как бы парализуется, девушка свободно признается в том, что она столь упорно замалчивала до сих пор перед лицом врача и что скрывала прежде всего от самой себя, а именно что у постели больного отца она испытала известного рода ощущения и потом их подавила. Эти оттесненные по соображениям благопристойности чувства нашли себе или, вернее, изобрели для себя в качестве отвлечения определенные болезненные симптомы. Ибо всякий раз, когда в состоянии гипноза девушка признается в этих своих чувствах, сразу же исчезает их суррогат — симптомы истерии. И вот Брейер систематически продолжает лечение в намеченном направлении. И поскольку он вносит ясность в самосознание больной, истерические явления ослабевают — они становятся ненужными. Спустя несколько месяцев пациентку можно отпустить домой как излечившуюся до конца и совершенно здоровую.

Об этом своеобразном случае Брейер рассказывал как-то своему младшему коллеге как о заслуживающем особого внимания. Его удовлетворил здесь прежде всего благополучный возврат нервнобольной к состоянию здоровья. Но Фрейд, со свойственным ему инстинктом глубины, сразу же чувствует за открытым Брейером терапевтическим средством закон значительно более общий, а именно что «психическая энергия допускает перераспределение», что «подсознательное» (и этого слова тогда еще не существовало) подчиняется какой-то определенной динамике переключения, которая преобразует подавленные и не нашедшие себе естественного исхода чувства («неотреагированные», как мы теперь говорим) и претворяет их в другие, особые душевные или физические переживания. Констатированный Брейером случай освещает данные парижского опыта как бы с другой стороны; и друзья сообща берутся за работу, чтобы проследить открывшееся им явление на большей глубине. Их совместные труды «О психическом механизме явлений истерии», от 1893 года, и «Очерки истерии», от 1895 года, представляют собою первый опыт изложения этих новых идей; в них встречаемся мы с первыми проблесками новой психологии. Этими совместными исследованиями устанавливается впервые, что истерия обусловлена не органическим заболеванием, как предполагалось до сих пор, но

известного рода расстройством в результате внутреннего, не осознанного самим больным конфликта, гнет которого вызывает в конце концов эти «симптомы», болезненные изменения. Подобно тому как лихорадка возникает благодаря внутреннему воспалению, возникают в силу скопления чувств душевные расстройства. И подобно тому как спадает в теле жар, чуть только гной найдет себе выход, прекращаются и судорожные явления истерии, если удастся создать выход подавленному и оттесненному чувству, «отвести энергию симптомообразующего аффекта, уклонившегося на ложные пути и там как бы заземленного, в правильном направлении, с тем чтобы он нашел себе исход».

В качестве инструмента для такого рода душевной разгрузки Брейер и Фрейд применяли сначала гипноз. Но в ту эпоху, доисторическую эпоху психоанализа, гипноз отнюдь не представляет собою целебного средства; он является лишь вспомогательным приспособлением. Его назначение исключительно в том, чтобы помочь разрядить судорогу чувства; он является как бы наркозом для предстоящей операции. Лишь после того как отпали задержки контролирующего сознания, больной свободно высказывает все затаенное; и уже благодаря одной только его исповеди гнет, обуславливающий расстройство психики, ослабевает. Создается выход стесненному чувству, наступает то состояние душевной облегченности, которое превозносилось еще в греческой трагедии как несущее свободу и блаженство; потому-то Брейер и Фрейд назвали поначалу свой метод «катарсическим», в смысле аристотелевского катарсиса. Благодаря сознанию и самосознанию становится излишним искусственный, болезненно-ложный акт, исчезает симптом, имевший только символический смысл. Выговориться означает, таким образом, до некоторой степени и прочувствовать; осознанность несет с собою освобождение.

Вплоть до этих существенно важных, можно сказать решающих, предпосылок Брейер и Фрейд продвигались вперед сообща. В дальнейшем пути их расходятся. Брейер, врач по призванию, обеспокоенный опасными моментами этого спуска в пропасть, снова обращается к области медицины; его, по существу, занимают возможности излечения истерии, устранение симптомов. Но Фрейда, который только теперь открыл в себе психолога, влекут как раз таинственность этого акта трансформации, происходящий в душе процесс. Впервые установленный факт, что чувства поддаются оттеснению и замене их симптомами, подвигает его на все новые и новые вопросы: он угадывает, что в этой

одной проблеме заключена вся проблематика душевного механизма. Ибо если чувства поддаются оттеснению, то кто их оттесняет? И прежде всего, куда они оттесняются? По каким законам происходит переключение сил психических на физические, и где именно совершаются эти непрерывные переустановки, о которых человек ничего не знает и которые он, с другой стороны, сразу же осознает, если его принудить к такому осознанию? Перед ним начинается смутно обрисовываться незнакомая область, куда не отваживалась вторгаться до сих пор наука; новый мир открывается ему издали, в неясных очертаниях — мир бессознательного. И отныне страстное устремление всей его жизни — «познать долю бессознательного в индивидуальной жизни души». Спуск в пропасть начался.

МИР БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО

Требуется всегда особое напряжение, чтобы забыть что-нибудь такое, что ты знаешь, чтобы с высшей ступени созерцания искусственно заставить себя спуститься до другой, более примитивной; так же трудно нам вернуть себя назад к тем представлениям, которые существовали в научном мире около 1900 года относительно понятия «бессознательное». То обстоятельство, что наша психическая деятельность отнюдь не исчерпывается сознательной работой разума, что за последней проявляет себя какая-то другая сила, как бы в теневой области нашего существования и мышления, было, само собой разумеется, известно и до фрейдовской психологии. Но суть в том, что она не знала, что ей делать с этим представлением; ей чужды были какие бы то ни было попытки претворить это понятие в науку и опыт. Философия той поры охватывает явления психики, лишь поскольку они проявляют себя в пределах сознания. Но ей кажется бессмысленным — *contradictio in adjecto*¹ — пытаться сделать бессознательное объектом сознания. Чувство только тогда становится для нее чувством, когда оно отчетливо ощутимо, воля — только тогда, когда она проявляет себя в действии, а до тех пор, пока психические явления не проступают на поверхность сознательной жизни, психология исключает их из области науки как невесомые.

Фрейд в своем психоанализе пользуется техническим термином «бессознательное», но он придает ему значение

¹ Противоречие в сопоставлении (*лат.*).

совершенно иное, чем школьная философия. В представлении Фрейда сознательное не является исключительной категорией душевной деятельности, и, в соответствии с этим, бессознательное не кажется ему категорией совершенно особой или даже подчиненной; наоборот, он решительно подчеркивает, что все душевные процессы представляют собой поначалу бессознательные акты; те из них, которые осознаются, не являются какою-либо особой или подчиненной разновидностью, но их переход в сознание есть свойство, приводящее извне, как свет по отношению к какому-либо предмету. Стол остается таким же столом независимо от того, стоит ли он невидимым, в темном помещении, или его делает доступным зрению включенная электрическая лампочка. Свет всего только делает его существование чувственно постигаемым, но не обуславливает его существования. Несомненно, в этом состоянии повышенной доступности восприятию он может быть измерен точнее, чем впотьмах, хотя и в последнем случае возможно создать некоторые ограничивающие представления о нем, при помощи другого метода, путем ощупывания и осязания. Но, логически, невидимый впотьмах стол столь же принадлежит к физическому миру, как и видимый, и, по аналогии с этим, бессознательное в той же мере входит в область душевных явлений, как и сознательное. В соответствии с этим, «бессознательное», по Фрейду, впервые не разнозначуще непостижимому и в этом новом понимании вводится им в терминологию науки. Новое в науке требование Фрейда — вооружиться новым вниманием, прибегнуть к другой методологической аппаратуре, к водолазному колоколу глубинной психологии, опуститься ниже глади сознания и осветить психические процессы не только поверхностно, но и в последних глубинах — сделало наконец из школьной психологии подлинную науку о душе человеческой, применимую практически и даже несущую исцеление.

В этом открытии новой области для исследований, в этой полной перестановке душевных сил и расширении арены их деятельности до невероятных размеров и заключается, собственно, гений Фрейда. Одним приемом область доступного восприятию в сфере психики во много раз увеличилась, и к двум поверхностным измерениям прибавилось и третье — по глубине. Благодаря этому одному, незначительному на первый взгляд переключению — ведь самые решающие мысли всегда представляются в дальнейшем простыми и сами собой понятными — меняются, в пределах душевной динамики, все нормы. И в истории культуры, в

будущем, этот творческий миг психологии будет, вероятно, сопричислен к тем великим мировым мгновениям, которые установкою на другой угол зрения изменили все мышлеощущения эпохи, как то было с Кантом и Коперником. Ибо уже сейчас академические представления начала нашего века о человеческой психике кажутся нам столь же неуклюжими, ложными и ограниченными, как Птолемеева карта, именуемая миром жалкую долю географической вселенной. В точности так же, как и наивные картографы той поры, дофрейдовские психологи обозначают все эти необследованные материки попросту термином «terra incognita»¹, бессознательное для них — замена понятий «недоступное познанию», «непостижимое». Они чувствуют смутно: где-то должен находиться таинственный резервуар, куда стекают, чтобы застаиваться там, не использованные нами воспоминания, помещение, где без всякого толку скопляется все забытое и ненужное, складочное место, откуда память время от времени переводит тот или иной предмет в сознание. Но основоположением дофрейдовской науки было и остается: этот мир бессознательного сам по себе до конца пассивен, полностью недеятелен; это отжитая, отмершая уже жизнь, прошлое, с которым покончено; все это не имеет никакой силы, никакого влияния на наше психическое настоящее.

Такому толкованию Фрейд противопоставляет свое: бессознательное — это отнюдь не отходы душевной жизни, но изначальная душевная субстанция, и только крохотная ее доля всплывает на поверхность сознания. Однако главная, не выступающая на свет часть, так называемое бессознательное, ни в коем случае от этого не мертва и не лишена динамичности. На самом деле она влияет на наше мышление и наше чувство столь же живо и активно; она, пожалуй, является даже наиболее жизнедеятельной частью душевной нашей субстанции. Поэтому тот, кто не учитывает участия во всех наших решениях бессознательной воли, смотрит ошибочно, ибо упускает из виду самый существенный фактор внутренней нашей напряженности; сила удара ледяной горы не угадывается по той ее части, которая выдается над поверхностью воды (главнейший упор скрыт под поверхностью); так и тот грубо обманывается, кто полагает, что только наши ясные нам порывы энергии определяют наши ощущения и поступки. Наша жизнь, во всей ее полноте, не развивается свободно на началах разум-

¹ Неведомая земля (*лат.*).

ности, но испытывает непрестанное давление со стороны бессознательного; каждый миг новая волна из бездны позабытого якобы прошлого вторгается в живую нашу жизнь. Вовсе не в той величественной мере, как полагаем мы ошибочно, подчиняется внешнее наше поведение бодрствующей воле и расчетам рассудка; молниеносные наши решения, внезапные подземные толчки, потрясающие нашу судьбу, исходят из темных туч бессознательного, из глубин инстинктивной нашей жизни.

Там, внизу, теснится слепо и беспорядочно то, что в сфере сознания разграничено ясными категориями пространства и времени; там бродят яростно желания давно заглохшего детства, которые мы считаем давно похороненными, и время от времени прорываются, жаждущие и алчущие, в нашу жизнь; страх и ужас, давно забытые сознанием, вздымают свои вопли ввысь, по проводам наших нервов; страсти и вожделения не только нашего личного прошлого, но и истлевших поколений, страсти и вожделения наших варваров-предков сплетаются корнями там, в глубине нашего существа. Оттуда, из глубины, возникают наиболее личные наши поступки, из области таинственного исходят внезапные озарения; сила наша определяется иною, высшею силой. Там, в глубине, неведомо от нас, живет изначальное наше «я», которого наше цивилизованное «я» не знает больше или не желает знать; но внезапно оно выпрямляется во весь рост и прорывает тонкую оболочку культуры; и тогда его инстинкты, первобытные и неукротимые, грозно проникают в нашу кровь, ибо извечная воля бессознательного — воспрянуть к свету, претвориться в сознание и найти выход в действие: «поскольку я существую, мне надлежит быть деятельным». Всякий миг, какое бы слово мы ни произносили, какой бы ни совершали поступок, должны мы подавлять или, вернее, оттеснять наши бессознательные влечения; нашему этическому или культурному чувству приходится неустанно противиться варварским вожделениям инстинктов. И — величественная картина, впервые вызванная к жизни Фрейдом, — вся наша душевная жизнь представляется как непрестанная и страстная, никогда не приходящая к концу борьба между сознательною и бессознательною волей, между ответственностью за наши поступки и безответственностью наших инстинктов. Но и с виду бессознательное имеет во всех своих проявлениях, даже когда они нам непонятны, определенный смысл; сделать этот смысл, смысл бессознательных наших побуждений, постижимым для индивидуума — в этом видит Фрейд

задачу новой и насущно необходимой психологии. Только после того, как мы осветили глубинный мир человека, можем мы судить о его чувствах; только спустившись к глубинам психики, можем мы понять, по существу, причину ее расстройств и потрясений. Психологу и психиатру незначителен человек тому, что он постигает сознанием. Лишь там, где человеку неведомо бессознательное, может оказать ему действительную помощь врач по душевным болезням.

Но как проникнуть туда, в эти сумеречные области? Современная наука не знает пути. Она категорически отрицает возможность постигнуть явления бессознательного при помощи аппаратуры, рассчитанной на точность механического порядка. И только в свете дня, только в области сознательного могла производить свои наблюдения старая психология. А мимо всего безмолвного или говорящего смутно она проходила равнодушно, не глядя. И вот Фрейд ломает это воззрение, как прогнанный кусок дерева, и швыряет его от себя прочь. По его убеждению, бессознательное не безмолвно. Оно говорит, но, правда, при помощи иных знаков и символов, чем язык сознания. Поэтому тот, кто с поверхности своего «я» хочет спуститься в глубины, должен изучить сначала язык этого нового мира. Подобно тому как египтологи использовали таблицу Розетты, начинает и Фрейд наносить значок за значком, начинает разрабатывать для себя словарь и грамматику языка бессознательного, чтобы уразуметь те голоса, которые звучат за нашими словами и за нашим сознанием предостерегающе или зовуще и власти которых мы в большинстве случаев подпадаем более роковым образом, чем веляниям сознательной нашей воли. А кто уразумел новый язык, уразумел и новый смысл. Таким образом новый подход Фрейда к глубинной психологии открывает неведомый до того мир; только благодаря ему научная психология из системы простых, теоретически-умозрительных наблюдений над актами сознания становится тем, чем она всегда должна была быть, — наукою о душевных явлениях. Одно из полушарий внутреннего нашего мира не пребывает уж более затененным и недоступным для науки. И в той мере, как обозначаются первые контуры бессознательного, все более непреложным становится новое понимание чудесно осмысленной структуры духовного нашего мира.

ТОЛКОВАНИЕ СНОВ

Как это люди до сих пор так мало раздумывали о содержании наших снов, свидетельствующем о наличии двойной жизни в человеке? Разве в этом явлении не заключена целая новая наука?.. Оно не в меньшей мере подтверждает факт постоянного разрыва между двумя сторонами нашей природы. Я в конце концов вынес из этого убеждение в преимущественной мощи скрытых наших чувств над явными.

Бальзак. Луи Ламбер, 1833 г.

Бессознательное — глубочайшая тайна всякого человека; психоанализ ставит себе задачей помочь ему в раскрытии этой тайны. Но как раскрывается тайна? Трояким образом. Можно силою исторгнуть у человека то, что он утаивает; столетия пыток показали наглядно, каким способом можно разжать и упрямо стиснутые губы. Далее, можно путем различных сопоставлений угадать скрытое, пользуясь короткими мгновениями, когда смутный абрис тайны — подобно спине дельфина над непроницаемой гладью моря — на секунду всплывает из мглы. И можно, наконец, дожидаться с величайшим терпением случая, когда в состоянии ослабленной настороженности высказано будет то, что скрывалось.

Всеми этими тремя техническими приемами пользуется попеременно психоанализ. На первых порах он пытался насильственно заставить заговорить бессознательное, подавляя волю гипнотическим внушением. Психологам давно уже было известно, что человек знает о себе больше, чем он сознательно признает перед самим собою и другими, но они не умели подойти к этому подсознательному. Только месмеризм показал впервые, что в состоянии искусственного сна из человека нередко можно извлечь больше, чем в состоянии бодрствования. Тот, чья воля парализована, кто пребывает в трансе, не знает, что он говорит в присутствии других; он полагает, что находится в мировом пространстве наедине с самим собою, и выбалтывает, не смущаясь, сокровеннейшие свои желания и тайны. Поэтому гипноз казался сначала самым многообещающим методом; но вскоре (по соображениям, которые завели бы нас слишком далеко в детали дела) Фрейд отказывается от насильственного вторжения в бессознательное, как от способа неэтического и малопродуктивного; подобно тому как судопроиз-

водство, на более гуманной ступени, добровольно отказывается от пытки, заменяя ее более сложным искусством допроса и косвенных улик, так и психоанализ вступает в эпоху комбинирования и догадок из эпохи насильственно добытых признаний. Всякая дичь, как бы ни была она проворна и легка на ходу, оставляет следы. И в точности так же, как охотник по самым слабым отпечаткам ног угадывает поступь и породу зверя, как археолог по осколку вазы устанавливает принадлежность к той или иной эпохе целого города, погребенного под землю, практикует, в этой последующей стадии развития, и психоанализ свое искусство тайного розыска, пользуясь малейшими указаниями, при посредстве которых бессознательное проявляет себя в данный момент в пределах сознательной жизни. Уже при первых своих наблюдениях в направлении этих указаний Фрейд обнаружил поразительные следы, а именно так называемые ошибочные действия. Под ошибочными действиями (для каждого нового понятия Фрейд неизменно находит особо меткое слово) глубинная психология понимает совокупность всех тех своеобразных явлений, которые человеческая речь, величайшая и старейшая представительница психологического опыта, давно уже объединила в одну целостную группу и обозначила одинаковым начальным слогом «о», как-то: о-говориться, о-писаться, о-ступиться, о-слышаться. Пустяк, без сомнения: человек оговаривается, произносит одно слово вместо другого, принимает один предмет за другой, описывается, пишет вместо одного другое с л о в о, — с каждым случается такая ошибка десять раз на день. Но откуда берутся эти опечатки в книге жизни? В чем причина того, что материя противится нашей воле? Ни в чем — случай или усталость, отвечала старая психология, насколько она вообще удостаивала своим вниманием столь незначительные изъяны повседневной жизни. Отсутствие всякой мысли, рассеянность, невнимательность. Но Фрейд берется за дело вплотную: что значит отсутствие мысли, как не то, что наши мысли не там, где надлежало бы им в согласии с нашей волей быть? И если, в результате, не осуществляется диктуемое волею намерение, то откуда выскакивает другое, волей не продиктованное? Почему вместо того слова, которое мы хотим произнести, мы произносим другое? Так как при ошибочных действиях вместо действия преднамеренного совершается другое, то кто-то должен был вмешаться и это действие воспроизвести. Кто-то такой должен быть, кто добывает это неправильное слово вместо правильного, кто прячет предмет, который мы ищем, кто

коварно подсовывает вместо сознательно разыскиваемого другой предмет. И вот Фрейд приходит к убеждению (и эта идея становится первенствующей в его методике), что на всем пространстве психики нет ничего бессмысленного, случайного. Для него всякий душевный процесс имеет определенный смысл, всякий поступок — своего вдохновителя; и так как в этих ошибочных действиях сознательная сфера человека не участвует, но оттесняется, то что же такое эта оттесняющая сила, как не бессознательное, столь долго и безуспешно разыскиваемое? Таким образом, ошибочное действие означает для Фрейда не отсутствие мысли, но проникновение вовне некоей оттесненной мысли. Что-то такое высказывает себя в о-говорке, в о-писке, чему не давала выхода в речь наша сознательная воля. И это что-то говорит неведомым и подлежащим еще изучению языком бессознательного.

Этим самым объяснено нечто основное: во-первых, в каждом ошибочном действии, во всем якобы неправильно проделанном выражается какое-то тайное намерение. И во-вторых: в области сознательной воли должно было быть налицо сопротивление этому проявлению бессознательно-го. Когда, например (я беру примеры самого Фрейда), профессор говорит на конгрессе о работе своего товарища: «Мы не в состоянии дать достаточно низкой оценки этому открытию», то сознательным его намерением было, правда, сказать «высокой», но в глубине своей души он думал «низкой». Это ошибочное действие выдает его истинную установку, оно, к его собственному ужасу, выбалтывает его тайну, состоящую в том, что он охотнее недооценил бы работу своего товарища, чем переоценил ее. Или если некая искушенная в туризме дама жалуется во время экскурсии, что у ней намокли от жары блуза и рубашка, и потом продолжает: «Если бы только скорее добраться до панталон и сбросить все!» — то кто же не поймет того, что поначалу она хотела высказаться полнее и сообщить наивно, что у нее намокли блуза, рубашка и панталоны¹. Понятие «панталоны» было близко к тому, чтобы соскочить с языка, но в последний момент является сознание непристойности положения; это сознание преграждает путь слову и оттесняет его; но подавленное намерение не до конца вытеснено, и вот роковое слово выскакивает, пользуясь мигом расте-

¹ Не поддающаяся переводу обмолвка: в подлиннике «nach Nose» вместо «nach Hause». Nose — панталоны, nach Hause — домой. — *Прим. переводчика.*

рянности, в следующей фразе, в качестве «ошибочного действия». При обмолвке высказывают то, чего, собственно, не хотели сказать, но что думали в действительности. Забывают то, что в глубине души хотели забыть. Теряют то, что хотели потерять. Ошибочное действие почти всегда означает признание и улику против самого себя.

Это психологическое открытие Фрейда, незначительное по сравнению с основными его творческими мыслями, встретило в ряду его наблюдений наиболее единодушное признание со стороны, как самое забавное и безобидное; в пределах же его системы ему принадлежит только промежуточная роль. Ибо такие ошибочные действия имеют место сравнительно редко, они являются лишь мельчайшими осколками бессознательного, слишком малочисленными и слишком рассеянными во времени, чтобы можно было составить из них мозаику целого. Но Фрейд, с присущей ему жадной наблюдательности, нащупывает, конечно, исходя отсюда, всю нашу душевную жизнь по ее поверхности: нет ли налицо и других столь же «бессмысленных» явлений и нельзя ли их растолковать в том же смысле. Ему не приходится долго искать, чтобы столкнуться с наиболее постоянным явлением душевной нашей жизни, которое точно так же слывет бессмысленным и считается даже типичной бессмыслицей. Даже в разговорном языке сон, этот повседневный наш гость, характеризуется как назойливый пришелец и фантастический бродяга по логически безупречным путям нашей мозговой системы: «сновидения — пена». В глазах людей это ничто, расцвеченная, как мыльный пузырь, пустота без цели и без смысла, мираж в крови; их содержание ничего не «означает». Человеку нечего делать со своими снами, он не повинен в этой своенравной, колдовской игре своей фантазии — так аргументирует старая психология и отказывается от всякого осмысленного их толкования; пускаться в серьезные разговоры с этими живыми и бестолковыми созданиями не представляет для науки никакого смысла, никакой ценности.

Но кто же говорит, показывает, живописует, действует и создает образы в наших сновидениях? Уже прежняя эпоха подозревала, что здесь говорит, действует и проявляет свою волю не наше бодрствующее «я», а кто-то другой. Уже древность поясняла относительно сновидений, что они нам «даны», вложены в нас какой-то высшей силой. Здесь проявляет себя какая-то сверхземная или — если отважиться на это слово — какая-то сверхличная воля. А для всякой внечеловеческой воли древний мир мифов знал только одно тол-

кование: боги! — ибо кто же, кроме них, обладал даром превращения и высшею силою? Это были они, обычно незримые; в символических сновидениях приближались они к людям, нашептывали им вести, наполняли их ужасом или надеждою и рисовали на черной завесе сна красочные свои картины, предостерегая и заклиная. Уверенные, что вмешуют в этих ночных откровениях священным, более того, ангельским голосам, все первобытные народы с величайшим жаром пытались уразуметь человеческим своим умом божественный язык «сновидения», чтобы постигнуть в нем волю божества.

Так на заре человечества в качестве одной из самых ранних наук возникло толкование снов; перед каждой битвой, перед каждым решающим событием по прошествии ночи, исполненной сновидений, жрецы и прорицатели вникают в сны и толкуют их содержание как символ грядущего блага или угрожающего зла. Ибо древнее искусство толкования снов, в противоположность психоанализу, раскрывающему с их помощью человеческое прошлое, полагает, что в этих фантазмагориях бессмертные возвещают смертным их будущее. И вот тысячелетиями царит в храмах фараонов, в акрополях Греции, в святилищах Рима и под палящим небом Палестины эта мистическая наука. Для сотен и тысяч поколений сновидение было наиболее достоверным толкованием судьбы.

Новая эмпирическая наука, само собою разумеется, резко порывает с этим воззрением как с суеверным и до крайности наивным. Так как она не признает никаких богов и едва ли признает божество, то не видит в снах ни указания свыше, ни какого-либо смысла вообще. Для нее сны — это хаос, по неимению смысла не имеющий никакой цены, голый физиологический акт, лишенное тональности, дисгармоническое последствие нервных возбуждений, красочный мираж переполненного кровью мозга, последний, не имеющий значения отголосок не переваренных за день впечатлений, который уносится мутной волною сна. В таком беспорядочном нагромождении образов нет, разумеется, никакого логического или психического смысла. Поэтому наука не усматривает в чередовании сновидений ни достоверности, ни цели, отрицая какое бы то ни было их значение или закономерность; психология того времени не делает даже попыток осмыслить бессмысленное, истолковывать не поддающееся толкованию.

Только с появлением Фрейда — по прошествии двух-трех тысячелетий — сновидение получает опять объектив-

ную ценность как некий указующий на судьбу человека акт. Там, где другие видели только хаос, беспорядочное движение, глубинная психология вновь постигает закономерное действие сил; то, что казалось ее предшественникам запутанным лабиринтом без выхода и без смысла, представляется ей *via regia*¹, большой дорогой, связывающей подсознательную жизнь с сознательной. Сновидение является посредником между миром наших потайных чувств и миром чувств, подчиненных нашему сознанию; благодаря ему можем знать многое такое, что в состоянии бодрствования соглашаемся знать неохотно. Ни один сон, утверждает Фрейд, не является до конца бессмысленным, каждому из них, как полноценному душевному акту, присущ определенный смысл. В каждом проявляет себя не высшая правда, не божественная, не внечеловеческая воля, но зачастую самая затаенная, самая глубокая воля человека. Правда, этот вестник не говорит языком обыкновенной нашей речи, языком поверхностным, — он говорит языком глубины, языком бессознательного. Поэтому мы не сразу постигаем его смысл и его назначение; мы должны сперва научиться истолковывать этот язык. Новая, подлежащая еще разработке наука должна научить нас закреплять, постигать, переводить на понятный нам язык то, что с кинематографической быстротою мелькает на черной завесе сна. Ибо подобно всем первобытным языкам человечества, подобно языку египтян, халдеян и мексиканцев, язык сновидений пользуется исключительно образами, и всякий раз мы стоим перед задачей претворить его символы в понятия. Эту задачу — преобразовать язык сновидений в язык мысли — берет на себя Фрейд, имея в виду нечто новое и характерное для его метода. Если старая, пророческая система толкования снов пыталась познать будущее человека, то вновь возникшая психологическая система прежде всего хочет вскрыть его психобиологическое прошлое, а с ним вместе и подлинное его настоящее. Ибо только по видимости наше выступающее в сновидениях «я» идентично нашему «я» бодрствующему. Так как времени во сне не существует (не случайно мы говорим «с быстротою сновидения»), то во сне мы представляем совокупность всего, чем были когда-либо и что мы теперь; наше «я» одновременно и младенец, и отрок, человек вчерашнего дня и человек сегодняшний, суммарное «я», итог не только текущей, но и прожитой жизни, между тем как наяву мы воспринимаем единственно

¹ Царская дорога (*лат.*).

наше мгновение «я». Всякая жизнь двойственна. В глубине, в бессознательном мы являем собою совокупность нашей личности, былое и настоящее, первобытного человека и человека культурного в их нагромождении чувств, архаические остатки некоего пространного, с природой связанного «я», а вверху, в ясном, режущем свете дня — только сознательное, преходящее «я». И эта универсальная, но смутная жизнь сообщается с нашим преходящим существованием почти исключительно ночью, при посредстве таинственного гонца во тьме — сновидения; самое существенное, что мы в себе постигаем, узнаем мы от него. Поэтому подслушать его, понять его назначение и значит ознакомиться с самым существом своей сущности. Только тот, кто знает свою волю не только в пределах сознания, но и в глубинах своих сновидений, догадывается поистине о том итоге пережитой и преходящей жизни, который мы именуем нашей личностью.

Но как опустить грузило в столь непроницаемые и безмерные глубины? Как познать отчетливо то, что никогда ясно не сказывается, что мелькает только смутными личинами в затененных переходах нашего сна, что вещает только, вместо того чтобы говорить? Найти для этого ключ, найти расколдовывающий шифр, который бы выразил непонятный язык сновидений языком я и и, — это требует своего рода магии, какой-то провидческой интуиции. Но Фрейд в своей психологической мастерской обладает отмычкой, которая раскрывает все двери, он пользуется почти безошибочной механикой; во всех случаях, когда он хочет достигнуть самых сложных результатов, он исходит из самого примитивного. Неизменно ставит он изначальную форму в один уровень с конечной; всегда и повсюду нащупывает он корни, чтобы ознакомиться с цветом. Поэтому Фрейд в своей психологии сна начинается не с высококультурного, сознательного человека, а с ребенка. Ибо в детском сознании, в пределах наличных представлений, мало имеется смежных, соприкасающихся понятий, круг мышления ограничен, ассоциации слабы, и потому материал сновидений доступен обозрению. В отношении детских снов достаточно минимальной дозы искусства толкования, чтобы сквозь тонкую оболочку мышления проникнуть в область затаенных чувственных восприятий. Ребенок прошел мимо кондитерской, родители не согласились купить ему что-либо, и вот ребенок видит во сне шоколад. Полностью несостоявшимися, полностью неокрашенными претворяются в детском мозгу вожеление в образ, желание — в сновиде-

ние. Нет еще налицо каких бы то ни было душевных, моральных, сексуальных, интеллектуальных задержек, какой-либо предусмотрительности или оглядки. С той же непосредственностью, с какою ребенок демонстрирует себя, свое голое и чуждое стыдливости тело всякому постороннему, раскрывает он и во сне свои подлинные желания.

Этим самым проделана уже некоторая подготовительная работа в целях будущего толкования. Оказывается, что за символическими образами сна скрываются по большей части неисполнившиеся, подавленные желания, которые не могли осуществиться днем и вот устремляются теперь обратно в жизнь путями сновидения. То, что по каким-либо причинам не могло воплотиться днем в слово или в действие, выявляет себя там в красочных фантазиях, при посредстве образов и очертаний; в ускользающем от контроля потоке сна все вожелдения и устремления нашего внутреннего «я» могут свободно и во всей наготе вести беспорядочную свою игру. С виду как будто без всяких задержек — вскоре Фрейд исправит эту ошибку — изживается там все то, что не могло воплотиться в реальной жизни, самые темные желания, опаснейшие и запретнейшие помыслы; в этой свободной от постороннего контроля области души, изо дня в день стесняемая преградами, может наконец освободиться от бремени всех своих сексуальных и агрессивных вожелдений; во сне мужчина может обнять и силою овладеть женщиной, которая наяву ему противится, нищий может разбогатеть, урод — обзавестись красивой внешностью, старик — помолодеть, отчаявшийся в жизни — стать счастливым, всеми забытый — снискать славу, слабый — обрести силу. Только здесь человек может убить своего врага, поработить своего начальника, экстатически изжить, наконец, в обладании божественной свободой свои затаеннейшие чувственные вожелдения. Всякое сновидение означает, таким образом, не что иное, как изо дня в день подавляемое человеком и даже от самого себя скрываемое желание; так, по видимому, гласит первичная формула.

Это первое в ряду других положений Фрейда не произвело сколько-нибудь определенного впечатления на широкую общественность, так как формула «сновидения — это как бы неизжитое желание» столь доступна в обращении и удобна, что ею можно играть как стеклянному шариком. И действительно, в некоторых кругах полагают, что серьезно занимаются анализом сновидений, развлекаясь забавною салонною игрой, выражающейся в толковании того или

иного сна с точки зрения символики желаний или даже сексуальной символики. В действительности никто более благоговейно, чем именно Фрейд, не взирал на многосложность той ткани, из которой сотканы сновидения, и на высокохудожественную мистику ее хитросплетений; никто не подчеркивал этого вновь и вновь так, как Фрейд. При его недоверчивом отношении к слишком быстрым выводам не потребовалось много времени, чтобы заметить, что вся эта доступность и быстрота восприятия относятся только к детским снам, ибо у взрослых фантазия образотворчества пользуется уже необъятным символическим материалом ассоциаций и воспоминаний.

И тот образный словарь, который в детском мозгу насчитывает каких-нибудь двести-триста обособленных представлений, сплетает здесь с непостижимым проворством и быстротою миллионы и, может быть, миллиарды пережитых мгновений в непомерно запутанную ткань. Миновали в сновидениях взрослого бессознательное бесстыдство и неприкрытость детской души, свободное выявлявшей свои желания, миновала болтливая непринужденность прежней поры ночных видений; сон взрослого не только дифференцированнее, но и тоньше, затаеннее, неискреннее, лицемернее, чем сон ребенка; он стал уже наполовину моральным. Даже в этом призрачном, личном своем мире изначально-сущий в человеке Адам утратил рай непосредственности, он различает добро и зло даже в глубоком сне. Доступ к социальному, к этическому сознанию даже во сне не до конца прегражден, и в то время как глаза сомкнуты и затуманены все чувства, душа человеческая испытывает страх: как бы не застигла ее, с ее непристойными желаниями, с преступными ее намерениями, ее укротительница, совесть «сверх-я», как именует ее Фрейд. Не свободными путями, открыто и без утайки, шлет сновидение свою весть ввысь, из области бессознательного, но проводит ее контрабандным путем, потайными дорогами, в самой затейливой маскировке. Поэтому Фрейд настоятельно предостерегает против того, чтобы рассматривать структуру сна как его истинное содержание. В сновидении взрослого чувство хочет высказаться, но не решается высказаться свободно. Оно высказывается, из страха перед «цензором», намеренно извращенно и чрезвычайно тонко, оно неизменно выдвигает на первый план бессмыслицу, чтобы не дать возможности разгадать подлинный смысл: как и всякий сочинитель, сновидение создает вымышленную правду, иначе говоря, оно при-

знается «sub rosa»¹, раскрывает тайное переживание только в символах. Следует поэтому тщательно разграничивать две категории: то, что «вымышлено» во сне ради утайки, так называемую «продукцию сна», и те подлинные элементы переживаний, которые скрываются за этой красочной завесой, — «содержание сна». Задачей психоанализа является, таким образом, разобраться в запутанной сети искажений и высвободить из загадочного романа — всякое сновидение ведь «вымысел и правда» — правду, действительное признание и вместе с ним ключ к разгадке. Не то, что говорит сон, а то, что он, собственно, хотел сказать, вводит нас в область бессознательных душевных переживаний. Только здесь обретаем мы глубину, к которой стремится глубинная психология.

Если Фрейд придает анализу сновидений особое значение в деле распознавания личности, то этим он ни в коем случае не толкает нас на смутные, произвольные толкования. Фрейд требует научно-кропотливого метода исследования, подобного тому, которое применяется литературоведами при подходе к поэтическому произведению. Так же, как германист пытается отграничить подлинный мотив переживания от фантастических прикрас и спрашивает себя, что, собственно, побудило автора к этому именно образу — как, например, в эпизоде с Гретхен усматривает он в качестве импульса подмену переживания с Фридерикою, так и психоаналитик ищет в измышленных своим пациентом сновидениях побудительный эффект.

Образ данного лица обрисовывается перед ним всего явственнее в создаваемых этой личностью образах; здесь, как и всегда, Фрейд глубже всего познает человека в состоянии продуктивности. Но так как познание личности является, собственно, основной целью психоаналитики, то ему приходится крайне осмотрительно пользоваться творческими тенденциями человека, материалом его сновидений: если он остерегается увлечений, противится соблазну измыслить и вложить в чужое сновидение свой собственный смысл, то во многих случаях он способен отвоевать позиции, весьма важные для ориентировки во внутреннем мире личности. Несомненно, антропология обязана Фрейду, столь плодотворно установившему психическую осмысленность ряда сновидений, ценными моментами в своем развитии; но, помимо этого, в процессе его работы ему удалось достигнуть и большего, а именно впервые истолковать

¹ Не для широкого распространения (*лат.*).

биологический смысл сновидения как некоей душевной необходимости. Наука уже давно постигла, что значит сон в хозяйственном обиходе мироздания; он восстанавливает истощившиеся за день силы, возобновляет израсходованную нервную энергию, устанавливает перерыв и отдых в сознательной работе мозга. В соответствии с этим казалось бы, что совершеннейшей с гигиенической точки зрения формой сна должна быть, собственно, абсолютная, черная пустота, родственное смерти погружение в небытие, приостановка работы мозга, утрата зрения, понимания, мыслительной способности. Почему же природа не наделила человека такою, с виду наиболее целесообразной формой отдохновения? Почему, при неизменной осмысленности всех ее явлений, она оживила черную завесу сна колдовской игрою видения? Почему každоношно тревожит она эту пустоту, этот путь в нирвану столь соблазнительным для души мельканием мнимой яви? К чему сновидения? Разве они не связывают, не смущают, не расстраивают, не противодействуют столь мудро задуманному отдохновению? С виду бессмысленные, разве они не опорочивают идею целесообразности и планомерности природных явлений? На этот вполне естественный вопрос биология ничего до сих пор не могла ответить. И лишь Фрейд устанавливает впервые, что сновидения необходимы для утверждения душевного нашего равновесия. Сновидение — это клапан для нашего чувства. Ибо в слабое и брненное наше тело вложено слишком много могучих страстей, непомерное жизнелюбие и непомерная жажда утех, и как мало желаний, из миллиарда имеющихся налицо, может удовлетворить рядовой человек в пределах мешански-размеренного дня! Едва ли тысячная часть наших вожелений воплощается в жизнь; и вот неутоленная и неутомимая, в бесконечность простирающаяся жажда томит каждого, вплоть до мелкого рантье, поденщика и призреваемого в богадельне. Каждого из нас обуревают темные влечения, бессильное властолюбие, подавленные и трусливо притаившиеся анархические помыслы, извращенное тщеславие, позы к жизни, зависть. Из несчетного числа проходящих мимо нас женщин каждая в отдельности вызывает в нас мгновенную страсть, и все эти неизжитые порывы, позы к обладанию змеиным, ядовитым клубком скопляются в подсознании, с раннего утра и до поздней ночи. Если бы ночные видения не давали исхода всем этим подавленным желаниям, могла ли бы душа не разлететься под таким атмосферным давлением или не прорвать себе выхода в преступление и убийство? Выпуская

наши вожделения, непрестанно утесняемые в пределах дня, на свободу, в безобидные области сновидений, мы снимаем тяжкое бремя с нашего чувства, мы освобождаем, путем такого самоотвлечения, нашу душу от яда угнетенности, подобно тому как наше тело освобождается во сне от яда усталости. В этом, нам одним доступном воображаемом мире мы изживаем все наши социально-преступные помыслы в форме безответственных, мнимых действий, вместо того чтобы изживать их как действия, влекущие кару. Сновидение означает суррогат, замену действия; оно избавляет нас нередко от необходимости действовать, и в высшей степени поучительно изречение Платона: «Хорошие люди — это такие, которые довольствуются снами, в то время как другие действуют». Не в качестве помехи жизни, помехи сна, а в качестве стража сна посещает нас сновидение; в спасительной его фантастике душа освобождается, галлюцинируя, от избытка своей напряженности («Что скопилось в сердце, расчихал во сне», — гласит выразительная китайская поговорка), так что по утрам наше посвежевшее тело обретает в себе вместо переполненной души душу очистившуюся и легко дышащую.

Это облегчающее, катарсическое действие сновидения является, по Фрейдю, тем самым его смыслом, которого так долго искали и который так упорно отрицался, и этим спасительным свойством обладает не только ночной пришелец сон, но и высшая форма фантастики и грез наяву, а стало быть, и художественное творчество и мифотворчество. Ибо какую же цель преследует творчество, как не избавить символически человека от томительных внутренних перенапряжений, перенести гнетущую его силу в другую, безопасную для его духа область! В каждом истинно художественном произведении образотворчество является творчеством самовысвобождения, и если Гёте говорит, что Вертер покончил самоубийством вместо него, то этим он с необычайной выразительностью поясняет, что спас свою собственную жизнь, осуществив задуманное им самоубийство на другом, вымышленном образе, двойнике; выражаясь психоаналитически, он «отреагировал» свое самоубийство в самоубийстве Вертера. И подобно тому, как отдельные личности освобождаются от гнета и от вожделения во сне, так и народы в целом высвобождают томящий их страх и присущие им страсти в мифах и религиях; на жертвенных алтарях освящается их инстинкт кровопролития, маскирующийся в символ, душевный гнет претворяется молитвою и покаянием в целительное слово утешения. Душа человечества

выявляла себя от начала веков лишь в художественной фантастике — иначе что бы мы о ней знали! Ее творческая мощь постигается нами только в ее сновидениях, воплощенных в религии, мифы и произведения искусства. Никакая психология поэтому не в состоянии — это прочно внушил нашей эпохе Фрейд — доискаться до подлинно личного в человеке, если она рассматривает только его сознательные и ответственные действия; ей приходится спуститься вглубь, туда, где существо человека становится мифом и создает наиподлиннейшую картину его жизни в творчески стремительном потоке стихийно-бессознательного.

ТЕХНИКА ПСИХОАНАЛИЗА

Странно, что так мало занимались внутренним миром человека и что подходили к нему так бездушно. Как мало использованы средства физики для духа и дух — для внешнего мира.

Новалис

В некоторых отдельных местах многообразной нашей земной коры начинает бить внезапно, неожиданным фонтаном драгоценная нефть, в некоторых разбросано в речном песке золото, в некоторых скопляется на поверхности уголь. Но техника человеческая не ждет, пока там и сям милостиво соизволят объявиться эти недостаточные по количеству сокровища. Она не надеется на случай, но сама разрывает землю, чтобы превратить источники в потоки, она пробивает ходы в глубине, и тысячи из них — без всякой пользы, с тем чтобы хоть один только раз добраться до драгоценной руды. Так и сколько-нибудь активная психология не должна довольствоваться случайными, всегда недостаточными показаниями сновидений и ошибочных действий; и ей приходится, чтобы добраться до основного пласта бессознательного, пользоваться психотехникой, сложными подземными сооружениями, открывающими доступ в глубину в результате систематической, преследующей определенную цель работы. Такой метод изобретен Фрейдом и назван им психоанализом.

Этот метод ни в чем не напоминает какой-нибудь из прежних, применявшихся в медицине или психологии. Он совершенно своеобразен и нов — способ, полностью независимый от других, психологическая система в ряду других

систем и вместе с тем глубже их проникающая, почему Фрейд и назвал ее глубинной психологией. Врач, желающий пользоваться этим методом, нуждается в своих, в высшей школе добытых познаниях в столь ограниченной степени, что вскоре, естественно, возник вопрос, требуется ли вообще для психоаналитика специальное медицинское образование; и на самом деле, после длительных колебаний Фрейд признал допустимым и «анализ непрофессионалов», иначе говоря, лечение у людей, не обладающих дипломом врача. Ибо врачеватель души, во фрейдовском смысле этого слова, предоставляет анатомическое исследование физиологам, он стремится только к тому, чтобы сделать видимым невидимое. Так как в этих случаях не ищут ничего, доступного механическому восприятию или осязанию, то всякая аппаратура становится для него излишней; кресло, в котором сидит врач, составляет так же, как в Christian Science, все врачебное оборудование этой терапии. Но Christian Science применяла все же духовные наркотики и анестезирующие средства; для облегчения страдания пациента она укрепляла тревожный дух его такими словами, как «Бог» и «вера». В противоположность этому психоанализ избегает всякого вмешательства, как психического, так и физического. Ибо в его намерения входит не ввести что-либо новое в человека, будь то лекарство или вера, но извлечь из него нечто, в нем пребывающее. Только познание, активное самопознание дает исцеление в психоаналитическом смысле; лишь после того как человек возвращен самому себе, своей подлинной личности (а не к вере в свое выздоровление, всегда сомнительной и многообразной), становится он господином над своей болезнью. Таким образом, работа совершается, собственно говоря, не извне, над личностью пациента, но всецело внутри его, в пределах его душевной стихии.

Врач ничего от себя не привносит в это лечение, кроме своего контролирующего опыта, незаметным образом влияющего на направление работы. Он не имеет при себе наготове, подобно практикующему врачу, каких-либо целебных снадобий или механической формулы, подобно последователю Christian Science; его умение является не заранее предписанным и готовым, но накапливается, капля за каплей, только по мере ознакомления с переживаниями больного. Пациент со своей стороны не вносит в процессе лечения ничего, кроме своего конфликта. Но он преподносит его не в раскрытом виде, не с разумением его свойств, а в самых своеобразных и обманчивых проявлениях, искаженно и

замаскированно, так что на первых порах существо расстройства недоступно ни его пониманию, ни пониманию врача. То, что являет собою невротик и в чем он признается, только симптом. А симптомы в области психики никогда не указывают ясно на болезнь, наоборот, они укрывают ее, ибо, по мысли Фрейда (крайне своеобразной и новой), невроты не имеют никакого содержания; каждый из них имеет только свою причину. Невротик не знает, чем вызвано его расстройство, или не хочет этого знать, или не постигает этого сознанием. Много лет подряд он претворяет свой внутренний конфликт в столь разнообразные навязчивые действия и симптомы, что в конце концов сам перестает понимать, что с ним происходит. И вот тут-то вступает в дело психоаналитик. Его назначением является помочь невроту разгадать загадку, ключ к которой он сам. В «деятельной работе вдвоем» он сообща с больным доискивается в зеркальном экране симптомов истинных, первичных образов расстройства; шаг за шагом проникают они, путями психической жизни больного, в обратном направлении, вплоть до того момента, когда окончательно прояснится и станет понятным внутренний разлад.

Этот технический прием психоанализа ближе на первых порах к области криминальной, чем к сфере врачебной деятельности. Всякий невротик, всякий неврастенник должен был, по мысли Фрейда, испытать когда-либо в прошлом взлом и покушение на целостность своей личности, и первую же мерюю является возможно точное ознакомление с обстоятельствами дела; в памяти сознания должны быть с максимальной точностью восстановлены место, время и все подробности позабытого или вытесненного происшествия. Но уже при первом же этом шаге психоаналитический метод наталкивается на трудность, которая неизвестна судопроизводству. Ибо в психоанализе пациент до известной степени совмещает в себе все. Он лицо, пострадавшее от преступления, и в то же время сам преступник. Он, при посредстве своих симптомов, является обвинителем и свидетелем обвинения, и вместе с тем он самый яростный укрыватель и самая большая помеха процессу. Где-то в глубине души он догадывается о происшествии и вместе с тем ничего о нем не знает; все, что он показывает о причинах, не причины; он не хочет знать того, что знает, и все-таки знает каким-то образом то, чего будто бы не знает. И — еще фантастичнее! — этот процесс начинается вовсе не с момента вступления в дело врача, он, собственно говоря, много лет уже длится без перерыва в душе невротика, не приходя ни к

какому концу. И психоаналитическое вмешательство имеет своей задачей, в качестве последней инстанции, положить конец процессу; к такому завершению, к такому разрешению больной бессознательно толкает врача.

Но психоанализ не пытается сразу же, посредством какой-либо поспешной формулировки, вывести невротика, человека, заблудившегося в душевном своем лабиринте, из его конфликта. Наоборот, на первых порах он оттесняет пациента, заманивает его ходами и обходами его собственных переживаний назад, в обратном направлении, до того рокового пункта, где имело место первоначальное, чреватое опасностью отклонение от прямого пути. Ибо, для того чтобы выправить изъяз в ткани и наново присучить нить, ткач всякий раз должен устанавливать машину на то именно место, где нить порвалась. Точно так же и врач неизбежным образом (тут не может быть никаких поспешных интуиции, никакого ясновидения) должен, для того чтобы полностью восстановить непрерывность жизненной ткани, вновь и вновь возвращаться к тому месту, где произошел в результате таинственного насилия надлом или перелом. Уже Шопенгауэр, в смежной области науки, высказал предположение, что можно было бы рассчитывать на полное выздоровление при душевных расстройствах, если бы мы были в состоянии проникнуть до того пункта, в котором имело место решающее потрясение психики; чтобы понять причину увядания цветка, нужно проследить ее вплоть до корней, до бессознательного. А это путь дальний, обходный и запутанный, грозящий ответственностью и опасностями; подобно тому как хирург становится во время операции все осторожнее и осмотрительнее по мере того, как приближается к тонкой нервной ткани, так и психоанализ мучительно медленно нащупывает себе сквозь эту тончайшую из материй пути от одного пласта переживаний к другому. Процесс психоанализа длится в каждом отдельном случае не дни и не недели, а месяцы, иногда и годы, и требует от врача длительной душевной сосредоточенности, доселе даже приблизительно незнакомой медицине, устойчивого самообладания, с которым могут, пожалуй, сравниться только упражнения иезуитов в волевой закалке. Все происходит при этих сеансах психоанализа без всякой записи, без каких бы то ни было вспомогательных средств, единственно путем напряженного внимания, рассчитанного, однако, на длительный период времени. Пациент ложится на кушетку, и притом так, что не может видеть сидящего позади него врача (с тем чтобы парализовать задержки стыдливости или

сознания), и рассказывает. Но, в отличие от ошибочных представлений большинства, он не ведет рассказа в связной форме, не исповедуется; если подглядывать в замочную скважину, то зрелище психоанализа может показаться высококомичным, ибо в течение нескольких месяцев внешне как будто только то и происходит, что из двух человек один говорит, а другой прислушивается. Психоаналитик настоятельно внушает своему пациенту, чтобы он в этих своих высказываниях отрекся от какого бы то ни было обдумывания и не вмешивался в происходящий процесс в качестве поверенного, обвинителя или судьи, чтобы он вообще ничего не желал, но поддавался, только без всякой мысли, всему, что придет ему непреднамеренно в голову (ибо приходит это не откуда-то свыше, а проступает из глубины, из бессознательного). Он не должен доискиваться того, что, по его мнению, относится к делу, ибо что означает, по существу, его душевное расстройство, как не то, что этот человек не знает, в чем его «дело», его болезнь? Если бы он знал это, он был бы психически нормален, не стал бы создавать для себя каких бы то ни было симптомов и ему незачем было бы обращаться к врачу. Психоанализ отвергает поэтому все заранее подготовленные сообщения, все писанное от руки и уговаривает только пациента излагать по памяти, в свободной форме как можно больше своих душевных переживаний. Невротик должен наговориться, выговорить себя самого, изъясняться монологами, вкривь и вкось, рассказывать всякую всячину, что бы ни пришло ему в голову, самое с виду незначительное, ибо как раз неожиданные, непреднамеренные, случайные его высказывания важнее всего для врача. Только через посредство таких «мало относящихся к делу» подробностей врач может приблизиться к сути дела. Поэтому главной обязанностью пациента является побольше рассказывать — правду или неправду, важное или неважное, театрально или искренне, но главное — раздобыть и преподнести как можно больше материала переживаний, то есть субстанцию биографическую и обрисовывающую душевный склад.

Теперь начинается, собственно, задача аналитика. Из груды постепенно подвезенного и сваленного в кучи износившегося жизненного материала, из многих и многих тысяч воспоминаний, замечаний и пересказанных сновидений врач должен при помощи жесткого решета психологии отделить пустой шлак и в процессе утомительной переплавки добыть чистый металл психологических выводов — психоаналитическую субстанцию из первичного сырья. Ни

в коем случае не вправе он признавать полноценным сырой материал рассказа; он неизменно должен помнить, что «сообщения и высказывания больного являются лишь извращенной картиной искомого конфликта, как бы намеками, по которым приходится разгадывать, что за ними скрывается». Ибо для познания болезни важно не пережитое пациентом (это бремя давно уже свалилось с его души), но еще не изжитое, элементы чувства, пребывающие в нем непретворенными, подобно непереваренному куску в желудке, и, так же как этот кусок, пробивающиеся и проталкивающиеся к выходу вовне, но всякий раз останавливаемые в своем продвижении судорогой какого-то противодействия. Этого противодействия и создаваемых им задержек должен доискиваться врач «с равномерным вниманием», в пределах отдельных проявлений психики пациента, с тем чтобы постепенно напасть на подозрение и от подозрения перейти к уверенности. Такое наблюдение, спокойное, деловитое, как бы извне осуществляемое, одновременно и облегчается, и затрудняется для врача поведением пациента, особенно в начале лечения, благодаря той едва ли не неизбежной установке чувств со стороны больного, которую Фрейд именует «перенесением». Невротик, прежде чем прийти к врачу, долгое время носит с собою избыток своего неиспользованного, неизжитого чувства, не будучи в состоянии от него отделаться. Он при помощи десятка симптомов перекатывает его из стороны в сторону, он разыгрывает свой бессознательный конфликт в самой причудливой игре перед самим собою; но сразу же, как только он видит перед собою в лице психоаналитика внимательного, профессионального слушателя и соучастника в игре, швыряет он свое бремя, как мяч, в него; он пытается перенести свои не поддающиеся воплощению аффекты на врача. Будь то чувство любви или ненависти, он, во всяком случае, вступает в определенное «отношение» с ним, устанавливая какое-то напряженное взаимодействие чувств. Впервые то, что до сих пор бессмысленно обрывалось в мире пустоты и никогда не могло до конца высвободиться, проявляется здесь, как на фотографической пластинке. Только с момента такого «перенесения» создается должная психоаналитическая интуиция; всякого больного, который на такое перенесение неспособен, следует рассматривать как неподходящего для психоанализа. Ибо, для того чтобы распознать конфликт, врач должен созерцать его развитие в эмоциональной, жизненной форме; пациент и врач должны сообща пережить его.

Эта общность психоаналитической работы состоит в

том, что больной создает или, вернее, воспроизводит свой конфликт, а врач толкует его смысл. Но при таком толковании смысла он ни в коем случае не должен (как можно было бы, с излишней поспешностью, предположить) рассчитывать на помощь больного; в области психики всегда имеют место разлад, двойственность чувств. Тот же самый пациент, который идет к психоаналитику, чтобы освободиться от своей болезни, зная только всего ее симптомы, вместе с тем бессознательно цепляется за нее, ибо эта его болезнь не постороннее для него тело, но нечто, им самим созданное, его продукция, деятельная и характерная частица его «я», которую он вовсе не желает отдать. И вот он крепко держится за болезнь, потому что помирится охотнее с ее тяжелыми симптомами, чем с истиною, которой он боится и которую врач хочет ему (собственно, против его воли) объяснить. Так как он чувствует и аргументирует двойственно — в одном случае исходя из сознания, а в другом из подсознания, — то он сразу и охотник, и преследуемая им дичь; лишь одна часть его существа помогает врачу, другая является его яростным противником, и в то время как одной рукою пациент протягивает врачу будто бы добровольное признание, другая его рука запутывает дело и накидывает покров на истинное его положение. Таким образом, сознательный невротик ничем не может помочь своему целителю; он не в состоянии сказать ему «правду» потому, что незнание правды или нежелание ее знать и есть то самое, что вывело его из равновесия и привело к расстройству. И даже в моменты искренней готовности к прямоте он лжет относительно себя. За каждой правдой скрывается другая, более глубокая правда, и если человек признается, то часто только с тем, чтобы за этим признанием утаить другое, еще более сокровенное. Порывы к откровенности и чувство стыда ведут здесь друг с другом и друг против друга таинственную игру; рассказчик временами выдает себя своими словами, а временами за этими словами прячется; в разгаре добровольной откровенности воля к признанию неожиданно подавляется. В каждом человеке, чуть только кто-либо захочет приблизиться к его сокровеннейшей тайне, что-то судорожно напрягается; всякий психоанализ в действительности борьба!

Но гений Фрейда всякий раз умеет обратить даже самого заклятого врага в незаменимого союзника. Как раз это сопротивление и выдает нередко человека, вырывая у него признание. Ибо для всякого обладающего тонким слухом наблюдателя человек выдает себя в беседе двояким обра-

зом: с одной стороны, тем, что он говорит, и, с другой стороны, тем, о чем он умалчивает; фрейдовское искусство тайного розыска чует близость решающей тайны там, где хочет и не может заговорить сила противодействия; задержка предательски становится союзником, она дает указания относительно правильного пути. Там, где больной говорит слишком громко или слишком тихо, где он ускоряет темп речи или вдруг останавливается, там хочет заговорить само бессознательное. И эти многочисленные мелкие сопротивления, эти еле заметные колебания, паузы, слишком громкая или слишком тихая речь, которые наступают всякий раз при приближении определенного комплекса, указывают, наконец, явственно, наряду с задержкою, на задерживающий фактор и объект задержки, короче говоря, на предмет розыска — затаенный и замаскированный конфликт.

Ибо в процессе психоанализа дело неизменно идет о бесконечно малых догадках, об осколках переживаний, из которых мозаически составляется затем картина внутренней жизни. Нет ничего наивнее столь укоренившихся в гостиных и в кафе представлений, будто бы человек опускает в мозги психоаналитика, как в автомат, свои сны и признания, а тот повертывает рукоятку механизма при помощи двух-трех вопросов — и сразу же выпадает оттуда диагноз. На самом деле всякий психоаналитический курс представляет собой неимоверно сложный, отнюдь не механический и даже высокохудожественный процесс, более всего сходный, пожалуй, с реставрированием, в прежнем ее стиле, старой, загрязненной картины, наново размалеванной поверх оригинала чьей-нибудь неуклюжей рукой; с изумительным терпением, слой за слоем, по миллиметрам, приходится обновлять ее и облекать новой жизнью, оперируя тонким и драгоценным материалом, пока наконец не проступит после снятия размалевки первоначальный образ в естественной своей расцветке. Внешне поглощаемый исключительно единичными подробностями, труд психоаналитического созидания неизменно имеет в виду целое, восстановление личности во всей ее полноте; поэтому в настоящем анализе отнюдь не следует выхватывать какой-либо один комплекс; всякий раз приходится восстанавливать, начиная с фундамента, всю душевную жизнь человека. Таким образом, терпение — это качество, которого требует психоанализ, деятельное терпение при непрестанной и все же не бросающейся в глаза наблюдательности, — ибо врач, не давая того заметить, должен бесстрастно распреде-

лять свое непредвзятое внимание между тем, что пациент рассказывает и что он не рассказывает, и сверх того не упускать из виду оттенков рассказа. Он должен сопоставлять данные каждого сеанса со всеми предшествующими, чтобы подметить, какие эпизоды больной повторяет, в силу внутреннего противодействия, подозрительно часто, в каких пунктах его рассказ вступает в противоречие с самим собой, и при этом он не вправе обнаружить нарочитое свое любопытство. Ибо, как только пациент замечает, что за ним следят, он теряет свою непосредственность — ту самую непосредственность, которая одна ведет к мгновенным озарениям бессознательного и дает возможность врачу созерцать контуры незнакомого пейзажа чужой психики. Но и это свое собственное толкование он не должен навязывать затем пациенту, ибо смысл психоанализа как раз в том, чтобы самосознание пришло к больному изнутри, чтобы переживание было изжито. Излечение в идеальной форме наступает лишь тогда, когда пациент признает наконец свои невротические симптомы излишними и станет претворять энергию своего чувства не в ложные представления и образы, а в жизнь и в жизненный труд. Только тогда анализ отпускает больного.

Но часто ли — опасный вопрос! — удастся психоанализу добиться столь совершенного результата? Боюсь, что не слишком часто. Ибо искусство выспрашивать и выслушивать требует исключительной тонкости душевного слуха, высокой проникновенности чувства, одновременного наличия стольких драгоценных духовных качеств, что только человек, судьбою к этому предназначенный, истинный психолог по призванию, может действовать здесь в качестве посредника. Christian Science и метод Куэ могут себе позволить подготавливать простых механиков по этим специальностям. Там достаточно заучить наизусть несколько универсальных формул: «Никаких болезней нет», «Я чувствую себя с каждым днем лучше»; такими грубо сработанными понятиями даже и неловкие руки могут без особого риска молотить по слабым человеческим душам, до тех пор пока пессимистическая мысль о болезни не будет выколочена начисто. Но психоаналитический метод возлагает на сознающего свою ответственность врача долг разрабатывать для себя в каждом индивидуальном случае, особую систему, а такого рода творческая способность к приспособлению не дается одним усердием и здравым смыслом. Она требует прирожденного и искушенного знатока душ человеческих, способного вдумываться в чужие судьбы и чувствовать их, в

соединении с человеческим тактом и терпеливой, незаметной наблюдательностью; но сверх всего этого от творчески одаренного психоаналитика должна бы исходить и еще некая магическая сила, поток симпатии и уверенности, которому могла бы доверчиво и со страстной готовностью подчиниться чужая душа, — качество, не поддающееся выучке и сочетающееся в лице одного человека лишь по особой милости неба. В крайней малочисленности таких истинных знатоков души человеческой склонен я видеть причину того, что возможности применения психоанализа ограничены и что в будущем он может стать призванием единиц, но не рядовой профессией и карьерой, что слишком часто встречается, к сожалению, в наши дни. Но в данном случае Фрейд смотрит странно-снисходительно, и когда он заявляет, что успешная работа при помощи его метода хотя требует такта и опыта, но «легко поддается изучению», то позволительно поставить здесь жирный и почти яростный вопросительный знак. Ибо уже выражение «работа» кажется мне неудачным для процесса, требующего напряжения высших духовных сил в человеке, а указание на всеобщую доступность явно, по-моему, опасно. Ибо самое усердное занятие психотехникой столь же мало способно создать истинного психолога, как знание стихосложения — поэта; а между тем только истинному психологу, ему одному, природенному, владеющему даром прочувствования провидцу душ человеческих, может быть разрешен доступ к самому тонкому, самому хрупкому и чувствительному из всех наших органов. Нельзя без ужаса подумать о том, какую опасность может представить в неуклюжих руках своего рода инквизиторский метод, задуманный в высшей степени тонко и с сознанием ответственности таким творческим умом, как Фрейд. Ничто, вероятно, так не повредило репутации психоанализа, как то обстоятельство, что он не ограничился узким, избранным кругом лиц, а ввел в состав школьной науки то, что не поддается изучению. Ибо в процессе поспешного и непродуманного перехода из рук в руки многие его понятия огрубели и отнюдь не стали плотнее; то, что слывет в наши дни в Старом и тем более в Новом Свете за психоаналитический метод, в профессиональном или дилетантском его применении, часто имеет с первоначальной практикой Зигмунда Фрейда, взявшего установку на гений и выдержку, лишь печальное сходство пародии. Как раз те, кто хотят судить независимо, должны признать, что только в результате упомянутых школьных анализов нет в настоящее время никакой возможности про-

верить, что, собственно, дает психоанализ в смысле терапии и будет ли он когда-либо в состоянии, в силу захвата его сомнительными дилетантами, удержать за собою абсолютное значение клинически точного метода; решение принадлежит здесь не нам, а будущему.

Одно только ясно: психоаналитическая техника Фрейда далеко еще не является последним и решающим словом в науке психотерапии. Но заслуга ее на вечные времена в том, что она составила первую страницу этой слишком долго пребывавшей за семью печатями книги, явилась первой методологической попыткой постигнуть индивидуум и излечить его на основе материала его личности. С гениальным инстинктом один отдельный человек осознал пустоту в средоточии современной врачебной науки; непостижимый факт: в то время как установлен тщательный уход за такими деталями человеческого организма, как зубы, кожа, волосы, душевные страдания не нашли отзвука у науки. Педагоги помогали человеку до наступления зрелости, а потом равнодушно оставляли его одного. И в полном пренебрежении пребывали те, кто еще в школе не справились с собою, не выполнили урока и беспомощно влачили за собою свои неизбытые конфликты. Для этих ушедших в себя и отставших, для невротиков, психастеников, для узников своего внутреннего мира, целое поколение не нашло пристанища, не нашло участия; больная душа беспомощно блуждала по улицам в тщетных поисках помощи. Такую инстанцию создал Фрейд. Он указал новой, современной нам науке место, где в античные времена стояли психолог, врачеватель душ и наставник в премудрости, а во времена благочестия — жрец. Науке предстоит еще отвоевать себе границы, но задача поставлена во всем ее величии, дверь раскрыта. А там, где дух человеческий чувствует новые миры и не изведанные еще глубины, он не успокаивается, но в мощном порыве расправляет свои не знающие усталости крылья.

ОБЛАСТЬ ПОЛА

И неестественное — тоже природа.
Кто не видит ее во всем, тот нигде не
видит ее как должно.

Гёте

То, что Зигмунд Фрейд стал основателем сексуальной науки, без которой отныне уж не обойтись, произошло, собственно, без всякого с его стороны умысла. Но таин-

ственная закономерность его жизненного пути в том, по-видимому, что путь этот всякий раз ведет его дальше, за пределы искомого, и открывает ему области, куда он по собственной воле никогда бы не отважился вступить. В тридцать лет он, вероятно, улыбнулся бы недоверчиво, если бы кто-нибудь предсказал, что ему, неврологу, предстоит поднять толкование снов и биологическую трактовку половой жизни до высоты науки, ибо ничто не предугадывает ни в личных его, ни в научных склонностях ни малейшего интереса к столь отдаленным и обходным дисциплинам. То, что Фрейд занялся проблемой пола, произошло не потому, что он к этому стремился; эта проблема сама собою стала на пути его научного мышления.

Она стала на его пути, к собственному его изумлению, совершенно неожиданно, возникнув из тех глубин, в которые заглянул он с Брейером. Они, исходя из истерии, сообща установили новое положение, что неврозы и большая часть всякого рода душевных расстройств возникают тогда, когда какое-либо влечение встречает препятствие на пути к естественному своему исходу и, не получив удовлетворения, оттесняется вглубь, в подсознание. Какого же рода те влечения, которые главным образом подавляет культурный человек, которые он скрывает от мира и даже от самого себя в качестве наиболее интимных и для самого себя тягостных? Проходит немного времени, и Фрейд дает сам себе ответ, от которого не уйти. Первый случай психоаналитического лечения невроза указывает на подавление эротического аффекта. Второй и третий точно так же. И вскоре Фрейд убеждается: всегда или почти всегда невроз обуславливается сексуальным влечением, которое, не будучи в состоянии овладеть своим объектом, претворяется в задержки и давит на психику. Первым ощущением Фрейда при этом непреднамеренном открытии было, вероятно, изумление по поводу того, что столь очевидный факт ускользнул от внимания всех его предшественников. Неужели действительно никому не бросилась в глаза эта прямая обусловленность? Нет, об этом нет ни слова в учебниках. Но потом Фрейд вспоминает вдруг о некоторых намеках и разговорах своих знаменитых учителей. Когда Хробак передал ему для лечения одну истеричку, он тут же сообщил ему под секретом, что эта женщина, несмотря на восемнадцатилетнее супружество, осталась девственницей, потому что муж ее был импотент; при этом он пошутил довольно грубо, пояснив лично от себя, какое, по его мнению, в высшей степени физиологическое и угодное богу вмешательство могло

бы лучше всего ее исцелить. Точно так же и его учитель Шарко в Париже в подобных же обстоятельствах высказался в разговоре относительно причины одного нервного расстройства: «Mais c'est toujours la chose sexuelle, toujours!»¹ Фрейд поражен. Значит, они это знали, его учителя, и, вероятно, бесчисленное количество выдающихся врачей и до них! Но, возмущается в нем его наивная добросовестность, если они узнали, почему держали они это в секрете и высказывались в разговоре, никогда не заявляя об этом публично?

Вскоре молодой врач на себе узнает, почему эти искушенные мужи утаивали от мира свои знания. Ибо едва только сообщает Фрейд, спокойно и деловито, результаты своих наблюдений в формуле: «Неврозы возникают там, где в силу внешних или внутренних препятствий нет реального удовлетворения эротическим потребностям», как со всех сторон встречает он яростный отпор. Наука, в то время еще непреклонная хоругвеносица морали, не согласна официально признать такого рода сексуальную этиологию; даже его друг Брейер, который сам содействовал ему в обнаружении тайны, поспешно отходит от психоанализа, как только начинает понимать, что помог ему открыть своего рода ящик Пандоры. Проходит немного времени, и Фрейду приходится удостовериться, что в 1900 году такие формулировки затрагивают пункт, где душа, равно как и тело, отличается наибольшей чувствительностью и щекотливостью; он убеждается, что тщеславие современной ему цивилизации охотнее помирится с любым уроном, чем услышит лишний раз, что инстинкт полового влечения все еще распоряжается каждым в отдельности и является решающим моментом в создании высших культурных ценностей. «Общество ни в чем не усматривает такой угрозы культуре, как в высвобождении полового инстинкта и в согласовании его с его прямыми, первоначальными целями. Общество не любит, чтобы ему напоминали об этом щекотливом обстоятельстве, лежащем в его основе. Оно ничуть не заинтересовано в том, чтобы мощь полового инстинкта была признана и чтобы разъяснено было значение половой жизни для каждого в отдельности. Наоборот, оно, в целях педагогических, избрало путь отвлечения внимания от всей этой области. Поэтому научные результаты психоанализа в целом ему не по вкусу, и охотнее всего оно заклеимило бы их как эстетически-отталкивающие, морально неприемлемые и опасные для человечества».

¹ Всегда, всегда что-нибудь сексуальное! (франц.).

Таким образом, все современное Фрейдю мирозерцание становится ему поперек дороги, с первых же его шагов. И к чести его, как человека добросовестного, нужно сказать, что он не только с решимостью принял вызов, но даже затруднил для себя борьбу благодаря врожденной своей прямолинейности. Ибо Фрейд мог бы высказать все, что он сказал, или почти все, не вызвав особого раздражения, если бы он нашел в себе готовность формулировать свою генеалогию половой жизни более осторожным образом, путем обходов, никого не задевая. Ему следовало только накинуть словесный покров на свои убеждения, приукрасить их слегка поэтически, и они контрабандою проникли бы в общество, никому особенно не бросаясь в глаза. Достаточно было бы, пожалуй, назвать то неистовое фаллическое влечение, чью мощь и силу он хотел показать во всей наготе, не *libido*, а более изысканно — эросом или любовью. Ибо утверждение, что душевная наша жизнь находится под знаком эроса, звучало бы, во всяком случае, по-платоновски. Но Фрейд, человек без лоска и противник всякой половинчатости, выбирает слова жесткие, угловатые, прямо бьющие в цель, он не упускает случая быть ясным; он так и говорит: «*libido*», «похоть», «сексуальность», «половое влечение» вместо «эрос» и «любовь». Фрейд слишком честен, чтобы, когда он пишет, выражаться описательно. «*Il appelle un chat un chat*»,¹ он пользуется как терминами, в области пола и всяческих от него отклонений, обычными немецкими наименованиями с тем же бесстрашием, с каким географ перечисляет города и горы или ботаник — растения и травы. С клиническим хладнокровием подвергает он исследованию все проявления сексуальности, не исключая и тех, которые заклеены в качестве пороков и извращений, равнодушный к выпадам возмущенной морали и к воплям перепуганной стыдливости; заткнув себе, в известном смысле, уши, он спокойно и терпеливо внедряется в неожиданно открывшуюся проблему и приступает к систематическому, первому за все время психогеологическому обследованию мира человеческих инстинктов.

Ибо в человеческом инстинкте Фрейд, этот сознательно посясторонний и глубоко антирелигиозный мыслитель, видит самый последний, огненно-текущий слой внутреннего нашего подземного мира. Не вечности хочет человек, не жизни в духе жаждет, как высшего блага, душа; она жаждет

¹ Он называет кошку кошкой (*франц.*).

слепо-инстинктивно. Беспредельное вожделение — это начало и основа всякой психической жизни. Так же, как тело к пище, стремится душа к наслаждению; libido, этот извечный позыв к сладострастию, этот неутомимый душевный голод, гонит ее в мир. Но — в этом, собственно, основа фрейдовского открытия в сексуальной науке — libido не имеет поначалу никакого определенного содержания, его смысл только в том, чтобы исходить влечением и влечением растекаться. И так как, по творческой установке Фрейда, душевная энергия всегда допускает перенесение, то libido может быть обращено то на один, то на другой объект. Таким образом, не всегда вожделение возникает в игре взаимного влечения между мужчиною и женщиною; оно стремится только к удовлетворению, оно — как напряжение лука, который не знает еще, куда полетит стрела, как сила устремления потока, которому неведомо то устье, куда он вольется. Оно гонит человека к удовлетворению, не зная, в чем он выразится. Оно может найти исход и выход в обыкновенном, нормальном половом акте и может точно так же духовно претвориться в сублимированный акт художественного или религиозного творчества. Оно может найти себе неверный исход и перейти в отклонение, «замещающая» в своем порыве самые неожиданные объекты вне сексуальной сферы, и полностью вывести половой поначалу инстинкт из области плоти, путем бесчисленных промежуточных переключений. От животной похоти до тончайших проявлений человеческого духа способно оно претворяться во все формы, не обладая само по себе никакою формою, не будучи осязаемо и в то же время неотступно участвуя в игре. Но неизменно и в низших своих проявлениях, и в высших достижениях оно воплощает единую и изначальную волю человека к сладострастию.

После такой переоценки со стороны Фрейда установка в области половой проблемы разом изменилась. Так как прежняя психология, не подозревавшая о способности душевной энергии подвергаться превращениям, грубо отождествляла все половое с функциями половых органов, то в глазах науки сексуальность являлась развитием темы о функциях нижней части тела и представлялась поэтому делом щекотливым и нечистоплотным. Отделяя понятие сексуальности от физиологической половой деятельности, Фрейд вместе с тем расширяет это понятие и опровергает ложное о нем представление как о «низшем» психофизическом акте; исполненные предчувствия слова Ницше: «Степень и характер сексуальности человека отражаются

во всем его существе, вплоть до вершин его духа» — подтверждаются Фрейдом в качестве биологической истины. На бесчисленных единичных примерах он показывает, как эта мощно напрягающая человека сила, путями таинственного проникновения вдаль, находит себе на протяжении десятилетий разряд в совершенно неожиданных проявлениях его душевной жизни, как сказывается вновь и вновь особый склад его в бесчисленных превращениях и искажениях в самых удивительных формах вожделения и подменяющих его действиях. Таким образом, во всех случаях, где имеются налицо бросающаяся в глаза особенность душевного склада, угнетенность, невроз, навязчивые действия, врач, в силу сказанного выше, может по большей части уверенно судить о наличии особого склада сексуальной жизни или о ее отклонении от нормы; в дальнейшем, в соответствии с методом глубинной психологии, его обязанностью является довести больного до той первоначальной точки его внутренней жизни, где в силу какого-либо переживания последовало отклонение от нормальной линии развития его инстинкта. Этот новый диагностический прием опять-таки приводит Фрейда к неожиданному открытию. Уже данные первых произведенных им психоанализов сделали для него ясным, что сексуальные переживания невротика, обуславливающие его расстройство, лежат где-то далеко позади, и наиболее естественным представлялось искать их в ранние годы индивидуума, в ту пору, когда формируется душа; ибо единственное, что отпечатывается к моменту созревания личности на мягкой и потому отчетливо воспроизводящей пластинке возникающего сознания, — это, собственно, то, что предопределяет дальнейшую судьбу человека и чего нельзя уже стереть: «Пусть никто не думает, что может преодолеть первые впечатления своей юности» (Гёте). Поэтому в каждом отдельном случае Фрейд неизменно идет ощупью в обратном направлении, вплоть до момента половой зрелости, — для него на первых порах нет еще вопроса о годах более ранних; ибо каким образом могут возникнуть впечатления пола до того, как установилась половая способность? В то время ему кажется полностью бессмысленной самая мысль пытаться проследить жизнь полового инстинкта за пределами этой зоны, в раннем детстве, ничего не подозревающим, в блаженном неведении, о томительных, порывающихся вонне соках. В своих первых исследованиях Фрейд остановился, таким образом, на моменте возмужания.

Но вскоре Фрейду приходится в результате некоторых

удивительных признаний убедиться, что у многих его больных возникают в процессе психоанализа неоспоримо-отчетливые воспоминания о более ранних, как бы доисторических сексуальных переживаниях. Вполне ясные высказывания его пациентов внушили ему подозрение, что и в периоде, предшествующем возмужалости, то есть и в детстве, должен уже быть налицо половой инстинкт или определенное у нем представления. Подозрение по мере дальнейшего изысканий становится все более настойчивым; Фрейд вспоминает, что могут порассказать бонны и школьные учителя о такого рода ранних проявлениях полового любопытства; и вдруг его собственное открытие относительно различия между сознательной и бессознательной душевной жизнью разъясняет ему положение. Фрейд убеждается, что половое сознание не проникает неожиданно в организм в период возмужания — откуда было бы ему взяться? — но что половой инстинкт — как давно уже выразил это наш язык в тысячу раз психологичнее, чем все психологи, — лишь «пробуждается» в наполовину созревшем человеке и что он давно уже содержался в детском организме в состоянии дремоты (то есть в скрытом состоянии). Подобно тому как способность ходить заключена уже потенциально в ногах ребенка, прежде чем он научится ходить, и позыв к речи — прежде чем он научится говорить, имеется налицо у ребенка и сексуальность, разумеется, без всякой мысли о ее действительном предназначении. Ребенок догадывается — решающая формула! — о своей сексуальности. Он только не понимает ее.

Но вот — я только высказываю предположение, а не говорю уверенно — это открытие должно было, кажется мне, испугать в первый миг самого Фрейда. Ибо оно рушит, почти кошунственным образом, все обычные представления.

Если требовалась большая смелость, для того чтобы подчеркнуть психическое значение сексуальности в жизни взрослого и даже, как утверждают другие, переоценить это значение, то каким вызовом общественной морали является эта революционная теория: искать следы полового чувства в ребенке, с которым человечество связывает представление об абсолютной чистоте, ангелоподобности и отсутствии всяких страстей! Как, неужели и этому нежному, улыбчивому, цветущему существу знакомо уже вождение, хотя бы и бессознательное? Эта мысль кажется сначала нелепой, бессмысленной, преступной, почти нелогичной, ибо раз организм ребенка не способен к продолжению рода, то

должна оказаться верною формула: «Если вообще у ребенка есть сексуальная жизнь, то она может быть только извращенной». Произнести вслух такие слова в 1900 году было в области науки равносильно самоубийству. Но Фрейд их произносит. Там, где этот непреклонный ум чувствует твердую почву, он неужеримо устремляется, со свойственной ему мощью, вглубь, вплоть до последних пластов, ввинчиваясь последовательно, шаг за шагом. И, к своему собственному изумлению, он открывает, что именно в пору наибольшей бессознательности, в грудном возрасте, наиболее явственно обнаруживает себя интересующая его первичная и универсальная форма вожделения. Как раз потому, что на этой ступени человеческой жизни ни единый отсвет морального сознания не проникает еще в чуждую задержек область инстинктивных влечений, это крошечное существо, грудной младенец, являет собою наиболее выразительную форму *libido*: всасывать в себя наслаждение, отталкивать от себя горечь. Отовсюду впитывает в себя этот крохотный зверек в человеческом образе усладу: из собственного своего тела и из окружающего мира, из материнской груди, из пальцев и пяток, из дерева и материи, из плоти и одежды, в блаженном, чуждом всяких задержек опьянении, он стремится ввести в свое маленькое, мягкое тельце все, что доставляет ему удовольствие. В этой первичной форме вожделения ребенок, существо со смутно намечающимся сознанием, не различает еще понятий «твое» и «мое», которые внушат ему впоследствии, он не чувствует еще тех преград, как физических, так и моральных, которые воздвигнет для него в дальнейшем система воспитания; существо анархическое, вселенское, пытающееся в неужеримой похоти впитать в свое «я» весь мир, он подносит все, что может захватить своими крохотными пальцами, к единственно ему знакомому источнику услады, к своему рту (почему Фрейд и именует этот период «оральным»). Безмятежно играет он со своими членами, весь уйдя в бормочущие, присасывающие вожделения и яростно протестуя против всего, что мешает ему в этом блаженно-неистовом посасывании. В грудном младенце, в этом еще не «я», в этом смутном «оно», и только в нем одном, универсальное человеческое *libido* изживает себя вне всякой цели и вне объекта. Здесь бессознательное «я» жадно пьет еще усладу из всех сосцов вселенной.

Но эта первоначальная автоэротическая стадия длится непродолжительное время. Вскоре ребенок начинает догадываться, что его тело имеет границы; в крохотном мозгу

мелькает искра сознания, возникает первое представление о различии между внешним и внутренним. Впервые чувствует ребенок сопротивление мира и на опыте узнает, что это окружающее — сила, с которой приходится считаться. Боль от наказания знакомит его с непостижимым для него законом, в силу коего не дозволено черпать наслаждение из всех без различия источников; ему запрещают оголять свое тело, трогать свои испражнения и забавляться ими; немилосердным образом принуждают его отказаться от единства чувства, чуждого всякой морали, и рассматривать одни вещи как дозволенные, другие как недозволенные. Культурная среда начинает вселять в маленького дикаря социальную эстетическую совесть, некий контролирующий аппарат, при помощи которого он может осознавать свои поступки, как хорошие, так и дурные. И с возникновением этого сознания юный Адам оказывается изгнанным из эдема безответственности.

И одновременно возникает как бы обратный процесс в развитии инстинкта сладострастия; этот инстинкт отходит в подрастающем ребенке на задний план, уступая место новому инстинкту самоосознания. Из некоего «оно», инстинктивно-бессознательного, образуется «я», и открытие этого «я» связано с таким напряжением мозга и такой его работой, что первоначальное космическое вождение оказывается в забросе и переходит в скрытое состояние. Но и этот процесс самонаблюдения не проходит полностью бесследно и нередко оставляет у взрослого ряд воспоминаний, у некоторых он сохраняется в качестве нарциссической тенденции (выражение Фрейда), то есть опасной склонности к эгоцентризму, занятию самим собою, без всякого чувства связи с миром. Вождение, являющее в ребенке свою изначальную, космическую форму, становится в эти промежуточные годы незримым, оно замыкается в некоей оболочке. Автоэротическую, панэротическую форму вождения ребенка и половую эотику возмужания отделяет период зимней спячки чувств, сумеречное состояние, когда силы и соки готовятся, накопляясь, к целесообразному разряжению.

Когда затем в этот второй период, опять-таки сексуально окрашенный, период возмужания, дремлющий инстинкт постепенно просыпается, *libido* вновь обращается к миру и ищет вновь «замещения», объекта, на который оно может перенести напряжение своего чувства, — в этот решающий миг биологическое веление природы недвусмысленно указывает новичку естественный выход — продолже-

ние рода. Совершенно определенные изменения физической структуры в период полового созревания дают знать юноше и девушке-подростку, что природа их для чего-то готовит. И эти указания относятся с полной несомненностью к половой сфере. Ими как бы определяется тот путь, которым надлежит следовать человеку, чтобы выполнить тайную и изначальную волю природы — продолжение рода. Уже не играючи, как в пору младенчества, должно излиться само в себе *libido*, но ему предстоит слепо подчиниться мировому замыслу, вновь и вновь исполняющемуся в каждом зачинающем и в каждом зачатом человеке. Если индивидуум постигнет этот указующий перст природы и покорится ему, если мужчина в творческом соитии прилепится к женщине, как и женщина к мужчине, если удалось ему позабыть о всех других возможностях, лежавших когда-то на пути к удовлетворению его космического вождения, то половое развитие этого человеческого существа прошло правильным и закономерным путем и его индивидуальный инстинкт изживает себя в нормальном, естественном направлении.

Этот «двукратный ритм» определяет собою развитие половой жизни всего человеческого рода, и у сотен миллионов людей половое влечение подчиняется без всяких задержек указанной закономерной схеме: вождение и самовождение в детстве, стремление к зачатию в состоянии возмужалости. Каждый нормальный человек служит совершенно естественным образом замыслу природы, использующей его, в метафизических своих конечных целях, для продолжения рода. Но в некоторых, сравнительно редких случаях, и, однако, как раз в тех, которые интересуют врача по нервным болезням, обнаруживается роковое отклонение от этого прямого и нормального пути. Некоторая часть людей не в состоянии, в силу причин, которые в каждом случае подлежат индивидуальному установлению, решиться безостановочно изжить свое влечение в предуказанной природою форме; у них половая энергия непрерывно ищет, для полноты удовлетворения, какого-то иного пути вместо нормального. У этих утративших верное направление невротиков в результате ложной установки в период какого-либо переживания половое влечение стало не на тот путь и не может с этого пути сдвинуться. «Перверсивированные», обладающие иному установкою, не являются, в понимании Фрейда, людьми, отягченными наследственностью, или больными, или тем более преступниками в душе; они страдают лишь в большинстве случаев тем, что

хранят роковым образом прочное воспоминание о какой-либо другой форме удовлетворения из раннего, дополового периода, о каком-либо эротическом переживании из времен своего начального развития, и в дальнейшем, в силу трагической повторности влечения, ищут исхода единственно в этом направлении. И вот, уже в зрелом возрасте, эти несчастные оказываются вынужденными жить с инфантильными по существу формами вождения и в результате навязчивого воспоминания не находят никакого удовольствия в нормальной для их возраста половой деятельности, признанной обществом абсолютно естественной; вновь и вновь хотят они испытать прежнее (большей частью давно уже перешедшее в подсознательную сферу) переживание и ищут для этого воспоминания реального замещения. Жан-Жак Руссо в своей беспощадной исповеди давно уже дал в литературе классический образец такого извращения, явившегося следствием одного детского переживания. Его строгая и втайне обожаемая учительница часто и жестоко наказывала его розгами, но, к собственному своему изумлению, мальчик испытывал во время этого наказания, несмотря на боль, определенное наслаждение. В промежуточной, сумеречной стадии своего развития (столь великолепно очерченной Фрейдом) он совершенно забывает об этом эпизоде, но его тело, его душа, его бессознательная сфера не в состоянии забыть этого переживания. И в дальнейшем, когда, достигнув зрелости, он ищет удовлетворения в нормальном общении с женщинами, он всякий раз не в силах осуществить его физически. Для того чтобы он мог соединиться с женщиной, необходимо, чтобы она воссоздала знаменитый эпизод с розгами; и вот Жан-Жаку Руссо приходится в продолжение всей жизни платить за раннее, необычное и роковое для него, пробуждение полового чувства неизлечимым мазохизмом, который вопреки его внутренним протестам толкает его все к той же, единственно ему доступной форме удовлетворения. Таким образом, перверсированные (под этим словом Фрейд понимает всех тех, которые ищут удовлетворения полового чувства иными путями, чем путь, служащий продолжению рода) — это люди не больные и не анархически настроенные, переступающие, сознательно и дерзко, законы общества, но против своей воли попавшие в плен и пригвожденные к переживанию детства, пребывающие в состоянии инфантильности; а стремление во что бы то ни стало освободиться от своей ненормальной установки делает их невротиками и психотиками. Парализовать эту навязчивую установку не могут поэтому ни юстиция, своими

угрозами создающая еще большую запутанность в психике больного, ни мораль, вызывающая к «рассудку», этого может добиться только проникнутый участием врач, тем, что, высвободив это переживание, сделает его доступным пониманию больного. Ибо только путем осознания внутреннего конфликта — аксиома фрейдовской психологии — можно его изжить; чтобы излечиться, нужно постигнуть прежде всего смысл болезни.

Итак, по Фрейду, всякое расстройство психики основано на каком-либо, большей частью эротически обусловленном, личном переживании, и даже то, что мы называем предрасположением и наследственностью, является всего только зарубцевавшимся в нервной системе переживанием предшествующих поколений; поэтому переживание определяет для психоанализа форму всяческой душевной настроенности, и он стремится понять каждого человека в отдельности, исходя из его личных переживаний. Для Фрейда существует только индивидуальная психология и индивидуальная патология; в пределах человеческой психики нельзя рассматривать что бы то ни было с точки зрения общего правила или схемы; в каждом отдельном случае должна быть вскрыта причинность, во всем ее своеобразии. Этим не исключается, конечно, тот факт, что большинство ранних сексуальных переживаний отдельных лиц, невзирая на их личную окраску, обнаруживает известную типическую форму подобия; в соответствии с тем, что бесчисленное количество людей нередко видит сны одного и того же порядка, например полет в воздухе, экзамены, погоню за собой, Фрейд полагает, что некоторые типические установки чувственного восприятия должны быть признаны, в пору ранней сексуальной жизни, почти неизбежными; он посвятил немало энергии и страсти раскрытию и популяризации этих типических форм, «комплексов». Наибольшую известность среди них — а также и наибольшие нападки — стяжал так называемый комплекс Эдипа, который сам Фрейд признает даже одним из основных устоев своей психоаналитики (в то время как, с моей точки зрения, это не более чем временная опора, которую без всякого риска можно убрать по окончании постройки). За истекшее время этот комплекс стяжал себе столь шумную популярность, что едва ли есть надобность излагать его содержание сколько-нибудь обстоятельно. Фрейд исходит из того, что роковая установка чувств, трагически воплотившаяся, согласно греческому мифу, в Эдипе — сын убивает отца и овладевает матерью, — что эта варварская, на наш взгляд,

ситуация имеется и посейчас налицо в каждой детской душе в качестве подсознательного желания; ибо — предпосылка Фрейда, наиболее часто оспариваемая! — первая эротическая установка ребенка обращена всегда на мать, а первая агрессивная — на отца. Фрейд полагает, что в психике каждого ребенка можно проследить наличие этого параллелограмма сил, слагающегося из любви к матери и ненависти к отцу и представляющего собою первую наиболее естественную и неизбежную группировку детских чувств; бок о бок с ним он располагает ряд других подсознательных чувств, как боязнь кастрации, влечение к инцесту, — чувств, которые также нашли себе художественное воплощение в древних мифах (ибо, согласно культурно-биологической концепции Фрейда, мифы и легенды всех народов являются не чем иным, как «отреагированными» грезами ранней поры их существования). Таким образом, все, что давно уже отвергнуто человечеством как чуждое культуре — жажда убийства, кровосмесительство и насилие, все эти темные заблуждения кочевой эпохи, — все это вспыхивает еще раз в детстве, как бы на первобытной ступени человеческого существования; каждому отдельному индивидууму суждено символически воспроизвести в процессе своего нравственного развития всю историю человеческой культуры. Все мы влачим за собою, в своей крови, незримо и бессознательно, древние варварские инстинкты, и никакая культура до конца не может оградить человека от неожиданной вспышки этих, ему самому чуждых инстинктов и вожделений; в бессознательной нашей сфере существуют тайные течения, влекущие нас обратно, в первобытные эпохи, вне оседлости и нравственности. И как бы мы ни напрягали силы, чтобы оградить себя в сознательных своих поступках от мира инстинктов, мы в лучшем случае можем только направить эти инстинкты на путь создания духовных и моральных ценностей, но не в состоянии полностью от них освободиться.

Противники Фрейда, имея в виду именно это воззрение, якобы «враждебное цивилизации», признающее в известном смысле тщетными тысячелетние усилия человечества побороть до конца свои инстинкты и постоянно подчеркивающее непобедимость *libido*, назвали все его учение о поле пансексуализмом. Он переоценил будто бы в качестве психолога значение полового инстинкта тем, что признал за ним такое решающее влияние на душевную нашу жизнь; а в качестве врача он чрезмерно увлекся, пытаясь свести всякое психическое расстройство единственно к этому пункту

и, исходя из него, лечить это расстройство. В этом упреке, мне кажется, доля истины перемешана, крайне запутывающим образом, с неправдоподобием. Ибо на самом деле Фрейд никогда не выдвигал монистические вожделения как единственную, движущую мир душевную силу. Ему хорошо известно, что всякое напряжение и всякое движение — а что же иное представляет собой жизнь? — возникают единственно из борьбы, из сопротивления. Поэтому он с самого начала теоретически противопоставил *libido*, центробежному, вожделеющему за пределы «я», ищущему соития влечению, другое влечение, которое он именуется сперва инстинктом «я», затем агрессивным инстинктом и, наконец, инстинктом смерти, — то влечение, которое вместо зачатия стремится к уничтожению, вместо творчества — к разрушению, вместо вселенной — к пустоте. Но Фрейду не удалось — и только в этом смысле его противники не до конца неправы — отобразить это противовлечение с такой убедительной и художественной силой, как влечение сексуальное; царство так называемых инстинктов «я» осталось в его философии мира достаточно туманным и, сумеречным; там, где Фрейд видит не до конца ясно, а следовательно, и в области чистого умозрения, ему изменяет дар великолепной выразительности, характеризующий его точное изложение. Возможно поэтому, что в творчестве его и в его практике действительно имеет место некоторая переоценка сексуального, но это усиленное подчеркивание было исторически обусловлено предшествовавшей, десятилетиями практиковавшейся системой замалчивания и недооценки полового чувства. Крайность была необходима, чтобы привлечь к идее внимание современности; и, насильно прорвав преграду молчания, Фрейд тем самым положил только начало дискуссии. В действительности это столь прошумевшее подчеркивание сексуальности никогда не означало реальной опасности, и те крайности, которые были налицо в первых попытках, давно уже преодолены при помощи вечного регулятора всех ценностей — времени. В наши дни, спустя двадцать пять лет после первых формулировок Фрейда, даже самые боязливые могут быть спокойны: благодаря нашему новому, добросовестному, лучшему и более научному ознакомлению с проблемой сексуальности мир отнюдь не стал сексуальнее, неистовее в половом смысле, аморальнее; наоборот, учение Фрейда отвоевало лишь обратно то душевное богатство, что расточили предшествующие поколения в силу ложной своей стыдливости, а именно трезвость духа перед лицом всего плотского. Целое новое поколение

научилось — и теперь этому уже учат в школах — не уклоняться от решающих вопросов внутренней жизни, не утаивать важнейших, наиболее затрагивающих личность проблем, но с возможной ясностью осознавать именно то опасное и таинственное, что заключено во внутренних кризисах. А всякое сознание означает уже свободу по отношению к себе, и, несомненно, эта новая, более свободная мораль окажется более творческим, в нравственном смысле, фактором грядущего товарищеского общения полов, чем старая мораль умолчания; то, что окончательная гибель этой старой морали ускорена и облечена в более пристойные формы, составляет неоспоримую заслугу этого отважного и свободного человека. Всегда бывает так, что целое поколение обязано своей внешней свободой внутренней свободе одного, отдельного человека; всякая новая наука неизменно начинается с одного, с первого, который ставит проблему перед сознанием прочих.

ПРЕДЗАКАТНЫЕ ДАЛИ

Всякое созерцание переходит в наблюдение, всякое наблюдение — в соображение, всякое соображение — в установление взаимной связи, и можно сказать, таким образом, что всякий раз, как мы внимательно всматриваемся в мир, мы теоретизируем.

Гёте

Осень — благословенная пора для подведения итогов. Жатва собрана, труд свершился; под чистым и прозрачным небом, в сверкании далей отдыхает жизненный пейзаж. Оглядываясь назад, на созданное, семидесятилетний Фрейд не может сам не изумиться: как далеко завел его творческий путь. Молодой врач по нервным болезням занялся изучением одной из проблем неврологии, истолкованием истерии. Проблема эта, скорее, чем он ожидал, вовлекает его в самую глубину вопроса. Но там, на дне колодца, — новая проблема, проблема бессознательного. Он хватается за нее, и что же? — она оказывается своего рода магическим зеркалом. На какой бы предмет духовного порядка ни направить его лучи, предмет этот озаряется иным пониманием. И вот, вооружась непревзойденною силой толкования, руководимый сознанием тайного своего предназначения, Фрейд идет от одного постижения к другому, неизменно высшему и более пространному — *una parte nasce dall'altra successiva-*

mente¹, по выражению Леонардо, — и каждый из кругов этой спирали является цельную картину душевной жизни. Давно уже пройдены области неврологии, психоанализа, толкования снов, сексуальных теорий, а все новые и новые науки встают на пути исследования, требуя обновленного подхода. Педагогика, история религий, мифология, поэзия, и все области искусства обязаны своим обогащением его творческим мыслям; с высоты своего преклонного возраста великий старец с трудом может обозреть сам, в какие дали грядущего ведут его нечаянные свершения. Как Моисей с горы, видит Фрейд много и много невозделанной и плодородной земли для посева своих мыслей.

Пятьдесят долгих лет пребывает этот пытливый ум на стезе войны, в погоне за тайною и в поисках истины; добыча его неисчислима. Как много рассчитывал он, предугадывал, созерцал, творил и помогал человечеству — кто считает все эти подвиги во всех областях духовной жизни? Теперь он вправе был бы и отдохнуть на закате дней своих. И действительно, что-то такое тянется в нем к более мирному, не столь ответственному созерцанию. Взор его, строго и испытующе заглядывавший во многие, слишком многие сумрачные души, не прочь был бы теперь объять неторопливо всю картину мира, в некоем духовном видении. Тот, кто неизменно проникал в глубины, жаждет окинуть теперь взором возвышенности и дали земного существования. Кто всю жизнь свою неотступно пытал и выспрашивал в качестве психолога, хотел бы теперь, как философ, дать ответ самому себе. Кто несчетное число раз анализировал души отдельных людей, хотел бы отважиться постигнуть смысл общественности и испытать свое искусство на психоанализе эпохи.

Не ново это вожелание — подойти к мировой тайне путями чистого созерцания, в вооружении только мысли. Но, в сознании суровой своей миссии, Фрейд всю жизнь подавлял в себе склонность к умозрению; нужно было сначала проверить законы созидания духа на бесчисленных отдельных единицах, чтобы решиться потом применить их к целому. И пока длился день, все еще казалось ему, исполненному сознания ответственности, что еще рано браться за эту задачу. Но теперь, когда вечерет, когда полвека неустанного труда дают ему право поддаться творческой мечте и заглянуть за пределы индивидуального, он решается переступить эти пределы, чтобы окинуть взором даль и испы-

¹ Одна часть последовательно возникает из другой (*итал.*).

тать на человечестве в целом тот метод, который он с успехом применил к тысячам.

С некоторой робостью, со страхом приступает этот обычно уверенный в себе мастер к своему начинанию. Можно сказать, с не совсем чистой совестью отваживается он выйти за пределы точной науки и вступить в область недоказуемого, ибо как раз он, разоблачитель всяческих иллюзий, знает, как легко подпасть обаянию философских своих чаяний. До сих пор он решительно высказывался против всяких обобщений умозрительного свойства: «Я не сторонник фабрикации мирозерцаний». Таким образом, не с легким сердцем и не с прежней непоколебимую уверенностью обращается он к метафизике — или, как он именуется несколько осторожнее, к метапсихологии — и сам в своих глазах извиняет эту позднюю решимость: «Условия моей работы до известной степени изменились, и вытекающих отсюда последствий я не стану отрицать. Прежде я не принадлежал к числу тех, которые способны хоть на миг оставаться при каком-либо сомнительном взгляде, если он не нашел себе подтверждения... Но в то время впереди у меня было необозримо много времени, *oceans of time*¹, по прекрасному выражению поэта, и материалы притекали ко мне в таком изобилии, что я едва мог справляться с полученным опытом... Теперь все это изменилось. Время впереди меня ограничено, оно не используется полностью для работы, и, таким образом, не так часто представляется случай приобрести новый опыт. Когда я вижу что-нибудь, на мой взгляд, новое, я не уверен, вправе ли я дожидаться обоснования этого нового». Мы видим, как этот мыслящий строго научно человек наперед знает, что ставит перед собою задачу рискованную. И как бы в порядке монологов, словно сам с собою мысленно разговаривая, обсуждает он гнетущие его вопросы, не требуя на них ответа и не отвечая определенно. Поздние его труды, «Будущее одной иллюзии» и «Неудовлетворенность в культуре», не так, может быть, насыщены содержанием, как прежние, но они поэтичнее. Вместо неумолимого аналитика выявляет себя наконец синтетически, в широком масштабе мыслящий ум, вместо представителя точной науки врачевания — так давно чувствовавшийся художник. И кажется, будто за испытующим взором мыслителя впервые распознаем мы и столь долго таившегося человека — Зигмунда Фрейда.

¹ Океаны времени (англ.).

Но сумрачен этот взор, всматривающийся теперь в лицо человечества; он потемнел, потому что видел слишком много темного. На протяжении полувека люди безостановочно шли к нему со своими заботами, нуждами, мучениями и расстройками, жалуясь, задавая вопросы, спеша, истерически возбужденные и неистовствующие, — сплошь больные, подавленные, измученные, сумасшедшие; только меланхолической своей, недееспособной стороной безжалостно поворачивалось к нему человечество в продолжение всей его жизни. Замурованный в вечном подземелье своего труда, он редко видел другое, светлое, радостное, верующее лицо человечества — людей участливых, беззаботных, веселых, легких сердцем, благодушных, счастливых и здоровых; сплошь больные души, унылые, расстроенные, сумрачные. Он слишком долго был врачом, Зигмунд Фрейд, чтобы не начать взирать постепенно на все человечество в целом как на больного. И уже первое его впечатление, при взгляде на мир с порога рабочей комнаты, заранее ставит ужасающе пессимистический диагноз: «Как для отдельных людей, так и для всего человечества в целом жизнь не легко переносима».

Жуткие и мрачные слова, мало оставляющие надежды, — скорее тяжкий вздох душевный, чем бесстрастная формулировка! Слово к постели больного подходит Фрейд к своей культурно-биологической задаче. И, привыкнув созерцать окружающее глазами психиатра, он усматривает в современности явные симптомы душевного расстройства. Так как всякая радость чужда его взору, он видит в нашей культуре только безрадостное и приступает путями анализа к изучению невроза эпохи. Как это вышло, задает он себе вопрос, что так мало мира и уюта в нашей цивилизации, той цивилизации, что вознесла человечество на высоту, и не снисходящую прежним поколениям? Разве мы тысячекратно не преодолели в себе ветхого Адама, не отошли от него и не приблизились к богоподобию? Разве слух наш при помощи мембраны не сообщается с отдаленнейшими материками, разве взор не глядится, благодаря телескопу, в мириады звездных миров, не наблюдает в капле воды целую вселенную посредством микроскопа? Разве наш голос не преодолевает в секунду и пространство, и время, не глумится над вечностью, вновь и вновь возникающая из пластинок граммофона? Разве аэроплан не несет нас уверенно сквозь недоступную смертным в тысячелетиях стихию? Почему же, при всем этом богоподобии, нет подлинного чувства победы в душе человека, а лишь гнетущее сознание того, что все это

подвластное нам великолепие непрочно, что мы только «боги на протезах» (сокрушающее слово!) и что ни одно из этих технических достижений не дает удовлетворения и счастья нашему глубочайшему «я»? В чем источник этой подавленности, этого расстройства, где корни этой душевной болезни? — спрашивает себя вслух Фрейд. И серьезно, строго и деловито, как если бы речь шла об отдельном случае из его практики, Фрейд берется за задачу выяснения тех причин, которые привели к беспокойству цивилизации, к неврозу современного человечества.

Всякий психоанализ начинается у Фрейда с раскрытия прошлого; так и к психоанализу душевнобольной культуры приступает он с того, что бросает ретроспективный взгляд на первичные формы человеческого общества. В представлении Фрейда первобытный человек (в некотором смысле представитель младенческой поры культуры) пребывает в состоянии звериной свободы; чуждый сознания какой бы то ни было нравственности и законности, он не знает, что такое психические задержки. Сильный силою своей эгоистической цельности, он дает выход своим агрессивным инстинктам в убийстве и пожирании себе подобных, а выход своему половому влечению — в пансексуализме и кровосмесительстве. Но едва только этот в одиночку живущий человек собрался в кочующую орду или в племя, он неизбежно удостоверяется, что его вождделение встречает преграду в противovoжделинии жизненных спутников; всякое социальное устройство, даже на низших ступенях, требует ограничений. Отдельный человек должен уступать, проникнуться сознанием запретности некоторых вещей; устанавливается право и обычай, взаимная договоренность; за каждый проступок грозит кара. Это сознание запретности, этот страх наказания оттесняются вскоре вовнутрь и создают в по-звериному темном доселе мозгу новую инстанцию, своего рода сверх-«я», как бы контрольный аппарат, своевременно сигнализирующий об опасности кары, связанной с обходом закона. С возникновением этого сверх-«я», то есть совести, начинается культура, а с нею и религиозная идея. Ибо в понимании слеподрожжающей от страха первобытной твари мироздания всякие границы, воздвигаемые природою человеческого вождделениям, как-то: холод, болезнь, смерть, ниспосланы некоей незримой противоборствующей силою, Богом-Отцом, который волен карать и награждать и которому в гневе его надлежит служить и покорствоваться. Мнимое наличие этого всевидящего, всемогущего Бога-Отца — одновременно и прообраза «я», в силу его символической

мощи, и прообраза и источника всяческого ужаса — загоняет непокорного человека при помощи надсмотрщика-совести в отведенные ему границы; благодаря этому самоограничению, этому смирению, этому контролю и самоконтролю варварски-дикое существование приобретает постепенно черты цивилизованности. Но по мере того, как буйные поначалу силы человеческие, вместо того чтобы истощать себя во взаимном убийстве и кровопролитии, начинают объединяться для совместной творческой деятельности, повышается уровень умственных, моральных и технических способностей человечества, и постепенно оно отвоевывает у своего идеала, у Бога, добрую долю его мощи. Молния берется в плен, теряет свою силу стужа, преодолевается расстояние, оружием приобретает безопасность от нападений хищников; постепенно все стихии — вода, огонь и воздух — покоряются культуре человеческого сообщества. Все выше и выше поднимается человечество, творчески организуя свою собственную мощь, по ступенькам лестницы, ведущей ввысь, к божеству; паря над высотами и безднами, преодолевая пространство, владея знанием и близкое к всезнанию, вправе оно, преодолевшее в себе зверя, ощущать свое богоподобие.

Но почему же, спрашивает Фрейд, неисправимый разоблачитель иллюзий — точно так же, как спрашивал более полтора столетия тому назад Жан-Жак Руссо, — почему не стало человечество, при всем своем богоподобии, счастливее и радостнее? Почему наше истинное «я» не чувствует себя в результате всех этих триумфов цивилизации богаче, легче, свободнее? И он сам отвечает на это со свойственной ему жесткостью и беспощадностью: потому что все это изобилие культуры досталось нам не даром, но оплачено неимоверным ограничением нашей свободы в области инстинктов. Обратной стороной всякого прироста культурных ценностей в пределах рода является убыль счастья у отдельных лиц (а Фрейд всегда на стороне индивидуума). Прогресс в области человеческой цивилизации связан с ущербом для свободы, с умалением жизненного чувства каждой человеческой души в отдельности. «Современное — чувство «я» — это лишь крайне ограниченная часть пространного, можно сказать, всеобъемлющего чувства, отвечающего более прочной и живой связи личности с окружающим миром». Мы слишком много отдали обществу и общежитию от цельности своей силы, чтобы изначальные наши инстинкты, сексуальный и агрессивный, могли являть прежнюю целостную мощь. По мере того как душевная

наша жизнь дробится, растекаясь по тончайшим и разветвленнейшим каналам, теряет она в своей стремительности и стихийности. Социальные ограничения, с каждым столетием делающиеся все строже и строже, утесняют и извращают нашу чувственную мощь, и в особенности «потерпела ущерб сексуальная жизнь культурной личности. Порою кажется, что она находится в стадии обратного развития, подобно другим нашим органам, например, челюстям и растительности на голове». Но каким-то таинственным образом душа человека не обманывается относительно того, что за несчетное множество новых, высших форм удовлетворенности, какие вытекают для нее, что ни день, из искусства, науки, техники, власти над природою и других жизненных удобств, она платится утратою других наслаждений, более полных, первобытных и более согласующихся с ее природою. Что-то такое в нас, биологически таящееся, может быть, в отдаленном уголке мозговых извилин и обращающееся в нашей крови, помнит еще мистически о состоянии первобытной, высшей свободы, не знавшей задержек; давно преодоленные культурою инстинкты кровосмесительства, отцеубийства, всесексуальности призрачно мелькают еще в наших желаниях и сновидениях. И даже в заботливо оберегаемом ребенке, родившемся на свет наиболее деликатным и безболезненным образом от высококультурной матери в обеззараженном, залитом электрическим светом и хорошо проветренном помещении роскошной частной клиники, пробуждается еще раз древний, первобытный человек, он еще раз должен пройти все ступени, от изначальных космических инстинктов до тысячелетиями отделенной от них стадии самоограничения, и еще раз пережить на своем маленьком подрастающем теле и перестрадать всю подготовительную к культуре работу. Так воспоминание о былом нашем самодовлеющем величии нерушимо пребывает во всех нас, и порою наше моральное «я» неистово рвется назад, в анархию, в кочевническую свободу, в глубинность первобытной нашей поры. Неизменно колеблются в нашем жизнеощущении, на чашах весов, урон и прибыль, и чем заметнее становится разрыв между вынужденною социальной связанностью и первоначальной непринужденностью, тем большее сомнение овладевает каждой человеческой душою в отдельности: не является ли она, в сущности, в результате этого прогресса ограбленной и не подменила ли социализация «я» ее «я» подлинного?

Удастся ли когда-либо человечеству, спрашивает Фрейд, напряженно всматриваясь в будущее, побороть до конца это

беспокойство, эту душевную надорванность? Найдет ли оно, беспомощно кидаемое от страха Божия к звериной похоти, дергаемое запретами, угнетаемое навязчивым неврозом религиозности, какой-либо самостоятельный выход из этой дилеммы? Не подчинится ли добровольно обе изначальные силы, агрессивный инстинкт и инстинкт пола, морали разума, так что мы получим в конце концов возможность отбросить «рабочую гипотезу» о Боге, карающем и творящем суд, как ненужную? Преодолеет ли — выражаясь психоаналитически — будущее свой сокровеннейший внутренний конфликт полностью в результате его осознания, выздоровеет ли оно до конца? Опасный вопрос! Ибо, спрашивая себя, не окажется ли разум в состоянии взять когда-либо верх над нашей инстинктивной жизнью, Фрейд впадает в трагический разлад с самим собою. С одной стороны, психоанализ отрицает власть разума над бессознательным: «Люди не поддаются доводам рассудка, ими движут инстинктивные желания», и вместе с тем он утверждает, что «у нас нет никакого другого средства к овладению нашими инстинктами, кроме интеллекта». В качестве практического метода он рассматривает разум как единственное спасительное для человека и всего человечества средство.

Здесь с давних пор кроется какое-то тайное противоречие в системе психоанализа, и в соответствии с новым охватом оно разрастается до огромных размеров: теперь, собственно, Фрейду следовало бы принять окончательное решение, признать, именно в философском разрезе, первенство разума или инстинкта в сфере человеческой психики. Но это решение оказывается для него, никогда не прибегающего ко лжи и неспособного лгать самому себе, страшно трудным. Ибо как решить? Только что этот старый человек убедился, что его учение о первенстве инстинкта над разумом потрясающе подтвердилось массовым психозом мировой войны; никогда с такой ужасающей ясностью, как в эти четыре апокалипсических года, не обнаруживалось, какой тонкий слой гуманности отделяет человечество от самого разнузданного, самого ожесточенного кровопролития и что одного толчка из области бессознательного достаточно, чтобы рушились самые смелые построения человеческого духа и святости нравственности. Он убедился, что в этот миг в жертву неистовому и первобытному инстинкту разрушения принесены были религия и культура — все, что облагораживает и возвышает человеческое сознание; все священные и освященные веками силы человечества еще раз обнаружили свою младенческую бес-

помощность по отношению к смутному и кровожадному инстинкту первобытности. И все-таки что-то такое в Фрейде колеблется, не решаясь признать моральное поражение человечества в мировой войне показательным. Ибо если, при всем доступном человечеству сознании, оно бессильно, в конце концов, против бессознательного, к чему тогда разум и собственное его полувековое служение истине и науке? Неподкупно честный, Фрейд не решается отрицать ни силы воздействия разума, ни темной силы инстинктов. И в конце концов он отделяется от ответа на им же поставленный вопрос осторожным «может быть» или «когда-нибудь может быть», ссылкой на отдаленное третье царство психики, ибо ему не хотелось бы вернуться к себе самому из позднего этого странствия без всякого утешения. И как-то трогательно мягко и примиряюще звучит, по-моему, его строгий обычно голос теперь, когда на закате жизни ему хочется осветить хоть лучом надежды последний путь человечества: «Мы и впредь можем столь же настойчиво подчеркивать, что интеллект человека бессилён в сравнении с инстинктивной его жизнью, и быть при этом правыми. Но есть что-то особенное в этой слабости; голос интеллекта не громок, но он не успокаивается, пока не заставит себя слушать. В конце концов, несмотря на непрестанно повторяющиеся неудачи, он, может быть, и добьется своего. Это один из немногих пунктов, в которые человечество вправе смотреть оптимистически, но сам по себе он значит немало. Первенство интеллекта где-то еще далеко, но не недостижимо далеко».

Поистине чудесные слова. Но этот огонек во тьме мерцает в слишком большом отдалении и слишком неустойчиво, чтобы душа человеческая, вопрошающая и стынувшая среди действительности, могла бы согреться. Все «вероятное» — весьма слабое утешение, и никакое «может быть» не утолит нестерпимой жажды души, чающей высших уверенностей. Но здесь мы оказываемся у подлинного, последнего предела психоанализа: там, где начинается царство внутренней убежденности, творческого упования, там кончается его мощь — в эти высшие области нет доступа ему, сознательно разрушающему иллюзии и враждующему со всяким заблуждением. Являясь исключительно наукою об индивидууме, о единичной душе, он не знает и не хочет ничего знать о коллективном смысле или метафизической миссии человечества; он только бросает свет поэтому на душевные процессы, но не согревает души человеческой. Он может дать только здоровье, но одного здоровья недо-

статочно. Для счастья, для творческого бытия человечество нуждается в непрестанном подкреплении своей веры в смысл существования. Но у психоанализа нет никаких наркотиков, как у Christian Science, никаких пьянящих экстазов, подобных дифирамбическим обетованиям Ницше; он ничего не сулит и не обещает; не имея возможности утешить, он предпочитает молчать. Эта его правдивость, целиком возникающая из сурового и честного мышления Зигмунда Фрейда, поразительна в моральном смысле. Но все только правдивое неизбежно таит в себе зерно горечи и скепсиса, над всем рассудочно-изъясняющим и анализирующим витает тень какой-то трагичности. Что-то обезбоживающее неотъемлемо присуще психоанализу, что-то отдающее землей и тлением, не вселяющее в душу радости и свободы, как и все только человеческое; честность мысли может безмерно обогатить ум, но никогда не заполнит до конца чувства, никогда не внушит человечеству порыва вовне, за пределы своего существования, — этой его неразумной и все же необходимой ему услады. А человек, даже в физическом смысле слова, не в состоянии — кто более блестяще, чем Фрейд, доказал это? — жить без сновидений, его немощное тело не выдержало бы напора неизжитых чувств — как же вынесет душа человеческая существование без высшего смысла, без видений, веры? Пусть наука вновь и вновь доказывает человечеству бессмысленность его игры в боготворчество — в своем творческом устремлении оно вновь и вновь будет изощряться в осмысливании мира, чтобы не впасть в нигилизм, ибо этот дар изощрения сам по себе составляет подлиннейший смысл всякой духовной жизни.

Для утоления этого душевного голода в распоряжении сурового, строго-деловитого, трезвого в своей холодной ясности психоанализа нет никакой пищи. Он дает познание, и только, и так как ему чуждо исповедание какой бы то ни было веры в мир, то он навсегда останется только созерцанием действительности и никогда не станет мирозозерцанием. Здесь его предел. Он оказался в состоянии, в большей степени, чем какой-либо иной духовный метод, приблизить человека к его собственному «я», но не мог вывести его дальше, за пределы этого «я», что является необходимым условием цельности чувства. Он раскрывает, дробит и отделяет, он указывает личный смысл каждой отдельной жизни, но он не в состоянии объединить единым смыслом это тысячекратно разрозненное. Поэтому, в интересах подлинной творческой цельности, наряду со свойственной ему формой мышления должна была бы возникнуть и другая; психоана-

лиз, разделяющий и разъясняющий, должен был бы пополниться психосинтезом, связывающим и сплавляющим воедино; такое пополнение явится в науке, быть может, вопросом завтрашнего дня. Каковы бы ни были достижения Фрейда, за пределами их остаются необъятные просторы для исследования. И после того как он истолковал и изъяснил душе ее сокровенные узы, другие вправе просветить ее относительно ее свободы, ее тяготения к вселенной и устремления в эту вселенную из пределов своего существования.

ЗНАЧЕНИЕ ВО ВРЕМЕНИ

Индивидууму, который состоит из единого и из многого и от рождения несет в себе определенное и неопределенное, мы дадим растечься в беспредельности не прежде, чем рассмотрим всю цепь его представлений, связующих единое со многим.

Платон

Два открытия, символически совпавшие во времени, имели место в последнем десятилетии девятнадцатого века: в Вюрцбурге малоизвестный дотоле физик по имени Вильгельм Рентген доказывает на опыте возможность просвечивания человеческого тела, считавшегося ранее непроницаемым для зрения. В Вене столь же неизвестный врач Зигмунд Фрейд открывает подобную же возможность в отношении души. Тот и другой методы не только вносят коренные изменения в основы обеих научных дисциплин, но и плодотворно влияют на все соприкасающиеся области; странно перекрещивающимся образом как раз медицина извлекает выгоду из открытия физика, а из творческой мысли представителя медицины — психофизика, наука о движущих силах души.

Благодаря замечательному и все еще не использованному в его возможностях открытию Фрейда научная психология порывает наконец со своею академической и теоретической замкнутостью и вступает в прямую связь с практической жизнью. Через посредство Фрейда психология впервые получает в качестве науки применение ко всем явлениям творческого духа. Ибо чем была прежняя психология? Школьной специальностью, теоретической дисциплиной, загнанной в университеты, замураванной в семинариях,

поставляющей книги на неудобочитаемом и неудобоваримом языке формул. Тот, кто ее изучал, знал о себе и законах своей индивидуальности не больше, чем если бы он изучал санскрит или астрономию, и в широких кругах общества не придавали никакого значения результатам ее лабораторной работы, как полностью абстрактной. Перенеся центр тяжести этой науки с теоретических домыслов на индивидуальность и сделав предметом изучения кристаллизацию личности, Фрейд проталкивает психологию из семинария в реальность и утверждает за нею жизненно важное значение в силу ее применимости к человеку. Только теперь может она деятельно служить созданию новой личности в педагогике, лечению больных в медицине, оценке человеческих заблуждений в судопроизводстве, пониманию творческих начал в искусстве; занимаясь истолкованием неповторимой индивидуальности каждого отдельного человека в его собственных интересах, она помогает одновременно и другим. Ибо тот, кто научился понимать в себе человека, понимает его и в других.

Этим поворотом психологии в сторону отдельной человеческой личности Фрейд, сам того не сознавая, выполнил сокровеннейшую волю эпохи. Никогда не проявлял человек такого любопытства к своему истинному «я», к своей личности, как в наш век прогрессирующей монотонности внешней жизни. Все больше и больше обезличивает обывателя техника современности, создавая из него бесцветный и однообразный тип; разделенные на те же имущественные классы, проживая в тех же домах, одетые в те же платья, отрабатывая те же положенные часы за такими же машинами и потом устремляясь к тем же удовольствиям, к тому же радио, к той же граммофонной пластинке, к тому же спорту, все мы внешне приближаемся к ужасающему сходству друг с другом; города с теми же улицами становятся все более и более неинтересными, народы — все более и более однородными; в исполинской печи рационализации переплавляются все видимые различия. Но по мере того, как все больше и больше отшлифовывают нас с поверхности и люди в процессе возрастающего обезличения внешних форм жизни целыми сериями приобретают массовую физиономию, каждому в отдельности все более и более важной становится единственная недоступная внешнему воздействию форма переживания — собственная, своя, неповторимая индивидуальность. Она стала высшим и почти единственным мерилom человека, и нельзя считать случайностью, что все виды искусства и науки столь страст-

но увлечены элементами характерологии. Учение о типах, теория деградации и наследственности, исследования относительно периодичности индивидуальных свойств стремятся к тому, чтобы отграничить личное от родового в наиболее систематическом порядке; в литературе биографический жанр расширяет пределы познания личности, и такие, давно уже отмершие якобы методы проникновения во внутреннюю структуру человека, как астрология, хиромантия, графология, достигают в наши дни неожиданного расцвета. Из всех загадок существования ни одна не представляет для современного человека такой важности, как загадка собственного бытия и установления своей особой, личной обусловленности и исключительности.

К этому средоточию внутренней жизни человека Фрейд еще раз приблизил психологию, ставшую к тому времени абстрактной наукою. Он впервые развил с почти художественною мощью заложенные в человеке драматические элементы — эту судорожную игру мельканий в сумеречном свете подсознательного, где ничтожный толчок отдается отдаленнейшими последствиями и в самых изумительных сочетаниях сплетаются прошлое с настоящим — поистине целый мир в тесном кругообороте человеческого тела, необозримый в своей цельности и все же обаятельный как зрелище, в непостижимой своей закономерности. А закономерное в человеке — в этом решающая переустановка фрейдовского учения — никоим образом не поддается академической схематизации, но может быть только пережито, изжито совместно с ним и познано в процессе этого изживания, в качестве единственно ему свойственного. Личность человека постигается не с помощью застывших формул, но исключительно по отпечаткам посланных ему судьбою переживаний; поэтому всякое врачевание в тесном смысле этого слова, всякая помощь в смысле морального предполагают, по Фрейду, познание личности, но познание утверждающее, сочувствующее и в силу этого действительно полное. Поэтому уважение к личности, к этой, в гётевском смысле, «явленной тайне», есть для него непреложное начало всякой психологии и всякого душевного врачевания, и Фрейд, как никто другой, научил нас хранить это уважение как некий моральный закон. Лишь благодаря ему тысячи и сотни тысяч узнали об уязвимости души, в особенности детской, и перед лицом вскрытых им изъявлений начали понимать, что всякое грубое касание, всякое бесцеремонное залезание (часто при посредстве одного лишь слова!) в эту сверхчувствительную, одаренную роковой силой

припоминания материю может разрушить судьбу и что, следовательно, всякие необдуманные наказания, запреты, угрозы и меры принуждения возлагают на наказывающего неведомую до того ответственность. Он неизменно внедрял в сознание современности — школы, церкви, зала суда — уважение к личности, даже на путях ее отклонения от нормы, и этим более глубоким проникновением в душу насадил в мире больше предусмотрительности и снисходительности. Искусство взаимного понимания, это наиболее важное в человеческих отношениях искусство и наиболее необходимое в интересах народов, единственное искусство, которое может способствовать возникновению высшей гуманности, в развитии своем обязано учению Фрейда о личности много больше, чем какому-либо другому методу современности; лишь благодаря ему стали понятными нашей эпохе, в новом и действительном понимании, значение индивидуума, неповторимая ценность всякой человеческой души. Нет в Европе в какой бы то ни было области искусства естествознания или философии ни одного человека с именем, чьи взгляды не подверглись бы, прямо или косвенно, творческому воздействию круга его мыслей, в форме притяжения или отталкивания; идя своим, сторонним путем, он неизменно попадал в средоточие жизни — в область человеческого. И в то время как специалисты все еще не могут помириться с тем, что его творчество не выдержано в строго академических формах медицины, естествознания или философии, в то время как тайные советники и ученые все еще яростно спорят об отдельных пунктах и о конечной ценности его труда, учение Фрейда давно уже выявилось как непреложно истинное — истинное в том творческом смысле, который запечатлен в незабываемых словах Гёте: «Что плодотворно, то единственно истинно».

КОММЕНТАРИЙ

ВЧЕРАШНИЙ МИР

Воспоминания европейца

Книга впервые опубликована в 1942 г. в Стокгольме издательством «Берман-Фишер» (совместно с лондонским издательством «Хэмилтон»). Переведена на 21 язык народов мира. На русском языке печаталась в отрывках. В 1987 г. выпущена с небольшими сокращениями московским издательством «Радуга». В настоящем издании дается полный текст книги.

С. 47

Франц Иосиф I (1830—1916) — император Австрии и король Венгрии (с 1848). Вошел в историю как основатель и глава Австро-Венгерской империи (1867—1918). Инициатор Тройственного союза (между Австро-Венгрией, Германией и Италией, 1879—1882). Подавил революцию 1848—1849 гг. в Австрии и Венгрии.

С. 48

Ризотто — итальянское блюдо из риса, лука и сыра.

С. 50

...*один из Варбургов...* — *Аби Варбург* (1866—1929) — искусствовед и историк культуры, брат немецких банкиров Макса Варбурга (1867—1946) и Пауля Морица Варбурга (1868—1932).

...*один из Кассиреров...* — *Эрнст Кассирер* (1874—1945) — немецкий философ, представитель Марбургской школы неокантианства, родственник издателя Бруно Кассирера (1872—1941) и торговца антиквариатом и издателя Пауля Кассирера (1871—1926).

...*один из Сассунов...* — *Сассун*, *Зигфрид Лоррейн* — английский поэт и романист, выходец из рода крупных еврейских коммерсантов, до XV века живших в Толедо, позднее в Месопотамии (Багдад), с 1832 г. в Индии (Бомбей), с середины XIX в. — в Лондоне.

С. 51

...*Хофбург видел поколения императоров, Шёнбрунн — Наполеона...* — *Хофбург* — бывший императорский дворец в Вене. *Шёнбрунн* — бывшая летняя резиденция австрийских императоров. Во времена наполеоновских войн (после поражения австрийских войск под Ваграмом) 14 октября 1809 г. в Шёнбрунне между Францией и Австрией был подписан мирный договор на унизительных для Австрии условиях.

С. 52

...*парикмахер Зоннентала, кучер Йозефа Кайнца...* — *Зонненталь*, Адольф фон (1834—1909) — австрийский актер и театральный деятель. С 1856 г. — бессменно в венском «Бургтеатре», где в 1870 г. становится режис-

сером, а в 1884 г. — главным режиссером. *Кайнц, Йозеф* (1858—1910) — австрийский актер. С 1899 г. — в венском «Бургтеатре». Сочетал блестящее актерское ремесло (особенно хорошо владел жестом и дикцией) с даром подлинного художника.

С. 53

Вольтер, Шарлотта (1834—1897) — немецкая (австрийская) актриса. С 1862 г. до конца жизни играла в венском «Бургтеатре». Исполняла в основном трагические роли: леди Макбет, Федры, Ифигении, Марии Стюарт. Внешняя красота, редкий артистический темперамент, мощный и гибкий голос создали ей славу одной из выдающихся европейских актрис.

С. 54

Розе, Арнольд Йозеф (1863—1946) — австрийский скрипач и концертмейстер. В 1882 г. организовал и возглавил струнный квартет, завоевавший европейскую известность.

Прагер — природный парк в Вене; излюбленное место отдыха и развлечения венцев. С XV до середины XVIII в. служил местом прогулок и охоты придворной знати; с 1766 г. открыт для широкой публики.

С. 57

...*Мария Терезия... Иосиф П... Леопольд III... Франц II и Фердинанд...* — *Мария Терезия* (1717—1780) — австрийская эрцгерцогиня. В наследование землями Габсбургской монархии вступила после смерти отца, императора Карла VI (1740). Права ее были признаны европейскими державами лишь после войны за Австрийское наследство (1740—1748). Соправителями Марии Терезии были ее муж (император Франц I) и сын Иосиф II (с 1765). *Иосиф II* (1741—1790) — император Священной Римской империи и австрийской монархии Габсбургов (1765—1790); в габсбургских наследственных землях соправитель своей матери Марии Терезии (1765—1780), сторонник «просвещенного абсолютизма». *Леопольд III* — у Цвейга, очевидно, ошибка или описка. Речь идет о *Леопольде II* (1747—1792) — австрийском государе и императоре (1790—1792), происходившем из Габсбургско-Лотарингского дома; ему принадлежала сомнительная честь отмены половинчатых реформ Иосифа II и укрепления позиций наиболее реакционных слоев дворянства. *Франц II* (1768—1835) — последний император Священной Римской империи (1792—1806), с 1804 — австрийский император, выступавший под именем Франца I. *Фердинанд* (Франц Фердинанд, 1863—1914) — австрийский эрцгерцог, племянник императора Франца Иосифа I, после смерти кронпринца Рудольфа (1858—1889) наследник престола, с 1913 г. — генеральный инспектор австрийской армии. Убит в Сараеве членами сербской конспиративной группы «Молодая Босния».

...*Лобковицы, Кинские и Вальдитейны...* — *Лобковицы* (Лобковичи), *Кинские* (фон Вхниц и Теттау), *Вальдитейны* — старинные богемские дворянские роды.

Вольф, Хуго (1860—1903) — австрийский композитор и музыкальный критик. Известность получил главным образом как автор песен на стихи немецких поэтов.

Шварценберги — древний франконский дворянский род. Впервые упоминается в дворянских грамотах в 1172 г. В 1670 получил имперский княжеский титул. Из рода Шварценбергов вышло немало известных военачальников, дипломатов и крупных чиновников.

С. 58

Гольдмарк, Карл (1830—1915) — австрийский композитор и скрипач. Автор оперных и инструментальных композиций. *Шёнберг, Арнольд* (1874—1951) — австрийский композитор, дирижер и педагог. Основоположник атональной музыки. Теоретик искусства. *Штраус, Оскар Натан*

(1870—1954) — австрийский композитор, автор ряда известных оперетт. *Фальш, Лео* (1873—1925) — австрийский композитор, автор оперетт. *Гофмансталь, Гуго фон* (1874—1929) — австрийский поэт и драматург, крупнейший представитель неоромантизма и символизма в австрийской литературе, отдававший также дань импрессионизму; видная фигура венского литературного кружка «Молодая Вена» (А. Шницлер, Ф. Зальтен, П. Альтенберг и др.). *Шницлер, Артур* (1862—1931) — австрийский драматург, прозаик, поэт и эссеист, член венского литературного кружка «Молодая Вена». Импрессионистически окрашенному творчеству Шницлера присуща сдержанная трактовка социальных конфликтов, установка на эстетизацию материала и психологизм в духе З. Фрейда. *Беер-Гофман, Рихард* (1866—1945) — австрийский писатель, активно участвовавший в сионистском движении. *Альтенберг, Петер* (1859—1919) — австрийский писатель, близкий к импрессионизму. Автор сборников прозаических фрагментов и зарисовок, отличающихся формальным и стилистическим совершенством, а также остроумных и ироничных афоризмов. *Рейнхардт, Макс* (1873—1943) — немецкий режиссер, актер и театральный деятель. Главным полем режиссерских экспериментов Рейнхардта был «Немецкий театр», который он возглавлял с 1905 по 1933 г. После 1933 г. работал в Австрии, Франции, США. *Фрейд, Зигмунд* (1856—1939) — австрийский невропатолог, психиатр, психолог, основоположник психоанализа. Занимался проблемами неврозов и психотерапевтическими методами их лечения; выдвинул концепцию психики как энергетической системы, движимой конфликтом между сознанием и бессознательными влечениями. Пытался распространить принципы психоанализа на сферы социальной психологии, человеческой культуры (мифологию, фольклор, художественное творчество) и религиозного сознания.

С. 60

Лузгер, Карл (1844—1910) — австрийский политический деятель, известный своими реакционными взглядами; открыто проповедовал расизм (в его антисемитском варианте). С 1897 г. — бургомистр Вены.

С. 61

...ни даже война на Балканах... — Речь идет о первой и второй Балканских войнах в начале XX века. Первая Балканская война (9.10.1912—30.5.1913) была освободительной войной стран Балканского союза (Болгария, Греция, Сербия и Черногория) против Османской империи. Вторая Балканская война (29.6.1913—10.8.1913), вспыхнувшая вследствие обострения противоречий в лагере союзников по первой Балканской войне, велась уже между Болгарией, с одной стороны, и Сербией, Грецией, Румынией, Черногорией и Турцией — с другой.

С. 71

«Меркюр де Франс»... «Нойе рундшау», «Студио» и «Берлингтон-мэгэзин». — «Меркюр де Франс» — французский литературный журнал, основанный в 1889 г. Альфредом Валеттом; в нем печатались молодые литераторы, искавшие выхода из эстетики и художественной практики символизма. На его страницах, в частности, были опубликованы ранние произведения А. Жида и П. Клоделя. «Ди нойе рундшау» — немецкий журнал по вопросам культуры. Образовался из основанного в 1890 г. в Берлине О. Брамом и С. Фишером театрального еженедельника «Фрайе бюне фюр модернес лебен», объединявшего сторонников натурализма. «Студио» — журнал по изобразительному искусству, основанный в 1893 г. в Лондоне. «Берлингтон мэгэзин» — основанный в 1903 г. в Лондоне журнал по изобразительному искусству, одно из авторитетных англоязычных изданий этого профиля. Назван в честь английского архитектора Ричарда Бойля, графа Берлингтона (1694—1753).

Кьеркегор, Сёрен (1813—1855) — датский теолог, философ-иррационалист, писатель. Учение Кьеркегора стало одним из идейных истоков экзистенциализма.

С. 72

Георге, Стефан (1868—1933) — немецкий поэт, переводчик и эссеист, крупнейший представитель немецкого символизма. Издавал журнал «Блеттер фюр ди кунст», к сотрудничеству с которым привлек ряд видных деятелей символизма. Известен как сторонник эзотеризма и аристократизма в искусстве.

С. 74

Добрые солидные мастера эпохи наших отцов — Готфрид Келлер в прозе... Мейбль в живописи, Эдуард фон Гартман в философии... — *Келлер, Готфрид* (1819—1890) — швейцарский писатель, выдающийся мастер реалистической прозы XIX в. *Лейбль, Вильгельм* (1844—1900) — немецкий художник, видный представитель поэтического реализма в немецкой живописи. *Гартман, Эдуард фон* (1842—1906) — немецкий философ-идеалист, последователь Шопенгауэра, сторонник идей мистического идеализма. Основной труд — «Философия бессознательного» (1869). В сфере гносеологии пытался объединить идею «абсолютного духа» Гегеля, шеллингианскую идею бессознательного и шопенгауэровское понятие воли.

Бар, Герман (1863—1934) — австрийский драматург, прозаик и театральный критик, один из руководителей независимого демократического театра «Фрайе бюне» в Берлине, издатель еженедельника «Ди цайт» (с 1894). Автор популярных комедий.

«*Сецессион*» — общее название антиакадемических объединений художников-экспериментаторов в Германии и Австрии конца XIX — начала XX века, тяготевших к стилю модерн («югендстилю»). Кружок венских «сецессионистов» образовался в 1897 г. вокруг журнала «Вер Сакрум»; лидером его был Густав Климт (1862—1918).

Мунк, Эдвард (1863—1944) — норвежский живописец и график. Испытал влияние французских импрессионистов, стиля модерн и отчасти поэзии символизма. Творчество Мунка типологически предвосхищает экспрессионистскую живопись.

Ропс, Фелисьен (1833—1898) — бельгийский график и живописец, мастер литографии и офорта. Испытал влияние О. Домье, П. Гаварни и импрессионистов. Был известен также как карикатурист.

Гроневальд, Маттиас (наст. имя: *Матис Нитхарт*; ок. 1460/80 — 1528) — выдающийся немецкий художник эпохи поздней готики и раннего Ренессанса. Писал в основном на религиозные сюжеты. Важнейший труд — десять картин для большого алтаря церкви монастыря антонитов в Изенхейме (Эльзас) («Изенхеймский алтарь»).

С. 75

Ведекинд, Франк (1864—1918) — немецкий писатель, один из предшественников экспрессионизма.

...*Вильбрандт, Эберс, Феликс Дан, Пауль Гейзе, Ленбах...* — *Вильбрандт, Адольф фон* (1837—1911) — немецкий драматург, прозаик, литературовед и журналист, близко стоявший к «мюнхенскому поэтическому кружку» (1865—1871). Главный редактор газеты «Зюддойче цайтунг» (1859—1861), директор венского «Бургтеатра» (1881—1887). *Эберс, Георг Мориц* (1837—1898) — немецкий писатель и археолог. Известен как автор остро сюжетных исторических романов о Древнем Египте, отличающихся фактологической основательностью и глубиной разработки исторического материала («профессорские романы»). *Дан, Феликс* (1834—1912) — немец-

кий писатель, историк и правовед, настойчиво проповедовавший идеи пангерманизма. Его многочисленные исторические труды, исторические романы и даже стихи проникнуты пафосом сознания некоей исключительной исторической миссии, будто бы лежащей на германцах, их превосходства над другими народами Европы. *Гейзе, Пауль* (1830—1914) — немецкий новеллист, романист, поэт и драматург, первый немецкий писатель, награжденный Нобелевской премией по литературе (1910), глава (наряду с Э. Гейбелем) «мюнхенского поэтического кружка». Противник реализма, а тем более натурализма, Гейзе призывал молодых писателей не увлекаться социальной критикой, а больше внимания уделять гармонии и чистоте формы. *Ленбах, Франц фон* (1836—1904) — немецкий художник. Известен главным образом как плодовитый портретист: им создана большая галерея портретов современников — деятелей искусства, политических и общественных деятелей (написал 80 портретов Бисмарка).

С. 76

«Лорис». — В 1890 г., т. е. когда Гофмансталю было всего 16 лет, журнал «Ан дер шёнен блауэн Донау» опубликовал 4 стихотворения поэта (под псевдонимом «Лорис Меликов»).

С. 78

Леопарди, Джакомо (1798—1837) — итальянский поэт, крупнейший представитель итальянского романтизма. В ранний период творчества находился под влиянием классицизма.

С. 79

Валери, Поль (1871—1945) — французский поэт и эссеист. Начинал как символист и последователь С. Малларме. Профессор поэтики в Коллеж де Франс (1938—1945). Эстетические идеи П. Валери и его поэтическое творчество оказали заметное влияние на западноевропейскую литературу XX в.

Кайзерлинг, Эдуард фон (1855—1918) — немецкий романист и новеллист, характерный представитель немецкого импрессионизма, видная фигура в немецкой литературе первого десятилетия XX века.

С. 80

Бальзак... показал, как пример Наполеона наэлектризовал во Франции целое поколение. — Речь идет о таких произведениях Бальзака, как в первую очередь романы «Темное дело», «Жизнь холостяка» и новеллы «Супружеское согласие» и «Вендетта».

С. 82

«Пан» — художественный и литературный журнал, издававшийся в Берлине в 1895—1900 гг. Отражал новые веяния в искусстве (с преобладанием стиля модерн) и литературе на рубеже веков.

С. 83

Демель, Рихард (1863—1920) — немецкий поэт, драматург и романист, игравший видную роль в литературной жизни Германии 80—90-х годов XIX в. В поэтическом творчестве соединял элементы натурализма и символизма. Многим стихам Демеля присущи отчетливая социально-критическая (антибуржуазная) направленность, симпатия к бесправным и обездоленным, предчувствие неизбежности революции.

Харден, Максимилиан (псевд.; наст. имя *Максимилиан Витковский*, 1861—1927) — публицист, эссеист, издатель, литературный и театральный критик, один из теоретиков натурализма. Основатель политико-литературного журнала «Ди цукунфт» (1892—1922), большую часть статей для которого писал сам. Разоблачительные статьи Хардена, направленные против

представителей власти и придворных, приводили к скандальным процессам. Сам Харден трижды приговаривался к заключению в крепость «за оскорбление Его Величества». Умер от последствий террористического покушения, совершенного немецким националистом.

С. 87

Адлер, Виктор (1852—1918) — политический деятель, один из лидеров австрийской социал-демократии. Депутат парламента (рейхсрата). Активно содействовал преодолению раскола в австрийской социал-демократии и созданию единой партии. Выступал с нападками против левого крыла германской социал-демократии (К. Либкнехт и Р. Люксембург). В ноябре 1918 г. непродолжительное время был австрийским министром иностранных дел.

С. 89

Шёнерер, Георг фон (1842—1921) — австрийский политический деятель, ярый сторонник реакционной доктрины пангерманизма, идейный предшественник германского фашизма. Один из вождей «немецкого национального движения» в Австрии (с 1882). Выступал против клерикализма, особенно в его католическом варианте (отсюда лозунг «Прочь от Рима!»), политического либерализма, а также против социалистов. Проповедовал воинствующий расизм (антисемитизм, антиславянский национализм), шовинизм, милитаризм и идеи всегерманского мирового господства. В начале 80-х гг. им была разработана программа присоединения австрийских областей к Германии.

...когда граф Бадени... издал закон о языках... — Бадени, Казимир Феликс (1846—1909) — австрийский государственный и политический деятель. Наместник в Галиции (1888), премьер-министр и министр внутренних дел (1895). Пытаясь решить национальный вопрос административным путем, издал ряд постановлений (1897), введших в канцеляриях Богемии обязательное двуязычное делопроизводство (на немецком и чешском языках), чем учреждалось формальное равноправие этих языков. Постановления успеха не имели и лишь обострили существовавшие национальные противоречия.

С. 93

Шарко, Жан Мартен (1825—1893) — французский врач, оставивший заметный след во многих областях медицины, один из основоположников современной невропатологии и психотерапии. Автор ряда работ по вопросам психологии художественного творчества.

Ретиф де ла Бретонн, Никола (1734—1806) — французский писатель. Ввел в современную ему литературу новую тему: жизнь парижских низов. Идеализировал крестьянский уклад; показывал процесс разращения «естественного» человека городской цивилизацией.

Бьёрнсон, Бьёрнстjerne (1832—1910) — норвежский писатель и общественный деятель. Основатель норвежской национальной драматургии, крупнейший представитель литературы критического реализма. Лауреат Нобелевской премии (1903).

«Флигенде блеттер» — немецкий иллюстрированный юмористический журнал. Выходил в Мюнхене в 1845—1944 гг. Высмеивал нравы и образ жизни буржуазии. Славился публиковавшимися в нем карикатурами.

С. 105

...квартал Йошивара... — увеселительный квартал в Токио, закрытый в 1945 г.

С. 109

Хеббель (Геббель), Фридрих (1813—1863) — немецкий драматург и теоретик драмы. В своих трагедиях абсолютизировал противоречия буржуаз-

ной действительности, изображая «извечную» борьбу гуманистического героя с миром.

С. 114

...издателей Лилиенкрона... Бирбаума, Момберта... — Лилиенкрон, Детлеф фон (1844—1909) — немецкий поэт, один из видных представителей посленатуралистической литературы 80-х гг. Поэзии Лилиенкрона свойственны строгость формы, лаконизм поэтического высказывания, органичная открытость природе и характерный «чувственный импрессионизм». Бирбаум, Отто Юлиус (1865—1910) — немецкий поэт, прозаик, драматург и критик посленатуралистической эпохи. Известность на родине получил как автор популярного стихотворного сборника «Лабиринт любви» (1901) и как кабареист. Момберт, Альфред (1872—1942) — немецкий поэт и драматург; характерный представитель неоромантической литературы в Германии. Поэзии Момберта свойственны экзотическая приподнятость, патетика, стремление оперировать вселенскими, космическими образами.

С. 115

Регер, Макс (1873—1916) — немецкий композитор, предшественник неоклассицизма в музыке XX в. Испытал влияние Баха. Приверженец классической полифонии и органной музыки.

С. 116

«Нойе фрайе прессе» — австрийская ежедневная газета буржуазно-либерального направления. Основана в 1864 г. Наибольшей популярностью пользовалась в 1908—1920 гг. В 1934 г. стала правительственным органом, в 1939 г. была объединена с другой буржуазно-либеральной газетой — «Нойес винер тагеблатт» (1867—1945).

Бенедикт, Мориц (1849—1920) — австрийский публицист. С 1881 г. — соиздатель, с 1908 г. — главный редактор венской газеты «Нойе фрайе прессе».

«Фельетон» — постоянная рубрика (раздел) в западноевропейской прессе. В этой рубрике обычно печатаются рецензии на новые книги, театральные постановки, фильмы, отклики на события музыкальной жизни, а также научно-популярные статьи, путевые заметки, романы в продолжениях.

Штейдель, Людвиг (1830—1906) — писатель и критик. Немец по происхождению. Литературную деятельность начинал как журналист (в Мюнхене). В 1855 г. прибыл в Вену в качестве корреспондента одной из крупнейших немецких газет — «Альгемайне цайтунг». С 1872 г. — сотрудник редакции газеты «Нойе фрайе прессе».

Ханслик, Эдуард (1825—1904) — австрийский музыковед и музыкальный критик; профессор истории музыки Венского университета. Пропагандировал наследие венской классической школы.

Сент-Бёв, Шарль Огюстен (1804—1869) — французский поэт и критик. Автор стихотворного цикла «Жизнь, стихотворения и мысли Жозефа Делорма» (1829), ценившегося у романтиков. Внес весомый вклад в развитие западноевропейской литературной критики. Наряду с циклом «Литературно-критических портретов» (печатавшихся в 30-е гг. XIX в., изданных отдельно в 1836—1839 гг., 5 томов) писал для парижской прессы критические статьи, которые печатались по понедельникам и позднее были собраны в многотомные издания «Беседы по понедельникам» (1851—1862, 11 томов) и «Новые понедельники» (1863—1870, 13 томов).

С. 117

Герцль, Теодор (1860—1904) — австрийско-еврейский писатель. Основатель массового сионистского движения. Организатор первого Всемирного сионистского конгресса (1897) и первый президент Всемирной сионист-

ской организации. Дело *Дрейфуса* — шумевшее судебное дело по несправедливому обвинению в измене родине и шпионажу в пользу Германии капитана французского Генштаба Альфреда Дрейфуса (1859—1935), еврея по происхождению, ставшее предметом ожесточенной политической борьбы между реакционерами и демократами во Франции 90-х гг. XIX в.

С. 119

Краус, Карл (1874—1936) — австрийский писатель. Основатель (1899) впоследствии знаменитого сатирического журнала «Факел». После публикации упомянутой брошюры («Корона для Сиона», 1898), направленной против Т. Герцля и сионизма вообще, вышел из еврейской общины и принял католичество (от которого вскоре также отказался).

С. 124

...этого загадочного *Вениамина*... — *Вениамин* — библейский персонаж, сын Иакова, младший брат Иосифа, пользовавшийся особой любовью и заботой отца и брата, ставшего правителем Египта. В переносном значении — «счастливчик», «баловень судьбы».

С. 125

Брам, Отто (псевд.; наст. имя О. Абрахам, 1856—1912) — немецкий театральный критик и деятель театра. Один из основателей независимого театра «Фрайе бюне» (1889) и журнала «Фрайе бюне фюр модернес лебен» (1890; с 1904 г. — «Ди нойе рундшау»). Директор «Немецкого театра» (1894) и театра им. Лессинга (1904—1912) в Берлине.

С. 126

...мы ведь читали «Сцены из жизни богемы»... — «Сцены из жизни богемы» — цикл полуанекдотических историй о беспутной жизни и мытарствах парижской артистической молодежи, принадлежащий перу французского писателя Анри Мюрже (1822—1861). Истории эти первоначально публиковались в виде «фельетонов» в столичной прессе; отдельной книгой вышли в 1851 г. По ее мотивам почти полвека спустя (1896) была написана опера Дж. Пуччини «Богема».

Якобовски, Людвиг (1868—1900) — немецкий поэт. Издавал журнал «Дер цайтгеноссе» (1889—1890) и литературный журнал «Гезельшафт» (1898—1900, совместно с А. Зайдлем). Автор нескольких романов и драм.

С. 127

Хилле, Петер (1854—1904) — немецкий поэт-импрессионист. Пробовал силы в прозе (романы «Социалисты» и «Хассенбург»), драматургии (драма «Сын платонически влюбленного»). Автор нескольких сборников афоризмов.

С. 128

Штейнер (Штайнер), Рудольф (1861—1925) — немецкий философ и мистик, основатель оккультно-мистического учения антропософии, пользовавшийся в начале XX века влиянием на умы европейской и русской интеллигенции. В 1913 г. основал антропософское общество с центром в г. Дорнахе (Швейцария). Известен также как редактор и комментатор 90-томного собрания сочинений Гёте.

Парацельс (псевд.; наст. имя *Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм*) (1493—1541) — философ-мистик, естествоиспытатель и врач. Его философское учение оказало влияние на формирование многих направлений в западноевропейской идеалистической философии XVI—XIX вв.

...грандиозный *Гётванум*... — антропософский «храм» в Дорнахе (под Базелем, Швейцария), сооруженный по проекту Р. Штейнера (начало строительства — 1913 г.) его учениками (среди которых были и русские поэты А. Белый и М. Волошин). «Храм» предназначался для занятий «эв-

ритмией» и других антропософских ритуалов. Сгорел в новогоднюю ночь на 1 января 1923 г. Строительство нового здания (по другому проекту Р. Штейнера) было начато в 1924 г. Сейчас в нем размещается Высшая школа гуманитарных наук.

С. 131

...кое-что из... Уильяма Морриса, небольшую драму Шарля ван Лерберга и роман Лемонье... — Моррис, Уильям (1834—1896) — английский художник, писатель, теоретик искусства, общественный деятель. С 1880-х г. — участник английского рабочего движения. Редактор еженедельника социалистов «Коммунист» (с 1885), органа основанной при его участии «Социалистической лиги». Для литературного творчества Морриса характерны романтическая стилизация мифологических и сказочных сюжетов, а также интерес к актуальной социальной проблематике. Ван Лерберг, Шарль (1861—1907) — бельгийский поэт и драматург, неоромантик и символист, участник литературной группы «Молодая Бельгия». Известен как первый бельгийский драматург-символист. Лемонье, Камиль (1844—1913) — бельгийский писатель, искусствовед и критик, близко стоявший к натурализму. Играл видную роль в бельгийской литературе последней трети XIX в. Речь идет о романе «Самец» (1881).

С. 135

Кей, Элен (1849—1926) — шведская писательница, общественный деятель. В 80-е гг. — активная участница движения за эмансипацию женщин. Автор книг «Век ребенка» (1900) и «Женское движение» (1909).

Брандес, Георг (1842—1927) — датский литературовед и публицист. В методологическом плане сочетал элементы позитивизма с принципами сравнительно-исторического литературоведения и психолого-биографическим подходом к анализу литературных явлений. Первым подошел к трактовке западноевропейских литераторов в их единстве и взаимосвязи.

Моисси, Александр (1880—1935) — австрийский театральный актер. Албанец по происхождению. В 1906 г. вступил в труппу М. Рейнхардта. С особым успехом исполнял роли в пьесах Л. Толстого, Г. Ибсена, Шекспира, а также роли в пьесах драматургов-импрессионистов.

Кольбенхайер, Эрвин Гвидо (1878—1962) — реакционный австрийский писатель. С 1919 г. жил в Германии (после 1945 г. — в ФРГ). Открыто поддерживал германский фашизм. Один из столпов официозного искусства «третьего рейха».

С. 140

Сюарес, Андре (псевд.; наст. имя — Изаак Феликс, 1868—1948) — французский писатель, критик и публицист. Известность получил благодаря «Книге изумруда» (1902), содержащей импрессионистические зарисовки провинциальной Бретани, и ряду литературно-критических работ (книги о Л. Толстом, Р. Вагнере, Б. Паскале, Г. Ибсене, Ф. Достоевском, И. В. Гёте и др.).

С. 141

Деборд-Вальмор, Марселина (1786—1859) — французская поэтесса. Основные мотивы лирики — скорбь неразделенной любви, радости и горести материнства.

Демулен, Камиль (1760—1794) — журналист, деятель Великой французской революции. Казнен вместе с Ж. Дантоном.

Жид, Андре (1869—1951) — французский писатель, в своих произведениях сочетал картины упадка буржуазного общества с проповедью эстетизма и аморализма.

С. 142

Базальжестт, Леон (1873—1928) — французский литературный критик, переводчик, искусствовед, популяризатор культуры римской античности, друг С. Цвейга. Автор критико-биографических очерков «Камиль Лемонье» (1904) и «Эмиль Верхарн» (1907), большой монографии «Уолт Уитмен: жизнь и творчество» (1908), книг, посвященных анализу национального склада мышления французов и современной ему интеллектуальной жизни Франции: «Взгляд на душу француза изнутри» (1900) и «Новый дух в художественной, общественной и религиозной жизни Франции» (1898), искусствоведческих статей о творчестве Константена Менье (1905) и Жоржа Гроса (1926), ряда публикаций по истории и культуре Древнего Рима («Древние римляне и проблема будущего», 1903). Определенную известность получил в свое время благодаря переводам из У. Уитмена — «Листья травы» (1909), «Каламус» (1919) и избранных стихотворений (1921).

С. 143

Блок, Жан-Ришар (1884—1947) — французский писатель и общественный деятель. Член Французской компартии (с 1921), друг Советской России. Редактировал журнал «Эроп» (с 1923 г., вместе с Р. Ролланом) и газету «Се суар», сотрудничал в изданиях Сопротивления.

Песи, Шарль (1873—1914) — французский поэт и публицист. В 90-е гг. был связан с Французской социалистической партией. В годы политической реакции накануне первой мировой войны находился под влиянием националистических идей. Поэмы Пегги стилизованы в духе наивной средневековой мистерии.

С. 144

Бурже, Поль Шарль Жозеф (1852—1935) — французский писатель и критик. Характерный представитель буржуазного морализма в литературе.

С. 145

...я прочитал у Роллана про Оливье и его немецкого друга Жан-Кристофа... — Оливье Женен и Иоганн Кристоф Крафт (Жан-Кристоф) — персонажи романа Р. Роллана «Жан-Кристоф».

Гильбо, Анри (1885—1938) — французский социалист, журналист. Во время первой мировой войны издавал журнал «Демен» («Завтра»), высказывался за восстановление интернациональных связей. С начала 20-х гг. жил в Германии, являлся корреспондентом газеты «Юманите».

С. 147

Пасколи, Джованни (1855—1912) — итальянский поэт. Преподавал историю итальянской литературы в университете Болоньи (с 1906 г.). Сторонник «христианского социализма». В стихах культивировал «детский взгляд» на мир и поэзию обыденности.

Жамм, Франсис (1868—1938) — французский поэт и романист. Испытал влияние символизма. Известность получил как поэт французской провинции, воспевавший тихое уединение сельских уголков и сельский быт.

С. 151

Шенье, Андре Мари (1762—1794) — французский поэт и публицист. В классических строгах по форме стихов выразил настроения человека предреволюционной поры (центральная тема — Древняя Эллада). Один из предшественников французского романтизма. Казнен якобинцами.

Бегинки — члены полумонастырских религиозных женских общин (девушки и вдовы), возникших в Нидерландах в конце XII в. и распространившихся впоследствии по Франции и Германии. Бегинки не были связаны монастырским обетом, не подчинялись орденским правилам, им позволялось в любое время возвратиться к мирской жизни и даже вступить в брак.

С. 156

Эрмандады — союзы испанских средневековых городов и крестьянских общин, создававшиеся в целях гражданской самообороны. Широко распространились в XIII—XIV вв.; участвовали в Реконкисте. Теряли свое значение по мере укрепления абсолютизма. «Святая Эрмандада» — один из крупнейших среди союзов такого рода; в 1498 г. окончательно потерял самоуправление и стал орудием королевской власти; исполнял функции сельской и дорожной полиции. Упразднен в 1835 г.

С. 160

«Бедекер» — название немецкой книгоиздательской и книготорговой фирмы, основанной в 1827 г. Карлом Бедекером, специализирующейся на выпуске путеводителей по странам мира. С ростом популярности этих изданий и самой фирмы ее название стало синонимом хорошего путеводителя.

С. 161

Саймонс, Артур (1865—1945) — английский поэт, один из видных представителей английского символизма. В позднем творчестве (в прозе) отдавал дань импрессионизму.

Йейтс (Йитс, Йетс), Уильям Батлер (1865—1939) — ирландский поэт и драматург. Один из основателей ирландского Литературного театра и его директор (1902—1938). Лидер движения «Ирландское литературное возрождение». Член-учредитель Ирландской Академии литературы (1932). Лауреат Нобелевской премии (1923). В своем поэтическом и драматургическом творчестве переосмыслял и осовременивал мотивы ирландского фольклора. Упомянутая у С. Цвейга пьеса «Туманные воды» (или «Тени на воде») была опубликована в 1900 г. (1-й вариант).

С. 165

Гёте, Оттилия фон (урожд. фон Погвиш, 1796—1872) — баронесса, жена сына Гёте, Августа (1789—1830), саксонского тайного камерального советника. Издавала журнал «Хаос». По свидетельствам современников, отличалась незаурядным интеллектом и эксцентричностью. Автор книг писем и дневников. Долгие годы жила в Вене.

С. 167

Хаймель, Альфред Вальтер (1878—1914) — немецкий писатель. Основатель журнала «Йнзель» (1899) и одноименного издательства. Поэт, драматург, прозаик, активно помогал молодым литераторам, содействовал развитию книгоиздательского дела и искусства художественного оформления книги (стиль модерн).

С. 170

Кастельо, Себастиан (1515—1563) — швейцарский теолог. В 1540 г. познакомился и сблизился с Кальвином; в 1545 г. порвал с ним ввиду обострившихся теологических разногласий. Убедленный сторонник и проповедник идей христианской веротерпимости. Этические и психологические аспекты конфликта между Кастельо и Кальвином шире и полнее рассмотрены С. Цвейгом в его книге «Кастельо против Кальвина, или Совесть против насилия» (Вена, 1936).

Барнай, Людвиг (1842—1924) — немецкий актер и театральный деятель. Один из основателей берлинского «Немецкого театра» (1883) и его руководитель (1887—1894), директор Королевского берлинского театра (1906) и Королевского театра в Ганновере (1908—1911). Автор книги воспоминаний (1903) и статей о театре (1913).

Матковски, Адальберт (1858—1909) — немецкий актер. С 1889 г. и до конца жизни — в труппе Королевского берлинского театра. Блестящий исполнитель ролей мировой классики (Ромео, Макбет, Отелло, Фауст и др.).

Шленгер, Пауль (1854—1916) — немецкий писатель, директор театра. Будучи театральным критиком газеты «Фоссише цайтунг», одним из первых стал выступать за включение в репертуар театров пьес крупнейших драматургов-натуралистов. Один из основателей независимого демократического театра «Фрайе бюне», директор венского «Бургтеатра» (1898—1910), позднее — театральный критик в Берлине («Берлинер тагеблатт»).

С. 172

Дузе, Элеонора (1858—1924) — итальянская актриса. Одна из крупнейших трагических актрис рубежа веков. Начала выступать в 1878 г. в Неаполе. Играла в пьесах Сарду, Дюма-сына («Дама с камелиями»), Ибсена («Нора»), «Гедда Габлер»), позднее — Метерлинка и Д'Аннунцио.

С. 173

Бергер, Альфред фон (1853—1912) — австрийский театральный деятель и писатель. Будучи противником натурализма, пропагандировал творчество Клейста, Людвиг и Геббеля. Автор стихотворных сборников, трагедии «Юнона» и нескольких сборников театроведческих работ.

С. 174

Ифланд, Август Вильгельм (1759—1814) — немецкий актер, режиссер и драматург.

С. 177

Аш, Шолом (1880—1957) — еврейский писатель. В 1914 г. эмигрировал в США, последние годы провел в Израиле. Отдавал дань бытописательству, рисовал гнет и унижения трудящихся-евреев, воссоздавал и перерабатывал ветхозаветные и средневековые легенды; отстаивал националистическую идею об исключительности еврейского народа.

Жизинский, Вацлав Фомич (1889—1950) — русский артист балета, балетмейстер. Ведущий танцовщик и хореограф в «Русских сезонах» и в балетной труппе антрепризы С. П. Дягилева (1909—1913 и 1916—1917). Как танцовщик возродил искусство мужского танца. *Карсавина, Тамара Платоновна* (1885—1978) — русская артистка балета, в 1909—1929 гг. выступала в «Русских сезонах» и в труппе антрепризы Дягилева. В 1930—1955 гг. вице-президент Королевской академии танца в Лондоне.

Ратенау, Вальтер (1867—1922) — германский промышленник, финансист, политический деятель. Председатель правления «Всеобщей компании электричества» (АЭГ) с 1915 г. Министр восстановления (1921), министр иностранных дел (1922). На Генуэзской конференции подписал Рапалльский договор с Советской Россией (1922). Убит агентами немецкой террористической организации «Консул». Принадлежал к умеренному крылу крупной немецкой буржуазии.

...Харден... выступил со скандальным разоблачением Ойленбурга... — Князь Филипп Ойленбургский и Хертефельдский (1847—1921) — прусский политический деятель и дипломат, ближайшее доверенное лицо кайзера Вильгельма II, посланник в Вене (1894—1902). Одна из одиозных фигур на германском политическом горизонте рубежа веков. Поднятые в 1906 г. М. Харденом против Ойленбурга обвинения в гомосексуализме и клятвопреступлении положили начало шумному политическому процессу, закончившемуся без вынесения приговора («ввиду болезни обвиняемого»), но нанесшему значительный урон репутации князя и монархии в целом.

С. 178

Жан Поль (наст. имя: *Иоганн Пауль Фридрих Рихтер*, 1763—1825) — немецкий писатель-сатирик просветительско-сентиментального направления, близко стоявший к романтизму. Известен как романист, публицист и эстетик.

Я видел его... незадолго до конференции в Локарно... — Неточность:

встреча С. Цвейга с В. Ратенау состоялась не перед конференцией в Локарно (1925), а перед конференцией в Генуе (весной 1922), где Ратенау с германской стороны подписал Рапалльский договор (означавший для Советской России прорыв экономической и политической блокады западных государств).

С. 179

...королева Луиза... — Вероятно, имеется в виду прусская королева Луиза (1776—1810), дочь герцога Карла II фон Мекленбург-Штрелица, супруга прусского короля Фридриха Вильгельма III. Пользовалась определенной симпатией демократических кругов страны, с сочувствием относилась к положению простого народа. Многие немецкие поэты посвятили ей лирические стихи (А. ф. Арним, К. Brentано, Г. ф. Клейст, Т. Кернер, Ф. Рюккерт и др.).

С. 181

Хаусхофер, Карл (1869—1946) — немецкий геополитик, генерал. Профессор Мюнхенского университета (1921—1939). Глава «геополитической школы» в Германии; занимал руководящие посты в научных и политических организациях при фашизме. На примере К. Хаусхофера видна нечеткость позиции и характерная непоследовательность мышления С. Цвейга: он поддается личному обаянию Хаусхофера и вопреки фактам готов допустить, что человек столь незаурядный и широкообразованный не мог сотрудничать с фашистами сознательно и просто стал жертвой роковых заблуждений и политических манипуляций.

С. 183

...нюрнбергского закона о евреях... — Речь идет о нюрнбергских законах от 15 сентября 1935 г. В соответствии с этими законами евреи переставали пользоваться основными правами граждан «рейха». Отныне «арийцам» запрещалось заключать браки с евреями; уже заключенные браки считались недействительными; браки, заключенные в обход новых законов, рассматривались как умышленное надругательство над чистотой расы и влекли за собой тяжкую кару; преступными объявлялись и внебрачные связи «арийцев» с евреями.

С. 186

Леффлер, Чарлз Мартин (1861—1935) — немецкий музыкант и композитор. С 1881 г. жил в США. Второй концертмейстер Бостонского симфонического оркестра (1892).

С. 189

Цепелин, Фердинанд (1838—1917) — немецкий конструктор дирижаблей. Первый полет дирижабля его конструкции («цепелина») состоялся 2 июля 1900 г.

С. 190

Блерио, Луи (1872—1936) — французский инженер-авиаконструктор и летчик. Первым перелетел Ла-Манш (25 июля 1909 г.).

С. 192

Вильдрак, Шарль (наст. имя: Шарль Массаже, 1882—1971) — французский писатель и поэт, автор антивоенных произведений.

Борджезе, Джузеппе Антонио (1882—1952) — итальянский писатель и литературовед.

С. 195

Вальтер, Бруно (наст. имя: Бруно Шлезингер, 1876—1962) — немецкий

дирижер. Руководил Мюнхенской (1913—1922) и Берлинской (с 1925) операми, оркестром лейпцигского «Гевандхауса» (1929—1933). В 1933 г. эмигрировал из Германии; с 1939 г. — в США. Дирижировал постановками в нью-йоркском театре «Метрополитен-опера». Известность получил как интерпретатор Моцарта, Малера, Верди.

С. 196

Ренан, Жозеф Эрнест (1823—1892) — французский писатель, историк христианства («История происхождения христианства», 1863—1883).

С. 197

Цабернский инцидент — столкновение между германскими военными властями и жителями эльзасского городка Цаберн (начало — 7 ноября 1913 г.). Поводом послужил мелкий эпизод: оскорбление нескольких эльзасских рекрутов офицером расквартированного там прусского полка. Инцидент получил огласку и вызвал недовольство всего населения Эльзаса, поскольку был истолкован как оскорбление национальных чувств эльзасцев, а после того, как действия офицера были оправданы германскими военными властями, военным министром и кайзером, вызвал демонстрацию протеста. Инцидент вскрыл глубокое недовольство эльзасцев германской политикой опруссачивания их края, а также обнаружил знаменательную для своего времени тенденцию — начавшийся в Германии глубокий политический кризис и опасный рост влияния прусской военщины.

С. 200

Зутнер, Берта фон (урожденная графиня Кинская, 1843—1914) — австрийская писательница, общественный деятель. Основательница австрийского Общества мира (1891). Издавала пацифистский журнал «Ваффен нидер!» («Долой оружие!», 1892—1899). Известность получила благодаря роману того же названия (1889; рус. пер. — 1891, 1908). По ее инициативе А. Нобелем учреждена Нобелевская премия мира; была одним из первых ее лауреатов (1905).

С. 202

Пуанкаре, Раймон (1860—1934) — президент Франции в 1913 — январе 1920 г., премьер-министр в 1912 — январе 1913 г., 1922 — 1924 и 1926—1929 гг., неоднократно министр. Проводил реакционную милитаристскую политику; в 20-е гг. стремился к установлению французской гегемонии в Европе. Один из организаторов антисоветской интервенции в период гражданской войны в Советской России.

С. 205

Елизавета (1837—1898) — австрийская императрица и королева Венгрии. Дочь герцога Максимилиана Иосифа Баварского, супруга императора Франца Иосифа I. Убита в Женеве итальянским анархистом.

С. 225

Кэвелл, Эдит (1865—1915) — английская сестра милосердия. С 1907 по 1915 г. работала в Брюсселе. Во время германской оккупации Бельгии, рискуя жизнью, переправляла многих бельгийских военнообязанных через границу. Расстреляна немцами. В Лондоне и Брюсселе в ее честь установлены памятники.

... торпедирование «Лузитании»... — «Лузитания» — английское пассажирское судно, потоплено 7 мая 1915 г. германской подводной лодкой, в результате чего погибло 1198 человек (в том числе 128 американских граждан). Это событие вызвало бурю негодования европейской и особенно американской общественности.

С. 228

Кроне, который в ту пору в Италии был министром... — У С. Цвейга неточность: Бенедетто Кроче (1866—1952), итальянский философ-иде-

алист, историк, литературовед и политический деятель, министром стал лишь в 1920 г.

С. 234

...«фразеры войны», как их окрестил Верфель в своем прекрасном стихотворении. — Речь идет об одноименном стихотворении австрийского поэта, драматурга и прозаика Франца Верфеля (1890—1945) «Фразеры войны», открывающем сборник «Судный день» (1919).

С. 238

Людендорф, Эрх (1865—1937) — немецкий генерал. В 1916—1918 гг. руководил вооруженными силами Германии. Руководитель (вместе с А. Гитлером) фашистского путча 1923 г. в Мюнхене.

Ламмаш, Генрих (1853—1920) — австрийский правовед, специалист по уголовному и международному праву, последний канцлер Австро-Венгрии (27 октября — 11 ноября 1918 г.).

Зейтель, Игнац (1876—1932) — австрийский политический деятель. Министр социального обеспечения (1918). Лидер Христианско-социальной партии (1921—1929), австрийский канцлер (1922—1924, 1926—1929), министр иностранных дел (1930). Во внешней политике руководствовался идеей «необходимости» «аншлюса» с гитлеровской Германией.

С. 240

Клемансо, Жорж (1841—1929) — премьер-министр Франции в 1906—1909, 1917—1920 гг. В 80—90-х гг. — лидер радикалов. В первую мировую войну — ярый шовинист и милитарист. Один из организаторов антисоветской интервенции. Стремился к установлению военно-политической гегемонии Франции в Европе.

С. 245

П. Ж. Жувом, Рене, Франсом Мазерелем... — *Жув, Пьер Жан* (1887—1976) — французский поэт, романист, переводчик, теоретик музыки. Один из крупнейших поэтов Сопротивления. Центральная тема творчества — бессознательное и его толкование психоанализом. *Аркос, Жан Рене* (1881—1959) — французский писатель и журналист. Один из организаторов литературного объединения «Аббатство» (1906; А. Мерсеро, Ж. Дюамель, Ж. Ромен, Л. Дюртен и др.). Основатель журнала «Эроп» (1923). В годы первой мировой войны выступал как пацифист. *Мазерель, Франс* (1889—1972) — бельгийский график и живописец. Член БКП. По художественной манере близок к экспрессионизму. Основная тема творчества — протест против эксплуатации человека и антигуманной сути буржуазного общества, против насилия и войны.

С. 247

Эйснер, Курт (1867—1919) — деятель германского рабочего движения. В период Ноябрьской революции 1918 — председатель Мюнхенского рабочего, солдатского и крестьянского совета, затем глава республиканского правительства Баварии (1919).

Шушние, Курт (1897—1977) федеральный канцлер Австрии в 1934—1938 гг., один из лидеров Христианско-социальной партии.

С. 248

Жиронда — политическая группировка периода Великой французской революции, представлявшая преимущественно республиканскую торговую-промышленную и земледельческую буржуазию. Лидеры — Ж. П. Бриссо, П. В. Верньо, Ж. А. Кондорсе и др. После свержения монархии (10 августа 1792 г.) жирондисты встали у власти; противодействовали дальнейшему развитию революции. Народное восстание 31 мая — 2 июня 1793 г. лишило жирондистов власти. В октябре 1793 г. часть их была казнена. После термидорианского переворота 1794 г. примкнули к контрреволюционерам.

С. 249

Садуль, Жак (1881—1956) — деятель французского рабочего движения, участник гражданской войны 1918—1920 гг. в России. С сентября 1917 служил в качестве атташе при французской военной миссии в Петрограде. Под влиянием бесед с В. И. Лениным отказался служить французскому правительству. В 1919 г. вступил в Красную Армию. По возвращении во Францию стал деятелем Французской компартии. С 1939 по 1945 участник Сопротивления.

С. 251

Фези, Роберт (1883—1972) — швейцарский писатель, видный представитель швейцарского реализма XX в. Известен также как литературовед (с 1972 профессор истории немецкой литературы в Цюрихе).

С. 256

Мы верили в замечательную программу Вильсона... улицы всех городов звенели от ликования в превозношении Вильсона как исцелителя земли... — Вильсон, Томас Вудро (1856—1924) — американский президент (1913—1921). Речь идет о мирной программе правительства США — послании президента В. Вильсона конгрессу США от 8 января 1918 г., состоявшем из 14 пунктов и разрекламированном официальной пропагандой как программа будущего мирного устройства Европы. В ночь с 4 на 5 октября 1918 г., через 10 дней после капитуляции Болгарии, когда войска Антанты уже вели военные действия на территории Германии, германское правительство, а за ним правительство Австро-Венгрии и Турции обратились к В. Вильсону с просьбой начать переговоры о перемирии на основании вышеназванных 14 пунктов. 8 октября последовал ответ президента США на обращение Германии, 18 октября — Австро-Венгрии, где содержались предварительные условия для начала мирных переговоров.

С. 265

И хотя государство... увеличивало выпуск искусственных денег в невероятных масштабах, чтобы, по рецепту Мефистофеля, сделать их как можно больше... — Автор вольно цитирует вторую часть «Фауста» (первый акт, сцена в саду для гулянья):

Мефистофель:

С билетами всегда вы налегке,
Они удобней денег в кошельке.
Они вас избавляют от поклажи
При купле ценностей и их продаже.
Понадобится золото, металл
Имеется в запасе у менял,
А нет у них, мы землю ковыряем
И весь бумажный выпуск покрываем,
Находку на торгах распродаем
И погашаем полностью заем.
Опять мы посрамляем маловеера,
Все хором одобряют нашу меру,
И с золотым чеканом наравне
Бумага укрепляется в стране.

Перевод Б. Пастернака

С. 276

...некий Муссолини во время войны организовал какую-то новую группу. — Б. Муссолини (1883—1945) начинал свою политическую карьеру как социалист (1900). В ноябре 1914 г. был исключен из рядов ИСП за провокационные заявления о необходимости вступления Италии в войну и пропаганду националистических идей в основанной им газете «Полопо д'Италия»

(позднее — рупор итальянских фашистов). 23 марта 1919 г. (а не во время войны, как пишет С. Цвейг) основал фашистскую организацию «Фаши ди комбаттинто», получившую в ноябре 1921 г. официальный статус партии («Национальная фашистская партия»).

С. 279

Эрицбергер, Маттиас (1875—1921) — германский политический деятель, представитель левого крыла католической партии «Центр». Вице-канцлер и министр финансов (1919—1920). В качестве рейхсминистра без портфеля возглавлял германскую делегацию на переговорах о перемирии с Антантой (в ноябре 1918 г.). Убит агентами правой реакции.

С. 293

Истрати, Панаит (псевд.; наст. имя — *Герасим Истрати*, 1884—1935) — румынский писатель. Писал на французском языке. Вел скитальческую жизнь. Проявлял особый интерес к миру униженных и обездоленных. Автор книги о Советском Союзе, написанной в соавторстве с двумя публицистами («К другому пламени», 1929).

С. 296

Сорель, Жорж (1847—1922) — французский социальный философ, теоретик анархо-синдикализма. Основатель журнала «Девенир сосьяль» (1895, совместно с П. Лафаргом). Выдвинул учение о социальном мифе (последний толковал как выражение воли к власти группы, возглавляющей социальное движение).

С. 320

Бюлов, Бернхард фон (1849—1929) — германский политический и государственный деятель консервативного толка. Рейхсканцлер и премьер-министр Пруссии (1900—1909), чрезвычайный посол в Риме (1914—1915).

Монархисты в Доорне полагали... — Доорн — небольшой городок в Нидерландах (провинция Утрехт), где с 1920 по 1941 г. находилась резиденция бывшего германского кайзера Вильгельма II и многих из его приближенных, мечтавших о реставрации монархии в Германии.

Гуенберг, Альфред (1865—1951) — германский политический деятель, крупный промышленник. Представитель крайне правого националистического крыла германской буржуазии. Один из основателей Пангерманского союза (1891), генеральный директор концерна Круппа (1909—1918), создатель и глава мощного газетно-информационного концерна (1916). Председатель реакционной Немецкой национальной народной партии (1928—1933). Министр экономики и сельского хозяйства в правительстве Гитлера (30 января — 26 июня 1933 г.).

С. 324

Берг, Альбан (1885—1935) — австрийский композитор, крупнейший представитель экспрессионизма. Испытал влияние А. Шёнберга. Известность получил благодаря опере «Воцтек» (1917—1921).

С. 328

«Гевандхаус» — тип многоцелевого здания (складского, выставочно-ярмарочного и клубного одновременно), возникший в Нидерландах и Германии в XIII в. по инициативе торговцев сукном и владельцев суконных мануфактур. Являлся обычно архитектурным и культурным центром города. В зале лейпцигского «Гевандхауса» (построен в 1740—1744 гг.), начиная с середины XVIII в., проводились регулярные концерты местного оркестра, получившего впоследствии название «Гевандхаус оркестр» (ныне — оркестр с мировым именем).

С. 336

Хаймвер — вооруженная организация в Австрии в 1919—1938 гг., созданная буржуазией для борьбы против революционного движения, с 1930 г.

носила открыто фашистский характер.

Штаремберг, Эрнст (1899—1956) — один из руководителей хаймвера в Австрии. В 1930 г. — министр внутренних дел, в 1934—1936 гг. вице-канцлер; пользовался поддержкой Муссолини.

С. 337

Шуцбунд — в 1920—1930 гг. военизированная организация Социал-демократической партии Австрии; создана в 1923 г. для обороны от наступления реакции, в защиту республики. Шуцбундовцы вместе с коммунистами и беспартийными участвовали в февральском вооруженном выступлении 1934 г., после подавления которого многие из них вышли из Социал-демократической партии и вступили в компартию.

...в эти первые февральские дни разразилась гроза... Три дня стойко держались рабочие... — Речь идет о февральском вооруженном выступлении в 1934 г. австрийских рабочих в защиту демократии, против фашистской угрозы. Началось 12 февраля в Линце; участники: шуцбундовцы, коммунисты, беспартийные. Самые ожесточенные бои разыгрались в Вене. Подавлено 15 февраля; наиболее активные участники казнены.

С. 344

Уолпол, Хью (1884—1941) — английский писатель и общественный деятель. Автор бытовых, приключенческих и полусторических романов, а также «романов ужасов».

С. 358

Галифакс, Эдуард Фредерик Вуд (1881—1959) — английский политический и государственный деятель, один из лидеров Консервативной партии Великобритании. Министр просвещения (1922—1924, 1932—1935), министр сельского хозяйства (1924—1925), вице-король Индии (1926—1931), министр иностранных дел (1938—1940). Проводил «политику умиротворения» гитлеровской Германии.

С. 362

Штрайхер, Юлиус (1885—1946) — нацистский политический деятель. Участник гитлеровского путча (1923); гауляйтер во Франконии (1924—1940); один из наиболее оголтелых пропагандистов антисемитизма; использовал для этого, в частности, основанную им (1923) газету «Дер штюрмер».

С. 366

...сегодня неохотно вспоминал об этой встрече, на которой Чемберлен и Даладье оказались вынужденными капитулировать перед Гитлером и Муссолини. — Речь идет о Мюнхенском соглашении 1938 г. («мюнхенскомговоре»), заключенном 29—30 сентября 1938 г. премьер-министром Великобритании Н. Чемберленом, премьер-министром Франции Э. Даладье, фашистским диктатором Германии А. Гитлером и фашистским диктатором Италии Б. Муссолини.

ФРИДРИХ НИЦШЕ

Критико-биографический очерк (эссе) «Фридрих Ницше» был впервые опубликован в книге «Борьба с безумием. Гёльдерлин. Клейст. Ницше» в 1925 г. в лейпцигском издательстве «Инзель» в составе двухтомного сборника «Строители мира». Многократно переиздавался. На русском языке впервые (и лишь однажды) увидел свет в 1932-м в составе 12-томника (Л., «Время», 1927—1932, т. 10. 1932). Перепечатывается по этому изданию.

С. 377

Зильс-Мария — горноклиматический курорт в Верхнем Энгадине (юго-восток Швейцарии, кантон Граубюнден; примерно в 20 километрах юго-западнее Санкт-Морица), известный тем, что с 1881 по 1888 туда каждое лето приезжал лечиться Ницше.

С. 379

...«перед лицом бессмертия бездыханный». — Здесь и далее автор широко цитирует Ницше — такие его работы, как «Несвоевременные размышления», «Так говорил Заратустра», «Ессе homo», «Антихристианин» и другие, а также приводит отрывки из его ранней лирики и из переписки.

С. 381

Верцингеториг (*Верцингеторикс*) (дата рождения неизв. — ум. в 46 до н. э.) — вождь галльского племени арвернов, возглавивший восстание галлов против Рима и казненный Цезарем.

С. 383

Способность к общению... утрачена за пятнадцать лет одиночества. — В 1871 г. у Ницше намечилось общее ухудшение состояния здоровья (осложнявшееся головными болями и ослаблением зрения), и с этого времени он начинает вести кочевой образ жизни по городам Швейцарии и Италии (Зильс-Мариа, Сорренто, Генуя, Турин, Ницца).

Via Carlo Alberto — улица Карла Альберта (Карл Альберт, 1798—1849 — король Сардинии).

С. 393

Гаст, Петер (наст. имя — *Иоганн Генрих Кёзелиц*, 1854—1918) — немецкий композитор, друг и ученик Ф. Ницше. Учредитель и куратор архива Ницше в Веймаре (1900—1908).

С. 395

Немерод — упоминаемый в Ветхом Завете (Бытие, гл. 10, 8 и далее) легендарный царь, градостроитель и охотник («сильный зверолов пред Господом»).

С. 396

Агасфер (= «вечный жид») — персонаж средневековых христианских легенд. Согласно легендам, Агасфер был осужден Богом на вечные скитания за то, что не дал Христу отдохнуть на пути к месту распятия. В литературе и искусстве — мифологический образ скитальца.

...*сады Армиды* — сюжетная деталь из исторической поэмы Торквато Тассо «Освобожденный Иерусалим» (1580) и, соответственно, из оперы К. В. Глюка «Армида» (1777). Здесь — синоним волшебного царства.

С. 400

Михаэль Кольхаас — герой одноименной романтической новеллы (1810) Генриха фон Клейста (1777—1811).

С. 409

Всегда он был на пути в Дамаск... — соотнесение с новозаветным сюжетом о чудесном превращении гонителя христиан Савла: Савла на пути в Дамаск (см. «Деяния апостолов», гл. 9) «внезапно осиял... (божественный) свет с неба», Савл услышал голос Христа, который обратился к нему со словами «Савл, Савл! что ты гонишь меня?», а потом повелел идти в Дамаск, где ослепший Савл прозрел и стал апостолом (Павлом).

С. 411

Буркхардт, Якоб (1818—1897) — швейцарский историк и философ культуры. Основоположник нового подхода к анализу мировой истории (рассматривал последнюю как историю духовной культуры, а не как только политическую — подобно его учителю Л. Ранке). Основной труд — «Культура Италии в эпоху Возрождения» (1860; рус. пер. 1904—1906, в 2 тт.).

Ричль (*Ритиль*), *Фридрих Вильгельм* (1806—1876) — немецкий фило-

лог, специалист по классической филологии. Профессор в Галле (с 1832), Бреслау (с 1833) и Бонне (с 1839). Учитель и наставник молодого Ницше. По рекомендации Ф. В. Ричля Ницше получил кафедру в Базельском университете.

С. 412

...«Рождение трагедии»... — Первая работа молодого Ницше «Рождение трагедии из духа музыки» (1871), холодно встреченная академической филологией, содержала впервые сформулированное — основополагающее для всей последующей философии Ницше — разграничение и противопоставление понятий «дионисийского» и «аполлоновского» начал в искусстве, воспринятое впоследствии европейской философией.

С. 415

Роде, Эрвин (1845—1898) — немецкий филолог, специалист по классической филологии, один из друзей Ницше. Профессор в Киле, Иене, Тюбингене, Лейпциге и Гейдельберге. *Дильтей, Вильгельм* (1833—1911) — немецкий историк культуры и философ, представитель философии жизни. Профессор в Базеле, Киле, Бреслау и Берлине. Оказал сильное влияние на развитие европейской философии XX в. и явился прямым предтечей экзистенциализма.

Лацерта — распространенный род ящериц.

С. 422

Бюлов, Ганс Гвидо (1830—1894) — немецкий пианист, дирижер, композитор и музыкальный писатель.

С. 423

...в эпизоде с *Ульрикой*... — Ульрика фон Леветцов (1804—1899) — 17-летняя (в момент знакомства) возлюбленная 74-летнего Гёте, с которой он встречался в 1821—1823 на курорте Мариенбад (ныне Марианске-Лазне в ЧССР) и с которой намеревался сочетаться браком. Поэтическим итогом этой последней большой любви Гёте явился стихотворный цикл «Трилогия страсти» («Вертеру», «Элегия», «Умиротворение», 1823—1824). У Цвейга указанному эпизоду гётевской биографии посвящена новелла «Мариенбадская элегия» (1927; рус. пер. 1928).

С. 427

Овербек, Франц Камиль (1837—1905) — немецкий евангелический теолог (1870—1897 — профессор Базельского университета), один из друзей Ницше.

С. 437

Диадокси (греч. преемники, наследники) — полководцы Александра Македонского, боровшиеся после его смерти (323 до н. э.) за верховную власть, чем способствовали распаду империи Александра.

ЗИГМУНД ФРЕЙД

Эссе «Зигмунд Фрейд» впервые увидело свет в 1931 г. в лейпцигском издательстве «Инзель» в составе сборника «Врачевание и психика». На русском языке опубликовано впервые — и единственный раз — в 12-томнике С. Цвейга (Л.: Время, 1927—1932, т. 11, 1932) в переводе В. А. Зоргенфрея. Перепечатывается по этому изданию.

С. 441

Либи́до — одно из основных понятий психоанализа, разработавшего З. Фрейдом. Обозначает (бессознательное) влечение полового характера; соответствует одному из фундаментальных элементов психики человека.

...не Кант дал направление нравственности девятнадцатого века, а Санти. — *Немецкое Санти* (соответствует английскому *sant*) — ханжество, лицемерие, святошество.

С. 453

Макарт, Ганс (1840—1884) — немецкий художник, представитель официального неobarочного академического искусства, притязавший на роль законодателя вкусов эпохи и во многом эти вкусы определявший.

Поликрат (? — ок. 523/522 до н. э.) — тиранический правитель острова Самос. По преданию, отличался отменным здоровьем.

С. 456

...и никакой Шейлок не в состоянии вырезать из живого тела хоть частицу ее. — *Шейлок* — персонаж романтической комедии Шекспира «Венецианский купец» (1596). В основе сюжета пьесы — полуфантастическая ситуация: богатый венецианский ростовщик Шейлок соглашается дать ссуду молодому купцу Антонио на том твердом условии, что в случае неуплаты долга к сроку Шейлок вырежет из тела Антонио фунт мяса, а когда Антонио действительно оказывается неплатежеспособным, Шейлок без колебаний пытается привести угрозу в исполнение, и только решительная помощь друзей Антонио помогает молодому человеку избежать экзекуции.

С. 459

Брюкке, Эрнст Вильгельм фон (1819—1892) — немецкий физиолог. Барон. Профессор Кёнигсбергского (с 1848) и Венского (с 1849) университетов. Известен работами по анатомии и физиологии органов зрения, пищеварения, физиологии кровообращения и нервно-мышечной физиологии, а также работами по проблеме свертываемости крови. Особые заслуги Брюкке — в области физиологии речи.

Мейнерт, Теодор Герман (1833—1892) — немецкий врач-психиатр. Профессор, директор психиатрической клиники в Вене. Своими работами по сравнительной анатомии мозга способствовал развитию исследований по физиологии мозга.

С. 460

Шарко, Жан Мартен — см. коммент. к с. 93.

Месмер, Франц Антон (1734—1815) — немецкий врачеватель с сомнительной репутацией, пытавшийся воздействовать на пациентов «нетрадиционными» способами и выдвинувший идею «животного магнетизма». В 1766 г. в Вене защитил диссертацию на тему: «О влиянии планет на тело человека». Изучая свойства природных магнитов, пытался механически перенести эти свойства на человека и доказать, что человеку дана подобная же таинственная сила, которую он назвал «животным магнетизмом». После ряда терапевтических неудач (когда, например, одна из слепых его пациентов, о которой Месмер утверждал, что вернул ей зрение, все-таки оказалась незрячей) Месмеру пришлось покинуть Вену (1778). Однако и в Париже, куда он потом отправился, его метод особого успеха не имел, хотя сама идея магнетизма захватила умы европейцев прочно и надолго.

С. 461

Нотнагель, Герман (1841—1905) — немецкий врач-терапевт. Профессор во Фрайбурге (с 1872), Йене (с 1874) и Вене (с 1882). Известен работами в области физиологии и патологии нервной системы, сердца и желудочно-кишечного тракта.

Salpêtrière (франц. букв. «селитроварня», «селитряный завод») — одна из старейших парижских больниц. В ее зданиях, построенных по распоряжению Людовика XIII, до 1634 г. располагалась пороховая фабрика (отсюда название). В середине XVII века была существенно перестроена и превращена в крупный больничный комплекс, несколько раз достраивавшийся в последующие годы, задуманный как женская клиника и клиника для душевнобольных. В *Salpêtrière* работали видные французские врачи, в том числе психотерапевты Филипп Пинель (1745—1826) и Ж. М. Шарко.

С. 463

Брейер, Иозеф (1842—1925) — австрийский врач-терапевт. Изучал физиологию органов дыхания в их связи с функционированием нервной системы. Вместе с З. Фрейдом разрабатывал основы психоанализа.

С. 471

...розеттскую табличку... — Имеется в виду розеттский камень (базальтовая плита), обнаруженный в 1799 г. близ Розетты (у западного рукава дельты Нила), содержащий параллельные тексты на древнеегипетском и древнегреческом языках, иероглифический текст которого был расшифрован Ф. Шампольоном в 1822 г.

С. 480

...*sub rosa* (лат. букв. «под розой») — здесь: доверительно и полунамеками (роза в средневековой символике — в т. ч. знак необходимости соблюдения тайны, например при исповеди).

...*Christian Science* (англ. букв. «Христианская наука») — термин, обозначающий семейство религиозных общин и одновременно особую систему «духовного» врачевания. Основы этого религиозного течения были заложены американкой Мери Бейкер-Эдди (1821—1910) в 1876 г. (ей у С. Цвейга посвящено специальное эссе). *Christian Science* («божественная наука о подлинном бытии») рассматривает Бога как всеобъемлющий безличный духовный принцип абсолютного добра, не способный создавать злое, болезненное и греховное. Болезнь и смерть, следовательно, объявляются чем-то недействительным и реально не существующим, чем, по мнению последователей этого учения, открывается широкая возможность (при должном волевом усилии) их духовно-религиозного преодоления.

С. 491

...метод Куэ. — Куэ, Эмиль (1857—1926) — французский аптекарь. Разработал и применял психотерапевтический метод, основанный на приемах самовнушения (повторения фраз типа «я выздоравливаю», «мне гораздо лучше», «я уже здоров» и т. п.).

С. 494

Хробак, Рудольф (1843—1910) — немецкий врач. Профессор акушерства и гинекологии (с 1880) в Вене. Автор многих работ по женским болезням.

Г. Шевченко

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Д. Затонский. Стефан Цвейг — вчерашний и сегодняшний</i>	5
<i>Константин Федин. Драма Стефана Цвейга</i>	32
<i>Вчерашний мир. Воспоминания европейца. Перевод Г. Кагана</i>	37
<i>Фридрих Ницше. Перевод С. Бернштейна</i>	378
<i>Зигмунд Фрейд. Перевод С. Бернштейна</i>	439
<i>Г. Шевченко. Комментарий</i>	522

Редактор *И. Е. Голик*

Художник *И. Г. Сальникова*

Художественный редактор *А. И. Алтуниш*

Технические редакторы *Е. В. Ростовцева, Л. Б. Чуев*

Корректор *Г. И. Иванова*

ИБ № 5593

Сдано в набор 22.02.90. Подписано в печать 16.11.90. Формат 84x108¹/₃₂. Бумага офсетная. Гарнитура таймс. Печать офсетная. Услови. печ. л. 28,56. Усл. кр.-отт. 57,12. Уч.-изд. л. 32,20. Тираж 50 000 экз. Заказ № 1072. Цена 4 р. 20 к. Изд. № 7267

Издательство «Радуга» В/О «Совэксспорткнига» Государственного комитета СССР по печати. 119859, Москва, ГСП-3, Zubовский бульвар, 17

Ордена Трудового Красного Знамени Тверской полиграфический комбинат Государственного комитета СССР по печати. 170024, Тверь, пр. Ленина, 5